

М. П. АЛЕКСЕЕВ

СРАВНИТЕЛЬНОЕ
ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

Рецензенты:

Н. А. ЖИРМУНСКАЯ, Ю. Д. ЛЕВИН

А $\frac{4603000000-763}{042(02)-83}$ 362-84-1

© Издательство «Наука», 1983 г.

О НОВОЙ КНИГЕ АКАДЕМИКА МИХАИЛА ПАВЛОВИЧА АЛЕКСЕЕВА

Все выстраданные научные книги, рожденные, как и поэзия, бессонницей, пишутся и о себе. Конечно, личность исследователя, сколь бы яркой и неповторимой она ни была, стремится в первую очередь отразить в своем труде те черты и контуры избранного предмета, которые добыты прежней наукой и составляют его сущность. Индивидуальность ученого, каким бы темпераментом он ни обладал, не в силах отменить ценность уже завоеванных истин и открытий.

Смысл труда ученого состоит в выдвижении новых идей, которые относятся и к наблюдению, и к открытию, и к установлению факта, и к переживанию. Именно в подходе к этим постоянным элементам научного творчества проявились неповторимые черты М. П. Алексеева — филолога.

Все работы, входящие в состав новой книги М. П. Алексеева, посвящены, если судить только по названиям глав, частным историко-литературным проблемам. Но, во-первых, все эти проблемы выдвинуты или оригинально переосмыслены самим автором, а во-вторых, — и это главное — все они подчинены общей идее раскрытия сущности литературы, т. е. части духовной культуры человечества как внутренне единого целого в общем процессе развития форм общественного сознания.

Разделение духовной культуры на частные горизонты и малые траектории вызывается не природой предмета (культура, литература), а скорее исторически ограниченными рамками познания, которое вместе с тем на привилегированной оси научного прогресса не знает предела. Из чтения маленьких глав-монографий книги М. П. Алексеева рождается убеждение, что все звенья культуры стран, народов и наций должны быть связаны в единую цепь и что цепь эта не может быть разорвана. Разве что по произволу или вследствие недостаточности знаний о предмете.

Толчком, поводом, стимулом для каждой новой работы М. П. Алексеева являлось обнаружение и осмысление таких фактов, которые не укладывались в рамки прежних воззрений, тео-

ретических или историко-литературных. Для него не было ничего интереснее этих еще никуда не уложенных фактов. В этих поисках и находках личность М. П. Алексеева проявлялась с наибольшей свободой и силой. Страсть к неизвестному и неизведанному, постоянное ощущение упруго сопротивляющегося материала, удивительные от интеллектуальных головоломок и — в конечном итоге — одоление им же самым поставленных неудобных загадок, задач и вопросов должны были рождать в нем самом приятное чувство хорошо сделанной работы.

Основная черта всякой новой идеи М. П. Алексеева — историка литературы и теоретика культуры — состоит в связывании таких фактов, которые либо не были открыты, либо только существовали, сложенные без цели и порядка в литературоведческих запасниках. Выдающейся заслугой ученого было стремление связать разнородные и разнородные факты, которые обычное сознание — не научное и не поэтическое — воспринимает порознь как индивидуальные и несовместные. Достаточно отметить в этом плане названия таких глав книги, как «Московский подьячий Я. Полушкин и итало-испанский гуманист Педро Мартир», «Юрий Крижанич и фольклор московской иноземной слободы», «Монтескье и Кантемир», «Державин и сонеты Шекспира», «Вальтер Скотт и „Слово о полку Игореве“», «Гоголь и Т. Мур», «Эмиль Золя и Н. Г. Чернышевский».

Сравнительный метод исследования (книга так и названа — «Сравнительное литературоведение»), которым широко пользуется М. П. Алексеев, предполагает наличие особо обостренного интереса к глубинным историческим связям, что уже само по себе требует от исследователя оснащенности разнообразными знаниями, методологической убежденности и просто ученой зрелости и мудрости.

Органический историзм М. П. Алексеева, прочно усвоенный от своих учителей, позволил ему достоверно показать, как великая русская литература вписывается во всемирность и как частные исторические события России через литературу Франции, Англии, Германии становятся фактами мировой истории (ср., например, работы «Эпизоды из русской истории в „Опытах“ Монтеня», «К анекдотам об Иване Грозном у С. Коллинза», «Сибирь в романе Даниэля Дефо», «Немецкая поэма о декабристах», «Английские мемуары о декабристах» и др.).

На примерах «малых литератур» автор убеждает нас в том, что современная наука не может создать адекватную модель мировой культуры, базируясь только на художественных достижениях великих европейских наций. Глубокая интуиция исследователя приводит его к выводам огромной методологической значимости. Обмен духовными ценностями между странами и народами представлен ученым как процесс взаимообогащения и взаимовлияния по своеобразному закону сообщающихся культур.

Одной из важных задач филологической науки (как, впрочем, и любой другой) является развенчивание укоренившихся в силу

различных причин предубеждений и предрассудков. Немало их скопилось и в литературоведении. Колоссальная эрудиция М. П. Алексева и критическая направленность его мысли, чуждая умозрительности и безоглядной любви к дедукции, всегда позволяла ему занять правильную позицию в споре. В «русских спорах о Данте», например, позиция М. П. Алексева выглядит неуязвимой (глава «Первое знакомство с Данте в России»).

По диапазону своей исследовательской работы М. П. Алексеев был ученым уникальной индивидуальности и широты интересов. Будучи непревзойденным мастером анализа письменных текстов и свободно владея методами и приемами литературоведения, языкознания, текстологии, источниковедения, палеографии и других наук, изучающих духовную культуру человечества, он обладал универсальностью знаний, объем которых трудно даже предположить и тем более очертить. Иными словами, М. П. Алексеев являл собой высокий пример классика филологической науки. Все эти высокие и поучительные достоинства автора нашли яркое отражение в его новой книге, публикуемой посмертно.

Академик Г. Степанов

„ПРЕНИЕ ЗЕМЛИ И МОРЯ“ В ДРЕВНЕРУССКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ

В статье, напечатанной более ста лет тому назад, Ф. И. Буслаев едва ли не первым из русских исследователей обратил внимание на маленький диалог, известный русским книжникам XVI в.; в этом диалоге спор между собою ведут олицетворенные Земля и Море. Буслаеву это произведение, которое он прочел в рукописи «Цветника» Московской синодальной библиотеки, представилось интересным свидетельством древнего культа «матери-земли», сохраненным поздним рукописным преданием, отзвуком некоей мифологемы, присущей русскому народному сознанию дохристианской эпохи. «Мифическое значение земли определяется, между прочим, отношением ее к морю, — писал Буслаев. — Даже сквозь понятия христианские нашему древнему грамотнику виделись поэтические образы Земли и Моря в их древнем мифическом значении. Это явствует, например, в следующем Споре земли с морем, по одной рукописи XVI в.». Далее Буслаев привел и весь текст этого диалога, правда, модернизируя транскрипцию и заменяя славянизмы русскими книжными оборотами речи, чтобы сделать его более понятным широкому кругу читателей середины XIX в., к которым была обращена статья. У Буслаева диалог этот имеет следующий вид: «Земля говорила: я мать всем человекам, и Богородице, и апостолам, и пророкам, и святым мужам, и раю, плодящему цвет и овощ; а ты море волнуемое — мать пресмыкающимся гадам и лукавому змю, который ругается животным и скотам, и нестройным ветрам. А Море говорило Земле: я же мать тебе: если не будешь напоена мною, то не можешь дать себе никакого плода, ни раю овоща сотворити, ни сама лица своего умыти».¹

Точный текст этого диалога («Пря. А се прѣнье земли с морем») по рукописи (№ 687, л. 66 об.), бывшей в руках Буслаева,

¹ Буслаев Ф. И. О народной поэзии в древнерусской литературе.— Соч. СПб., 1910, т. 2, с. 17.

опубликовал академик В. Н. Перетц в 1907 г.,² а еще через несколько лет цитату из «Прения» по изданию В. Н. Перетца привел С. И. Смирнов в своей статье «Исповедь земле».³

Для С. И. Смирнова, как и для Ф. И. Буслаева (на которого он, впрочем, не ссылается в данном месте своей работы), «Прение Земли и Моря» было интересно не само по себе. Оно служило ему лишь одним из примеров, подтверждающих тот присущий русской народной религии культ земли, который засвидетельствован многими памятниками древнерусской письменности и устного творчества. Поэтому С. И. Смирнов окружил извлеченную им из «Прения» цитату (слова земли: «Аз есмь мати члвком и бѣи англм и пророком святом моужем и раю плодѣющему») выдержками из русских духовных стихов, литературных памятников и даже бытовых письменных документов, чтобы привести своего читателя к заключению, что, по представлениям старых русских грамотеев, «земля есть действительно мать человека, породившая его из своих недр, жалеющая и пекущаяся о нем при жизни и возвращающая его в свое лоно по смерти».⁴ Обильные материалы, собранные С. Смирновым, важны для истолкования того, как возникло на славянской и русской почве олицетворение земли, которая, по его словам, «в христианское время представлялась совершенно человекообразным существом», «организмом, подобным человеческому телу»,⁵ а также и для понимания устойчивости образа «матери-земли» в русском поэтическом сознании. Однако объяснять самое «Прение Земли и Моря» не входило в задачу С. Смирнова: поэтому он не только оставил без внимания специфическую форму этого произведения, но пренебрег даже существом изложенного в нем спора. Ведь из текста не вполне ясно, чьи доводы оказываются более убедительными — земли или моря, какой стороне обеспечена конечная победа, если спор будет продолжаться; да в сущности текст «Прения» в том виде, в каком оно инкорпорировано в «Цветник», не исключает возможности разрешения спора в пользу Моря и, скорее, это даже предполагает. Вполне очевидно, что «Прение» нуждается в особом объяснении, для которого недостаточны материалы, собранные С. Смирновым.

Идейные истоки «Прения» следует искать не в представлениях о «матери-земле», свойственных как русскому язычеству, так и многим другим народным религиям и официальным культам, — это убедительно показал в своем известном сравнительно-

² Перетц В. Н. Новые труды по источниковедению древнерусской литературы и палеографии. — Унив. изв., Киев, 1907, № 10, с. 120.

³ Смирнов С. И. Исповедь земле. — ЧОИДР, 1914, кн. 2, с. 268.

⁴ Там же. — Общую оценку этой работы см.: Комарович В. Л. Культ рода и земли в княжеской среде XI—XIII вв. — ТОДРЛ, М.; Л., 1960, т. 16, с. 98.

⁵ Смирнов С. И. Исповедь земле, с. 266—268.

историческом исследовании Альбрехт Дитрих,⁶ — а в древних космогонических сказаниях Индии и Греции, отзвуки которых столь явно прослеживаются в дуалистических поверьях о мироздании, распространенных и в Византии, и в славянском мире. Во всех древних сказаниях этого рода, лежащих в основе позднейшей легендарной традиции, по наблюдению академика А. Н. Веселовского, «сцена мироздания перенесена к морю и на нем совершается»: ⁷ земля сеется на бесконечном водном просторе или извлекается со дна морского. Именно такие морские пейзажи первозданного хаоса можно встретить в некоторых произведениях отреченной письменности, зашедших и на Русь, вроде «Свитка божественных книг» или «Сказания о Тивериадском море»; в последнем, например, говорится: «Егда не бысть неба, ни земли, и тогда бысть одно море Тивериадское, а берегов у него не было...».⁸

В «Летовнике» (издание Общества любителей древней письменности) находится любопытное предостережение Георгия Амартола книжникам относительно заблуждений античных мудрецов, не просвещенных светом христианского учения. «От самочиния уставляху законы еллинсти философи, а не преданная богом пророки своими», — замечает Амартол и продолжает: «По истине ткнут паутину они, считая землю и море началом всего, ибо они не умели сказать: искони сотвори бог небо и землю».⁹ К подобным воззрениям «эллинических философов» в византийской рецепции и было бы естественнее всего возводить «Прение Земли и Моря». Поэтому В. Н. Перетц имел полное основание заподозрить иноземный источник текста. «Возможно, — писал он, — что в этом отрывке мы имеем перевод с греческого: форма прения была модной в византийской литературе. Да и ранее, у драматургов античного периода греческой литературы, мы встречаем нечто подобное по идее: имею в виду комедию Эпихарма *Γῆ καὶ Θάλασσα* («Земля и море»), дошедшую до нас в ничтожных цитатах. Судя по сюжету ее — „*videtur Gæs et Θάλασσοs fertamen fuisse de suorum utriusque bonorum praestantia*“¹⁰ (*Kaibel Georg. Comicorum Graecorum fragmenta. Berlini, 1889, vol. 1, p. 94—96*), — наш славянский отрывок является откликом античной литературной традиции».¹¹

⁶ *Ditrich A. Mutter Erde. Ein Versuch über Volksreligion. Leipzig; Berlin, 1925.* — На первое издание этой книги (1905 г.) ссылается С. И. Смирнов, отметивший вслед за Дитрихом, что распространенное в античном мире представление о земле как матери не только богов, но и людей было «разработано с необыкновенной последовательностью и художественной законченностью» (*Смирнов С. И. Исповедь земли, с. 263*).

⁷ *Веселовский А. Н. Разыскания в области русского духовного стиха.*
11. Дуалистические поверья о мироздании. — *СОРЯС, 1889, т. 46, № 6, с. 76.*
Там же, с. 46.

⁸ Цитировано у В. Н. Перетца (*Сведения об античном мире в Древней Руси XI—XIV вв. — Гермес, 1917, № 13-14, с. 207*).

¹⁰ «Представляется, что между землей и морем происходило состязание в преимуществах благ каждого из них».

¹¹ *Перетц В. Н. Новые труды по источниковедению... с. 120.*

Эта догадка, высказанная мимоходом, заслуживает внимания, но она нуждается, в свою очередь, в особых пояснениях и догадках. Сиракузянин Эпихарм, живший в конце VI и первой половине V столетия до н. э., все еще остается для нас темной и загадочной фигурой античной литературы; мы представляем его личность и его произведения по случайным и малочисленным суждениям о них, дошедшим до нас от более поздних писателей. Эпихарм считается создателем так называемой «сицилийской» комедии, явившейся предшественницей «аттической» и выставленной на местной, бытовой и фольклорной, драматургической основе. Это были в сущности только зачатки комедийного жанра, не развившиеся еще до законченной литературной формы и, вероятно, тесно связанные с обрядом и песней. На такой вывод наводит и то обстоятельство, что некоторые из его произведений, очевидно, являлись не «комедиями» в более позднем смысле, а сценами-состязаниями в диалогической форме, не слишком далеко отошедшими от «амебейного» песенного фольклора; в них не участвовал хор; кроме того, «античные филологи, — по замечанию И. М. Тронского, — предпочитали называть его пьесы не „комедиями“, а „драмами“, поскольку в них отсутствовал элемент комоса».¹²

К сценам-состязаниям, в которых Эпихарм своеобразно сплавлял народные элементы и ученые словопрения философского характера,¹³ несомненно принадлежала также его пьеса «Земля и Море». Однако о содержании ее мы можем только догадываться, так как текст не сохранился. Приведенная В. Н. Перетцом латинская цитата из труда Кайбеля «Фрагменты греческих комиков» формулирует лишь одно из предположений, высказанных исследователями Эпихарма, хотя и наиболее правдоподобное, но нуждающееся в фактических подтверждениях. Мысль о том, что в пьесе Земля и Море похвалялись друг перед другом своими щедрыми дарами, которые они приносят людям, возникла, в частности, на основании того, что в этом произведении Эпихарма, по-видимому, называлось много рыб разных пород. По другому предположению, в пьесе сопоставлялись профессии рыбака и земледельца и спор шел об их тяготах и преимуществах, так же как в одном из мимов Софрона «Рыбак земледельца (побеждает?)». В последнем случае славянский текст «Прения Земли и Моря» не может быть генетически связан с пьесой Эпихарма и восходит к другой идейной и литературной традиции.

Одну из важных и устойчивых особенностей средневековых литератур составляет обилие диалогов, которые применялись в различных по своему характеру памятниках письменности или обособлялись в самостоятельный жанр. Диалоги всевозможных

¹² Тронский И. М. История античной литературы. Л., 1951, с. 165—166.

¹³ В. Христ (*Christ W. Geschichte der griechischen Literatur*. 6. Aufl. München, 1912, S. 400) так определяет эти пьесы: «Witzige Wettkämpfe nach volkstümlichen Motiven und philosophischen Wortstreit» («Остроумные состязания на народные мотивы и философские словесные споры»).

типов — обычно в виде споров, прений, состязаний и т. д. — были чрезвычайно распространены на всем романо-германском Западе и греко-славянском Востоке. Истоки этой формы различны: книжные типы диалогов стоят бок о бок с народными, стихотворные — рядом с прозаическими, написанные на латинском и народных языках параллельны или повторяют друг друга. Происхождение и обособление диалогов, особенности их смещения и образования промежуточных форм, а также воздействие их на последующее развитие лирики и драматургии имели свои специфические отличия в каждой из средневековых литератур; и все же во всех этих процессах, растягивавшихся на целые столетия, много общего, типического, что облегчает понимание закономерности их эволюции и в то же время затрудняет установление литературной истории каждого памятника этого рода, взятого в отдельности.

Развитие диалога от песенных форм спора до книжного *conflictus*, довольно легко прослеживаемое в латинской литературе романских народов средневековья, шло от «личной насмешки, игривого соперничества, состязания в остроумии к сопоставлению личных воззрений, личных симпатий и к их обсуждению». ¹⁴ Многочисленные «споры зимы и лета» — от латинской эклоги, приписанной рукописями IX в. Алкуину («*Conflictus veris et hiemis*»), до «разговора» Ганса Сакса («*Ein Gespräch zwischen Sommer und Winter*») — и вначале и на поздних этапах своего развития сохраняют связь с весенней обрядностью и с античной эклогой; ¹⁵ таково же происхождение «Состязания Розы и Лилии» («*Certamen Rosae Liliique*»), спора «Розы и Фиалки» и множества других аналогичных произведений, которые вели к индивидуальной природоописательной лирике или пасторали, а также влияли и на народную песню. ¹⁶

Ранняя христианская литература на греческом и латинском языках тоже была богата диалогами, во многих отношениях обязанными античным образцам. Однако, перенимая у древних мастеров диалогической формы саму технику изложения спора на философскую тему, христианские писатели обновили содержание своих *disputationes*; они сделали его по преимуществу христианско-теологическим или этическим, невольно сближая античные «сократические» беседы с христианскими симпозиумами и все чаще прибегая к олицетворению абстрагированных понятий для

¹⁴ Шумгарев В. Лирика и лирики позднего средневековья. Париж, 1911, с. 125—126.

¹⁵ Аничков Е. В. Весенняя обрядовая песня на Западе и у славян. СПб., 1903, ч. 1, с. 291—294.

¹⁶ Jantzen H. Geschichte des deutschen Streitgedichte im Mittelalter. — Germanische Abh./Begr. von K. Weinhold, hrsg. von F. Vogt. Breslau, 1896, H. 13, S. 5—6; Dieterich K. Die Volksdichtung der Balkanländer in ihren gemeinsamen Elementen. Ein Beitrag zur vergleichenden Volkskunde. — Z. für Volkskunde, 1902, Jg. 12, S. 272—277 (автор отмечает, что разговоры между растениями, плодами, реками, горами и т. д. широко распространены в фольклоре балканских народов).

создания фигур спорщиков.¹⁷ Процесс развития диалогов этого рода занял длительное время; более широкая и тщательная разработка этико-философских состязаний — типа диспутов порока и добродетелей — в некоторых странах, например в Англии и Франции, послужила основой для возникновения драматургической «нравственной игры» — моралитэ.¹⁸

Самое широкое развитие в средневековых литературах Европы получили диалоги, имевшие школьные нравственно-дидактические цели. Количество подобных диалогов особенно велико. Длинные их ряды довольно однообразны по характеру преподаваемых уроков или провозглашаемых философских истин, но здесь проявлена большая изобретательность в создании парных фигур антагонистов, ведущих между собой беседу. Представляется, что для средневековых книжников все видимое и невидимое, существующее и предполагаемое, весь физический и нравственный мир казались как бы состоящими в непрерывном и нескончаемом споре: с разной степенью серьезности и заинтересованности, в разных условиях и настроенности спорили друг с другом не только люди разных профессий и социальных положений (воин и монах, землепашец и ремесленник), но и люди и животные, представители фауны и флоры, явления природы, душевные силы и качества, нравственные категории. В многочисленных вариациях на разных языках, чаще других на латинском, существуют диалоги вина и воды, вина и молока, курицы и рыбы, сердца и тела, сердца и ока, цветка и листка, плюща и остролиста, совы и соловья, скромности и гордыни, разума и страдания и пр.¹⁹ Большинство этих диалогов представляло собой схоластические упражнения в диалектике и красноречии, но среди них были и произведения заметные, отличавшиеся живостью наблюдений над миром природы, тонкостью психологического анализа, артистизмом литературного изложения.

Русская письменность осталась в общем в стороне от этого потока. Она не знала ни такого количества диалогов, как другие средневековые литературы Европы, ни пестроты и легкости в их изобретении, ни готовых штампов для их разработки. Тем не менее она усвоила несколько аллегорических прений, занесенных к нам из Византии или западных стран. Таковы, например, «Спор души с телом», широко известный всему средневековью в памятниках на латинском, английском, французском, польском, чешском и других языках,²⁰ или «Прение живота со смертью», яв-

¹⁷ *Hirzel R.* Der Dialog. Ein literarhistorischer Versuch. Leipzig, 1895, T. 2, S. 381—385.

¹⁸ *Herford Ch. H.* Studies in the literary relations of England and Germany in the Sixteenth Century. Cambridge, 1886, ch. 2. Mediaeval Dialogues, p. 22—23; *Merril E.* The Dialogue in English Literature. New York, 1911, p. 1—38. (Yale studies in English, vol. 42).

¹⁹ *Jantzen H.* Geschichte des deutschen Streitgedichte. . . , S. 23—24.

²⁰ *Батюшков Ф.* Спор души с телом в памятниках средневековой литературы: Опыт историко-сравнительного исследования. СПб., 1901.— Из по-

ственно отозвавшееся также в русской устной поэзии и произведениях изобразительного искусства.²¹ Понятен был русскому книжнику и метод противопоставления олицетворенных спорщиков. В одном старославянском поучении так описывается борьба добродетелей и пороков: «Прятся мысли: неверие с верою, нечистота с девством, пост с неудержанием, пьянство с целомудрием».²² В «Споре души с телом» («При с души и тела») спорщики уподоблены борцам, вступившим в схватку: «Яко два борца борются: которой их силниши будет, той одолеет; тако и душа с телом борется: душа на спасение потязает, а тело на мирьская угоды, рекше на грех».²³ Этот текст находится в той же рукописи «Цветника» XVI в., что и «Прение Земли и Моря»; оба прения помещены здесь в непосредственной близости, одно за другим. Не означает ли это, что имеют и общий источник, скорее всего византийский?

В настоящее время я затрудняюсь назвать такой источник; в доступных мне трудах по византийской литературе я не смог его обнаружить, хотя, как известно, различного рода «прения» были в ней довольно широко распространены.²⁴ Интересно подчеркнуть, что и в других средневековых литературах среди упомянутых выше разнообразных диалогических «споров» мне также не удалось найти какой-либо заслуживающей внимания аналогии русскому «Прению Земли и Моря».²⁵

вейшей литературы см.: *Gerhardt D. Zum Spor duše z tielem. — Die Welt der Slaven, 1960, Н. 3-4, S. 270—276.*

²¹ *Жданов И.* К литературной истории русской былевой поэзии. Киев, 1881, с. 56—57.

²² Учен. зап. 2-го отд-ния Акад. наук, СПб., 1859, т. 5, Прил. 6, с. 60.

²³ *Жданов И.* К литературной истории русской былевой поэзии, с. 57.

²⁴ *Dieterich K. Geschichte des Byzantinischen und Neugriechischen Literatur. Leipzig, 1902, S. 128, 130.*

²⁵ В Хорватском Приморье была записана крайне интересная песня «Преширательство неба с землею» («Preširanje neba za zemljom») — весьма поэтический диалог, в котором земля предстает перед нами заступницей за род людской, а небо — его обвинителем.

Боже правый, чудо-то какое!
С небесами земля препиралась.
Земля-мать так возговорила:
«Небо, будем судиться с тобой.
Ты терзаешь меня, мое небо,
Лютой мукой терзаешь и злобой,
От Михайлы до святого Юрья
Бурей, стужей и тяжкими льдами,
А от Юрья до дня Михаила
Градом, голодом и засухой страшной. . .»
Отвечает высокое небо:
«Как решила, проклятая, спорить
С голубою и ясной твердью!
Ты виновна — разве не знаешь?
Тяготект на тебе злодейства,
Тяготект обманные клятвы,
Младший старших слушаться не хочет,
Отца, матери он не почитает
И господня не слышит веленья. . .»

Споры стихий и явлений природы (во всевозможных сочетаниях — земли и воздуха, моря и реки, горы и долины и т. д.) часто встречаются в средневековой латинской литературе. Целая сотня их имеется, например, в апологах с именем славянского первоучителя Кирилла, изданных на латинском языке в XV в. («*Speculum sapientiae beati Cirilli*») и в начале следующего столетия переведенных на немецкий и чешский языки.²⁶ Среди помещенных здесь споров драгоценных камней, растений (тростник и сахарный тростник, терн и фиговое дерево, пальма и тыква), Солнца и Меркурия, Сатурна и тверди, дня и ночи, солнца и тьмы, души и тела, души и воли, уха и глаза и т. д. есть также спор земли и облака (Lib. 2, cap. 12: «*De nube et terra*») и разговор Дуная с морем (Lib. 3, cap. 23: «*De Danubio et asquore*»), однако здесь нет прения Земля и Моря, да и нет, собственно, по замечанию А. Н. Веселовского, прения как такового: вместо него в этих апологах «похвальба одной стороны <...> вызывает правоучительно-богословскую отповедь другой».²⁷ В подобном памятнике того же времени — «Диалоге творений» («*Dialogus creaturarum*»), получившем очень широкую известность (в конце XV и начале XVI в. появилось много изданий этого «Диалога» и переводов его в прозе и стихах на французский, немецкий, голландский и английский языки), есть диалог берега (побережья, суши) и моря (Dial. 8 «*De littore et mari*»), но и это произведение представляет собой лишь внешнюю аналогию интересующему нас русскому прению.

Море и берег, вступающие в перебранку, являются здесь лишь подставными символическими фигурами, и роль их прежде всего иллюстративная: они введены в текст ради наглядности рассуждения и для оживления заключающей их беседу нравственной сентенции автора. Во вступлении сделаны ссылки на некоего «философа», писавшего, что море охватывает земной круг («*mare ... est mundi amplexus*»), и называвшего его «источником дождей и пристанищем рек», а также на Екклезиаста и Псалтырь, где оно названо «великим и просторным» («*mare magnum et spatiosum*», Psalmo 103), далее изложен самый спор. «Море во всем своем величии подступило к берегу и говорит: „Хотело бы я знать, доколе продлится твоя стойкость? Ты всегда мне противоречишь и являешься моим противником; поэтому из-за тебя я не могу нахлынуть на землю. Прошу тебя убраться с твоего места, так как я хочу одолеть землю; в противном же случае

Пер. И. Н. Голенищева-Кутузова, по изданию: *Epske Narodne Pjesme/Ured. Tvrtko Šubelić. 3 izd., Zagreb, 1956, s. 60—61.*

²⁶ *Платонов И.* Исследование об апологах или притчах св. Кирилла. — *ЖМНП*, 1868, май, с. 378—380. — В следующей книжке того же журнала (июль, с. 297—307) помещена статья П. Лавровского «Действительно ли св. Кирилл Солунский автор латинских апологов?», в которой дается отрицательный ответ на этот вопрос; данный вывод считается окончательным.

²⁷ *Веселовский А. Н.* Заметки по литературе и народной словесности. СПб., 1883, с. 33—61 (прил. к т. 45 «Записок Акад. наук»).

я не перестану воевать с тобой". На это отвечивал берег: „Напрасно злоязычествуешь, брат, создатель всех вещей поместил меня так, и я, ему послушный, выдерживаю великий труд, обуздывая тебя. Ты многократно дерзко на меня наступаешь и чрезвычайно отягощаешь меня, я же, благодаря богу, терпеливо спошу тебя. Ты не сможешь разглагольствовать против меня, так как я не изменю своего местоположения". Море же, слыша это, отвечивало в еще большей ярости. „Я никогда не оставлю тебя в покое и буду хлестать тебя по мере своих сил". А берег терпеливо подставил свою шею под ярмо (морских волн), говоря: „Нам подобает сражаться и наказывать неправедных". «Итак, — заключает уже от себя автор этого диалога, — дело всякого высоко и прямо стоящего сражаться и действовать мужественно, чтобы лиходеи не могли возобладать» («Sic enim proelatus et quolibet rector pugnare debet et viriliter agere, ut mali praevalere non possint»)²⁸

Легко заметить, как далеко отстоит этот диалог от русского «Прения», несмотря на известное сходство ситуаций. В «Беседе берега с морем» не поднимается и вопроса об их первородстве; равным образом, не возникает и речи о пользе того и другого для нужд человека и всего живого; ссылка берега на установленный «создателем всех вещей» порядок предполагает неизблемость всего существующего как в физическом мире, так и в нравственной сфере. Возможно, источником этого диалога послужила басня Эзопа (Аесор, 237), но мы знаем также и позднейшие обработки «Берега и моря» XVI—XVII вв., например в сборнике шванков «Средство от тоски» («Wendenmuth») Ганса Вильгельма Кирхгофа (VII, 39) и у Лафонтена (III, 13), уже и вовсе отклонившиеся от первоначальной богословско-дидактической цели.

«Прение Земли и Моря» по своему происхождению древнее указанного диалога, архаичнее по форме и философской проблематике; самые образы Земли и Моря в русском памятнике гораздо пластичнее и имеют аналогии в изобразительном искусстве, византийском и русском. Напомним тонкую художественную деталь в укоризнах Моря, благодаря которой облик Земли сразу же приобретает человеческие черты: «Не можешь <...> сама лица своего умыти».²⁹ Примечательно, что текст «Прения», помещен-

²⁸ Grässe J. G. Die beiden ältesten lateinischen Fabelbücher des Mittelalters. Tübingen, 1880, S. 143—147 (латинский текст), S. 306—308 (примечания) (Bibliothek des Literarischen Vereins in Stuttgart, Bd 143); к указанной здесь параллели из Эзопа, 237 (т. е. 94 X по изд. Хальма или 178 по новой нумерации Хаусрата) прибавим еще Валерия Бабрия (кн. 1, № 71: «Крестьянин и море»). См.: Федр, Бабрий. Басни/Иад. подгот. М. Л. Гаспаров. М., 1962, с. 117.

²⁹ Еще Ф. И. Буслаев отметил, что «художественная форма олицетворения земли, хотя и согласуется с народным мифическим представлением о матери—сырой земле, однако в нашу духовную литературу вошла, без сомнения из Византии» (Буслаев Ф. И. Исторические очерки русской народной словесности и искусства. СПб., 1864, т. 2, с. 179). В. Н. Перетц олицетворе-

ный в рукописи «Цветника» XVI в., был, вероятно, не единственным. Жизнь этого маленького памятника в русской письменности продолжалась. Заключаем об этом на том основании, что в одном повгородском сборнике XVII в. находится статья («Прится море с землею»), обнаруживающая непосредственное знакомство с более старым «Прением», откуда сделаны и текстуальные заимствования.

Новое «Прение», впрочем, представляет собою совершенно особое произведение, существенно отклоняющееся от старого и по своему содержанию, и по своим стилистическим особенностям. Находится оно в сборнике, принадлежавшем библиотеке новгородского Софийского собора, среди других 56 статей разнообразного происхождения. Сборник очень пестр по своему составу: здесь помещены повести о создании Софийского собора, о некоем блуднике, слово Евсевия о сошествии Предтечи во ад, о спутнике господнем и о разбойнике, о некоем волхве, роптание ангелов о грешниках и др.³⁰ Так как текст этого «Прения» издан не был, привожу отрывок из него по указанному сборнику, хранящемуся ныне в Государственной Публичной библиотеке им. М. Е. Салтыкова-Щедрина в Ленинграде (Собр. Софийск. библ., 1448, отд. 31, XVII в., л. 118—120):³¹ «(л. 118) Прится море с землею. Сице сим же содеваемом тогда уже и море восхоте прити благая и начат само обличатися и земли сопротивляшеса, глаголя: и мне уже господа подаждь, егда бо твой един владыка есть, яко вся от него // (л. 118 об.) притят благодать; умоли его прити ко мне, егда бо не придет ко мне и покрыю ти лице, аще бо не бых его разумел и срамлялся печатлевшего мя и связавшего мя нерешимами юзами, то пакы покрыл бых ти лице; или не веси, яко прежде рождениа твоего аз стоях, прежде бо

ниям земли и моря русского памятника также находил «соответствие и в старинной греческой и русской иконографии, сохранивших следы античной традиции» (*Перетц В. Н.* Новые груды по источниковедению. . . с. 120, 121). На лицевых рукописях, иконах, в настенной живописи и т. д. действительно встречаются изображения земли в образе женщины: на фреске Ватопедского монастыря на Афоне земля «изображена под видом сильной и полной женщины, роскошно одетой. Она увенчана цветами. В одной ее руке она держит пучок с плодами, в другой змею» (*Буслаев Ф. И.* Исторические очерки русской народной словесности и искусства, т. 2, с. 137). М. И. Сухомлинов (Исследования по древнерусской литературе. СПб., 1908, с. 312—313) упомянул византийскую картинку, на которой земля представлена старой женщиной, ее нижняя одежда зеленая, верхняя — красная. См. также: *Forster D.* Die Welt der Symbole. Innsbruck etc., 1961, S. 108—113 («Die Erde»). — Но тот же Ф. И. Буслаев, указав на лицевую углицкую рукопись псалтыри 1485 г., заметил: «Море изображается в виде женщины или старца, обыкновенно сидящего на морском чудовище: вероятно, остаток античного типа Нептуна. На «Страшном Суде» море, отдающее поглощенных им мертвецов, обыкновенно представляется в виде женщины, в нашей же рукописи — в виде бородатого Нептуна» (*Буслаев Ф. И.* Византийская и древнерусская символика по рукописям от XV до конца XVI в. — Соч., т. 2, с. 205).

³⁰ *Абрамович Д. И.* Описание рукописей С. Петербургской Духовной академии. Софийская библиотека. СПб., 1905, вып. 1, № 56.

³¹ Титла раскрыты, орфография поновлена, пунктуация проставлена.

явления твоего аз в глубинах ликовах? Отдаждь ми владыку моего, яко же рече пророк, яко того есть море и той сътвори е; по сем же рече и сушу руде его създасте, но понеже ты послежде еси създана, перстная мати и праха несытая, окровавление льстивых и гробе мертвых и грехом доме, что мучиши старейшаго себе, едина приемши держиши господа? Пусти его ко мне, да сбудется реченное: в море путие твои и стезя твоя в водах многах; отдаждь ми присного творца, да и моя ядра исполнит радости. И тако нудима земля от моря того волею // (л. 119) прятшеса, глаголюще: егда горшие тебе есмь въадивьяло естество расслабленное и нестойщее, горко шумящее, пагубное и славное пиво и непотребное житию, нетлечный путь, ветрове содруженный, посинелое борею; аще еси яко же рече честнейши мене, то к тебе бы прежде пришел господь, ныне от сего являет ми ся сам яко съдержачи ти есмь, яко во мне прежде луча испусти божество и толицем есмь тебе преждейши, яко мати есмь человеком, а ты пресмыкаемым гадом;³² аз святыя девы мати есмь, яже владыку прозябе, ты же лукавому змею, иже ругается животным; аз мати есмь пророком и апостолом и святым мужем, ты же дивним и пресмыкающим мати и двоеплавающих телес; аз есмь рай плодящи, имуща цветца и ароматы, ты же ветры нестройныа, аще бы по мне ходил, да бых аз держала господа, то не бых дала // (л. 119 об.) ему ни приблизитесь к тебе. Яко же съдевающема тварма иже вся исполняя и смотрения господь к морю прииде святыми стопами, хотя е прославити и почести водное естество, абие же море ядра простер с радостию приат господа, глаголя: приидете вся животная малая с великими свидетесе со цветци и простирающесе поклонитесе, иже исперва ны сътвори и живот нам дарова, вси противнии дуси пришедши вострепещете и вся нижняя и ветри умолчите и пришедше поклонитесе силы величеству и вси студении ветри устройтесе и вся волны утишитесе и господа животу и смерти с радостию примете. Кто возвестит вселенней днесь яко по пучине ходит господь, возвеселихся от вышнего яко херувим святей бых божиим пришествием и серафимьскую постелю приях, яко убо сядящего на крилу витреню зде имам ходяща, прикасающегося версех // (л. 120) аз имам хранящи сушаго, превышшаго всея сего на в своем лоне имам вмещена и пеша ходяща, ныне же убо к тому не нарекуся море, но купиль небесная. . .».

Основная мысль старого «Прения» здесь уже несколько затемнена: это как бы продолжение и развитие старых споров моря и земли, перенесенное на почву евангельских представлений. Текст старого «Прения» не только амплифицирован, но и пояснен, в частности рассказом о хождении Христа по водам (Еван-

³² Ср. в «Прения» по тексту «Цветника» XVI в.: «Аз есмь мати человеком и отци и ангели и пророком святом мужем и раю плодящему пвет всему: ректе и оwoще, а ты, море волнуемо, мати еси пресмыкающимся гадам и лукавому змию, иже ругается животным в скотом, и нестройному ветру и прочим гадам».

гелие от Марка, гл. 6, 47—51), который скорее всего и имеется в виду в словах: «господь к морю прииде святыми стопами, хотя е прославити», «яко по пучине ходит господь». Все это новое «Прение» производит впечатление самостоятельной разработки старого диалога русским книжником, правда, не очень умелой, но все же не лишенной ряда поэтических подробностей в описаниях и уподоблениях моря п земли. Угроза Моря наводнить Землю — «покрыю ти лице», его вопрошание — «что мучиши старейшого себе?», признания Земли (текстуально знакомые нам уже по старому «Прению»: «мати есмь человеком <...> святыя девы мати есмь <...> пророком и апостолом и святым мужем») — все это всецело исходит из антропоморфных представлений о спорящих стихиях. Перебранка Моря и Земли не лишена живости и естественности человеческого диалога, а их взаимные укоры достигают порой настоящей язвительности. Похваляясь перед Землею своим первородством («... прежде рождения твоего аз стоях, прежде бо явления твоего аз в глубинах ликовах»), Море вынуждает Землю на сильную и многоречивую отповедь: «нудима земля» называет его существом расслабленным, не стоящим твердо, горько шумящим, пагубным для человека, не идущим ему на потребу, соленым питьем («сланое пиво»), «нетлечным путем»,³³ т. е. путем непроторенным, дружелюбным для ветра и посинелым от бури. Отвечая на упрек Моря, назвавшего ее «перстьная мати», т. е. матерью праха, пыли,³⁴ и гробом для мертвецов, Земля, в свою очередь, похвалится, что она — пристанище плодородного рая, полного цветов и наполненного ароматами, Море же — пристанище «нестройных ветров»; если она — мать людей, то Море — обиталище змей и порождает чудовищ: «ты же дивиии и пресмыкающим мати и двоеплавающих телес» (что касается последнего наименования, то не является ли оно непонятым и неудачно переведенным греч. ἀμφίβιος — «живущий двойной жизнью», «земноводный?»). Кое-какие детали заимствованы; мы находим, например, в тексте этого «Прения» цитату из пролога XV в.;³⁵ некоторые же детали представляются самостоятельными находками составителя. Отметим, в частности, что с данным в тексте обликом олицетворенного Моря вступают в известное противоречие элементы его природоописательной, даже пейзажной характеристики; «посинелое» от бури, оно успокаивается («и вси студении ветри устронтеся и вся волны утишитесе»); «студеные» ветры во всяком случае — местная черта, едва ли существовавшая в предполагаемом иноземном южном источнике «Прения».

Принято считать, что в древнерусской письменности образы моря, бури и т. д. в их прямом и метафорическом применениях

³³ Срезневский И. И. Материалы для словаря древнерусского языка. СПб., 1895, т. 2, стб. 434 («нетлальный»).

³⁴ Там же, стб. 1771 («персть»).

³⁵ «Абле же моря ядра простер с радостию прият господа». См.: там же, т. 3, стб. 1640.

своим непосредственным источником имели переводную библейско-византийскую литературу.³⁶ Но именно в Новгородской области и на русском Севере традиционные стилистические формулы, связанные с морем, претерпевали наиболее заметные видоизменения под воздействием вполне реальных представлений о морской стихии, отразившихся также и в народной поэзии. В северорусской письменности «море» не синонимично «озеру» или «озерцу», как в памятниках старославянской письменности;³⁷ это и не расплывчатое, обобщенное народнопоэтическое понятие «окиян-моря», но вполне конкретное обозначение специфического водного простора. Мореходная практика новгородцев уже в раннее время привела к установлению местных юридических норм «морского права»,³⁸ а былины о Садко отображали ее средствами народнопоэтической речи. В северорусских житиях можно встретить даже морские пейзажи, сравнительно редкие и в западно-европейских литературах этого времени; в одном из таких житий, например, безвестный русский писатель с видимым увлечением и подлинным артистизмом описывал бурное море, которое как «дивный зверь» разгорается студеным разгорением, пробивается к земле бесчисленными волнами, ярится и пену точит, и горький рассол из глубины отрыгает, и множеством пьянства мутится.³⁹ Подобна этой и картина моря в «Прении», по крайней мере некоторые ее детали: «горько шумящее», «посинелое» во время бури, ветрам содружное, с глубинами («ядрами») соленой влаги.

Окончание «Прения» не представляет для нас особого интереса: оно составлено из комбинаций библейских и евангельских текстов и пытается объяснить происхождение «адова царства» в недрах земли. Все это — поздние прибавки к архаической космогонической легенде дуалистического характера. Таким образом, развитие «Прения» на русской почве шло путем усложнения его христианской символики, приближения к ортодоксальной церковной православной догматике, сквозь которую пробивались реальные и поэтические представления о стихиях природы. Тем значительнее сохранившиеся в нем архаические черты — исконное противопоставление олицетворенных моря и земли, вступающих между собою в беседу и похваляющихся друг перед другом.

Мы уже упоминали, что в раннюю эпоху античной комедии Эпихарм создал, может быть на народно-песенной или проговой основе, драматизированный диалог, в котором море и земля состязались в споре о благах, даруемых ими человеку. В более позднем миме Софрона речь, вероятно, шла уже о пре-

³⁶ *Адрианова-Перетц В. П.* Очерки поэтического стиля Древней Руси. М.; Л., 1947, с. 48.

³⁷ *Срезневский И. И.* Материалы для словаря древнерусского языка, т. 2, стб. 174.

³⁸ *Клейнберг И. Э.* Кораблекрушение в русском морском праве XV—XVI вв. — В кн.: Международные связи России до XVII в. М., 1961, с. 352—365.

³⁹ *Якопов И.* Жития святых северно-русских подвижников Поморского края. Казань, 1882, с. 173—174.

имущества жизни рыбака и земледельца и об отношениях их к морю и земле как к своим кормильцам. Далее, на античной почве, та же ситуация получила еще одно видоизменение в идиллии Мосха «Земля и море». В этом маленьком стихотворении уже нет олицетворений земли и моря; диалог превратился здесь в лирический монолог прибрежного жителя, который спорит сам с собою, рассуждая о том, какая из двух стихий благосклоннее к нему и какой из них и когда следует ему отдавать предпочтение. У Мосха отношения земли, моря и человека становятся темой индивидуалистической лирики, уже ничем не связанной с мифологическими представлениями о стихиях и всецело основанной на развитом чувстве природы и эстетическом ее восприятии. Это как бы конечное развитие темы, как она определилась в античной литературе.

В древнерусскую литературу и связанные с нею памятники народной словесности архаический спор о первородстве земли и моря вошел из какого-то византийского источника, может быть, имевшего античные корни, но осложненного христианской космогонией отреченной письменности. Он продолжал свое развитие на русской почве в том же направлении, причудливо сочетая затемненные образы античной мифологии с библейско-евангельской символикой и народнопоэтическими представлениями. Та же образная система господствует в апокрифической «Беседе трех святителей» — в замысловатом ответе на вопрос-загадку «Что есть еже рече писание: видах жену седяще на море и змия лежаща при ногу ея. . .»: «Море глаголет весь мир, жена ж бысть церковь посреде мира, а змия есть дьявол», — а также и в русских духовных стихах. В стихе о Голубиной книге, например, дается ответ на вопрос «Почему океан всем морям мати?» —

Посреди моря океанского
Выходила церковь соборная,
Соборная, богомольная. . .
Из той церкви, из соборной,
Из соборной, из богомольной,
Выходила царица небесная,
Из океана-моря она умывалася,
На собор-церковь она богу молилася,
Оттого океан всем морям мати.

Примечательна параллель к уже отмеченной нами в «Прении» живописной детали в словах Моря, обращенных к Земле: «Не можешь < . . . > сама лица своего умыти». Впрочем, и самый вопрос «Почему океан всем морям мати?», может быть, восходит в конечном счете к тому же космогоническому преданию, что и «Прение Земли и Моря».

В поздний текст русского «Прения», осложненный христианской символикой и получивший еще более отчетливую теологическую направленность, как мы видели, все же проникли слабые отзвуки реальных представлений о морской стихии. Дальнейшее внесение в него элементов природоописания было едва ли возможно: оно было заранее ограничено диалогической формой и

всей образной системой произведения, основанной на библейско-евангельской стилистической традиции. Поэтому «Прение» не открывало никаких путей для дальнейшей эволюции темы земли и моря в русской письменности в том направлении, в каком эта эволюция совершилась в античной литературе. Понадобилось около двух столетий, чтобы русская поэзия могла вновь воспринять эту тему из античного наследия, в том ее воплощении, какое получила она в идиллии Мосха — этом маленьком шедевре греческой природоописательной лирики.

В первой четверти XIX в. появилось несколько русских переводов «Земли и моря» Мосха, прозаических и стихотворных. Лучший из них принадлежит А. С. Пушкину, вольно, но с удивительным совершенством воссоздавшему античный образец. Пушкинское стихотворение «Земля и море» (1821 г.) относится к циклу «подражаний древним» и в то же время органически входит в ряд его собственных стихотворений 20-х гг., посвященных морю.⁴⁰ Пушкин следует Мосху в построении своего стихотворения, опуская лишь детали местного колорита и пейзажа:⁴¹ он не стремится внушить читателю образ греческого рыбака или пастуха, рассуждающих о преимуществах времяпрепровождения на море или в тени платановой рощи. Тем самым стихотворение Пушкина обобщеннее греческой идиллии. Сохраняя общий колорит идиллии Мосха, Пушкин говорит как бы от своего имени:⁴²

Когда по синеве морей
Зефир скользает и тихо веет
В ветрила гордых кораблей
И челны на волнах лелеет;
Забот и дум слагая груз,
Тогда левюсь я веселее —
И забываю песни муз:
Мне моря сладкий шум милее.
Когда же волны по брегам
Ревут, кипят и пеной плещут.
И гром гремит по небесам,
И молнии во мраке блещут,
Я удаляюсь от морей
В гостеприимные дубровы;
Земля мне кажется верней,
И жалок мне рыбак суровый;
Живет на утлом он челне,
Игралище сленой пучины,
А я в надежной тишине
Внимаю шум ручья долины.

Отдавая поэту дань восхищения, мы не должны забывать и о тех ранних опытах воплощения этой темы, какие дает нам русская письменность XVI—XVII вв.: последние, вероятно, также восходят к античной литературе, хотя и к другим, более архаическим фазам ее развития.

⁴⁰ Якубович Д. П. Античность в творчестве Пушкина. — В кн.: Временник Пушкинской комиссии. М.; Л., 1941, т. 6, с. 133—135.

⁴¹ Феокрит, Мосх, Буон. Идиллии и эпиграммы / Пер. и коммент. М. Е. Грабарь-Пассек. М., 1958, с. 167 (новый перевод «Земли и моря»), с. 314 (комментарий).

⁴² Пушкин А. С. Полн. собр. соч.: В 10-ти т. М.; Л., 1950, т. 2, с. 24.

ЭПИЗОДЫ ИЗ РУССКОЙ ИСТОРИИ В „ОПЫТАХ“ МОНТЕНЯ

1. Постановка вопроса

«Опыты» Монтеня представляют собой, как известно, обширный сборник случайных, разрозненных заметок, беспорядочную на первый взгляд смесь наблюдений и воспоминаний, мыслей о людях, книгах и житейских мелочах, цитат и лирических стихотворений в прозе. Своеобразие книги для того времени было не только в ее архитектурной прихотливости, но и в замечательном богатстве наполняющих ее материалов самого разнородного происхождения и качества, лишь оправленных в очень «капризную» форму. Уже первым своим читателям конца XVI в. она открывала весьма обширные горизонты, с разнообразных точек зрения показывая им и автора и окружающий его внешний мир. В себе одной она стремилась обнять все то, что следовало знать, чтобы утвердить в ищущих правды критическое и продуманное отношение к действительности. Вскрывая как бы попутно источники ходячих заблуждений и предрассудков, незаметно разоблачая популярные легенды и предавая осмеянию ленивую бездеятельность мысли и узость умственного кругозора своих современников, «Опыты» не столько внушали своему читателю особую и стройную систему идей, сколько снабжали его большим запасом фактических данных, который мог бы послужить причиной для вполне самостоятельного хода мысли.

Чуждый всякой метафизике, этот критический пересмотр и переоценка всего, что осталось в наследие XVI веку от предшествующих времен, производились методом наблюдения и опыта; поэтому в книге Монтеня мы находим, прежде всего, всю историю его времени; он занес сюда известия о географических открытиях, заметки о современных войнах, религиозных распрях, политических спорах эпохи и, опираясь на современность, увлекал за собой то в глубину веков, то в просторы дальних и малоизвестных земель. Перелистывая страницы «Опытов», порою не знаешь, чему более удивляться, — независимости ли собственных суждений Монтеня, неуловимо возникающих из приводимых им цитат и пересказа чужих идей, или же силе его любопытства, заставившей его блуждать по таким областям, куда не часто заглядывали его современники. Поэтому, быть может, не слишком неожиданным должно показаться и то, что в «Опытах» Монтень обнаруживает некоторое знакомство с историей Киевской Руси или с положением Москвы в эпоху татаро-монгольского ига. Но как бы мы ни были приготовлены к тому, чтобы встретить эти «русские эпизоды» на страницах «Опытов», происхождение их для нас не становится от этого менее интригующим. Стоит ли они в какой-нибудь связи с предшествующими высказываниями европейских писателей XVI в.? Через посредство каких источников дошли они

до автора? Имеют ли они какие-либо аналогии в современной им французской литературе? Что привлекло к ним Монтеня? Представляют ли они результат его случайных чтений, мимолетные заметки усердного библиографа или стоят в какой-то связи с впечатлениями житейского, а не книжного порядка?

Подобные вопросы давно уже возникали перед исследователями Монтеня, но нельзя сказать, что они уже получили разрешение: вскользь их касались П. Вилле, П. Боннефон и другие, специальный этюд отношении Монтеня к славянству посвятил Абель Мансю в своей книге «Славянский мир и французские классики XVI—XVII вв.». Вилле мог указать всего лишь несколько вероятных книжных источников интересующих нас эпизодов; некоторый анализ подобных источников пытался сделать писавший после Вилле Абель Мансю; к сожалению, он явно не достиг цели, так как предшествующие указания Вилле остались ему полностью неизвестны, а он сам оказался на ложном пути; неудача Мансю предопределена была неисторичностью самого подхода его к вопросу и недостаточной осведомленностью автора в русском историческом материале. Так, например, Мансю встал в тупик перед вопросом, почему то, что Монтень рассказывает о Ярополке, в действительности известно из летописных источников о Владимире, сыне Володаря; в качестве аналогии другим «русским» эпизодам «Опытов» Мансю смог привлечь только позднейшие высказывания Монтескье (1), а трактовку Монтенем татаро-монгольского ига на Руси пояснял ссылкой на картину французского живописца XIX в.¹

Карамзин в старом французском переводе, труд Альфреда Рамбо «Эпическая Россия» и несколько сочинений по истории Польши — таков несложный и явно недостаточный перечень пособий, которыми ограничился в своем исследовании Мансю. Естественно, что статья Мансю нуждается в полном пересмотре. Ревизия всего относящегося к вопросу материала, привлечение забытых или еще не использованных для этой цели источников, в первую очередь русских, приведет, думается, к небезынтересным результатам.

2. Монтень и Истома Швергин

Характеризуя объем знаний Монтеня о русском государстве, Мансю, как и другие исследователи, упустил из виду, что, помимо «Опытов», упоминания о «Московии» есть еще и в другом сочинении Монтеня — в его «Дневнике путешествия по Италии». Эти упоминания тем более интересны, что они предшествовали записи «русских эпизодов» в «Опытах» и, кроме того, внушены

¹ *Mansuy Abel. Le monde slave et les classiques français au XVI et XVII s. Paris, 1912, p. 27—42.* — Ср. рецензию G. Audiat: *Rév. des questions historiques, 1912, 1 oct., p. 621—622.*

были не книжными впечатлениями, а непосредственным соприкосновением с жизнью. Естественна догадка, что столь колоритно описанная Монтенем в «Дневнике» встреча его в Риме в начале 1581 г. с русским послом к папскому двору в какой-то мере предопределила и его последующий интерес к далекой северной державе и ее прошлому, нашедший в конце концов некоторое свое отражение в «Опытах». Рассказ Монтеня интересен, однако, и как немаловажное свидетельство об одном весьма темном эпизоде русской дипломатической истории.

Годы 1580—1581 Монтень провел в путешествии по Германии, Швейцарии и Италии; странствования эти предприняты были им в лечебных целях — после того как искусство отечественных врачей не принесло облегчения его недугам. Монтень из Швейцарии проехал в Аугсбург и Мюнхен, затем посетил Инсбрук и Сьену, а 30 ноября 1580 г. прибыл в Рим. Здесь он решил остаться на всю зиму. Дневник путешествия, писанный наполовину по-французски, наполовину по-итальянски, впервые увидел свет лишь в 1774 г., но с той поры составляет один из важнейших и любопытнейших документов для изучения личности и мировоззрения Монтеня. Простой и подчас суховатый рассказ дневника обо всем, что Монтень счел нужным занести в него для памяти, — о событиях дня, о курсе лечения, о встречах в пути и всех достопримечательностях своих странствований, — очевидно, не предназначался для печати; с тем большей полнотой и правдивостью вводит он читателя в круг жизни и повседневных интересов его автора. Характерно при этом, что природа, история, искусство тех стран, которые Монтень проезжал, интересовали его сравнительно мало; даже итальянские города и самый Рим не вызвали в нем особого интереса и не слишком изменили обычный деловой тон записей дневника. Тем сильнее, однако, интересовал Монтеня человек во всем разнообразии его национальных и бытовых отличий; всюду, где бы Монтень ни проезжал, нравы, особенности человеческого общежития, характерные черты индивидуальных лиц привлекали его прежде всего. Интерес Монтеня ко всякой иноземной, даже «варварской» культуре вытекал также из его критического отношения к современной ему «цивилизации»; своеобразная доруссоистская тенденция сквозит в его утверждениях о том, что крайнее развитие культурной жизни приводит страну к внутреннему разложению и упадку. И эта тенденция в записях «Дневника» сказалась не менее ярко, чем на страницах «Опытов».² Отсюда — ценность «Дневника» как своеобразного этнографического документа, кажется, еще недостаточно подчеркнутая его исследователями, с его точным описанием быта, нравов, костюмов различных зе-

² Недаром спутники Монтеня утверждали, что не будь их и путешественник один, то из Рима он продолжал бы свое путешествие «в неизвестные страны»; запись его секретаря гласит, что Монтень при наличии более благоприятных обстоятельств «вместо того чтобы объезжать Италию, скорее отправился бы в Краков или в Грецию» (*Bonnefon P. Montaigne et ses amis. Paris, 1898, t. 2, p. 16—17*).

мель. Для Монтеня внешние особенности бытовой среды часто не менее любопытны, чем внутренние побуждения человека, так как различия между представителями отдельных национальностей, с его точки зрения, в гораздо большей степени определяются внешними свойствами их, чем внутренними, — например, специфическими свойствами речи, но не мысли, деталями одежды и манерой держать себя при других, но не особенностями «человеческой породы».

О том, как зорко приглядывался Монтень к отдельным представителям различных национальностей, свидетельствует портрет московского посла к папе Григорию XIII, зарисованный им в «Дневнике». Это портрет во весь рост, написанный сочными и свежими красками. обстоятельно и подробно описывает Монтень непривычный для его глаз наряд этого «московита», упоминает о причинах, побудивших его приехать в Рим, о предполагаемых результатах переговоров, об образе его жизни и даже, с чужих слов, записывает то, что на непонятном для него языке сказано было этим послом по случаю одной церемонии, свидетелем которой ему пришлось быть. Тот факт, что некоторые подробности этой характеристики отсутствуют в официальных документах, излагающих историю приема русского посольства в Риме, достаточно ясно свидетельствует об осведомленности Монтеня, о разнообразии источников его информации, а это, в свою очередь, говорит о силе его любопытства.

Вот этот рассказ Монтеня: «Московский посол также сегодня прибыл сюда, в Рим; он одет в багряный плащ (*manteau d'escarlate*) и сутану из золотой парчи (*une soutane de drap d'or*); на нем шапка в виде ночного колпака из золотой парчи, отороченная мехом, под которой он носит скуфью из серебристого полотна. Это уже второй московский посланник, который прибыл к папе. Первый был здесь при папе Павле. Здесь полагают, что поручением его является побудить папу вмешаться в войну, которую Польша ведет с его государем, ссылаясь на то, что последний может выдержать первый напор турков, если же его сосед ослабит его, он не способен будет к другой войне, а это откроет окно для прихода турков и к нам; он предлагал также сгладить некоторые религиозные разногласия, какие имел он с римской церковью. Посланника поместили на квартире у кастеляна, где жил и его предшественник во времена Павла, и кормили за счет папы. Он настаивал на том, что не хочет целовать ноги папы, но лишь только правую руку, и не соглашался на это, несмотря на то, что ему сообщили, что и сам император проделывал эту церемонию, — даже пример королей был для него недостаточен. Он не умел говорить ни на каком языке и явился сюда без переводчика. Он имел лишь трех или четырех человек в своей свите и говорил, что прибыл сюда с большой опасностью через Польшу. Его народ находится в таком неведении относительно международного положения, что он привез в Венецию письма своего повелителя, адресованные генерал-губернатору Венецианской синьории. Спрошенный о смысле

этого обращения, он ответил, что они думали, будто Венеция принадлежит к папским владениям и что он посылал туда губернаторов, как в Болонью и другие места. Бог весть из каких источников эти вельможи (*ces magnifiques*) утвердились в такой ошибке. Он сделал подарки и там и папе, состоявшие из соболей и черных лисиц, мех которых еще более редок и дороже ценится».³

Через несколько страниц Монтень вновь упоминает, что «москвит» присутствовал на празднике, данном в честь испанского посла. «В замке св. Ангела сделали пучечный салют, и посланник был препровожден во дворец, сопровождаемый несколькими трубачами, барабанщиками и стрелками. Я не ходил внутрь слушать приветственные речи и глядеть на церемонию. Московский посланник стоял у разукрашенного окна и, глядя на торжество, сказал, что он приглашен был видеть большое сборище, но что когда у него на родине говорят о конных отрядах, то речь идет о 25 или 30 тысячах коней, и издевался над всеми этими приготовлениями. Это все мне сказал тот человек, который был назначен беседовать с ним через переводчика».⁴

Запись Монтеня относится к концу февраля 1581 г.; эта дата позволяет вполне безошибочно определить, какого «москвита» он имел в виду: речь идет о Леонтии Шевригине, по прозвищу Истома, которого в итальянских документах называли, переделывая его имя на свой лад, — *Tommaso Severigeno*.⁵

Н. П. Лихачев, собравший наибольшее количество фактов об этом посольстве, должен был констатировать, что «вся миссия Шевригина облечена какой-то интересной дымкой тумана», а о нем самом заявить: «Мы не можем указать в документах ни одного упоминания о Шевригине ни до, ни после посылки».⁶ Впо-

³ *Montaigne. Journal de voyage/Publ. avec introd., des notes etc. par Louis Lautrey. Paris, 1906, p. 234—235; D'Ancona Alessandro. L'Italia alla fine del secolo XVI. Giornale del viaggio di Michele de Montaigne in Italia. Città di Castello, 1889, p. 265—267.*

⁴ *Montaigne. Journal. . . / Ed. Lautrey, p. 248—249; D'Ancona Alessandro. L'Italia. . . , p. 293.*

⁵ *Maffei G. Annali di Gregorio XIII. Roma, 1742, t. 2, p. 182. — P. Pierling (La Russie et le Saint Siège. Paris, 1897, t. 2, p. 6) говорит, что Истома в Европе называли «Thomas Severingen, par suite d'une analogie phonétique purement accidentelle»; в «Памятниках дипломатических сношений» (т. 10, с. 123—124) его прямо называют Фомой, а не Леонтием; русские источники не объясняют нам этого противоречия. Что касается иностранных известий о Шевригине, то они опубликованы и исследованы далеко не полностью. Е. Ф. Шмурло указал на ряд подобных известий в итальянских архивах — например, на письмо о Шевригине кардинала Комо к французскому нунцию Дандини, на письма 1581 г. к нунцию Сего. к нунциям испанскому и венецианскому, которые «любопытны своими оттенками в освещении посольства московского царя» (Россия и Италия, Сб. исторических материалов и исследований. СПб., 1913, т. 2, вып. 1, с. 112, 113, 136—138; т. 2, вып. 2, с. 303, 309, 311, 320).*

⁶ *Лихачев Н. П. 1) Антоний Поссевино и Истома Шевригин. — Всест. всемирной истории, 1900, № 2, с. 1—20; 2) Дело о приезде Антония Поссевино. — Летопись занятий Археографической комиссии, СПб., 1903, вып. 11, с. 143 и след.*

следствии, правда, Н. П. Лихачеву удалось из связки случайно спасенных им русских документов XVI в. извлечь известие, что Шевригин по возвращении из Италии заведовал в Москве вместе с Болтиным содержанием стрельцов и казаков.⁷ Это отчасти противоречит высказанному им ранее предположению, что Шевригин подвергся опале в результате своей миссии в Рим, но несколько не устраняет неясностей ни в его биографии, ни в истории его пребывания в Италии. Здесь все полно темных мест: неожиданным кажется и решение русского правительства возобновить сношения с папским престолом после многих лет полного разрыва с Римом,⁸ неоправданным кажется и «выбор в гонцы лица, о котором источники, как нарочно, хранят полное молчание». Глухие, противоречивые известия о поведении Шевригина в Риме и особенно в Венеции вызвали также недоуменные вопросы и догадки исследователей. Начать с того, что Шевригин, собственно говоря, не был послом в обычном московском понимании этого термина. В посольских актах он называется просто гонцом или даже «легким гончиком», а в грамоте Грозного прямо говорится: «... и мы послали паробка своего молодого ... потому что для войны было добра сына боярского нельзя послати, и мы для того послали молодого сына боярского».⁹ Н. П. Лихачев разъясняет, что «молодость царского гонца в этом случае — его общественное положение, а не лета», поскольку «молодой паробок» противопоставляется здесь «доброму» сыну боярскому: очевидно, Шевригин происходил из незнатных боярских детей, поэтому и к скромному званию гонца в грамоте Грозного к папе «не прибавлено ничего для увеличения чести посланца», для обеспечения правильности ритуала посольского приема; потому также он не был сопровождаем многолюдной свитой, о чем упоминает и Монтень. Впрочем, вопреки свидетельству Монтеня, при нем все же находились два толмача — ливонец по происхождению Поппер, вероятно не знавший по-итальянски, и присоединившийся к Шевригину в Любеке миланский купец Франческо Паллавичино. «Почему был избран в гонцы к папе именно Шевригин и почему он был послан без всякого даже писца-подьячего, — замечает Н. П. Лихачев, — решительно неизвестно»; тщательное же рассмотрение всех сохранившихся материалов привело его к заключению, что Шевригин «был мало знаком с формулами посольской дипломатии».¹⁰ В связи с последним обстоятельством, быть может, находится загадочное поведение Шевригина в Венеции. Венецианский дож при про-

⁷ Лихачев Н. П. Упоминания Истома Шевригина по возвращении его из посольства в Италию. СПб., 1913 (отт. из Сборника в честь Д. Ф. Кобеко), с. 3 и след.

⁸ Монтень ошибается, утверждая, что Шевригин был вторым русским послом в Риме; первый прибыл сюда в 1473 г. при папе Сиксте IV, второй — при Клименте в 1525 г.

⁹ Памятники дипломатических сношений древней России с державами иностранными. СПб., 1871, т. 10, с. 298.

¹⁰ Лихачев Н. П. Упоминания Истома Шевригина. . . , с. 3.

езде Шевригина через его владения в феврале 1581 г. устроил Шевригину торжественный прием; на аудиенции у дожа Шевригин подал ему грамоту от московского царя, в каковой излагалась просьба о свободном пропуске московского посольства в Рим и обратно. Паллавичино прямо обвинял Шевригина в том, что тот подделал грамоту, сочинив ее самолично, чтобы оправдать официальный прием у дожа, и самочинно возвел себя в чин посла, полномочиями которого он вовсе не был облечен в Москве. Пирлинг подхватил это обвинение Шевригина в обмане и подлоге; завязалась полемика, в которой приняли участие Е. Ф. Шмурло, Ф. И. Успенский, Н. П. Лихачев и др.¹¹ Но, в сущности, вопрос остался открытым и донныне, поскольку налицо ряд компрометирующих Шевригина обстоятельств: необъяснимая пропажа ответной грамоты дожа к московскому царю, якобы отнятой у Шевригина на обратном пути «разбойниками», отсутствие копии грамоты, адресованной к дожу, в московских документах, уличающие показания Паллавичино и т. д. Ко всем этим уликам Пирлинг прибавляет еще указание на то, что и в наказе гонцу и в прочих русских документах Венецианская республика рассматривается как провинция папской земли. Однако ни Пирлингу, ни русским историкам, ему возражавшим, не было известно свидетельство Монтеня, который записал в своем дневнике личные признания Шевригина о неосведомленности в Москве относительно политического положения Венеции. В то же время Монтень утверждает, — по-видимому, на основании тех же авторитетных источников, снабдивших его известием о словах московского посла, — что при Шевригине находилась *московская грамота* к «генерал-губернатору Венецианской сеньории». Возражая Пирлингу, Лихачев указывает на текст «Обзора дипломатических сношений» Н. Н. Бантыш-Каменского, который говорит, что «с посланным к римскому папе гонцом Истоמוю Шевригиным писано было от царя Иоанна Васильевича к венецианскому дожу Николаю Земонту о пропуске сего гонца», и замечает, со своей стороны, что этот факт «не может быть извлечен из напечатанных памятников посольских сношений», но что во всяком случае «в этой истории есть нечто темное». В таком именно смысле свидетельство Монтеня достойно внимания, так как оно проливает некоторый свет на столь запутанный вопрос.

Осведомленность Монтеня в истории этого русского посольства не подлежит никакому сомнению. Такое точное объяснение причины появления посольства в Риме заставляет думать, что он, оче-

¹¹ Успенский Ф. И. Сношения Рима с Москвой. — ЖМНП, 1885, кн. 8, с. 234, 300, 411—412; Шмурло Е. Ф. Отчет о двух командировках в Россию и за границу. Юрьев, 1895, с. 146; Лихачев Н. П. Упомянутая Истома Шевригина. . .; Pierling P. 1) Bathory et Possevino; Documents inédits sur le rapport du Saint Siège avec les slaves. Paris, 1887, Préface; 2) La Russie et le Saint Siège, t. 2, p. 6; Бильбасов В. Италия и Россия в XVI столетии. — Рус. старина, 1893, кн. 1, с. 152—155.

видно, знал и о содержании данного Истоме наказа. В царской грамоте, которую должен был передать гонец папе, подробно излагалось, как Стефан Баторий «учинился недругом государя великого князя за то, что тот, будучи в докончании с цесарем Максимилианом», желал видеть «на коруне польской не его, Стефана, а сына цесарева». «И та наша ссылка, — писал царь, — с братом нашим дражайшим с Максимилианом цесарем стала салтану Турскому и Стефану королю ненавистна, потому сложася на нас и стали за одного». Указывая на свою готовность «быть в одиночестве» как с папою, так и с цесарем «против всех бесерменских государей», царь выражал желание, чтобы «папа к Стефану королю от своего папства и учительства приказал, чтоб Стефан королю с бесерменскими государствами не складывался и на кроворазлитие крестьянское не стоял». Все это подтверждается рассказом Монтеня.

Не менее интересен и облик самого Шевригина, зарисованный Монтенем, тем более что некоторые из его показаний расходятся с другими свидетельствами. Так, например, по его словам, Шевригин из гордости и тщеславия отказывался проделать тот обряд, который совершил сам Монтень, — целованье «красной с белым крестом папской туфли», столь подробно описанный в «Дневнике», между тем Н. П. Лихачев, основываясь на итальянских известиях, отметил, что Шевригин «правил посольство на коленях и поцеловал папскую туфлю», — два обстоятельства, которых обыкновенно нельзя было добиться от московских послов. Папа чтит Шевригина «выше всех», и он папу чтит, «выполнял обряд, обязательный, как он видал, и для других посланников». Лихачев усматривает в этом доказательство известной широты кругозора и природных способностей Шевригина, несомненно незаурядного человека. Он тактично и ловко выполнил свое ответственное поручение, а отнюдь не как «заурядный и молчаливый исполнитель царской воли, заучивший наказ и боявшийся отступить от него хотя на одну ноту».

Рассказ Монтеня о поведении Шевригина во время торжества по случаю приема испанского посланника показывает его, как и в эпизоде с папской туфлей, со стороны более типичной для москвича конца XVI в.: Шевригин, обладавший большим национальным достоинством, умело поддерживал честь своего государя, намеренно издеваясь над великолешием и пышностью виденной им церемонии, хвастаясь родными порядками и притворяясь равнодушным ко всему окружающему; это, впрочем, отнюдь не помешало ему проявить большую внимательность ко всему, что он видел в чужих краях, и представить весьма толковый отчет о своих странствованиях.¹²

¹² Путешествие Шевригина в Рим и Венецию рассказано в эпизодах третьей книги романа В. Костылева «Иван Грозный» — «Невская твердыня» (М., 1948, ч. 2, гл. 1—2). Шевригин изображен здесь как «деловой, смелый, верный слуга царя Ивана»; к сожалению, в основу его литературного портрета

Можно представить себе, с каким любопытством приглядывался Монтень к облику впервые увиденного им москвича, к его яркой багряно-золотой одежде, к его величавой осанке, прислушивался к его надменным речам, которые Монтеню были переданы состоявшими при «московите» людьми (не Франческо ли Паллавичино?). Но характерно, что, зарисовывая портрет Шевригина, Монтень удержался от каких-либо осуждающих его восклицаний, от обычного в таких случаях в устах иностранцев ответного издевательства над «изнанкой» этого внешнего блеска, неприступной гордыни и спесивой кичливости достоинствами родной земли. Монтень никак не комментирует свой правдивый рассказ. Представляется очень вероятным, что за обликом Шевригина, этого незнатного русского боярина, силою обстоятельств заброшенного в Рим и лишенного соотечественников, знакомых и друзей, Монтень пытался уже угадать и людей его далекой северной родины, представлявшейся всем европейцам XVI в. туманной и серой массой. Ведь, говоря о заблуждении Шевригина относительно Венецианской республики, он не ставит этого ему в вину, а прямо ссылается на «его народ». Не надо забывать, что это яркое впечатление от «московита», закрепленное в дневнике, не было впечатлением минуты: Шевригин провел в Риме целый месяц; 26 февраля папа дал ему аудиенцию, поселил в палатах Марк-Антонио Колонны и, принимая его «с честью», продержал до 27 марта 1581 г., когда русское посольство двинулось в обратный путь. Монтень оставил Рим месяц спустя — 19 апреля того же года.

Можно предположить, что к этому римскому впечатлению о «московите» примешались у Монтеня и другие известия о «Московии», которые он также должен был получить в чужих краях. О войне Батория с Грозным много говорили тогда в Западной Европе, особенно в Германии, где вообще «Московию» знали лучше, чем в странах романского юга.¹³ Злобой дня в политических делах был ливонский вопрос; о широких и дальновидных европейских замыслах Ивана Грозного говорили не только в правительственных сферах, но и в широких массах населения; летучие листки разносили и политические известия и слухи о грозном московском царе. Монтень, столь интересовавшийся современной ему историей, столь внимательно следивший за религиозной борьбой, войнами и географическими открытиями, мог, путешествуя, не раз натолкнуться на различные известия о русском государстве. Возвратившись во Францию, Монтень привез их с собою в числе своих заграничных впечатлений. Здесь, однако, эту далекую страну знали еще мало и плохо.

положен лишь общеизвестный документальный материал; свидетельство Монтеня, которое могло дать автору ряд дополнительных — и очень ярких — штрихов, осталось ему неизвестным.

¹³ *Васильевский В. Г.* Польская и немецкая печать о войне Батория с Иваном IV. — ЖМНП, 1888, кн. 1, 2; Библиографические отрывки. — Отч. зап., 1858, т. 118, № 5, отд. 1, с. 259--260; *Platzhoff W.* Das erste Auftauchen Russlands. — *Historische Z.*, 1916, Bd 115, S. 80.

3. Русское государство во французской литературе XVI века

В исторической литературе долго господствовало убеждение, что Франция познакомилась с русским государством значительно позже других европейских держав и что поводы для непосредственных сношений Москвы и Парижа нашлись лишь в 80-е г. XVI в. В действительности, — как мы знаем сейчас, особенно после исследования Делаво, — французо-русским торговым связям, интенсивно завязавшимся при Генрихе III, предшествовал довольно значительный период торговли, не регламентированный никакими правительственными договорами; попытки же французского правительства войти хотя бы через третьих лиц в сношения с «московитами» восходят к началу XVI в.¹⁴

В середине этого столетия в правительственных кругах Франции не без интереса следили за первыми успехами Ивана Грозного в Ливонии и обнаруживали известное любопытство к английским открытиям в северных морях. «Ливонский вопрос» еще сильнее занял французское правительство в 70-е гг., когда с вступлением на престол герцога Анжуйского (под именем Генриха III) возобновились разговоры о возможности присоединения Ливонии к французским владениям. Из возникшей по этому поводу переписки двора с французским послом в Дании Шарлем Данзэ возник выдвинутый последним проект правительственного вмешательства в русско-французские торговые отношения, осуществлявшиеся через Нарву; потеря же Нарвы русскими и усилия шведов и отчасти поляков помешать развитию этой торговли привели к необходимости (на которую указал тот же Данзэ) вести эту торговлю тем путем, каким уже давно пользовались англичане и вскоре воспользовались голландцы, — через Белое море. Известно, что Генрих ответил любезным письмом царю Федору, известившему его о вступлении на царство. Письмо Генриха III к Федору с заверением в дружбе и с просьбами о содействии французским купцам привез в Москву Франсуа де Карль (François de Carle, gentilhomme du roi); в ответ на него царь Федор писал 6 октября 1585 г., что он позволяет французским купцам приходить в Россию и торговать всевозможным товаром.¹⁵

¹⁴ Delavaud L. Les Français dans le Nord. Notes sur les premières relations de la France avec les royaumes Scandinaves et la Russie septentrionale depuis l'antiquité jusqu'à la fin du XVI s. — Soc. Normande de géographie; Bull. de l'année 1910, t. 32, p. 245—292; 1911, t. 33, p. 31—81 в отдельном (Rouen, 1911).

¹⁵ Так как, по замечанию А. Рамбо, «французские архивы иностранных дел не сохранили никаких следов о миссии Франсуа де Карля» (Rec. des instructions données aux ambassadeurs et ministres de la France. Paris, 1890, t. 8, p. 14), то о личности этого посла высказывались разные догадки (см., например, у Delavaud, p. 50, note 3). Louis Paris (La chronique de Nestor/Trad. en français. . . accompagnée de notes et d'un recueil de pièces inéd. touchant les anciennes relations de la Russie avec la France. Paris, 1834, t. 1, p. 384) предполагал, что он был племянником бордосца Lancelot de Carle, известного путешественника (Лансло де Карль был в дружеских отношениях с Миле-

В июне 1585 г. моряк Жан Соваж из Дьеппа привел французский корабль в устье Северной Двины (к Николо-Карельскому монастырю), а в марте 1587 г. приехавшие с ним в Россию французские купцы получили патент на право торговли в Холмогорах, Архангельске, Вологде, Ярославле, Новгороде и Москве на том основании, что это были первые французы, рискнувшие прибыть в Архангельск для торговли с нашей страной.¹⁶

Но если французские моряки еще в 70-е гг. XVI в. имели непосредственные сношения с московским государством, а французские купцы и ранее могли доходить до самой Москвы, если, наконец, в самом Париже имелась богатая и влиятельная торговая фирма, специально ведавшая коммерческими делами с Москвой, то сведения о России все же распространялись во Франции чрезвычайно медленно. Очевидно, что, несмотря на все усилия, торговля налаживалась плохо и в конце концов заглохла. При отсутствии общей заинтересованности во Франции в сношениях с русским государством и специальных агентов информации о нем — и в высших кругах и среди буржуазии — Московию долгое время знали во Франции слишком плохо. Книг, в которых можно было бы почерпнуть известия этого рода, вообще было мало, да и те изданы были большей частью в немецких землях или в Италии; карты северо-восточных стран отсутствовали; большинство сведений о «Московии», попавших во французскую печать, заимствовано с чужих слов; кроме того, они были еще тесно свя-

лем Лоппталем, Ронсаром и Дюбелле и умер ок. 1570 г.), оставившего ряд исторических трудов. Очевидно, Франсуа де Карль — отец жены Этьена Ла Бовси, Маргариты (см.: *La Bovesi Etienne de*. Рассуждение о добровольном рабстве / Пер. и коммент Ф. А. Коган-Берштейн. М., 1952, с. 196). Как известно, Монтень был близким другом и душеприказчиком Ла Бовси.

¹⁶ Описание путешествия Жана Соважа по рукописи Национальной библиотеки в Париже опубликовал L. Paris (*La chronique de Nestor*, t. 1, p. 395 и сл.). По этому изданию русский перевод документа сделал Н. Полевой (*Записка о путешествии в Россию Жана Соважа Дьеппского в 1586 г.* — *Рус. вестн.*, 1841, т. 1, с. 223—230); в 1856 г. тот же рассказ, но по другой рукописи опубликовал, не подозревая, что он уже опубликован, Louis Lascour (*Mémoire du voyage en Russie fait par Jehan Sauvage*. Paris, 1855); по поводу этого издания см. заметку Н. А. Попова в «Московских ведомостях» (1855, № 14) и ЖМНП (ч. 90, № 4, отд. 6, с. 23). Еще раз то же открытие сделал Г. В. Форстен (Архивные заметки в Париже, Брюсселе, Копенгагене и Стокгольме. — ЖМНП, 1887, июнь, отд. 2, с. 53), давший описание рукописи Национальной библиотеки (f. franç. MS 704), но не упоминающий о ее изданиях (см. еще: *Филиппов А. М.* Жан Соваж из Дьеппа. — *Новое время*, 1903, № 9722). Что касается «*Traité de commerce entre le Tsar et les marchands parisiens*», датированного 23 марта 1587 г., то его впервые напечатал Н. Omont (*Bull. de la soc. de l'histoire de Paris et de l'île de France*, 1884, t. 11, p. 132; воспроизведен А. Рамбо в восьмом томе указанных «*Instructions*»). Этот патент выдан представителям фирмы «*Jaques Parents et ses associés de Paris*», которые, по предположению Рамбо, тождественны с «*Colas*» и «*Du Renel*», упоминающимися в качестве спутников Соважа; по разысканиям Charles de la Roncière (*Histoire de la marine française*. Paris, 1910, t. 4, p. 257), первый был марсельским судовладельцем, второй — сыном богатого царьского купца. Очень возможно, что слухи о путешествии Соважа и об организации в Париже специальной купеческой компании для торговли с Москвой могли дойти и до Монтеня.

заны со средневековыми представлениями о нехристианском Востоке или диком Севере.¹⁷

Некоторые сведения о «Московии» можно найти в трудах Гильома Постеля, первого французского профессора восточных языков (с 1537 г.) в «Collège de France», который побывал в Константинополе, хвалился знанием «иллирийского» (славянского) языка и гордо заявлял, что от Франции до Китая он мог бы совершить путешествие без переводчика. В написанном им в 40-е гг. XVI в. трехтомном труде «De la république des Turcs» (1560) Постель несколько раз упоминает «москвитов» и «татар», утверждая, например, что «христианское государство москвитов вот уже больше двухсот лет не дает этим татарам сделать набег на Европу».¹⁸

Самые фантастические известия о землях, пограничных с русским государством, помещены в книге Гюбера де л'Эпин.¹⁹ Переработка Ф. Бельфоре в 1575 г. французского перевода «Космографии» Себастьяна Мюнстера (с 1552 г. издававшегося несколько раз)²⁰ характеризуется самостоятельными добавлениями самого невразумительного и неправдоподобного содержания.²¹ Гораздо интереснее изданная в том же году «Космография» Андре Тэве (1502—1590), придворного французского географа, так как сообщенные им здесь сведения о русском государстве частично основаны на архивных и расспросных данных, собранных им как во время его долголетних странствований, так и в самом Париже, но и они даны еще без всякой критической обработки.²² Перу того

¹⁷ В то время как в Германия уже опубликованы были карты Антония Вида, «Космография» С. Мюнстера (1544), труд Герберштейна (1549), — самостоятельные попытки французов в этом отношении случайны и малоудачны. В «Космографии» (1544) Жана Фонтено (известного также под именем Jean Alphonse de Saintonge), изданной только в 1904 г., сообщения о Севере и, в частности, о Московии чрезвычайно сбивчивы; то же можно сказать о специальной карте Московии, вычерченной в 1585 г. неким Даринелем, по-видимому, фламандцем или французом (*Michov H. Weitere Beiträge zur älteren Kartographie Russlands. Hamburg, 1907, S. 38*).

¹⁸ О Г. Постеле см.: *Крымский А. Е.* 1) Первые шаги западноевропейского востоковедения. — Древности восточные. М., 1903, ч. 2, вып. 3, с. 205—206; 2) Вступ до історії Туреччини. Киев, 1926, вып. 3, с. 88—96. — Выборка известий Постеля о Восточной Европе сделана у М. Левченко (3 поля фольклористики и этнографии. Киев, 1927, с. 12—15), откуда взяты и вышеприведенные цитаты. Книга Постеля была известна Монтеню (*Villey P. Les livres d'histoire moderne utilisées par Montaigne: Contributions à l'étude des Essais. Paris, 1908, p. 423*).

¹⁹ *L'Espine Hubert de. Descriptions des admirables et merveilleuses régions de Tartarie. Paris, 1558.*

²⁰ *Briève description de la Pologne, Litouanie, Samogétie, Russie et Moscovie par Seb. Münster. Extrait de la Cosmographie Universelle, publ. à Bâle, en 1552/Ed. P. L. Jacob-Bibliophile. Paris, 1872.*

²¹ *Belleforest François de. La Cosmographie Universelle de tout le Monde. Paris, 1575.* — Сведения о русском государстве помещены во втором томе (Russie, p. 1821; Moscovie, p. 1822—1827).

²² *Thevet A. Cosmographie Moscovite. Paris, 1575; переиздана (с сокращениями) А. Голицыным (Paris, 1858).* Данные о Тэве и его изученных русского государства см. в моей книге («Сибирь в известиях западноевропейских

же Тэве принадлежит, между прочим, изданный им в 1584 г. объемистый труд — сборник избранных биографий исторических и современных ему деятелей («*Les vrais portraits et vies des hommes illustres*»). Здесь среди биографий таких лиц, как например шотландский король Яков V, князь Капуанский Л. Строчицци, албанский народный герой Георгий Кастриот Скандербек и др., помещено жизнеописание в. кн. Василия Ивановича («*Duc de Moscovie*») с любопытным его портретом.²³ Хотя многие из сочинений Тэве, в которых он говорит о России, в том числе и скопированный им в 1586 г. «Словарь московитов»,²⁴ оставались в рукописи до начала XX в., а ныне не изданы и до сих пор, собранные им сведения могли иметь некоторое распространение, — правда, только в узком кругу. Тэве хорошо знали писатели того времени; в приятельских отношениях был он с Ронсаром, Дюбелле, Байфом, Жоделлем и, по-видимому, был знаком с Монтенем. «Космография» Тэве была в библиотеке автора «Опытов».

После всего сказанного не покажется неожиданным, что о «Московии» как о «варварской» стране говорит и такой блестящий

путешественников и писателей» (Иркутск, 1932, т. 1, с. 136—145; 2-е изд. Иркутск, 1941, с. 138—148).

²³ Сборник Археологического ин-та. СПб., 1881, т. 5, ч. 1, с. 241—242, 303, 318.

²⁴ Б. А. Ларин (см.: 1) Парижский словарь русского языка 1586 г. — Сов. языковедение. Л., 1936, т. 2, с. 65—89; 2) Парижский словарь московитов 1586 г. Рига, 1948) выяснил, что словарь Тэве был им списан с рукописи одного из участников путешествия Жана Соважа и лишь расположен им в алфавитном порядке. Однако Б. А. Ларин чрезмерно суров к Тэве, называя его «несомненным плагиатором, хвастуном и глупцом». Тэве и до 1586 г. засвидетельствовал если не знакомство с русским языком, то во всяком случае известный интерес к нему, достаточно редкий у французов XVI в.; и в «Космографии» и в «Достоверных портретах» он привел довольно много русских слов и географических названий, хотя и транскрибированных еще довольно неточно, в том числе и господню молитву «en langage moscovite». О портрете Василия Ивановича Тэве писал, что он заимствовал его из одной старой книги, написанной на языке московитов и их буквами («. . . Son portrait. . . j'ai tiré d'un viel livre imprimé en langage moscovique et en leur characters. . .»), и хотя до нас не дошло такого издания XVI в., но возможно, что Тэве имел под руками книги русской печати: он довольно подробно говорит о начале книгопечатания в Москве. В своей «Космографии» Тэве отваживался на собственные этимологии; некоторые были довольно удачны и цитировались последующими писателями, например его рассуждение о родстве термина *Zag* и *Sazar*, на которое ссылается еще С. Коллинз в 1667 г. (*Collins S. Moscovitische Denkwürdigkeiten*. Leipzig, 1929, S. 28—29, 86). Б. А. Ларин скептически отозвался обо всех информаторах Тэве, знакомивших его с русским языком до 1586 г., а между тем Тэве сообщил, что еще в 1576 г. он расспрашивал о русских одного англичанина («un seigneur anglois»), который пролежал в их стране семь лет. Н. Собко (Сборник Археологического ин-та, т. 5, ч. 1, с. 318) с полным, как нам кажется, основанием предположил, что это мог быть Ант. Дженкинсон, из устных сообщений которого Тэве, скорее всего, и составил свой рассказ о заведении типографии в Москве. Сопшемся также на то, что в одном из своих неизданных трудов, рукописью которого пользовался Charles de la Roncière (*Histoire de la marine française*, t. 4, p. 255), Тэве прямо говорит о миссии Франсуа де Карля в Москве и ссылается на письмо царя Федора.

эрудит своего времени, как Франсуа Рабле.²⁵ Правда, и до него дошел слух о превосходных боевых качествах русских солдат. В «Гаргантюа и Пантагрюэле» капитан Мердайл говорит Пикрохолу: «Маленький приказ, который вы пошлете москвитам, в один миг доставит на поле брани четыреста пятьдесят тысяч отборных бойцов», — но это не более, чем гипербола. В других французских художественных и публицистических произведениях второй половины XVI в. упоминания о «Московии» и «москвитях» крайне редки. Если они попадаются в «Трагических песнях» Агриппы д'Обинье, то, вероятно, только потому, что этот гугенот пристально следил за своими собратьями, разбредшимися по всей Европе.²⁶

Во втором томе «Менипповой сатиры» (изд. 1593, 1594, 1599 гг. и т. д.) или, вернее, в произведении, лишь внешне связанном с этим знаменитым памфлетом, — в «Новостях с луны» — находится анекдот о «москвитянках» и их мужьях,²⁷ но он восходит к «Запискам о Московии» Герберштейна (1549) и, кроме того, в своей французской редакции выводит за хронологические пределы интересующей нас эпохи.²⁸

На таком скудном фоне особую ценность приобретают посвященные Московии и Киевской Руси эпизоды в «Опытах» Монтеня. Даже по своей фактической содержательности они гораздо интереснее всего того, что знала о «Московии» французская художественная и научная литература XVI в. Наконец, Монтень вычитывал их из книг; источники этих страниц его труда могут быть указаны вполне точно.

²⁵ *Mansuy Abel. Le monde slave. . .*, p. 9—26; *Modern Philology*, 1926, 24, p. 137—138; *Lefranc A. Les navigations de Pantagruel: Étude sur la géographie rabelaisienne. Paris, 1805*, p. 183—185, 305—308. — Догадки прежних исследователей, что под вымышленными именами у Рабле упоминаются различные русские города, «la ville russe actuelle d'Olonez», или что *Medamothi* это Архагельск (*Ducrot P. La géographie dans Rabelais. Tours, 1894*), нельзя сказать, в ту пору еще не существовавший, разумеется, лишены всякого основания. См. об этом в моей книге «Сибирь в известиях западноевропейских писателей. . .» (2-е изд., с. 141—142).

²⁶ *Aubigné Agrippa d'. Les Tragiques / Éd. L. Lelanne. Paris, 1857*, p. 254. — Упоминания о «Московии» есть и в «*Histoire universelle*» А. д'Обинье. См. предсказание о грядущем политическом возвышении Москвы в письме гугенотского публициста Гюбера Ланге к Кальвину 1558 г. (Рус. старина, 1885, т. 16, с. 415; *Waddington. De Huberti Langueti. Thèse. Paris, 1888*, p. 123).

²⁷ *Supplément au Catholicon, ou nouvelles des régions de la lune: Satyre Menippée de la vertu de Catholicon / Éd. Ch. Nodier. Paris, 1824*, t. 2, p. 292. Ср.: *Ключевский В. Сказания иностранцев. Пг., 1918*, с. 23.

²⁸ Этот рассказ стяжал немалую популярность во французской литературе. Так, например, глава IX книги *Loys Guyon Dôlois «Divers leçons» (1810)* озаглавлена «*De l'étrange opinion qu'ont les femmes de Moscovie, qui est, qui si elles ne sont battues de leur maris, n'estiment estre aymées d'iceux.*» Аббат Тюэ (Tuet) в своих «*Proverbes français suivies de leur origine» (Sens, 1789*, p. 253—354) вновь ссылается на этот анекдот по поводу поговорки «*A battre faut l'amour*», что означает: плохое обращение губит любовь: однако из ссылки на Тюэ видно, что он заимствует его не из «Персидских писем» Монтескье, но из трактата аугсбургского иезуита Дрекселля (ум. 1683) «*De jejuniis*» (lib. I, cap. 2). См. также: *Intermédiaire des chercheurs et curieux*, 1864—1896, vol. 30, p. 483, 627; vol. 32, p. 85.

4. Русская история в „Опытах“

Первое издание «Опытов» вышло в Бордо в 1580 г.; через восемь лет появилось издание, названное пятым по счету, что заставляет предположить и существование четвертого издания, до нас не дошедшего. Что касается второго и третьего, то они вышли в 1582 и 1587 гг. О пропаже четвертого издания, быть может, не следует слишком жалеть, так как оно едва ли отличалось от предшествовавших; иное значение имеет издание 1588 г., так как в нем прибавлена была третья книга, а прежний текст увеличен 600 дополнениями.²⁹

В первом же очерке третьей книги «Опытов» в их новой исправленной редакции («О полезном и честном») мы находим рассказ, который ведет нас в удельную Русь. Монтень в качестве аналогии к известной из античной истории сентенции Фабриция, будто бы сказанной врачу Пирра, приводит рассказ о русском князе Ярополке, «который выместил свой гнев самым суровым образом» на том, кем сам воспользовался в своих интересах.

«Русский князь Ярополк (Jaropelc, duc de Russie)», по рассказу Монтеня, будто бы воспользовался услугами «некоего венгерского дворянина», для того чтобы отомстить польскому королю Болеславу, убить его или «дать русским возможность сделать ему непоправимое зло». «Венгерец этот прикинулся благородным человеком, более чем когда-либо отдался ревностной службе у этого короля, сделался одним из его советников и самым приближенным из феодалов. Благодаря этим преимуществам, выбрав благоприятное время в отсутствие своего государя, он предал русским Вислицу (Vicilicie), большой и богатый город, который был совершенно разрушен и сожжен ими, причем убиты были не только жители этого города, без различия пола и возраста, но и большое число окружающих дворян, которых он собрал здесь для этой цели. Ярополк, насытившись своей местью и гневом, которые, однако, не были беспричинны (так как Болеслав его сильно оскорбил своими поступками), опьянел от плодов этой измены; но когда он спокойно и не под влиянием страсти взглянул на поступок венгерца и увидел в полной наготы всю его низость, — он велел выколоть глаза, отрезать язык и срамные части исполнителю своей воли».³⁰ Откуда Монтень взял этот рассказ? Из каких источников почерпнул он сведения о столь отдаленных временах русской истории? Естественно, что Монтень, не имевший понятия ни о русском, ни о польском языках, должен был, конечно, взять свой рассказ о Ярополке из какой-либо западноевропейской книги.

Манской посвятил несколько страниц своей работы тому, чтобы направить путь исследования, определяя географическое место-

²⁹ См.: *Bonnefon P. Montaigne et ses amis*. Paris, 1898, t. 2, p. 147; *Lowndes M. Michel de Montaigne*. Cambridge, 1898, p. 199.

³⁰ *Montaigne Michele de*. Essais réimpr. sur l'éd. originale de 1588 / Éd. H. Motheau et D. Jouast. Paris, 1875, t. 3, p. 228—229; t. 4, p. 274.

положение города Вислицы и тщетно разыскивая сходные известия о русско-польских делах XII в. в латинских хрониках польского происхождения; он уже обратил внимание на то, что поступок, приписанный Монтенем Ярополку, не известен в рассказах об этом князе, но что та же история рассказывается о другом.³¹ В «Истории» Карамзина повествуется о сыне Володаря, Владимирко, князе Галицком, который «не мог забыть коварного злодеяния ляхов, столь бесчестно пленивших Володаря (отца его), и мстил им при всяком случае. Какой-то златный венгерца, Болеславов вельможка, начальник города Вислицы, изменив государю, тайно звал галицкого князя в ее богатую область. Владимирко без сопротивления завладел ею и сдержал данное венгерцу слово: осыпал его золотом, ласкою, почестями, но, гнушаясь злодеянием, велел тогда же ослепить сего изменника и сделать евнухом... „Изверги не должны иметь детей, им подобных“, сказал Владимирко, и таким образом хотел согласить природную ненависть к полякам с любовью к добродетели».³²

Сходство этих двух рассказов несомненно. Но каким образом Монтень мог рассказать о Ярополке то, что известно о Владимирко? Французские исследователи этого не объясняют.³³

По сведениям западных хронистов, во время правления Болеслава III Кривоустого (1102—1133) было несколько жестоких и продолжительных войн. С одной стороны на Польшу нападали чехи и венгерцы, с другой — с нею вели постоянную борьбу русские (Rutheni). В совете Болеслава сидел воевода Петр Власт. Убедившись, что укротить русских оружием очень трудно, он посоветовал употребить хитрость, для чего предложил свои услуги. Он перебежал к русскому князю Володарю Галицкому, будто бы недовольный Болеславом, сумел снискать доверие русского князя и однажды на охоте захватил его силою и привел в польский стан; за освобождение Володаря был потребован громадный выкуп, который пришлось заплатить сыну его — Владимирко.³⁴

³¹ *Mansuy Abel. Le monde slave. . .*, p. 28.

³² *Карамзин. История государства Российского*. СПб, 1816, т. 2, с. 178—179.

³³ Мансю напрасно отождествляет «венгерца» с Борисом Коломановичем, не обратив внимания на разъяснения здесь же цитируемого им Карамзина (т. 2, с. 453—454), который не только указывает на то, что «Нарушевич именуется венгерца-изменника Борисом, по догадке весьма невероятной», но и прямо указывает «сказочника Длугоша», который сделал грубую ошибку, приписав взятие Вислицы Ярополку, что уже могло направить польски источника Монтеня в определенную сторону. Отождествление венгерца с Борисом мы, однако, найдем и в позднейших исторических работах, например у И. Шараневича.

³⁴ *Петров А. Гербордова биография Оттона*. — ЖМНП, 1883, № 11, с. 869—871; *Копляевский А. А. Соч.*, СПб., 1891, т. 3, с. 323—325. — Что касается «венгерца», именуемого в западных хрониках Петром Властом, то подробное разяснение о его происхождении (aus einem klein russischen, ursprünglich scandinavischen Geschlecht) представил F. Reich (Die Herkunft des Peter Wlast. — Z. d. Vereins f. Gesch. Schlesiens, 1926, Bd 60, S. 127—132).

История пленения Володаря была в свое время широко известна, много раз описывалась анналастами, обрастая легендарными подробностями,³⁵ но в русских летописях говорится об этом очень кратко под 1122 г.: «Володаря яша Ляхове лествю, Василкова брата».³⁶ Под 1145 г. в Ипатьевской летописи рассказывается, что «Владислав Лядский емь мужа своего Петрока и слепи и язык ему уреза и дом его разграби, токмо с женой и детьми выгна из земли и иде в Русь. Яко же евангельское слово глаголет: ею же мерою мерите возмеритс вам: ты емь русского князя лествю Володаря и умучивы и пмепне его усхити все».³⁷ Таким образом, по известиям русских летописей, Петр Власт за хитрое пленение русского князя показан был польским государем, ради которого он и выполнил свой лукавый план. По известиям же польских хроник, так поступил именно русский князь Владимирко, мстя ляхам за коварное пленение.

В известной *Chronica Polonorum* краковского епископа Вицентия Кадлубка (2-я половина XII в.) подробно рассказывается о захвате Вислицы в 1135 г. сыном Володаря, т. е. Владимирко, совершенном при помощи этого «венгерца»; благодаря его измене русский князь уничтожил многочисленный польский гарнизон, но потом, испугавшись своего злодеяния, жестоко наказал изменника. В русских летописях ничего этого нет.³⁸

Рассказом Кадлубка воспользовался известный польский историк Длугош (1415—1480). Длугош рассказывает о пленении русского князя Петром Властом, заменяя, однако, Володаря Ярополком. Причины этой замены давно объяснены. Дело в том, что во всех рукописях Кадлубка вместо Володаря, *Vladarius* или *Laodarius*, стоит *Vladarides*, т. е. «Владимирович», оттого-то Длугош и счел его за в. кн. Ярополка Владимировича.³⁹ В остальном Длугош точно повторяет Кадлубка: следует рассказ об измене венгерца (*proditor Rannonijs*), подкупленного русским князем, и о том наказании, какое изменник заслужил, столь ревностно выполнив данное ему поручение.⁴⁰

³⁵ См., например, в хронике Ортлиба Цвифальтского (*Bielowsky August. Monument Poloniae. Kraków, 1872, vol. 2, p. 2—3*).

³⁶ Поли. собр. рус. летописей. Л., 1927, т. 2, с. 8; т. 1, с. 128.

³⁷ Там же, т. 2, с. 21.

³⁸ Ярмонович Я. «*Chronica Polonorum*» как источник для русской истории. — Унив. изв., Киев, 1878, № 12, с. 62—63.

³⁹ *Zeisberg H. Die Polnische Geschichtsschreibung des Mittelalters. Leipzig, 1873, S. 325, Anm. 6; Szaraniewicz J. Die Hypatios-Chronik als Quelle zur Osterreichischen Geschichte. Lemberg, 1872, S. 32—34; Линиченко Н. Взаимные отношения Руси и Польши до половны XIV века. Киев, 1884, с. 150 и Прил.*

⁴⁰ См.: *Вестужев-Рюмин К. Н. О составе русских летописей до конца XIV века. СПб., 1869. прил. «Русские известия Длугоша до 1386 г.»*. — Здесь полностью приведен интересующий нас эпизод в латвиском подлиннике (с. 191—195). Та же ошибочная замена Володаря Ярополком Владимировичем попала к Стрыйковскому, а от него заимствована и автором «Синописа» (1674) Иннокентием Гизелем (см.: *Лаппо-Данилевский А. Очерк развития русской историографии. — Рус. ист. журн., 1920, кн. 6, с. 19*).

Рассказ Монтеня точно повторяет Длугоша, но история последнего была издана только в 1614 г.: следовательно, под рукой у Монтеня был другой книжный источник. Несмотря на то что польско-латинские исторические труды этого времени во всем, что касается древнего периода, почти только перефразируют Длугоша, найти этот источник не представляется затруднительным. Действительно, интересующий нас эпизод приводит Мартин Кромер (1512—1589) в пятой книге своего труда «О происхождении и деяниях поляков в 30 книгах» (*De origine et rebus gestis poloniarum libri XXX*. Базель, 1555). И тем не менее П. Вилле, с такой обстоятельностью изучивший источники «Опытов», выразил сомнение, действительно ли Монтеню была известна книга Кромера,⁴¹ так как рассказ о Ярополке и предателе-венгерце нашелся еще в другом сочинении, находившемся в библиотеке Монтеня, — в книге польского историка и посла во Францию Яна Гербурта Фулыштынского (*Jan Herburt z Fulsztyna, 1508—1576*), изданной также во французском переводе Бодюэна: «*Histoire des rois et princes de Pologne, contenant l'origine, progrès et accroissement de ce royaume, depuis Lech premier fondateur d'icelui jusques au Rois Sigismonde Auguste... Trad. de latin en françois... par François Balduin*» (Paris, 1573).⁴² Все это сочинение является своего рода сокращением польской истории Кромера. Известно, что Монтень читал книгу Яна Гербурта в феврале 1586 г., и это позволяет довольно точно датировать извлеченный им отсюда рассказ.⁴³

В «Опытах» есть еще один «русский эпизод»: рассказ о тех унижениях, которым в период ига золотоордынские ханы подвергали своих данников — русских князей. Он находится в первой книге «Опытов» в главе «О ратных конях» (*Ch. XLVIII: «Des Destriers»*) и также относится к числу дополнений, включенных в переиздание книги 1588 г. «Великий князь московский, — пишет Монтень, — в старые времена должен был оказывать татарам такой почет: когда от них прибывали послы, он шел к ним навстречу пешком и предлагал им козц с кумысом (этот напиток они считают самым сладостным), а если же в то время, когда посол пил, какая-либо капля попадала на гриву его коня, московский князь должен был слизать ее языком».⁴⁴ Откуда Мон-

⁴¹ *Villey P. Les sources et la chronologie des Essais de Montaigne*. Paris, 1908, t. 1, p. 110, 268, 392.

⁴² Оригинал французского перевода «*Chronica sive Polonicae descriptio*» вышел в Базеле в 1571 г.

⁴³ *Villey P. Les livres d'histoire moderne utilisées par Montaigne*, p. 73—76. — Книга Яна Гербурта во французском переводе 1573 г. находилась в библиотеке Монтеня и сохранилась доныне в составе 76 книг из его собрания в Национальной библиотеке в Париже (Coll. Rayen, № 485), на ней имеется надпись Монтеня: «*c'est un abrégé de l'histoire simple et sans ornement*» (*Bonnefon P. 1*) La Bibliothèque de Montaigne. — *Rev. d'histoire littéraire de la France*, 1895, p. 347—348; 2) *Montaigne et ses amis*, t. 2, p. 268.

⁴⁴ *Montaigne Michele de. Essais... / Ed. H. Motheau et D. Jouast*. Paris, 1875, t. 1, p. 309; ср. в переводе А. С. Бобовича в кн.: *Монтень Мишель. Опыты*. М.; Л., 1954, кн. 1, с. 367.

тень взял это явно неправдоподобное известие? Манский в упоминавшейся выше статье, указав на этот рассказ, не только его не объясняет, но и пускается в весьма туманные рассуждения.⁴⁵ Между тем источник Монтеня уже был указан с полной достоверностью: это та же книга Яна Гербурта во французском переводе 1573 г. («Histoire des rois et princes de Poloigne...»). Здесь на странице 204 мы находим рассказ о «татарских посланниках и курьерах» и о церемонии их приема в Москве, во всех подробностях совпадающий с указанным местом «Опытов» Монтеня и не оставляющий сомнений в том, что именно этот рассказ был источником его информации. Стоит, однако, отметить, что этот анекдот получил довольно широкое распространение в западноевропейских сочинениях о московском государстве и что он попал сюда, как это уже давно выяснено русской исторической наукой, главным образом из польских источников. Ян Гербурт взял его у Мартина Кромера; в близкой редакции мы находим его также у Длугоша, в «Хронике» Мартина Бельского, у Михалона Литвина («De Moribus Tartarorum, Lituorum et Moscorum»); нечто подобное рассказывают Герберштейн (1549) и Даниил Принц из Бухова (1577) и т. д.⁴⁶ Указав на неправдоподобный и легендарный характер всех этих сообщений и на несколько отличную от них редакцию того же сообщения в книге Герберштейна, еще С. Соловьев находил, что Герберштейн «если почерпнул это известие не из Длугоша, то мог слышать в отечестве последнего».⁴⁷ К Длугошу восходит, по-видимому, и рассказ Даниила Принца из Бухова.⁴⁸ Тем не менее рассказ этот дожил до XVII века. Так, в редакции, очень близкой к той, которая приведена у Яна Гербурта, мы находим его в донесении из Можайска (от 16 марта 1601 г.) грека Петра Аркудия кардиналу Сан-Джорджо,⁴⁹ у шведа Петра Петрея в совершенно тождественной форме и т. д.⁵⁰

Таким образом, все указанные русские эпизоды «Опытов» Монтеня восходят в сущности только к одной книге — к польской истории Яна Гербурта, откуда, вероятно, Монтенем взят также и анекдот об армии Султана Баязета в русских снегах.⁵¹ Что при-

⁴⁵ Mansuy Abel. Le monde slave. . . , p. 36—37.

⁴⁶ К анализу этого анекдота см.: Савава В. Московские цари и византийские василевсы. Харьков, 1901, с. 28—57, 214—215; Кулещев Г. З. История Казанского царства, или казанский летописец. СПб., 1905, с. 214; Древности. Труды Моск. археологического о-ва. М., 1869, т. 2, вып. 1, Материалы для археологического словаря, с. 3—4; с. v. «басма».

⁴⁷ Соловьев С. История России. СПб.: «Общественная польза», б. г., т. 1, с. 1426; Иловайский Д. История России. М., 1880, т. 2, примеч. 96, с. 62.

⁴⁸ ЧОИДР, 1876, т. 3, отд. 4, с. 14.

⁴⁹ Белокуров С. А. О библиотеке московских государей в XVI столетии. М., 1899, Дополнения, с. LXX—LXXIII.

⁵⁰ ЧОИДР, 1866, кн. 1, с. 104—105. — Ср. также свидетельство Г. Мьежа в его описании посольства гр. Карлейля (Историческая библиотека, 1879, № 5, с. 34).

⁵¹ Монтень рассказывает (Essais, t. 1, p. 309), что «армия, которую султан Баязет послал в Россию, была застигнута столь большими снегами, что

влекло Монтеня к книге Яна Гербурта? Боннефон полагал, что Монтень заинтересовался историей Польши «в возмещение своей неудавшейся попытки доехать до этой страны».⁵² Не следует, однако, забывать и о политической обстановке, вызвавшей появление в свет французского перевода книги Гербурта. Переводчик посвятил ее королю польскому, будущему Генриху III, поясняя в предисловии, что его избрание на польский престол заставляет каждого француза узнать историю польских предшественников этого короля. Мы знаем, действительно, что это политическое событие пробудило во Франции широкий интерес к Польше и вызвало к жизни специальную литературу. Интересно подчеркнуть при этом, что и с московским государством во Франции в это время знакомились главным образом по польским книгам, принимая на веру их тенденциозное освещение русских событий и проникаясь большею частью высокомерным отношением к Московскому государству.⁵³ Влияние Польши и ее литературы на выработку суждений во Франции о России не прекратилось еще в XVII в. Не избежал этого влияния и Монтень, усвоив из книги Гербурта польскую редакцию рассказа о Владимирке — Ярополке или тенденциозный и явно дискредитирующий авторитет московского государя анекдот о взаимоотношениях его с татарским ханом.

Правда, Монтеня заинтересовала здесь вовсе не фактическая сторона изложения, не историческая или бытовая среда, в которой могли произойти рассказанные события; в конце концов, и древняя и современная история нужны были ему лишь в качестве материалов для общих этических рассуждений, и он цитировал исторические анекдоты о «русских» и «москвитях», сфабрикованные польскими историографами, едва ли задумавшись над тем, соответствуют ли они исторической правде.⁵⁴ Для того чтобы разоблачить лживое, искаженное освещение событий из русской истории, Монтеню, естественно, не хватало познаний в русской исторической жизни, и он едва ли мог располагать необходимыми для этого данными. Из книги Яна Гербурта он извлек примеры, которые нужны ему были для отвлеченных размышлений на темы «о полезном и честном», о способах унижения человека человеком, и только. «Рутены» и «москвиты» играют здесь, в сущности, второстепенную и случайную роль, и если бы в кни-

воны принуждены были убивать и потрошить своих лошадей, чтобы, влезая внутрь, согреть себя их животной теплотой». О «москвитях» Монтень, вероятно, читал также в известном сочинении Павла Иовия, которое находилось в его библиотеке. См.: *Villey P.* Les livres d'histoire moderne. . . , p. 73—76.

⁵² *Bonnefon P.* Montaigne et ses amis, t. 1, p. 268.

⁵³ *Турава-Церетели Е.* Французская генеалогия XVI—XVII вв. о русских государях. — В кн.: С. Ф. Платонову — ученики, друзья и почитатели. СПб., 1911, с. 86.

⁵⁴ См. по этому поводу не потерявшие своего значения и донные замечания в старой книге Е. Моэт «Des opinions et des jugemens littéraires de Montaigne» (Paris, 1859, p. 92),

гах Кромера и Гербурта вместо русского князя, попавшего сюда по ошибке, говорилось, например, о венгерском феодале, имя Ярополка исчезло бы также и со страниц книги Монтеня.

Подведем итоги нашим разысканиям. Источники Монтеня в его высказываниях о России были двух родов: житейские и книжные. Впечатление от встречи с Истомой Шевригиным в Риме было одним из первых впечатлений, определивших его внимание и любопытство к далекой стране. Этот интерес мог быть усилен известиями, дошедшими до него во время путешествия по немецким землям. Наконец, в то время, когда Монтень готовил переработанное издание своих «Опытов» (1586—1587 гг.), начались официальные сношения между правительствами Франции и Московского государства, что также могло содействовать укреплению этого интереса.

Другими источниками были книги. Во французской литературе Монтень не мог найти ничего, что способствовало бы увеличению его сведений о «Московии», эти сведения ему доставляла лишь переводная литература. Обратившись к польским историческим трудам, переводы которых должны были содействовать укреплению польско-французских политических связей, Монтень натолкнулся здесь на ряд известий о Древней Руси и о «Московии» и выбрал те исторические анекдоты, которые отвечали его личным намерениям, не вдаваясь при этом в историческую критику и мало заботясь об их фактической достоверности; отсюда и та польская тенденция, которой пропитаны эти рассказы. В то же время в рассказах этих отсутствует та враждебность к «москвитам», которая отчетливо чувствуется в польском источнике Монтеня. В этом характерное отличие Монтеня от его современников: спокойный и сдержанный в своих суждениях о представителях иной национальности, он проявил эти свои качества и в рассказе о московском после в Риме, и в двух местах «Опытов», где идет речь о Древней Руси и Москве. Здесь чувствуется скорее симпатия, чем осуждение, скорее признание, чем предубежденность. Между тем именно от такой предубежденности не могла избавиться французская литература в своих суждениях о России вплоть до вольтеровских времен.⁵⁵ Не забудем

⁵⁵ Суждения французских писателей XVII в. о русском государстве поражают своей наивностью. Напомним хотя бы отзывы в «Одуроченном ледянке» Сирако де Бержерака (*Fournel V. La littérature indépendante et les écrivains oubliés. Paris, 1862, p. 119 e. suiv.*), в «Франспоне» Шарля Сореля (éd. E. Roy. Paris, 1928, vol. 2, p. 82), в письме Расина к Лафонтену 11 ноября 1661 г. (*Racine J. Oeuvres. Paris, 1865, t. 6, p. 414; Hautant E. La culture française en Russie. Paris, 1910, p. 7*), в пьесе Раймонда Пуассона «Les faux Moscovites» (*Fournel V. Les contemporains de Molière. Paris, 1863, t. 1, p. 455—476*), в «Разговорах Ариста и Эжена» (1671) Доминика Буура (*Dorcieux G. Un jésuite homme de lettres. Le père Bouhours. Paris, 1886, p. 305*) и др. M-me d'Aulnoy еще на исходе XVII в. могла сочинить повесть о «Русском принце Адольфе», который на двадцатом году своей жизни «avait déjà sou-

также об универсальной распространенности «Опытов» — книги мирового значения, обозначившей важную веху в развитии многих европейских литератур. Сколь ни малозначительными на первый взгляд могут показаться заключающиеся в ней упоминания о «московитах», но они смогли остаться в памяти многочисленных читателей «Опытов».

Если когда-нибудь будут собраны в один ряд суждения европейских писателей эпохи Возрождения — Шекспира, Ариосто, Сервантеса, Лопе де Вега и др. — о русских, то среди них займут свое место и суждения Монтеня.

tenu une grande guerre contre les moscovites» и, отдыхая от военных трудов, ходил в «леса чудовищной величины» поохотиться на «белых медведей» (Весселовский А. Н. Из истории русской переводной повести XVIII века. СПб., 1887, с. 4—5).

К АНЕКДОТАМ ОБ ИВАНЕ ГРОЗНОМ У С. КОЛЛИНЗА

Сочинение английского врача царя Алексея Михайловича — С. Коллинза «Нынешнее состояние России» (London, 1671) занимает видное место среди иностранных источников о Московском государстве. Несмотря на это и личность Коллинза, и многие вопросы, которые ставит его книга, остаются до сих пор плохо разъясненными: Самюэля Коллинза, девять лет жившего в Москве (1660—1669), обычно путают с двумя другими врачами, случайно носившими то же имя;¹ критическая проверка и оценка сообщаемых им фактов о России едва у нас начаты.² Однако в числе приводимых у Коллинза данных давно уже обратили на себя внимание рассказы об Иване Грозном, сгруппированные автором в 12-й главе его сочинения. Рассказы эти особенно интересны тем, что рисуют царя не в обычном для иностранных наблюдателей свете: они подчеркивают его доброжелательное отношение к крестьянству и даже прямо пытаются представить его как защитника народных прав против притеснений бояр; таков, например, рассказ о честном лапотнике, который преподнес царю Ивану огромную репу и пару лаптей, или рассказ о том, как царь, инкогнито разгуливая по Москве, пристал к шайке воров и советовал им обокрасть хранителя государевой казны. Коллинз объясняет народную симпатию к Грозному тем, что он жестоко расправлялся с боярством, главным врагом угнетаемой крестьянской массы;³ эта интересная точка зрения, естественно, приводит к вопросу о том, в какой социальной среде бытовали собранные у Коллинза рассказы о Грозном.

Уже А. Н. Веселовский отметил, что эти рассказы «представляют действительную оценку деятеля с точки зрения заинтересованных им партий», и обращал особенное внимание на неслучайный подбор в них сказочных мотивов, в основе которого лежало стремление приурочить к Грозному «лишь те издавна знакомые

¹ Наиболее полные и точные сведения о С. Коллинзе дают «Dictionary of National Biography» (1921, vol. 11, p. 375—376) и W. Graf в своем немецком переводе его сочинения «Moscovitische Denkwürdigkeiten» (Slavisch-Baltische Quellen und Vorschungen. Leipzig, 1929, H. 4, S. V—VI), который разъяснил, что W. Richter (Geschichte der Medizin in Russland. Moskau, 1815, Bd 2, S. 276 u. folg.), Adelong, Michaud и даже специальные сивачовники, вроде *Gurt-Hirsch*. Lexikon der hervorragenden Ärzte (Wien; Leipzig, 1885), а также все русские источники обычно путают Коллинза, жившего в Москве (1619—1669), с двумя другими врачами: Самюэлем Коллинзом вторым (1618—1710), лейб-медиком английского короля и автором труда «A Systeme of Anatomy» (1685), или с С. Коллинзом третьим (1617—1685). См. еще: *Clemow Frank G.* English physicians at the court of Moscow in the XVI and XVII centuries. — Proc. of the Anglo-Russian Literary Soc., 1898, № 21, p. 46—47.

² *Корбут В.* Чужоземні подорожні по східній Европі до 1700 р. Киев, 1926, с. 126.

³ См. проверку этого положения на основании исторических и литературных данных в кн.: *Сенигов И.* Народное воззрение на деятельность Иоанна Грозного. СПб., 1892, с. 9 и след.; ср. еще: *Н. С.* Иностранцы о России в XVII веке. — Старые годы, 1909, июль—сент., с. 475—476.

сказки и анекдоты, которые действительно отвечали народному пониманию исторического лица». «Каждый из них, — писал Веселовский, — легко привязать к какой-нибудь не-русской параллели, объяснить случайным заимствованием. Существование *цикла* сказок одного и того же направления указывает, наоборот, на известный такт, руководивший их выбором, откуда бы впрочем ни был заимствован их материал. Этот такт подсказан был народу его общим взглядом на деятельность царя Ивана».⁴ Но так как далеко не безразличным для генезиса всего цикла явился вопрос об источниках его отдельных частей, то А. И. Веселовский выбрал из них несколько рассказов, «отличающихся действительно сказочным стилем», и подобрал к ним сюжетные аналогии. Рассказ о честном лапотнике оказался одним из самых распространенных в мировой анекдотической литературе, встречающимся в приурочении к разным историческим лицам (император Адриан, Тамерлан, герцог Оттон, Валленштейн); мы находим его в Талмуде и в турецкой народной книге, в итальянском сборнике новелл XIII в., в рассказах Саккетти, в похождениях *Pfaffe von Kalenberg* и т. д.; повествовательный мотив о царе, становящемся вором, также широко распространен и на Западе (например, в цикле карловингских *chansons de geste*) и на Востоке.

Ранее А. Веселовского теми же рассказами Коллинза заинтересовался Ф. И. Буслаев,⁵ увидевший в них зародыши «русской повеллы». «В некоторых из этих рассказов, — писал он, — вероятно вымышленные похождения известных в то время поэтических героев были переносимы на личность Ивана Грозного... При известной степени наблюдательности над различными случаями современной жизни могла возникнуть новелла или повесть в том виде, как ее создал Боккаччо. Конечно, анекдоты XVII в. уступят „Декамерону“ в разнообразии и полноте изображаемого быта, однако напомнят рассказ итальянского повеллиста своею наивною простотою». Тут же Буслаев указал вполне вероятные источники некоторых рассказов Коллинза: так, например, анекдот о том, как царь Иван за непочтение к себе велел французскому посланнику пригвоздить шляпу к голове, — очевидно, «отзвук повести о мутьянском воеводе Дракуле» (наблюдение Буслаева не помешало, однако, с лишним полвека спустя Н. Н. Евреинову воспользоваться этим анекдотом Коллинза как достоверным историческим свидетельством),⁶ и т. д. В числе приводимых Ф. Буслаевым параллелей к этим анекдотам, однако, есть одна, которая, как мне кажется, неправильно ориентирует относительно их возможного источника.

У Коллинза находится рассказ, который в переводе П. Киреевского читается так: «На одном празднике он [Иван Гроз-

⁴ *Веселовский А. И.* Сказки об Иване Грозном. — Древняя и новая Россия, 1876, т. 1, № 4, с. 313—323.

⁵ *Буслаев Ф. И.* Русская народная поэзия. СПб., 1861, с. 512—515.

⁶ *Евреинов Н. Н.* История телесных наказаний в России. СПб., 1913, с. 45—46.

ный] делал различные шалости, которым некоторые голландцы и англичанки засмеялись; заметив это, он велел привести их во дворец и приказал в своем присутствии, в одной большой комнате, рассыпать перед ними четыре или пять мешков гороху и заставил их все подобрать. Когда они кончили эту работу, он наполнил их вином и сказал, чтобы они были осторожнее и вперед не смели смеяться в присутствии императора». ⁷

Ф. Буслав, при анализе рассказов Коллинза пользовавшийся переводом Киреевского, поставил этот анекдот в связь с эпизодом повести о Соломоне: «Этот рассказ, — пишет он, — как кажется, есть переделка известного эпизода из повести о Соломоне, имеющего предметом состязания его с царицей Южскою или Савскою. Царица нарядила в одинаковое платье мальчиков и девочек и велела Соломону отгадать, который мужской пол и который женский. Соломон приказал перед ними просыпать орехов и велел им подобрать их. Мальчики стали класть орехи в карманы, а девочки — в рукава, чем и обнаружили те и другие свой пол». ⁸ При самом поверхностном сопоставлении этих рассказов легко заметить, что они не имеют ничего общего; но их различие еще увеличивается, как только мы обращаемся к английскому подлиннику сочинения Коллинза. Оказывается, П. Киреевский, вероятно по цензурным соображениям, не вполне точно перевел это место, допустив, впрочем, и в других местах своего перевода легкие перемены, искажения и пропуски, так что последний не может считаться полным и точным, как это принято было думать до сих пор. В английском тексте говорится, что царь велел привести к себе во дворец засмеявшихся иностранок и *раздеть их донага* в большой комнате; в таком виде они и должны были подбирать рассыпанный для них горох: «Он [Иван] <...> призвал их всех к себе во дворец и повелел раздеть их всех догола перед ним в большой палате, затем он приказал рассыпать перед ними четыре или пять бушелей гороха и заставил их все собрать». ⁹

Таким образом, перед нами эротический мотив, ничем не связанный с мотивом об испытании пола в сказании о Соломоне, но имеющий собственную и притом довольно своеобразную литературную историю.

На первый взгляд, впрочем, этот рассказ имеет некоторую видимость исторического правдоподобия: об аналогичных садистических забавах Грозного упоминает ряд иностранных писателей — Одерборн, ¹⁰ Петрей, который рассказывает целую историю о том, как Грозный отомстил женщинам, избившим любовницу

⁷ ЧОИДР, 1846, т. 1, с. 14.

⁸ Буслав Ф. Русская народная поэзия, с. 514. — К литературной истории этого эпизода см.: Беселовский А. И. Славянские сказания о Соломоне и Кинтоврасе. Пг., 1921, с. 387—388.

⁹ Collins S. The Present State of Russia. London, 1671, p. 46.

¹⁰ Oederborn P. De rutorum religione etc. (в приложении к кн.: Neander Mich. Orbis Terrae Partium Succincta Explicatio. Lipsiae, 1586 (вся книга без пагинации), отдел «Prima Pars orbis terrae», глава «De Moschi crudelitate»).

его сына: «Он велел привести их несколько сот в Кремль и раздеть до нага в присутствии своих сыновей, советников и придворной челяди (*Hoffgesindes*): так они и должны были разгуливать там, в сильную стужу, по глубокому снегу»; в другом месте Петрей говорит, что «когда во время его [царя Ивана] разных поездок по стране из города в город попадались ему на дороге женщины и девицы, он приказывал раздевать их до нага», несмотря на снег и мороз, «потому что у него было в обычае потешать и забавлять такой картиной зрение его придворных».¹¹ Правда, в известном «Дневнике» Иоганна Бурхарда, заведовавшего дворцовыми и церковными церемониями при папе Александре VI Борджиа, описывается аналогичная сцена, имевшая место в Ватикане в октябре 1507 г.: речь идет здесь о том, как во время ужина для услаждения папы и детей его, Цезаря и Лукреции Борджиа, нагие женщины собирали специально разбросанные для этой цели по полу каштаны.¹² Несмотря на наличие подобных свидетельств, позволяющих предполагать не только личную извращенность Грозного или Борджиа, но и существование своего рода европейской традиции в устройстве подобных развлечений, у нас есть все основания думать, что в рассказе Коллинза мы имеем дело с отзвуком западного литературного анекдота, приуроченного к личности Грозного.

Очень сходный рассказ, но развернутый в целое повествование и обставленный большими подробностями, находим мы в сборнике фривольных анекдотов, обычно приписываемом французскому писателю Беральду де Вервиллю (*Béraalde de Verville*, 1558—ок. 1612), «Средство преуспеть» («*Le moyen de parvenir*»); сборник этот вышел в свет без обозначения года, по-видимому в начале XVII в., и пользовался широкой известностью во всей Европе.¹³

В рассказе «*Ségémonie*» мельник некоего *Monsieur de Lagosche* присылает со своей хорошенькой дочкой *Marsiole* корзинку с вишнями; у Делароша гости; принимая подарок, он велит *Марсиоле* раздеться донага и заставляет ее сначала рассыпать вишни на специально разостланную для этого по полу холстине, а потом собрать их: «По приказанию своего господина бедняжка раздевается, разувается, распускает волосы, а потом, о ужас! она скинула с себя рубашку и, совершенно нагая, словно фея, из воды

¹¹ *Historien und Bericht von dem Grossfürstentumb Muschkow*. Lipsiae, 1620, S. 250—251, 208; *Петрей*. История о великом княжестве Московском/Пер. А. Н. Шенякина. М., 1867, с. 137, 164; *Ереинюа Н.* История телесных наказаний в России, с. 46—47.

¹² *Johannis Burchardi Diarium sive Rerum Urbanarum Commentarii* (1483—1506)/Ed. L. Thuasne. Paris, 1885, t. 3 (1500—1506), p. 167: «... Post cenam posita fuerunt candelabra communia mense in candelis ardentibus per terram, et projecta ante candelabra per terram castanae quas meretrices ipse super manibus et pedibus, nude, candelabra pertraseutes, colligebant».

¹³ *Reiche Herb*. Le Moyen de parvenir von Béraalde de Verville mit besonderer Berücksichtigung der Quellen- und Verfasserfrage: Ein Beitrag für franz. Novellistik. Dresden, 1913, S. 5—6, 20.

выходящая, принялась разбрасывать вокруг, на куски прекрасной материи, вишни. После того как вишни были разбросаны, ей надлежало их собрать».

Но Деларош не ограничивается этим испытанием: он ловит на слове своих гостей, которые опрометчиво восторгались красотой молодой девушки, и каждого из них заставляет заплатить за доставленное им зрелище; вручая собранную таким образом кругленькую сумму Марсиоле, он велит отнести деньги отцу; это повеление сопровождается нескромным поучением.¹⁴

Этот рассказ вызвал во Франции несколько подражаний. Из книги Вервилля его взял и обработал в стихах аббат Грекур (Grécourt, 1683—1743), который прямо указывает на свой источник (Oeuvres, Paris, 1783, t. 6, p. 178 sq.), позднее Дора, который знал и Вервилля и, по-видимому, Грекура (Dorat. Théâtre Neufchâtel, 1775, p. 559 sq.): героями рассказа являются теперь владелец замка Арну и Лоретта, дочь его арендатора Гайана; в отличие от своих предшественников Дора подробно характеризует гостей Арну — священника, пошляка-аббата, молодого художника, трех монахов-бернардинцев и старого провинциального дельца; кроме того, в рассказ вплетен новый мотив — взаимной любви Лоретты и бедного работника Андре.¹⁵ К Дора восходит стихотворение Вильгельма Гейнзе «Вишни» (1773), у которого действие переместилось в местечко под Берлином, Monsieur Arnoult превратился в самодура генерала фон Штраля, три бернардинца — в трех дворян, Лоретта получила имя Лизетты, а ее возлюбленный — имя Петера.¹⁶ Этот же сюжет проник и в живопись: в числе работ немецкого художника Иоганна Генриха Рамберга, иллюстратора классииков, очень ценившегося Шиллером, имеется гравированный лист «Собирательница вишен» (Die Kirschensammlerin; 1800), восходящий к стихотворению Гейнзе.¹⁷

Еще более близкую параллель к рассказу Коллинза представляет эпизод из романа Гриммельстаузена «Бродяжка Кураж» («Landstörzerin Courage»), героиню которого некий брауншвейгский майор присуждает к такому же наказанию, как Грозный — иностранок московской «немецкой слободы»: «У этого скота, а не человека, — рассказывает она сама, — я не нашла никакого сострадания; забыв всякий стыд и христианскую благопристойность, он заставил меня сначала совсем раздеться донага, в чем

¹⁴ Цитирую по первому изданию (ГПБ, 6.5.14.31): *Le Moyen de Parvenir. Oeuvre contenant la raison de tout ce qui a esté, est et sera etc.*, p. 20—24.

¹⁵ *Gebing Emil Sulger. Die französischen Vorgänge zu Heinse's «Kirschen».* — *Z. für vergleichende Literaturgeschichte.* N. F., Weimar, 1897, Bd 11, S. 351—354.

¹⁶ *Heinse Wilh. Sämtliche Werke/Hrsg. von Carl Schüddekopf.* Leipzig, 1903, Bd 2, S. 285 u. folg. — На обработку этого сюжета Гейнзе натолкнул поэт Глейб. Подробности см.: *Schober Johann. J. W. Heinse.* Leipzig, 1882, S. 36—38.

¹⁷ *Kade Reinhard. Ein Stich von J. H. Ramberg.* — *Z. für bildende Kunst,* Leipzig, 1887, Bd 22, S. 319—322.

мать родила, и, разбросав по земле несколько пригорошной гороха, собирать их, к чему меня приуждали шпицрутенами, приправляя все это солью и перцем, так что я должна была приплясывать и прыгать, как осел».¹⁸

Обративший внимание на эту параллель немецкий комментатор Коллинза В. Граф¹⁹ в другой своей статье²⁰ склоняется к допущению, что Гриммельсгаузен заимствовал этот эпизод из московской хроники П. Петрея, но это мало правдоподобно — не только потому, что у Петрея отсутствует упоминание о рассыпанном горохе, но и особенно потому, что уже до издания Петрея очень сходный мотив обработал Бероальд де Вервилль. По-видимому, мы имеем дело с обратным процессом: анекдот Коллинза о Грозном есть такой же отзвук западного источника, как и другие анекдоты того же цикла, западное происхождение которых доказано разысканиями Буслаева и Веселовского. Конечно, это несколько не предрешает вопроса о той социальной среде, в которой собрал их Коллинза, но во всяком случае лишний раз ограничивает как историческую их достоверность, так и возможность видеть в них продукт самостоятельного творчества в условиях московской обстановки XVI—XVII вв. Речь может идти лишь о применении к определенным историческим лицам записанных в Москву с Запада готовых повествовательных схем. То обстоятельство, что особенно много подобных приурочений падает на XVII в., заставляет предполагать достаточно явное участие живших в Московском государстве прозаемцев как в записании в Москву, так и в популяризации и переработке этих сказаний.

У Олеария и Даарвиля (в его «*Les Fastes de la Pologne et de la Russie*») есть рассказы о том, как боярин, ставший по случайным обстоятельствам врачом, вылечил больного царя: у Олеария — Бориса Годунова, у Даарвиля — Алексея Михайловича. Здесь такой же отзвук западной фавль о «скверном враче» («*vilain mige*»), обработанного Мольером в «*Лекаре поневоле*»,²¹ как и в восходящих к другим западным первоисточникам анекдотах о Грозном у Коллинза, как, вероятно, и в рассказе Иоганна Боха (посетившего Москву в 1587 г.) о замерзающих на зиму и оживающих весной на Днепре словах путешественников — отзвук романа Рабле или каких-либо его западных аналогий.²²

¹⁸ Kürschners Nationalliteratur, Bd 35. Grimmelshausens Werke, T. 3, S. 47.

¹⁹ Graf W. Collins' Moscovitische Denkwürdigkeiten. Leipzig, 1929, S. 84.

²⁰ Graf W. Grimmelshausen und Russland. — Archiv für Kulturgeschichte, 1932, Bd 23, H. 2, S. 157—158.

²¹ Рулин П. И. Русские переводы Мольера в XVIII веке. — Изв. по рус. яз. и словесности Академии наук, 1928, т. 1, кн. 1, с. 223.

²² Шмид Г. К. 1) Иван Бох в Москве. — Зап. Акад. наук. Спр. 8, СПб., 1901, т. 5, с. 2; 2) Johannes Boch in Moskau. — Russische Rev., 1887, Bd 27, S. 331—332; ср.: Ruge S. Abhandlungen und Vorträge zur Geschichte der Erdkunde. Dresden, 1888: Frostgeschichten, S. 30—31.

МОСКОВСКИЙ ПОДЪЯЧИЙ Я. ПОЛУШКИН И ИТАЛО-ИСПАНСКИЙ ГУМАНИСТ ПЕДРО МАРТИР

В статье «Повести русских послов как памятник литературы» Д. С. Лихачев, говоря о московских «попытках завязать торговые сношения с Испанией и Францией во второй половине XVI в.», сослался, в частности, на статейный список стольника П. И. Потемкина 1667 г.¹ Долгое время именно с описанного в этом документе путешествия начиналась у нас история дипломатических отношений между русским государством и Испанией. Так, в известном труде Н. Н. Бантыш-Каменского «Обзор внешних сношений России (по 1800 г.)», составленном еще в начале прошлого века, сделано было указание, что под 1667 г. «первое в сем году из России в Гишпанию упоминается посольство», и тут же пояснялось: «Дальность расстояния между сими двумя дворами не подавала случая входить в общие государств связи через нарочные до половинны седьмого-на-десять посольства, хотя, впрочем, имеются следы о бывшей издавна переписке».² Следы этой переписки, немногочисленные и довольно запутанные, не обращали на себя внимания, пока оно не было привлечено к ним публикациями не обнародованных ранее актов из австрийских и испанских архивов; впрочем, и доныне вся двусторонняя дипломатическая переписка между Испанией и Москвой до XVII столетия изучена еще весьма недостаточно.³ В настоящей статье пойдет речь лишь об одном малоизвестном, но очень примечательном эпизоде истории русско-испанских связей первой четверти XVI в.

В старых описях дел Посольского приказа встречается имя подъячего Якова (Якуша) Ивановича Полушкина, выполнившего в 1520-х гг. несколько дипломатических поручений и ездившего в качестве гонца в различные зарубежные страны. Упомянутий Полушкина немного, но они в особенности интересны для нас потому, что самые дела, о которых идет речь в описях, не сохранились, да и из описей дошли до нас лишь описи 1614 и 1626 гг., остальные же погибли вместе с делами, вероятно, еще во время Мугуы в начале XVII в.⁴

¹ Путешествия русских послов XVI—XVII вв. М.; Л., 1954, Прил., с. 334. — В этой книге напечатан также статейный список П. Потемкина, однако в этой части, в которой рассказывается о пребывании его во Франции, в публикации этой опущено все, что в данном статейном списке относится к Испании.

² Бантыш-Каменский Н. Н. Обзор внешних сношений России (по 1800). М., 1894, ч. 1 (Австрия, Англия, Венгрия, Голландия, Дания, Испания), с. 162.

³ О начале испано-русских связей см. в моей книге «Очерки по истории испано-русских литературных отношений XVI—XIX вв.» (Л., 1964), а также в статье в кн.: Вопросы испанской филологии. Л., 1974, с. 10—11.

⁴ Н. Н. Бантыш-Каменский (Обзор внешних сношений России, ч. 1, с. 6), указав на отсутствие в архиве материалов по сношениям с царским двором между 20-ми и 60-ми гг. XVI в., отметил: «Быть не может, что через

Сведения, заимствованные из указанных описей, опубликованы несколько раз, хотя и не полностью и без пояснений. Так, в «Памятниках дипломатических сношений», изданных еще в прошлом веке, находится краткое известие, взятое из «Книг царских 7030 по 39 год» (т. е. из «Описей» к ним), об «отпуске» к «Карлу цесарю, Максимилианову внуку» (т. е. к императору Карлу V) «подьячево Якуша Полушкина да цесарского немчина Вартоломея з грамотами». По-видимому, это известие почерпнуто в «Памятниках» из «Описи архива Посольского приказа» 1614 г., где на л. 256 читаем: «Книги Цесарские 7030-го по 39-й год при великом князе Васильеве (sic) Ивановиче всеа Русии да при Карле Цесаре, Максимилианове внуке, отпуск к цесарю великово князе подьячево Якуша Полушкина да цесарского немчина Вартоломея з грамотами».⁵

В другой сохранившейся описи того же архива, 1626 г. (еще не изданной), идет речь, в частности, о «цесарской книге 7030 году», в которой содержались документы о «приезде к великому князю Василию Ивановичу всеа Русии от короля цесаря римского от Максимилианова внука, как избрали от цесарства человека его, Варфоломея Любчанина, и отпуск его с Москвы, а с ним к цесарю от государя отпуск Якуша Полушкина».⁶

Из приведенных цитат явствует, что в 7030 г., т. е. в 1521—1522 гг., Полушкин был отправлен гошцом к Карлу V из Москвы (в Испанию) и что вместе с ним ездил недавно перед тем приехавший в Москву «Варфоломей Любчанин».

Те же лица упоминались в описях в другой связи и, вероятно, раздельно: так, в ценном справочном пособии, составленном С. А. Белокуровым, «Списки дипломатических лиц русских за границей и иностранных при русском дворе (с начала сношений по 1800 год)» под 7030 годом (1521—1522 гг.) Я. И. Полушкин назван среди лиц, посылавшихся к Римскому императору (цесарю) и эрцгерцогу Австрийскому: «Гонец подьячий Яков (Якуш) Полушкин с грамотой о трех цесарцах, посланных для науки в Польшу и захваченных русскими в плен»;⁷ к тому же 7030 г. отнесен С. А. Белокуровым приезд в Москву «немчина Вартоломея с грамотой императора о 3 цесарцах, посланных для науки в Польшу и захваченных в плен русскими».⁸

Из этих кратких и неясных упоминаний давние историки русской дипломатии заключали, что посылка вел. кн. Василием Ивановичем грамоты «цесарю Карлу, внуку Максимилианову» каса-

50 почти лет не было никаких связей между австрийско-цесарским и российским двором переписок, но оных в архиве не видно, уповательно погибли во время бывшего в России от поляков нашествия и разорения.

⁵ Описи Царского архива XVI века и архива Посольского приказа 1614 года/Под ред. С. О. Шмидта. М., 1960, с. 113.

⁶ ЦГАДА, ф. 138, оп. 3, ед. хр. 2, л. 303. — Выражаю искреннюю благодарность за эту и другие архивные справки начальнику ЦГАДА М. И. Автократовой и сотруднице этого архива С. Р. Долговой.

⁷ Сборник Моск. гл. архива М-ва иностр. дел. М., 1893, вып. 5, с. 255.

⁸ Там же, с. 230.

дась тех же «трех пленных цесарцев», о возврате которых будто бы сам император в своей грамоте просил через своего человека, немчина Вартоломея. Вот как это дело представляет В. Милютин. Кратко упомянув о псеудачной миссии Семена Борисова с толмачом Истомой, отправленных к императору (Максимилиану) в начале 1519 г., В. Милютин замечает по этому поводу: «Но статейные списки, относящиеся к посольству Борисова и к дальнейшим сношениям Василия с римской империею, к сожалению, утратились. . . Мы знаем уже из других источников, что посольство Борисова осталось без результата вследствие смерти Максимилиана. Новый император Карл V был слишком занят делами европейскими, чтобы продолжать сношения с Россией. Сношения эти возобновились только в 1522 году. Император приехал просить великого князя о возвращении тех немцев, которые были посланы для науки в Польшу, а оттуда были „взяты в Московскую сторону“. Вследствие этой просьбы великий князь отправил к Карлу своего гонца, подъячего Якуша Полушкина, сказать, что эти люди будут возвращены, как только отыщутся. Гонец возвратился в 1524 году».⁹

На самом деле, по-видимому, все происходило совершенно иначе, или речь идет здесь об особых поездках Полушкина и в разные страны. Возможно также, что в описях или пересказах утраченных дел допущены ошибки в датах. Едва ли, например, в Москве представлялась необходимость послать к императору Карлу V в столь дальний путь специального гонца только для того, чтобы последний мог словесно сообщить весьма неопределенный ответ на запрос о трех затерявшихся «цесарьских немцах». Во всяком случае такой знаток документов Посольского приказа, каким был управляющий Московским архивом Коллегии иностранных дел Н. Н. Бантыш-Каменский (1737—1814), в составленном им «Обзоре внешних сношений России», уже упоминавшемся нами выше («Обзор» опубликован лишь восемь десятилетий спустя после смерти автора), под 1522 г. привел следующую справку: «В сем году упоминается о посылке в Вену новгородского приказа подъячева Якова Полушкина, но с чем он был послан, в делах не видно».¹⁰ Из Испании же Я. И. Полушкин действительно возвратился в 1524 г., но не с «Варфоломеем Любчанином», а с другим лицом; об этом также говорится (на основании утраченного ныне дела) в сохранившейся «Описи Посольского приказа» 1614 г.: «Да в 7032 г. приезд от цесаря подъячево Якова Полушкина, да цесарева посла Онтона Откмита, да отпуск к цесарю великого князя послов Ивана Засекина, да дьяка Семена Борисова, да цесарева посланичка Онтота Откмита».¹¹

⁹ Милютин В. Обзор дипломатических сношений Древней России с Римской империей. — Современник, 1851, № 7, отд. 2, с. 27.

¹⁰ Бантыш-Каменский Н. Н. Обзор внешних сношений России. . . , ч. 1, с. 6.

¹¹ Опись Царского архива XVI века и архива Посольского приказа 1614 г., с. 413; Памятники дипломатических сношений Древней России. . . ,

Приведенными цитатами, собственно, и ограничиваются известные нам данные о московском дипломатическом «гонце» — подьячем Я. И. Полушкине.

Сведения эти скудны, но, вероятно, со временем смогут быть дополнены при дальнейших разысканиях: стоит, в частности, обратить внимание на то, что Н. Н. Бантыш-Камелский, как мы уже видели, называет Полушкина в 1522 г. «подьячим новгородского приказа».¹²

Все приведенные выше неясные или противоречивые даты могут быть проверены и уточнены с помощью данных, извлеченных из документов, хранящихся в зарубежных, в частности в испанских, архивах; эти документы в то же время представляют допол-

т. 1, стб. 1487. — Наименование «Откмит» или «Откомит» было буквальной транскрипцией графского титула Антонио де Конти, в России еще не известного, — Comes (граф). Сам де Конти в письмах своих Карлу V называл себя «Antonius Comes», а Карл V в верительной грамоте, выданной ему для поездки в Москву, называет его «Антонием, графом Падуаиским»: «Antonio de Comitibus Paduae consiliario et oratori nostro». В одной из грамот Василия III к польскому королю Сигизмунду (1524) Антоний де Конти также назван «посол Антон от комит» (Сборник пмп. Рус. ист. о-ва. СПб., 1882, т. 35, с. 689; ср. с. 549). В 1524 г. А. де Конти приехал в Москву второй раз: первый раз он был здесь между 1518 и 1520 гг., являясь вместе с Франческо да Колло и фон Турном от императора Максимилиана (ср.: Сборник Моск. гл. архива М-ва иностр. дел, вып. 5, с. 229--230).

¹² В каком возрасте был Полушкин в то время, когда он ездил в Испанию, мы не знаем; трудно поэтому отождествлять его с тем лицом, которое названо в разбужных грамотах 1497 и 1504 гг. «митрополи подьячей Якуш Иванов сын» (Акты феодального землевладения и хозяйства XIV—XVI вв., М., 1951, ч. 1, с. 27 и 53), тем более что имя *Якуш* в значении *Яков* было широко распространено у нас в документах в XV—XVI вв. и уже не имело определенного локального приурочения (ср.: там же, с. 378—379). Тем не менее в новгородских документах XVI—XVII вв. имя *Якуш* встречается нередко. Так, в изданиях под ред. А. И. Яковлева «Новгородские записные кабальные книги 100—104 и 111 годов (1591—1596 и 1602—1603 гг.)» (М.; Л., 1938) многократно упоминается «Земский дьячок Якуш Самуйлов сын» (ч. 2, с. 14—16, 25, 30, 33, 36, 37, 60 и т. д.), «Ивашко да Якушко Ивановы дети» (с. 31), «Якуш Федоров сын» (с. 77), «Якуш Сидоров сын» (с. 65), «Якуш да Фалселейко Ермолин» (с. 191); в некоторых документах одно и то же лицо именуется то *Якуш*, то *Яков* (с. 31 и др.). Ср. автореф. дис. А. Н. Митрофановской «Собственные имена в новгородских кабальных книгах» (М., 1955). А. И. Соболевский в своих «Заметках о собственных именах» (СОРЯС. 1910, т. 88, № 3, с. 255) отметил, что встречающиеся в русских документах XV—XVII вв. личное имя *Якушь*, *Якушка* происходит от скандинавского нехристианского имени *Якун*, слившегося с именем *Яков*; этим, вероятно, объясняется распространенность формы *Якуш* на русском Севере.

Хронологические соображения препятствуют также отождествлению спутника Полушкина — «Варфоломея Любчанина» с «любским типографщиком» Варфоломеем Готаном, о котором известно, что он выполнял дипломатические поручения московского великого князя по сношениям с императорским двором, а одно время состоял на службе у новгородского архиепископа; автор биографического очерка о В. Готане в «Allgemeine deutsche Biographie» (Bd 10, S. 767) допускал, что он был жив еще после 1500 г., но Г. Рааб (Raab H. Zu einigen niederdeutschen Quellen des altrussischen Schrifttums. — Z. für Slavistik, 1958, Bd 3, H. 2-4, S. 331), напротив, на основании косвенных данных утверждал, что Готан умер уже до сентября 1496 г., из чего приходится заключать, что спутник Полушкина «Варфоломей Любчанин» — другое лицо.

дательные и немаловажные подробности о далеком путешествии подьячего Я. И. Полушкина из Москвы в Вальядолид и обратно в 1523—1524 гг.; найдены были и перевод грамоты великого князя Василия к Карлу V, текст которой оставался нам не известным, и копия ответной грамоты Карла V в Москву. Этих данных о поездке Я. И. Полушкина касались в своих работах Х. Юберсбергер,¹³ А. Шоп Солэр,¹⁴ всего подробнее — А. Лопес де Менезес,¹⁵ которому, однако, были недоступны русские источники.

Латинский перевод русской грамоты Карлу V, врученный Я. Полушкину, обнаружен был в «Собрании писем» («Opus epistolarum») итало-испанского гуманиста Педро Мартира; о том, как этот перевод попал в печатную книгу 1530 г., изданную в Испании, стоит сказать несколько слов.

Педро Мартир, или, собственно, Пьетро Мартире д'Ангьера (в латинской транскрипции — Petrus Anglerius или d'Angleria, 1457—1526), из знатной итальянской семьи графов Арона родился в Северной Италии, неподалеку от Лаго Маджоре; около 1486 г. он жил в Риме и был близок к кружку гуманистов, собиравшихся вокруг Помпония Лета, Платины и основанной ими Академии, затем переселился в Испанию, где вскоре причислен был к королевскому двору Фердинанда и Исабеллы. В 1492 г. он принял участие в отвоевании Гранады у мавров и вскоре сменил службу в испанских войсках на церковную должность, став каноником собора в Гранаде, по-видимому, по представительству первого испанского — после изгнания мавров из этого города — генерал-губернатора Тендильи. Живя в Испании и находясь в постоянных сношениях с двором, Педро Мартир свел знакомство со многими замечательными людьми того времени, в частности с видными мореплавателями — Христофором Колумбом, Магелланом, Васко да Гамой, сам совершил в 1501 г. путешествие с посольством в Каир (предполагалось также участие его в испанском посольстве в Венгрию, которое, впрочем, не состоялось). Королева Исабелла, в особенности благоволившая к нему, предоставила ему почетную должность своего рода церемониймейстера и наставника в свободных искусствах придворных кавалеров («maestro de los caballeros de su corte, en las artes liberales»); позже Карл V, взойдя на императорский престол, назначил его историографом новых земель Испании и настоятелем собора в Гранаде. Здесь, в Гранаде, Педро Мартир и умер в 1526 г.¹⁶ Книжки свои Педро

¹³ *Uebersberger Hans*. Österreich und Russland seit dem Ende des XV. Jahrh. Wien; Leipzig, 1906, Bd 1, S. 184—185.

¹⁴ *Schop Soler Ana Maria*. Die spanisch-russischen Beziehungen im 18. Jahrhundert. Wiesbaden, 1870, S. 22.

¹⁵ *Lopez de Menezes Amada*. Las primeras embajadas rusas en España (1523, 1525, 1527). — Cuad. de historia de España, 1946, 5, p. 111, 123.

¹⁶ Биографические и библиографические сведения о Пьетро Мартире мы заимствуем из статьи о нем в «Dizionario biografico degli Italiani» (Roma, 1961, vol. 3, p. 257—260, s. v. Anghiera P.), а также из Большой испанской энциклопедии: Encyclopedía universal ilustrada europea-americana. Barcelona, s. a., t. 5, p. 552.

Мартир издавал главным образом на латинском языке. В 1511 г. в Севилье были изданы его «Труды» («Орега»), куда вошли описание его путешествия в Египет, латинские стихотворения, гимны и эпиграммы; затем появились его перевод изданного в Венеции (1504) сочинения об испанских мореплаваниях в повооткрытые земли (Alcala, 1516), «Восемь декад об открытии Америки» (De orbe novo decades octo. Alcala, 1530; Paris, 1536) и др. Благодаря этим изданиям Педро Мартир стал одним из виднейших в начале XVI в. историков испанских (и португальских) мореплаваний и путешествий по всему свету. Одной из наиболее известных книг Педро Мартира был его труд «Собрание писем» («Opus epistolarum»), вышедший посмертно в Алькала в 1530 г. и переизданный в Амстердаме в 1670 г.; о нем существует обширная научная литература.¹⁷

Уезжая из Италии в Испанию, Педро Мартир обещал Асканно Сфорца описывать ему в письмах все, что он увидит или услышит достойного внимания во время пребывания своего на Иберийском полуострове. В «Opus epistolarum» и собраны 813 писем (с 1488 по 1526 г.), писанных автором не только к Сфорца, но и к другим итальянским и испанским друзьям. В итоге получилась удивительная по полноте и непосредственности хроника культурной жизни Испании и других стран, в которых географические известия занимают столь же важное место, как и политические новости. В этой книге есть несколько данных о Я. И. Полудкине и латинский перевод привезенной им в Испанию грамоты великого князя Василия: все это сообщено автором в его письме под номером DCCLXXVII (777), адресованном архиепископу Козенскому (Cusentino, т. е. de Cosenza в Южной Италии) Жуану Руфо в 1523 г.¹⁸ Сообщив своему корреспонденту кое-какие военные и церковные новости, Педро Мартир рассказывает далее о прибытии в Вальядолид московского дьяка Якова Ивановича (Jacobus Joannes), о том, что он привез с собою грамоту от «императора всея Руси»;¹⁹ тут же эта грамота приводится в латинском переводе (ab originali transcripta).

¹⁷ Приводим перечень важнейших трудов об «Opus epistolarum» п его авторе: *Schumacher H. A. Pietro Martire d'Anghiera, der Geschichtschreiber der Weltmeeres.* New York, 1879; *Heidensheimer H. Pietro Martire d'Anghiera und sein Opus epistolarum.* Berlin, 1881; *Mariejol J. H. Un lettré italien à la cour d'Espagne (1488—1526).* P. M. d'Anghiera. Paris, 1887; *Bernays J. Petrus Martyr Anglerius und sein Opus epistolarum.* Strassburg, 1891; *Stclair H. J. Bibliografía de P. M. de Anghiera.* — *Rev. chilena de historia y geografía,* 1931, t. 68, p. 186—219; *Marín Ocelte A. Pedro Mártir de Angleria y su Opus epistolarum.* Granada, 1943.

¹⁸ Пятирью лучшее альзевировское («посмертное») издание этого труда Педро Мартира (Амстердам, 1670) по экземпляру БАН: *Opus Epistolarum Petri Martyris Anglerii Mediolanensis. . . Amstelodami, apud Danielelem Elzevirium, 1670, p. 452—453.*

¹⁹ Титул «императора» не первый раз упоминается здесь иностранцами документами в перечислении званий в полном титуле Василия III. В данном случае в письме Педро Мартира он упоминает дважды — «Magnus Dominus Basilius, Dei gratia imperator at dominator totius Russia» и т. д., что

Грамота переведена полностью и вполне точно: начало ее составляет весь титул Василия III, хорошо известный нам по другим аналогичным русским источникам и публикациям, но год этой грамоты не указан: говорится лишь, что она «дана в Коломне 26 июня» («Datus in Columna mensis Iunii die XXVI»). Несомненно, однако, что она выдана Полушкину в 1522 г.: заключаем об этом на том основании, что цитируемое письмо Педро Мартира датировано «третьими календами марта 1523 г.» (III Calendas Martii MDXXIII), т. е. 27 февраля 1523 г. Эти даты прежде всего разрешают хронологические неясности, возникающие при определении датировки поездки Полушкина в Испанию на основании лишь одного старомосковского летоисчисления. С другой стороны, указанное письмо Педро Мартира устанавливает личное знакомство Полушкина при дворе Карла V с итало-испанским гуманистом, знатоком современной ему географии. Латинский перевод грамоты московского великого князя Педро Мартир заключает следующими словами: «Вот тебе хорошо отделанная речь московского дьяка, Якоба Ивановича: если она не цicerоновская, причина заключается в том, что к тем северным дуновениям Цицерон, довольствуясь своим Римом, не доходил» (т. е. на московском севере известен не был) (в оригинале: «En habes Jacobi Joannis Oratoris Moschovii cultam Orationem, prout jacet; si non est Ciceroniana, quod eos Boreales flatus Cicero sua contentus, nunquam accesserit»). «Речью», по-видимому, грамота названа потому, что была прочтена вслух в присутствии Карла V. В этих словах Педро Мартира, сопровождающих текст грамоты, нельзя не почувствовать по отношению к московскому дьяку легкой иронии; может быть, это объясняется сугубо деловым характером самой грамоты и ее краткостью, благодаря чему она действительно не блистает античным красноречием, к которому привык

соответствует словам русского оригинала: «Великий государь Василей Божьею милостию царь, и государь Всеа Руси и великий князь. . . » и т. д. (Ср. русский текст Послания Василия III папе Клименту VII 1526 г., впервые опубликованного в статье: Глушкова Ю. П. Неопубликованные русские грамоты из Ватиканского архива. — Вопросы истории, 1974, № 6, с. 128. — Ср. другие грамоты Василия III 1514—1531 гг. в кн.: Собрание государственных грамот и договоров, хранящихся в Гос. коллегии иностр. дел. М., 1813, ч. 1, с. 427, 437, 448). В Московском посольском архиве хранится немецкий подлинник договорной грамоты о союзе («о любви, братстве и вечном докончании»), заключенном в 1514 г. в Гмундене от имени императора Максимилиана и Василия III. В этом документе слово «царь» всюду переведено «Kayscr». Петр I велел издать его с французским и русским переводами в доказательство давности признания императорского титула за русскими государями (напечатано 10 мая 1718 г. в имп. Петербургской типографии). См.: Бауэр В. В. Сношения России с германскими императорами в конце XV и нач. XVI в. — ЖМНП, 1870, № 3, с. 87. — В начале своего письма Педро Мартир говорит также и о дьяке, присланном от московского «императора»: «Habemus ab Ruthenorum Sarmatarum aliorum Imperatorem Oratorum, quid faret in mandatis ejus epistola leccatur ab Originali transcripta». Кстати, латинский термин «orator» мы переводим «дьяк» на том основании, что одно из значений слова «orator» в классической латыни — человек, посланный по государственному делу, для ведения переговоров, посредник и в этом смысле посол.

гуманист в своей личной эпистолярной практике. Из текста же самой грамоты явствует, что Василий III просил Карла прислать в Москву доверенного человека, который помог бы возобновить старые добрые отношения, существовавшие некогда у московского правительства с дедом императора — Максимилианом; ни о каких пленных «цесарских немцах», захваченных русскими в Польше, в этом документе речи не было (из чего мы заключаем, что поездка Полушкина в Вену, упоминавшаяся выше, совершена была в другое время). В ответ на грамоту Василия III 1523 г. Карл V отпустил в Москву вместе с Полушкиным своего посла, графа Антонио де Конти, называвшегося в делах Посольского приказа и других московских документах «Откмитом».²⁰ Это назначение представляется вполне естественным и разумным: де Конти ехал в Москву второй раз и был широко посвящен в историю отношений великого князя с императором Максимилианом (которого де Конти представлял в первую свою поездку в Москву). Приехав в Москву вместе с Полушкиным, Антонио де Конти был отпущен обратно в Испанию 13 июня 1524 г. и явился в Мадрид 6 апреля 1525 г. в сопровождении новых московских послов — Ивана Засекина Ярославского и дьяка Семена Борисова. 29 апреля того же года Карл V торжественно принял русских послов в г. Толедо. Мы не знаем, был ли с ними А. де Конти, так как он, по испанским источникам, умер до 6 мая 1525 г.

В Симанском архиве²¹ сохранились 1) копия грамоты Карла V к Василию III из Вальядолида (без года, но явно относящаяся к 1523 г.), 2) копия верительной грамоты А. де Конти (Вальядолид, 1523), а также 3) несколько писем де Конти, посланных Карлу V с пути (из Вены и Антверпена, 1524 г.), дающих некоторое представление о том маршруте, которым возвращались в Москву посол Карла V и Я. Полушкин, этот «первый русский посол в Испанию» (*el primer embajador ruso que venia en España*), по словам новейших испанских исследователей, именующих его так, как его называли в современной ему Испании: Ясобо Juan — Якобо Хуаном.

²⁰ О происхождении имени «Откмит», или «Откомит», см. выше, примеч. 11.

²¹ Симанский архив — испанский государственный архив, по названию замка Симанкас, расположен в 14 км от Вальядолида, являвшегося постоянной резиденцией испанских «королей-католиков». Краткое описание этого архива и его значения для русской истории дал Е. Шмурло в приложении к своему отчету 1911—1912 гг. о занятиях в этом архиве (в книге: Россия и Италия. Сб. исторических материалов и исследований. СПб., 1915, т. 3, вып. 2, с. 193—269); однако интересующие нас данные о миссии Я. И. Полушкина здесь не отмечены. Все перечисленные у нас грамоты Карла V и письма к нему А. Конти напечатаны в «Приложении» (*Apendice documental*) к цитированной выше статье Лопеса де Менезеса (р. 122—126), откуда мы и воспроизводим ниже письма Карла V к Василию III. Подлинники этих документов хранятся в «*Archivo General de Simancas*» (Estado, 1554, fol. 342). В справке о поездке в Испанию Полушкина испанские источники умалчивают о его фамильном имени; нет в них данных и о «Варфоломее Любчаиневе», вместо которого упомянут переводчик Блазио (*el intérprete Blasio*), имя которого, в свою очередь, в русских делах не сохранилось и нам не известно.

Приложение

ГРАМОТА КАРЛА V ВАСИЛЮ III

(Вальядолид, 1523)

Carolus,²² etc. serenissimo ac potentissimo principi et domino Basilio, magno duci et domino Rusiae, Volodomeriae, Moscoviae, Novogradiae, Plescoviae, Smolenskiac, Tveriae, Iugariae, Permae, Vetchiae, Bolgariae, Novgradie, terrae inferioris Tzernigoviae, Rezaniae, Volothschiae, Rseviae, Beleskiae, Roscoviae, Jarosslaviae, Belozeriae, Udoriae, Obdoriae, Condomeriae, etc. amico nostro charissimo. Salutem et omnis bonis incrementum. Serenissime ac potentissime princeps, amice charissime. Accepimus binas litteras Serenitatis Vestrae, quas ad nos per oratorem vestrum Jacobum Johannis anno superiori, vicesimo sexto maii, ex Columna dedit, intelleximusque ea omnia quae nobis Serenitas Vestrae, per eundem significavit et preserti quod in ea sincera amicitia et societate nobiscum esse cupit, in qua olim cum avo nostro domino Caesare Maximiliano, praecclarissimae memoriae fuit. Et quia singularem animi magnitudinem aliasque egregias virtutes Serenitatis Vestrae praedicare audiimus. Et Serenitatem Vestram summo studio amicitiam prefati avi nostri coluisse scimus et litteris et ipso homine Serenitatis Vestrae mirifice delectati cupimusque et federa et societatem illam avitam, nostro modo confirmare sed coniunctiori vinculo conuectere confidentes ut mutuus amor noster utrique aliquando et utilis et decorum futurum sit. Et ideo decrevimus iuxta desiderium Serenitatis Vestrae, oratorem nostrum ad eandem transmittere qui hinc cum Jacobo Joannis discedens intra paucos dies apud Serenitatem Vestram futurus est quem ad modum haec omnia et alia uberius, ex homine suo intelliget hortantes Serenitatem Vestram ut interim a nobis omnia officia expectet quae optimo integerrimo amico expectari posset. Et Serenitate Vestram diu feliciter vivere et regnare cupimus Datum.²³

²² Общеизвестный полный титул Карла V не воспроизводится.

²³ Archivo General de Simancas. Estado, 1554, fol. 342. — Впервые опубли.: Lopez de Menezes A. Las primeras embajadas rusas. . ., p. 123—124.

ЮРИЙ КРИЖАНИЧ И ФОЛЬКЛОР МОСКОВСКОЙ ИНОЗЕМНОЙ СЛОВОДЫ

Выдающийся хорватский писатель Юрий Крижанич, как известно, около пятнадцати лет провел в Сибири, сосланный туда из Москвы. Живя в Тобольске, Крижанич между 1663 и 1666 гг. написал большое сочинение энциклопедического характера, известное в настоящее время под заглавиями «Политика» или «Разговоры о владательству» (т. е. «Беседы о правлении»), в котором он подробно рассуждает и о русском государстве и о будущем славянства вообще. Одной из важнейших публицистических задач этого обширного, сложного, не до конца обработанного труда было желание автора оказать противодействие «немецкому зазору», с его «потворами и скаредными хулами». Внимательный наблюдатель политической карты современной ему Европы, один из провозвестников идеи всеславянского единства, Крижанич считал, что главными виновниками упадка славянских земель являются «немцы» (*Germanos*), «самые гордые и нетерпимые презрители прочих народов», которые «ухватили королевскую высоту во Вуграх, Чехах, Ляхах, в Литве и инде» и одарены, по его наблюдениям, способностью «клеветать, дразнить, хулить, желчно остриять, по-змеиному шипеть».¹ Подтверждающие это общее наблюдение примеры рассыпаны по всей книге, потому что к доказательству этого излюбленного им тезиса Крижанич возвращается неоднократно и по различным поводам.

Очень красноречивыми и, как увидим ниже, имеющими особый интерес для фольклористов представляются те примеры, которые собраны Крижаничем в разделе его труда, написанном полатыни и озаглавленном «О характере германцев» (*«Articulus de Natura Germanorum»*).² Здесь, между прочим, идет речь о различных шуточных прозвищах, которыми немцы награждают не только прочие народы, но даже своих соотечественников: «Нет у них области или народности, которую по обычаю не клеймили бы они и

¹ *Пицета В. И.* Юрий Крижанич и его отношение к русскому государству. — В кн.: Славянский сборник. М., 1947, с. 207, 215—218; *Гольдберг А. Л.* 1) Историческая наука о Крижаниче. — Учен. зап. ЛГУ, 1949, № 117, с. 84—119; 2) Крижанич о русском обществе XVII в. — *История СССР*, 1966, № 6, с. 71—84; 3) Идея «славянского единства» в сочинениях Крижанича. — *ТОДРЛ*, М.; Л., 1963, т. 19, с. 373—390; *Алпатов М. А.* Историческая концепция Юрия Крижанича. — *Сов. славяноведение*, 1966, вып. 3, с. 31—44.

² Так как этот раздел не вошел в новейшее московское издание «Политики» (*Крижанич Юрий*. Политика / Подгот. к печати В. В. Зеленин. Пер. и коммент. А. Л. Гольдберга. Под ред. акад. М. Н. Тихомирова. М., 1965. — См. здесь описание рукописи этого труда, с. 695—700), цитирую его по изданию П. А. Бессонова, первому и единственному (если не считать его переиздания в 1860 г.), в котором находится интересующий нас текст: Русское государство в половине XVII века. Рукопись времен Алексея Михайловича. Открыл и издал П. Бессонов. М., 1859, ч. 2, с. 252—254 (прил. к № 6 «Русской беседы»). — Здесь приведен латинский оригинал интересующего нас места и его русский перевод П. А. Бессонова.

не дразнили какой-нибудь известною шуткою. Иных зовут *Putenträger* (*Aliquos appellant Putentrageros*), других *Kokskem* — „петушки гребешки“, как людей слишком прихотливых, для которых нет жизни без блюда, приготовленного из петушьих гребешков (*quasi nimis voluptuosos, ut qui putent se non posse vivere sine cibo ex pectinibus gallinarum facto*). Об иных рассказывают, что они сожрали осла (*De aliis narrant, quod asinus devoravit*), другие подсмеиваются, что солнечные часы устроили под крышкою (*alios derident quod Horologium solare sub tecto fabricariat*); третьи будто бы сбежались бить одного зайца семеро, схватившись за одно копье (*quod septem viri unam hastem tenentes ad unum leporem occidendum accurrerint*). Иных называют *Tölpel*, т. е. „дупями“ (*Alios appellant Telpellos, id est rapices, de tali oppido*). «Таким образом, — замечает Крижанич далее, — немцы распускают вымысленные шутки, часто кулы о своих собственных братьях и за подобные ругательства горячо, даже насмерть дерутся». Он прибавляет: «Недавно видели этому пример в Москве, когда из-за прозвища *Putenträger* солдаты в немецкой слободе публично отстегали одного торговца и подняли большие тяжбы (*Sicut non pridem visum fuit exemplum Mosquae: quando propter vocabulum Putenträger milites in Sloboda Germanica unum mercatorem publice fustibus percusserunt: et magnas lites excitarunt*)». Не удивительно, что и другим народам немцы дают самые обидные прозвища.

Не все ясно в приведенном тексте. Так, прозвище *Putenträger*, очевидно считавшееся в то время столь оскорбительным, что оно могло даже вызвать волнения в московской иноземной слободе, ныне представляется недостаточно понятным; смутило оно и первого издателя рукописи Крижанича — П. А. Бессонова, предположившего, что его не разобрал и сам автор «Политики» и что вместо *Putenträger*, может быть, следует читать *Possentreiber* — «проказник, шут, скоморох». Идя по тому же пути этимологизации, вероятнее было бы предположить, что *Putenträger* заместило первоначальное *Purpentreiber* или *Purpenträger*, т. е. «актер-кукольник», «кукольных дел мастер», какими являлись тогда те же бродячие скоморохи. Но указанное немецкое слово Крижанич в одинаковой форме употребляет дважды на протяжении всего лишь нескольких латинских строк; поэтому, если оно правильно прочтено в рукописи, для него следует подыскать более правдоподобное объяснение. В словарь немецкого языка бр. Гриммов занесено диалектное слово *Pute* (нижненемецк. *pûte*, англ. *powt*), означающее то «индейский петух, индюк» (*Truthahn, Puuthahn*), то «тетерев» или «тетеря» (*Birkhahn, türkisches-welsches Huhn*); существенно, что слово *Pute* (или *Puter*) имело значение бранной клички, приравняемой в том же словаре к оскорбительному прозвищу «гусак», т. е. «дурак», «глупая башка» (= *dumme Gans, dumme Huhn*).³ Поэтому и двусложное *Putenträger* могло означать нечто оскорбительное, что-либо вроде «индюшатника».

³ *Grimm J., Grimm W. Deutsches Wörterbuch. Leipzig, 1889, Bd 7, S. 2279.*

Загадочным представляется и другое прозвище — *Kokskem*, в котором П. А. Бессонов видит *Kokskämte* (множественное число от *Kokskamm* — «петушья гребешки»). Правда, основания для такого истолкования дает сам Крижанич, в тексте которого находят не только латинский перевод неясного слова (*pectines galinatum*), но даже бытовое объяснение его происхождения; непонятно только, почему у Крижанича стоит *Kokskamm*, а не привычное *Nahnenkamm*,⁴ если первую основу данного слова мы не объясним как звукоподражательную (ср. франц. соq — «петух»); впрочем, от нее образованы многочисленные производные, как *Kockelmann* (от *köckeln*, *kokeln* и т. д.), совр. *Gaukler*⁵ — «фигляр, фокусник, площадной шут, скоморох». Третье из воспроизведенных Крижаничем брашных слов сомнений не вызывает: *Tölpel* действительно означает «чурбан, болван, пентюх, вахлак» и возникло из средненижненемецкого *Dögrer* — «деревящина».⁶

Зато в остальных примерах, приведенных Крижаничем для доказательства будто бы особенно свойственного немцам злоречия и недружелюбия даже к единоплеменникам, нетрудно узнать эпизоды из немецких шванков, народных книг или летучих листов лубочной печати. Так, упомянутый им сатирический сказочный мотив об осле, съеденном по глупости деревенскими жителями, заменяемом иногда собакой («*Hund Hopf*»), встречается в рассказах о похождениях Тили Эйленшпигеля («*Eulenspiegel*», сар. 47), в шванке Г. Сакса и других произведениях сатирической литературы.⁷ Анекдот о семи глупцах, испугавшихся зайца и схватившихся за одно длинное копые в тревоге, как бы не съел их этот страшный зверь, — это знаменитое приключение из цикла народных рассказов о «семерых швабах», известных уже в XV в.; рассказ о зайце имеется у Кирхгофа («*Wendenmut*», 1563), в одной из «*Meisterlieder*» Ганса Сакса и т. д. Любопытно, что в этих ранних обработках швабов девять, а не семь, как впоследствии. В редакциях этого анекдотического цикла, распространявшихся после 1600 г. (например: *Eyering*, *Proverbiorum copia*, 1601—1604), число швабов устанавливается окончательно. На немецкой картине XVII в. изображены семь храбрецов, судорожно уцепившихся за одно длинное копые; здесь они названы по именам, повторяющимся затем в стихотворной «*Historia von dem sieben frommen und redlichen Schwaben mit dem Hasen*».⁸ Ниже Крижанич

⁴ *Ibid.*, 1877, Bd 4, 2, S. 168.

⁵ *Ibid.*, 1873, Bd 5, S. 1566.

⁶ *Reinsberg-Düringsfeld O. International Titulaturen*. Leipzig, 1863, Bd 1, S. 97. — Эта книга представляет собой занимательное собрание прозвищ, которыми народы Европы награждают друг друга; немалое внимание автор уделит тому, как немцы забавляются на свой собственный счет (с. 55—112).

⁷ *Bolte J., Polivka J. Anmerkungen zu der Kinder- und Hausmärchen der Brüder Grimm*. Leipzig, 1913, Bd 1, S. 112; Leipzig, 1915, Bd 2, S. 560 («*Eselfresser*»).

⁸ *Ibid.*, Bd 2, S. 556—560; *Keller A. Die Schwaben in der Geschichte des Volkshumor*. Stuttgart, 1907.

рассказывает эпизод из народной книги о шилтбюргерах, нелепые причуды и дурачества которых доводят их родной город Шильду до того, что он погибает в пламени, превращаясь в кучу золы. Все эти анекдотические повестушки Крижанич слышал в устной передаче, едва ли зная об их книжном источнике. Примечательно, что они ведут нас в ту же немецкую слободу в Москве. Сообщая их, Крижанич не подозревал не только о сатирических и дидактических целях, с какими они обрабатывались в XVI—XVII вв. в стихах и прозе, но и о том, что, восходя к фольклорным источникам, они имели широкое и даже порою международное распространение. Но это и делает свидетельства Крижанича особенно интересными с исторической и литературной точек зрения.

Исследователи Крижанича всегда охотнее подчеркивали книжный характер его образованности, широкую эрудицию, уважение к ученым авторитетам, отразившиеся в его «Политике»,⁹ чем чисто житейские, реально-бытовые источники этого труда, на котором явственную печать оставили также длительные и многотрудные скитания его автора по свету и встречи с людьми интересной или непривычной судьбы.¹⁰ Среди последних был, в частности, полковник Филипп фон Зейц — один из «немцев Шведской земли», сосланных в Тобольск одновременно с Крижаничем.¹¹ Это был бывалый человек, много видевший и слышавший на своем веку, беседы с которыми услаждали ученого хорвата во время сибирской ссылки. На Зейца Крижанич ссылался в своей «Политике» несколько раз,¹² в частности как на то именно лицо, от которого он записал анекдоты о немцах, ходившие по московской слободе.

Особо занимательный рассказ, приписанный Крижаничем также по-латыни сбоку на полях его рукописи (в том месте, откуда уже были приведены цитаты), очевидно со слов того же Зейца, пополнял собранную им любопытную коллекцию сатирических свидетельств о немецких нравах еще одним разительным примером. «О некоторых рассказывают, — пишет Крижанич, — будто у них некогда царем был пес, т. е. якобы избиратели (electores) долго не могли согласиться в выборе царя и, наконец, заключили: кто первый войдет к ним, тот пусть и будет царем, кто бы он ни был, лишь бы только был живой. Вошел ловчий пес, и они

⁹ Гольдберг А. Л. 1) Сочинения Юрия Крижанича и их источники. — Вестн. истории мировой культуры, 1960, № 6, с. 117—130; 2) Юрий Крижанич и Шимон Старовольский. — Slavica, 1965, vol. 34, no. 1, s. 28—40.

¹⁰ Марков Сергей. Земной круг. Книга о землепроходцах и мореходцах. М., 1966, с. 416—418. — В интересной заметке о Крижаниче автор подчеркнул, что этот «пламенный противник Адама Олеария и разоблачитель «чужebesия» пноземцев на Руси» знал сибирского воеводу Петра Годунова, бывшего Ульяна Ремезова, виделся с протопопом Аввакумом и т. д.

¹¹ Белокуров С. А. Из духовной жизни московского общества XVII в. М., 1903, с. 197.

¹² Свидетельство того же Зейца Крижанич привел, например, в том месте своей книги, где рассказывается о свиходительном отношении немцев к палачам. См.: Крижанич Юрий. Политика, с. 545, 720.

его короновали царем (et illi hunc coronarunt regem), говоря: „Коронуем его, будет восседать на своем месте, а мы будем править.“ Таким образом пес тот царствовал в течение года, сидел будто бы на привязи на престоле, кормили его царскими яствами и проч. Жителей городка . . . дразнят тем, что они сожрали собаку или ногу жареной собаки: из-за этого (один рассказывал), я знаю до 50 человек было убито; и наконец, сам город по тому же поводу взялся за оружие и был сожжен, как рассказывал тот же Зейц».¹³ Что касается города, сожженного его скудоумными обитателями, то, как уже указано выше, это, по-видимому, заключительные эпизоды немецкой народной книги о шильтбюргерах.¹⁴ Рассказ же о «царе-собаке» находит себе полное соответствие в знаменитой книге францисканского проповедника конца XV—начала XVI в. Иоганнеса Паули «Смех и дело» («Schimpf und Ernst», 1522), где пример 427-й так и озаглавлен: «Датчане имели собаку вместо короля» («Denmarker heten ein hund zů einem künig»).¹⁵ Книга Паули выдержала много переизданий и переработок, долгие столетия щедро снабжая материалами последующих писателей; сам же Паули, рассказывая эту свою историю, ссылаясь на письменный источник («Man liszt wie die in Dennemarck nit kunten eins werden in der erweilung eines Künigs. . .»); это указание ведет нас в средневековые скандинавские страны, где подобный рассказ встречался неоднократно в сагах, хрониках, исторических сочинениях. Саксон Грамматик в своей «Датской истории» (кн. 7, гл. 240) повествует о храбром шведе Гуннаре, ведшем кровопролитную войну с норвежцами, который в наказание непокорным поставил на севере вместо князя специально присланного им для этой цели пса.¹⁶ У Снорре Стурлусона то же рассказывается о норвежце Эйстейне (Eysteinn), который будто бы предложил покоренным им жителям Трондхьема выбрать себе во властители либо своего раба, либо своего пса; последние предпочли пса, которого звали Saugt или Sogg, а холм, на котором он сидел, как на пре-

¹³ Русское государство в половине XVII века, ч. 2, с. 253—254 (латинский оригинал и русский перевод).

¹⁴ На пути перехода некоторых рассказов о шильтбюргерах и других немецких народных книг в славянские страны, и в частности на Русь, давно уже указывалось, см.: *Сумцов Н. Ф.* Разыскания в области апокрифической литературы. Анекдоты о глупцах. Харьков, 1898; *Franko J.* Wołna żydowska. Przewzinek do studiów porównawczych nad literaturą ludową. — *Wisła*, 1892, т. 6, себ. 3, с. 263—278. — В новейшее время этому вопросу уделил несколько страниц И. Матль (*Matl Josef.* Europa und die Slaven. Wiesbaden, 1964, S. 101, 113—114), но дальнейшая его разработка на русском материале крайне желательна.

¹⁵ «Schimpf und Ernst» von Johannes Pauli / Hrsg. von H. Oesterley. Stuttgart, 1866, S. 257. (Bibliothek der Literarischen Vereins, Bd 35). — В примечании редактор издания ссылается на сходный рассказ Плиния и книгу: *Ursianus J. H.* Acerra philologica. Francof., 1670, 2, p. 53.

¹⁶ *Saxo Grammaticus.* Die ersten neun Bücher der dänischen Geschichte/ Übers. und erläut. von H. Jantzen. Berlin, 1900, S. 373—374; *Hermann P.* Erläuterungen zu den ersten neun Büchern der dänischen Geschichte des Saxo Grammaticus. Leipzig, 1901, T. 1, S. 318—319.

столе, именовался Saurshaugr; ¹⁷ по шведским же версиям (в «Chronicon Erici Regis» или «Annales Lundenses» и др.) пса звали Pakki, а королем, который навязывал его датчанам, являлся Адиль.¹⁸ Все эти версии сопоставил между собой А. Крапп, указавший также на параллели у Плиния, Плутарха, Элиана и в египетских источниках, из чего он вывел заключение о мифологическом, культовом значении рассказа,¹⁹ превратившегося позднее в политический анекдот.

Стоит отметить возникающий в памяти и все еще недостаточно объясненный мотив одной замечательной «скоморошья» русской былины о «Вавиле и скоморохах». К Вавиле приходят

Веселые люди, не простые,
Не простые люди, скоморохи,

которые направлялись

На ииншьное царство
Перенгрывать царя-собаку.

Вавила идет вместе с ними в это царство «царя-собаки» и «перенгрывает» его. Тогда

Загорелось ииншьное царство
И сгорело с краю и до краю.
Посадили тут Вавилушка на царство.²⁰

Необычный в русском эпосе персонаж «царя-собаки» был, с моей точки зрения, крайне неудачно истолкован как образ «царя-тирана» Ивана Грозного.²¹ Приведенные выше исторические рассказы и обработка их у И. Паули могут служить более оправданной к ним параллелью. При дальнейшем их сопоставлении, может быть, и загадочное «ииншьное царство» получит реальное приуроченье на том скандинавском севере, о котором должны были знать и русские скоморохи; для изучения их репертуара может пригодиться и запись рассказов Юрия Крижанича.

¹⁷ Скандинавские саги, в которых имеется этот рассказ (Nakons saga goda, cap. 13; Olafs saga helga, cap. 148), перечислены в статье: *Lehmann K.* Grabshügel und Königshügel in nordischer Heidenzeit. — *Z. für Deutsche Philologie*, 1910, Bd 42, S. 8.

¹⁸ *Krapp A. H.* The Dog King. — *Scandinavian Studies*, 1942, vol. 17, N 4, p. 148—153.

¹⁹ Добавим здесь указание на римский обряд коронации собак на празднествах в честь Дианы, на который ссылается вслед за Дж. Фрейзером В. В. Иванов, см.: *Иванов В. В.* Происхождение имени Кухулияна. — В кн.: *Проблемы сравнительной филологии*. Сб. к 70-летию В. М. Жирмунского. М.; Л., 1964, с. 458.

²⁰ Архангельские былины и исторические песни / Собр. А. Д. Григорьевым. М., 1904, т. 1, с. 376—381; *Соколова Б. М.* О житийных и апокрифических мотивах в былинах. — *Рус. филологич. вестн.*, 1916, № 3, с. 113—118; *Русское народное поэтическое творчество*. М.; Л., 1953, т. 1, с. 342—343.

²¹ *Зимин А. А.* Скоморохи в памятниках публицистики и народного творчества XVI в. — В кн.: *Из истории русских литературных отхождений XVIII—XIX вв.* М.; Л., 1959, с. 342. — Образ другого былинного цикла «Собаки Калина даря» сюда не относится; в специальной работе Р. О. Яковсона весьма убедительно доказывается, что это прозвание калькирует имя хана Ногай в превращает его в бранное прозвище (см.: *Jensen O.* Собака Калин-дарь. — *Slavia*, 1939, год. 17, seš. 1—2, s. 82—98).

Роман Д. Дефо «Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо, йоркского моряка, рассказанные им самим», вышедший в свет в Лондоне весной 1719 г., как известно, сразу же привлек к себе исключительное внимание. Успех книги превзошел все расчеты автора и книгопродавца. Первое издание было раскуплено в несколько дней; издатель Тэйлор не в состоянии был удовлетворить толпу читателей, осаждавших его магазин; ¹ каждый экземпляр получался после жестоких битв у прилавка; типографии не справлялись с заказами. Второе издание появилось в продаже через месяц после первого — в мае 1719 г. — и было раскуплено так же скоро; за ним последовало третье и четвертое. . . И все же даже такая поспешность в данном случае оказалась недостаточной. Законный владелец рукописи бессилён был совладеть с множеством контрафакций, сокращений и переделок, которые сразу же наводнили книжный рынок; роман полностью был перепечатан даже на столбцах ежедневной газеты. . .

В момент наивысшего успеха книги Дефо принялся за вторую часть. Через несколько месяцев она была уже готова и в конце августа вышла в свет — одновременно с четвертым изданием первого тома. Это было кругосветное путешествие Робинзона — «вторая и заключительная часть его жизни» («The Further Adventures of Robinson Crusoe: Being the Second and Last Part of his Life», etc.). Предисловие к ней, между прочим, предупреждало читателей, что эта «вторая часть, если поверят издателю, против обыкновения со всех точек зрения так же интересна, как и первая», но в этой уловке книгопродавца не было никакой нужды; книга была встречена такими же рукоплеканиями, и ее продажа пошла так же бойко. В действительности, однако, она значительно уступала первой и занимательностью своего сюжета и мастерством повествования. Она написана была не в силу внутренней необходимости, не ради истолкования первой части, вполне законченной и округленной: Дефо принялся за нее исключительно ради материальных выгод, побуждаемый к этому своим издателем, который видел в ней источник новой прибыли, единственное средство противодействия многочисленным подделкам и перифразам романа, которые плодились с невероятной быстротой и, конечно, сокращали его доходы. Доттен полагал, что Дефо уступил ему не без борьбы и засел за работу скрепя сердце; ² как бы там ни было, несомненно одно: вторая часть «Робинзона» стоила автору большего труда и значительных творческих усилий. Внимательный читатель, быть может, откроет в ней теперь следы принуждения

¹ Nichols. Literary anecdotes of the 18-th Century. London, 1812, t. 4, p. 180.

² Dottin Paul. D. Defoe et ses romans. Paris, 1924, t. 2. Robinson Crusoe, étude critique et historique, p. 329—330.

и слабой заинтересованности в работе, впрочем умело маскированные рукою привычного и смелого мастера: искусственные эффекты действия, длинноты, ненужные отступления. Но именно в описательной полноте рассказа был на этот раз весь смысл нового романа. Перед читателем открылись дикие страны, о которых он имел самое смутное представление, пути далеких странствований, расширявшие его привычный горизонт. Любопытство возбуждал теперь не столько сам Робинзон, столь же неутомимый и деятельный, как и прежде, но тот быстро меняющийся второй план повествования, на фоне которого все время стоит его цельный и неподвижный образ.

Дефо заставляет Робинзона вновь пуститься в странствования исключительно из-за его непреодолимой страсти к путешествиям; ее не могли победить ни его почтенные лета, ни благосостояние, ни благополучие его мирной жизни в кругу любящей семьи. Замысел романа, завязка нового действия, — быть может, его наиболее интересная часть. С первой же главы с большой психологической тонкостью Дефо восстанавливает перед нами во весь рост знакомый образ своего любимого героя. Мы узнаем в этом старике, мечтающем о днях своей юности, прежнего Робинзона, искателя приключений, скитальца, который слишком долго был предоставлен самому себе среди тревог и опасностей, чтобы находить счастье в заслуженном покое и довольстве бездеятельной жизни. Это не только связывает в одно целое обе части романа, но и сразу же завершает характеристику главного действующего лица: к ней уж нечего будет прибавить.

Робинзон строит новые смелые планы; его гнетет покой, ищут видения прежних лет. Не будучи, наконец, в состоянии победить свое влечение к скитальческой жизни, Робинзон бросает свою семью, вновь садится на корабль, отправляется на открытый им остров, устраивает там судьбу колонистов, наконец делается торговцем и попадает в Китай. Путешествие его с торговым караваном по Сибири заканчивает эту часть романа, а вместе с тем служит и заключительным эпизодом в истории жизни знаменитого героя, полной столь удивительных превратностей, тревог и приключений.

«Кругосветное путешествие» Робинзона при своем появлении в печати разделило успех первой части и было прочитано с таким же интересом. В подлинность совершенных Робинзоном путешествий поверили совершенно так же, как и в реальность его существования. Рассказ его дневника о далеких странах, которые он посетил, показался не только занимательным, но и поучительным. Книгу читали медленно, следя по карте за изломами его маршрутов; недаром на главном листе первого издания гравированная вилетка изображала карту обоих полушарий, на которой отмечен был даже его фантастический остров и наведены были пройденные им пути.

И тем не менее «Путешествию» суждена была гораздо менее завидная судьба, чем рассказу об одинокой жизни героя на ост-

рове. Постепенно продолжение романа стало терять свою новизну и занимательность. Описанные Робинзоном земли стали известны лучше и были описаны более подробно. Рассказ его был всеми прочитан и понемногу забыт. Многочисленные сокращения, которым подвергался роман Дефо за все время его двухсотлетней жизни и с которыми он дошел и до наших дней в качестве популярнейшей детской книги, уже с давних пор распространяются на всю его вторую часть. Вот почему она сравнительно мало известна. Об этом можно пожалеть только потому, что для нас некоторый интерес представляют приключения Робинзона в Сибири.

Рассказ его дневника о долгом пути от китайской границы до Архангельска, описание религии и быта туземных сибирских племен, разнообразные исторические и географические сведения, здесь рассыпанные, еще не служили у нас предметом специального внимания. О романе Дефо забыла и сибирская библиография.³ Едва ли не единственной попыткой разобраться в его географической номенклатуре и определить достоверность приводимых здесь исторических данных до сих пор являются скудные и не всегда удачные подстрочные комментарии, сделанные П. А. Корсаковым к его переводу «Робинзона», выпущенному в Петербурге в 1843 г.⁴ Впрочем, и они не достигают цели: русский переводчик вступает в споры с Дефо и то и дело обвиняет его в незнании России, как будто забывая, что речь идет о произведении, написанном в начале XVIII в.; он недоволен легкомыслием беллетриста и с радостью вскрывает его погрешности против истории и землеописания. Но, изучая роман именно с этой стороны, получаем как раз обратное впечатление. Дефо писал его с огромным трудом и напряжением, читая географические сочинения, вглядываясь в карты и внимательно следя за рассказами путешественников; следы таких изучений, с искусством превращенные в непринужденные и беглые заметки дорожника, мы найдем на каждой странице. Не вина Дефо, что он был порою слишком краток или старался отделаться общими фразами. Причина туманности его характеристик и описаний, слабость фактической осведомленности и документации лежат чаще всего в общей скудости географических познаний его времени. Он заставляет Робинзона во время одной из переправ уронить в реку дорожную карту, и явная неполнота в перечислении названий пути получает вполне

³ Его не называет, например, В. И. Межов в своем перечне «произведений пяточной словесности, сюжет которых взят из сибирской истории, действительной жизни и воображения» (Сибирская библиография, т. 3, с. 231—243).

⁴ Жизнь и приключения Робинзона Крузо, описанные им самим: 2 т. / Изд. А. Красовского. СПб., 1843. — Перевод П. А. Корсакова (1790—1844), известного у нас в 1830-е гг. переводчика с голландского и английского языков, является первым полным русским переводом романа (вопреки заявлению П. Коңчаловского, издавшего свой «первый полный» перевод в 1889 г.; 2-е изд. — 1904 г.). Отметим кстати, что П. А. Плестнев в рецензии на перевод Корсакова (Соч. п. переписка, СПб., 1885, т. 2, с. 360—361) дает обзор всех русских переводов и переработок «Робинзона», начиная с 1792 г.

удовлетворительное объяснение. Это право беллетриста, и мы не всегда должны следовать за ним с путеводителем в руках.

Произведение Дефо не ученый трактат и не географическое исследование. В нем нечего искать ни новых данных, ни самостоятельной точки зрения. Но это-то и придает ему некоторый интерес. Оно служит свидетельством того, что мог знать о Сибири образованный европеец начала XVIII в., какою представилась она ему в результате чтений, поисков и подбора материала, напряженной работы воображения. Нарисованная им картина может быть названа в известном смысле типической для представления об этой стране людей его времени. Поучительно поэтому определить источники, бывшие в его распоряжении, вскрыть ход его творческой работы. Чрезвычайно интересно, наконец, проследить за тем его творческим процессом пересоздания, который превращал сведения, добытые из ученых трудов, в живописный фон авантюрного романа, книжный факт — в подробность подлинной жизни, чужое наблюдение — во впечатление очевидца.

Вместе с тем роман Дефо интересен для нас с другой стороны. Его заключительные главы были явной уступкой запросам английских читателей, которые именно в эту эпоху особенно интересовались всем, что относилось до отдаленного Китая. Позвоительно предположить, что и странствования Робинзона по сибирским пустыням вызваны были не одной только прихотью беллетриста. Ведь роман был написан по заказу издателя и создавался с расчетом на широкий сбыт. И если этот ответ на бойкую и злободневную тему оказался удачным, то вместе с тем и представление Дефо о Сибири сделалось также представлением многочисленных читателей его романа на протяжении долгих лет его славы и влияния. Чрезвычайно трудно, конечно, определить долю участия Дефо в деле распространения в европейском обществе сведений о Сибири, но в разрешении этого вопроса помогает один очень существенный факт: произведение Дефо было едва ли не первым опытом изображения Сибири в западной художественной литературе. Небогатая научная литература предмета в виде общих географических описаний, тяжесловатых космографий, компиляций разного рода имела в виду сравнительно узкий круг ученых специалистов; рядовой любознательный читатель охотнее обращался не к ним, но к популярному роману. Наконец, и сам Дефо постарался придать своему вымыслу характер наибольшего правдоподобия: его главной целью было убедить читателя в подлинности издаваемого им документа.

2

Особенностью Дефо как беллетриста Лесли Стивен метко назвал гениальную, стоящую вне всякого соперничества способность «лгать совершенно правдоподобно». Типичной формой большинства его беллетристических произведений, этих ранних и в извест-

ном смысле непревзойденных образцов английского реалистического романа, была биография, написанная от имени вымышленного лица. Хотя истинными родоначальниками этого повествовательного жанра были так называемые испанские плутовские романы и в самой Англии Дефо уже имел предшественника в лице Ричарда Гэда (Head), написавшего автобиографию фиктивного плута, но придать вымыслу такое сходство с подлинным человеческим документом, довести фикцию рассказчика до такого полного тождества с реальной личностью удалось только Дефо. Это составляет его силу и определяет его своеобразие в английской литературе начала XVIII в. «Модль Флендерс», «Роксана», «Дневник чумного года», «Полковник Джэк», «Капитан Сингльтон», «Мемуары Карльтона» — вся серия этих повестей строго выдержана в автобиографическом стиле, и между тем все эти лица существовали в одной только фантазии беллетриста. Все приключения Робинзона на суше и на море выдуманы Дефо, никогда не совершившим ни одного продолжительного путешествия. Вместе со своими героями Дефо пускается в далекие странствования, участвует в морских сражениях и схватках с пиратами, посещает замечательные страны, еще не занесенные на карту, изучает туземцев отдельных английских колоний, бойко ведет торговлю, ходит по воровским притонам портовых городов, шатается по всей Англии в качестве разбойника с большой дороги, странствующего комедианта, водит дружбу с темными дельцами предместий, — словом, подымается по всем ступеням общественной лестницы. И несмотря на разнообразие положений, в которых оказываются все персонажи его рассказов, он никогда не затрудняется повествовать от первого лица. Сила его воображения поистине огромна. Нужно знать биографию Дефо, этого диссидента и политического агитатора, памфлетиста, издателя газеты и писателя, чулочного торговца, фабриканта черепицы или счетчика в таможне, — всю эту печальную одиссею упорного труженика и бойца, прошедшего суровую школу невзгод — до ньюгетской тюрьмы, позорного столба и полной нищеты, — чтобы понять, откуда у него этот охват жизни, этот неисчерпаемый запас житейских наблюдений, эта изумительная сила внимания и памяти. Фикцией рассказчика Дефо пользовался иногда для того, чтобы скрыть свое настоящее авторское лицо: в равной мере к этому обязывали его литературные тенденции его эпохи, для которой автобиография являлась наиболее удобной и легкой повествовательной формой, примитивным видом романа. От своего имени Дефо писал чаще всего лишь предисловия, превращаясь таким образом только в издателя найденных или предоставленных в его распоряжение дневников или воспоминаний. Правдоподобие этих рассказов было доведено до такого совершенства, что не только первые читатели его произведений, но и последующая критика готова была принимать вымысел за чистую правду, а приводимые документы за подлинные. В этом отношении чрезвычайно интересна судьба «Мемуаров Карльтона»: в течение более чем полутора столетий они считались

аутентичными, и созданный фантазией Дефо капитан Карльтон попал в исторические сочинения и долгое время значился в списке английских офицеров, участвовавших в войне за испанское наследство. «Робинзон Крузо» также принимался за историческую личность,⁵ а все его рассказы — за происшествия, действительно имевшие место. Дефо оставалось всячески поддерживать впечатление столь удавшейся мистификации. «Издатель полагает, — говорит он в предисловии к «Робинзону», — что этот рассказ есть правдивая история, не имеющая ни малейших признаков вымысла (. . .) История рассказывается просто, серьезно (. . .) Все усилия разных завистников упрекнуть автора в неправдоподобности рассказа, все их старания отыскать географические неточности, неосновательность и неестественность событий, противоречия при изложении фактов — все это имело больше злых намерений, чем правды, и потому не достигло цели. . .». Все преимущество Дефо, с такой точки зрения, заключается в том, что его недостатки как повествователя идут ему на пользу и «безыскусственность становится глубоким искусством»; он пользуется самыми общеупотребительными словами, самыми простыми оборотами речи, избегает прикрас и эффектов стиля; рассказ его носит сосредоточенный и строго деловой характер; он не задумывается перед тем, чтобы несколько раз возвращаться к тому, что уже сказано, исправляет ранее допущенные ошибки. Замедленность рассказа, повторения, небрежности, недомолвки — все это только усиливает иллюзию: трудно допустить, чтобы такие мелкие и пенужные подробности были сочинены, потому что автор давно бы выпустил их, стараясь не сделать свой рассказ слишком скучным.⁶

Интересно проследить, какими средствами Дефо достигает в своих дневниках и мемуарах такого полного тождества их с подлинными человеческими документами. Повествование его всегда чрезвычайно обстоятельно; он измеряет географическое местоположение, следит за силой ветра, роется в своей памяти в поисках подкрепляющих свидетельств и показаний. Подробности нагромождаются одни на другие, рассказ прерывают отступления и моральные сентенции.

Незаметно, но систематически подбором таких речевых конструкций, как «насколько помнится», «если не изменяет мне па-

⁵ Мы знаем теперь, что прототипом Робинзона был шотландский моряк Александр Селькирк, который был выброшен кораблекрушением на необитаемый остров Жуан-Фернандес, впоследствии исчезнувший от землетрясения, по другим же исследованиям — испанский моряк Педро Серрано, торговательную историю которого рассказывает Гарсиласо де ла Вега (1688).

⁶ *Taine H. Histoire de la littérature anglaise. 5-me éd. Paris, 1882, t. 4. p. 88—89.* — Из старых русских работ о Дефо укажем статьи: *Лесевич В. В.* 1) Д. Дефо как человек, писатель и общественный деятель. — Рус. богатство, 1893, № 5, 7, 8; 2) По поводу «Молль Флендерс» Д. Дефо. — Там же, 1896, № 1; перепеч. в отд. рус. изд. романа (М., 1903, с. 320—348); *Залышнин*. Английский публицист XVII в. — Наблюдатель, 1892, № 6, с. 277—285 (об экономических публицистических работах Дефо, главным образом об «*Essay on projects*»). — См. также рецензию Викт. Михайловского на кн: *Minto W. Daniel Defoe. London, 1879* (Критическое обозрение, 1879, № 11, с. 13—23).

мать», «как нам говорили», Дефо внушает читателю, что перед ним документ подлинных человеческих переживаний, в которых сила общего впечатления порою затушевывает второстепенные подробности. Ведь перед нами, по замыслу Дефо, рассказ живого человека, в котором издатель не вправе менять ни строки. Всей совокушностью подобных приемов Дефо добивается — порою бес- сознательно — подлинной художественной правды.⁷

3

Со всеми указанными особенностями Дефо как беллетриста мы встречаемся и во второй части его «Робинзона». Перед нами путевой дневник заключительных странствований героя. Попав в Китай после ряда торговых рейсов по Тихому океану, Робинзон уже думает о возвращении на родину. Смелый план одного из его соотечественников и компаньонов по коммерческим делам, заключающийся в том, чтобы пересечь весь азиатский материк и возвратиться в Англию морем через Архангельск, ему очень приходится по душе. Корабль продан, снаряжен и нагружен товарами караван, и вот Робинзон, имея в числе спутников шотландского купца, 13 апреля 1690 г. находится на границе Московского государства. «Между Китаем и владениями русских, — записывает Робинзон, — лежит большая страна, которая по справедливости может быть названа „No man's Land“ — „ничья земля“». «Первое селение или город, который мы встретили во владениях московского царя, насколько помнится, носит название Аргуни. Он лежит на западном берегу реки того же имени». «Я не мог не обнаружить своего удовольствия, входя в христианскую землю или по крайней мере страну, управляемую христианами, потому что, по моему мнению, хотя москвитяне и не нашего исповедания, однако ж они очень благочестивы». «Не радуйтесь, земляк, слишком рано, — отвечает ему шотландский купец, — исключая русских солдат и немногих жителей городов по дороге, вся остальная часть страны на пространстве тысячи миль населена язычниками закоснелыми и бессмысленными. Что и в самом деле мы увидели. . .». 22 дня идут они по пустынным степям и бесконечным лесам до г. Нерчинска (Nortzinskoy); далее, войдя вновь в обширную пустыню, переправляются через «огромное Чэкс-озеро» (Schaks-oser) и еще через два дня, отдохнув в деревне Plotus (Plotbus?), через реку Удду (Udda), затем достигают города Яравены (Jarawena), «где находится московский гарнизон». Дальнейший путь каравана ведет его опять через пустыню. Они идут ею в течение 23 дней, после чего, наконец, попадают в «довольно населенную страну, в которой находятся города и крепости, построенные московским царем, где

⁷ О Дефо как повествователе см. этюд: *Second W. A. Studies in the narrative method of Defoe*. Urbana: The Univ. of Illinois, 1924.

стоят русские гарнизоны, охраняющие дороги и караваны от хищнических набегов татар». Немного отдохнув здесь, они вновь двигаются в путь. Двенадцать дней через пустыню Тунгусской области — и путешественники прибывают в «Елисейск, русский город, лежащий на большой реке Енисее (Janesay). Эта река, как нам говорили здесь, отделяет Европу от Азии». «От реки Енисей до такой же большой реки Оби» путешественники опять проходят «дикую, необработанную и малонаселенную страну», после чего, наконец, попадают в Тобольск, где и остаются на зимовку.

Таков путь каравана. Как видно, описание пройденных земель не отличается ни особой живостью, ни обстоятельностью; дикие, безлюдные пустыни, голые степи, на которых не произрастает «ни деревца, ни даже хворостинки», — вот сибирский пейзаж романа. Все громадное пространство, которое пересекает Робинзон, от Амура до Тобольска кажется этой пустышней, необитаемой землей, предоставленной самой себе, силам природы, стихиям. Лишь изредка встречаются путешественникам «московские гарнизоны» — эти маленькие островки среди ужасающего безлюдья. Человек бежит из этих мест, потрясенный величием необозримых пространств, неотмерзающих полей, непроходимых чащ. Робинзон, привыкший к одиночеству и борьбе за существование, и тот торопится закончить свой путь, едва отдыхая на стоянках и слишком скоро удовлетворив свое любопытство. Из отрывочных, деловых записей его дневника создается внушительная картина именно потому, что он все время как бы уклоняется от живописания. В однообразии или отсутствии подробностей в данном случае заключена большая конкретизирующая сила.

Сознательно или бессознательно добивался Дефо такого впечатления, сказать трудно. Скорее всего, что у него в запасе не было ни достаточных географических познаний, ни даже просто удовлетворительной карты. Но такое описание, насколько бы оно ни соответствовало действительности, все же было бы слишком однообразно для романа-путешествия, и Дефо, где может, старается внести в свой монотонный рассказ новые краски, новые детали. Интересно, например, то отступление, которое он делает при описании Амура; чувствуется, что и здесь Дефо не в силах сделать свое описание более отчетливым и занимательным; он почти беспомощно водит рукой по географической карте, в которой слишком много пустых мест и интригующих умолчаний: «При въезде в русские владения мы не встретили ни одного замечательного города и вообще ничего, что могло бы обратить на себя наше внимание, кроме следующего: все реки этой страны имеют свое направление к востоку, и как показала мне карта, которую я нашел у некоторых попутчиков, все они впадают в одну большую реку Амур (Yamoung), которая при своем естественном течении на восток вливается в Великий океан или Китайское море. Рассказывают, будто устья этой реки загромождены гро-

мадным тростником чудовищного роста, толщиной в три фута и вышиною от двадцати до тридцати фугов, но я не верю этой басне. По реке нет судоходства, потому что нет торгового пути, и татары, единственные обладатели этого края, занимаются исключительно скотоводством, так что едва ли найдется такой отважный путешественник, который решится отправиться по реке вплоть до ее устья или отважится выйти на корабле в это устье и подняться до ее верховья. Известно только, что Амур, протекая на восток под 50 градусами северной широты, на пути принимает в себя много рек и вливается в океан». «К северу от этой реки текут многие другие значительные реки, сохраняя прямое направление. Все они несут свои воды в одну большую реку, известную под именем Татара. Отсюда и произошло название целой нации — монгольские татары, которых китайцы считают первыми обитателями земли и которые, по словам наших географов, упоминаются в священном писании под именем тогов и магогов». Во всем этом длинном описании лишь рассказ о чудовищном тростнике, загромаждающем устья Амура, вносит некоторое разнообразие в монотонную картину; эту «басню» Дефо, скорее всего, выдумал сам, чтобы тут же ее опровергнуть в целях правдоподобия рассказа. Впрочем, ссылка на «наших географов» все же свидетельствует о некотором знакомстве Дефо с литературными источниками о странах северо-восточной Азии. Что же касается известной легенды о Гоге и Магоге, восходящей к библейскому преданию (Кн. пророка Иезекииля, гл. 39, и Откровение Иоанна, гл. 20) и развитой средневековыми сказаниями о народах, заключенных Александром Македонским, то трудно сказать, где именно Дефо почерпнул ее: упоминания об этих баснословных народах мы найдем не только у Рубруквиса и на древнейших картах северной Азии, но и в конце XVII в. в путешествии Спафария и на европейских картах начала XVIII в.⁸

Эпизодов, подобных только что приведенному, было, конечно, недостаточно, чтобы оживить повествование. Дефо, действительно, ввел в свой рассказ несколько приключений, из которых центральным в описании Сибири является сожжение Робинзоном татарского идола «Чэм-Чи-Таунгю» (*Cham-Chi-Taungu*). Об этом повествует вся XIX глава. Остановившись с караваном около Нерчинска, Робинзон со своими спутниками наблюдает за жiangью татар. Исповедуемая ими грубая форма идолопоклонства наполняет горечью его протестантское сердце, а вид деревянного исту-

⁸ «И аде скончается Сибирское государство, и начинается государство мунгальское. Мунгалы суть, о которых пишет в Библии — Гог и Магог, потому что они называют себя Маголь» (Путешествие Спафария / Изд. Ю. В. Арсеньева. СПб., 1882, с. 128). Река *Tarlag*, текущая к северу, отмечена на французской карте придворного географа Людовика XIV — Sanson (et Jaillot) в 1694 и еще в 1719 г. (См.: *Cohen G. Les cartes de la Sibirie au XVIII s.* — In: *Nouvelles archives des Missions scientifiques et littéraires*. Paris, 1910, vol. 1, p. 79, 133). Здесь же отмечены также народы как *Moal-Mongal*, *Magog* и *Kogu* от них, на горах *Cocaja*, — *Jeka-Moal*, *Jagog* и *Gog*.

кана, перед которым лежат ниц несколько существ, внушает ему полное отвращение. Робинзон не может противостоять искушению и задумывает смелый план уничтожения священного кумира; в его распоряжении нет другого способа воспрепятствовать языческому богослужению. Подкравшись к идолу ночью вместе со своими спутниками и связав сторожей и жрецов, Робинзон сжигает идола на их глазах, после чего ему приходится поспешно бежать; и его самого, и всех участников этого дела от мстительности туземцев избавляет лишь предупредительность и находчивость русского воеводы, который доставляет средства к их спасению.

П. А. Корсаков в своем переводе романа говорит по поводу этого эпизода: «... само по себе, что все это выдумка пебывалого в Нерчинске Робинзона. Основанием ей, вероятно, служило истребление Даурских божниц удалыми Албазинскими казаками» (т. 2, с. 387). Однако, кажется, нет оснований заподозрить здесь обработку какого-нибудь исторического события. Робинзон — иностранец, проезжий путешественник и потому только и решается на столь крайнюю меру; Дефо удачно обрисовывает отношения к туземной религии русской правительственной власти в словах Нерчинского воеводы, по мнению которого истребление идола было делом столь же опасным, сколь и безнадежным; мы знаем, действительно, что сибирские светские власти были нередко самыми сильными противниками распространения христианства среди инородцев.⁹ С другой стороны, однако, в самом факте сожжения идола как наиболее легком способе борьбы против языческого культа нет ничего невероятного именно для того времени, которое описывает Дефо: в 1710 г., т. е. за несколько лет до того, как писался роман, Сибирскому митрополиту была прислана решительная грамота Петра Великого с повелением «ехать вниз великой реки Оби до Березова и далее, а где найдут по юртам остяцким их прелестные мнимые боги шайтаны, тех огнем палить и рубить и капища их разорить», а в 1712 г. уже было приступлено к исполнению царского указа.¹⁰ Слухи о распространении христианства в Сибири огнем и мечом должны были проникнуть и в европейскую прессу; несущественно, что указ Петра относился к западной Сибири, а в «Робинзоне» действие происходит около Нерчинска: Дефо, как, впрочем, и большинство европейцев его времени, плохо разбирается

⁹ Буцинский П. Крещение остяков и вогулов при Петре Великом. Харьков, 1893, с. 87—90.

¹⁰ Там же, с. 57. — Ср. у Г. Новицкого в его «Кратком описании о народе остяцком», 1715 (СПб., 1884) рассказ о том, как с позволения губернатора Сибири кн. Гагарина целая экспедиция «вся кумиры, истуканы беадушные сокрушаша, скверные капища и кумирницы разориша и сожгоша» (с. 70—73). Здесь же рассказывается, что «в Шорковых юртах», где был «кумир иссечен от древа на подобие человеке, сребрен имеющ лице, проповедники встретили яростное сопротивление; на повеление «сего идола сокрушати» народ «духом бесовским наущен, с убийственною на всех устремися рукою» (с. 72).

в этнографическом разнообразии туземного населения Сибири, называя все живущие здесь народы общим именем татар.

Довольно подробно рассказывает роман о зимовке в Тобольске. Прибыв в этот город, Робинзон был прежде всего поражен тем обществом, которое он здесь встретил: «... удивительнее всего прочего, — говорит он, — было изящное общество, которое находилось в этой пустынной стране. Но, как я сказал уже, страна была местом заточения <...> В городе проживали московские дворяне, князья, полковники и благородные разночинцы. Я нашел здесь знаменитого князя Головкина с сыном, старого генерала Робостиского (sic), многих других замечательных особ и нескольких дам». С Головкиным, «опальным министром московского царя», Робинзон сходитя особенно близко, ведет с ним долгие беседы и предлагает содействовать его бегству из Сибири, но старый вельможа отказывается из благородных побуждений и всеми силами старается внушить иноземцу интерес к своему отечеству. «Однажды ввечеру в беседе с изгнанником князем, — записывает Робинзон, — разговор зашел обо мне. Так как он говорил мне множество вещей о богатстве и величии своей отчизны и о том, как хорошо живут там, то я перебил его и сказал шутя, что житье-бытье мое на острове было гораздо удобнее, хотя владения мои не были так обширны и народы, подвластные мне, не так многочисленны» (т. 2, с. 400—401). В этой печальной усмешке гораздо больше личной горечи, чем остроты публициста, направленной против России; характерно, что на всем протяжении романа Дефо искусно уклоняется от ее общей оценки, хотя и несколько раз мимоходом упоминает об успехах завоевательной политики Петра, в частности в отношении восточных окраин государства, и говорит также о развитии русской торговли. Когда приходит время отъезда, Робинзон с согласия князя Головкина все же увозит из Тобольска его сына, последовавшего за отцом в ссылку. Благополучно они достигают вместе Архангельска, откуда молодой Головкин через Англию бежит в Вену, «к друзьям своего отца». П. А. Корсаков в комментариях к своему переводу подверг этот эпизод особенно язвительной критике. К словам Дефо об «изысканном обществе», которое Робинзон нашел «в этой пустынной стране, в части Европы, наиболее углубленной на север, близ Ледовитого моря, едва не под одной широтой с Новою Землею», Корсаков делает такое примечание: «Хорошо ли знали географию России во времена Дефо? Тобольск — в Европе на берегу Ледовитого океана и почти на одной широте с Новою Землею! Столь же верно описание Тобольского общества в 1690 году» (т. 2, с. 399, примеч.). Конечно, рассказ Дефо очень далек от исторической правды, но все же Корсаков слишком строг. В книге сосланного в Тобольск Григория Новицкого, написанной в 1715 г., т. е. почти одновременно с романом, Тобольск — со ссылкой на распространенное мнение — прямо относится к Европе: «Сибирское государство содержится в полуночной стране, по разделении математическом пределенно во вто-

рой быти части, во Азии; неции же математики, иже пределы Европы великую реку Обь назнаменоваша, сии начало сего государства полагают быти в Европе, пределы же своими простирается даже во Азию. По сих разделению, и первопрестольный сего государства град Тобольск еще в Европе содержится, обретается же под градусом 57 и 30 минут широты, даже до студеного полунощного круга».¹¹ Что же касается тобольского общества, то и здесь Корсаков считает нужным заметить: «У нас были графы, а не князья Головкины, да и тех тогда не было в Тобольске. Всяк догадается, что имя это взято на выдержку из русского адрес-календаря» (т. 2, с. 399). Но комментатор забывает о правах беллетриста даже в историческом романе давать лишь приближение к исторической правде, улавливая лишь общий дух эпохи и не связывая себя по рукам и ногам генеалогией, топографией и историческими документами. Дефо же писал не исторический, но современный роман; осведомленность, чутье журналиста помогли ему и в данном случае сравнительно удачно справиться с своей задачей; в фигуре русского вельможи, отстраненного от дел и доживающего свой век в сибирской ссылке, во всяком случае, не было ни анахронизма, ни неправдоподобия.¹²

Таково в общих чертах содержание романа. Как ни туманны очертания Сибири, здесь нарисованные, как ни поверхностно описание ее озер, степей, рек и городов, нельзя все же не согласиться с тем, что эта суммарная и часто довольно банальная картина изображена с некоторым знанием предмета. Недостаточно было прочесть на карте такие имена, как Argun, Nortzinskoу, Jarawena, Sibeilka, и беспомощно развести руками перед множеством белых, пустых мест, которыми обозначены были безлюдные пустыни и просто еще неизведанные земли; целый ряд подробностей, отчасти уже указанных выше, говорит за то, что Дефо пользовался и литературными пособиями. Маршрут путешественников, по привычке Дефо указанный в стиле подлинных путевых дневников, с точным вычислением количества дней, употребленных на переходы, указанием пирот и долгот, сжатые, но все же не лишённые живописности пейзажи, описание туземцев, московских гарнизонов, — все это требовало книжных справок. И они несомненно были сделаны. Краткий обзор литературы, ко-

¹¹ Носицкий Г. Краткое описание. . . , с. 13. — При описании Енисейска Дефо замечает, что «большая река Janesau, как нам говорили здесь, отделяет Европу от Азии».

¹² Любопытно, что из графов Головкиных один (именно гр. Михаил Григорьевич) был, действительно, сослан в Сибирь вместе со своею женою, Екатериной Ивановной, хотя это и произошло значительно позже выхода в свет романа Дефо. Во французских же переводах романа этот мнимый изгнанник переименован в князя Голицына (это имя сохранено и в новых русских переводах романа Дефо — П. Коячаловского, 1889 и 1904 г.), что, впрочем, также имеет историческое оправдание: в 1689 г. за взятый от крымских татар подкуп в Сибирь сослан был кн. Василий Голицын, о чем упоминает, например, в своем сочинении кап. Перри (1716) (ЧОИДР, 1871, кн. 2, с. 88).

торая могла быть в распоряжении Дефо, установит и причины его интереса к Сибири и поможет с большей долей вероятия определить основные источники его романа.

4

Общезвестен тот исключительный интерес к России, который обнаружился в Англии с половины XVI в. Начиная с 1553 г., когда один из трех кораблей, снаряженных английской торговой компанией («Обществом купцов, искателей открытия стран, земель, островов, государств и владений, не посещаемых морским путем»), достиг северных пределов московского царства, сношения России с Англией, коммерческие и дипломатические, сделались непрерывными и очень интенсивными. Учреждение в Москве английского представительства и ряда торговых контор, регулярный, обильный и столь выгодный для Англии торг, шедший через Архангельск и порты Белого моря, — все это сразу обеспечило в ней интерес к далекой Московии.¹³ Дефо хорошо знал знаменитые собрания путевых дневников английских мореплавателей, изданные Hakluyt'ом и Purchas'ом, в которых так часто упоминаются Московия и сопредельные с ней страны; знал, вероятно, и компиляцию творца «Потерянного рая» Джона Мильтона — его «Краткую историю Московии и других менее известных стран, лежащих на восток от России даже до Китая» (1682), «выбранную из сочинений многих очевидцев», — сочинение, которое, по мнению его русского переводчика, было «не более, как спекуляцией на современный ему вкус английских читателей, всегда интересовавшихся всем, что относилось до отдаленной Московии и до еще более отдаленного Китая».¹⁴ «Я <...> не без наслаждения следовал за путешественниками от восточных границ России до стен Китая, в разных сухопутных путешествиях, сделанных туда русскими, которые описывают эти страны совсем иначе, чем обыкновенные географы», — признавался Милтон в предисловии к своей книге, и это признание чрезвычайно характерно для вкусов его эпохи.

Интерес к Московии, на глазах целой Европы возвышавшейся до крупной державы и равноправной политической единицы, за-

¹³ История англо-русских сношений в XVI—XVII вв. изучена довольно обстоятельно в известных трудах Ю. Гамеля, Ю. В. Толстого, С. Середонина, И. Любименко и др., а также в английских работах Page, Scott, Gerson и др. Перечень их и оценку можно найти в статье И. Любименко «Новые работы по истории сношений Московской Руси с Англией» (Историч. изв., 1916, № 2, с. 14—25); из новых статей по этому вопросу укажем на статьи И. Любименко в «Русском прошлом» (1923, т. 5, с. 3—23), в «Revue historique» (1926, 153, Sept.-Oct., p. 1—40: «Les relations diplomatiques de l'Angleterre avec la Russie au XVII s.») и в «The Slavonic Review» (1927, 6, p. 104—118), а также на библиографический очерк А. Мейендорфа «Англичане XVII и XVIII столетия о русских и о России» (Сборник статей, посвященных П. В. Струве. Прага, 1925, с. 299—311).

¹⁴ Толстой Ю. В. «Московия» Мильтова. — ЧОИДР, 1874, кн. 3, с. 2—3.

метно увеличился к началу XVIII в. Петровская реформа, резкие изменения всего государственного строя и бытового уклада усиливали смутное впечатление загадочной силы России и вызывали опасения европейских дипломатов. Поездки Петра за границу, в частности его пребывание в Лондоне в 1698 г., значительно способствовали его популярности именно в Англии. Своеобразная фигура царя, его смелые замыслы и руководство реформами, успехи на театре военных действий, постройка военного флота, — все это вызывало к себе самое напряженное внимание. Книжный рынок Европы ответил на этот интерес десятками книг о России и Петре, дневниками служивших при нем иностранцев, мемуарами дипломатов, сборниками анекдотов, описаниями путешествий и учеными трактатами. Любопытно, что и Дефо, с его темпераментом и предприимчивостью журналиста, столь чуткий к злобе дня и запросам читателей, через два года после выхода в свет «Робинзона» анонимно издал «правдивую» историю жизни царя Петра, которую он и на этот раз, следуя своему обыкновению, в целях занимательности и придания ей полной достоверности приписал британскому офицеру, якобы бывшему на русской службе.¹⁵ К этой книге Дефо уже был отчасти подготовлен другим своим изданием — книгой по истории войн Карла XII, вышедшей дважды, в 1715 и 1720 гг.: России и Петру в ней уделено было также немало внимания. Один из популярных романов Дефо — его «История замечательной жизни достопочтенного полковника Джека», который, как гласило длинное заглавие, «родился дворянином, поступил в обучение к карманному вору, двадцать лет жил воровством, был завербован в Виргинию, возвратился купцом, был пять раз женат на четырех публичных женщинах, принимал участие в военных действиях, наконец дезертировал и бежал за границу»; вся эта одиссея авантюриста должна была закончиться службой полковника Джека в «русской армии, действовавшей против турок»; последнее обещание загла-

¹⁵ An Impartial History of the Life and Actions of Peter Alexowitz, the Present Czar of Muscovy: From his Birth to this present Time. . . /Written by a British Officer in a Service of the Czar. London, 1722. — 2-е издание с дополнениями и новым заголовком вышло в свет в год смерти Петра: A True, Authentick and Impartial History. . . The Whole compil'd from the Russian, High Dutch and French Languages, State Papers and other Publick Authorities, 1725. — Книга эта составлена из хорошо известных пособий (прежде всего по сочинению кап. Перри «Состояние России при нынешнем царе», 1716), но здесь даны извлечения из других книг и официальных источников, впрочем, не столь многочисленных, как на это намекает подзаголовок. Вслед за краткой биографией Петра и описанием его путешествий по Европе рассказано об изучении им наук, искусств и военного дела, излагаются его войны со шведами, турками и поляками «and his succesful and unparalleled conquest over those people». Р. Мницлов (Петр Великий в иностранной литературе. СПб., 1872, с. 38—39), подробно описывая эту книгу, ничего не говорит о том, что ее автором или во всяком случае одним из ее составителей был Дефо; Мейендорф (Англичане XVII и XVIII столетия. . . , с. 304, 306) принимает эту книгу за подлинные записки «британского офицера». Авторство Дефо устанавливает «Кембриджская история литературы» в полном библиографическом перечне его произведений (t. 9, p. 429).

вия, впрочем, осталось невыполненным, так как книга оказалась и без того слишком длинной. Но в Россию Дефо все-таки привел своего любимого героя — Робинзона и заставил его именно здесь закончить историю своих странствований и путевых тревог.

Дефо всегда интересовался всем, что касается торговли. Автор «Образцового английского негоцианта» и ряда экономических работ был не только теоретиком в этом вопросе, но и сам несколько раз пускался в торговые спекуляции, — впрочем, неудачные. Перспективы английской коммерции были ему особенно дороги. Это должно было определить его интерес к русско-китайским торговым отношениям начала XVIII в. Именно в ту эпоху, когда писался его роман, отношения эти сильно оживились и были характеризованы в ряде сочинений, благодаря которым Запад впервые достаточно подробно ознакомился с сухопутной дорогой в Китай через Сибирь.

Gaston Cahen в своей книге о русско-китайских отношениях в Петровскую эпоху отмечает, что ни в XVII, ни даже в XIX в. между Москвой и Китаем не было столь оживленных дипломатических и коммерческих отношений, как в период между 1689 и 1730 гг.: в это время из России отправлено было в Китай три посольства и около дюжины караванов.¹⁶ Нерчинский трактат 1689 г. — первый договор, устанавливавший наши торговые сношения с Китаем, был вместе с тем и первым договором, заключенным китайцами с иностранцами вообще.¹⁷ Вполне естествен тот интерес, который проявила Европа как к самому договору, так и к его экономическим последствиям. Новая дорога в Китай, по которой шли русские караваны и которую так долго искали, устанавливалась; выгоды пути и торговых предприятий становились очевидны.

Уже иезуит Авриль с восторгом говорил в своей книге «Voyage en divers états d'Europe et d'Asie, entrepris pour découvrir un nouveau chemin à la Chine» (Paris, 1692) о легкости путей сообщения с Китаем, в особенности через Сибирь, хотя сам и бесплодно добивался возможности совершить такое путешествие. В том же 1692 г. явилось в свет знаменитое сочинение голландца Николая Витзена о «Северной и Восточной Татарии» («Nord en Oost Tartaryen»), материалами для которого служили сведения, собранные автором в Москве с большою тщательностью и критическим чутьем. Но если Авриль и Витзен говорили еще о Сибири и Дальнем Востоке лишь понаслышке, с чужих слов, «никогда не перешагнув за Москву и Астрахань», то уже через несколько лет опубликованы были подлинные тексты дневников, веденных на пути между Москвой и Китаем.

Голландец Ибрагим Идес, посланный Московским правительством в Китай в 1692 г. для подтверждения некоторых торговых

¹⁶ Cahen Gaston. Histoire des relations de la Russie avec la Chine sous Pierre le Grand (1688—1730). Paris, 1912, p. 19—30.

¹⁷ Трусовиц Х. Посольские и торговые сношения России с Китаем. М., 1882, с. 31—35.

привилегий и установления более тесной торговой связи между обоими государствами, был одним из первых иностранцев, сообщивших Европе подробное описание своего путешествия. Выдержки из его дневника привел Хр. Менцель в своей «*Curze Sinesische Chronologia*» уже в 1696 г.; в следующем году (1697) их повторил П. Г. Лейбниц в своей книге «*Novissima Sinica*». В 1698 г. один из слугников Исбранта — немец Адам Брапт издал в Гамбурге полное описание их совместного пути, которое тотчас же было переведено на английский язык, а в 1699 г. — на голландский и французский. В том же 1699 г. вышла книга «*Relation curieuse et nouvelle de Moscovie...*» де ла Невилля, который, подобно Аврилю, для описания сибирских земель пользовался рукописью «Путешествия» Спафария — русского посла в Китай в 1675 г. Наконец, и сам Исбрант, уступая настояниям Витзена — и под его редакцией, — выпустил в свет и свой собственный рассказ сначала на голландском языке (1704), затем на английском (1706, 2-е изд. — 1716), немецком (1707) и, наконец, французском (1718). В вышедшем одновременно с ним втором издании «Северной и Восточной Татарии» Витзена (1705) много было исправлено согласно указаниям Исбранта, и прежде всего обновлена и пополнена приложенная к сочинению карта Северо-Восточной Азии.¹⁸

Таким образом, благодаря книгам Авриля, Витзена, Невилля, Брапта и особенно рассказам Исбранта в последние годы XVII и в самом начале XVIII в. ученые Европы получили первые более или менее подробные сведения о далеких странах между Москвой и Китаем и о той торговле, которая установилась через Сибирь.

Если к указанным книгам прибавить сочинения кап. Перри «*The State of Russia under the present Czar*» (London, 1716, с картой; франц. перевод — 1717) и, может быть, книгу Буэ «*The present condition of the Muscovite Empire*» (London, 1719),¹⁹ вышедшую почти одновременно с книгой Дефо, то мы получим приблизительное представление как об интересе Европы к рус-

¹⁸ См.: *Cahen Gaston. Histoire des relations...*, p. 90—92 и в приложении: «*Bibliographie*», p. CXLIX e. suiv. — О путешествии Исбранта Идеса см.: *Бантыш-Каменский Н. Н. Собрание дел между Российским и Китайским государствами. Казань, 1882*, с. 66; *Henning G. Die Reiseberichte über Siberien von Herberstein bis Ides. — Mitt. der Vereins für Erdkunde zu Leipzig, 1905*, S. 312—321; русский перевод его путешествия в «*Древней российской вивлиофике*» (т. 8 л 9). В популярной форме путешествие Исбранта пересказано было в книге: *Базилевич К. В. В гостях у Богдыхана. Л., 1927*, с. 169—214. См. также: *Кордт В. Материалы для истории русской картографии. Киев, 1905*, вып. 2, с. 26—28. — О приключениях Ф. Авриля, отправившегося искать сухопутное сообщение в Китай через Астрахань, см.: *Пирлинг П. Исторические статьи и заметки. Пг., 1913*, с. 125—139; Сведения о Сибирь и пути в Китай, собранные миссионером Аврилем в Москве в 1687 году. — *Рус. вестн.*, 1842, № 4, с. 69—104.

¹⁹ *Cahen Gaston. Histoire des relations...*, *Bibliographie*, p. CLXXII e. suiv.

ско-китайским делам в начале XVIII в., так и о вероятных источниках второй части романа Дефо.

Французский исследователь романа, посвятив несколько страниц рассмотрению источников Дефо в описании Китая, высказал мимоходом предположение, что именно путешествие Исбранта «дало Дефо идею заставить Робинзона пересечь весь Азиатский материк. Робинзон следует буквально, но в обратном порядке по пути, указанному Исбрантом».²⁰ Это весьма правдоподобно; рассказ Исбранта, с таким интересом прочтенный и столько раз повторенный на всех европейских языках, пользовался значительной популярностью, как подлинный дневник очевидца. Со стороны Дефо было так естественно воспользоваться его географическими наименованиями и путевыми впечатлениями, чтобы перефразировать их в дневник пути Робинзона, совершавшего свое путешествие по Сибири почти в то же время и при сходных обстоятельствах. Заметим, кстати, что в описываемую эпоху в караванах, шедших из Москвы в Китай, было всегда много иностранцев. Ранние московские послы в Китай — румын Слафарий Милеску, голландец, но датский подданный Исбрант Идес — были иностранцы; в 1715 г. в Пекин ездил с официальным поручением русского правительства английский медик Carvin (Carving) и швед Лаврентий Ланг.²¹ В фигуре шотландского купца, сопровождавшего Робинзона, и в других иностранцах — спутниках его каравана, таким образом, тоже не было ничего необычайного для времени, о котором идет речь.

Сходство романа Дефо с путешествием Исбранта могут подтвердить и более детальные сопоставления.

Любопытно, например, сравнить начало сибирского дневника Робинзона с описанием Аргунска у Исбранта; описание пустыни между Аргунском (Аргуном) и Удинском у Исбранта сильно напоминает соответствующее место у Дефо своим общим колоритом и скудостью подробностей: «Апреля в 26 день приехали щастливо в замок Аргуна. От замка Удинска до сего места ни пашни, ниже обывателей не имеетца, и во всем помянутом тракте я ни одного человека не нашел и сверх того та гора весьма неглаткая была, нагуще всего скучила: того ради не мало обрадовался, что из таких мест выехал».²² Если некоторое сходство изображенных Исбран-

²⁰ *Dottin Paul. D. Defoe et ses romans, t. 2, p. 341.*

²¹ *Cohen Gaston. Histoire des relations. . . , p. 107 e. suiv.* (глава «Les caravanes russes en Chine. . .»). — Дневники Ланга были частично опубликованы Вебером (Das Veränderte Russland. Frankfurt, 1721), полностью же издааны лишь в книге: *Krieger Bogdan. Die ersten hundert Jahre russisch-chinesische Politik. Berlin, 1904.*

²² Путешествие и журнал посланника Избраннедеса. — Древняя российская вивлиофика. 2-е изд. М., 1789, т. 8, с. 421—422, 433 (Описание Аргунска), с. 421 (Sibeilka). «В замке Ярауне (Iarawena — Дефо), — пишет, между прочим, Исбрант, — казачий гарнизон содержится, и около оного замка несколько русских дворов являетсяца, которых обыватели доставанием соболей промышляют. В дистриктах, которые ко оному замку надлежат, живут идолопоклонники, называемые конные тунгусы» (с. 422).

том остяцких идолов с тем чудовищем, которое сжигает Робинзон,²³ может объясняться слишком общим характером изображения, которое дают и тот и другой, то с большим правом можно предположить, что приключение Робинзона с разбойниками в «лесистой дубраве» за Соликамском навеяно рассказом Исбранта о нападении большой шайки бродяг на Кай-город.²⁴

И тем не менее дневник Исбранта не был единственным источником сведений Дефо о Сибири. Совершенно естественно предположить, что ему были известны и другие сочинения, которыми он воспользовался там, где Исбрант был слишком краток; выше уже были указаны детали, которые Дефо заимствовал, вероятно, из общих географических пособий и известий периодической печати. Из сочинения Перри Дефо, например, мог узнать, что китайская стена находится «на расстоянии нескольких дней пути от верховьев реки Аргуни» (Argun), а также воспользоваться отсюда некоторыми географическими названиями; караван Робинзона гружен теми же товарами, о которых Перри упоминает, рассказывая о торговых сношениях России с Китаем: «Ежегодно отправляются туда значительные купеческие караваны, нагруженные преимущественно драгоценными сибирскими мехами», а также «разного рода мелкими ввозными товарами, получаемыми через Архангельск. Из Китая же караваны возвращаются с чаем в больших кувшинах и с шелковой камкою, а также вывозят оттуда ткань с примесью бумаги, известную у русских под именем китайки».²⁵ Для характеристики московских гарнизонов и поселений между Тобольском (Tubollsky) и китайской границей, для описания Амура (Yamouir), татарских орд книга Перри могла дать несколько новых и живописных штрихов. Но под руками Дефо в момент написания романа несомненно была также и карта северо-восточной Азии. На основании правописания некоторых собственных имен Доттен делает предположение, что эта карта была французская,²⁶ с чем, однако, трудно согласиться с уверенностью; я, напротив, склонен думать, что эта карта была английская или голландская. Скорее всего

²³ Там же, с. 387, 388. — Перед татарским идолом у Дефо «лежало ниц шестнадцать или семнадцать существ, не знаю мужчин или женщин, потому что они не отличаются ни одеждою, ни головным убором» («Жизнь и приключения Робинзона Крузо» в изд. А. Красовского, т. 2, с. 375). Ср. у Исбранта: «Жены их (остяков) почитай таким же образом одеты как они» (Древняя российская вивлиофика, т. 8, с. 390).

²⁴ Там же, с. 365—366. — Уже Корсаков обратил внимание на забавную ошибку, которую допустил Дефо в этом месте своего рассказа. «Переехав реку Каму, связывающую здесь Европу с Азией, — пишет он, — мы очутились уже в Европе. Первый город на Европейской стороне называется Соликамск (Soloukamstkoou), что значит великий город на берегу Камы». «Русской улыбнется, — замечает Корсаков, — читая это забавное толкование английского этимолога, повторенное во всех германских и французских переводах: соль — просто соль, а не великий город!» («Жизнь и приключения Робинзона Крузо» в изд. А. Красовского, т. 2, с. 414, примеч.).

²⁵ Перри. Повествование о России. — ЧОИДР, 1871, кн. 2, с. 50—54.

²⁶ Dottin Paul. D. Defoe et ses romans, p. 341.

это была карта, приложенная к сочинению кап. Перри, или та, которая напечатана была при издании путешествия Исабранта, редактированном Витзенем;²⁷ будучи значительно полнее, чем все предыдущие, эта последняя послужила материалом для восточной половины карты Росски, изданной в начале XVIII в. амстердамским книгопродавцем Де-Виттом (лондонское издание той же карты напечатано Христофором Броуном); копию этой же карты представляет и карта Сибири Делиля (1704, 1714).²⁸ Именно сходство карт, доходящее до полного тождества, и затрудняет решение вопроса, какою из них пользовался Дефо.²⁹

Дальнейшие сопоставления едва ли приведут к новым выводам. Разыскание источников неизбежно предполагает одностороннее освещение вопроса: полнота критического анализа здесь едва ли достижима. В конце концов перед нами все же остается цельное художественное произведение, не разложимое на составные части, в тайну создания которого удается проникнуть лишь в редких случаях. Но именно с романом Дефо дело обстоит сравнительно просто. Круг источников, из которых Дефо мог почерпнуть необходимые сведения, был очень ограничен; он не мог сделать самостоятельного выбора. Дефо счастливо избежал небылиц, которые распространялись о Сибири в европейском обществе XVII в., и воспроизвел лишь наиболее достоверное, что он сам мог узнать об этой стране. Фактическая сторона его повествования приводит нас к книгам Витзена, Перри, Исабранта и других, т. е. к наиболее свежим книгам вопроса в момент написания романа. Путь Робинзона повторяет пути настоящих путешественников по Сибири; названия городов и селений точно скопированы с лучших карт его времени. В романе нет ни одной подробности, какая не могла бы найти себе подтверждения в литературных источниках начала XVIII в.: добываясь правдоподобия рассказа, Дефо использовал все доступные средства. Таков основной вывод, к которому приводит нас изучение романа — этой первой попытке дать картину Сибири в европейской литературе.³⁰

²⁷ Она воспроизведена у В. Кордта (Материалы по истории русской картографии. 2-я сер. Киев, 1905, вып. 1, табл. № XXVII). На карте Витзена можно найти город Plotbus и реку того же имени и озеро Schaks (см.: *Cohen G. Les cartes de la Sibirie. . .*, p. 70).

²⁸ Кордт В. Материалы. . ., с. 27—28.

²⁹ Впрочем, нельзя забывать и того, что, сопоставляя географическую номенклатуру романа с данными географических карт, приходится думать и относительно несправностей печатного текста, даже его первых изданий, далеко не соответствовавших авторской рукописи: типографии в то время довольно бесцеремонно обращались с авторским текстом, тем более с таким, каким были «пероголифические» манускрипты Дефо (см.: *Dottin Paul. D. Defoe et ses romans*, p. 345—347); так же несправны «критические» издания романа вплоть до «факсимильного» (с ошибками) воспроизведения издания 1719 г. A. Dobson'a (London, 1883). Об этом см. в специальной работе: *Lannert. An Investigation into the Language of Robinson Crusoe*. Upsala, 1910.

³⁰ Отметим кстати, что образ Робинзона использован был еще раз для авантюрного романа на сибирскую тему: *Bade Th. Robinson's Gefahren und Abenteuer am Nordpol während seines Aufenthalts an den Küsten des sibirischen Eismeer*. Berlin, 1858; Neue Ausg. 1859.

„РОБИНЗОН КРУЗО“ В РУССКИХ ПЕРЕВОДАХ

Французский исследователь Поль Доттен в своей известной книге «Даниэль Дефо и его романы», переведенной и на английский язык, утверждает, что «Робинзон Крузо» якобы «очень поздно стал известен в славянских странах; единственный перевод опубликован был на исходе XVIII века: этот был перевод сербский (1799). Лишь в 1830 году появился перевод польский. Другие славянские страны узнали Робинзона только во второй половине XIX столетия; русский перевод был последним: он появился лишь в 1887 году в Одессе».¹

Все ошибочно или неточно в этой краткой библиографической справке. Во всех славянских странах «Робинзон», хотя и в сокращенных и несовершенных переводах, появился гораздо ранее, чем это представляется П. Доттену: первый перевод на сербо-хорватский язык издан был не в 1799, а в 1796 г., первый чешский — в 1797, первый болгарский — в 1849 (за которым последовали издания 1858 и 1869 гг.)² и т. д. Но особенно вопиющей является ошибка Доттена относительно русских переводов «Робинзона»: первый из них не только появился на 125 лет раньше, чем то случайно обнаруженное им одесское издание 1887 г., — ничем, кстати сказать, не замечательное, — но и явился самым ранним из переводов этого романа на славянские языки; количество же изданий «Робинзона» в разнообразных русских переводах уже до середины XIX столетия в несколько раз превзошло общее число его изданий на славянских языках вместе взятых.

Первым переводчиком романа на русский язык был Я. Трусов. Перевод его (правда, сделанный с французского сокращения) издан был в Петербурге в двух частях в 1762—1764 гг. и озаглавлен «Жизнь и приключения Робинзона Крузо, природного англичанина, соч. Д. Фое». Второе издание этого перевода появилось в 1775 г., третье — в 1787, четвертое — в 1797, пятое — в 1814 г., хотя незадолго до этого последнего появился уже и новый перевод, Я. Лангена, сделанный с английского подлинника: «Жизнь и приключения Робинзона Крузо, им самим писанные» (СПб., 1811).³

¹ *Dottin Paul. D. Defoe et ses romans. Paris, 1924, t. 2. Robinson Cruscè. Etude historique et critique, p. 452.*

² *Rucevič P. Робинзон Крузо. София, 1938, с. 38.*

³ Более точные и подробные данные об этих изданиях «Робинзона» см.: *Сопиков В. С. Опыт российской библиографии / Ред. В. П. Рогожина. СПб., 1904, ч. 3, № 3988—3989 и 4055. — Сравнение перевода Трусова с оригиналом, произведенное Е. П. Приваловой (см.: *Привалова Е. П. Робинзон Крузо в детской и педагогической литературе. — Книга детям, 1929, № 2-3, с. 12—18*), привело к заключению, что «мы имеем дело с сокращением романа, граничащим с переделкой», «с приспособлением романа к менее подготовленной аудитории, но всей вероятности, детской» (с. 15). Перевод Я. Трусова пользовался широким распространением у русских читателей: заглавие этой книги нередко встречается в старинных каталогах частных библиотек*

Не подлежит сомнению, что в XVIII в. «Робинзон Крузо» много читался в России как в русском переводе, так и в различных западноевропейских сокращениях и переделках; уже в то время он стал у нас излюбленной книгой для юношества. М. Дмитриев в своих известных воспоминаниях «Мелочи из запаса моей памяти» прямо свидетельствует, что «Робинзон Крузо» находился «в каждой деревенской библиотеке».⁴ О широкой известности этого произведения у русских читателей свидетельствует А. Х. Востоков.⁵ В журнале Н. И. Новикова «Детское чтение для сердца и разума» (1785—1789) мы находим извлечения из «Робинзона» Дефо и немецкой переделки 1779 г., сделанной И. Г. Кампе,⁶ а в «Воспоминаниях» С. Н. Глинки есть рассказ о наставнике его юности, французе Леблане, который был страстным поклонником «Робинзона» (в частности, той же переделки Кампе) и с ранних лет прививал своему воспитаннику и его сверстникам любовь к этой знаменитой книге. «Видите ли, — говорил он, обращаясь к детям, — что может сделать один человек, употребляющий силы телесные и всю деятельность рассудка? Природа мертва, человек ее оживляет. Рука Робинзона преобразила остров, куда занесла его буря. Этого мало. Силою расторопного ума он исторг из рук диких страдальца, которого они готовились поглотить. Где не светит луч рассудка, там цепенеет в одичалости и природа, и человек. . .»⁷ Неудивительно, что когда двадцать с лишним лет спустя тот же С. Н. Глинка начал издавать журнал «Новое детское чтение» (1819—1824), то он открыл его именно «Робинзоном Крузо» в собственном сокращении и переработке для юных читателей.⁸ Впрочем, еще в начале этого столетия отрывки из «Робинзона» появлялись и в русских журналах для взрослых (например, в журнале «Иппокрена» 1800 г.),⁹ а имя одинокого жителя пустынного острова, затерянного в далеком океане, неоднократно упоминалось в книгах, статьях, дневниках, мемуарах и письмах этого времени. Таким образом, уже к самому началу XIX в. Робинзон как популярный

(Ильинский Л. К. Библиотека И. М. Хвостова. К истории библиотек XVIII в. — В кн.: *Sertum bibliologicum*. Пр., 1922, с. 352, 368).

⁴ Дмитриев М. Мелочи из запаса моей памяти. М., 1869, с. 42.

⁵ Срезневский В. С. Из воспоминаний А. Х. Востокова о его детстве и юности. — Рус. старина, 1899, март, с. 662.

⁶ Первое полное издание переделки Кампе в русском переводе (под заглавием: Новый Робинзон Крузе, служащий к увеселению и наставлению детей/ Соч. Кампе; пер. с немецкого Ф. Печерина. 2 ч. М., 1792), переиздававшееся впоследствии, осуществлено было Ф. П. Печериным, о чем он сам рассказывал в своих воспоминаниях (Записки Федора Павтеleyмоновича Печерина, 1737—1816. — Рус. старина, 1891, дек., с. 598). См. еще изданную десятилетием раньше книгу «Новый Робинзон Крузе, или Похождения славного аглинского мореходца» (пер. с немецкого. М., 1781).

⁷ Глинка С. Н. Записки. СПб., 1895, с. 65.

⁸ Чехов Н. В. Очерки из истории русской детской литературы. — В кн.: Материалы по истории русской детской литературы. М., 1927, вып. 1, с. 36, 103, 268, 274, 277, 286—287.

⁹ Поляков В. Робинзон на пустом острове. — Иппокрена, или Утехи любословия, 1800, кн. 7, с. 319—320.

литературный герой прочно вошел в сознание русских читателей всех возрастов в столицах и в провинциях.

В 1818 г. в журнале «Благонамеренный» помещена была статья о Робинзоне Крузо, основанная на французском источнике, в которой шла речь о причинах исключительной известности произведения Дефо и давалась подробная справка об его источниках и литературной истории. Здесь, в частности, писали: «„Робинзон Крузо“, которого любят читать и умные, и невежды, и молодые, и старые, и который один мог составить библиотеку Руссова „Эмilia“, откуда получил сию таинственную прелесть, нас привлекающую? Он описывает новую природу, которая, однако ж, представляется нам как бы в самом существе; образование, благосостояние, приобретенное человеком самим собою, мало походит на вымысел; но при всем том книга сия имеет заманчивость романа. Он не есть простое историческое повествование, но произведение гения изобретательного и образцового. Для всякого любопытно, кажется, знать историю столь достопримечательного творения».¹⁰ Поэтому автор приводит сопоставления истории Робинзона с рассказами Селькирка в записи Стиля (впервые в русской литературе эти рассказы приведены были уже Н. И. Новиковым) и с повествованиями Вильяма Демпьера («Новое путешествие вокруг света», 1697—1709), и поныне считающимися основными источниками Дефо.¹¹

Имя Робинзона уже в те годы стало у нас нарицательным.¹² О широкой известности его свидетельствует, в частности, упоминание Робинзона в имевшей большой успех легкой сатирической комедии Н. И. Хмельницкого «Воздушные замки» (1818). Действующие лица этой пьесы погружены в мечтания, не имеющие никакой опоры в действительной жизни, а главный герой, отставной мичман Альнаскарков, все еще грезит об адмиральском чине, об открытии новых земель, о каком-нибудь острове, где он станет властелином:

Да чем же, боже мой, я хуже Робинзона?
И я могу открыть прелестьный островок,
Там, сделавшись царем. . . построю городок,
Займусь прожектами, народными делами,
Устрою гавани, наполню их судами —
И тут то я до вас, алжирцы, доберусь,
Смиритесь! Не то. . . пойду, вооружусь,
И вы познаете вонтеля десницу. . .¹³

¹⁰ Робинзон Крузе. — Благонамеренный, 1818, ч. 3, июль, 7, с. 62—69. — Статья заимствована из «Bibliothèque britannique» и дана в переводе А. Н.—й; в сокращении и без указания на французский оригинал перепечатана в кн.: Сиповский В. В. Из истории русского романа и повести. СПб., 1903, т. 1. XVIII век, с. 272—273. (Материалы по библиографии, истории и теории русского романа).

¹¹ Secord W. A. Studies in the narrative method of Defoe. Urbana (Ill), 1924.

¹² Ашукин Н. С., Ашукина М. Г. Крылатые слова. 2-е изд. М., 1960, с. 529.

¹³ Отрывок из этой комедии (сцена 10) с монологом Альнаскаркова, из которого извлечена вышеприведенная цитата, появился в журнале «Благо-

В первой половине XIX столетия «Робинзона» читали у нас не только по-русски, но и на других языках¹⁴ и во множестве изданий, однако по преимуществу во всевозможных сокращениях и приспособлениях, зачастую лишь именем героя напоминавших о подлинном романе Дефо. Аналогичная картина наблюдалась в то время и во многих других странах; в обращении читателей находились «Робинзоны» каких угодно профессий и национальностей, приключения которых развертывались на разных географических широтах, в разных концах света. Так, например, у нас были переведены: «Богемский Робинзон, или Удивительные приключения юного Трайгольда» (СПб., 1815), «Приключения молодого матроса на пустом острове, или Двенадцатилетний Робинзон» (М., 1823) — французская повесть Болье, «Новый Робинзон, или Швейцарское семейство, претерпевшее кораблекрушение» — немецкое сочинение Вейсса, переделанное Монтольке (СПб., 1833), и ряд других. Наиболее же известная из обработок Дефо, принадлежащая перу немецкого педагога XVIII в. И. Г. Кампе, у нас выходила множество раз, во всевозможных переводах, вариациях и с разнообразными заглавиями: «Новый Робинзон, служащий к увеселению и наставлению детей» (М., 1819; перепеч. изд. 1792 г.), «Робинзопова колония, продолжение Кампиера Робинзона» (М., 1811, 1844), «Приятная и полезная книга для детей, или Повествование о населении Робинзопова острова в Южной Америке, представленная в нравоучительных разговорах отца с детьми» (СПб., 1814), «Новейший детский Робинзон, или Любопытнейшие приключения Робинзона Крузо. Рассказ отца своим детям» (М., 1839, 1849), «Подарок детям. Робинзон Крузе» (1845), «Сокращенный Робинзон» (СПб., 1843, 1853), «Робинзон младший» (М., 1853) и т. д.¹⁵

намеренный» (1818, ч. 3, № 7, с. 95—96). См. также: *Хмельницкий Н. И.* Соч. СПб.: А. Смирдин, 1849, т. 1, с. 367; *Игнатов Н. Н.* Театр и зрители. М., 1916, ч. 1, с. 158.

¹⁴ «Детские книги меня совсем не интересовали, может быть потому, что они в то время были очень плохи и неинтересны, — вспоминает П. П. Семенов. — Была, впрочем, одна книга, составлявшая исключение: это был Робинзон Крузо, бывший у нас в трех различных изданиях, на разных языках» («Мемуары П. П. Семенова-Тянь-Шанского. Пг., 1917, т. 1. Детство и юность. 1827—1855, с. 138). Е. А. Сушкова свидетельствует, что одной из двух книг, бывших в ее распоряжении до шестнадцати лет, был «Robinson Crusoe» во французском изложении (*Сушкова Екатерина (Е. А. Хвостова)*. Записки. Л., 1928, с. 75). В личной библиотеке Пушкина сохранилось английское издание «Жизни и приключений Робинзона Крузо» (2 vols. London, 1831), а также французский перевод романа Петрусса Бореля с биографией Дефо и материалами, служащими к его пояснению, — историей Селькирка, трактатом авиньонского епископа Ла-Будри (Paris, 1836). См.: *Модзалевский Б. Л.* Библиотека А. С. Пушкина. — Пушкин и его современники, СПб., 1910, вып. 9-10, с. 220, № 856 и 857. — Второе из этих изданий Пушкин приобрел в том же 1836 г. (см.: Литературный архив. Материалы по истории литературного и общественного движения. М.; Л., 1938, с. 41—42).

¹⁵ Более полно все издания этих «Робинзонов» для юношества перечислены в библиографическом указателе: Материалы по истории русской детской литературы 1750—1855 / Под ред. Д. К. Покровской и Н. В. Чехова. М., 1929, вып. 2, с. 54, 55, 81 и др.

В этом книжном потоке переведенных «робинзонад» подлинный текст Дефо искажался до неузнаваемости и превращался в средство для всякого рода педагогических экспериментов или просто легкой наживы. Отличить подлинного Робинзона от мнимых становилось уже нелегким делом, а имя истинного творца романа вытеснялось бесчисленными его подражателями и забывалось вовсе. П. А. Плетнев в 1844 г. попытался было в «Современнике» в первый раз набросать историю русских переводов произведения Дефо, но не справился с этой задачей, настолько она оказалась уже запутанной в библиографическом отношении и столь затруднительно было достать все наиболее ранние русские издания «Робинзона», ставшие к тому времени редкими из-за их чрезвычайной популярности.¹⁶ В те же годы Белинский не раз возвышал свой голос против непрерывно появлявшихся у нас всевозможных «детских Робинзонов», с их «рыночными заглавиями» и примитивной житейской философией, против ловких литературных промышленников, изготовлявших эти ходкие компиляции, делавших выборки из текста Дефо по своему усмотрению и вкусу и перекраивавших его на всякие лады. Так, Белинский справедливо ополчился, например, против «Новейшего детского Робинзона» в издании 1839 г., подымая на смех «правственную цель», которую поставил себе анонимный компилятор, и безграмотные картинки, приложенные к книге. «Под *чистейшею правственною* автор выборки разумеет наказание Робинзона за его величайшее преступление, состоявшее в бесполойном духе, который стремил его за моря. Не странно ли такое обвинение? <...> Нужно ли толковать, какую пользу принесли человечеству Куки, Лаперузы, Беринги и другие, и именно потому, что родились со страстью к мореплаванию? Что если бы *нежные родители* того или другого запретили путешествовать своему сыну? Чего бы тогда лишилась наука и человечество!.. Любовь и уважение к родителям, без всякого сомнения, есть чувство святое; но все должно быть в своих границах, и ничто ничему не должно мешать. Всякий человек обязан своим родителям; но в то же время он есть и сам себе цель, так что ограничить поприще его жизни только успокоением „нежных родителей“ значило бы уничтожить его значение как существа разумного, самостоятельного и свободного, имеющего обязанности не только к родителям и к обществу, и к самому себе, — обязанности, не менее первых священные. Извольте видеть, Робинзон был наказан судьбою за то, что последовал своему внутреннему влечению, самую природу в него вложенному!..»¹⁷ Нетрудно видеть, во что превращался «Робинзон» Дефо в этой маленькой книжке, объемом в несколько десятков страниц в 16-ю долю листа; составитель этой «выборки» извлек из текста романа лишь несколько размышлений героя Дефо о важности послушания родителям, но освободил свою ком-

¹⁶ Плетнев П. А. Соч. и переписка. СПб., 1885, т. 2, с. 360—361.

¹⁷ Белинский В. Г. Полн. собр. соч. М., 1953, т. 3, с. 205.

пилищю от всего остального, того, что обеспечило роману Дефо бессмертную жизнь.

Белинский отзывался также и о «Робинзоне» в переделке Кампе и с полным правом утверждал, что подлинный роман во много раз лучше даже этой столь прославленной переделки: «Руссо был прав, видя столь важную для воспитания книгу в „Робинзоне“ Даниэля Фоз; а переводчик Кампе совсем не прав, отдавая преимущество переведенной им книге перед „Робинзоном“ английским <...> Вообще „Робинзон“ Фоз несравненно лучше „Робинзона“ Кампе: последний состоит, большею частью, из пиятистических и резонерских разговоров отца, рассказывающего детям историю Робинзона. Эти разговоры для детей более способны произвести в детях скуку и отвращение к морали, чем быть для них наставительными. „Робинзон“ Фоз большею частью наполнен рассказом, которого интереса и занимательности для детей ни с чем нельзя сравнить; рассуждениями он наскучает довольно редко».¹⁸

Эти отзывы Белинского сыграли немалую роль в истории русской детской литературы¹⁹ и безусловно способствовали возбуждению интереса к «первоначальному и истинному», по его словам, «Робинзону» Дефо, к тому времени «вовсе затемненному». Однако Белинский был не вполне прав, утверждая, что к началу 40-х гг. в русской литературе существовали уже «два полных перевода» романа Дефо, так как, строго говоря, ни самый ранний и столько раз переиздававшийся перевод Я. Трусова (1762), ни даже перевод П. А. Корсакова, выполненный почти столетие спустя (1842), не являлись еще полными и точными переводами его подлинного текста.

Задача дать русскому читателю такой перевод, сделанный заново по оригиналу и без всяких сокращений, хотя и представлялась настоятельной уже в начале 40-х гг. XIX в., но была еще трудно осуществимой по разным причинам. Трудности для переводчиков представлял и язык оригинала, с его архаическими словами, специальными терминами, не объясненными еще в словарях, и устарелыми синтаксическими конструкциями; полный перевод «Робинзона» (особенно же второй его части) вызывал также опасения цензурного характера; в тексте встречались, например, неблагоприятные отзывы о русском царе, о русской политической ссылке; для обеих частей предвиделись некоторые затруднения также и со стороны русской духовной цензуры, усматривавшей опасность на тех страницах, где Робинзон проповедует основы протестантского вероучения опасного — диссидентского —

¹⁸ Там же, 1955, т. 6, с. 198.

¹⁹ *Феоктистов Н.* Свод мнений Белинского о детской литературе. 2-е изд. СПб., 1898, с. 15—16. — Вслед за Белинским А. И. Герцен отвел роману Дефо почетное место в детском чтении. См. предисловие Герцена к изданной им в Лондоне в русском переводе книге Ж. Санд «Похождения Грибуля» (*Шиллегодский С. И.* А. И. Герцен о чтении детей и юношества. — Учен. зап. Лeningr. гос. пед. ин-та им. А. И. Герцена, 1959, т. 196, с. 145).

толка и, как казалось тогда духовным цензорам, впадает при этом в явное религиозное вольнодумство. Во всяком случае со всеми этими трудностями пришлось встретиться и П. А. Корсакову, издавшему первый «полный» в русском переводе текст «Робинзона Крузо» Дефо в двух больших томах (СПб., 1842, ч. 1. 502 с.; СПб., 1843, ч. 2. 423 с.). Это издание встречено было в русской печати единодушными похвалами; действительно, для своего времени оно отличалось известными достоинствами: П. А. Корсаков хорошо знал английский и голландский языки и не в первый раз выступал на поприще переводчика;²⁰ он стремился к полноте и точности передачи английского текста; это издание резко противостояло всем переделкам и адаптациям «Робинзона», так как не ставило перед собой никаких особых педагогических и дидактических целей. Хотя П. А. Плетнев и писал в своей рецензии на перевод Корсакова: «Он передал нам с подлинника того Робинзона, который для всех наций остался неподражаемым совершенством простоты, истины и занимательности в повествовательном роде для детского чтения»,²¹ но на самом деле перевод этот вовсе и не предназначался для детей; Корсаков сохранил, например, все те эпизоды романа, которые всегда казались предосудительными с педагогической точки зрения и обычно выбрасывались в изданиях «Робинзона», предназначавшихся для юношества: «резня» на Мадагаскаре, возникшая из-за легкомысленного поведения английского матроса с мальгашской девушкой, длинные рассуждения о брачной жизни колонистов, описания колониального режима и т. д. Весьма сочувственно отозвался о переводе Корсакова петербургский английский журнал, похваливший переводчика за умелое выполнение нелегкой задачи, за полноту и достаточную точность перевода, в котором встречаются лишь некоторые и не очень многочисленные погрешности.²² На самом деле перевод этот был далек от совер-

²⁰ Существовало, однако, подозрение, что П. А. Корсаков переводил «Робинзона» не сам, но с посторонней помощью. В. Р. Зотов в своих записках прямо утверждает, что, испытывая материальные затруднения, Корсаков «давал свое имя разным книгопродавческим, хотя и полезным предприятиям, как переводы „Робинзона Крузо“ Дефо (1843) и „Воспоминания слепого“ Араго (1844). Эти переводы только редактировались Корсаковым, а работали над ними другие лица. Перевод „Робинзона“ с английского подлинника был даже в хорошем деле, так как в то время вышел другой, с немецкой переделки Кампе. А между тем этот второй перевод, принадлежащий Межевичу, в скором времени достиг третьего издания (1842, 1846, 1859), тогда как лучший перевод Корсакова не имел успеха» (Зотов В. Р. Петербург в сороковых годах. Выдержки из автобиографических заметок. — Историч. вестн., 1890. № 2, с. 333).

²¹ Современник, 1844, т. 34, с. 196; перепеч. в кн.: Плетнев П. А. Соч. и переписка, т. 2, с. 444.

²² Russian translation of Robinson Crusoe. — St. Petersburg English Rev., 1842, vol. 3, № 3, p. 193—206. — Отметим еще в этом же журнале большую статью «Daniel de Foe» (1842, vol. 3, p. 222—238), в которой также идет речь о распространенных в России переделках «Робинзона» и о переводе П. А. Корсакова, сделанном непосредственно с оригинала» (с. 238). О Д. Дефо и его «Робинзоне» см. также в статье: Миллер О. Ф. Английская литература XVIII в. — ЖМНП, 1860, ч. 108, кн. 10, с. 34—37.

шенства. П. А. Корсаков был не только профессиональным переводчиком, но и цензором иностранных переводов Петербургского цензурного комитета и, может быть, именно поэтому с неуклонной последовательностью устранил из текста все, что казалось ему неудобным и опасным для русской книги того времени; в отдельных случаях его опасения попасть в неловкое положение как чиновника цензурного ведомства, по-видимому, были даже чрезмерными, а допущенные им исключения из текста оказались слишком длинными; чтобы вовсе обезопасить себя, Корсаков кое-где добавил и собственные примечания к тексту — предупредительного или критического характера. Так, например, он осудил размышления Дефо о гражданском браке колонистов, заметив, что «здесь проглядывается не католик, а пуританин» (II, 167), и в другой раз подчеркнул: «...здесь опять проглядывает автор — ревностный протестант, воспитанный в духе своего верования...» (II, 192); нечего и говорить, что все повествование о путешествии Робинзона по России сильно сокращено, — и, несмотря на это, примечания переводчика именно на этих страницах становятся особенно частыми: «...не забудем, что Даниил Дефо родился в XVII столетии»; роман «не иначе мог быть написан как под влиянием старых предрассудков о России»; «...едва ли автор здесь прав»; «Дефо был хороший романист, но плохой политик» (II, 339); «...избавляем себя и читателей от буквального перевода и чтения тарбарщины» (II, 348); «...еще закостенелый предрассудок» (II, 397) и т. д.

Таким образом, хотя перевод П. А. Корсакова и не может быть назван «полным» в точном смысле этого слова, он все же являлся наиболее близким к оригиналу из всех существовавших до него русских переводов «Робинзона» и играл немалую роль среди русских читателей в течение нескольких десятилетий. Впечатление, произведенное этим изданием, подкреплялось характеристиками Дефо и его произведениями, появлявшимися в русской печати тех лет. В большой реферативной статье, написанной по поводу выпущенного в Петербурге на английском языке учебного пособия Томаса Шоу «Очерк английской литературы», И. И. Введенский писал о Дефо, что он «почитается первым по времени великим романистом в прозе», а его «Робинсон Крузо» — «первым романом»: «Без сомнения, это один из совершеннейших, истинно гениальных и в высокой степени оригинальных вымыслов, какие только встречаются в древней и новейшей литературе. Он переведен на все европейские языки, и почти везде дают его в руки маленьким читателям. Жадность, с какою в детском возрасте пробегаются страницы этого романа, непреложное постоянство, с каким его главные сцены, события и характеры врезаются в детскую память, препятствуют обыкновенно в зрелом возрасте еще раз обратиться к этой книге и подвергнуть строгому критическому суду увлекательный вымысел, приводивший нас в восторг в раннюю эпоху жизни. Но нет сомнения, Робинсон в состоянии выдержать самую строгую критику, почтенное имя

Дефо всегда будет произноситься с благодарностию и уважением».²³ Следуя за книгой Шоу, И. И. Введенский вновь поднимал вопрос о соотношении «вымысла» Дефо и «простого, незатейливого рассказа Александра Селькирка» и давал подробную характеристику второй части «Робинзона».²⁴ С оживленным интересом к подлинному тексту романа Дефо в России в конце 40-х гг. следует связать ссылку на него в одном из ранних рассказов Тургенева «Контора», вошедших затем в цикл «Записок охотника»: «Я подошел к шалашу, заглянул под соломенный намет и увидел старика до того дряхлого, что мне тотчас же вспомнился тот умирающий козел, которого Робинзон нашел в одной из пещер своего острова».²⁵

Конечно, следующие русские издания различных переделок и обработок «Робинзона» для читателей разных возрастов и уровня продолжали появляться и дальше, и в этом была своя необходимость. Между «Робинзоном Крузо», как он был написан Дефо для английских читателей первой четверти XVIII в., и тем, который стал популярнейшей детской книгой во всем мире, не могло не существовать весьма значительных различий. Сокращения и переделки были нужны и продолжали у нас издаваться, но делались они по новым принципам, с большим педагогическим и литературным тактом, с бережностью и вниманием к оригиналу.

Любопытно, что даже Белинский, осуждавший заурядных и неумелых компиляторов «Робинзона», сам замыслил пересказать его приключения по-своему («...хочу <...> составить историю Робинзона Крузое», — писал он А. А. Краевскому в апреле 1841 г.). Впоследствии новый пересказ романа, озаглавленный «Робинзон», помещен был Л. Н. Толстым в его педагогическом журнале «Ясная Поляна» (1862, № 2, с. 5—85).²⁶ П. А. Плетнев, получив «Яс-

²³ Очерк английской литературы. Соч. Томаса Ша (sic). — Библиотека для чтения, 1847, т. 88, отд. 5, с. 45. — Эта статья не имеет подписи, но И. И. Введенский сам указал на свое авторство (см.: Колосья, 1884, № 11, с. 258).

²⁴ Библиотека для чтения, 1847, ст. 88, отд. 5, с. 46. — Книга Т. Шоу, которую реферировал И. И. Введенский (*Shaw Thomas B. Outlines of the English Literature, for the use of the Imperial Lyceum. St. Petersburg, 1847*), включает в себя довольно полную характеристику Дефо и его приведенный (с. 342—349).

²⁵ Рассказ И. С. Тургенева «Контора» впервые напечатан в «Современнике» (1847, т. 5, кн. 10). Эпизод, на который ссылается Тургенев, в русском издании «Робинзона» П. А. Корсакова иллюстрирован запоминающейся картишкой французского гравера Гранвилля. Ранее на Робинзона ссылался Лермонтов в «Герое нашего времени» («Княжна Мери»), рассказывая про «московского фразга» Раевича: «А что за толстая трость? точно у Робинзона Крузое!». Но эта ссылка не ведет нас к подлинному тексту романа Дефо, у которого Робинзон носит «не трость, а сделанный им самим зонтик» (*Лермонтов М. Ю. Полн. собр. соч. М.; Л., 1957, т. 6, с. 265 и 668*).

²⁶ Этот пересказ, вероятно, сделан не самим Л. Н. Толстым, но по его поручению студентом Сердобольским (*Толстой Л. Н. Полн. собр. соч. Юбил. изд. М., 1936, т. 8, с. 630*); тем не менее переиздавался он неоднократно с именем Толстого, в последний раз — в 1938 г. (*Робинзон / Обработ. под ред. Л. Н. Толстого. М.: «Молодая гвардия», 1933*). Отметим, кстати, что интерес

ную Поляну» с пересказом «Робинзона Крузо», 20 марта 1862 г. писал Л. Н. Толстому: «Лишь только я развернул сегодняшнюю к нам посылку, дети наши бросились на маленькую книжку и, увидевши в оглавлении „Робинзон“, тотчас стали его читать. Я и жена моя слушали чтение. Этот способ рассказа привел всех нас в восхищение. По особенному пристрастию к судьбе Робинзона, меньший сын мой, которому едва исполнилось восемь лет, собрал для себя и прочитал всех „Робинзонов“, каких только удалось купить нам. Читая Вашего, он сознался, что понятнее и интереснее его он ничего еще не читал».²⁷ Множество других пересказов, сокращений и переделок «Робинзона» появлялось у нас и значительно позже, так как необходимость подобных изданий для читателей разных возрастов, для школьных и домашних библиотек ощущалась всегда.²⁸ Едва ли можно сомневаться также и в том, что подобные постоянно обновляющиеся в соответствии с запросами времени «сокращения» и «обработки» прославленного романа будут появляться и впредь.

Одной из характерных особенностей большинства переделок «Робинзона» начиная со второй половины XIX в. была гораздо более тесная, чем прежде, связь их с первоначальным подлинным текстом Дефо, постепенно, но все прочнее утверждавшимся в своих авторских правах. Чаще восстанавливалось теперь в очередных пересказах и адаптациях «Робинзона» имя его действительного

этому изданию придают опубликованные здесь шесть рисунков Д. Н. Кардовского из более обширного цикла акварелей к «Робинзону Крузо» Дефо, выполненных этим художником в 1922 г.; рисунками Д. Н. Кардовского иллюстрирована также книга «Жизнь и странные приключения Робинзона Крузо» (переработка под ред. К. Чуковского. М.: Детгиз, 1934). Хотя эта обработка и была названа тогда же «одним из лучших вариантов Робинзонэды» (Детская и юношеская литература / Изд. Критико-библиографического института, 1934, № 1, с. 7—8), но на самом деле она не заслуживала таких похвал. При переиздании этого текста еще в 1883 г. он получил следующую оценку в «Обзоре детской литературы» В. М. Гаршина и А. Я. Герда (СПб., 1885, вып. 1): «Благодаря простому народному языку книжка эта легко и с удовольствием может быть прочитана детьми лет десяти, но впечатления серьезного не оставит (. . .). Настоящая идея и образ этого человека, бедного и неутомимого в труде и несчастия, как-то теряется в рассказе Толстого и ставит его ниже других переделок темы Дефо». Известно также, что и сам Л. Н. Толстой был недоволен книгой и лучшей признавал обработку Н. Блинова «Жизнь Робинзона (В чем счастье)» (1872); в русской же педагогической критике 70—80-х гг. более удачными признавались переработки А. Яхостова (1872) и особенно А. Анненской (1874). Подробнее о них см.: *Привалова Е. П.* «Робинзон Крузо» в детской и педагогической литературе. — Книга детям, 1929, № 2-3, с. 17—18; *Рыбникова М. А.* Классики в детском чтении в прошлом и настоящем. — Избр. труды. М., 1958, с. 547—552.

²⁷ Толстой. 1850—1860. Материалы и статьи / Ред. В. И. Срезневского. Л., 1927, с. 25. — Об отношении Л. Н. Толстого к Дефо и его роману см.: *Зиннер Э. П.* Творчество Л. Н. Толстого и английская реалистическая литература конца XIX и начала XX столетия. Иркутск, 1961, с. 24—25.

²⁸ *Обвинская Ю.* «Робинзон Крузо» в чтении деревенских ребят. — Книга детям, 1929, № 2-3, с. 18—21; *Этин Ф. и др.* Литературные переделки «Робинзона Крузо». — Детская и юношеская литература, 1934, № 8, с. 11—18; *Брандис Е. П.* «Робинзон Крузо» Д. Дефо. — В кн.: Детская литература. Пособие для педагогических училищ. М., 1957, с. 42—49.

создателя, ранее нередко опускавшееся вовсе, ближе к подлиннику стояли и тексты самых этих пересказов и переделок.²⁹ Известную роль сыграло при этом то, что в указанное время довольно широко развернулось изучение личности и творчества Дефо, открывшее возможности для нового углубленного истолкования его романа как литературного памятника определенной среды и эпохи. Поэтому сколь ни тесно связаны были в это время «обработки» и «сокращения» «Робинзона» с его основным подлинным текстом, по полные переводы последнего продолжали в русской литературе свою обособленную жизнь.

Среди весьма многочисленных переизданий «Робинзона Крузо» в старых и несовершенных переводах, вышедших у нас в конце XIX в., обратил на себя внимание новый перевод обеих частей романа, выполненный П. Кончаловским (М., 1888—1889); он издавался потом еще три раза (2-е изд. — 1897; 3-е изд. — 1899, 4-е изд. — 1904) и имел длительный успех. Значение этого перевода определялось тем, что он заменил предшествующее издание «полного» текста П. А. Корсакова, к тому времени устарелого по языку и примитивной переводческой технике. Критика приветствовала появление перевода П. Кончаловского потому, что он пытался запово дать русскому читателю полный текст романа Дефо. «Кто не знает Робинзона, кто не зачитывался в детстве и ранней юности этой удивительной книгой? А между тем, много ли найдется между нашими современниками людей, которые читали подлинного Робинзона в том виде, как вышел он из-под пера своего автора?» — писал один из рецензентов этого издания и продолжал: «Переделки и подражания заслонили оригинал: все мы знаем тему Дефо, но лишь немногие знают, как он сам эту тему обработал (...). Только теперь, благодаря добросовестному труду Кончаловского, мы получаем новый перевод настоящего Робинзона. Нет сомнения, что этот перевод прочтется всеми с большим интересом, всякому из нас любопытно проверить свои прежние впечатления и, познакомившись с этим родоначальником бесчисленных робинзонад, попытаться отдать отчет о причинах необыкновенной популярности и распространенности Робинзона».³⁰

Изданный П. Кончаловским текст полнее, чем предыдущие «полные» русские издания; переводчик восстановил многие пропуски, делавшиеся ранее, произвел кое-какие уточнения в передаче отдельных мест романа, удачнее и ближе к оригиналу воспроизвел, например, морскую терминологию, с умыслом употребляв-

²⁹ В русской педагогической литературе о «Робинзоне Крузо» не отмечали еще те переделки романа — в том числе и на иностранных языках, — которые приняты были в русских школах в качестве учебных пособий. В 60-х гг. прошлого столетия в гимназиях в числе популярных пособий по английскому языку находилась книга «Defoe's Robinson Crusoe, arranged in reading lessons». В предшествующие десятилетия адаптированный «Робинзон» служил также материалом для школьных тем «по русскому языку и словесности». См.: Соловьев Д. Н. Пятидесятилетие С.-Петербургской первой гимназии. 1830—1880. СПб., 1880, с. 291, 336.

³⁰ Сев. вестн., 1888, № 11, с. 214.

шуюся Дефо в его произведении, и т. д. Но все же и этот перевод нельзя считать ни полным, ни удачным в стилистическом отношении. В ряде случаев Кончаловский прибегал к пересказу вместо перевода, по-видимому, чтобы избежать длинот и повторов, действительно встречающихся в оригинале. Во многих местах Кончаловский не понял текста и перевел его ошибочно или неточно, в других — ввел в самый текст перевода собственные к нему пояснения; еще существеннее, однако, то, что и он, вероятно, принужден был сделать в своем переводе пропуски из цензурных соображений или вследствие прямого цензурного вмешательства. Так, и на этот раз оказался сильно сокращенным весь «сибирский эпизод» во второй части «Робинзона», исчезли многие упреки Дефо по адресу русского царя и администрации, не восстановленные ни в одном из последующих переизданий этого перевода.

В начале текущего столетия издан был еще один «полный перевод» «Робинзона», сделанный двумя популярными и опытными переводчицами того времени — М. А. Шишмаревой и З. Н. Журавской (СПб.: «Народная польза», 1902). В этом издании также даны обе части романа, но так как и на этот раз перевод предназначен был для самых широких кругов читателей, точность и полнота передачи подлинника принесены были в жертву популяризаторским и дидактическим задачам издания: из перевода исчезли некоторые рискованные места и слова, исключены подробности, казавшиеся несущественными или малоинтересными, и вновь кое-где вольный пересказ заменил перевод; наконец, и эта книга, которая должна была быть допущенной в ученические библиотеки и рекомендована для чтения школьникам, испытала на себе действие тогдашнего цензурного устава. Тем не менее литературные достоинства этого перевода были очевидными, так как над ним трудились опытные переводчицы, обладавшие хорошей переводческой техникой и сумевшие творчески воспользоваться кое-какими удачными результатами своих предшественников по передаче этой книги на русском языке. Все это обеспечило данному переводу еще большее долголетие, чем то, которым пользовались лучшие русские переводы «Робинзона» прежнего времени.

Перевод М. А. Шишмаревой и З. Н. Журавской лег в основу большинства советских изданий «Робинзона Крузо». Он был сверен с оригиналом и отредактирован таким мастером советского переводческого искусства, каким был покойный А. А. Франковский; начиная с 1931 г. этот текст воспроизводился много раз в полном виде и в сокращениях. Отметим, однако, что и он не являлся полным. Хотя А. А. Франковский улучшил перевод М. А. Шишмаревой и З. Н. Журавской и восстановил некоторые из опущенных ими мест, но одновременно с этим он и сам допустил довольно многочисленные сознательные исключения из полного текста. «В переводе произведены некоторые сокращения, очень небольшие в первой части и более значительные во второй, — писал он в предисловии от редактора к изданию 1931 г. — Дефо делает многочисленные отступления, преимущественно

в виде богословских рассуждений в пуританском духе: это правило тогдашней лондонской публике, но современных читателей можно избавить от утомительных повторений. В еще большей степени это касается второй части». Для того времени А. А. Франковский был в значительной степени прав. Задача его как редактора заключалась прежде всего в том, чтобы дать массам советских читателей по возможности полный текст романа Дефо, освобожденный от цензурных изъятий дореволюционной поры и ошибок прежних его переложителей и сократителей — то просто неискренних, то злонамеренных и реакционных литераторов, вытравлявших из книги весь ее просветительский колорит. Эта задача была тем более важной, что в первые два десятилетия после Октябрьской социалистической революции интерес к «Робинзону Крузо» возобновился с новой силой; тогда появилось свыше тридцати новых изданий романа на одном русском языке, общим тиражом свыше полумиллиона экземпляров, среди них 5 изданий для детей младшего возраста и 13 — для юношества; помимо того, именно в эти десятилетия впервые возникли на основе русских переводов многочисленные издания «Робинзона» на языках народов СССР — адыгейском, абхазском, ингушском, молдавском, татарском, марийском, чеченском и др. Для многих из этих изданий перевод, отрецензированный А. А. Франковским, служил образцом и источником для переводов и переизданий всякого рода, и в этом смысле его «неполнота» играла скорее положительную, чем отрицательную роль. Этот перевод сыграл немалую роль для популяризации подлинного романа Дефо среди советских читателей, способствовал его широкому распространению на многих языках в тексте, приближенном к оригиналу во всем, что является в нем наиболее важным и существенным.³¹

Тем не менее освоение советской литературой памятника такого универсального исторического значения, каким является подлинный «Робинзон Крузо» Дефо, не может еще считаться законченным. По-прежнему, даже с еще большей силой, возникает необходимость дать советскому читателю наших дней, культурные запросы которого очень выросли, новое издание действительно полного текста романа, без всяких изъятий и пропусков, из каких бы соображений они ни делались, но с такими пояснениями, которые позволили бы верно, со всей полнотой понять эту историческую книгу, которая не боится времени.

³¹ В 1959 г. в новом издании романа Дефо в переводе М. А. Шипмаревой (Жизнь, необыкновенные и удивительные приключения Робинзона Крузо. . . Гослитиздат) приняты во внимание редакторские поправки А. А. Франковского и восстановлены все опущенные им или переводчицей места; этот текст в настоящее время является наиболее полным и воспроизводит первую часть романа Дефо в неизменном виде; к сожалению, вторая часть в исправленном и дополненном переводе переиздана не была.

„ПРОРОЧЕ РОГАТЫЙ“ ФЕОФАНА ПРОКОПОВИЧА

История первого обмена стихами между молодым Антиохом Кантемиром и его старшим современником Феофаном Прокоповичем — с чего началось действительно примечательное знакомство и последующее тесное сближение двух этих видных деятелей русского просвещения, стоявших у колыбели новой русской культуры, — хорошо известна с давних пор. Об этом рассказал уже сам Кантемир. Ему же мы обязаны и тем, что до нас дошел текст стихотворного послания, направленного к нему Феофаном в ответ на первый опыт в сатирическом роде начинающего поэта. Как известно, именно этим посланием, а также близкими к нему по духу комплиментарными латинскими стихами Феофила Кролика Кантемир хотел открыть издание своих сатир, так и не осуществившееся при его жизни; в одном из примечаний в предназначенной для печати рукописи Кантемир и объяснил историю адресованных к нему приветственных стихов.

Кантемир рассказывает здесь, что когда он в конце 1729 г., «в двадцатое лето своей жизни», сочинил свою первую сатиру «на хулящих учение», направленную против злостных невежд и «презирателей наук», то один из его приятелей выпросил рукопись и показал Феофану, на которого она произвела сильное впечатление. Возвращая ее, Феофан послал автору стихотворную эпистолу, полную поздравлений, наставлений и похвал; все это так воодушевило и ободрило Кантемира, что он, по его собственным словам, «стал далее прилежать к сочинению сатир».¹

Автограф послания Феофана к Кантемиру, по-видимому, до нас не дошел, но текст его сохранился в списках и встречается в частности, в рукописных сборниках сатир Кантемира. Печаталось это послание неоднократно, нередко предпосылаемое сочинениям Кантемира (под заглавием «К сочинителю сатир»), начиная от их первого петербургского издания 1762 г.²

В настоящее время уже в значительной степени выяснены обстоятельства, вызвавшие особый, повышенный интерес Феофана к первой сатире Кантемира и те явно преувеличенные похвалы, которые он адресовал ее автору. Эта сатира всецело ответила тем все возрастающим чувствам досады и гнева, с которыми Феофан после смерти Петра I наблюдал за сплочением реакционных сил, всячески противодействовавших делу реформы; тесно связанная

¹ *Глазголева Т.* Материалы для полного собрания сочинений кн. А. Д. Кантемира. — ИОРЯС 1906, т. 11, кн. 1, с. 193—194.

² Там же, с. 183; Труды Киев. духовной акад., 1866, 3, с. 367; *Кантемир А. Д.* Соч., письма и избранные переводы / Под ред. П. А. Ефремова. СПб., 1867, т. 1, с. XII, 22—32; Русская поэзия / Под ред. С. А. Венгерова. СПб., 1897, т. 1, с. 412 и др. — Отдельные стихи печатаются с разгочтениями; так, И. Чистович в книге «Феофан Прокопович и его время» (СОРЯС, 1868, т. 4, с. 607) печатает: «Пусть весь мир будет на тебе г о л о с л и в ы й» вместо обычного «невливый». Ср.: *Морозов П.* Феофан Прокопович как писатель. СПб., 1880, с. 379.

с политическими событиями 1728—1729 гг. сатира имела ярко злободневный колорит и, в частности, прямо метила в личных врагов Феофана. У молодого сатирика были, по-видимому, вполне реальные основания для того, чтобы скрывать свое имя, что и вменил ему в вину Феофан, как более опытный борец, воодушевленный тем, что он неожиданно обретал для себя нового союзника.³

Поэтические достоинства послания Феофана отмечались с давних пор. Еще Н. И. Новиков сумел почувствовать его высокий гражданский пафос и цитировал отсюда (в своем опыте «Исторического словаря») стихи, показавшиеся ему особенно замечательными. В середине прошлого века И. Перевлесский заявил, что, несмотря на свою архаическую метрику, это послание «достойно всеобщей и всегдашней известности»; впоследствии акад. В. Н. Перетц, анализируя тяжелый, не отличавшийся подвижностью одиннадцатисложный силлабический стих, приводил написанное этим стихом послание Феофана в пример того, какой «поразительной, необыкновенной гармонии, энергии и выразительности» могли порой достигать силлабические вирши под пером «писателя, вдохновленного порывом чувства».⁴ Словом, в истории русской литературы послание Феофана прочно утвердилось в качестве одного из классических образцов ранней русской «гражданской поэзии».

Как ни часто цитировалось и пояснялось это известное стихотворение, но и в истории возникновения его, и в самом его тексте остаются еще темные места. Неизвестным остается, например, кто из приятелей Кантемира получил у него рукопись его первой сатиры и доставил ее Феофану, — видимо, считая последнего, — как справедливо заметил И. Чистович, «по его убеждениям и по степени его образования лучшим судьей и ценителем подобных произведений».⁵ Доныне не была прокомментирована еще и та часть указанного свидетельства, где Кантемир рассказывает, что Феофан, возвращая ему рукопись сатиры, «приложил автору стихи и в дар к нему книги Гиралдия о богах и стихотворцах»;⁶ остается не вполне ясным, какими именно соображениями руководствовался Феофан, выбирая эту книгу из своей замечательной библиотеки, так как выбор ее для подарка, естественно, не должен был быть случайным.⁷

³ Чистович И. Феофан Прокопович и его время, с. 195 и след.; Павлов-Сильванский Н. П. Мнение церковников о реформах Петра Великого. — Соч. СПб., 1910, т. 2, с. 373—401; Гитлинов Б. В. Правительство имп. Анны Иоанновны в его отношении к делам православной церкви. Вильно, 1905. — См. также замечания Н. К. Гудзия и Л. В. Пушьянского в «Истории русской литературы» (М.; Л., 1941, т. 3, с. 173—174, 181—182).

⁴ Перетц В. Н. Историко-литературные исследования и материалы. СПб., 1902, т. 3, ч. 1, с. 18.

⁵ Чистович И. Феофан Прокопович и его время, с. 607.

⁶ Глаголева Т. Материалы для полного собрания сочинений кн. А. Д. Кантемира, с. 494.

⁷ Верховский П. В. Библиотека Новгородской духовной семинарии и ее сокровища. — Варшав. унив. изв., 1914, кн. 4, с. 1—10.

В тексте самого послания Феофана также остаются места, произвольно или ошибочно трактуемые комментаторами. Таков, как нам кажется, первый стих начальной октавы стихотворения:

Не знаю, кто ты, пророче рогатый,
Знаю, коливкой достоин ты славы.
Да поче́то ж было имя укрывать?
Знать, тебе страшны сильных глумцов нравы!

и т. д.

Что же Феофан имел в виду, называя Кантемира «пророче рогатый»?

Это выражение уже обращало на себя внимание ранних исследователей Кантемира. Издатели его сочинений, выпедших в серии «Русские классики» (СПб., 1836), объяснили эпитет «рогатый» как «смелый, отважный». С ними, однако, не согласился С. П. Шевырев, писавший в своей рецензии на это издание: «Я думаю, что этот эпитет имеет отношение к Кантемиру как сатирику. Феофан сатиру вооружает рогами, полагая ее происхождение от сатира: это так сказать атрибут, которым он характеризует поэта. Слово пророче есть латинизм в смысле: *vates* — пророк и поэт. . . *Corniger vates*. . . Думаю, что это латинское выражение было на языке Феофана, а он только перевел его по-русски: *Cognitum sagmen*, находящееся в стихах Феофила Кролика, то же выражает».⁸ Это старое разъяснение С. П. Шевырева показалось правдоподобным и довольно прочно утвердилось в литературе о Кантемире, вероятно, благодаря тому, что оно было воспроизведено в популярном издании произведений Кантемира, выпущенном И. Перевлесским.⁹ Дожило оно и до наших дней. Так, А. М. Докусов в своей заметке о Кантемире, упомянув о послании к нему Феофана Прокоповича, замечает: «„Рогатые и бодливые стихи“ (сатиры) Кантемира в рукописном виде ходили по рукам и крепко били ревнителей реакционной старины, с их фантастической ненавистью к наукам».¹⁰

Однако старинная догадка Шевырева крайне сомнительна.

Самое родство термина «сатира» и наименования существ греческой мифологии, вероятно, уже во времена Шевырева признавалось сомнительным;¹¹ этимология слова «сатира» и впоследствии представлялась достаточно темной;¹² кроме того, кажется совершенно неправдоподобным, чтобы Феофан мог с полнотой серьезностью образно представлять себе сатирического поэта в виде римского фавна с маленькими рожками и остроконечными ушами, да еще сочетая с этим образом представление о «веще прорица-

⁸ Моск. наблюдатель, 1836, ч. 6, с. 262.

⁹ Собр. соч. известнейших русских писателей. М., 1849, вып. 2, с. VII—VIII.

¹⁰ Вирши. Спллабическая поэзия XVII—XVIII веков. Л., 1935, с. 186—187. (Библиотека поэта. Малая сер., № 3).

¹¹ *Leizius A.* О значении слова «*satura*» в истории римской литературы. — Филологическое обозрение, 1892, т. 2, кн. 1, с. 1—2.

¹² Там же, с. 4—5.

теле», — и все это в начальной строке вдохновенного стихотворения, полного пафоса, увещаний и призывов. Феофан был тонким стилистом; он всегда отдавал себе полный отчет в смысловом значении отдельного слова и в характере возможных семантических его изменений при словосочетаниях; недаром он писал однажды: «Много таковых слов есть, которые сами собою ни доброе, ни злое, ни малое что, ни великое означают, а когда приложим к ним опись другими словами, покажут нам или доброе или злое или малое или великое».¹³

Определение «пророче рогатый» употреблено автором послания вполне сознательно, в соответствии с его обычной речевой практикой; оно не имеет никакого отношения к сатирам-фавнам и должно иметь совершенно другой смысл.

Впрочем, толкование указанного стиха, представленное Шевыревым, не было принятым безусловно и даже распространенным. Позже сделаны были и другие попытки его объяснения, — правда, ускользнувшие от историков русской литературы. Одна из них принадлежала известному востоковеду середины прошлого столетия Ф. Эрדманну. В своем исследовании о Темучине (первоначальное имя Чингис-хана) Эрдманн привел огромный сравнительный этнографический материал для доказательства того, что у различных народов Европы, Азии и Африки рога служат символом власти, могущества, олицетворением светлой силы, «уничтожающей любое исчадие мрака и всяческое зло», а также творческой производительности и созидательной способности.¹⁴ Именно поэтому, полагает Эрдманн, рога животных — быка, оленя, барана и т. д. — постоянно являлись символическим украшением в изображении богов, прославленных властителей, завоевателей, героев, законодателей, жрецов и т. д. (например, Александра Македонского, Моисея, Зигфрида). Эрдманн прямо ссылается при этом на указанный стих Феофана как на пример, подтверждающий его наблюдения, придавая эпитету «рогатый» именно такой символическо-метафорический смысл; по его мнению, выражение «пророче рогатый» означает «смелого, отважного поэта», дерзающего вступить в борьбу со злом.¹⁵

Хотя такое объяснение и не расходится с толкованием первых комментаторов интересующего нас стиха («рогатый» — «смелый, отважный»), тем не менее остается вовсе неясным и требующим особых подтверждений, доступно ли было Феофану, хотя бы отчасти, то историко-этнографическое обобщение, которое в состоянии был сделать эрудит-востоковед середины XIX в., сумевший привлечь к своему исследованию и древние германские саги, и разнородные труды по египетской археологии, и свидетельства сред-

¹³ Чистович И. Феофан Прокопович и его время, с. 55.

¹⁴ Erdmann F. Temudschin der Uerschütterliche. Leipzig, 1862, S. 31—35.

¹⁵ К своему исследованию Эрдманн привлек также и некоторые другие русские источники: он напомнил об эпитете «буй-гур» в «Слове о полку Игореве» и сослался на «Быт русского народа» А. Терещенко (СПб., 1848, т. 7, с. 249).

невековых путешественников, и дальневосточные исследования о монголах.

Следует прежде всего отметить, что кое-какой материал, относящийся к представлению о рогах как символе силы, могущества и власти, действительно мог быть известен Феофану из трактатов по античной мифологии. Большой и разносторонний материал об этом Феофан мог почерпнуть из тех самых «книг Гиральдия», которые он, по свидетельству Кантемира, подарил поэту, возвращая рукопись его сатиры вместе со своим посланием. Что это были за книги «о богах и стихотворцах», можно установить вполне точно. Не подлежит сомнению, что это были трактаты знаменитого итальянского гуманиста, поэта и археолога Джиральди (*Gibaldi Giglio Gregorio*, 1479—1552), или Гиральдуса (*Gyraldus, Lilius Gregorius*), согласно латинизованной форме его имени, — «*Historia de Deis gentium*» и «*Historiae poetarum tam graecorum quam latinorum*». Первый из этих трактатов представлял собою один из наиболее знаменитых компендиумов классической мифологии, созданных итальянскими гуманистами; он перепечатывался неоднократно (Базель, 1548 и 1560; Лион, 1565), вошел вместе с «*Historiae poetarum*» в собрание его сочинений 1580 г.; второй и последний раз собрание сочинений Джиральди издано было столетие спустя, в Лейдене в 1696 г., и, конечно, именно это роскошное издание в лист в двух толстых томах, снабженных пояснительными гравюрами, Феофан и преподнес Кантемиру в ознаменование признания его как нового выдающегося русского поэта.

Трактат Джиральди «*De Deis gentium*» пользовался широкой известностью в Западной Европе в XVI—XVII вв., считаясь одним из лучших и наиболее полных руководств по мифологии античного мира, неистощимым источником цитат и представлений о божествах греков и римлян. Джиральди очень ценил Монтень, писавший о нем как о человеке «выдающихся знаний», который «к стыду нашего века умер, не зная, чем утолить голод» («Опыты», кн. I, гл. 34); его трактатами нередко вдохновлялись французские и английские поэты эпохи Возрождения; полной рукой черпал из них и Рич. Бертон в его «Анатомии меланхолии» (1621) и т. д.¹⁶ Однако трактат Джиральди об античных богах являлся не только чудом гуманистической эрудиции, но и клягмой смелого идейного замысла. Мы находим в нем зачатки объективной исторической критики религиозных представлений и рационалистического истолкования образной символики и обрядов со сравнительно-этнографической точки зрения; методически перечисляя эпитеты и атрибуты отдельных древних божеств,¹⁷ Джиральди

¹⁶ *Gruppe O. Geschichte der klassischen Mythologie. Leipzig, 1921, S. 26 u. folg.; Schoell F. L. Mythologistes italiens et poètes élisabéthains. — Rev. de littérature comparée, 1924, vol. 4, p. 8.*

¹⁷ В посвящении своего трактата герцогу Феррарскому Джиральди, подчеркивая задачи, которые он себе ставил в отличие от предшествующих сочинений, например от «Генеалогии богов» Боккаччо, писал: «*Non genealogias Deorum dico, sed et nomina, et cognomina, effigiesque insigniaque, et quia patria cuique est, sacra quoque atque ceremonias.*»

привлекал для сравнения и данные, почерпнутые из современного ему быта, благодаря чему его сочинения стали интересным фольклористическим источником.¹⁸

В «*Historia de Deis gentium*», напечатанном в I томе его «Собрания сочинений», собран большой материал относительно рогов как атрибутов Юпитера-Аммона, Вакха и т. д. и сделан анализ соответствующей поэтической терминологии в греческом и латинском языках. Здесь подробно говорится, например, о Юпитере-Аммене, почитавшемся в Ливии и изображавшемся с рогами на голове. Джиральди приводит по этому поводу свидетельства Диодора Сицилийского и Геродота, цитаты из древних поэтов, где он именуется «рогатым», — в частности, стих Феста.

O Lybiae vates exaudi corniger Ammon Juppiter,

соответствующие места из Лукана и Марциана.¹⁹

Другие дополнительные данные приведены и ниже, по поводу «рогатого» Вакха. Здесь не только воспроизведены различные случаи употребления слов «*cornua*» и «*cornutus*» у римских поэтов — Овидия, Вергилия и т. д., но предлагаются также и опыты их филологической интерпретации. Джиральди ссылается при этом и на тех комментаторов, по мнению которых под «*cornua*» в отдельных случаях следует разуметь то петуший гребень (как, например, в одном стихе «Энеиды» Вергилия), то иногда «кудри» или «локоны»; отсюда будто бы и возникло у древних евреев представление о «рогатом» Моисее; то же смешение якобы усматривается и в изображениях на монетах фракийского царя Лисимаха, и поэтому-то «рогатыми», благодаря их кудрям и прическам, представлялись римлянам жрецы древней Армении и Лидии.²⁰

Трудно, разумеется, утверждать, что эти филологические и археологические экскурсы Джиральди обратили на себя особое внимание Феофана Прокоповича; однако он несомненно изучал «*Opera omnia*» Джиральди, может быть, еще в юности, в годы учения в Риме, и, вероятно, ценил вместе со своими современниками как незаменимое пособие для классических уподоблений и руководство для овладения поэтическим мастерством в духе античной риторики и эрудиции. Недаром и в послании к Каптемиру, сопро-

¹⁸ Böhm F. Volkstümliches aus der Humanistenliteratur des 15. und 16. Jahrhunderts. — Z. des Vereins für Volkskunde, Berlin, 1915, Bd 25, S. 18—31.

¹⁹ Lili Gregori Gyraldi Iarrariensis Opera omnia duobis tomis distincta. Lugduni Batavorum, MDCXVI, t. 1, p. 106—107; на с. 75 — таблица с изображением Юпитера-Аммона (я пользовался экземпляром Библиотеки Академии наук СССР в Ленинграде). Характеристика «рогатого Юпитера-Аммона» обычно включалась и позже в руководства по античной мифологии. Ср. еще в книге: Миллен А. Л. Мифологическая галерея или собрание памятников для изучения мифологии, истории искусства, древности в лицах и повествовательного языка древних / Пер. М. Кирсева. М., 1836, ч. 1, с. 83: «Греки называли Юпитером бога, которому под названием Аммона поклонялись в пустынях Ливийских; они изображали его с рогами овна, животного, свойственного тем странам, и, придав Юпитеру такую, казалось бы, безобразящую принадлежность, особенно любили создавать при этом величавый идеал самого бога».

²⁰ Gyraldi L. C. Opera omnia, t. 1, p. 280.

вождавшем подаренные ему творения Джиральди, Феофан не удержался от иносказаний в гуманистическо-классическом духе и восклицал, словно бряца на античной лире:

Пусть весь мир будет на тебе гневливый,
Ты и без счастья довольно счастливый.
Объемлет тебя Аполлон великий,
Любит всяк, кто есть таиств его зритель,
О тебе поют парнасские лики. . .

Тем не менее Аполлон, Парнас, музы, мифологические образы и классические метафоры были для Феофана лишь средствами словесной орнаментации, традиционных иносказаний и стилистических прикрас. Это вовсе не мешало ему быть ортодоксальным православным богословом, достаточно начитанным и в западной теологической литературе и особенно в славянской церковной письменности; недаром он даже для своих образцовых латинских стихов нередко пользовался славянской житийной литературой: известно, например, как искусно переделал он две элегии из «Тристий» Овидия применительно к данным Жития Алексея, человека божьего.²¹ Архипастыр и проповедник, писатель по церковным вопросам, «дивный первосвященник», — как именовал его Кантемир, — Феофан в образной системе своего писательского словаря, особенно к концу своей деятельности, несомненно теснее связан был со стихией церковнославянской речи, чем с латинизмами своей ранней классической начитанности. Поэтому выражение «пророче рогатый» правильнее было бы считать не калькой классического латинского *corniger vates*, но словосочетанием, непосредственно опирающимся на церковнославянские тексты.

Прежде чем перейти к этим последним, необходимо напомнить еще об одном источнике, который, со своей стороны, мог содействовать выработке у Феофана представлений, связанных с семантикой эпитета «рогатый»: таким источником могла быть для него христианская символика и церковная легенда, широко отразившиеся в средневековой письменности и искусстве. В житиях, назидательных трактатах и других произведениях средневековой Европы рога встречаются в качестве такой же эмблемы могущества и власти, какой они были и в античном мире; при этом нельзя отрицать в известной степени и преемственной зависимости этих представлений в ранней христианской литературе от классической традиции. Отметим, что в западноевропейской средневековой письменности рога являлись признаком не только звероной силы (откуда и наделение ими облика дьявола), но и своего рода пророческой способности. Так, в христианской символической ране сделался популярным олень, потому что он носит на голове крест, образуемый рогами,²² и, вероятно, вследствие

²¹ Лобода А. К истории классицизма в России. — В кн.: *Serta Borysthenica*. Сборник в честь Ю. А. Крачковского. Киев, 1911, с. 370.

²² Интересно, что в ряде европейских языков название оленя восходит к «рогам» как к его определяющему признаку: латинское *ceruus*, как и не-

более архаического представления, что он непримиримый враг змей, которых он будто бы преследует и уничтожает; это поверие, сообщаемое еще Плинием, Элианом, Оппианом и др., перешло в средневековые bestiarii, физиологи и широко распространилось в народных преданиях;²³ кроме того, благородный олень считался «вещим» животным, обладавшим пророческим даром: таков он, например, в житии св. Юлиана Милостивого, как оно изложено в «Золотой легенде» Якоба де Ворагине и в других средневековых легендах, оставивших свои следы и в западно-европейской геральдике.²⁴

Представления подобного рода, связанные не только с оленем, но в особенности с единорогом, встречались в средневековых естественноисторических трактатах, популярность которых долго поддерживалась выработанной в средние века практикой символических применений свойств отдельных животных к отвлеченным понятиям религиозного и нравственного характера. В этих представлениях слагались уже в нечто единое данные античной зоологии с толкованиями библейских текстов и рассуждениями отцов церкви; на этой почве утверждался традиционный символический язык, предоставлявший широкие литературные возможности для дидактических писателей и в особенности для проповедников. В этой литературе мы также неоднократно встречаемся с имеющими самое разнообразное происхождение рассказами о «вещем» рогатом олене, о легендарном единороге, которого еще Тертуллиан провозгласил символом Христа, о рогах как призраке силы и т. д.; все эти разнообразные рассказы независимо от своего происхождения довольно механически приспособлялись к аллегорическому или символическому истолкованию какого-нибудь священного текста или нравственной сентенции.

Подобная зоосимволика была не только хорошо знакома всем представителям украинской и белорусской учености, но даже особо излюблена ими. Уже Иоанникий Галатовский в своем руководстве для проповедников требовал от них, чтобы они читали «книги о зверях, птахах, рыбах, деревьях...» и брали оттуда

мелкое Hirsch, родственно греческому *xépas* «рог» (*Danielson. Grammatiche etymologische Studien. Uppsala, 1887. 1, S. 1—57; Fick August. Vergleichendes Wörterbuch der indogermanischen Sprachen. Göttingen, 1891, 1, S. 424; Boisacq E. Dictionnaire etymologique de la langue grecque. Heidelberg; Paris, 1923, p. 438—439*); древнепрусское наименование оленя *raginis* образовано от *ragis* «рог»; и русские называют оленя «сохатый», т. е. с развилыстыми рогами (*Зеленин Д. К. Табу слов у народов Восточной Европы. Л., 1929, с. 92*).

²³ *Клингер В. Животное в античном и народном суеверии. Киев, 1914, с. 105, 107.* — Представление об олене как пожирателе змей удержано в славянских редакциях «Физиолога» («кто вражда есть змиеви злю, аще бежать змии от оленя в распади земли»; *Карлсв А. Материалы и заметки по литературной истории Физиолога. СПб., 1890, с. 324*); следы его мы находим еще в русских пословицах XVII в.: «Елень съедяи змию желает пити» (*Сильван П. К. Старинные сборники русских пословиц, поговорок... XVII—XIX столетий. СПб., 1899, вып. 1, с. 98*).

²⁴ *Mauy Alfred L. F. Essai sur les légendes pieuses du moyen âge. Paris, 1843, p. 171—178.*

примеры, допускающие иносказания или символические применения. Тому же правилу следовали охотно и прочие проповедники XVII в. — А. Радвильевский, Л. Баранович, Епифаний Славинецкий, черпавшие свои естественнo-исторические сведения из различных западных руководств, энциклопедий и компиляций, переведившихся и в Москве.²⁵ Подобными традиционными символично-зоологическими уподоблениями не пренебрегали, как известно, ни Симеон Полоцкий, ни Стефан Яворский, проповеди которого по своему складу находятся «на рубеже <...> между старыми преданиями южнорусской гомилетики и новыми требованиями петровской эпохи».²⁶ Не забудем, что русской проповеднической и иконописной традиции известен был не только единорог, но и, например, рогатый бык в качестве символического изображения или атрибута апостола Луки и что в «Символах и эмблемах» петровской эпохи «рог» смел многократные применения того же западного происхождения.²⁷ Зоосимволике уделяли внимание русские руководства начала XVIII в. по теории красноречия,²⁸ а в пособиях для проповедников ее традиционные толкования удерживались еще более столетия.²⁹

²⁵ Такой книгой был, например, труд Мефрета «*Hortulus Reginae, sive sermiones*», много раз издававшийся с конца XV в.: в 1652 г. Арсений Сатановский перевел ее в Москве. «А писано в той книге, — объяснял сам переводчик, — мяна и свойства <...> различных многих зверей четвероногих, птиц, рыб. . . » и т. д., среди многих других сведений энциклопедического характера, пригодных прежде всего для духовных лиц (*Харлампиевич К. В.* Малороссийское влияние на великорусскую церковную жизнь. Казань, 1914, т. 1, с. 140—141).

²⁶ *Архангельский А.* Духовное образование и духовная литература при Петре Великом. Казань, 1883, с. 147. — Между прочим, в одной из проповедей Стефана Яворского мы находим восходящий к античной басне «прилог» о воле и верблюде, просивших у Юпитера рогов (*Морозов П.* Феофан Прокопович как писатель, с. 76, 79).

²⁷ Символы и эмблемата. СПб., 1709, 160, 211, 286, 428, 493 и др.

²⁸ См., например, отдел «о естественных страстях животных» в «Книге философской Андрея Христофоровича» (изд. Общества любителей древней письменности. СПб., 1878, № 18, л. 101—118).

²⁹ См. дважды изданную у нас книжку Клиприана Дамского «Краткое любопытнейшее показание удивительных естеств и свойств животных» (другой титул: «Любопытный словарь удивительных естеств и свойств животных. Собрано из разных записок, древних и новых путешествователей К. Л. Д.») (СПб., 1795; 2-е издание — СПб., 1801); в этой книжке, основанной на цитатах из Аристотеля, Плиния, «Хрошпки» М. Бальского, «Троянской истории», Дамаскина Студита и т. д., рассказываются еще всбылицы и о единороге (с. 76—80) и об олене (с. 164). Еще более характерной является вышедшая из стези Архангельской духовной семинарии книга «История о животных бессловесных <...> с присовокуплением нравоупотребительных уподоблений, из природы их взятых. Перевод с латинского языка» (М., 1803, 5 ч.; ср. *Сонинов В.* Опыт русской библиографии, СПб., 1904, ч. 3, № 4790). Латинский оригинал, указанный А. Карнеевым (Материалы и заметки по литературной истории Физолога, с. 53), вышел еще в начале XVII в. и специально предназначался «для изучающих богословие и служителей слова»; это трактат Вольфганга Франца (Франция), профессора протестантской теологии в Виттенберге, «*Historia animalium sacra*» (1612; последующие издания: 1621, 1642, 1659; книга выходила также в Амстердаме (1643, 1653, 1665), во Франкфурте (1671), Дрездене (1687), Лейпциге (1688 и 1712), в Лондоне (1670). См.: *Carus Victor J.* Geschichte der

Знал ли эту традицию Феофан? В этом не может быть никаких сомнений, если принять во внимание и его начитанность и все этапы полученного им образования. Мы знаем, однако, также и о том, как последовательно и настойчиво ратовал он против устарелой методикки схоластической проповеди, на каких твердых позициях он стоял, защищая реальное просвещение и повое миропонимание. Следует поэтому усомниться в том, что эпитет «рогатый» связан был у него с какими-либо традиционными легендарными представлениями, тем более что христианской символике «рога» в его время был уже нанесен значительный ущерб столь сильно интересовавшей его как раз в последний период его жизни библейской экзегетикой.

В старых русских азбуковниках и «алфавитах» неудобь познаваемых речей» слову «рог» давалось объяснение «сила, крепость»³⁰ — прежде всего потому, что в таком именно смысле предлагалось толковать его употребление в церковнославянских библейских текстах, где иначе оно становилось бы необъяснимым. Мы находим это объяснение в одном из древнейших русских словарей этого типа, составленном еще в 1282 г. («Речь жидовского языка преложена на русскую, неразумно на разум») — здесь среди двух десятков истолкованных варваризмов стоит и следующее объяснение: «рог — сила».³¹ В русском языке такое значение слова усвоено не было³² или употреблялось как славянизм.

Zoologie. München, 1872, S. 313—314). В главе XII этого труда, специально посвященной единорогу и носорогу, подробно объясняется со ссылками на многочисленные авторитеты средневековой и гуманистической Европы символическое значение «рога», который означает «могущество и крепость, также защиту, отменную славу, потом же истинное бога познание, веру, молитву» (рус. пер., ч. 1, с. 123); здесь уже утверждается, что «царства земные называются вообще рогами» (с. 124), что Григорий Назианзин «в слове на себя самого < . . . > с единорогом сравнивает философа» (с. 121), что Эразм Роттердамский «в книге о подобиях одно такое подобие предлагает от носорога взятое: как носорог имеет рог на носе, так некоторых людей шутки бывают язвительны и досадны» (с. 125) и т. д.

³⁰ Сахаров И. Сказания русского народа. СПб., 1849, т. 2, кн. 5, с. 181. — В одном из рукописных азбуковников XVII в., обследованном для «Древнерусского словаря», находим следующее пояснение к слову «рог»: «рогом проявляет силу и крепость тела; рогатини бо зверие в рогах силу пмуть» (картотека древнерусского словаря).

³¹ Калайдович К. Иоанн Ексарх Болгарский. М., 1824, с. 193; Никольский Н. О литературных трудах митрополита Климента Смолятича. СПб., 1892, с. 94. — Эта статья переписывалась у нас еще в XVII в. и вошла в азбуковники (Бычков А. Ф. Описание церковнославянских и русских рукописных сборников. СПб., 1882, 1, с. 204, 417; Карпов А. Азбуковники или алфавиты иностранных речей. Казань, 1877, с. 18).

³² Словарь церковно-славянского и русского языка (сост. вторым отделением имп. Акад. наук. 2-е изд. СПб., 1867, т. 3, с. 138) подчеркивает это расхождение, указывая, что слово «рог» только в церковнославянском означает «сила, крепость, прелмущество», и подтверждает это цитатой: «не даша рога грешнику» (1 Макк. II, 48). Здесь же объяснены выражения: «вознести, возыснить рог», что означает «возвеличить, прославить» («христианский рог возвышен»); «сбить кому рога» — «унизить гордость, обессилить». Ф. Миклопич (Lexicon palaeoslovenico-graeco-latinum. Vindob., 1862—1865, р. 800—801) ссылается на «трехязычный словарь» Ф. Поликарпова (1704) и указы-

В литературных текстах, возникших на русской почве в конце XVII—начале XVIII в., мы, однако, встречаем слово «рог» именно в этом церковнославянском смысле, нередко с прямой ссылкой на соответствующие библейские тексты. Симеон Полоцкий в своем «Рифмологиконе» (1676) писал, обращаясь к царю Федору Алексеевичу: «Молюся, да речет о тебе господь еже о Давиде <...> И истина моя и милость моя с ним, и о имени моем вознесется рог его»; во второе «приветство» того же «Рифмологикона», описывая знаки зодиака, С. Полоцкий помещает следующие вирши, в которых символический «козерог» наделен чертами реального домашнего животного:

В мсте десятом есть козел рогатый,
По горам скачущ, власами богатый.

вает на соответствие церковнославянского «рогат» греческому *κεράτιος* и латинскому *cornutus*, не объясняя их смысловой многозначности. В «Материалах для словаря древнерусского языка» И. И. Срезневского (т. 3, вып. 1, с. 129) к слову «рогатый» указано лишь одно значение — «имеющий рога»; к слову же «рог» дано много значений («рог у животных», «рог как замена сосуда», «труба», «мыш» и т. д.), в том числе и одно, обозначаемое им вопросительным знаком: приведенные здесь же цитаты из сентябрьских «Милей» («бог рог вознес») и из суздальской рукописи (Давид «рогом явленный») подтверждают, что это именно то церковнославянское слово (со значением «сила, крепость»), которое потребовало истолкования для русских книжников еще в конце XIII в. См. еще: *Vasmer Max. Russisches Etymologisches Wörterbuch. Heidelberg, 1955, S. 526* («рог»). Случай употребления этого слова в русской обиходной речи XVII в. во всяком случае были редкими. Дьяк Ив. Тимофеев, говоря о младшем сыне Грозного, Федоре Ивановиче, в полном соответствии с книжкой церковнославянской традиции называл его «молитвенный рог крепости» (Временник Ивана Тимофеева / Подгот. к печати, пер. и коммент. О. А. Державиной. М.; Л., 1951, с. 464). «Видит бог сломило рога, да бог сердца весть, нечего есть, велел бог пожить и не о чем тужить», — писал тульский помещик Иван Фуников в своем крайне интересном послании, описывающем личные невзгоды и разоренье на Руси в начале XVII в. и переполненным прибаутками и пословичными реченными на «скоморошеский» лад (*Николаевский Н. Рифмованное «Послание дворянина к дворянину»*. — Библиографические записки, 1892, № 4, с. 280; *Назаревский А. А.* Очерки из области русской исторической повести начала XVII столетия. Киев, 1958, с. 14—21). В рукописном сборнике русских пословиц, изданном П. К. Симоном (Старинные сборники русских пословиц, поговорок. . . XVII—XIX столетий, вып. 1, с. 79, 80, 82), мы также встречаем слово «рог», но большую часть в недостаточной ясных фразеологических сочетаниях. Б. А. Ларин, анализируя их в своих «Очерках фразеологии» (Очерки по лексикологии, фразеологии и стилистике. — Учен. зап. Ленингр. гос. ун-та, 1956, № 198), указал на пословицу, приведенную в издании Симона на с. 79 (№ 199), — «Были те рога в торгу» — и писал по этому поводу: «Это словосочетание непонятно, хотя каждое слово нам хорошо известно. Причина непонятности этой идиомы в ее фрагментарности. Сопоставляя ее с другими вариантами <...> «Быть богаты — быть и рогаты», мы уже можем строить какие-то догадки о значении «рогов в торгу». Но еще большую ясность и уверенность в правильном понимании дает привлечение третьего варианта: «Буду богат — буду рогат, кого хочу, того пазбоду» (с. 213). По нашему мнению, сопоставление этих трех совершенно различных пословиц несколько не облегчает их понимания, так как слово «рог» и производные от него употреблены здесь не в одинаковом значении; в последнем, третьем примере слово «рог» имеет не «высокий», «книжный» характер, но употреблено в прямом бытовом значении.

В писании же козел знаменует
 царя греческа, Даниил сказует.
 Прилпчно убо ныне царствующа
 в гречестей стране чреа козла скачуща
 Есть сказывати: ибо есть рогатый
 гордостию сп и о тленных богатый. . .

И далее:

360. Господь же, иже гордым противится
 тебе на помощь молим да пощитися,
 Еже под твои пречестные ноги
 гордости его преклонити роги.
 Тогда ты козла славно претечешн
 егда тех рогов оному претрешн.³³

Встречается интересное нас слово и в песнях магистра И. В. Пауса, язык которого переполнен был славянизмами, усвоенными им из печатных и рукописных книг XVII столетия; так, в стихотворении Пауса «на первую морскую победу» над шведами встречается следующее двустишие, предназначавшееся, может быть, для помещения на триумфальных воротах:

Все гордое ломает бог
 И разрушит (вар. «отреяст») высокой рог.³⁴

³³ *Полоцкий Симеон*. Избранные соч. М.; Л., 1953, с. 111, 127. — В этом издании указанное место оставлено без всяких разъяснений. Приведем поэтому старый комментарий к тому месту Даниила (VIII, 5), которое С. Полоцкий имел в виду, где с козлом сравнивается империя Александра Великого. «И се, — говорит Даниил, — козел от коз идяше от Лива (Запада) на лице всея земли и не бе прикасяся земли; и козлу тому рог видим между очима его, и тече к нему в силе крепости своею, и видех его доходяше до Овна и рассвирене на него, и порази Овна, и сокруши оба рога его. И не бе силы Овну еже стати противно ему». «Так, Александр Великий, — говорит комментатор, — победил Овна вождя овец то есть царя Персидского своим высоким рогом, то есть особливую свою мудростию и мужеством духа (. . .) Из рога его сокрушенного (. . .) взыдоша другие четыре рога», т. е. четыре главные преемника престола Александра Великого (История о животных бессловесных. М., 1803, ч. 1, с. 276—277). Характерно, что символический церковнославянский «рог» появлялся преимущественно в произведениях, непосредственно ориентирующихся на библейские тексты. «Мнози глаголют, яко рог м а л ы й знаменует антихриста и царство его», — заметил Николай Спафарий в своем «Хрисмологиконе», однако намеренно «пространно» наложил это в третьей книге его сочинения осталось невыполненным (*Михайловский И. Н.* Важнейшие труды Ник. Спафария. — В кн.: Сборник историко-филологического об-ва при Им-те кн. Безбородка. Нежин, 1899, т. 2, с. 26). В русских обработках «Беседы трех святителей» мы также встречаем вопросы «Что четыре рога на земли?» или «Что рог? — Рука высокая царская» (*Мочульский В. Н.* Следы народной Библии в славянской и древнерусской письменности. Одесса, 1894, с. 149, 156).

³⁴ *Перетц В. И.* Историко-литературные исследования и материалы. СПб., 1902, т. 3, ч. 2, с. 128. — В виршах 1696 г. о ваянии Азова (ТОДРЛ, М.; Л., 1956, т. 14, с. 432) есть такие строки:

Роги лунные долу повергни бесчестно
 Вознесе рог христианск — знаменше крестно.

Но они основаны на игре словами: «рог христианск» противопоставлен здесь «дурогому полумсяцу», символу мусульманской Турции.

Любопытно, что в том же церковнославянском смысле слово встречается и у Феофана Прокоповича. В середине 1731 г. (т. е. два года спустя после приветственного послания Кантемиру) Феофан писал в поздравительных стихах имп. Анне Иоанновне:

Да вознесет бог
Слы твоей рог,
Враги твоя побеждая,
Тебя в бедах заступая.³⁵

Казалось бы, что этот последний пример окончательно решает сомнения, изложенные в настоящей заметке; приходится признать, что объяснения, которые давались интересующему нас стиху Феофана («Пророче рогатый») его ранними комментаторами («смелый, отважный») до С. П. Шевырева, были ближе к истине, чем предложенное им истолкование. Тем не менее вопрос оказывается более сложным, чем может показаться с первого взгляда. Дело в том, что с этим словом связана знаменитая смысловая ошибка в тексте Вульгаты, уже в XVII в. дававшая обильную пищу и для критического отношения к библейскому тексту со стороны протестантских богословов, и даже для острых сатирических выпадов писателей, интересовавшихся теолого-филологических вопросами, например Джонатана Свифта. С некоторыми из разнообразных относящихся сюда печатных источников мог быть знаком и Феофан Прокопович, интересовавшийся библейской экзегезой и недаром, конечно, настаивавший на том, что для правильного понимания текстов Библии необходимо знание не только греческого, но и древнееврейского языка; это мнение, вероятно, внушено было ему сочинениями протестантских богословов;³⁶ сохранились современные Феофану свидетельства, что он и сам даже начал учиться еврейскому языку,³⁷ что он успел составить несколько толкований к библейским текстам и что, наконец, на подворье Феофана в Петербурге, на Васильевском острове, начато было даже (в 1735 г.) печатание Библии в специально оборудованной для этой цели типографии.³⁸ Все это позволяет предположить, что уже к концу 20-х гг. Феофан мог быть знаком и со спорами относительно значения некоторых слов в разноязычных текстах Библии, в частности и об интересующем нас слове «рогатый».

В многочисленных местах библейского текста слова «рог» и

³⁵ Чистович И. Феофан Прокопович и его время, с. 294.

³⁶ Морозов П. Феофан Прокопович как писатель, с. 131.

³⁷ Чистович И. Феофан Прокопович и его время, с. 589. — Старый знакомый Феофана Я. А. Маркевич, рассказывая много интересного о своих свиданиях и беседах с Феофаном в 1727 г. в Москве и подмосковном селе Влакине, сообщает, между прочим, что он сам «вывернул» несколько мест из Библии на славянский язык против еврейского текста, разумеется вследствие тех же бесед с Феофаном (Дневные записки Малороссийского подскарбия, ген. Якова Маркевича. М., 1859, ч. 1, с. 289).

³⁸ Чистович И. Феофан Прокопович и его время, с. 589—590.

«рогатый» встречаются в таких словосочетаниях, которые заставили комментаторов признать, что эти слова должны были иметь совершенно особый смысл. В греческом тексте Библии, исполненном «семьюдесятью толковниками», во всех этих местах текста стоят греческое *κέρας* «рог» и *κερατῆς* «рогатый»; в латинских же переводах соответственно во всех указанных местах находим *cornus* и *cornutus*. В настоящее время можно считать вполне установленным, что слово *κέρας* и производные от него в переводе «семидесяти толковников» приняли, кроме буквального, также «особенное, совершенно различное от классического, значение». ³⁹ Во многих библейских книгах слово *κέρας* употреблено, действительно, в значении «силы». Поэтому в Книге пророка Иеремии (XLVIII, 12 п. 25), где идет речь о моавитянах и их падении, говорится о сокрушении у них «рога» или «рогов», т. е. силы и крепости; иногда слово *κέρας* употребляется в значении самого высокого места (в книге пророка Исаи V, 1: «виноград бысть возлюбленному в розе» — ἐν κερατῇ, т. е. на самом лучшем, плодородном месте), отвлеченного представления высокого достоинства и славы (Псалтырь, СХI, 9: «рог его вознесся во славе»; I кн. Царств, II, 10: «Господь вознесет рог помазанника своего») и т. п. И. Корсунский, из книги которого заимствованы приведенные примеры, добавляет к этому, что «разница в понятии о роге со стороны переносного его смысла, между употреблением сего слова у классиков и у LXX-ти (толковников), усложнялась, без сомнения, отчасти и тем, что у классиков не имелось при этом никакого представления о единороге (μονόκερος), а у LXX оно имело большое значение и, между прочим, к этому именно представлению приурочивались некоторые случаи сравнений, совсем необычные для классиков». ⁴⁰ (Ср. Числа, XXIII, 22: «бог, изведый его [Израиля] из Египта, яко же слава единорога в нем»; Псалтырь, XXI, 22: «спаси <...> от рога единорожь смирение мое»; XXVIII, 6: «возлюбленный яко сын единорожь» и т. д.). ⁴¹ И. Переферкович, в свою очередь, показал, к каким смысловым затруднениям привел неудачный перевод греческим *μονόκερος* еврейского *ge'et*, означающего, судя по ассирийской идеограмме, нашего зубра. Библейский *ge'et* имеет не меньше двух рогов, и в самой Библии встречается выражение «роги реэма» (Второзаконие, XXXIII, 17), которое греческий переводчик, ничтоже сумняся, перевел *κερατα μονοκερατος*. Там идет речь о Иосифе, «роги» которого сравниваются с рогами реэма. Древний славянский переводчик хотел выйти из затруднения, заменив множественное число единственным, — рог единорога розн его, но получилось несоответствие подлежащего со ска-

³⁹ Корсунский Ив. Перевод LXX. Его значение в истории греческого языка и словесности. Троице-Сергиевская лавра, 1898, с. 478.

⁴⁰ Там же.

⁴¹ Там же, с. 341.

зумы, которое и устранено вследствие возвращения к греческому тексту («рози единорога рози его»)⁴².

Подобные места библейского текста в XVII в. служили предметом оживленных филологических и теологических споров, в которых приняли участие и тогдашние зоологи. Широкую популярность приобрели тогда труды, с разных сторон обсуждавшие мир животных, представленный в библейских книгах, вроде книги Wolfg. Franzii «*Historia animalium sacra*», на русский перевод которой мы уже указывали, или трактатов руанского проповедника Самюэля Бошара (*Hierozoicon sive de animalibus S. Scripturae*, 1663), вюрцбургского иезуита Афанасия Кирхера (*Arca Noae*, 1675) и т. д.,⁴³ в которых, в частности, обсуждались указанные затруднения с «рогатыми» представителями животного царства. Одним из наиболее знаменитых примеров явной смысловой несуразицы, связанной с переводом греч. *κερατῆς*, была глава «второй книги Моисеевой» — (Исход, XXIV, 29—35), в частности, то ее место, где рассказывается, что когда Моисей сходил с горы Синая со скрижалями в руках, он «не знал, что лицо его стало сиять лучами от того, что бог говорил с ним». В Вульгате это место переведено так: «...et ignorabat quod cognita esset facies sua». Далее говорится: «И увидел Моисея Аарон и все сыны Израилевы, и вот лицо его сияет (Вульгата: «*Esse cognita erat ejus facies*»), и боялись подойти к нему...». «И видели сыны Израилевы, что сияет лицо его (Вульгата: «*videntes autem cognitam Moysi faciem*»), и Моисей опять полагал покрывало на лице свое».⁴⁴

Исходя из того, что *cognutus* значит «рогатый», Моисея стали представлять себе как «украшенного рогами»; благодаря Вульгате это представление стало широко распространенным; общеизвестно, что Моисея «рогатым» изобразил Микеланджело в своем знаменитом мраморном надгробии Юлия II в церкви св. Петра in Vincoli в Риме.⁴⁵ Однако в XVII в. уже неоднократно ссылались на эту ошибку, и она стала не менее популярной. Томас Браун (*Browne*, 1605—1682), автор известной «Религии врача» (*Religio Medici*), в другой своей, не менее популярной книге, посвященной разоблачению широко распространенных в обществе ошибок и заблуждений разного рода («*Pseudodoxia Epidemica, or Enquires into very many received Tenents and commonly presumed Truths*», 1646; более известна под заглавием «*Vulgar Errors*»), сделал следующее разъяснение относительно «рогатого Моисея»: «Во многих местах и, в частности, в древней Библии Моисей описан как имеющий рога. Основанием для этой нелепости несомненно по-

⁴² *Переферкович И.* Филологические замечки. — ЖМНП, 1917, окт., с. 131.

⁴³ *Carus Victor J.* Geschichte der Zoologie, S. 312—315.

⁴⁴ Латинские и греческие тексты см.: *Thesaurus linguae latinae*. Leipzig: Teubner, s. a., Bd 4, S. 975.

⁴⁵ *Maury Alfred L. F.* Essai sur les légendes pieuses du moyen âge, p. 197.

служила ошибка в еврейском тексте, в рассказе о том, что Моисей сходил с Горы «Синая»: близость слов Каеген и Каган, означающих „рог“ и „сияние“, „блеск“, которые являются одним из свойств рога; Вульгата (the Vulgar translation) воспользовалась первым из этих слов вместо второго» (Кн. V, гл. 9). Над этой забавной ошибкой посмеялся также Дж. Свифт в своей «Сказке бочки» (раздел IX: «Отгулление касательно происхождения, пользы и успехов безумия в человеческом обществе»), где по аналогии с «рогатым Моисеем» он представил «рогатым» дельца-пуританина.⁴⁶

У нас нет данных для того, чтобы утверждать, что эта знаменитая ошибка была известна Феофану Прокоповичу, хотя предположить это мы могли бы с полным основанием, приняв во внимание его начитанность в экзегетических вопросах. Против такого предположения, однако, говорит то, что в церковнославянском тексте «Исхода» этой ошибки не было; в указанном месте 24-й главы говорится: «И Моисей не ведаши яко прославися зрак плоти лица его»; в поздних латинских редакциях также стоит *glorificata* вместо *cognata*. Не делали этой ошибки и русские книжники XVII в. Это подтверждает, в частности, С. Полоцкий; в ранней его «декламации» 1660 г. есть монолог, в котором дана следующая парафраза интересующего нас текста «Исхода»:

Моисей иногда на гору высоко
возшел бе с творцем миру прешироку,
Беседова с ним, потом же отгуду
повращен, лучи сияя повсюду.⁴⁷

Именно это обстоятельство сильно затруднило бы нас, если бы мы, вдумываясь в слова Феофана «пророче рогатый», вообразили бы себе, что они возникли в его сознании по аналогии с «рогатым» (а не «осиянным») ликом Моисея. Мы пришли, таким образом, к отрицательному результату и должны были бы признать наиболее правдоподобной старую догадку, что в эпитет «рогатый» Феофан вкладывал обычный для церковнославянских текстов смысл («сильный», «могущественный», «высокий» и т. д.). Тем не менее окончательному решению вопроса препятствует то обстоятельство, что семантика этого слова на западной и русской почве не была нами описана до конца.

Русским книжникам конца XVII—начала XVIII в., особенно тем, которые имели «грвко-латинское» образование, должно было быть известно еще одно дополнительное значение слова «рогатый», являвшегося дословным переводом греческого *κερατινός* = латинского *cognatus*, но связанного на этот раз с особым кругом представлений и имевшего свою собственную, весьма примечательную историю. Смысл этого значения слова «рогатый» можно

⁴⁶ *Swift Jonathan*. A Tale of a Tub / Ed. A. C. Guthkelch and D. N. Smith. Oxford, 1920, p. 177.

⁴⁷ ТОДРЛ, М.; Л., 1951, т. 8, с. 359.

было бы приблизительно передать словами «хитроумный», «замысловатый», «затейливый», «изворотливый» и т. д., а история его связана с одним знаменитым античным силлогизмом, получившим довольно широкое распространение в литературах древнего мира и христианской Европы.

Силлогизм этот, т. е. умозаключение, выводимое на основании нескольких суждений, древние приписывали греческому философу IV в. до н. э. Евбулиду из Милета, представителю так называемой мегарской школы, но учившему в Афинах. Евбулид считался одним из оппонентов Аристотеля, и ему приписывали изобретение семи ошибочных умозаключений, силлогизмов-ловушек, с помощью которых он демонстрировал опасности, стоящие на пути абстрактно-логического мышления. Шестой из его примеров получил наименование «рогатого» (*κερατίτης*, латин. *cornutus*), откуда и пошли впоследствии термины «*syllogismus cornutus*», «*responsus cornutus*», «*cornuta interrogatione*», употреблявшиеся в указанном выше значении «хитроумного» рассуждения, ответа или вопроса. В лаконической форме, сохраненной нам в «Жизни философов» Диогена Лаэртского (*Diog. Laert. VI, 38*), этот «рогатый силлогизм» звучит так: «Если ты ничего не потерял, то это у тебя есть; ты не потерял рогов, значит у тебя есть рога».⁴⁸ В разнообразных вариантах и амплификациях это ошибочное умозаключение встречается у многих античных писателей, греческих и римских.⁴⁹ Наек на *κερατίτης* есть в знаменитом сочинении Аристотеля «О софистических доказательствах» (*XXII, 78a*), этом «удивительном образце систематического анализа мысли в ее нормальных и ненормальных обнаружениях», в котором идет

⁴⁸ *Hoffmeister Joh.* Wörterbuch der philosophischen Begriffe. 2-te Aufl. Hamburg, 1955, S. 144—145. — О Евбулиде и его силлогизмах см.: — *Pauly—Wissowa.* Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft. Stuttgart, 1909, Bd 6, S. 870; *Гомперц Г.* Греческие мыслители. СПб., 1913, т. 2.

⁴⁹ *Barge Hermann.* Der Horn- und Krokodilschluß. — *Archiv für Kulturgeschichte*, Leipzig; Berlin, 1928, Bd 18, S. 1—40. — Оговоримся заранее, что «рогатый» (*cornutus*) как термин логики и риторики не имеет ничего общего с бытовым обозначением обманутого мужа («рогоносец»), которого мы касаться не будем. Укажем лишь, что хотя в истории слова «рогоносец» еще много неясного, но можно считать достаточно выясненным, что в западноевропейских языках это слово связано с представлением о петухе-каплуне (ср. нем. *Nahrgel*, франц. *coqui*) гребешок которого украшали обрезанными у него шпорами напоминающие рога, и что к «рогам» в прямом смысле происхождение этого слова не имело отношения (*Klüge F.* *Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache.* 2—13. Aufl. Berlin; Leipzig, 1943, S. 227). Впрочем, Paul Horn (*Morgenland und Abendland. — Z. für vergleichende Literaturgesch. N. F.*, Berlin, 1903, Bd 15, 1—2, S. 18—19) привел ряд интересных аналогий этому слову из арабской и персидской литературы XI—XIV вв. Отметим со своей стороны интересное свидетельство Семьюэля Коллинза, врача царя Алексея Михайловича. В своей известной книге о России (*The Present State of Russia. . . 1671*) он утверждает, что «русские не знают прозвища „рогоносец“ (*cornuto*): «об обманутом муже они говорят: „он лежит под лавкой“» (*Collins Samuel.* *Moscovitische Denkwürdigkeiten/Hrsg. v. W. Graf.* Leipzig, 1929, S. 36). В этом смысле слово «рогоносец» стало известно у нас только с середины XVIII в.; см.: *Hüll-Worth G.* *Die Bereicherung des russischen Wortschatzes im XVIII. Jahrhundert.* Wien, 1956, S. 182.

речь «как об источниках неправильных умозаключений и доказательств, так и о средствах открытия и разрешения ошибок»,⁵⁰ и в ряде других античных трактатов по философии и логике, обсуждавших вопросы «эристики», спора ради спора, как ее понимали диалектики мегарской школы. Естественно, что этот круг логических проблем получил особое значение для риторики и ораторского искусства, имевшего жизненные корни в древнем Риме; неудивительно, что и «рогатый силлогизм» получил здесь еще большую популярность. Сенека в своих «Письмах» рассуждает именно о нем, утверждая, например, что «тот, кого спросили, есть ли у него рога, был вовсе не так глуп, когда стал ощупывать свой лоб, и в то же время не столь простодушен и туп, чтобы не понять, сколь исключительно остроумным заключением (*subtilissima collectione*) его хотят убедить в этом» (*Epist.*, 45, 8; 49, 5, 8). О «рогатом силлогизме» идет речь в «Аттических почах» Авла Геллия (*Noctes Atticae*, XVI, 2) и в трактате Квинтиллиана «О воспитании оратора» (*De Institut. Orat.* I, 10, 5), этом классическом руководстве, сохранявшем свое учебное значение в течение многих столетий, вплоть до русских церковно-проповеднических школ XVII—XVIII вв.⁵¹ Много раз намеки на «рогатый силлогизм» встречаются у Лукиана в его «Разговорах мертвых», в сатирическом произведении «Сновидение или Петух». В последнем сапожник Микилл так рассказывает об ужине, на котором он возлежал рядом с пустомелей-философом Фесмополидом: «К безмерной моей досаде он надоедал мне, непрерывно рассказывая о какой-то там добродетели, получая, что два отрицания дают утверждение, что если есть „день“, то нет „ночи“. Между прочим, он утверждал даже, что у меня есть рога, вообще приставал ко мне без конца со множеством подобных, совершенно мне не нужных философских хитросплетений, отравляя мне удовольствие и мешая слушать игру на кифарах и пение». В несколько видоизмененной форме, но с той же целью демонстрации аномалий в логическом процессе *kerativus* приводит еще такой поздний греческий философ, как один из родоначальников скептицизма Секст Эмпирик (начало III в. н. э.) в его много читавшихся «Пирроновых положениях». Секст Эмпирик представляет себе здесь воображаемого софиста, который мог бы предложить ему следующее рассуждение: «Если ты и не имеешь красивых рогов, имея рога, то ты имеешь рога; но ты не имеешь красивых рогов, имея рога, значит ты имеешь рога» (*Pyrrh. Hup.* II, 241).⁵²

⁵⁰ Владиславлев М. Логика. Обзорение индуктивных и дедуктивных приемов мышления. СПб., 1881, Прил. «Логика Аристотеля», с. 5; *Maler H.* Die Syllogistik des Aristoteles. Tübingen, 1896, Bd 1, S. 41 u. folg.; *Barge H.* Der Horn- und Krokodilschluß, S. 19—21.

⁵¹ *Barge Hermann.* Der Horn- und Krokodilschluß, S. 21—28.

⁵² *Ibid.*, S. 27; *Секст Эмпирик.* Три книги Пирроновых положений/Пер. с греч., предисл. и примеч. И. В. Брюлловой-Шаскольской. СПб., 1913, с. 130.

«Рогатый силлогизм» усвоен был и христианскими писателями, получившими его из обихода античной диалектики и риторики. Мы находим его в одной из самых распространенных в течение всего средневековья учебных книг, посвященных «семи свободным искусствам», — в труде Марциана Капеллы (написанном в конце V в.) «De Nuptiis Philologiae et Mercurii et de septem artibus liberalibus», в четвертой книге, где идет речь о диалектике (т. е. логике, которая именно с того времени становится известной под этим именем) и где, в частности, излагается учение о силлогизмах.⁵³ Силлогистикой очень интересовался Климент Александрийский (см. его «Stromata»); *sullogismus cognutus* был хорошо известен блаженному Иерониму, который не раз вспоминает о нем в своих писаниях. В одном из них (Epist. 69, 2) Иероним рассказывает о своем споре на теологическую тему, который он вел в Риме с неким образованным человеком, хорошо посвященным в вопросы диалектики. По словам Иеронима, его оппонент пытался убедить его с помощью «рогатого, как его называют, силлогизма» (*cognutum, ut dicitur, syllogismus*), т. е. привести его к пелепому, ошибочному заключению путем всяческих логических хитросплетений. Первоначально спор развивался в пользу Иеронима, но противник его был силен, и наступил такой момент, когда Иерониму, как он сам говорит, показалось, что у него начинают расти (метафорические) рога, потому что выступили первоначально скрытые тонкости (*coerant mihi hic inde cornua increscere et absconditae prius acies dilatari*). В своем полемическом сочинении против Гельвидия (*Adversus Helvidium*, 16) Иероним также пользуется «рогатым вопросом» (... *et te cornuta interrogatione concludo*).

Существует немало свидетельств, что «рогатый силлогизм» был достаточно распространен и в новой Европе и что в новолатинской книжной речи XVI—XVII вв. слово «*cognutus*» было достаточно употребительным, обиходным термином, имевшим свое смысловое соответствие в вышеуказанном значении и при его дословном переводе. Так было, например, в Германии. В изданиях видного предшественника реформации и друга Себастиана Бранта — Иоганна Гейлера Кайзербергского (1445—1510) упоминается *gehörnte frog* «рогатый вопрос» (в его «*Brösamlein*» и «*Postille*»);⁵⁴ знал этот термин и Ульрих фон Гуттен, и след знакомства с «рогатым силлогизмом» остался и в «Письмах темных людей»;⁵⁵ впоследствии у сатирика Иоганна Фишарта в его «*Jesuitenhüttlein*» (1580) *sullogismos cornutos* излагается среди других «всевожможных софизмов» (*allerhand Sophisterei*):

Diss hastu, was nucht hast perdirt
Die Hörner hast nicht amittirt,
Ergo, die Hörner hastu noch...⁵⁶

⁵³ *Barge Hermann*. Der Horn- und Krokodilschluß, S. 30—31.

⁵⁴ *Ibid.*, S. 32—33.

⁵⁵ *Ibid.*, S. 32.

⁵⁶ *Ibid.*, S. 37—38.

Но едва ли не самым знаменитым примером может служить исторический ответ Мартина Лютера, данный им специально прибывшему для его допроса имперскому представителю Иоганну фон Экку на Вормском рейхстаге 18 апреля 1521 г. Когда Экк в конце своего второго обращения к Лютеру потребовал от него простого и ясного ответа на предъявленные обвинения, положительного или отрицательного (*responsum simplex ac planum aut negativum aut affirmativum*), то Лютер ответил — согласно тому же латинскому протоколу этого заседания, — что он даст просимый у него ответ, не «рогатый», но простой и прямой (*Responsum, quod petitur, non cognitum, simplex ac rectum non aliud habere*). Из сопоставления различных редакций этого исторического документа, в том числе и немецких, выясняется отчетливо, что хотел сказать Лютер и как поняли его современники: в одной из редакций Лютеру приписывается, что он хотел дать «eine un-stössige und unpreissige Antwort»; в другой идет речь о «nicht cognuszantwort»; в первом собрании сочинений Лютера на немецком языке (Виттенберг, 1558) сказано, что он даст ответ, который «не будет иметь ни рогов, ни зубов» (*weder högner oder zeepe haben sol*),⁵⁷ т. е. будет вполне откровенным, прямодушным, нисколько не напоминающим классические умозаключения-ловушки.

Известно ли было указанное значение слова «cornutus» на Руси? Мне это представляется не подлежащим сомнению, хотя я не располагаю достаточным количеством цитат. Соплюсь лишь на рукопись начала XVIII в., принадлежащую библиотеке Смоленского педагогического института, № 128, под заглавием «Наука красноречия си есть риторика», в которой есть следующее место: «Сия же доводы рогатня наипаче употребляются егда в вопросемах каковым хитростным ответа испытуем, например: егда фарисеи искушающе Иисуса вопрошаху».⁵⁸ Без приведенной мною выше справки из истории силлогистики это место оставалось бы вовсе непонятным. Теперь же оно получает отчетливое объяснение; более того, можно указать вполне точно и первоисточник того примера, который приведен в «Науке красноречия» для пояснения определения «доводы рогатня», т. е. «рогатого силлогизма». Это — блаженный Иероним и его комментарий к тому месту Евангелия от Матфея (гл. 19, 3—4), где есть такие слова: «И приступили к нему <Христу> фарисеи и, искушая его, говорили ему: по всякой ли причине позволительно человеку разводиться с женою? Он сказал им в ответ: не читали ли вы, что сотворивый в начале мужчину и женщину сотворил их?». Комментируя это место евангельского текста, блаженный Иероним без оснований предположил, что искушающий вопрос, предложенный Христу фарисеями, представлял собой род ловушки, который

⁵⁷ Ibid., S. 1—7, 36—37. — «Зубы» намекают на другой силлогизм-ловушку — о «крокодиле».

⁵⁸ Цитата заимствована из «Картотеки древнерусского словаря».

мог привести вопрошаемого к ошибочному умозаключению; Иероним прямо писал, что вопрос фарисеев походил на «рогатый силлогизм»: «ut quasi cognito eum teneant syllogismo».⁵⁹ Это определение стало классическим в европейских толкованиях Евангелия: недаром оно фигурирует в качестве объяснительного примера и в русской «Науке красноречия».

Естественным представляется вопрос: не было ли указанное значение слова «cognitus» также известно и Феофану Прокоповичу? Это весьма вероятно. Человек, начитанный в латинской классической и святоотеческой литературе, преподававший науку красноречия в Киевской коллегии и сам превосходный диалектик, Феофан не мог не знать, что такое «доводы рогатые»; не забудем, что тот же Кантемир считал своего папегириста ни с кем не сравнимым эрудитом и писал ему:

Феофан, которому все то удалось знати,
Здрав человека ум что может поняти. . .

Труднее решить, не в этом ли именно смысле применил он эпитет «рогатый» к молодому русскому поэту-сатирику. В самом деле: не значит ли выражение «пророче рогатый» не столько «сильный», «могущественный» или даже «отважный» пророк, сколько пророк «хитроумный», «хитростный»? Не скрывается ли в этом сочетании не столько прославление, сколько упрек или даже тонкая ирония? Припомним еще раз интонацию первых стихов послания Феофана к Кантемиру:

Не знаю, кто ты, пророче рогатый,
знаю, колочкой достоин ты славы.
Да почто ж было имя укрывать?
Знат, тебе страшны сильных глупцов нравы.
Плюнь на их грозы < . . . >
Пусть весь мир будет на тебе гневливый,
ты и без чести довольно щасливый.

Конечно, это не только похвала, но и упрек — в малодушии и в стремлении к личной безопасности, сетование на то, что сатирик убоился раскрыть свое имя «сильным глупцам», страшась их возможных преследований, досада на то, что он вступил в бой не с открытым забралом, наконец, призыв объявить себя во всеуслышанье и действовать более решительно, в полном соответствии со своим природным дарованием. Вполне ли соответствует такому ходу мыслей понимание эпитета «рогатый» как «смелый» или даже «отважный»? Можно ли было пазвать поэта в первой строфе сильным или отважным, чтобы в следующих обвинить его в том, что у него недостает именно этого качества? С другой стороны, правильно ли было бы считать слово «пророче» синонимом слова «поэт», «стихотворец», в двойном смысле латинского *vates*, как это предлагал в свое время Шевырев? Это представляется мне крайне сомнительным. Гораздо естественнее было бы видеть

⁵⁹ *Berge Hermann*. Der Horn- und Krokodilschluß, S. 31 (со ссылкой на «Patrologia latina» Мюнх: vol. 26, col. 133).

в слове «пророче» — пророка в библейском смысле, а не поэта, человека, призывающего к исправлению нравов, учителя жизни, вполне сознающего свое высокое, predeterminedное общественное назначение. Я предпочел бы соединить с этим словом, употребленным Феофаном, представление об одном из ранних в русской поэзии воплощений будущего пушкинского «Пророка», с его миссией — «глаголом жечь сердца людей». Не забудем при этом, что, по известиям современников, Феофан составил толкование к книге пророка Исайи,⁶⁰ одного из пророков классического периода, с именем которого связывается представление о гневном судье и вдохновенном приорителе.

В нашем распоряжении есть еще один источник, которым не следует пренебречь при решении интересующего нас вопроса, — латинские приветственные стихи Феофила Кролика. Единомышленник и соратник Феофана, Феофил был человеком западноевропейского образования, живавшим за границей и превосходно владевшим книжной латинской речью своего времени. Более пяти лет (с 1716 по 1722 г.) он находился в Чехии — в Праге (куда был послан для перевода Буддеева немецкого лексикона на русский язык), по возвращении в Россию определен был в Синод ассессором, но в конце 20-х гг. подвергся опале, — вероятно, по проискам тех же лиц, которые вредили и Феофану; его положение изменилось — впрочем, ненадолго — лишь по восшествии на престол Анны Иоанновны. В его стихах к Кантемиру, написанных, по-видимому, в то же время, что и стихотворение Феофана Прокоповича, в сходных обстоятельствах и, может быть, даже по предварительному уговору с Феофаном,⁶¹ обращает на себя внимание определение «с о г н и т и м с а г м е н».

Ars est celebris stultitiae genus
Pernisse, n aevos carmine pungere
Cornuto, ut expungas nocens si
Fors animis dominatur error. . .

и т. д. Перевод по изданию сочинений Кантемира 1836 г. гласит:

Важно искусство распознавать
Людские глупости, колоть пороки
Острым стихом, и погреблять вредные
Господствующие в умах предрассудки. . .⁶²

Этот перевод нельзя назвать дословным и точным. Pungere започит не только «колоть», но и «ранить», «язвить», «поражать»,

⁶⁰ Чистович И. Феофан Прокопович и его время, с. 590.

⁶¹ В своей новейшей биографической справке о Феофиле Кролике А. В. Флоровский (Чехия и восточные славяне. Прага, 1947, т. 2, с. 448) указал, что Феофил будто бы «совместно с Прокоповичем составил латинское стихотворное предисловие к сатире Кантемира», что, однако, не следует понимать буквально; у П. Пекарского, на которого сделана ссылка, сказано другое: латинские стихи Феофила в похвалу Кантемира напечатаны в издании его сатир вместе со стихами Феофана (Наука и литература при Петре Великом, т. 1, с. 235).

⁶² Кантемир А. Д. Соч., письма и избранные переводы, т. 1, с. 23—24.

«наносить рану», а *paevos* значит, собственно, не «пороки», а «родимые пятна». В каком же смысле следует понимать *cognitus carmen* — дословно «рогатое стихотворение»? Очевидно, что «рога» здесь ни при чем. Переводчик вышел из затруднения, считая *cognitus* метафорой и переводя «острый» (по ассоциации с острым рогом) в соответствии с возможностью передать и глагол *ringere* русским «колоть». Однако вполне допустимо было бы перевести слово «*cognitus*» не «острый», но «остроумный», «хитроумный» применительно к тому его значению, которое было указано выше.⁶³

Подведем итоги. Старая догадка С. П. Шевырева, дожившая и до наших дней, о том, что слово «рогатый» у Феофана необходимо понимать в примитивном вещественном смысле и что будто бы он имеет в виду «бодливые» стихи Кантемира, не имеет никаких оснований и должна быть отброшена как несостоятельная. Эпитет «рогатый» в понимании Феофана есть церковнославянизм и по аналогии с его же похвально-славительными стихами 1731 г., адресованными Анне Иоанновне («... да вознесет бог силы твоей рог»), может быть истолкован как «сильный», «имеющий власть». Не исключена, однако, и другая возможность, — что это слово означает «хитростный», «хитроумный» в соответствии с тем определением латинского *cognitus*, которое мы находим в сочинениях о логике и красноречии.

⁶³ Напомним, что такое значение слова сохранилось у нас еще в начале XIX в. А. Илличевский в одном из своих лицейских стихотворений 1814 г., признаваясь, что он не чувствует склонности к запятым математикой, писал (см.: *Грот Я. К. Пушкин. Его лицейские товарищи и наставники*. СПб., 1899, с. 60):

Видно, на роду написано
.....
Мне взирать с благоговением
На твои рога ты прелести.

Тем более примечательно, что слово «рог» в его церковнославянском смысле, как сознательный и тонко примененный архаизм, мы находим у Пушкина в «Борисе Годунове». В сцене «Москва. Царские палаты» Басманов говорит о Годунове:

.....какое
Мне поприще откроется, когда
Он сломит рог боярству родовому. . .

Тот же оттенок в словах Мазепы (в беседе с Орликом) — о Карле XII: «Сломить ему свои рога» («Полтава», песнь III). Впрочем, этот архаизм встречался и у русских поэтов XVIII в., например в оде А. П. Сумарокова 1755 г.: «Самрю рунителей покою, Сломлю рог гордый сей рукою» (ср.: *Цейтлин Р. М. Краткий очерк русской лексикографии*. М., 1958, с. 7).

МОНТЕСКЬЕ И КАНТЕМИР

1

В конце 1816 г. К. Н. Батюшков написал «Вечер у Кантемира», изящный и тонкий опыт в том литературном жанре «воображаемых разговоров», который излюблен был в XVIII в. писателями европейского, в первую очередь французского, Просвещения. В этом произведении Батюшков изобразил Антиоха Кантемира в его парижском кабинете, беседующим с его французскими друзьями, и прежде всего с Монтескье, о русской культуре и будущности русской поэзии.

По-видимому, Батюшков был вполне удовлетворен этим своим литературным трудом. «План и мысли довольно хороши. Все оригинально, и у нас не было ничего в этом роде», — писал он Н. И. Гнедичу 7 ноября 1816 г., посылая ему только что законченную рукопись «Вечера у Кантемира», еще «сырую», только что вышедшую из-под его пера после многих исправлений и переделок.¹ Батюшков не без основания предполагал, что его «Вечер у Антиоха Кантемира», т. е. разговор с Монтескье, где он «последнего немного поцарапал», будет «интересен» для читателей,² но опасался лишь, что «цензура что-нибудь вычеркнет в нем».³ Однако опасения эти оказались напрасными, и вскоре «Вечер у Кантемира» был опубликован Н. И. Гнедичем полностью без особых отличий от рукописного оригинала в первом томе «Опытов в стихах и прозе Константина Батюшкова» (СПб., 1817, с. 50—80), издании, встреченном единодушными похвалами критики и читателей.⁴ С тех пор «Вечер у Кантемира» перепечатывался неоднократно⁵ и принадлежит к числу его наиболее известных прозаических произведений.

Еще Л. Н. Майков отмечал, что этому воображаемому разговору «особый интерес» придает заключающаяся в нем «полемика с знаменитым французским мыслителем» и что «Вечер у Кантемира» следует считать «статьей, весьма важной для характеристики общественных воззрений Батюшкова в позднейший период его литературной жизни».⁶ Тем не менее в истории создания этого произведения, в установлении ближайших его источников, в ис-

¹ Из собрания автографов имп. Публичной библиотеки. СПб., 1898, с. 16.

² *Батюшков К. Н.* Соч. / Ред. Л. Н. Майкова. СПб., 1886, т. 3, с. 395, 399.

³ Там же, с. 399.

⁴ *Фридман Н. В.* Творчество Батюшкова в оценке русской критики 1817—1820 гг. — Учен. зап. МГУ, 1948, вып. 127, с. 179—199. (Труды каф. рус. литературы, кн. 3).

⁵ И. Перевлесский в своем издании «Избранных сочинений кн. А. Кантемира» (серия «Собрание сочинений известнейших русских писателей». М., 1849, вып. 2, с. XXXV), указав на «Вечер у Кантемира» Батюшкова, делает характерную оговорку: «Из этой статьи я не делаю извлечения, потому что ее можно найти в любой хрестоматии».

⁶ *Батюшков К. Н.* Соч. / Ред. Л. Н. Майкова. СПб., 1885, т. 2, с. 483.

толковании его замысла, в определении той роли, которую сыграло оно в первой половине XIX в. в русских спорах на философские и общественные темы, остаются еще темные места.

Что предопределило интерес Батюшкова к старому русскому сатирику и его французским друзьям, среди которых он выделил Монтескье? Что заставило его вступить в полемику с французским философом от имени Кантемира, скрывая свои собственные побуждения за доводами своих литературных героев? Имела ли хоть некоторое историческое правдоподобие изображенная Батюшковым сцена, местом действия которой он избрал Париж в начале 40-х гг. XVIII в.? Некоторые из этих вопросов в прямой или в косвенной форме поднимались несколько раз и в русской и в зарубежной литературе в связи то с Кантемиром, то с Батюшковым, то, наконец, и с Монтескье, но решение их никогда не было приведено к некоторому единству и заключает в себе еще ряд противоречий, заслуживающих дальнейшего изучения. Все указанные вопросы представляют тем больший интерес, что, как следует думать, «Вечер у Кантемира» оказал немалое воздействие не только на критическую оценку поэтического наследия Кантемира, но и на выработку суждений о Монтескье русских прогрессивных писателей и мыслителей первой четверти XIX в., в первую очередь декабристов, а затем и Белинского, хорошо знавшего это произведение Батюшкова.

2

Несомненно, что Батюшков не раз перелистывал страницы старенького уже в его время томика сочинений Кантемира в петербургском издании 1762 г. и что он вчитывался в него внимательно, заглядывая также и во многие другие литературные источники, имевшие отношение к Кантемиру и его времени. В статье 1815 г. «Нечто о морали» Батюшков цитирует «счастливое выражение» Кантемира из его 7-й сатиры;⁷ в позднейшем наброске («Мысли о литературе», 1817) он называет его «мой чисто-сердечный Кантемир» и вспоминает его стих о сытом и моте;⁸ в том же году, набрасывая план книги по истории русской литературы, Батюшков отмечает: «Кантемир — статья интересная».⁹ Однако сильное любопытство возбудили у Батюшкова не столько поэтические качества этого старого русского стихотворца, с наследием которого его собственное творчество имело слишком мало общего, сколько его личность и время, в которое он жил и действовал. Батюшкову в сильной степени присущи были исторические и философские склонности; его начитанность в специальной исторической литературе была несомненно очень значительной; велики были и его увлечения историческими разысканиями вся-

⁷ Там же, с. 127.

⁸ Там же, с. 339.

⁹ Там же, с. 337.

кого рода. Историко-литературные опыты и замыслы Батюшкова, еще недостаточно оцененные в истории русской филологической науки, заслуживали бы специального разбора; он проявил в них незаурядные способности лингвиста и ученого-историка.¹⁰ Все эти качества сказались в полной мере и в созданном им «Вечере у Кантемира».

В начале XIX в. к Кантемиру неудержимо влекло, впрочем, не одного лишь Батюшкова. Для него, как и для многих его русских современников, Кантемир всей историей своей жизни и творчества отвечал на целый ряд вопросов, встававших тогда перед русскими писателями, — об общественном назначении поэзии и ее месте в культурном творчестве народа, о роли сатиры среди других литературных жанров, о свойствах поэтической речи и отличиях русского стихосложения и т. д. В особенности же Кантемир возбуждал к себе интерес современников Батюшкова по той причине, что изучение его содействовало решению проблемы, которая взволнованно решалась тогда многими русскими людьми — свидетелями исторических событий Отечественной войны 1812—1814 гг. от Бородина до Лейпцига и Парижа. Кантемир знаменовал для них начало того исторического процесса, который получал блистательное развитие на глазах целой Европы и сулил грядущие успехи не только русскому оружию, но и творчеству в области литературы и искусства. В восприятии Батюшкова Кантемир был не только посланником российской державы, аккредитованным при самых влиятельных дворах современной ему Европы — в Лондоне и Париже, — но прежде всего первым русским писателем, жившим в центрах умственного движения того времени и получившим здесь европейское литературное имя. Кантемир был для Батюшкова провозвестником того огромного интереса к русской культуре и, в частности, к русской поэзии, который возникал всюду за рубежом и усиливался непрерывно.

Участник заграничных походов русских армий и взятия русскими войсками Парижа, Батюшков был и сам во время своих странствований свидетелем повсеместно возраставшего любопытства к русскому художественному слову, к русской общественной мысли, к русской культуре вообще. Вернувшись в отечество к мирному труду «и с новым удовольствием принимаясь за русские книги»,¹¹ листая русские журналы, беседуя со вновь обре-

¹⁰ Напомним здесь очень интересно задуманный Батюшковым план целого труда по истории русской литературы, всецело проникнутой историзмом и противоставленной им в этом смысле «болтовне Бутервека и Баттё», а также самостоятельные разыскания Батюшкова в истории итальянской литературы. В примечании к статье о Петрарке (1815) Батюшков сообщил: «Я сделал открытие в итальянской словесности, к которому меня не руководствовали иностранные писатели (. . .) Я нашел многие места и целые стихи Петрарки в Освобожденном Иерусалиме» (Соч., т. 2, с. 172). Действительно, аналогично параллельные сличения текстов Петрарки и Тассо зарубежные исследователи итальянской литературы произвели значительно позже Батюшкова.

¹¹ Батюшков К. И., Соч., т. 2, с. 77.

твенными друзьями, Батюшков постоянно должен был видеть, скаким вниманием и в России следят за успехами российской словесности в зарубежных странах, с какой надеждой взирают на ее будущую славу. В русских журналах 1814—1815 гг. известности русской литературы в чужих краях посвящено было немало статей, критических заметок, информационных сообщений и т. д.¹²

Н. Карамзин, еще в «Письмах русского путешественника» уделявший внимание вопросу об отношении иностранцев к русскому языку и словесности и в последующие годы со вниманием следивший за движением переводов на западноевропейские языки произведений русской литературы, писал теперь И. И. Дмитриеву: «Мы победили Наполеона: скоро удивим свет и нашим разумом. Жаль, что я из могилы не услышу рукоплесканий Европы в честь наших гениев словесности».¹³ Но мысль естественно обращалась не только в будущее, но и в прошлое, к заре новой русской литературы, к ее первым творческим успехам, к началу того исторического процесса, который сообщил этим успехам столь быстрое и уже для всех очевидное движение. Так возникал в это время интерес к Кантемиру, к Ломоносову.

3

В годы, непосредственно предшествовавшие созданию «Вечера у Кантемира», о «первом русском сатирике» и видном русском дипломате немало писали в русских журналах. В 1810 г. Жуковский сделал критический разбор сатиры Кантемира в «Вестнике Европы», назвав его «нашим Ювеналом и Горацием» и поставив своей целью, «сравнив поэта с некоторыми иностранными сатириками, которым он некогда подражал, но подражал, как писатель оригинальный», «определить свое мнение о превосходстве разбираемого нами поэта».¹⁴ В 1811 г. в журнале В. Г. Анастасевича «Улей» в статье «Антиох Кантемир» была дана краткая биография сатирика и сообщен перечень его сочинений.¹⁵ В 1815 г. в ста-

¹² См., например, статью «Известность России в чужих землях» (Российский музей, 1815, ч. 2, № 4, с. 117—119).

¹³ Письма Н. М. Карамзина к И. И. Дмитриеву. СПб., 1866, с. 183.— Это мнение было всеобщим. Ллценст А. Д. Иллчевский писал в 1815 г.: «Хвала русскому языку и русскому народу! Последняя война доставила ему много славы, и я уверен, что разуверившиеся, что мы варвары, разуверятся также и в том, что наш язык — варварский; давно пора этому!» (*Грот Н. Пушкин, его лицейские товарищи и наставники*. СПб., 1899, с. 67).

¹⁴ *Жуковский*. Критический разбор Кантемировых сатир. — Вестн. Европы, 1810, ч. 50, с. 42—59, 126—150. — Этой статьей очень интересовался Н. И. Гнедич. «Пришли № Вестника, где Кантемировы Сатиры», — писал он одному из друзей 23 апреля 1810 г. (*Гизанов П. Н. И. Гнедич. Несколько данных для его биографии*. СПб., 1884, с. 40).

¹⁵ Улей, 1811, т. 3, март, отд. 2, с. 191—197. — В следующем году о Кантемире писал А. Мераляков в «Трудах Общества любителей русской словесности» (1812, № 4, с. 50—51), а затем также А. Шишков в «Чтениях в беседе любителей русской словесности» (1813, № 9, с. 3—54).

ть «Нечто о жизни кн. Антиоха Кантемира», помещенной в журнале «Современный наблюдатель российской словесности», издатель его П. Строев поместил извлечения из биографии Кантемира, изданной на французском языке в 1749 г. с таким примечанием: «Сии известия взяты из биографии кн. Кантемира, приложенной ко французскому переводу его сатир <...> Переводчик говорит, что он почти безотлучно находился при кн. Кантемире и пользовался его дружбою. Читателям нашего „Наблюдателя“ без сомнения приятно будет знать подробности жизни сего знаменитого стихотворца».¹⁶

Под руками Батюшкова, однако, находился еще один источник, который, как мы можем предположить, должен был сыграть известную роль в его решении испробовать свои силы в создании воображаемого разговора Кантемира и Монтескье. Это были «Опытъ истории, словесности и нравоучения» М. Н. Муравьева, оценку которых Батюшков представил в особой статье 1814 г.¹⁷ В этих «Опытах» его двоюродного дяди, которым Батюшков стольким обязан был в своем воспитании и умственном развитии, целый отдел заняли «Разговоры мертвых»; один из них посвящен Кантемиру. Это произведение М. Н. Муравьева относится к тому восходящему к античной литературе, в частности к Лукиану, жанру бесед в «загробном мире» теней каких-либо исторических лиц, который был распространен и на европейском Западе со времен Возрождения, и в России с начала XVIII в. и до конца этого столетия. Авторы подобных произведений, руководствуясь то сатирическими задачами, то целями пропаганды определенных политических идей, то философскими мотивами, по своему усмотрению сталкивали в споре тех или иных воображаемых собеседников, не слишком заботясь об историческом правдоподобии изображаемых лиц и интересуясь лишь ходом их спора; естественно, что и самый этот спор отражал не столько воззрения собеседников, сколько убеждения или сомнения авторов подобных «диалогов мертвых», изложенные не догматически.

В России в XVIII в. подобные разговоры в Елисейских полях или на берегах Леты играли преимущественно роль политических памфлетов; в них главным образом выводились государственные деятели разных времен, затрагивавшие острые, злободневные вопросы современной их авторам политической жизни. Все эти диалоги, как на Западе, так и у нас, отличались нарочитой условностью, составлявшей характерный признак подобных произведений. Самое место их действия, абстрактное «царство теней», понимаемое в античном смысле, допускало изложение непринужденной беседы людей разных эпох и культур, как бы освобожденных не

¹⁶ Современный наблюдатель российской словесности, 1815, ч. 1, № 7, с. 137. — Печатание перевода растянулось в журнале на долгое время; имя автора этой французской биографии Кантемира здесь не раскрыто.

¹⁷ Батюшков К. Н. Письмо к И. М. Муравьеву-Апостолу о сочинениях М. Н. Муравьева. — Соч., т. 2, с. 73—91 (первоначально — в «Смысле отечества», 1814, ч. 16).

только от их телесной оболочки, но и от всех свойственных им национальных и языковых отличий.¹⁸ Таковы «разговоры мертвых» у Фонтенеля, Фенелона и их подражателей в различных европейских литературах, всецело посвященные как основной какой-либо философской, дидактической или политико-сатирической задаче.

Во Франции лишь в конце XVIII в. (особенно под пером Дидро) литературный жанр «воображаемых разговоров» совершенно перерождается: драматизация философского спора осуществляется в рамках исторической сцены, сопровождаемой ремарками автора, в которой «возможный», т. е. не только правдоподобный, но даже типический разговор ведут между собою не «мертвые», но живые лица, современники, со всеми присущими им человеческими чертами, притом не в «елисейских полях», а в историческом Париже.

В своем критическом разборе «Разговоров мертвых» М. Н. Муравьева Батюшков правильно определил уже архаический в то время источник литературного замысла своего родственника и наставника, возведя их к Фонтенелю, но попытался увидеть в «Разговорах» Муравьева также их своеобразные, по его мнению, особенности. «Желая начертать в юной памяти исторические лица знаменитых мужей, — пишет Батюшков, — автор, подобно Фонтенелю, заставляет разговаривать их тени в царстве мертвых. Но французский писатель гонялся единственно за остроумием: действующие лица в его разговорах разрешают какую-нибудь истину блестящими словами; они, кажется нам, любят сами тем, что сказали. Под пером Фонтенеля нередко древние герои преображаются в придворных Лудовика времении». У Муравьева же Батюшков находит «совершенно тому противное: всякое лицо говорит приличным ему языком, и автор знакомит нас, как будто невольно, с Руриком, с Карлом Великим, с Кантемиром, с Горацием и пр. Он, как Фонтенель, разрешает в маленькой драме своей какую-нибудь истину, или политическую или нравственную, но жертвует ей и ничтожными выгодами остроумия и, если смею сказать, скрывается за действующее лицо».¹⁹

Похвалы, расточаемые Батюшковым «Разговорам» Муравьева, явно преувеличены. Это отметил, между прочим, Белинский, писавший, что в «Разговорах» Муравьева нет именно того, что пытался увидеть в них Батюшков. «Исторические собеседники Фонтенеля, — писал Белинский, — похожи по крайней мере хоть на придворных Лудовика XIV, а герои Муравьева решительно ни на кого не похожи, даже просто на людей». «Вообще, — прибавлял Белинский, — Батюшков прославляет Муравьева как-то ретори-

¹⁸ *Rentsch J.* Lucian-Studien. Plauen, 1885, S. 15—40 («Das Totengespräch in der Literatur»); *Egilsrud Johan S.* Le «Dialogue des morts» dans les littératures française, allemande et anglaise. Paris, 1934; *Соболевский А. И.* Из переводной литературы петровской эпохи. — СОРЯС, 1908, т. 94, с. 12—14; *Виноградов Н.* Свидание двух теней. — ИОРЯС, 1906, кн. 2, с. 421—422; *Титов А. А.* Разговор в царстве мертвых. — Там же, 1907, кн. 3, с. 70—97, к др.

¹⁹ *Батюшков К. Н.* Соч., т. 2 с. 76—77.

чески».²⁰ Действительно, в «Разговорах» Муравьева беседуют вовсе не исторические лица; «тени» их условны, схематичны и выведены только для того, чтобы аргументировать какую-нибудь несложную мысль, выраженную в афористической форме в виде эпиграфа к каждому диалогу. Эти беседы едва ли можно назвать и «маленькими драмами», как определил их Батюшков, так как в большинстве их нет и конфликта, столкновений, нет спора, борьбы мнений, которым можно было бы сообщить некий логический ход, динамическое развитие, обусловленные предвидимыми разногласиями собеседников или predetermined непониманием их друг друга. Несмотря на это, мы вправе предположить, что преувеличенная оценка Батюшковым «Разговоров» Муравьева имела особые основания, помимо тех родственных чувств любви и преданности, какие питал он к покойному их автору. Утверждая, что у Муравьева «каждое лицо говорит приличным ему языком» и что он будто бы воспроизводит образы исторических лиц в характерных для них офертиях, Батюшков, в сущности, формулирует те требования, которые он сам предъявлял в то время к произведениям подобного рода: в этих требованиях, возникших с особенной ясностью при внимательном чтении «Разговоров», и сосредоточен был один из тех творческих импульсов, которые привели его к созданию «Вечера у Кантемира».²¹

Строгий и последовательный историзм при воссоздании действующих лиц в диалогической сцене — таково было важнейшее качество, к которому Батюшков стремился в написанном вскоре им самим произведении. «Вечер у Кантемира» представлял собою дальнейший и очень значительный шаг вперед в развитии на русской почве жанра драматизованной философской беседы. Батюшков потому и считал с полным основанием, что в его произведении «все оригинально» и что в русской литературе «не было ничего в этом роде»; вместо архаических «Разговоров мертвых» он дал в своем «Вечере» сцену, происходящую в Париже Людовика XV, в которой беседуют между собою не бесплотные тени, а реальные исторические лица в точно определенный художником момент их исторического сосуществования.

Для замысла «Вечера у Кантемира» «Разговоры» Муравьева должны были иметь и более непосредственное значение в смысле

²⁰ *Белинский В. Г.* Полн. собр. соч. М., 1955, т. 7, с. 246.

²¹ Напомним, что Батюшкову, автору сатирического «Видения на берегах Леты», приписывают также «Разговор в царстве мертвых», включющийся в отделе «Dubia» в собрание его стихотворений: см., например, в издании «Стихотворений» под ред. Б. С. Мейлаха (Л., 1941, с. 215—217). Н. Ф. Кошанский еще в своей «Частной риторике», вышедшей первым изданием в 1832 г. и затем выдержавшей семь изданий, с особым вниманием останавливается на «Разговорах в царстве мертвых», представлявших собою в то время уже вопиющий анахронизм. А. И. Мален в своей статье о Кошанском (Памяти Л. Н. Майкова. СПб., 1902, с. 214) предположил, что главной побудительной причиной для Кошанского «подробнее распространяться об этой отрасли литературы служило чувство благоговения перед памятью своего покровителя М. Н. Муравьева».

выбора Батюшковым основных действующих лиц его сцены. Среди большого количества собеседников, выведенных Муравьевым, Батюшков в своей статье о «Разговорах» назвал для примера лишь две их группы, в том числе Кантемира и Горация.²² Несомненно, что беседа именно этих лиц обратила на себя особое внимание Батюшкова и запомнилась ему лучше других, к чему он уже подготовлен был своим интересом к личности старого русского сатирика. Эпиграфом к этому маленькому диалогу римского и русского поэтов Муравьев избрал следующую нехитрую, но важную в то время и близкую самому Батюшкову мысль: «Народы достигают истинной славы единственно тогда, как могущество их украсится письменами и просвещением».

Преднамеренность и сугубо дидактический замысел этого разговора заключается в том, что оба собеседующих — Гораций и Кантемир — выступают здесь не в привычной им сфере мысли, а прежде всего в качестве прорицателей. Сначала Гораций дает весьма похвальную оценку исторической деятельности Кантемира, а затем и Кантемир, в свою очередь, посвящает Горация в историю развития русской словесности в течение всего XVIII столетия. «Последуя стопам моим, — говорит, например, Гораций Кантемиру в «Разговоре» Муравьева, — ты забавлял россиян, и сказывал истину, смеясь. Ты открыл им поприще письмен и останешься более известен тем, что ты был первый стихотворец своего народа, нежели тем, что ты представлял величество его в Англии и Франции».

Кантемир, отвечая тени Горация с истинно светской галантностью, после нескольких комплиментов на его счет скромно ограничивает свои исторические заслуги и указывает на тех русских писателей, которые явились после него и сделали больше, чем это удалось ему самому: «Чувствовать красоты твои было мое достоинство: перенести их в мой отечественный язык, покушение раннее и ожидающее успеха от позднейших писателей. При мне стихосложение не имело правил своих, языку недоставало избранности и благородства. В недрах прекрасного языка лежали сокровища его не открыты. Уроженец крайнего Севера (кто бы подумал?), сын земледельца — видишь сию величественную тень, беседующую с Цицероном и Галилеем, — Ломоносов даровал согласие и величество слову российскому. Сия другая тень <...> Сумароков <...> испытал язык трагедии и сотворил множество приятностей, заимствованных из общества. Их сила возбудила удачных соревнователей <...> Россиянин умеет побеждать и воспевать свои победы. Письмена воспитывают чувствительное юношество и обещают народу просвещение, добродетели и щастие».²³

²² Разговор М. Н. Муравьева «Гораций и кв. А. Д. Кантемир» был изведен Батюшкову не только в составе рецензированной им книги, но и по журнальному тексту «Вестника Европы» (1810, т. 50, № 6, с. 106—108).

²³ *Муравьев М. Н. Опыты истории, словесности и нравоучения*. М., 1810, ч. 1, с. 350—353.

Батюшков не мог не почувствовать всей несообразности этой беседы, и тем не менее основная мысль его «Вечера у Кантемира» и многие подробности воспроизведенной им сцены находятся уже в этом «разговоре» Муравьева, хотя и в зачаточном виде. Кантемир, предрекающий грядущие успехи русской словесности, расточающий похвалы еще не открытым в его время сокровищам отечественного языка, скромно рассматривающий себя как предтечу более мощных талантов, дающий оценку величественного жизненного дела Ломоносова, — все это воспроизведено и в «Вечере у Кантемира» Батюшкова, но в претворенном, преобразованном, развитом, доведенном до художественного совершенства виде. Близость исходных позиций Муравьева и Батюшкова бросается в глаза, несмотря на все различие их творческой манеры; бледное, беспомощное педагогическое сочинение Муравьева, написанное в пользу «чувствительного российского юношества», как бы пересоздано было Батюшковым вновь, но под его пером превратилось уже в яркую историческую сцену, в которой выпукло очерчены действующие лица, ведущие характерную для них, правдоподобную и вполне мотивированную беседу на тему, которую он считал животрепещущей и для своего времени.

4

Важнейшим из всех многочисленных творческих решений, с помощью которых Батюшков добился художественной реализации того замысла, который, как мы предположили, мог возникнуть у него при чтении указанного «Разговора» Муравьева, была замена им Горация как «собеседника» Кантемира историческим образом Монтескье. Задуманная Батюшковым сцена сразу ставилась этим в определенные исторические условия — указывала на время и место действия, требовала строгого и неуклонного следования источникам, устраняла обычные натяжки и возводила в принцип историческое правдоподобие изображаемой ситуации вместо прежней ее условности и несообразности. Правда, и у Батюшкова Кантемир также прежде всего «прорицатель», рассказывающий о будущих завоеваниях русской культуры, о перспективах развития и расцвета русского литературного творчества, но у Батюшкова все это совершенно преобразовано: его Кантемир не просто сообщает о будущих русских писателях своему собеседнику в некоем иррациональном мире, освобожденном от времени и пространства, каким он представлен у Муравьева, — Кантемир у Батюшкова делится своими мечтами о будущем русского искусства, и слушающие его люди должны почувствовать, что мечты Кантемира основаны на его горячем убеждении, что они питаются чувствами настоящего патриотизма, что их высказывает, наконец, трезвый мыслитель и внимательный наблюдатель современной ему жизни.²⁴

²⁴ В «Вечере у Кантемира» есть одна деталь, выдающая генетическую зависимость произведения Батюшкова от указанного «Разговора» Муравьева,

Кроме того, его «предвидения» являются прямым и логическим следствием введущегося спора, естественно возникают из желания возразить Монтескье, составляющему центральную фигуру в группе изображенных Батюшковым собеседников. Поэтому историческими в полном смысле слова в сцене у Батюшкова являются прежде всего оппоненты Кантемира, а не он сам. Кантемира-мечтателя порой подменяет Батюшков; возражения Кантемира Монтескье естественны, исторически мотивированы (насколько это было доступно создателю «Вечера»), но все же чувствуется порой, что их произносит не современник Монтескье, а человек другой эпохи; это скорее ответ Монтескье русского писателя начала XIX в., как ни искусно облечен этот ответ в форму «маленькой драмы» исторического содержания.

Из свидетельств самого Батюшкова мы знаем, что, желая придать своей сцене наибольшее историческое правдоподобие, он старался заставить своих действующих лиц говорить их собственными словами. Более всего удалось это ему по отношению к Монтескье, естественному центру его произведения. «Монтескье разговор — мозаика из его сочинений», — признавался Батюшков Н. И. Гнедичу;²⁵ правда, и остальные участники беседы также говорят у него по возможности «своими» словами, по кое-где Батюшкову пришлось досказывать их мысли, в особенности там, где надо было связать последние логической связью, придать им своего рода сюжетный ход. Все это потребовало от Батюшкова тщательной и вдумчивой работы над историческими источниками — выписок, сличений, шлифовки, и он выполнил свой труд как настоящий ученый-историк.

Сочинения Монтескье составили для него первый и основной источник, с которого и началась его работа по созданию «Вечера у Кантемира». Имя Монтескье пользовалось у нас в это время широкой популярностью, доставшейся в наследство XIX веку от предшествующего столетия, когда на русский язык уже переведены были все важнейшие его труды.²⁶ Сам Батюшков знал тво-

но ярко демонстрирующая в то же время, как далек он от своего источника по своей зрелой художественной манере. Кантемир и у Батюшкова говорит о жизненном деле Ломоносова, — правда, не называя его по имени, но в таких выражениях, которые не могли оставить сомнения у читателей, кого он имеет в виду. «Как знать? — говорит Кантемир у Батюшкова, обращаясь к Монтескье, — может быть, на диких берегах Камы или величественной Волги» возникнут великие умы, редкие таланты. Что скажете, г. Президент, услыша, что при льдах Северного моря, между полудиких родплея великий гений? Что он прошел исползинскими шагами все поле наук; как философ, как оратор и поэт преобразовал язык свой и оставил по себе вечные памятники? Это одно предположение, но дело возможное. . .».

²⁵ Из собрания автографов имп. Публичной библиотеки. СПб., 1898, с. 16.

²⁶ «Размышления о причинах величества римского народа и его упадка» вышли в переводе Алексея Поленова в Петербурге в 1769 г.; трактат «О разуме законов» (т. е. «*Esprit des lois*») в переводе Василия Крамаренкова издан был в 1775 и 1800 гг.; «Персидские письма» в XVIII в. переводились у нас целиком (пер. Ефима Рознатовского. СПб., 1792) и в отрывках, выходили отдельно и в периодических изданиях; «Храм Випидийский» — в 1770 и 1804 гг.; «Опыт о вкусе и творениях природы и искусства, найденный между бумагами

ренья Монтескье с юных лет, когда имя этого французского мыслителя тесно связалось в его восприятии с именами других, более поздних представителей французского Просвещения — Вольтера, д'Аламбера, Дидро. Идеи Монтескье, растворенные в общем комплексе французской просветительской мысли, содействовали в ранние годы жизни Батюшкова выработке в его сознании столь типичного для него представления о писателе как передовом деятеле общества, призванном содействовать развитию этого общества, насадителе просвещения и культуры, двигателе прогресса. Имя Монтескье Батюшков не раз слышал также, конечно, в семье М. Н. Муравьева.

Немалое значение имел для Батюшкова и тот сильный интерес к сочинениям Монтескье, который проявлялся в «Вольном обществе любителей словесности, наук и художеств», в частности в группе «поэтов-радищевцев», с которой Батюшков тесно связан был и дружескими узами и идейной близостью.²⁷ Известно, например, что «Вольное общество» еще в 1802 г. «назначило переводить сочинение бессмертного Монтескье „Дух законов“, вследствие чего определен был и «особый комитет из тех, коим сделано сие предпорушение. Оный составили гг. Языков, Волков, Борн и Попугаев».²⁸ Этот коллективный перевод «Духа законов» был начат, но затем за него взялся единолично Д. И. Языков, выпустивший его через несколько лет в четырех томах.²⁹ Печатад его на свои средства В. С. Сопиков; издание это встретило некоторые затруднения в московском цензурном комитете и подверглось сокращениям.³⁰ Очень возможно, что Батюшков знал об этом и

покойного председателя г. Монтеския» также переведен был дважды в самом начале XIX в. — в кн.: Жерард. О вкусе. (М., 1803, с. 234—272) и отдельно в переводе А. Воейковой (М., 1805) и т. д. Неполный перечень сочинений Монтескье, вышедших отдельными изданиями в русских переводах, см.: Сопиков В. С. Опыт русской библиографии / Изд. В. Рогожина. СПб., 1904, ч. 3, с. 210—214; ч. 4, с. 189; Семенников В. П. Собрание старающегося о переводе иностранных книг. СПб., 1913, с. 34—35, 37, 53, 87; в периодических изданиях — см. в книге А. Н. Неустроева «Указатель к русским повременным изданиям и сборникам за 1703—1802 гг.» (СПб., 1898, с. 401—402).

²⁷ Фриджан Н. В. Батюшков и поэты-радищевцы. — Докл. и сообщения филологического факультета МГУ, 1948, вып. 7, с. 40—49.

²⁸ Орлов Вл. Русские просветители 1790—1800-х годов. 2-е изд. М., 1953, с. 236. — Об интересе к Монтескье В. Попугаева см. здесь же (с. 317).

²⁹ Монтескье. О существе законов / Пер. с франц. Д. Языков, изд. В. Сопиков. М., 1809—1814; ср.: Сын отечества, 1814, ч. 13, № 19, с. 256—266.

³⁰ По указанию М. И. Сухомлинова, пользовавшегося цензурным делом, Комитет обратил внимание, в частности, на то место в 1-й главе XV книги перевода трактата Монтескье, где говорится: «Рабство не хорошо по существу своему; оно не приносит пользы ни господину, ни рабу; этому — потому, что он ничего не может сделать по рассуждению, а первому — что, обходясь со своими рабами, занимает разные дурные привычки, нечувствительно приучаясь не наблюдать никаких нравственных добродетелей, делаясь гордым, вспыльчивым, сластолюбивым, жестоким». Другое место, вызвавшее опасения цензурного комитета и исключенное, находится в 7-й главе той же книги: «Но как все люди рождаются равными, то надобно сказать, что рабство противно природе, хотя в некоторых землях оно основано на естественной причине и надобно очень отличать эти земли от тех, в которых запрещают естественные

именно потому опасался, благополучно ли пройдет через цензуру его собственный «Вечер».³¹ У нас есть все основания предполагать, что Батюшков хорошо знал также все то, что писал о Монтескье А. Радищев, в частности по поводу его теории о климатических зонах и о различной степени восприимчивости их обитателей к культуре, формам общежития и гражданственности.

Неудивительно поэтому, что «Дух законов» и явился для Батюшкова прежде всего той книгой, с помощью которой он производил свою «мозаичную» работу, создавая «Вечер у Кантемира».

Воспользовался Батюшков также другими произведениями Монтескье, в частности «Персидскими письмами», к которым в прямой и скрытой форме несколько раз возвращается его беседа с Кантемиром.³² И все же наибольшее количество цитат, вложенных Батюшковым в уста Монтескье (а частично и других собеседников), заимствовано им из «Духа законов». Параллельные, хотя и не исчерпывающие их сличения произвел уже Л. Н. Майков.³³ Чем, однако, следует объяснить допущенную здесь Батюшковым хронологическую неточность — сознательным творческим актом или случайным упущением? Тем ли, что Батюшков не знал того факта, что «Дух законов» вышел из печати в 1748 г., т. е. через четыре года после смерти Кантемира (31 марта 1744 г.), или тем, что он считал возможным в художественном произведении подобные вольности — хронологические сдвиги и смещения, если они не вредят цельности общего впечатления и не нарушают идейной целеустремленности произведения? Первое из этих предположений отпадает полностью.

«Вечер у Кантемира» и в целом и во всех своих частностях безусловно свидетельствует о тщательности изучения автором как биографии и произведений Монтескье, так и целого ряда других источников. Безусловно, Батюшков знал о Монтескье и его окружении даже больше того, что знали об этом позднейшие исследователи парижского периода жизни Кантемира. Как мы увидим дальше, он основательно проштудировал такие источники, какими впоследствии пренебрегали или на которые не обращали долж-

причины» (см.: *Сухомлинов М. И.* Исследования и статьи по русской литературе и просвещению. СПб., 1889, т. 1, с. 448—449; *Оксан Ю. Г.* Из агитационно-пропагандистской литературы 20-х годов XIX в. — В кн.: *Очерки из истории движения декабристов.* М., 1954, с. 497).

³¹ Характерно, что заглавие трактата Монтескье Батюшков приводит в той же форме, в какой оно дано в переводе Д. Языкова («О существе законов»).

³² Так, вкладывая в уста Монтескье замечание о том, что в России «женщины, хранительницы правов, едва начинают освобождаться из-под ига мужей своих», Батюшков несомненно имел в виду LI письмо в «Персидских письмах», написанное от имени Наргума, «персидского посланника в^мМосковии»; оно содержит в себе анекдотические сведения о семейном быте в^мРоссии и даже письмо молодой «москвитки» к ее матери; известно, что, переищаывая «Персидские письма», Монтескье сильно смягчил все утверждения Наргума. В уста Кантемира Батюшков вкладывает также прямую цитату из «Персидских писем» («Как можно быть персиянином?» — письмо XXX).

³³ *Батюшков К. Н.* Соч., т. 2, с. 485.

ного внимания. Поэтому необходимо допустить, что Батюшков был хорошо посвящен в историю создания «Духа законов» и знал, что издание этой знаменитой книги в 1748 г., т. е. уже после смерти Кантемира, явилось итогом двадцатилетнего труда французского философа. Было поэтому вполне естественно вложить в уста Монтескье, как действующего лица, некоторые из тех его мыслей о России, которые впоследствии печатно закрепились были в «Духе законов».³⁴

В «Вечере у Кантемира» есть прямой намек на другой, более ранний труд Монтескье — «Размышления о причинах величия и падения римлян» (1734), который по первоначальному замыслу автора должен был составить самостоятельный экскурс в уже тогда задуманном капитальном труде «Дух законов».³⁵ Наконец, у Батюшкова было еще одно основание пренебречь в данном случае точной хронологией: он извлек из «Духа законов» далеко не все высказывания Монтескье, относящиеся к России, ее прошлому и будущему; он опустил, в частности, наиболее сочувственные суждения Монтескье, следы имеющихся в этих суждениях противоречий;³⁶ в целях контраста с полными веры в будущее историческими предсказаниями и предположениями Кантемира Батюшкову необходимо было сосредоточить в устах Монтескье наиболее пессимистические из его прогнозов о России, т. е. как раз те, которые высказаны были в более ранних его произведениях, начиная с «Персидских писем». Тем естественнее было собственное намерение Батюшкова, которое он и действительно выполнил, — «немного подрапывать» Монтескье.

Таким образом, исследовательский метод Батюшкова, строго говоря, не должен быть подвергнут упрекам. Более того, «Вечер у Кантемира» не только художественно обобщал итоги тщательных исторических разысканий Батюшкова, но ставил перед будущими исследователями французского философа целый ряд таких проблем, которые не были разрешены до наших дней. Если Монтескье действительно принадлежал к числу друзей Кантемира в последние годы его парижской жизни, то какова была роль Кантемира в ознакомлении Монтескье с Россией и ее историей? Каков был результат их личного общения и бесед, и не оставили ли они каких-либо следов в том же «Духе законов»? Современные французские исследователи этих следов не находят и на этом основании даже готовы отрицать дружескую близость Монтескье и

³⁴ «Я осмелюсь спорить с великим творцом книги о существе законов», — говорит у Батюшкова Кантемир, обращаясь к Монтескье.

³⁵ «Вы, г. Монтескье, — говорит Кантемир, — на развалинах протекших веков на прахе гордого Рима и прелестной Греции (. . .) постигли причины настоящих явлений, научились пророчествовать о будущем». — Отрывок из «Размышлений о причинах величия и падения римлян» внесен в записную книжку Батюшкова («Чужое — мое сокровище») в 1817 г. — следовательно, уже после окончания «Вечера» (Соч., т. 2, с. 333).

³⁶ Россия, ее истории, культуре, современному состоянию и т. д. в «Духе законов» посвящено много страниц (см.: кн. 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 24, 22 и 26).

Кантемира. Так, например, Альбер Лортолари, в своей недавней книге впервые поставив вопрос не только о книжных, но и об устных источниках суждений Монтескье о России, прямо отказывается решать вопрос, сыграл ли какую-нибудь роль в этом отношении Кантемир для автора «Духа законов». ³⁷ Однако А. Лортолари не воспользовался в этом отношении всеми теми книжными данными, какие были в распоряжении Батюшкова, поэтому вопрос и донныне еще остается открытым, подлежащим дальнейшему исследованию. Советские историки, в свою очередь, еще недостаточно оценили собственно исследовательское, не одно лишь художественное значение «Вечера у Кантемира». «Кто знает, была ли такая беседа между Кантемиром и Монтескье, да и важно ли было это?» — спрашивал, например, А. Сотников и отвечал: «Важно то, что со страниц статьи (Батюшкова) звучал полный веры в Россию и ее будущее голос настоящего русского патриота». ³⁸ Нисколько не отрицая именно это значение «Вечера у Кантемира», следует, однако, признать, что зоркий глаз художника и присущая ему интуиция позволили Батюшкову найти и частично угадать в истории отношений Монтескье и Кантемира такие черты, какие долгое время оставались неизвестными их позднейшим исследователям; следовательно, вопрос об историческом правдоподобии «Вечера» имеет особое значение.

5

Откуда Батюшков знал о личном знакомстве Монтескье с Кантемиром? Какой источник подсказал ему этот факт, давший и основное направление развитию всего его замысла? Во всей перечисленной выше русской литературе о Кантемире, увидевшей свет в начале XIX в., имя Монтескье не было упомянуто ни разу. Тем не менее такой источник существовал, и едва ли подлежит сомне-

³⁷ *Lortholary Albert. Le Mirage russe en France au XVIII siècle. Paris, [1953], p. 34.* — Известно, что M. Dodds («Les récits de voyages sources de l'Esprit des lois». Paris, 1929, p. III) могла указать только на две иностранные книги о России (Исбрата Идеса и кап. Перри), которыми безусловно воспользовался Монтескье во время работы над «Духом законов». А. Лортолари (там же, с. 289) не только значительно увеличил этот круг, назвав целый ряд других сочинений о России на французском, немецком и английском языках, вышедших между 1700 и 1748 гг., которые могли попасть в поле зрения Монтескье, но одним из первых поставил также вопрос о возможных устных источниках «Духа законов». Он назвал, в частности, герцога де Лирию, испанского посла в Петербурге, который летом 1728 г. звал Монтескье к себе в Россию, описывая ее самыми радужными красками, как своего рода «остров блаженных», по словам самого Монтескье (в письме к Bulkeley в июле 1728 г. из Граца); далее А. Лортолари назвал трех братьев Гуаско, из которых двое вернулись во Францию из России в 1742 г., а третий, аббат, был другом Кантемира и стал впоследствии его первым биографом; наконец, А. Лортолари упомянул также и Кантемира, замечая, впрочем, что «мы не знаем, воспользовался ли Монтескье всеми этими источниками. Читая его, в этом можно сомневаться» (с. 34).

³⁸ *Сотников А. Т. Батюшков. Вологда, 1951, с. 49.*

нию, что именно он и навел Батюшкова на мысль представить Кантемира в окружении его французских друзей. Мы предполагаем, что этим источником был «Пантеон российских авторов» Карамзина.

В объединенной под этим общим заглавием серии биографических очерков, написанных Карамзиным еще в 1801 г. (очерки эти, как известно, представляли собой текст к портретам русских писателей, изданный в четырех тетрадях Бекетовым), есть также и краткая справка об Антиохе Кантемире. Перечислив здесь основные факты и даты дипломатической и литературной деятельности Кантемира, Карамзин замечает о нем: «Самые просвещенные иностранцы чувствовали цену его ума и нравственных достоинств. Кантемир был другом известного аббата Гуаско и приятелем славного Монтескье». Для иллюстрации же этого утверждения Карамзин приводит в сноске следующую выдержку из письма Монтескье к упомянутому Гуаско: «Аббат Венути сообщил мне о той горести, которую причинила вам смерть вашего друга, князя Кантемира <...> Вы везде найдете друзей, которые смогут вам заменить того, кого вы лишились; но России не так легко будет заменить столь достойного посла, каким был князь Кантемир».³⁹

Хотя Карамзин и не указал, откуда он заимствовал эту цитату, но источник его вскрывается без труда: Карамзин цитирует письмо Монтескье к аббату Гуаско от 1 августа 1744 г., впервые опубликованное еще в 1767 г. в книге писем Монтескье к его итальянским друзьям⁴⁰ и перепечатывавшееся затем в собраниях его сочинений в XVIII в.⁴¹

Найденное Карамзиным и, по-видимому, впервые приведенное им в русской литературе документальное свидетельство о «приятельских», по его словам, отношениях, связывавших Монтескье с Кантемиром, представляло действительный исторический интерес и легко могло стать основой и для дальнейших разысканий в том же направлении и для творческого художественного замысла. Цитированная выдержка из письма Монтескье содержала уже ряд ориентирующих данных для работы того и другого рода: письмо адресовано к Гуаско, но имеет в виду обоих итальянцев аббатов, одновременно состоявших в дружеских отношениях и с Монтескье и друг с другом. Монтескье обращался к Гуаско потому, что хорошо знал о близости его к Кантемиру; о том же, какое впечатление произвела смерть Кантемира на Гуаско, первым сообщил Монтескье именно Венути. Все это следовало из указан-

³⁹ Цит. по: Карамзин Н. М. Соч. 4-е изд. СПб., 1834, с. 269—270. (письмо Монтескье Карамзин приводит во французском подлиннике). — Отметим еще небольшую статью Карамзина «Монтескье» в его «Пантеоне иностранной словесности» (1798, кн. 2, с. 299—300) — это перевод нескольких отрывков из «мелких сочинений сего славного автора, которые не были еще известны публике».

⁴⁰ *Lettres familières du président de Montesquieu, baron de la Brède, à divers amis d'Italie. S. l. [Florence?], 1767, p. 48; Montesquieu. Correspondance/ Publ. par François Gebelin. Paris, 1914, vol. 1, p. 48.*

⁴¹ *Montesquieu. Oeuvres. Paris, 1795, vol. 5, p. 264.*

ного письма и очерчивало круг дальнейших справок или изучений, необходимых для того, чтобы отношения всех указанных лиц представились с большей ясностью. Таков был, как мы предполагаем, и путь Батюшкова при создании им «Вечера у Кантемира», но любопытно, что приведенная Карамзиным цитата из письма Монтескье определила уже всех действующих лиц в произведении Батюшкова. Местом действия является здесь кабинет Кантемира в Париже в начале 40-х гг.; первыми его гостями являются Монтескье, сопровождаемый «аббатом В.», в котором естественнее всего было бы видеть аббата Ветути, а в конце сцены появляется и аббат Гуаско.

Отсюда мы и заключаем, что «зерном» замысла Батюшкова явилось указанное письмо Монтескье: оно назвало всех четырех участников изображенной им беседы, потребовал, правда, дополнительных исторических справок; однако, когда они были наведены, они уже ничего не изменили ни в числе и составе действующих лиц его сцены, ни в той обобщающей характеристике личных отношений всех собеседников, которая была дана у Карамзина: «Кантемир был *другом* известного аббата Гуаско и *приятелем* славного Монтескье».

Указанное письмо Монтескье к Гуаско впоследствии приводилось много раз в литературе о Кантемире, — обычно, впрочем, без даты и без указания источника и, кроме того, большей частью в произвольных сокращениях, что, по-видимому, и послужило поводом к различным недоразумениям, в частности к смешению двух упомянутых в нем аббатов — Гуаско и Ветути. Батюшков не совершил такой ошибки: для него Гуаско и Ветути были вполне реальными лицами; о них он в некоторых отношениях знал больше того, что впоследствии было известно ученым исследователям Кантемира. В особенности это относится к Гуаско, которого и Карамзин называет «известным» и сочинения которого стали одним из важных источников «Вечера у Кантемира»; что касается Ветути, то его роль оказалась здесь более скромной, каковою она была и в действительности в реальной биографии Кантемира.

Напомним, что в «Вечере у Кантемира» Монтескье появляется в сопровождении некоего «аббата В.», полное имя которого, по-видимому, с умыслом не раскрыто автором: «Антиох Кантемир, посланник русской при дворе Людовика XV, предпочитал уединение шуму и рассеянию блестящего двора, — рассказывает Батюшков. — Свободное время от должности он посвящал наукам и поэзии <...> Однажды по вечеру Монтескье и аббат В., известный остроумец, навестили нашего стихотворца. Он беседовал со своею музою и не приметил входящих друзей, которые имели к нему свободный доступ».

В дальнейшем у Батюшкова этот «аббат В.» принимает довольно близкое участие в споре, завязавшемся между Монтескье и Кантемиром, — на стороне французского философа. Он оживляет их беседу своими репликами, хочет быть остроумным, до-

сказывая мысли Монтескье или оттеняя их, порою намеренно усиливает некоторые его утверждения и тем самым вызывает еще более горячую и убежденную отповедь Кантемира им обоим. Характерно, что некоторые скрытые цитаты из сочинений Монтескье вложены в уста именно этого «аббата В.», который, следовательно, выполняет в произведении специальную литературную функцию: это как бы двойник Монтескье, введенный в сцену только для того, чтобы оживить действие, укоротить рассуждения главного оппонента Кантемира, и предоставляющий при этом известную свободу автору для пересказа подлинных кусков текста, взятых из сочинений Монтескье. Вводя это лицо, не оказывающее прямого воздействия на ход самого спора между Кантемиром и Монтескье, но играющее лишь подсобную роль, Батюшков достигал еще одной цели: Кантемир спорил у него не с одним лицом, а с двумя единомышленниками, — тем ярче становилась его убежденная речь, тем естественнее представлялось красноречие его защиты и достойнее его конечная победа. Поэтому «аббат В.» скорее литературный персонаж, а не реальное историческое лицо, известное из биографии Монтескье и Кантемира; это некий «возможный» аббат, своего рода обобщение, художественная догадка. Кроме того, Батюшков едва ли и мог располагать достаточно подробными данными об историческом аббате Ветути, приятеле Монтескье и Гуаско, и не знал его действительных мнений о русской культуре и ее будущности. В силу того что весь образ «аббата В.» у Батюшкова основан на художественных допущениях, он и скрыл его имя за инициалом «В.», что, однако, нисколько не противоречит нашей догадке, что он вспомнил прежде всего имя аббата Ветути.

Иначе думали об этом предшествующие исследователи Батюшкова. Так, Л. Н. Майков в комментарии к «Вечеру у Кантемира», пытаясь понять, почему имя этого персонажа не названо автором полностью, высказал предположение, которое представляется нам вовсе неубедительным. По его мнению, «аббат В., известный остроумец», — это «без сомнения аббат Вуазенон, известный своими эротическими сказками». ⁴² Совпадение начальных букв фамильных имен обоих аббатов — Ветути и Вуазенона — не может служить никаким аргументом в пользу предположения Л. Н. Майкова; достаточно уже и того, что ни в каких документальных ма-

⁴² Батюшков К. Н. Соч. т. 2, с. 484. — Л. Н. Майков исходит из того, что аббат Вуазенон (1708—1755) «был близок к Монтескье, о котором оставил несколько интересных воспоминаний», и ссылается на мнение о нем Сент-Бева, считавшего его прежде всего «фривольным писателем», имя которого он решился назвать с некоторым принуждением. «Так и Батюшков, — заключает отсюда Майков, — стесняясь дурной славы Вуазенона, не выставил его всеми буквами». Думается, однако, что характеристика Батюшковым его «аббата В.» как «известного остроумца» вовсе не предполагает того смысла, который пытается придать ей Майков; ссылка же на Сент-Бева подменяет отсутствующие указания на то, что о Вуазеноне и его отношении к Монтескье мог знать или действительно знал Батюшков. Между прочим, Л. Н. Майков на той же странице своего комментария приводит и отрывок из указанного выше письма Монтескье с упоминаниями Кантемира и Ветути, но с опечаткой в дате (1774 вм. 1744 г.).

териалах о парижской жизни Кантемира имя Вуазенона не упоминается; Батюшков, столь строгий к своей исторической задаче и столь тщательный в своем следовании источникам, не мог допустить такой очевидной натяжки.

Гораздо лучше известно было Батюшкову имя Гуаско: он предпринял специальные поиски, чтобы познакомиться с его литературными трудами. В «Вечере у Кантемира» Гуаско появляется в самом конце сцены, в тот момент, когда спор между Монтескье и Кантемиром достиг уже высшей точки, когда высказаны уже почти все аргументы с одной и с другой стороны. Напомним, что спор возник по поводу русских стихов, но перешел на более общую тему о будущем русской культуры. Кантемир искусно опроверг пессимистические опасения Монтескье, предрек, что «через два или три столетия, может быть и ранее» отечество его, эта «обширнейшая земля в мире», «учинится хранилищем законов, свобод, на них основанной, прав, дающих постоянство законов, одним словом — хранилищем просвещения». Аббат В. допустил также, что переведенные Кантемиром «Персидские письма» Монтескье читаются «на берегах Лены или Оби, в пустынях Татарии», а «имя Монтескье гремит в становищах калмыков и самоедов. . .». «Читают Персидские письма при свете лампы, калитой рыбьим жиром?» — недоверчиво и с некоторым испугом спрашивает его Монтескье.

Когда же в качестве последнего и, может быть, наиболее сильного аргумента Кантемир высказывает мысль, что его собственное имя «будет уважаемо в России более потому, что я первый осмелился говорить языком Муз и Философии, нежели потому, что занимал важное место при дворе вашем»,⁴³ Монтескье уже почти готов сдать свои прежние позиции, — во всяком случае чувствуется, что он заинтересован развернутой перед ним картиной и уверился, что рождающаяся новая русская культура заслуживает специального изучения. В эту минуту Батюшков и выводит на сцену аббата Гуаско. В остроумно задуманной концовке «Вечера» Батюшков искусно возвращает спор Монтескье и Кантемира к его началу, замыкая круг, и в то же время сосредоточивает главную мысль своего произведения:

«Монтескье» Мы желали бы видеть ваши сатиры на французском языке. Отчасти я согласен с вами: картина прав народа почти нового всегда любопытна. Но. . . вот и аббат Гуаско, ваш приятель. . .

Вы очень кстати навестили нас, — сказал Кантемир, обвиняя аббата. Вы перевели мои сатиры на французский язык: прочтите что-нибудь в угождение г. Президенту «Монтескье», а у вас, господа, прошу терпения и снисхождения. . .

⁴³ Ср. слова о Кантемире в названном выше «Разговоре мертвых» М. Н. Муравьева: «Ты открыл им поприще писмен и оставешься более известен тем, что ты был первый стихотворец своего народа, нежели тем, что ты представлял величество его в Англии и Франции».

Чтение и разговор продолжались долго даже за полкочь. Наконец, Монтескье и аббат В. откладывались министру и расстались. . . Довольны ли им? Не знаю.

Знаю только, что Кантемир, шевеля гаснувшие угли в камине, сказал аббату Гуаско: Признайся, любезный друг, Монтескье умный человек, великий писатель. . . но. . . Но говорит о России, как невежда, — прибавил аббат Гуаско. — Скромный Кантемир улыбнулся, пожелал доброй ночи аббату, и они расстались».

Таким образом, в этой заключительной сцене Гуаско появляется в качестве близкого друга Кантемира и его переводчика, но играет еще более важную роль: в том споре, который развернулся между его друзьями в его отсутствие, но содержание которого он мог угадать по последним словам Монтескье, Гуаско сразу же принимает сторону Кантемира. Он даже осуждает взгляды Монтескье на русскую культуру как бы от своего имени, досказывая за Кантемира то, что он мог иметь в виду, но не хотел сказать сам. Мы чувствуем в этой сцене перо подлинного художника, с большим тактом оттенившего здесь и «скромность» Кантемира, и полное понимание его мысли приятелем и переводчиком его Гуаско; то, что рискованный приговор неосведомленности Монтескье относительно России произносит не Кантемир, а его переводчик, также полно значения и выдает тонкий артистический расчет автора; это прежде всего усиливает правоту убеждений Кантемира, в решительный момент обретающего единомышленника-иностранца, который как бы уравнивает одним своим словом до полной симметрии силы спорящих.

С другой стороны, сказанное Гуаско, является эхом того приговора, который произнес воззрениям Монтескье на русское государство и его будущее сам Батюшков. Здесь сосредоточена центральная мысль всего произведения в целом. Правда, и Батюшков, и даже изображаемый им Кантемир не столько осуждали Монтескье за некоторые его ошибочные представления о русском государстве, сколько сожалели о том, что у него еще не было достаточных поводов удостовериться в противном; историческое чутье Батюшкова не изменило ему и здесь. Ранее он вложил в уста Кантемира особую похвалу Монтескье, и она еще более подчеркнула тонко скрытую общественную тенденцию «Вечера», оттеняя также и то, что в «Духе законов» Монтескье ценили прежде всего русские современники Батюшкова. «Вы, г. Монтескье, наблюдаете беспрестанно мир политический <...> Вы постигли причины настоящих явлений, научились пророчествовать о будущем. Вы знаете, что с успехами просвещения изменяются явным и непререкаемым образом все формы правления: вы заметили сии изменения в земле русской! <...> Лестные надежды! Вы сбудетесь конечно», — восклицает далее у Батюшкова Кантемир, мечтая о времени, когда его отечество «учинится хранилищем законов» и «свободы, на них основанной».

Заключительная сцена «Вечера у Кантемира» явилась результатом тщательного изучения Батюшковым соответствующих источ-

ников и в первую очередь писаний самого Гуаско. В период напряженной работы над «Вечером» Батюшков писал Н. И. Гнедичу: «Насилу отыскал перевод Гуаско, с которым надобно было справиться».⁴⁴ Это признание дает полное представление о характере «мозаичной» работы Батюшкова над его произведением: он не мог удовлетвориться теми извлечениями из французского жизнеописания Кантемира, какие уже имелись в русских переводах, но разыскивал подлинное французское издание его «Сатир», которому это жизнеописание было предпослано. Речь идет здесь о книге, изданной дважды — в 1749 и 1750 гг.⁴⁵ «Справиться» с этим редким у нас и во времена Батюшкова источником ему необходимо было для того, чтобы почерпнуть отсюда и краски для образа Гуаско и дополнительные подробности для «Вечера» в целом.

Следует обратить внимание на то, что для Батюшкова, по-видимому, не существовало вопроса, кто был автором жизнеописания Кантемира и французского перевода его сатир, и что он легко отождествил переводчика и биографа с адресатом письма Монтескье от 1 августа 1744 г. Батюшков нисколько не сомневался, что переводчиком «Сатир» Кантемира и составителем его биографии был аббат Гуаско, а не кто другой, несмотря на то, что в обоих французских изданиях «Сатир» (1749 и 1750 гг.) Гуаско нигде себя не назвал.

В настоящее время авторство Гуаско отрицать более не приходится: оно установлено с полной несомненностью; однако в течение почти всего XIX в. в русской литературе существовали об этом самые сбивчивые и противоречивые сведения. Имени автора жизнеописания Кантемира не знал, например, первый переводчик краткого извлечения из него, приложенного к русскому изданию «Сатир» 1762 г.;⁴⁶ не знали его и многие другие русские переводчики, историки и критики. Евгений Болховитинов, кажется, впервые отождествил его с Гуаско в своем «Словаре русских светских писателей»; но, как известно, словарь этот, составленный в рукописи в начале XIX в.,⁴⁷ был издан полностью много лет спустя

⁴⁴ Батюшков К. И. Соч., т. 3, с. 399.

⁴⁵ Satyres du prince Cantemir trad. du Russe en Français: avec l'histoire de sa vie. Londres, 1749. 12°. 432 p.; 2-е, дополненное издание под тем же заглавием — A Londres, chez Jean Nourse, 1750. CXLII+245 p. — В начале книги на нумерованных страницах напечатаны посвящение A Madame***, подписанное L. A***, с датой 1 февраля 1745 г. (т. е. почти ровно через год после смерти Кантемира), и «Уведомление от переводчика», в котором сообщается, что первоначально он перевел «Сатиры» Кантемира на итальянский язык вместе с автором, а затем на французский по просьбе друзей сатирика («des personnes qui étaient liées avec le prince Cantemir. . .»). Ср.: Геннади Г. Данные для полного собрания сочинений Кантемира. — Библиографические записки, 1858, № 3, с. 86.

⁴⁶ Жизнь кн. А. Д. Кантемира (перепеч. в кн.: Соч. и переводы И. С. Баркова. СПб., 1872, с. 2—16); автором этой биографии Кантемира Барков называет «некоторого его приятеля».

⁴⁷ Отдел о Кантемире напечатан был еще в журнале «Друг просвещения» (1806 т. 4, № 12, с. 250—257). Ср.: Бычков А. Ф. О словарях русских писателей митр. Евгения. СПб., 1868, с. 4, 5. — Имя Гуаско, однако, здесь еще не

после того, как был написан «Вечер у Кантемира» Батюшкова.⁴⁸ Авторство французского перевода «Сатир» и биографии Кантемира приписывал Гуаско также и Д. Бантыш-Каменский в своем «Словаре», но и этот справочник вышел в свет значительно позже того времени, когда произведение Батюшкова появилось в печати.⁴⁹ Напротив того, в последующей литературе о Кантемире прочно утвердилось ошибочное мнение, что переводчиком и биографом его был аббат Венути. Без всяких к этому оснований и без какой-либо аргументации мнение это поддерживалось в течение многих лет такими авторитетными исследователями Кантемира, как В. Я. Стоюнин,⁵⁰ И. Шимко,⁵¹ и закреплено было даже в «Источниках словаря русских писателей» С. А. Венгерова.⁵² И нередко встречается оно и у зарубежных исследователей.⁵³

Таким образом, в вопросе о том, кто был истинным переводчиком «Сатир» Кантемира и — в качестве его близкого друга — авторитетным и сведущим биографом, Батюшков занял более правильную позицию, чем многие позднейшие исследователи русского сатирика. Только разыскания В. Н. Александренко, потребовавшие, в частности, разнообразных архивных справок в зарубежных книгохранилищах, вполне подтвердили, что этим лицом был действительно Октавиан Гуаско, и внесли некоторую ясность в историю его отношений с Кантемиром, еще достаточно туманных во

названо; в этом первом печатном варианте статьи «словаря» о Кантемире говорится лишь, что его сатиры «с рукописи русской переведены одним итальянским аббатом, приятелем его, на итальянский язык с помощью его самого» п. т. д.

⁴⁸ *Богемий мистр*. Словарь русских светских писателей / Изд. Москвитянина [М. П. Погодина]. М., 1845, т. 1, с. 269—271: «Сатиры (Кантемира) незадолго до смерти его в Парлаже, с рукописи русской переведены итальянским аббатом де Гуаско, приятелем его, на итальянский язык, с помощью его самого, а после смерти, в 1744 г., итальянец сей перевел их на французский язык и напечатал в Лондоне, в 1750 г. с избранными из подлинника примечаниями и с пространным описанием жизни автора. В сем жизнеописании много весьма любопытных политических известий о происшествиях, современных автору, и его дипломатических действиях, а русское жизнеописание, напечатанное при сатирах его, есть только сокращение с оного».

⁴⁹ Словарь достопамятных людей русской земли. / Сост. Д. Бантышом-Каменским и изд. А. Ширяевым. М., 1836, ч. 3, с. 33. — На с. 31 приведен отрывок из письма «Славного Монтескье» к другу его, известному аббату Гуаско о Кантемире — та же цитата, которая приведена была ранее и Карамзиным.

⁵⁰ *Кантемир А. Д.* Соч., письма и избранные переводы/Вводная статья В. Я. Стоюнина. СПб., 1867, с. XVI, XXXVIII, LV, LXXXVIII, XCVII, CIX. — Те же утверждения, что переводчиком и биографом Кантемира был «его приятель, аббат Венути», Стоюнин привел и в своих статьях «А. Кантемир в Лондоне» (Вестн. Европы, 1867, кн. 3, с. 227) и «А. Кантемир в Париже» (там же, 1880, кн. 9, с. 185, 186, 197, 215, 218. — Ср. здесь же на с. 185 замечание о «дружеских сношениях» Кантемира и Монтескье).

⁵¹ *Шимко И.* Новые данные к биографии кн. Кантемира. — ЖМНП, 1891, № 4, с. 369, примеч. 1, 377; № 6, с. 312, примеч. 2.

⁵² *Венгеров С. А.* Источники словаря русских писателей. СПб., 1910, т. 2, с. 573 (под №29).

⁵³ *Mohrenshildt D. S.* Russia in the intellectual life of eighteenth-century France. New York, 1936, p. 36—37.

времена Батюшкова.⁵⁴ Тем не менее, пользуясь относительно скудными источниками, автор «Вечера у Кантемира» сумел угадать черты этого итальянского аббата, жившего в Париже, и правдоподобно воссоздать его человеческий и писательский облик.

Любопытно, что в своем издании «Сатир» Кантемира и в его биографии Гуаско нигде не упомянул имени Монтестье. Это сделано им по вполне понятным причинам. В то время, когда вышли в свет оба издания «Сатир», т. е. в 1749 и 1750 гг., Монтестье был еще жив. Следовательно, для того чтобы вложить в уста Монтестье фразу, обращенную к Кантемиру, — «Мы желали бы видеть ваши сатиры на французском языке», — Батюшков должен был иметь под руками и изучить еще один источник, недостающее звено для воссоздания полной картины отношений, связывавших всех трех интересовавших его лиц: Кантемира, Гуаско и Монтестье. Таким источником и должны были быть письма Монтестье к Гуаско, из которых цитату извлек уже Карамзин. В этой переписке действительно имеются некоторые данные об участии Монтестье во французском издании «Сатир», которыми пренебрегли русские исследователи Кантемира; это тем примечательнее, что Батюшков ими пользовался.

6

Хотя факт двукратного издания «Сатир» Кантемира во французском прозаическом переводе Гуаско в настоящее время широко известен историкам русской литературы, но вся история этого интересного издания — одного из первых опытов перевода на иностранный язык крупного и цельного литературного труда русского писателя — исследована еще слишком мало. Французские переводы сатир, вышедшие в свет через пять лет после смерти Кантемира и более чем за десять лет до того, как эти сатиры впервые появились в русской печати, не сличены с русскими подлинниками; не определены еще ни особенности того рукописного текста, с которого делал свои переводы Гуаско, ни степень возможного участия в работе над ними самого Кантемира или каких-либо других лиц, живших в Париже и знавших русский язык;⁵⁵ остается

⁵⁴ *Александренко В. Н.* К биографии кн. Кантемира, 4. Кто написал первую биографию кн. Кантемира? — Варшав. унив. изв., 1896, кн. 2, с. 10—13. — Среди разнообразных и убедительных доводов в пользу авторства Гуаско, почерпнутых из русских и иностранных источников, В. Александренко указал, в частности, и на прямое свидетельство об этом, сохранившееся на акземпларе перевода «Сатир» 1750 г. в Британском музее в Лондоне.

⁵⁵ Соображения В. Н. Александренко («Кто написал первую биографию кн. Кантемира?») по поводу того, когда и как был сделан этот перевод, и в особенности его догадка, не принимал ли в нем участие С. К. Нарышкин, требуют еще дополнительных разысканий и подтверждений. Более вероятно помощь при переводе, оказанная Гуаско двумя его братьями, в 1742 г. вернувшимися из России и, несомненно, знавшими русский язык. К сожалению, об этих лицах мы знаем лишь то, что сообщил о них сам Октавиан Гуаско в своем итальянском письме к Кантемиру от 22 октября 1739 г. См.: *Май-*

также совершенно неясным отношение к «Сатирам» французской критики и читателей. О последнем в особенности следует пожалеть.

Как уже неоднократно подчеркивалось, факт двукратного издания французского перевода этих сатир (а затем и двукратного же издания их на немецком языке) едва ли не говорит сам за себя. Недаром же еще Сумароков не без досады отмечал, что «счастье Кантемира основали» его тяжелые стихи, «славою автору не только Москву и Россию, но и всю Европу наполнившие» («О столпосложении»).

В полном соответствии с этим свидетельством современника у нас обычно подчеркивают, что «имя Кантемира получило европейскую известность»,⁵⁶ что он был «первым русским поэтом, который стал жить и для Европы».⁵⁷ Между тем факты, которыми можно было бы подкрепить подобные утверждения, еще подобраны у нас плохо и явно недостаточны. Не сыграл ли для подобных утверждений известную роль «Вечер у Кантемира» Батюшкова?

Л. В. Пумпянский в обобщающей статье мог писать следующие слова о Кантемире: «Он был первым русским писателем, который завоевал если не европейскую славу, то европейское почетное имя. Для Вольтера, для Дидро, для поколения энциклопедистов Кантемир — хорошо известное литературное лицо и как представитель в Париже молодой русской культуры».⁵⁸ Трудно было бы возразить что-либо по существу этой характеристики, если бы названные здесь имена французских писателей были выбраны более удачно и вместо Вольтера и Дидро здесь стояли бы Монтескье и хотя бы, например, современник его драматург Нивелль де ла Шоссе, имя которого не встречается доныне ни в одной биографии Кантемира — несмотря на то, что существуют данные, подтверждающие их близкое знакомство.⁵⁹ Что же касается Вольтера и

коя Л. Н. Материалы для биографии Кантемира. СПб., 1903, с. 151—152. — Наконец, остается все же непроверженным, что сатиры, — как это утверждает и сам Гуаско, — сначала переведены были им совместно с автором на итальянский язык, а с этого рукописного перевода вторично переведены на французский; тем интереснее было бы сличить русский оригинал с их французским переводом, между которыми стоял не дошедший до нас и, может быть, поправленный самим Кантемиром итальянский текст.

⁵⁶ Гурковский Г. А. Русская литература XVIII века. М., 1939, с. 49.

⁵⁷ Благой Д. Д. Актюх Кантемир. — Изв. АН СССР, ОЛЯ, 1944, т. 3, вып. 4, с. 123.

⁵⁸ Пумпянский Л. В. Кантемир. — В кн.: История русской литературы. М.; Л., 1941, т. 3, с. 208.

⁵⁹ Существовало письмо Кантемира к Пьеру-Клоду Нивелль де ла Шоссе (Nivelle de la Chaussée, 1692—1754), писанное им в Париже (с датой: 13 августа, без года). Полностью оно опубликовано не было; сделано было, однако, его описание, включающее небольшой, но характерный отрывок из самого письма. Весь тон данного отрывка позволяет нам причислить этого французского писателя к intimному кругу парижских друзей Кантемира. В этом письме Кантемир приглашает Нивелль де ла Шоссе к себе на обед и настоятельно просит захватить с собой его новую пьесу: «Я всегда испытывал такое удовольствие, слушая то, что продиктовала вам ваша любезная муза, что мне

особенно Дидро, то мы едва ли имеем право сказать, что им обоим Кантемир был хорошо известен как писатель; для такого утверждения у нас решительно нет никаких данных.⁶⁰ Иное дело — Монтескье. Если, действительно, критических статей о «Сатирах» Кантемира в переводах Гуаско во французских периодических изданиях середины XVIII в. не появилось вовсе,⁶¹ то отзывы о них современников следует искать в других источниках — в мемуарах и переписке, в неизданных документах. Переписка Монтескье как раз и позволяет установить, что он оказал непосредственное содействие выходу в свет «Сатир» Кантемира в переводах Гуаско и был также одним из первых читателей этой книги.

В зарубежной литературе о Кантемире установилась, однако, совершенно ошибочная, с нашей точки зрения, традиция отрицать факт сколько-нибудь значительной близости между ним и Монтескье. «Его (Кантемира) дружба с Монтескье быть может является только легендой, основывающейся на ошибочной интерпретации одного письма Монтескье», — пишет, например, Г. Лозинский,⁶² имея в виду цитированное у нас выше письмо Монтескье к Гуаско от 1 августа 1744 г. «Доказательства дружбы Кантемира и Монтескье весьма скудны; в большей своей части они вымышлены», — замечает в свою очередь Д. Мореншильдт, также ссылающийся на это же письмо Монтескье 1744 г. По мнению Мореншильдта, данное письмо свидетельствует, что Монтескье, «очевидно, имел более высокое мнение о Кантемире как дипломате, чем как о писателе. Его сатиры, например, он считал неоригинальными и безжизненными» (*unoriginal and lifeless*).⁶³

Стоит, однако, взглянуть на текст того письма Монтескье (от 22 июля 1749 г.), на которое здесь дана ссылка, чтобы увидеть, как произвольно и тенденциозно толкуется оно Мореншильдтом.

не терпится насладиться тем новым произведением, которое она может мне предоставить, — пишет здесь Кантемир и прибавляет: — Я разделю это наслаждение вместе с малочисленным обществом друзей, которые не менее меня восхищены будут радостью вас услышать» (*Lettres autographes composant la collection de M. Alfred Bovet décrites par Etienne Charavay. Paris, 1887, p. 484, № 1320*).

⁶⁰ Соображения о том, что мог знать о Кантемире Вольтер, я уже высказал в другом месте: см. статью «Вольтер и русская культура XVIII века» (наст. изд., с. 225—226); несмотря на ранний обмен письмами с Кантемиром (не по литературному поводу), Вольтер нигде не обнаружил ни своего доброжелательного отношения к русскому поэту, ни знакомства с французским переводом его «Сатир» или собственно французскими стихами Кантемира. То же можно сказать и о Дидро; его знакомство с теми же «Сатирами» русского писателя еще менее вероятно. Если Вольтер мог обратить внимание на «Сатиры» в особенности потому, что они содержали в себе картины общественной и частной жизни в стране, историю и нравы которой он изучал для своих трудов о России и Петре I, то у Дидро на рубеже 40—50-х гг. не было и этих поводов, так как Россией он начал интересоваться позже.

⁶¹ *Mohrenshildt D. S. Russia in the intellectual life of eighteenth-century France, p. 36—37.*

⁶² *Lozinsky G. Le prince Antioche Cantemir — poète français. — Rev. des études slaves, 1925, t. 5, fasc. 3-4, p. 239.*

⁶³ *Mohrenshildt D. S. Russia in the intellectual life. . . , p. 37.*

В указанном письме речь идет не о Кантемире, а о его друге и переводчике, аббате Октавиане Гуаско. Вот что пишет о нем Монтескье: «Бедняга прогуливает свои взоры по брошюрам, не падит своего плохого желудка за всеми столами и губит свою слабую грудь на службе своему Кантемиру и своему Клименту V. Однако это не мешает окружающим находить его Кантемира очень холодным, но это уже вина его сиятельства».⁶⁴ Цитированное место не отличается ясностью; по-видимому, речь здесь идет о том, что Гуаско читал свои *прозаические* переводы из Кантемира в парижских салонах и красноречиво пропагандировал в французском обществе произведения своего покойного друга (упоминание папы Климента V, вероятно, имеет в виду «Историю папы Климента V», над которой Гуаско работал),⁶⁵ но в письме нет ни слова о «неоригинальности» или «безжизненности» сатир Кантемира, какими будто бы находил их Монтескье. Ясно, что добродушная ирония Монтескье направлена на Гуаско, а не на Кантемира и что произведения последнего названы «очень холодными» только по контрасту с пылкой и страстной интерпретацией их переводчиком. Наконец, для того чтобы получить право на отрицательный вывод, следовало бы еще установить, что Монтескье причислял себя к тем, кто находил переводы «холодными», и что слова письма о «его <Гуаско> Кантемире» имеют в виду «Сатиры» и именно их французское издание 1749 г. Таким образом, указанное письмо Монтескье не дает нам никаких оснований считать, будто бы отношение его к «Сатирам» было отрицательным. Напротив, несомненное участие Монтескье в замысле и осуществлении их издания в 1749 г. может свидетельствовать об обратном.

Более справедливо суждение Марселлы Эзар, допускающей интимную дружескую близость Кантемира с Монтескье на основании упоминаний русского дипломата и сатирика в переписке французского философа.⁶⁶ М. Эзар впервые в зарубежной литературе ввела Монтескье в круг избранных парижских друзей Кантемира, среди которых был граф д'Армапьяк, герцогиня д'Эггйон, также бывшая поэтессой,⁶⁷ м-м Жоффреп, знаменитый

⁶⁴ *Montesquieu. Correspondance*, vol. 2, p. 211.

⁶⁵ *Michaud. Biographie universelle*. Paris, 1817, t. 18, p. 600—602. — Эта биография О. Гуаско, в которой, кстати сказать, говорится о перепечатанных им сатирах Кантемира, остается наиболее известным источником для истории жизни и деятельности этого приятеля Монтескье. Однако автор ее S. S.—n (т. е. Saut-Surin) основывался преимущественно на более раннем и более подробном источнике данных о Гуаско, на биографии его, написанной Дасье в «*Histoire de l'Académie des inscriptions et belles lettres*» (Paris, 1793, t. 45: *Eloges des Académiciens morts depuis l'année 1780 à 1784*, p. 189 c. suiv.).

⁶⁶ *Ehyard Marcelle. Un ambassadeur de Russie à la cour de Louis XV le prince Cantemir à Paris. 1738—1744*. Lyon; Paris, 1938, p. 202.

⁶⁷ *G. Lozinsky (Le prince Antioche Cantemir. . . , p. 240—241)* разыскал французский мадригал Кантемира, адресованный д'Эггйон и несколько раз напечатанный во Франции (в 1764, 1769 гг.) и в 1788 г. в Женеве. Гуаско назвал герцогиню д'Эггйон среди тех друзей Кантемира, попечение и забота которых утешали его во время последней болезни; по этой причине ей и посвящено французское издание «Сатир».

математик Мопертюи, доктор Жендрон и еще несколько лиц; однако и она опустила в своем изложении ряд существенных для нас подробностей, в частности относительно французского издания «Сатир» в переводе Гуаско и забот по этому поводу Монтестье. Альбер Лортолари, в свою очередь, должен был признать непринужденность в отношениях Монтестье и Кантемира на том основании, что еще в начале 1742 г. Монтестье не задумался дать добрый совет Кантемиру — порвать с некоей молодой особой, которая не стоила его; едва ли, действительно, Монтестье рискнул бы коснуться столь интимных сторон в жизни Кантемира, если бы его не связывали с русским поэтом узы подлинной дружбы.⁶⁸ Лортолари также ничего не сказал об участии Монтестье во французском издании «Сатир».

Между тем в русской литературе уже твердо установлено на основании писем Монтестье к Гуаско, что если вдохновительницей французского издания «Сатир» была герцогиня д'Эгийон — близкая приятельница и Монтестье, и Кантемира, и Гуаско, — то издателя для этого перевода нашел именно Монтестье через посредство Демоле, библиотекаря и издателя разных сочинений (в том числе французского перевода «Оттоманской истории» Д. Кантемира, сделанного Гуаско). Вот что писал Монтестье самому Гуаско: «Демоле сказал мне, что он нашел издателя для вашей рукописи сатир, но не для вашей ученой диссертации, потому что можно быть вполне уверенным в сбыте того, что называется сатирами, и очень мало надеяться на ученые диссертации».⁶⁹ «Ваш друг умер, — писал Монтестье тому же Гуаско, — но я утешаю себя тем, что автор еще живет».⁷⁰

7

Таким образом, не подлежит никакому сомнению косвенное участие Монтестье в издании «Сатир» Кантемира в 1749 г. и знакомство его с этой книгой. Удивительным представляется лишь то, как поздно добрались до этого вывода исследователи Кантемира и как рано знал об этом Батюшков. Основным источником его данных по этому поводу, помимо французского издания «Сатир», были письма Монтестье к Гуаско, цитированные, как мы видели, уже Карамзиным. Знакомство Батюшкова с этими письмами несомненно: помимо всего сказанного выше, оно удостоверяется целым рядом сопоставлений этих писем с отдельными местами текста «Вечера у Кантемира». Достаточно указать

⁶⁸ *Lortholary Albert. Le Mirage russe en France au XVIII siècle*, p. 34 (со ссылкой на письмо Монтестье к Гуаско от февраля или марта 1742: *Correspondance*, vol. 1, p. 368). См. также статья: *Loginsky G. Le prince Cantemir et la police parisienne* (*Monde slave*, 1925, févr., p. 223—247) и «Trois épisodes de l'ambassade de Cantemir à Paris» (*Ibid.*, 1925, mai, p. 402—421).

⁶⁹ *Lettres familières du président de Montesquieu*, p. 43.

⁷⁰ *Майков Л. Н. Материалы для биографии А. Д. Кантемира*, с. XII—XIII

хотя бы на слова, которые у него прозвучат «аббат В.», адресуются к Монтескье, о «вечерах г-жи Жоффрень — которая вас превозносит, но в душе своей ненавидит»: все это место основано на замечаниях Гуаско, имевшего достаточные поводы для того, чтобы истить м-м Жоффрень за нанесенные ему обиды.⁷¹

В истории отношения русской критики и читателей к «Вечеру у Кантемира» можно отметить несколько периодов. Встреченный восторженно вместе с другими произведениями, напечатанными в обеих частях «Опытов» Батюшкова,⁷² «Вечер» долго был популярным и любимым читателями. Особенно был он известен в кругу декабристов, внимательно изучавших «Дух законов» Монтескье и его комментаторов начала XIX столетия.⁷³ В представлении декабристов о Монтескье как о законоводе и историке правовой и общественной жизни различных государств, утверждавшем, что ему удалось открыть общие начала, которым следуют в своем развитии различные типы государственных образований, Батюшков не мог не внести своим произведением весьма существенных поправок, заключенных в том, что касалось его предсказаний относительно исторической судьбы русского народа. О Батюшкове и его «Вечере у Кантемира» декабристы не могли не вспоминать всякий раз, как только заходила у них речь о своеобразных путях русского общественного развития в связи с теорией Монтескье о климатических зонах. Не историческому, но догматически-рационалистическому характеру учения Монтескье Батюшков противопоставил в своих возражениях ему строго историческую точку зрения. Эта поправка была очень существенной и помнилась у нас еще довольно долго в непрерывной ассоциативной связи с именем Батюшкова.

Когда в 1839 г. Белинскому пришлось коснуться «теории климатического влияния» в рецензии на компилятивную книгу «Краткое руководство к познанию племен человеческого рода», изданную в Москве, он вспомнил не только о Монтескье, но и

⁷¹ *Lettres familières...*, p. 239, note; *Fhrard Marcelle. Un ambassadeur...*, p. 200, note. — В первопечатном тексте «Вечера у Кантемира» (Опыты в стихах и прозе. СПб., 1817, ч. 1, с. 59) имя это напечатано с ошибкой — Жофрель.

⁷² Большой отрывок из «Вечера» был перепечатан в «Русском вестнике» С. Н. Глинки (1817, № 15—16, с. 98—100).

⁷³ В. И. Семевский (Политические и общественные идеи декабристов. СПб., 1909, с. 219, 220, 221, 222, 225, 227, 229, 515, 553 и др.) собрал много указаний относительно особого интереса к Монтескье Рылеева, Пестеля, Штейнгеля, Крюкова и многих других декабристов. Конспект нескольких глав его основного труда под заглавием «О существе законов Монтескье» нашелся в бумагах В. Ф. Раевского и недавно был опубликован П. С. Бейсовым в «Пушкинском юбилейном сборнике» Ульяновского гос. пед. в-та (Ульяновск, 1949, с. 252—255). — Следственная комиссия особо интересовалась этой рукописью и спрашивала Раевского, с какой целью он делал свои извлечения из трактата Монтескье (с. 329). Страстным поклонником Монтескье в эти же годы был Н. И. Кутузов, автор сочинения «О причинах благоденствия и величия народов», один из ближайших соратников Ф. Н. Глинки по Союзу Благоденствия (*Вазанов В. Вольное общество любителей российской словесности. Петроаводск, 1949, с. 230—231*).

о «поправке» к его учению Батюшкова. «Умен, очень умен был автор „Духа законов“, — писал Белинский, — а смешно, однако ж, целый ряд явлений выводит из одного факта, даже и в том случае, когда б он был решительно доказан, ясен, как день. За безграничное самовластие, врученное климату, досталось порядочно г-ну Монтескье от многих, в том числе от г. Батюшкова и аббата Гуаско».⁷⁴

«Неточность» в ссылке на Гуаско, которую отметил С. А. Венгеров в примечании к этой статье Белинского,⁷⁵ представляет для нас особый интерес: она свидетельствует, что Белинский удерживал в памяти впечатление от «Вечера у Кантемира» и его действующих лиц и что он этому произведению придавал не только художественное, но и философско-историческое значение.

В более поздние годы русские критики и ученые исследователи Кантемира утратили представление о «Вечере у Кантемира» как о своеобразном исследовательском этюде, лишь облеченном в форму художественного произведения; долгое время и трудными путями им приходилось добираться до некоторых из тех истин, которые первым провозгласил у нас Батюшков, исходя из собственных изучений источников. Это в первую очередь относится к вполне верно угаданной и изображенной им истории дружбы, связавшей Монтескье, итальянского аббата и русского сатирика в начале 40-х гг. XVIII в. Для нас эта история полна особого интереса: она неопровержимо свидетельствует о том, как рано устанавливались крепкие связи между передовыми представителями французской и русской культур.

⁷⁴ Белинский В. Г. Полн. собр. соч. М., 1953, т. 3, с. 197. — «Вечер у Кантемира» Белинский вспоминал несколько раз в более поздних своих статьях (см.: т. 7, с. 253; т. 8, с. 618 и др.).

⁷⁵ Белинский В. Г. Полн. собр. соч. / Ред. С. А. Венгерова. СПб., 1901, т. 4, с. 530.

ПЕРВОЕ ЗНАКОМСТВО С ДАНТЕ В РОССИИ

1

Судьба Данте в России до сих пор еще изучена недостаточно. «Почти пять столетий прошло, прежде чем Данте мог появиться в русской литературе», — писал в 1921 г. казанский дантолог М. О. Ковалевский в предисловии к составленному им к 600-летию со дня смерти Данте библиографическому перечню «Русские переводы „Божественной комедии“». По его мнению, «попытки прозаических и стихотворных переводов „Божественной комедии“ в отрывках и полностью» начинаются у нас только в 1798 г., но «все библиографические обзоры этих опытов страдают неполнотой и ошибками». «Кажется, — утверждал М. О. Ковалевский, — мне удалось установить точно и полно все первые опыты переводов Данте до 1853 г.»¹

Трудно сказать, на чем основаны были эти самонадеянные слова; пожалуй, однако, еще труднее догадаться, чем вызвало было столь длительное и устойчивое к ним доверие. К сожалению, оно не устранено до сих пор. Приведенные утверждения М. О. Ковалевского как бесспорные и неопровержимые еще имеют у нас хождение, и это досадно тем более, что и предшествующие справки о судьбе произведений Данте в русской литературе уже издавна подготавливали дантоведов к категорическому выводу о позднем и случайном характере знакомства с его творчеством русских читателей. Так, например, Белинский, откликаясь на выход в свет первого полного русского прозаического перевода «Ада» Данте (Ф. Фав-Дим, т. е. Е. В. Кологривовой), еще в 1843 г. утверждал: «Данте особенно не посчастливилось на Руси; его никто не переводил, и о нем всех меньше толковали у нас, тогда как это один из величайших поэтов мира».² Такое свидетельство критика, как известно, хорошо начитанного в русской литературе XVIII в., звучало почти безнадежно для всякого, кто отважился бы предпринять разыскания о том, был ли Данте известен в русской литературе между Ломоносовым и Радищевым. И действительно, подобные разыскания у нас не производились.³ Если в недавнее время некоторые исследователи, говоря

¹ Казанский библиофил, 1921, № 2, с. 58. — В той же книжке этого журнала, в заметке «К юбилею Данте в России», между прочим, сообщалось, что «казанский дантолог М. О. Ковалевский закончил перевод «Ада», который обещает быть одним из интереснейших опытов в нашей переводной литературе» (с. 193—194). Судьба этого перевода мне неизвестна.

² Белинский В. Г. Полн. собр. соч. М., 1955, т. 6, с. 665.

³ В библиографических обзорах о Данте на русском языке до статьи М. О. Ковалевского русские печатные издания XVIII в. не упоминались. На них не ссылается в своем обзоре всех русских переводов Данте А. Н. Глязлов (см. его книгу: Старые поэты в новых русских переводах. Киев, 1895, с. 253; первоначально — в киевских «Университетских известиях» (1894, авг.)); о них ничего не говорится также в обзорах Л. Члжикова «Данте Алигьери» (Рус. библиофил, 1915, № 12, с. 92—95; дополнения — там же, 1916, № 2, с. 77—81) и в других библиографических источниках.

о начале знакомства с Данте в России, предпочитали воздержаться от каких-либо хронологических указаний,⁴ другие полностью и без всякой проверки принимали утверждения М. О. Ковалевского. Так, в статье Н. Г. Елиной «Изучение Данте в России» говорится: «Знакомство с Данте в России началось в 1798 году, когда в альманахе „Приятное и полезное препровождение времени“ неизвестный переводчик поместил отрывок под названием „Мир осуждения“. Это был прозаический перевод из 28-й песни „Чистилища“. Никакого предисловия, кроме указания, что Данте — один из известнейших стихотворцев XIII в., что самая лучшая его поэма „Ад“, „Чистилище“ и „Рай“, — отрывку не предпослано, и, вероятно, имя Данте прозвучало для большинства читателей как что-то далекое и чуждое. Через 20—25 лет положение изменилось» и т. д.⁵ Нетрудно заметить, что вышеприведенные слова всецело основаны на утверждениях М. О. Ковалевского, однако к допущенным им ошибкам здесь прибавились новые неточности. Сокращенный вариант этой справки приведен в статье Н. Г. Елиной о Данте, где, между прочим, сказано: «Знакомство России с поэзией Данте началось в конце XVIII и начале XIX в. Первые поэтические переводы из Комедии принадлежат А. С. Норову, П. А. Катенину, С. П. Шевыреву».⁶ Это положение не было исправлено и в более поздних книгах и статьях о Данте, вышедших после юбилейного 1965 года.

Конечно, Данте не принадлежал к тем писателям, имена которых были широко известны русским читателям в XVIII в. Тем не менее оно называлось не раз в русской печати в это время: краткую характеристику его личности и творчества мы можем встретить не только в переводах, но и в оригинальных

⁴ Совершенной темнотой и загадочностью отлчается указание, сделанное А. К. Дживелеговым в его монографии «Данте Алигьери. Жизнь и творчество» (2-е изд. М., 1946, с. 400), в главе «Данте в веках»: «В России интерес к Данте зародился тогда же, когда начали появляться первые переводы произведений корифеев западной литературы» (?). Из последующего, впрочем, выясняется, что автор имел в виду время Жуковского и Батюшкова, «которые в числе других назвали русскому читателю имя Данте. И оно уже не было забыто».

⁵ Елина Н. Г. Изучение Данте в России. — Вестн. Моск. ун-та, 1965, № 5, с. 3. — Те же данные приводятся в более ранней статье Н. Г. Елиной «Данте в русской литературе, критике и переводе» (Вестн. истории мировой культуры, 1959, № 1, с. 105—121). Досадные неточности этой работы были своевременно отмечены И. Н. Голенищевым-Кутузовым в статье «Данте в советской культуре. (К 700-летию со дня рождения Данте Алигьери)» (Изв. АН СССР. Сер. лит.-ры и яз., 1965, т. 24, вып. 2, с. 139, примеч. 45). В самом деле: единственный прозаический перевод отрывка из 28-й песни «Чистилища», обнаруженный М. О. Ковалевским в русском издании XVIII в., был опубликован в «Приятном и полезном препровождении времени», но это не «альманах» (в 1798 г. этого слова в русском языке еще не было), а журнал, издававшийся в Москве с 1794 г. В. С. Подшиваловым; перевод отрывка из Данте озаглавлен здесь не «Мир осуждения», но «Мир покаяния»; к тому же, вопреки мнению исследовательницы, переводу предшествует пояснительное введение переводчика.

⁶ Краткая литературная энциклопедия. 1964, т. 2, стб. 520.

статьях русских журналов, а отрывки из «Божественной комедии» или изложение ее, хотя и выполненные не по итальянскому подлиннику, мы встречаем в ряде русских книг XVIII в. Как ни малочисленны все эти ранние упоминания великого флорентийца в русской литературе, ими нельзя пренебречь: они подготавливали его будущую славу в России в то время, когда и на всем Западе, и даже в самой Италии имя Данте еще не пользовалось широкой известностью. В настоящей работе сделана попытка привлечь внимание исследователей к забытым упоминаниям Данте в русской литературе с целью представить себе более отчетливо весь начальный период знакомства с поэтом в России.

2

Академик В. Ф. Шишмарев еще в 1927 г. указал на то, что имя Данте должно было стать известным в России в середине XVIII в., по крайней мере в придворных кругах.⁷ В 1757 г. в Венеции у типографа Антонио Дзатта вышло в свет издание «Божественной комедии» Данте, посвященное русской императрице Елизавете Петровне, с ее портретом работы Дж. Маньини и посвящением ей в форме сонета, написанным неким «графом Кристофоро де Сапата де Сиснерос (conte Cristoforo Zapata de Cisneros)». В сонете, почему-то называя себя «этруским поэтом» (L'Etrusco vate), автор говорит, что он прибегает к русской государыне (Augusta donna) после тяжких испытаний, чтобы испросить поддержку высокой покровительницы; «свою печальную лиру» автор сонета «сложил у подножия трона», «может быть, для того, чтобы впоследствии вернуться к своему обычному метру и запеть в ином стиле хвалу императрице». Начинается сонет следующим четверостишием:

L'odio fuggendo di crudel Cittade,
Di destin ognor pronto alle sue pene,
L'Etrusco vate a Voi umil sen viene,
Augusta donna, ad implorar pietade. . .⁸

⁷ Шишмарев В. Ф. Рукописный отрывок «Комедии» Данте Музея папско-графической Академии наук. — Изв. АН, 1927. Сер. 4, № 1-2, с. 12—13.

⁸ Полное заглавие книги: La Divina Commedia di Danto Alighieri con varie annotazioni e copiosi rami adornata. Dedicata alla Sagra Imperial maestà di Elisabetta Petrowna, Imperatrice de tutte le Russie, ecc., ecc., dal conte Don Cristoforo Zapata de Cisneros. In Venezia, 1757. Presso Antonio Zatta. — Я пользовался экземпляром этого издания, принадлежащим Государственной Публичной библиотеке в Ленинграде (шифр: 6.65.2.24). Участие Сапаты де Сиснероса в указанном издании выразилось лишь в составлении сонета. Что касается самого текста издания, то В. Ф. Шишмарев сообщает по этому поводу: «Встречаются экземпляры, содержащие тот же текст, но помеченные 1760 г. и составляющие три первых тома пятитомных «Ореге» Данте, вышедших там же в Венеции. В том и другом издании каждая кавтика поэмы обнимает один том. Текст, за небольшими отменами, тождествен с текстом Падуанского издания 1726—1727 гг., редактированного Дж. Авт. Вольпи и напечатанного Джуз. Камписе, заслужившего одобрение академиков Круски».

Посвятительный сонет, которым открывалось это издание, написан столь темно и преисполнен столь загадочных намеков, что извлечь из него какие-либо реальные факты, послужившие поводом для его написания, или догадаться об обстоятельствах жизни автора крайне затруднительно: повелее приходится слушать предположения и о том, и о другом. «Посвящение имп. Елизавете, — догадывается В. Ф. Шишмарев, — было подсказано, вероятно, расчетом на литературную поддержку; расчет, однако, едва ли оправдался, так как в 4 томе имя Елизаветы исчезает».⁹ Что же касается таинственной личности самого графа Сапаты де Сиснерос, то В. Ф. Шишмарев замечает о нем: «Итальянская ономастика дает нам нескольких Zapata, Zappata и de Cisneros. Но у нее нет никакой уверенности, что наш граф действительно назывался так, а не принадлежал к широко распространенной в XVIII в. породе авантюристов, принимавших для большего весу громкие и звучные имена». В подтверждение В. Ф. Шишмарев ссылался на справки, наведенные по его просьбе в Венецианском архиве.¹⁰ И. Н. Голенищев-Кутузов, анализируя эти архивные данные, вполне соглашался с таким выводом. «Видно, — пишет он со своей стороны, — что Сапата пользовался в разное время разными фамилиями. Он упомянут в судебной хронике Венеции. По-видимому, императрица Елизавета не откликнулась на посвящение ей „Божественной комедии“ и Сапата не получил ожидаемого вознаграждения от русского двора».¹¹

Заметим, впрочем, что во всей этой истории остается много неразъясненного. Из судебного дела, возникшего между хозяйкой меблированной комнаты и ее постояльцем, пазывавшим себя то графом Cristoforo Enrico Zappata, то Enrico Cristoffori, не ясно, тождествен ли он с автором посвянительного сонета к Елизавете Петровне, тем более что происшествие, давшее повод процессу, случилось в конце 1774 г., т. е. через семнадцать лет после напечатания в Венеции издания Данте с посвящением русской императрице. С другой стороны, если Сапата и не был графом и мог, действительно, отличаться склонностями авантюриста, он во всяком случае был причастен к итальянской литературной жизни. Имя его встречается на страницах флорентийского журнала «*Novelle letterarie*» середины 50-х гг. XVIII в.; здесь, в частности в сентябрьском номере 1756 г., в специальном извещении, обращенном к любителям итальянской поэзии и художественной литературы («*Manifesto agli amatori dell'italiana poesia e delle belle lettere*»), издатель Дзатта говорит, что при участии того же Сапаты де Сиснерос он выпустил в свет сочинения Петрарки с посвящением этого издания Марии Баварской и что будто бы

⁹ Шишмарев В. Ф. Рукописный отрывок «Комедии» Данте. . . , с. 13.

¹⁰ Там же.

¹¹ Голенищев-Кутузов И. Н. Данте в советской культуре. (К 700-летию со дня рождения Данте Алигьери), с. 135.

успех этой книги и заставил его обратиться к Данте.¹² Какое значение для издателя имело сотрудничество с «графом Сапата», продолжавшееся несколько лет, и какую роль играл он в опубликовании текстов Петрарки и Данте, отредактированных и комментированных другими авторами? На эти вопросы могут ответить лишь дальнейшие разыскания. Отметим, однако, что посвящения тех или иных книг «высочайшим особам» печатались только после получения на это особого разрешения от соответственного двора, тем более — иностранного: такова была традиционная международная дипломатическая практика. Соблюдалась эта практика и во время Елизаветы Петровны; так, когда известный итальянский театральный деятель, живший во Франции, Л. Риккони, пожелал посвятить свою книгу «О реформе театра» русской императрице, то она смогла увидеть свет в Париже в 1743 г. с посвящением «Елизавете I, императрице всероссийской» лишь после того, как А. Кантемиру, тогдашнему русскому послу во Франции, удалось добиться особого разрешения на это из Петербурга.¹³ Едва ли такое же предварительное согласие на опубликование посвящения в книге Данте не было получено также и Сапатай.

Подобное разрешение ему было получить тем легче, что в 40—50-е гг. XVIII в. при дворе Елизаветы было множество итальянцев, сохранивших связь со своей родиной, которые и могли внушить Сапате мысль о материальном вспоможении из Петербурга при помощи посвящения имп. Елизавете, прославившейся известными поэтами и художниками как покровительница наук и искусств. Характерно, что именно при Елизавете возвращен был в Петербург из сибирской ссылки пьемонтец Франческо Санти, некогда состоявший церемониймейстером при дворе Петра I; в конце 40-х гг. начались долготлетние мытарства переводчика коллегии иностранных дел венецианца Георгия Дандоло, предложившего Петербургской академии наук для печати составленный им огромный русско-латино-французско-итальянский словарь, который так и не был издан, — как полагал автор, по неприязни к итальянцам Ломоносова.¹⁴ В Петербурге проживала в то время целая колония итальянских музыкантов, певцов, композиторов, художников. Флорентиец Джузеппе Бонеки имел титул «стихотворца ее имп. величества», т. е. Елизаветы: он писал либретто для опер неаполитанца Арайи, в которых искусно прославлялась русская императрица. В 1752 г. Дж. Бонеки был отпущен в Италию, но по контракту с придворной конторой должен был ежегодно присылать в Россию по два оперных либретто к столичным праздникам; на посту придворного поэта его сменил

¹² *Novelle letterarie*, 1756, 17 сент. (№ 38), стб. 598. — Цит. в указанной статье В. Ф. Шипмарёва (с. 12—13).

¹³ См.: Шекспир и русская культура. М.; Л., 1965, с. 19.

¹⁴ *Петровский П. П.* История Академии наук. СПб., 1873, т. 2, с. 413—419.

М. Кольтеллини.¹⁵ Таким образом, именно в 50-е гг. XVIII в. между Италией и Россией шел постоянный обмен людьми, а слухи о щедрости русского двора могли лишь усиливать интерес итальянских деятелей литературы и искусства к далекой северной стране. Правдоподобно было бы заключить отсюда, что «граф Сапата де Сисверос» именно потому признавался в своем упомянутом сонете в желании «запеть в ином стиле хвалу императрице» (*in altro stil di Vostre lodi l' suono*), что он мечтал о должности одного из «придворных» петербургских стихотворцев и потому подносил Елизавете Петровне творение Данте.

Конечно, мы не знаем, получила ли эта книга какое-либо распространение в Петербурге, — в этом, естественно, следует усомниться, приняв во внимание сравнительно малое распространение в то время в России итальянского языка; но Сапата безусловно принял меры, чтобы его издание «Божественной комедии» по крайней мере стало известным его соотечественникам, жившим в Петербурге. Мы не имеем никаких данных о знакомстве с прозаическими Данте русских писателей и читателей до начала 60-х гг. XVIII в. Косвенные свидетельства об интересе к «Божественной комедии» Антиоха Кантемира¹⁶ в счет не идут: он не являлся действительным представителем русской куль-

¹⁵ *Бренков Е.* Итальянский поэт Бонекки и его служба при театре в царствование Елизаветы Петровны. — Рус. вестн., 1888, № 8, с. 359—361; Международные связи русской литературы. М.; Л., 1963, с. 117—118; *Mooser R. A.* Annales de la musique et des musiciens en Russie au XVIII s. Mont-Blanc; Genève, [1948], vol. 1, p. 203—206; *Госенлуд А.* Музыкальный театр в России. От истоков до Глики. Л., 1959, с. 54—55.

¹⁶ Л. В. Пумпянский в статье «Кантемир и итальянская культура» (XVIII век, М.; Л., 1935, с. 94) напрасно, с нашей точки зрения, отрицает знакомство Кантемира с творением Данте. В каталоге библиотеки Кантемира, находившейся при нем в Париже, отмечено трехтомное издание Данте (*Александренко В. Н.* К биографии кн. Кантемира. — Варшав. унив. изв., 1896, кн. 3, с. 36, № 548). Х. Грассхофф по неопытности для нас причине стел это издание французским, однако из каталога, написанного по-французски и со многими неточностями, все же явствует, что это было то самое падуанское издание 1726—1727 гг., редактированное Дж. Ант. Вольпи и напечатанное Джуз. Камико, которое воспроизведено было в Венеции в 1757 г. в изд. Даатта. В статье: *Nandriš G.* L'influence italienne sur A. Kantemir. — *Istituto universitario orientale: Annali, sezione slava, Napoli*, 1963, vol. 6, p. 17—39, — о Данте идет речь лишь в связи с его трактатом «О народном красноречии», идея которого, — конечно, не непосредственно, так как они были широко распространены, — вдохновили Кантемира писать на том русском языке, на каком говорили в его время (с. 31—32). Возможно было бы, однако, поставить вопрос о прямом или опосредствованном воздействии Данте на «Петриду» Кантемира, в которой, между прочим, изображен «ад» и перед воротами его — образы Смерти, Войны и Болезней. «Адскую» сцену в «Петриде» обычно возводят к 7-й песне «Генриады» Вольтера, хотя установление такой зависимости затрудняется традиционностью описания «Тартара» в эпических поэмах; тем не менее существует итальянская работа (*Capelli I. M.* Dante e Voltaire. — *Giorn. Dantesco*, 1900, vol. 8, p. 436), пытавшаяся установить, что вся 7-я песня «Генриады» внушена Вольтеру «Божественной комедией». Более существенно, что один из лондонских друзей Кантемира, итальянец Паоло Ролия, издал полемические «Замечания об «Опыте об энциклопедии поэзии Вольтера», а другой итальянский приятель Кантемира, аббат Гуаско (Guasco), по личной просьбе Монтескье помогал переводить «Божественную»

туры и, живя за границей, сам начал оказывать в России позднее воздействие. Русские же путешественники по Италии в первой половине XVIII в. были еще очень немногочисленны, и, кроме того, русские дипломаты и туристы еще мало интересовались в ту пору итальянской поэзией.¹⁷

3

Одним из первых упоминаний Данте в русской печати был краткий отзыв о нем и об его поэме в большой статье «О стихотворстве», появившейся в 1762 г. в журнале «Полезное увеселение». Это периодическое издание выпускалось при Московском университете группой литераторов, близких к М. М. Хераскову. Хотя статья «О стихотворстве» не подписана, но по старой традиции ее автором обычно считался С. Г. Домашнев,¹⁸ литератор не очень образованный, но располагавший крепкими связями при дворе, благодаря чему он впоследствии (1775) был назначен на должность директора Российской академии, хотя, по отзывам современников, он был вовсе к ней непригоден. Правда, авторство Домашнева в данном случае более чем сомнительно и не подкрепляется никакими свидетельствами.¹⁹

В этой статье, в разделе, озаглавленном «Стихотворство итальянское», мы читаем: «Отцом итальянского стихотворства почитают Данта Флорентийца, который прославил тосканский язык своей смешанной, однако блистающей естественными красотами, поэмою, называемою *Комедия*. Сие сочинение, в коем автор возвысился в описаниях выше худого вкуса своего века, и приключение, о котором он писал, наполнял он стихами, написанными столь чисто, как бы то было во времена Ариоста и Тасса». Упомянув далее «Петрарха», который «ввел в итальянский язык больше чистоты со всею приятностью, к чему был оный сроден», анонимный автор пишет: «Находят в сих двух стихотворцах великое множество выражений, подобных древним, которые имеют вдруг силу древности и нежность новости»; в заключении всего раздела говорится: «Италия имела у себя двух знатных стихо-

комедию» Кольберу д'Эстувиллю (*Coulson A. Dante en France. Erlangen; Paris, 1906, p. 76*).

¹⁷ О русском восприятии Италии в XVIII в. см. в статье: *Hackel A. Das russische Italienerlebnis im 18. Jahrhundert. — Z. für Ästhetik und allgemeine Kunstwissenschaft, 1939, Bd 33, S. 145—158; и в кн.: Нерко Е. Beiträge zur Geschichte des russischen Italienerlebnisses. Diss. Bonn, 1960, S. 40.*

¹⁸ С именем С. Г. Домашнева статья «О стихотворстве» полностью перепечатана из «Полезного увеселения» П. А. Ефремовым в его кн.: *Материалы для истории русской литературы. СПб., 1867, с. 168—195. Ср.: Полезное увеселение, 1762, май, с. 217.*

¹⁹ Справедливые сомнения в авторстве С. Г. Домашнева недавно высказаны в статье: *Schlüter Hilmar. Zu den Quellen des Abhandlung von S. G. Domashev «O stixhotvorstve».* — In: *Ost und West: Aufsätze zur slavischen Philologie / Hrsg. A. Rammelmeyer, Wiesbaden, 1966, S. 158—179.*

творцев, Данта и Петрарха, прежде нежели была у них спосная проза».

Транскрипции имен итальянских писателей, называемых в этой статье, — «Дант» (это первый случай его написания применительно к французскому произношению, без конечного «е», закрепленный затем русской орфоэпической практикой почти на целое столетие),²⁰ «Бокас» (т. е. Боккаччо, франц. Boccace) — отчетливо свидетельствуют о французских источниках анонимного автора. И действительно, приведенная выше цитата представляет собой буквальный, слегка сокращенный и не очень искусно выполненный перевод отрывка из начала XXXII главы «Опыта о нравах» Вольтера, посвященной развитию наук и искусств в Европе в XIII и XIV вв. Приводим интересующее нас место «Опыта» для сопоставления перевода с оригиналом: «Déjà le Dante, Florentin, avait illustré la langue toscane par son poème bizarre, mais brillant de beautés naturelles, intitulé Comédie; ouvrage dans lequel l'auteur s'éleva dans les détails au-dessus du mauvais goût de son siècle et de son sujet, et rempli de morceaux écrits aussi purement que s'ils étaient du temps de l'Arioste et du Tasse».²¹ Далее Вольтер пишет о Данте-гибеллине, которого преследовали и папа Бонифаций VIII, и Карл Валуа; по мнению Вольтера, поэма Данте отобразила всю горечь распри между имперской властью и папством; в качестве иллюстрации несчастий, потрясавших землю в тот горестный век, Вольтер приводит в своем очень вольном стихотворном переложении отрывок из XVI песни «Чистилища» (стихи 106—120), в котором идет речь о двух солнцах, освещавших два пути — мирской и божий — и в конце концов погасивших одно другое:

Jadis on vit dans une paix profonde
De deux soleils des flambeaux luire au monde,
Qui sans se nuire éclairant les humains
Du vrai devoir enseignaient les chemins
Et nous montraient de l'aigle imperiale
Et de l'agneau les droits et l'intervalle. . .²²

²⁰ В первой трети XIX в. в русской печати Данте иногда именовали «Ледант». В русском переводе известного руководства Лагарпа «Lycée» (Лицей, или Круг словесности. СПб., 1810, ч. 1, с. VII) находим «Le Dante» — «Переводы Леданта; и Пулюкин то же толкует», — писал С. П. Шевыреву С. А. Соболевский (Рус. архив, 1909, кн. 2, № 8, с. 501), что П. И. Баргевев снабдил следующим пояснением: «Французы говорят вм. „поэма Данта“, по особому значению великого автора, — Le Dante». Действительно, «Божественная комедия» первоначально не имела заглавия и в первые два столетия по ее созданию называлась то «Комедия», то «Il Dante» (см.: *Скартаццини И. Данте*. СПб., 1905, с. 134). Однако наименование «Ледант» подчеркивало у нас посредничество Франции в ознакомлении с этой поэмой.

²¹ *Voltaire. Essai sur les moeurs et l'esprit des nations. . . /Introd., bibliogr., relevé de variantes, notes et index par René Pomeau. Paris, 1963, t. 1, p. 763—764.*

²² *Ср. Purg., XVI, 106 и след.:*

Soleva Roma, che il buon mondo feo,
Duo Soli aver, che l'una e l'altra strada
Facean vedere, e del mondo, e di Deo. . .

И все это стихотворное переложение из Данте, и поясняющие его слова Вольтера в тексте статьи «О стихотворстве» опущены, но русский перевод возобновлен со следующего абзаца о Петрарке. У Вольтера: «Après le Dante, Pétrarque, né en 1304 dans Arezzo, patrie de Gui Arétin, mit dans la langue italienne plus de pureté, avec toute la douceur dont elle était susceptible». В статье «О стихотворстве»: «После Данта Петрарх, родившийся в 1304 г. в Ареззо, ввел в итальянский язык больше чистоты со всею приятностью, к чему был оный сроден». Характерно, что переводчик опустил фразу Вольтера об Арезцо как родине Гвйттоне д'Арецо, первого поэта Тосканы и старшего современника Данте: этот пропуск возник, может быть, по той причине, что переводчик счел данное указание излишней подробностью или не знал, как имя Гвйттоне д'Арецо перевести по-русски, так как Вольтер называет его на французский манер Ги Аретинец (Gui Arétin); зато следующий абзац русского текста не только точно воспроизводит слова Вольтера о Данте и Петрарке, но даже позволяет точно установить, какое издание «Опыта о нравах» было в руках русского переводчика. Косноязычные слова русского текста «Находят в сих двух стихотворцах великое множество выражений, подобных древним, которые имеют вдруг силу древности и нежность новости» не только имеют полное соответствие во французском оригинале Вольтера («On trouve dans ces deux poètes, et surtout dans Pétrarque, un grand nombre de ces traits semblables à ces beaux ouvrages des anciens qui ont à la fois la force de l'antiquité et la fraîcheur du moderne»), но, как показали недавние текстологические исследования Р. Помо, представляют собою вставку, впервые внесенную Вольтером в текст «Опыта о нравах» для женеvского издания Крамера (Cramer) 1756 г.²³

Таким образом, характеристика Данте-поэта и его места в истории итальянского языка и литературы, данная в русской статье 1762 г., оказалась несамостоятельной; тем не менее русский компилятор, пользуясь французским текстом трактата Вольтера не только для раздела об итальянских стихотворцах, но и почти для всех других частей своего труда, неоднократно встречал в нем имя Данте и во всяком случае мог усвоить оттуда своеобразную точку зрения Вольтера на великого флорентийца, достаточно далекую от восторженного и безоговорочного перед ним преклонения. Строки о Данте в «Полезном увеселении» 1762 г., оказавшиеся слегка сокращенным переводом из «Опыта о нравах» Вольтера, могут служить своего рода предупреждением исследователю о необходимости соблюдать осторожность в выводах: перед нами очень типичный пример неоднократно отмечавшейся зависимости от западных образцов русских критических суждений середины XVIII в. о явлениях зарубежных литератур; подобные заимствования, естественно, встречались тем чаще, чем менее известной была в России та или иная иностранная литература,

²³ *Voltaire. Essai sur les mœurs. . .*, p. 878, LXXI—LXXII.

о которой шла речь. Не менее характерно и то, что источником русской компилятивной критической работы в данном случае явился Вольтер. Очевидно, исследователю русского восприятия Данте следует иметь в виду чрезвычайную популярность произведений Вольтера в русской литературе XVIII в.,²⁴ в том числе и тех, в которых он рассуждал о Данте; при этом необходимо помнить такую особую роль, какую Вольтер сыграл в истории отношения к Данте в эпоху Просвещения в странах Западной Европы вообще, в частности — и в самой Италии.

Отношение Вольтера к Данте было сложным и противоречивым, являя собой известную аналогию к его оценкам Шекспира, с тем лишь различием, что его неприятие Данте постепенно усиливалось. В 1727 г. в своем «Опыте об эпической поэзии» (впоследствии присоединенном к «Генриаде») Вольтер, рассуждая об эпических поэмах Вергилия, Лукана, Камюэнса и особенно Тассо, не нашел места для характеристики «Божественной комедии»; о Данте здесь сказано лишь то, что почти буквально воспроизведено затем в одной фразе, приводившейся выше, «Опыта о нравах» (Данте и Петрарка «писали в стихах в то время, когда не было еще ни одного сносного произведения в прозе»).²⁵ В своих «Английских письмах» (письмо 22-е) Вольтер упоминает Данте в непосредственном соседстве с С. Батлером, автором сатирической поэмы «Гудибрас», и утверждает, что «Данте больше не читают в Европе, потому что в нем все состоит из намеков (allusions) на неведомые ныне события». Достоверно известно, что около 1738 г., живя в Сире, замке маркизы дю Шатле, Вольтер впервые познакомился с «Божественной комедией» и даже перевел из нее несколько эпизодов.²⁶ Сделанные им в то время наблюдения над поэмой Данте получили свою формулировку сначала в его «Письме к г. . . . , профессору истории», увидевшему свет в 1753 г. (в «Annales de l'Empire»), а затем изложены были с большей отчетливостью в XXII письме «Опыта о нравах»: это именно тот отзыв, который вкраплен был в русскую компиляцию «О стихотворстве» 1762 г.

Отзыв этот, в частности, довольно благоприятен к великому флорентийцу. Вольтер отдает ему должное и, хотя с оговорками, признает его историческое значение. Большого и трудно было бы ожидать от философа-скептика и писателя, твердо усвоившего правила «Поэтического искусства» Буало. Для Вольтера, как истинного классика, средние века представлялись эпохой заката

²⁴ Заборон Н. Р. Вольтер в русских переводах XVIII века. — В кн.: Эпоха Просвещения. Из истории международных связей русской литературы. Л., 1967, с. 110—207.

²⁵ Boussy E. Voltaire et l'Italie. Paris, 1898, p. 40.

²⁶ Стоит отметить, что одновременно с Вольтером в Сире жил венецианец Альгаротти (1712—1764), автор «Ньютонизма для дам» (1735) и «Писем о России» (1739), вероятно помогавший Вольтеру ознакомиться с итальянским текстом «Божественной комедии», но интересы Альгаротти как просветителя-публициста были так же далеки от Данте, как и впечатления Вольтера.

умственной деятельности, мрака, суеверия и фанатизма; неудивительно, что и «Божественную комедию» он считал лишенной «вкуса» и полной «причудливости» (*bizarrerie*): так думало и большинство его современников.²⁷ Но это было далеко не последнее слово Вольтера о Данте.

В 1757 г., в тот самый год, когда в Венеции вышло в свет издание «Божественной комедии», посвященное русской императрице, в той же Венеции иезуит Северио Беттинелли (1718—1800), родом мантуанец, издал свои «Вергилиевы письма» («*Lettere Virgiliane*»), открывшие новый период в истолковании Данте в Западной Европе. В этой книге рассказано о беседах в Елисейских полях тевей античных поэтов и о письмах оттуда Вергилия; основу последних составляет ожесточенная критика Данте. По мнению Беттинелли, излагаемому от имени Вергилия, «Божественная комедия» полна поистине «варварских» вымыслов: это безграничный хаос, созданный без всякого мастерства и вкуса; из огромной поэмы можно с трудом извлечь несколько мест, удовлетворяющих требованиям образованного читателя. Попытка Беттинелли осудить «Божественную комедию» с точки зрения античного эпика, к тому же являвшегося одним из главных действующих лиц поэмы, имела успех скандала и вызвала полемическую бурю, бушевавшую в течение нескольких лет не только в Италии, но и во Франции и в Англии.²⁸ «Вергилиевы письма» были переведены на французский язык и издавались во Франции трижды: в 1759, 1766 и 1767 гг.; но еще первое их венецианское издание вызвало отклики в ряде французских журналов: в «*Journal Étranger*» — в сентябре того же года, в «*Année Littéraire*» Фрерона — в первом томе 1759 г.²⁹ Не заставили себя ждать и возражения, — разумеется, прежде всего в Италии. Наиболее важной и памятной была «Защита Данте» («*Difesa di Dante*», 1758), с которой выступил видный венецианский литератор Гаспаро Гоцци (1713—1786), брат знаменитого драматурга. Опровержения доводов Беттинелли, представленные Гоцци, были умными и красноречивыми, но «хулители» Данте оказались сильнее, в частности и потому, что автора «Вергилиевых писем» демонстративно поддерживал Вольтер: он весьма радушно принял у себя в замке «Делис» Беттинелли, явившегося туда со своим трактатом для подношения; затем Вольтер сочинил в его честь получившее широкое

²⁷ А. Кунсон приводит любопытный случай воздействия этого отзыва Вольтера на одного из авторов «Энциклопедии» — Жокура. В 1757 г. в статье «*Gibelin*», опубликованной в т. VII «Энциклопедии» (за подписью D. J., т. е. *chevalier De Jaucourt*), говорится о Данте словами Вольтера, но с явным преувеличением в пользу флорентийца, изображенного жертвой как светской власти, так и папства (*Counson A. Dante en France*, p. 76). В своих фактических сведениях о Данте Жокур, как и Вольтер, основывался на старых словарях Морери и Бейля, которые хорошо известны были также и в России.

²⁸ *Farinelli A. Dante in Spagna, Francia, Inghilterra, Germania*. Torino, 1922; *Friederich Werner. Dantes fame abroad, 1350—1850*. Roma, 1950.

²⁹ *Counson A. Dante en France*, p. 76.

распространение четверостишие, где Беттинелли весьма лестно был назван «соотечественником и преемником» Вергилия, которому и надлежит писать о творце «Энеиды» и от его имени.³⁰ «Я отдаю должное мужеству, с которым вы осмелились сказать, что Данте был сумасшедшим, а его поэма — чудищем», — писал Вольтер Беттинелли в том же 1759 г., признаваясь, что ему нравятся у Данте лишь несколько десятков стихов, стоящих «выше уровня его века»; тут же Вольтер выразил надежду, что мысли Беттинелли о Данте разделяет также Альгаротти.³¹ Указанная полемика, всколыхнувшая всю Италию и продолжавшаяся здесь до 90-х гг. XVIII в., в конечном счете способствовала пробуждению дафтовского культа в конце этого столетия, но Вольтер, безоговорочно принявший сторону Беттинелли, во всяком случае задержал появление этого культа во Франции, тем более что его полемические высказывания об авторе «Божественной комедии» продолжали появляться еще долгие годы то там, то здесь и по разным поводам. Так, одним из следствий затянувшегося спора было вольтеровское «Письмо о Данте», печатавшееся с 1765 г.,³² в котором все его прежние отрицательные суждения о создателе «Божественной комедии» сгущены и, кроме того, проникнуты убийственной пропойей. Мы находим здесь, например, следующие строки о Данте: «Итальянцы называют его божественным, но божественность эта — скрытая, мало людей внимают его проорациям; есть у него и комментаторы, но это, быть может, еще один довод для того, чтобы не быть понятым. Его известность всегда будет укрепляться, так как его почти не читают. От него остались несколько штрихов (traits), которые знают наизусть; этого достаточно, чтобы можно было избавить себя от изучения всего остального».³³ Это был поистине беспощадный приговор; тем не менее поклонники Вольтера считали такое мнение естественным, вполне справедливым и охотно повторяли его. В неко-

³⁰ Ibid., p. 77:

Compatriote de Virgile
Et son Successeur aujourd'hui,
C'est à vous d'écrire sur lui:
Vous avez son âme et son style.

«Соотечественником» Вергилия Беттинелли назван потому, что оба они были мантуанцы.

³¹ Первоначально «Lettere Virgiliane» были напечатаны в приложении к сборнику, изданному в Венеции в 1757 г. (с датой 1758 г.) под заглавием: «Versi sciolti di tre eccellenti autori con alcune lettere non più stampate» (это были Беттинелли, Альгаротти и Фругони). См.: *Counson A.* Dante en France, p. 76. — «Lettere Virgiliane» были переизданы в Città del Castello в 1912 г. с введением, где среди оппонентов Беттинелли названы Парадизи, Дженнари, швейцарец Бодмер и др. См. также: *Bouvy E.* La critique dantesque au XVIII s.: Voltaire et les polémiques italiennes sur Dante. — Rev. des Univ. du Midi, Bordeaux, 1895, t. 1, p. 295—334; на русском языке «спор о Данте» изложен в кн.: *Резюэ Б. Г.* Итальянская литература XVIII века. Л., 1966, с. 129—132.

³² *Counson A.* Dante en France, p. 72, note 2.

³³ Ibid., p. 78.

торых изданиях сочинений Вольтера, ему современных, «Письмо о Данте» присоединялось к его «Философскому словарю», в котором также (под словом «Сугус») находились новые резко отрицательные суждения о Данте, его веке и творениях. Еще несколько лет спустя дантофобские инвективы Вольтера прозвучали с новой силой в двенадцатом из его «Китайских писем» («Lettres chinoises», 1776). Это было уже незадолго до смерти Вольтера; таким образом, его борьба с культом великого флорентийца продолжалась почти полвека... Плодовитый веронский литератор Дж. Торелли (1721—1781), следуя примеру своих соотечественников, еще раз вступился за репутацию создателя «Божественной комедии» в своем «Письме о Данте против Вольтера» (1781), но и тогда еще полемика, начавшаяся с обсуждения «Вергилиевых писем» Беттинелли, не была исчерпана до конца ни в Италии, ни во Франции. Точка зрения Вольтера по-прежнему оставалась распространенной и популярной; ее оспаривали в частностях, но не по существу. Для догматиков французского классицизма Данте был писателем трудным и непостижимым, как представитель той эпохи и среды, к которой они не имели ключа и которую не ощущали в исторической перспективе; важнейшие памятники средневековой литературы либо были им мало известны, либо отвергались по эстетическим соображениям, с точки зрения исповедуемых ими правил. Неприятие Данте до зарождения сентиментально-романтических veinий во Франции разделяли многие критики и литераторы, среди них, например, такой законодатель вкуса, как Ж. Ф. Лагарп. Отзвуки франко-итальянских дантофобских оценок от Вольтера и до Лагарпа с его «Лицеем» включительно еще долго слышались в русской литературе.³⁴

Затянувшийся «спор о Данте», в котором Франция принимала столь деятельное участие на стороне Вольтера и его адептов,

³⁴ В «Лицее» Лагарпа, в основу которого автор положил свои лекции по истории европейских литератур, читанные им со второй половины 80-х гг. и до конца столетия, находим, например, следующие слова (цитируем в русском переводе, по изданию: «Лицей, или Круг словесности». СПб., 1810, ч. 1, с. VII): «Приводимы были писатели, которые, говоря, успели без гнева и наблюдения правил искусства, например Ле Дант, Шекспир, Мильтон и прочие. Ле Дант и Мильтон знали древних писателей, а уродливыми сочинениями своими прославились потому, что в оных есть некоторые прекрасные части, написанные по правилам». Явный отавук того же взгляда на Данте — Вольтера и Лагарпа — чувствуется еще в таком позднем русском учебнике, как «Краткое начертание теории изящной словесности» (М., 1822, с. 219) А. Мерзлякова, хотя этому московскому теоретику уже пришлось пойти на компромисс в оценке «Божественной комедии», самое заглавие которой он, впрочем, еще не понимал и не мог перевести: «После возрождения словесности в Италии первым достойнейшим замечания из новейших в сем роде стихотворцев был Данте Алигьери. Он написал большую, облаченную аллегорией поэму под названием „Священное представление“, которое состояло из ста песен и трех главных отделений: Ада, Чистилища и Рая. Сия поэма при всем неправильном и часто противном здравому рассудку составе богата великими поэтическими красотоми, которые дают ей право на всегдашнее уважение и славу». Об отношении Лагарпа к Данте см. в кн.: Brockmeier Peter. Darstellungen der französischen Literaturgeschichte von Claude Fauchet bis Laharpe. Berlin, 1963, S. 173.

естественно, не мог волновать русских читателей в той же степени, в какой он затронул вкусы и склонности читателей западноевропейских стран: имя Данте сначала знали с чужих слов и до 80-х гг., за немногими исключениями, имели о нем довольно смутное представление. Тем не менее имя Данте вслед за западноевропейской прессой и в русской журналистике упоминалось все чаще и чаще; несомненно достигли России и отзвуки «спора о Данте». Позднее Пушкин в набросках статьи «о ничтожестве литературы русской» писал, характеризуя идейную гегемонию Франции в XVIII в. и безусловно имея в виду выступления Беттиенелли и Вольтера: «Италия отрекается от гения Данте».³⁵

4

В то самое время, как русский компилятор начала 60-х гг. XVIII в. перелагал на русский язык отзыв о Данте Вольтера, вставляя его в статью «О стихотворстве», начинающий русский писатель М. Д. Чулков (1743—1793) попытался воспользоваться для своего первого беллетристического опыта изложением первой части «Божественной комедии», вычитанным им в каком-либо иностранном источнике, сплавляя его в своем творческом сознании со сходными мотивами, почерпнутыми из какого-либо списка древнерусского апокрифического хождения по загробному миру. В результате этого сложного сплава разнородных элементов появилось весьма своеобразное произведение русской прозаической литературы, уже в середине 60-х гг. начавшее подготовку к восприятию русскими читателями поэмы Данте. Характерно, что эта подготовка началась, так сказать, в скрытом виде — без упоминания и самого Данте, и его произведения, что может служить лишним свидетельством недостаточного знакомства с ним русских читателей; не менее существенно и то, что в трактовке дантовских мотивов автор опирался на русскую народную традицию — рукописную и фольклорную. Этот малоизвестный эпизод русской литературной истории заслуживает введения его также на первые страницы русской дантологии.

Речь идет о книге М. Д. Чулкова «Пересмешник, или Славянские сказки», впервые изданной в Петербурге в 1766 г.³⁶ В «Предуведомлении» М. Д. Чулков объясняет читателю, что его книга — развлекательное чтение: «И как сие еще первый мой труд, то не осмелился я приняться за важную материю». Желая сделать свое произведение наиболее занимательным, Чулков написал книгу, весьма пеструю и очень сложную по своему составу и композиции, в которой он сплел в одно целое мотивы, заимствованные из западноевропейских волшебного-рыцарских романов и

³⁵ Пушкин А. С. Полн. собр. соч. [М.], 1949, т. 11, с. 272.

³⁶ Чулков М. Пересмешник, или Славянские сказки. СПб., 1766—1768. Ч. 1—4; 2-е изд. — 1783—1785, Ч. 1—5; 3-е изд., «с поправлениями» — М., 1789.

из русского героического эпоса, из европейской повеллистки и русских сказок. Источники этого произведения, разнородные и многочисленные, исследованы крайне недостаточно, но среди них можно назвать и русифицированную у него новеллу «Декамерона» Боккаччо (у Чулкова она получила заглавие «В чужом пиру похмелье»), и плутовские новеллы испанского типа, зачастую утратившие свое иноземное обличье, и «Комический роман» Скаррона (в 1763 г. «Le Roman Comique» был впервые издан в русском переводе В. Теплова), пересказы итальянских поэм-романов Боярдо и Ариосто. Весь повествовательный материал разделен автором на сто «вечеров», в чем позволительно усмотреть подражания арабским сказкам «Тысячи и одной ночи» в западноевропейских переделках. Ради усиления занимательности композиция этого огромного материала усложнена тем, что отдельные повести и новеллы перебивают друг друга, запутывают их изложение и развязки; к тому же сюжеты явно иноземного происхождения сменяют бытовые повести, созданные на реальных наблюдениях автора над русской действительностью и потому имеющие даже характер непосредственных автобиографических признаний.³⁷

Нас во всем этом повествовательном хаосе «Пересмешника» может в настоящем случае интересовать лишь одна помещенная в нем повесть о Силославе, занимающая довольно важное место в первых частях произведения, и даже не вся она в целом, а лишь те ее эпизоды, которые сосредоточены во второй части «Пересмешника» издания 1766 г. (главы 11—12, вечера 21—22: «Продолжение Силославовых приключений»). Повесть о Силославе весьма пространно рассказывает о приключениях «древнерусского» царевича, долго ищущего свою суженую, Прелепу, похищенную волшебником Влегоном. Действие отнесено Чулковым к древнейшей эпохе славяно-русской истории, когда на месте Петербурга стоял «великолепный, славный и многолюдный город, именован Винета», было же это, по словам автора, во времена «древних наших князей, до времени еще великого Княя». Юноша Силослав влюбляется в Прелепу, ни разу не повидав ее, лишь по ее портрету, некогда утаенному от него отцом. Он узнает, что она похищена злым духом, и направляется на многотрудные ее поиски, поощряемый богиней любви — Ладой. После пребывания в храме Лады Силослав был поручен ею Свиде, который сначала «снял мертвую завесу с глаз силославовых и положил на них бессмертие», после чего он увидел все, от него скрытое ранее, — землю, умерших его родителей, друзей, но не Прелепу. Затем,

³⁷ Сиповский В. В. Очерки по истории русского романа. СПб., 1910, т. 1, вып. 2, с. 137, 239; Сааченко С. В. Русская народная сказка. История ее изучения. Киев, 1914, с. 75—77; Шкловский В. Чулков и Левшин. Л., 1933, с. 106—109; Азадовский М. К. История русской фольклористики. М., 1958, т. 1, с. 60; Орлов П. А. Реально-бытовые романы М. Д. Чулкова и его сатирико-бытовые повести. — Учен. зап. Казан. ун-та, 1949, № 8, с. 60—97. (Фак. лит.-ры и яз.).

предводительствуемый тем же Свидой,³⁸ Силослав спускается в преддверие ада, в описании которого представлены устрашающие воображение картины, затем и в сам ад.

«В скором времени вышли они из прекрасной долины и пришли в такое место, где обитали страх и ужас. Это была престрашная долина, земля ее была покрыта вечным льдом, а деревья — инеем, которую солнце никогда не озаряло плодотворными своими лучами и на которую небо всегда смотрит свирепыми глазами. . . Вдали видны были мрачные поля, на которых земля вся изрыта была возвышенными поверхностями могил на подобие ужасного кладбища, между которыми шатались усопшие тени; иные казались встающими из гробов, а другие укрывающимися. Густой и замерзлой воздух делал мертвецов еще бледнее, нежели они в самой вещи суть. Из могил выходили ключи и, соединяясь вместе, делали из себя кровавую и великую реку». По этой реке плыли мертвые тела, кости, головы; река неслась в пещеру, откуда слышались стоны и воздыхания. Пещера была покрыта кровью, копотью, дымом; освещалась она факелами, в ней стояли гробы тех государей, которые при жизни своей проливали неповинную кровь. У каждого изо рта текла кровь кусками; из раздавленных глаз беспрестанно капали слезы; они скрежетали зубами, и с языка у них лился яд; кругом шипели змеи. «Вот тут преддверие Ада, говорил Свида Силославу, и его еще одно только его начало, по произволению богини должен я тебе показать его всево. Чрез сию пещеру не возможно тебе пройти, имея в себе бессмертие, и так пойдем на гору, с которой ты будешь смотреть на сие ужасное обитание теней; потом вывел он его на поверхность горы и показал с оной все адские мучения».³⁹ Следует описание «Ада», расположенного на страшной горе; здесь, по словам повествователя, «небо, земля и воздух столь были мрачны, как самая темная и пасмурная почва». Вокруг бушевала огненная река, и люди кипели в ней; находилась поблизости и ужасная пропасть, выбрасывавшая огонь до облаков. «В сем огне вылетали на воздух люди, кои падали в огненную реку, которая влекла их опять в то пещеру. Всякую минуту превеличайший и седой бес привозил к устью по кровавой реке беззаконников и выпрокидывал их в огненную реку, со всех сторон стогнали бесы людей в огненную ту пропасть, и кипели люди, огонь и реки наподобие обуреваемого океана».⁴⁰ Потом Свида ведет Силослава на другую гору, и они видят там «человека, сидящего на камне и прикованного к двум столбам, стоящим подле одного, на которого

³⁸ В образе «поводыря» Свида Чулков выводит знаменитого византийского писателя Свида (Suidas), автора большого исторического, биографического и литературного «Словаря», содержащего в себе множество фактических сведений и цитат из литературных произведений многочисленных поэтов, ораторов и историков древнего мира.

³⁹ Чулков М. Пересмешиник, или Славенские сказки. СПб., 1766, ч. 2, с. 82—87. ↑

⁴⁰ Там же, с. 87—88.

сверху упала растопленная и огненная смола. Он стонал и рвался столько отчаянно, что Силослав, смотря на него, прослезился». Тогда «поводырь» Свидя рассказывает Силославу историю несчастного, некогда бывшего человеком; это — Аскалон; сын Азата, князя города Русы, который влюбился в родную сестру и хотел на ней жениться, однако их отец восстал против этого преступного брака; так начались фантастические приключения Аскалона, образующие особую вставную новеллу в повествовании. Далее мы находим и другие вставные новеллы разного колорита и стиля. Одна из них, например, рассказана, может быть, в расчете на то, что читатель, внимая ей, хоть несколько отдохнет от нагроможденных на предшествующих страницах устрашающих подробностей об адских муках и различных формах возмездия за совершенные при жизни преступления; в этой новелле есть и своеобразный лиризм и то же время тонкая ироническая усмешка: «После, когда мы сошли с горы, то увидел я, что подле одного ручейка спала неописанная красавица; подле ее сидел молодой и прекрасный юноша; мы, подошед к ним, смотрели на них. Красавица та улыбалась во сне, и, казалось, она наслаждается теперь самым лучшим весельем на свете». Увидя эту идиллическую картину, Силослав вопрошает своего спутника и путеводителя по загробному миру, что совершили эти тени, когда они были людьми, и Свидя отвечает Силославу следующим рассказом: «Красавица эта, — говорил он, — в жизни своей была весьма безобразна, все ее презирали и гнушались ее беседы. Этот юноша в жизни был превеликий насмешник. Он овладел сердцем сей красавицы; она его любила больше, нежели саму себя, но он всегда ее презирал, смеялся и ругался над ней, чем, однако, не мог истребить в ней к себе любви». И вот теперь он наказан за это велением богини любви Лады: он не может разбудить красавицу, которая начала оказывать ему благосклонность.⁴¹ В. В. Сиповский уже давно указал

⁴¹ Об источниках этой вставной новеллы В. В. Сиповский говорит следующее: «Если этот образ так оригинально наказанного гордеца и отзывается некоторым сходством с греческими мифами (Нарцисс, Фаон) и с „Метаморфозами“ Овидия, тем не менее самая мысль ввести в ряд адских мучений такое ухищренное наказание, объяснив его при этом целой любовной новеллой, — мысль чисто дантовская, которая никакими апокрифами подсказана нашему писателю быть не могла. Подобных новелл у Чулкова несколько» (Сиповский В. В. Очерки по истории русского романа, с. 134). Конечно, этот любовно-идиллический эпизод играет в повествовании о Силославе у Чулкова приблизительно такую же роль, как и рассказ о Паоло и Франческе да Римини в «Аде» Данте (V, 82—142), с тем лишь различием, что рассказ о несчастных любовниках у Чулкова не мог вызвать у Силослава того меланхолического настроения, какое возникло у Данте, выслушавшего от тени Франчески повествование о ее преступной любви. Но Чулков в данном случае гораздо ближе к «Неистовому Роланду» Ариосто, чем к «Божественной комедии» Данте; он мог иметь более близкий пример для подражания в XXXIV песни поэмы Ариосто, в которой описано путешествие рыцаря Астольфо в рай и ад и в которой уже издавна усматривают элементы пародии на «Ад» Данте. У Ариосто рассказана история дочери царя Лидийского, попавшей

на явное родство между этой частью повести о Силославе в «Пересмешике» Чулкова с Данте, с одной стороны, и с русскими апокрифами — с другой. «Описание ада и мучений грешников, введенных Чулковым в его произведение, — писал Сиповский, — занимает среднее место между первой частью „Божественной комедии“ Данте («Ад») и апокрифами, посвященными „хождениям по мукам“. В общем по содержанию своему (перечень мучений) картины Чулкова беднее, чем „Божественная комедия“, — они в этом отношении ближе подходят к апокрифическим изображениям загробных мук (отчасти даже к лубочным картинкам о страшном суде), но в то же время они в смысле литературной обработки неизмеримо сложнее, чем простые „перечневые“ рассказы апокрифов (у Чулкова больше деталей и художественности)». «Я рискнул бы даже сказать, — заключает тот же исследователь, — что по яркости красок и детальности рисунка некоторые места чулковской панорамы „ада“ не уступят картинам дантовского ада».

Остановимся несколько подробнее на приведенных выводах В. В. Сиповского. Отмеченное им сходство между повествованием Чулкова и поэмой Данте безусловно существует. Некоторые совпадения в построении этих двух столь мало в чем сходных между собой произведений едва ли можно объяснить случайностью. Конечно, наличие в обоих произведениях описаний тех же самых мук грешников (огненная река, страна мороза, кровавый дождь и пр.), детализация некоторых натуралистических картин в повествовании Чулкова или наличие в нем живописных картин природы («пейзажей с настроением» — по терминологии В. В. Сиповского) менее существенны, чем отмеченное им же введение «новелл» в рассказ о различных загробных возмездиях, причем таких новелл, которые «иногда по духу опять-таки очень напоминают дантовское». Другие аналогии, отмеченные тем же исследователем, представляются более близкими и менее случайными; так, по его верному наблюдению, Свиды, путеводитель героя по аду, «хотя бы тем, что носит литературное имя, напоминает собою дантовского Вергилия». Вот еще обращающее на себя внимание сопоставление: «Как Данте узнает среди мучимых в аду своих земных знакомых, так и чулковский герой встречается здесь, например, Аскалона».⁴² Добавим от себя, что Силослав, как мы видели, отправляется в странствование по аду с именем Прелепы на устах и что даже имя его возлюбленной этимологически представляет собой аналогию дантовской Беатриче. Подводя итоги, В. В. Сиповский утверждает, что «близость Чулкова к Данте и к апокрифической литературе и в то же время несомненная самостоятельность его в разработке этих заимствованных художественных замыслов» заставили его «отвести русскому писателю

в ад за то, что она осталась холодна к своему поклоннику; в густом дыму она пребывает «прохожая на висящий групп, иссушенный солнцем».

⁴² Сиповский В. В. Очерки по истории русского романа, с. 133.

совершенно особое место между этими двумя литературными источниками и признать за ним большую самостоятельность и оригинальность». ⁴³

Слабым местом всех указанных выше сопоставлений В. В. Синовского является то, что возможное (и предполагаемое им) родство между интересующей нас частью повести о Силославе в «Пересмешнике» и русской апокрифической литературой более декларировано им, чем подтверждено; оно не подвергнуто параллельному анализу и представляется как бы не нуждающимся в пояснениях. Между тем необходимо иметь в виду — это очень существенно для нас, — что самый замысел «Божественной комедии» генетически связан с раннехристианской апокрифической литературой, в том числе и с такими ее памятниками, которые в средние века являлись общими для западного католического и восточного православного мира. Может быть, именно благодаря этому основной вопрос об источниках у Чулкова одного из сюжетных стержней многослойной и запутанной повести о Силославе — о хождении его по загробному миру — решен В. В. Синовским уклончиво и даже противоречиво. ⁴⁴

Русские дантологи уже давно подвергли специальному исследованию некоторые русские апокрифические «хождения по мукам», имеющие непосредственное отношение к поэме Данте. Таково, например, «Видение апостола Павла», в тексте которого легко обнаружить множество сходных черт с «Божественной комедией» и которое, безусловно, в той или иной редакции было известно Данте. ⁴⁵ Очень возможно, что подлинник этого «Видения» был греческий; в переводе же у южных славян оно явилось в XIV в., если не ранее. Еще Н. С. Тихонравов в своей старой работе «Отреченные книги древней России» (1863), основываясь на работах комментаторов Данте и на своем хорошем знакомстве

⁴³ Там же, с. 134.

⁴⁴ Так, говоря о знакомстве Чулкова с волшеббно-рыцарской литературой, «вероятно, в изложении „Bibliothèque universelle des romans“ и других подобных изданий», В. В. Синовский высказывает предположение, что к заимствованным отсюда мотивам относится, например, «посещение героем Тартара» (с. 137), а на предшествующей странице утверждается, что «тема хождения героя в царство Сатаны» взята Чулковым, по-видимому, из русской повести о Савве Грудцыне (с. 136).

⁴⁵ Большинство комментаторов Данте по традиции отмечают, что сам поэт упоминает это «Видение» во второй песне «Ада», в том месте, когда он выражает Вергилию сомнение, может ли он сопровождать его в обитель теней, как это сделал Эней в «Энеиде» или Павел по «Видению», которое приписывало апостолу странствования и по аду, и по раю:

Io non Enea, io non Paolo sono:
Me degno a ciò nè io, nè altri crede.

(Inf., II, 32—33).

(«Я не Эней, не Павел, и ни я, ни другие не считаю меня этого достойным»). Полагают также, что Данте пользовался «Видением апостола Павла» при описании рва, в котором казнятся обманщики (Inf., XXIX, 52), кровавого озера в XII песни, сцены, когда демон с радостью увлекает на себе грешную душу (Inf., XXI, 30), и т. д.

с западноевропейскими и славянскими редакциями этого «Видения», отмечал генетическое родство «Видения» и поэмы Данте, замечая между прочим: «Славянское „Хождение апостола Павла“ убеждает нас, что византийская легенда имела (прямо или посредственно — это другой вопрос) влияние на поэзию западных труверов, а через них — на „Божественную комедию“ Данта».⁴⁶ Много позднее Л. Шепелевич в своих «Этюдах о Данте» установил, что славянские тексты «Видения апостола Павла» составляют самую многочисленную группу списков восточной ветви этой легенды⁴⁷ и что на русской почве тексты ее были широко известны с XVI по XIX в.

Еще большим распространением пользовалось на Руси другое апокрифическое сказание — «Хождение богородицы по мукам». Если некоторые исследователи оспаривали византийское происхождение «Видения апостола Павла»,⁴⁸ то относительно «Хождения богородицы по мукам» такие сомнения никогда не возникали. Древнейшие греческие списки этого «Хождения» относятся к XII в., а на Руси вместе с другими апокрифами оно явилось уже в XIV в. и было очень популярно до конца XIX в., оказав воздействие и на духовные стихи, и на фольклор.⁴⁹ Тематически и сюжетно «Хождение богородицы» довольно близко к «Видению апостола Павла» и родственным с ним легендам. Путеводителем по аду богородицы является тот же архангел Михаил, которого видел и апостол Павел в «Видении»; в обоих хождениях посетители ада видят огненную реку, в которую погружены одни грешники, и замерзающее озеро, где казнятся другие. Огненная река и область вечного льда как места наказания коренятся, несомненно, еще в дохристианских представлениях народов Европы и Востока о царстве мертвых, чем и объясняется прежде всего сходство в описаниях этого рода в различных апокрифических текстах.⁵⁰ Широко разработанные в сказаниях и литературных памятниках раннего и позднего средневековья представления эти удержались в произведениях народного творчества. В русских духовных стихах, записанных в XIX в., поется, что

... грешные, беззаконные рабы
Останутся за рекою за огненною.

⁴⁶ Тихонравов Н. С. Соч. М., 1898, т. 1, с. 206.

⁴⁷ Шепелевич Л. Этюды о Данте. Харьков, 1894, I. Апокрифическое «Видение св. Павла», ч. 1, с. 54—55.

⁴⁸ Недавно Э. Турдеану в специальной статье, подчеркивая обилие дошедших до нас славянских текстов «Видения», обращал внимание в связи с этим на малочисленность греческих списков (*Turdeanu Emile. La Vision de Saint-Paul dans la tradition littéraire des Slaves orthodoxes. — Die Welt der Slaven, 1956, 1, H. 4, S. 427—430*). Здесь перечислены все известные в настоящее время славянские тексты «Видения», в том числе русские (начиная с XV в.).

⁴⁹ Вакадоров Н. К. Легенда о хождении богородицы по мукам. — В кн.: Изборник Киевский, посвящ. Т. Д. Флоринскому. Киев, 1904, с. 39—94.

⁵⁰ Тихонравов Н. С. Соч., т. 1, с. 207; Рязановский Ф. А. Демонология в древнерусской литературе. М., 1916, с. 119—120.

По представлениям народных исполнителей духовных стихов, ад находится в пропастях земляных, — «зима там несогребенна, злые мразы лютые, морозы все глянщие».

Иным будет грешникам — огни негасимые,
Иным будет грешникам — зима зла студеная. . .⁵¹

Византийская легенда о хождении богородицы, которая, по наблюдению Н. К. Бокадорова, «от начала до конца выдерживает золотисто-огненный византийский стиль», отличается простотою, но и суровостью. В ней нет того символического тройственного деления, какое наблюдается в «Видении апостола Павла».⁵² Равным образом мы не находим в «Хождении богородицы» «описания рая и той сложной архитектоники загробного царства у Павла, которое послужило образцом для построения „Божественной комедии“», — отмечает Н. К. Бокадоров.⁵³ И тем не менее «Хождение богородицы» всегда само собою напрашивалось на сопоставление с поэмой Данте. Достаточно напомнить, что говорит по этому поводу Иван Карамазов брату Алеше в романе Достоевского («Братья Карамазовы», ч. 2, кн. 5, гл. 5): «У нас по монастырям занимались также переводами, списыванием и даже сочинением таких поэм («в которых действовали по надобности святые, ангелы и вся сила небесная», — поясняет Достоевский), да еще когда — в татарщину. Есть, например, одна монастырская поэмка (конечно, с греческого): „Хождение богородицы по мукам“, с картинками и смелостью не ниже дантовских. Богоматерь посещает ад, и руководит ее „по мукам“ архангел Михаил. Она видит грешников и мучения их. Там есть один презанимательный разряд грешников в горящем озере: которые из них погружаются в это озеро так, что уж и выплыть более не могут, то „тех уже забывает бог“, — выражение чрезвычайной глубины и силы».

Мы привели выше данные о русских апокрифических хождениях прежде всего для того, чтобы можно было более ясно представить себе, что в чулковской повести о Силославе заимствовано им из какого-либо зарубежного пересказа «Божественной комедии», а что восходит к возможному знакомству автора «Пересмешиника» с русской рукописной апокрифической письменностью. Однако такое разграничение двух указанных сфер воздействия

⁵¹ Тихомиров Н. С. Соч., т. 1, с. 208—209.

⁵² Сумцов И. Ф. Очерки истории южнорусских апокрифических сказаний и песен. — Киевская старина, 1887, № 11, с. 424—425.

⁵³ Бокадоров Н. К. Легенда о хождении. . . с. 58. — Следуя Н. С. Тихомирову и другим исследователям, Бокадоров (с. 61) указывает, что «как классификация наказаний, так и в особенности неоднократное упоминание о наказании холодом и льдом являются отличительным признаком „Видения апостола Павла“. Нет ничего удивительного, что Данте, находясь под влиянием „Видения“, считал самым страшным мучением замерзание душ в ледяном царстве Люцифера (XXIV), хотя, конечно, в этом отношении Данте в равной мере был в зависимости от других легенд, как например от Хождения Дритгельма, в котором наиболее ярко рисуется область загробных льдов». Ничего подобного нет в «Хождении богородицы».

на Чулкова оказывается делом чрезвычайно затруднительным по той причине, что между поэмой Данте и византийско-славянскими хождениями по загробному миру много общего в целом и в подробностях. Очень существенно, однако, то, что, откуда бы Чулков ни заимствовал тему о «хождении» и отдельные подробности об адских муках, они подвергались у него полной секуляризации; весь пафос и религиозный дидактизм при наглядном изображении наказаний, которым подвергнуты грешники в западных и славянских легендах, исчез у Чулкова без следа. Его заменили стремление всеми силами увеличить занимательность повествования, внесенные в него элементы западных волшебных-рыцарских и галантных романов, эротики; и все это пестрое целое подверглось внешней и поверхностной русификации. Не подлежит никакому сомнению, что Чулков добился успеха и что «Пересмешник» жадно читался не только во второй половине XVIII, но и в начале XIX в.⁵⁴

Обращение М. Д. Чулкова к сюжету о странствованиях по аду для построения эпизода занимательной повести, поддержанное вероятным знакомством его с русскими апокрифическими текстами «хождений», может быть, объяснялось также и тем, что и в России, и во всей Западной Европе в XVIII в. как подобные странствования, так в особенности «беседы» в загробном мире были положительно в моде. Жанр «разговоров в царстве мертвых» создан в Европе в XVI в. под воздействием возрожденных к новой жизни диалогов позднегреческого писателя Луккиана, — они известны были еще Данте, а до него византийским сатирикам, — но окончательно утвердился и стал особенно популярным в конце XVII—начале XVIII в. Задача подобных произведений, во множестве плодившихся во всех литературах, в том числе и в русской, была прежде всего сатирической, нередко с подчеркнутой политической направленностью, но в отдельных литературах и под пером писателей разного склада подобные диалоги могли принимать всевозможную окраску, в том числе сугубо философскую, памфлетно-сатирическую, скептически-ироническую и т. д.⁵⁵

⁵⁴ Об этом свидетельствуют, кроме повторных изданий книги, рассказы мемуаристов. Вероятно, об этой книге вспоминает А. П. Бутенев, когда говорит, что в детстве в большой библиотеке отца его пленяли «Дон-Кихот» и «Собрание рыцарских сказок по-русски; имени сочинителя я не помню (славянские сказки)» (Рус. архив, 1881, кн. 3, № 5, с. 19). Еще в 1836 г. Д. Качкин поместил в своих «Сочинениях», изданных в Москве, большую поэму: «Силослав, поэма, почерпнутая из волшебных сказок». Это нескладное произведение в восьми песнях основано на чулковском «Пересмешнике», который, впрочем, не упоминает; Д. Качкин перелагает его «Силославовы приключения» в бездарные стихи (т. 1, с. 101—155); не забыты и приключения в аду (с. 124 и сл.).

⁵⁵ *Egilsrud Johan*. Le Dialogue des morts dans les littératures française, allemande et anglaise (1644—1789). Paris, 1934; *Rentsch Joh.* Lukian-Studien. Plauen, 1895, II. Das Totengespräch in der Literatur, S. 15—40.

Первые образцы русских «разговоров в царстве мертвых» относятся к началу XVIII в.,⁵⁶ затем они стали плодиться во множестве с середины 50-х гг., когда их охотно печатали в разных журналах; в числе создателей их были и А. П. Сумароков⁵⁷ и тот же Чулков, прибегавший к этому жанру после издания своего «Пересмешника».⁵⁸ В 1766 г. в русском переводе появилось остро сатирическое произведение Генри Филдинга «Путешествие в иной свет» (*A Journey from this world to the next*, 1743),⁵⁹ позднее дважды появлялись русские переводы Лукиана (1775 и 1787).⁶⁰ В 1769 г. выходило в свет издание Федора Эмина «Адская почта, или Переписки Хромоногого беса с Кривым»; оно было дважды переиздано в 1788 г. П. Богдановичем под заглавием: «Адская почта, или Курьер из ада с письмами».⁶¹

⁵⁶ *Соболевский А. И.* Из переводной литературы Петровской эпохи. — СОРЯС, 1908, т. 94, с. 12—14; *Отеч. зап.*, 1856, т. 104, № 2, с. 385—388.

⁵⁷ В 50-х гг. «разговоры в царстве мертвых» печатались в «Трудолюбивой пчеле» и академических «Ежемесячных сочинениях». См.: *Березина В. Г.* Журнал А. П. Сумарокова «Трудолюбивая пчела» (1759). — В кн.: *Вопросы журналистики. Межвузовский сборник статей.* Л., 1966, вып. 2, кн. 2, с. 10—12; *Державина О. А.* Разговоры в царстве мертвых А. В. Суворова. — Учен. зап. Моск. гор. пед. ин-та им. В. Потемкина, 1952, т. 20, вып. 2, с. 43—53. — См. также публикации Н. Виноградова и А. А. Титова в «Известиях ОРЯС» (1906, кн. 2, с. 421—422; 1907, кн. 3, с. 70—97). Вопреки мнению О. А. Державиной, автором «Разговоров в царствии мертвых» в «Ежемесячных сочинениях» был не А. В. Суворов, а Сумароков; П. Н. Берков (*История русской журналистики XVIII века.* М.; Л., 1952, с. 105) указал на сохранившиеся рукописи их, написанные почерком Сумарокова. В 1810 г. в первой части сочинений М. Н. Муравьева, изданной Карамзиным, были впервые опубликованы его «Разговоры мертвых», относящиеся к 1790 г.

⁵⁸ В своем журнале «И то и се» (1769) Чулков поместил один из таких разговоров, в котором устами Харона осыпал ругательствами Эмина в образе «Злоязычника». См.: *Заладов А. В.* Журнал Чулкова «И то и се». — В кн.: XVIII век. М.; Л., 1940, сб. 2, с. 121—139. — Возможно, что Чулкову принадлежит также памфлет против старообрядцев, изданный под заглавием «Жизнь некоего мужа и перевоз курioзной души его чрез Стикс-реку» (СПб., 1788); об авторстве Чулкова см. статью Л. Светлова (*Рус. лит.*, 1963, № 2, с. 188—197).

⁵⁹ Путешествие в другой свет. Остроумная повесть с агглинского на русский, а с немецкого на российский пер. В. Золотницкий]. СПб., 1766. — Немецкий оригинал, с которого сделан этот перевод: *Reise nach der andern Welt, aus dem Englischen des Herrn H. Fielding.* Copenhagen, 1759 — см.: *Price M.-B., Price L.-M.* The Publication of English Literature in Germany in the Eighteenth Century. Berkeley (Calif.), 1934, p. 95, № 359; *Alekseev M. P.* Fielding in the Russian Language. — *VOKS Bull.*, 1954, № 5/88, p. 88.

⁶⁰ Разговоры Лукиана Самосатского, переложенные с греческого. СПб., 1775; Разговоры между мертвыми, выбранные из Лукиана Самосатского. М., 1787.

⁶¹ *Неустроев А. Н.* Исторические разыскания о русских повременных изданиях и сборниках 1703—1802 гг. СПб., 1874, с. 154—156. — В одной из од Ивана Владыкина также мелькает несколько неожиданно возникшая адская картина, стилистически обязванная Ломоносову:

Се бездна вскрылась злых полна!
Там вечно мучатся тираны,

Как видим, «адская» тематика в русской литературе второй половины XVIII в. получила сильное распространение прежде всего среди сатириков. Конечно, адский пейзаж имел в данном случае второстепенное значение традиционной декорации, привычных аксессуаров совершенно условного стиля, далеких от религиозных представлений о загробном мире как христианских, так и античных или сплавленных здесь в одно целое, где Стикс, Тартар и Елисейские поля могут являться фоном для беседующих теней в такой же мере, как огненная река или ледяное озеро христианских легенд. Этот условный фон для диалогов или монологов, казалось, открывал их авторам возможность судить свободнее и откровеннее о явлениях действительности с точки зрения воображаемых собеседников, уже этому миру не принадлежащих; во многих «разговорах» этого рода место, где происходит беседа, только упомянуто в заглавии, а центр тяжести находится в самом споре или обсуждении тенями чисто земных дел. Тем не менее «адская тематика» казалась во второй половине XVIII в. столь привычной для читателей, что они были уже вполне подготовлены к восприятию великой поэмы Данте независимо от тех или иных рекомендаций теоретиков классицизма. И, может быть, распространенностью жанра «разговоров в царстве мертвых» следует объяснить успех переводов отрывков из «Божественной комедии», появившихся задолго до того, как читатели в состоянии были воспринять всю поэму в целом и дать ей исторически оправданную оценку: отдельные повеллестические эпизоды из «Ада» Данте, вроде эпизодов с Уголино или Франческой да Римини, могли восприниматься читателями как своего рода «разговоры в царстве мертвых», для которых место беседы представлялось малозначительной или случайной подробностью.

В изучении восприятия творчества того или иного писателя в литературах другой страны и языка весьма существенно знать, на какую почву попадает оно и какие создаются здесь условия для его восприятия читателями. Как мы пытались показать, в русской литературе второй половины XVIII в. для первоначального знакомства с Данте создались вполне благоприятные условия. Они стали еще более благоприятными в то время, когда в России впервые почувствовались преромантические веяния: к Данте начал возникать у нас тогда более пристальный интерес.

5

С 80-х гг. имя Данте стало чаще и по разным поводам попадаться в русских журналах, в статьях исторического и литера-

И неисцельны страждут раны!
Конца нет муке, бездне дня!

(Ода на день всероссийского восшествия на императорский престол Екатерины Алексеевны. . . СПб., 1765, с. 5)

турного содержания, переводных и оригинальных; более обычными и многочисленными сделались тогда поездки в Италию русских путешественников; шире стал также круг переводчиков, своими изданиями все время усиливавших внимание русских читателей к старым и новым произведениям зарубежных литератур. Все это совпало с временем нового подъема международной славы Данте, в особенности проявившегося во Франции и в Германии.

К 1784—1785 гг. относится второе путешествие за границу Д. И. Фонвизина. Целью его поездки на этот раз была Италия, куда он отправился вместе с женой — не столько ради лечения, сколько ради закупок предметов искусства для антикварного магазина в Петербурге, который содержал, при участии писателя, купец Клостерман.⁶² Д. И. Фонвизину удалось повидать все главные города и достопримечательности Италии от Милана и Венеции до Рима. Письма его к родным, писанные из Италии, представляют собою чрезвычайно интересный документ, к сожалению, не снабженный еще специальными пояснениями и малоизученный. В этих письмах автор «Недоросля» бранил эту страну столь же сильно, как в свое время Францию во время его первого заграничного путешествия. В Италии Фонвизина поражали повсеместно нищета, торгашество, леность, безнравственность, отсутствие широких общественных связей; с тем большей страстью отдавался он изучению прошлого Италии и ее искусства — посещению церквей, картинных галерей, мастерских художников, театров. По обилию данных о произведениях итальянского искусства, содержащихся в этих письмах, они напеминают путевые заметки, писавшиеся в Италии незадолго перед тем (1781) Н. А. Львовым.⁶³ Д. И. Фонвизин писал, например, в октябре 1784 г. из Флоренции, где он провел шесть недель: «Я в непрерывном движении: с утра до ночи на ногах. Осматриваю все здешние редкости, и мы оба по вашей охоте к художествам упражнены довольно».⁶⁴ Столь же внимательно Фонвизин ознакомился с достопримечательностями г. Вероны;⁶⁵ он побывал также в Модене, Болонье, Пизе, Лукке и ряде других мест. Среди торопливых дорожных записей Фонвизина между именами художников и достопримечательных памятников архитектуры один раз названо имя Данте. Это было в Модене, куда он проехал 20 сентября 1784 г., еще до пребывания во Флоренции. В тот же день после обеда он отправился в Моденскую картинную галерею; на другое утро повез в галерею жену: «Кроме того, что я вчера видел, показали мне манускрипты XV и XVI столетий. Библия, Молитвенник и Дант меня удивили. На полях каждого листа миниатюры прекрасные и колорит такой яркий, как будто бы

⁶² Пизарев К. В. Творчество Фонвизина. М., 1954, с. 248.

⁶³ См.: Верещагин В. В. Путевые заметки Н. А. Львова по Италии. — Старые годы, 1909, № 4-6, с. 276—282.

⁶⁴ Фонвизин Д. И. Соч., письма и набр. переводы/Ред. П. А. Ефремова. СПб., 1866, с. 474.

⁶⁵ См.: там же, с. 470.

сегодня писаны были». ⁶⁶ Нет сомнения, что Фонвизину показана была иллюминированная рукопись «Божественной комедии»; так как он оставляет без пояснений имя ее автора, и сам Фонвизин и те, к кому адресованы были его письма, в этих пояснениях, очевидно, не нуждались. При этом совершенный Фонвизиным позже подробный осмотр Флоренции и Вероны, разумеется, дал ему не один повод познакомиться с биографией великого флорентийца и с Данте-изгнанником. Фонвизин не мог не видеть слов Данте, высеченных на камне в начале высокой лестницы, поднимающейся от ворот Флоренции к церкви Сан Миниато (Данте упоминает эту лестницу в двенадцатой песне «Чистилища»), как не мог не думать о нем по несколько раз в день, видя высокие стены францисканской церкви Санта-Кроче или всматриваясь в фреску Андреа дель Кастаньо в церкви Св. Аполлонии. Верона не в меньшей степени, чем Флоренция, была полна воспоминаний о Данте; как раз в то время, когда здесь находился Фонвизин, в Вероне началось увлечение Данте и его изучение. ⁶⁷ Культ Данте, возникший в этих исторических городах, легко воспринимался посещавшими их иностранцами. Отметим, кстати, любопытную подробность: несколько десятилетий спустя во Флоренции поселился гр. Д. П. Бутурлин (1763—1829), потерявший в Москве во время пожара 1812 г. свою замечательную библиотеку, богатую редчайшими книгами и рукописями; он тотчас же по приезде во Флоренцию стал заводить себе новую и, наконец, сделался обладателем одного из лучших и древнейших кодексов «Божественной комедии». ⁶⁸ В начале 80-х гг. отзвуки знакомства с «Божественной комедией» встречаются уже в стихах русских поэтов. Сошлёмся в качестве примера на послание М. Н. Муравьева (1757—1807) к автору «Душеньки» — И. Ф. Богдановичу (1743—1803), датированное 11 июля 1782 г., в котором рядом названы Данте и Тассо как поэты, которым он хотел следовать. К этому времени М. Н. Муравьев был сложившимся писателем,

⁶⁶ См.: там же, с. 471—472.

⁶⁷ См.: *Zamboni Maria*. La critica dantesca a Verona nella seconda metà del secolo XVIII. Città di Castello, 1902; *Gasperoni Gaetano*. Gli studi danteschi a Verona nella seconda metà del 700. Dante e Verona. Verona, 1924; *Curi F.* Il culto e gli studi danteschi a Verona. Firenze, 1964.

⁶⁸ Сын библиофила М. Д. Бутурлин вспоминает по этому поводу: «Отец мой долго старался приобрести две библиографические антикварные редкости: первое издание Данта, напечатанное в Фолльве в конце XV века, и известную славянскую библию. . . Была, однако же, у нас одна древняя рукопись поэмы Данта, замечательная тем, что на перелете этого in folio был отчеканен золотой герб фамилии Маласпина, а в самом тексте заметки и поправки писаны другим почерком, нежели самый текст. А так как влиятельные в их время Маласпины покровительствовали изгнанному из своего отечества флорентийскому барду и он даже посвятил им одну из его поэм, то иные полагали, что эти заметки и поправки были сделаны рукою самого Данта; но других доказательств на это не было» (*Бутурлин М. Д.* Записки. — Рус. архив, 1897, кн. 1, № 4, с. 634). Эта рукопись сохранилась и находится ныне во Флоренции. Она демонстрировалась здесь на Юбилейной Дантовской выставке 1965 г. и, как мне сообщил проф. А. Коптин, ныне именуется дантологами «бутурлинской».

за плечами которого было уже несколько книг и переводов; к началу 80-х гг. в его поэтическом творчестве назревал своего рода кризис, закончившийся несколько позднее обращением к сентиментально-дидактической прозе; в его стихах этого времени порой звучит своего рода разочарование, недовольство собой; он ищет новые пути в поэзии и действительно становится одним из провозвестников преромантизма в русской литературе. Известно, что М. Н. Муравьев был очень начитан, хорошо знал многие иностранные языки, среди них итальянский, которому обучался в начале 70-х гг. вместе с Н. А. Львовым в свободное от военной службы время; к 80-м гг. относится сделанный им перевод отрывка из «Освобожденного Иерусалима» Т. Тассо.⁶⁹

Послание М. Н. Муравьева к Богдановичу 1782 г. сохранилось лишь в неотредактированном и неоконченном черновике и напечатано было лишь недавно. Наиболее интересные для нас строки этого стихотворения, где упомянуты Вергилий, Данте и Тассо, отличаются наибольшей темнотою и едва ли понятны без комментариев; впрочем, общий замысел послания вполне ясен и напоминает другое стихотворное обращение Муравьева к современным ему русским поэтам. В первой части послания дается восторженная характеристика Богдановича как автора «Душеньки».⁷⁰ Вопросание к «живописцу граций» —

Скажи мне, кто тебя учил:
Албан или Гораций? —

заканчивается утверждением:

Конечно, Богданович, ты
Имел перед собой понятия красоты
И бытия живейши ощущения,
Конечно, счастлив был дыханием мечты.

Но вслед за этим Муравьев обращается к самому себе, с горестью и укоризной вспоминает о своих первых поэтических мечтаниях и опытах, за созданием которых он отдыхал от полковой муштры (по его словам, «уклоняясь военные брони»), и говорит о трех поэтах, учеником которых он тщился быть. Это — Вергилий с «Энеидой», Данте с «Божественной комедией» и Т. Тассо с «Освобожденным Иерусалимом» («Ринальдов певец»):

⁶⁹ *Муравьев М. Н.* Стихотворения. М., 1967, с. 278. — Имя Т. Тассо неоднократно встречается также в других стихотворениях Муравьева; см., например, его «Обаяние любви» (там же, с. 230—231). Изучение итальянского языка также не прошло бесследно для товарища его по полку (Н. А. Львова), который, между прочим, перевел один из сонетов Петрарки — прозой и стихамп.

⁷⁰ Обратим внимание на то, что «Душенька», древняя повесть в вольных стихах вышла в свет без имени автора в 1783 г. (Первое издание (М., 1778) было озаглавлено «Душенькины похождения» и также являлось анонимным), тогда как послание к Богдановичу М. Н. Муравьева датировано в рукописи 11 июля 1782 г. Возможно, что Муравьев читал «Душеньку» еще до ее выхода в свет или имел в виду «Душенькины похождения».

Ах, некогда и я, хоть не с твоим талантом,
В обманах сладких вел свои спокойны дни
И, уклоняясь военные брони,

Во пиитической сени
Мечтал Авзонию с Евандром и Паллантом.
Ентеллом брошены в средину кистени —
Мечты Вергилия, боготворенна Дантом
И подраженного Ринальдовым певцом.
Я предлагал себе быть их учеником,
Ко добродетели имел благоговенье.

Пороком менее влеком,
Прекрасного почти я видел откровенье;
Я был величествен: я был в повиновенье
Моральным души, и чувством, и языком. . .⁷¹

Для того чтобы понять, что хочет сказать Муравьев в своих действительно темных стихах, следует иметь в виду, что под «мечтами Вергилия» он подразумевает «Энеиду» — и, в частности, тот эпизод ее пятой песни, где рассказывается о союзниках Энея — Евандре и Палланте и о кулачном бое, для которого огромные боевые перчатки («кистени») были даны Энтеллом. М. Н. Муравьев хорошо знал и Вергилия, и Гомера в подлинниках,⁷² он переводил гекзаметрами начало «Илиады» за полвека до того, как это сделал Н. И. Гнедич. Несомненно, что Муравьев отчетливо представлял себе также — как это видно из приведенных стихов — роль Вергилия («боготворенна Дантом») в «Божественной комедии». И это естественно, так как он располагал собственным экземпляром «Божественной комедии», который несомненно читал.

Среди бумаг М. Н. Муравьева, хранящихся в Гос. Публичной библиотеке в Ленинграде, находится рукописный каталог его личной библиотеки. Здесь под № 129 значится: «Божественная комедия Данта Алигиери, 1 часть „Ад“, фр. перевод 1776, in 8^o». Эти краткие сведения вполне достаточны для того, чтобы можно было точно определить, какое издание имелось в виду. Несомненно, что Муравьеву принадлежал выполненный Жюльеном Мутонне де Клерфоном французский прозаический перевод «Ада», сопровождаемый текстом итальянского подлинника, примечаниями переводчика и написанной им же биографией Данте; книга была издана в Париже (несмотря на обозначение Флоренцией) в 1776 г. в восьмую долю листа.⁷³ Сам переводчик был высокого мнения о своем издании, не без основания считая его первым в своем роде, так как переводов Данте с подлинным текстом en regard еще не появлялось. Ж. Мутонне де Клерфон (1740—1813) был провинциальным литератором, жившим уроками греческого языка

⁷¹ *Муравьев М. Н.* Стихотворения, с. 212, 348.

⁷² Н. Кошанский в некрологе М. Н. Муравьеву свидетельствовал, что «Вергилия и Гомера он знал наизусть» (Вестн. Европы, 1807, ч. 31, № 19, с. 193, примеч.).

⁷³ *La divine comédie. L'Enfer, trad. française accomp. du texte et de notes historiques, critiques, et de la vie du poète, par Moutonnet de Clairfons. Florence [Paris], 1776, 8°. 547 p.*

и переводами (с греческого, латинского, итальянского). Он пешком пришел в Париж, ископотаал себе здесь скромную должность почтового чиновника и познакомился с несколькими литераторами, прежде всего с Ж.-Ж. Руссо. Он издал в свет переводы Анакреона, Сафо, Биона, Мосха, «Поцелуй» И. Секунда, эпиграммы из греческой антологии и несколько собственных малозначительных произведений. «Ад» Данте стоил ему многих усилий. Мутонне составил обстоятельный комментарий к своему переводу и предпослал книге «Жизнь Данте Алигьери» серьезный исторический и биографический очерк, безусловно заслуживавший внимания его современников. Мутонне признавался, что чтение «Божественной комедии» преисполняло его попеременно то ужасом, то чувством меланхолической грусти, то восторгом. Будучи последовательным классиком по своим вкусам и литературному воспитанию, Мутонне тем не менее к оценке «Божественной комедии» подходил с особой меркой и, несмотря на кое-какие оговорки, сумел почувствовать в поэме то, что еще ускользало от критиков, ему современных. Так, он считал, например, «Божественную комедию» «одним из самых прекрасных творений человеческого духа» и, кажется, впервые воспользовался впоследствии столько раз повторенным сравнением поэмы Данте с величественным готическим собором. По-видимому, перевод всех трех частей поэмы Мутонне закончил полностью, но издан был только «Ад»; остальные две части остались в рукописи. Издание Мутонне пользовалось некоторой известностью во Франции и даже в Италии, но далеко не такой, на которую рассчитывал переводчик. В печати этот труд был встречен случайными редкими похвалами и очень негодующей статьей Лагарпа,⁷⁴ в которой он удивлялся, зачем Мутонне предпринял свой бесполезный труд. Сама же «Божественная комедия» снова подверглась жестоким нападкам в духе Вольтера. Придерживаясь долго повторявшегося заблуждения, будто сам Данте назвал свою поэму «*Divina commedia*», Лагарп полагал, что одно это безвкусное заглавие свидетельствует о «грубом невежестве века, в котором жил Данте», а сам называет его поэму «бесформенной рапсодией, созданной без всякого плана, не имеющей ни малейшего интереса, отличающейся монотонностью, наводящей скуку, избежавшей забвения лишь благодаря двум-трем сильным местам (к ним Лагарп причисляет эпизод с Уголино), риторической амплификацией, достойной декламации монаха XIII века» и т. д. Тут же Лагарп цитирует суровый отзыв о Данте в письме Вольтера к С. Беттинелли; кстати, новое осуждение Данте Вольтером в «Китайских письмах» появилось в том же году, когда Мутонне издал свой перевод. М. Н. Муравьев, может быть, знал этот неблагоприятный отзыв Лагарпа о труде Мутонне, но этот труд он читал безусловно, и у нас есть

⁷⁴ См.: *Counson A. Dante en France*, p. 86—88; *Dictionnaire des lettres françaises. Le XVIIIe siècle*. Paris, 1960, (L—Z), p. 291—292. — Статью Лагарпа см. в его книге «*Littérature et critique*» (1778).

все основания думать, что в начале 80-х гг. в этом новом споре о Данте Лагарпа с Мутонне (обновившем в памяти споры Гаспаро Гоцци с Беттинелли и Вольтером) Муравьев был на стороне Мутонне — приятеля Ж.-Ж. Руссо, провозвестника еще не наступившей в то время во Франции, но уже близкой переоценки Данте. В противном случае Муравьев не поставил бы Данте между Вергилием и Тассо (в цитированном выше послании к Богдановичу) как поэта, у которого он хотел учиться. Мы не нашли у Муравьева других свидетельств об отношении его к автору «Божественной комедии», но не забудем, что он воспитал К. Н. Батюшкова (которому приходился двоюродным дядей), увлечения которого Данте и Петраркой общеизвестны. Мы не знаем также, дописано ли было цитированное выше послание М. Н. Муравьева к И. Ф. Богдановичу и читал ли его автор «Душеньки»; известно, однако, что многие даже ненапечатанные стихотворения М. Н. Муравьева все же получили распространение среди литераторов; рукописями М. Н. Муравьева после его смерти интересовались и готовили их к изданию Карамзин, Батюшков, Жуковский.

Нужно думать, что прозаический перевод «Ада», изданный Мутонне, был известен не только М. Н. Муравьеву, но и другим русским литераторам. На некоторое время это мог быть вероятный источник их знакомства с «Адом» во французском переводе (и итальянском подлиннике), а также отрывков из «Ада» в русском прозаическом переводе;⁷⁵ вскоре его заменил пользовавшийся у нас еще большей известностью новый французский перевод «Ада», сделанный также в прозе Риваролем.

6

Русских переводчиков 80-х гг. XVIII в. наряду с французской интересовала также немецкая литература, являвшаяся в той же мере посредником, с помощью которого они получали сведения о литературном движении в других странах Европы, например в Англии или Италии. Переводы «с немецкого» выходили у нас отдельными книгами, появлялись в журналах.

В 80-х гг. в статьях, переведенных с немецкого и печатавшихся в русских периодических изданиях, стало встречаться имя Данте. Характерно, что сначала переводчики этих статей обнаруживали полную неосведомленность как об итальянской литературе вообще, так и о Данте в частности, не умея даже правильно транскрибировать его имя русским алфавитом: если переводчики

⁷⁵ Сошлемся здесь на другой перевод Мутонне — «Поцелуев» Иоанна Секунда, голландского поэта XVI в., писавшего по-латыни; Мутонне издал «Поцелуи» во французском прозаическом переводе с параллельным латинским стихотворным текстом. Именно по этому изданию отрывки из него в русском переводе появились в журнале М. Хераскова «Вечера» (1772). См.: Берков П. Н. История русской журналистики XVIII века, с. 297.

с французского превратили его в «Данта», то переводчики с немецкого пытались было усвоить форму немецкого написания этого имени, но в родительном падеже (Dantes Werk. . .)! Такое странное написание находится, например, в «Опыте Трудов Вольного российского собрания при имп. Московском университете» 1783 г., где в течение нескольких лет чрезвычайно медленно печаталось переведенное А. А. Нартовым (1737—1813) с немецкого «Повествование человеческого разума». Этот плодовитый и опытный переводчик, переведивший с немецкого и с французского,⁷⁶ плохо представлял себе итальянскую литературу и искусство средних веков и эпохи Возрождения. В указанном переводе мы находим, например, следующие пассажи: «Посреде (sic) брани Гвельфов и Гебеллинов (sic) писал Дантес начертание людей и их страсте пылко и важно».⁷⁷ Едва ли русские читатели в состоянии были понять, что речь здесь шла о «Божественной комедии», отразившей в себе эпоху ожесточенной борьбы горожан и аристократов в городах Тосканы. Далее в том же переводе находится следующая фраза: «Живопись, скульптура и музыка в Риме, не взирая на рабство и суеверие, тамо владычествующие, до высочайшего совершенства достигли. Дантес, Ариост и Тассо процветали не под вольным правлением. Михаэль Анжело [Микеланджело], Рафаэль и Юлий Римлянин [Джулио Романо] равномерно».⁷⁸

Вскоре Данте был упомянут (и на этот раз в совершенно правильной транскрипции) в другом московском периодическом издании — «Прибавлениях к Московским ведомостям» 1784 г. Эти «Прибавления», прилагавшиеся почти к каждому номеру газеты, были серьезным изданием, в котором много места отводилось истории, политической экономии, географии, текущей иностранной политике и т. д.; выпускал их Н. И. Новиков. В «Прибавлениях» за последний год их издания помещена была переведенная с немецкого статья «О состоянии немецкого дворянства в древние и средние времена», в которой предпринята была попытка указать на международное значение немецкой поэзии и науки в средние века и в эпоху Возрождения. Так, говоря о немецких миннезингерах, провансальских трубадурах и итальянских их продолжателях, автор, между прочим, писал: «Итальянцы, учившиеся у провансцев, еще менее могут оспаривать немцам честь первенства в стихотворстве. Данте, первой их достопамятной стихотворец, есть только современник последних пвабских стихотворцев, которые в то время преимущественно большими шагами приближались к храму доброго вкуса, и, может быть, превосходили еще провансцев». Однако немецкий автор не являлся националистом и признавал, что немецких дворян в ту отдаленную пору

⁷⁶ См.: Семенников В. П. Материалы для истории русской литературы и для словаря писателей эпохи Екатерины II. Пг., 1915, с. 68—69.

⁷⁷ Опыт Трудов Вольного российского собрания при имп. Моск. университете, 1783, ч. 6, с. 116.

⁷⁸ Там же, с. 123.

занимало не одно лишь «стихотворство, в котором и чувствительный невежа может», но что они «старались и о самой учености», и продолжает: «Немцы не совсем тщетно старались об ученой славе, но тогдашнее их покушение вырваться из варварства подобно было блистающей ночью молнии, которая рассекает только тьму, но не рассеивает ее. Напротив того, итальянцам удалось возжечь постоянный, всегда умножающийся свет, коего сияние осветило наконец все. Они скоро сделались богаче немцев знаниями; их Ариосты и Тассы вознеслись почти на недостижимую высоту в стихотворстве».⁷⁹ Таким образом, Данте вставлен здесь в историческую перспективу и назван первым итальянским «достопамятным стихотворцем»; к нему, впрочем, в этом определении еще не чувствуется интереса, как к средневековому поэту, по представлениям автора, ничем не связанному с эпохой возрождения наук и искусств.

На немецких источниках основана была краткая характеристика Данте в самостоятельной (не переводной) работе О. П. Козодавлева «Рассуждение о народном просвещении в Европе», увидевшей свет в 1785 г. в журнале «Растущий виноград». Осип Петрович Козодавлев (1754—1819) хорошо знал немецкий язык, так как учился в Лейпцигском университете (одновременно с А. Н. Радищевым)⁸⁰ и был «любителем и знатоком немецкой литературы», как его с полным основанием аттестует его биограф.⁸¹ В 1783 г. О. П. Козодавлев состоял советником при директоре Академии наук Е. Р. Дашковой и заведовал изданием «Собеседника любителей русского слова», а с 1784—1786 гг. занимал должность директора народных училищ в Петербурге и Петербургской губернии. В 70—80-х гг. О. П. Козодавлев любительски занимался литературой, писал стихи, печатал свои переводы с немецкого, в частности трагедии Гете «Клавиво» (1780),⁸² «Вильгельмины», поэмы М. А. Тюммеля,⁸³ и др., — но, подобно М. Н. Муравьеву, сделал быструю административную карьеру, за-

⁷⁹ Прибавление к Моск. ведомостям, 1784, № 22, с. 173.

⁸⁰ Хотя О. П. Козодавлев приехал в Лейпциг только в 1769 г., зачисленный на вакансию, освободившуюся с отъездом в Россию М. В. Ушакова (брата близкого друга Радищева — Ф. В. Ушакова, умершего в Лейпциге в 1770 г.), но с Козодавлевым Радищев поддерживал отношения и в Петербурге в 80-х гг. и поставил его имя в списке лиц, получивших от него экземпляры «Путешествия на Петербурга в Москву» (Старцев А. Университетские годы Радищева. М., 1956, с. 23—24).

⁸¹ Сухомлинов М. И. История Российской Академии. СПб., 1882, вып. 6, с. 297. — Вся эта книга (с. 2—512) посвящена жизнеописанию О. П. Козодавлева.

⁸² О переводе Козодавлевым «Клавиво» Гете — «первой крупной дат. русского гетеванства» — и последующей переписке с ним Гете см. в исследовании С. Дурюлина (Литературное наследство. М., 1932, т. 4-6, с. 117—119); см. также: *Alekseev M. P. Goethe-Miscellen I. Goethe und die altrussische Malerei. — Germanoslavica*, [Brünn; Prag], 1932—1933, Н. 1, S. 60—62.

⁸³ *Тюммель М. Л.* Герои-комическая поэма М. А. Тюммеля в русском переводе. — В кн.: Роль и значение литературы XVIII века в истории русской культуры. Сб. статей к 70-летию со дня рождения чл.-корр. АН СССР П. Н. Беркова. М.; Л., 1966, с. 181—186.

конченную при Александре I в должности министра внутренних дел (с 1810 г.).

В 1784 г. Козодавлев был «коллежским советником и частных народных школ сей губернии директором» и от имени «главного народного училища» столицы издавал журнал «Растущий виноград», в котором увидел свет ряд его статей под общим названием «Рассуждение о народном просвещении в Европе».⁸⁴

По первоначальному плану Козодавлева этот труд должен был иметь довольно внушительный объем; он предполагал также после опубликования его частями в журнале выпустить затем «Рассуждение» особой книгой. Не подлежит сомнению, что автор долго работал над ним, почерпая необходимые сведения из многочисленных, преимущественно немецких источников. Задачей труда было доказать, что «просвещение есть величайшее благо», доступное человечеству, и «вернейший залог истинной славы и могущества народов и государств». По словам автора, его «Рассуждение» должно было состоять из введения и трех отделений; в первом излагается история распространения в Европе просвещения — «от разрушения древней Римской империи до наших времен», отделение второе показывало, что «первый способ к распространению в народе просвещения есть язык народный». Из задуманного труда в печати появилось лишь пять статей, из которых три относятся к первому отделению и две — ко второму; не появилось ни одной статьи, относящейся к третьему отделению (в котором предполагалось рассказать о школах, университетах, академиях и проч.).⁸⁵

В начале своего «Рассуждения», говоря о словесности в Италии, Козодавлев несколько раз упомянул также имя Данте, и в таком контексте, который свидетельствует, что он имел довольно ясное представление о поэте, хотя и не упоминает «Божественную комедию»; ошибка в дате его смерти (1221 вместо 1321 г.) — это, конечно, лишь типографская опечатка. «В четвертом на десять столетий, — пишет Козодавлев, — художества начали процветать в Италии, где некоторые из оных получили тогда свое начало. Также и стихотворство мало-помалу распространялось между итальянцами. Флорентинец Дант, умерший в 1221 году, приобрел стихотворениями своими, которые и донныне с удовольствием читаются, великую славу. После Данта прославился в Италии Петрарх, родившийся в 1304 году и воспитавшийся во французских училищах. Он украсил чрез стихи свои итальянский язык приятностью и нежностью. Бокас, современник его, вычистил и утвердил сей язык острою и приятною своей прозою. Сие происходило в те времена, когда языки прочих европейских народов были в совершенном презрении. Итальянцы имели более способов вычистить язык свой, нежели другие народы, потому что

⁸⁴ Сухожминов М. И. История Российской Академии, вып. 6, с. 309—310.

⁸⁵ Растущий виноград. Ежемесячное издание, изд. от Главного народного училища города св. Петра, 1785, апр., с. 64—65, 100.

учение варварских народов не столько в Италии распространилось, как в прочих областях Европы». ⁸⁶ В одной из последующих глав того же «Рассуждения», в которых идет речь о Возрождении в Италии и причинах, его обусловивших, мы снова встречаемся с именами Данте и Петрарки: «Турки, взяв столицу греческих императоров, победою своей погнали, так сказать, из нее науки и художества в Италию. Итальянцы приобрели тогда греческих учителей и писателей, книги древних греков и несколько афинского вкуса. Греки, найдя в Италии творения Данта и Петрарка и обратив внимание свое на оные и на писателей древнего Рима, образовали вкус, распространившийся потом по всем областям итальянским». ⁸⁷

Характерно, что в «Рассуждении» О. П. Козодавлева Данте изображен как поэт-зачинатель, основоположник итальянского литературного языка, лирик в первую очередь, стихотворения которого «и доныне с удовольствием читаются». Такой образ поэта вполне соответствует одному из важных положений «Рассуждения о значении народного языка» в распространении просвещения в каждой стране. Не менее существенно, что в отзыве Козодавлева о Данте нет никаких упреков или ссылок на «варварство» его века, на его «плохой вкус» и т. д., что было так типично для французской критики от Вольтера и до Лагарпа включительно; может быть, поэтому о «Божественной комедии» здесь не упоминается вообще. Эта новая тенденция русской критики — возвышение Данте-лирика наряду с невниманием к его поэме — проявлялась в последние полтора десятилетия XVIII и в начале следующего столетия, может быть, под влиянием немецких эстетиков и переводчиков этого времени, много сделавших для исторического истолкования творчества Данте, в частности как автора «Новой жизни». Если ранее Данте изображали как архаического средневекового стихотворца, то теперь он преподносился читателю как поэт эпохи Возрождения, основоположник новой итальянской литературы, ознаменовавшей себя открытием человеческой личности и всех ценностей античного наследия. Данте был первым звеном пересторжимой триады литературных деятелей (Данте, Петрарка, Боккаччо), осуществивших окончательное утверждение в Италии ренессансной культуры. ⁸⁸ С такой точкой зрения мы встретимся в начале XIX в. у И. И. Мартынова и в трактате о лирической поэзии Г. Р. Державина. ⁸⁹

⁸⁶ Там же, с. 92—93.

⁸⁷ Там же, июль, с. 68.

⁸⁸ Ср.: *Sulgar-Gebing E. Dante in der deutschen Literatur des 18. Jahrhunderts. — Z. für vergleichende Literaturgeschichte*, [1898], Bd 10.

⁸⁹ В «Речи при вступлении в Российскую Академию» (23 марта 1807 г.) И. И. Мартынова, между прочим, говорилось: «В четырнадцатом веке нашей эры, после мрака невежества, обложившего Европу, паки начали возвышаться храмы вкуса; основание знаменитейших университетов относится к сей эпохе; в Италии три гения — Дант, Петрарх и Бокас — приосенили иссохшую ниву и оплодотворили ее своими талантами» (Сочинения и переводы, изда-

Отметим, впрочем, что и «Божественная комедия» в конце XVIII в. не только не устранялась немецкими литераторами из наследия Данте, как произведение менее достойное их внимания, но, напротив, привлекала к себе их любопытство, вызвала соревнование переводчиков и комментаторов. Однако для русских журналистов этого времени переводы немецких статей о Данте представили неожиданные затруднения: «Божественная комедия» вызвала опасения и запреты русской цензуры. Правда, это была цензура павловского времени, когда страх русского правительства перед иностранной книгой достиг предела, оформившись в конце концов в императорском указе (от 18 апреля 1800 г.) о запрещении «впуска из-за границы всякого рода книг, на каком языке оные не были, без изъятия, равномерно и музыки». Конечно, первопричиной столь нелепого указа была боязнь проникновения в Россию идей революционной Франции, но в запрете «опасных» мест у Данте и его немецких истолкователей на этот раз действовали другие мотивы — православная ортодоксия павловских цензоров. Так, например, из дел рижской цензуры явствует, что 21 августа 1797 г. цензурой была запрещена статья Ф. Шлегеля о «Дантовом Аде» в третьей книжке журнала «Die Morgen» за 1795 г.,⁹⁰ знаменитого издания, в котором положено было начало совместной литературной деятельности Шиллера и Гете. Запрещен у нас был весь этот журнал за 1795 г., но в случае с указанной статьей Шлегеля о Данте, как справедливо отметил А. А. Морозов (впервые опубликовавший отрывки из этого рапорта, хранящегося в делах Канцелярии генерал-прокурора), «основанием для запрещения послужили отдельные детали, которые не были характерны для самого журнала и не имели особого значения с точки зрения их опасности для России».⁹¹ Действительно, в рапорте цензора от 21 августа 1797 г. автору статьи

ваемые Российской академией. СПб., 1813, ч. 6, с. 207). Г. Р. Державин писал в своем рассуждении о лирической поэзии (1814): «В исходе того же столетия в Италии восстали славные поэты: Дант, Петрарк и Боккаций. Они, подражая древним, образовали свои лирические произведения по их примерам и могут беспрекословно назваться возродителями древней и отцами новой поэзии в так ими названных канцолах, сонетах, балладах, стансах, мадригалах и других песнях, известных в Европе» (Соч. Г. Р. Державина/С объяснительными примечаниями Я. К. Грота. СПб., 1872, т. 7, с. 596). В «Замечаниях Евгения Болховитинова на рассуждение о лирической поэзии» Державина сделаны кое-какие возражения по поводу пристрастия Данте к античным стихотворцам, но они не меняют отношения к нему как к поэту Возрождения: «Дант, Петрарк и Боккаччио не не могли, но, увлечены быв испорченным трубадурским вкусом, не захотели ввести в итальянскую поэзию тоновского падения греческих и римских поэм: при всем том Дант, Петрарк и Боккаччио большую половину всех своих стихов писали без рифм, и так волюно, что иногда сряду после рифм, стиха три без рифм, потом опять стиха два с рифмами и так далее — им иногда подражал даже из новейших итальянских стихотворцев Метастасий» (там же, с. 625).

⁹⁰ Die Morgen, J. 1795, 3. Stück, S. 22—69.

⁹¹ Морозов А. А. Западные писатели в царской цензуре. I. «Morgen» и «Museum Almanach» Шиллера. — В кн.: Западный сборник. М.; Л., 1937, с. 317.

о Данте в «Die Nogen» прежде всего вменяется в вину следующее место — не столько Ф. Шлегеля, сколь самого Данте: «На 25-й странице в примечании восхищение святого апостола Павла до третьего небеса (как в Новом завете церковь христианская приемлет) называет заблуждением в иступлении и постановляет в один класс с басенным витийствованием творца Энеиды. К сему приметны 35 и 48 страницы». Цензор, таким образом, считал предосудительным своего рода уравниение в правах Данте и Вергилия, христианского и античного поэтов, и в особенности разъяснения Шлегеля к словам Данте «Я знаю только двоих, кто при жизни побывал в царстве теней»: «один — согласно его второму посланию к Коринфянам (XII, 2—4), другой — в шестой книге Энеиды. Или являет поэт некоторую аналогию поэтическим воображением и фанатическим экстазом?». На с. 35 шлегелевской статьи подозрительный цензор усомнился в возможности допуска для русских читателей того места статьи, где давался «отрывок и изложение 4-й песни „Ада“, — посещение первого круга, где пребывают добрые язычники». Наконец, на с. 48 статьи Шлегеля получил строгое осуждение цензора заимствованный из «Жизнеописаний» Вазари анекдот о Микеланджело, поместившем папского церемониймейстера на картине Страшного суда в аду.⁹² Хотя высочайший указ 1800 г. о «выпуске из-за границы всякого рода книг» вскоре перестал действовать — после убийства Павла I, — но российская цензура и в последующее время отличалась удивительной придирчивостью ко всему, что имело отношение к религии; еще полвека спустя русский перевод «Ада» Данте вызвал ряд недоумений цензора, запретившего для печати около двадцати терцин и отдельных стихов, показавшихся ему предосудительными с точки зрения православной веры и нравственности.⁹³

7

В то время когда цензура запрещала к обращению в России немецкий журнал со статьей Шлегеля об «Аде» Данте, в русском журнале «Приятное и полезное препровождение времени», вышедшем в Москве в качестве приложения к «Московским ведомостям», сделана была попытка представить фрагмент из «Божественной комедии» в русском прозаическом переводе. Редактировал этот журнал В. С. Подшивалов совместно с П. А. Соханским, отрывок из Данте появился здесь в последний год существования этого журнала (1798).

⁹² Там же, с. 317—318.

⁹³ *Buriot-Darstles* H. Dante et la censure russe. — *Rev. de littérature comparée*, 1924, vol. 4, p. 109—111; *Горохова Р. М.* «Ад» Данте в переводе Д. Е. Мина и парская цензура. — В кн.: Русско-европейские литературные связи. М.; Л., 1966, с. 48—52 (с «Приложением»: Терцины, не пропущенные цензурой в Дантовой поэме «Ад» — с. 52—55).

В. С. Подшивалов (1765—1813) был старым литератором и переводчиком. Еще в свои университетские годы Подшивалов являлся членом «студентского собрания», образованного проф. И. Г. Шварцем при Московском университете; подобно другим молодым людям, принадлежавшим к этому собранию, Подшивалов привлечен был Н. И. Новиковым к сотрудничеству в журналах «Вечерняя заря» (1782) и «Покойщийся трудолюбец» (1784),⁹⁴ затем сам преподавал стилистику в Московском университетском благородном пансионе, много переводил с немецкого и французского, издавал «Чтение для вкуса, разума и чувствующих» (1792—1793) и продолжавший его журнал «Приятное и полезное препровождение времени»;⁹⁵ оба этих журнала были приняты в Университетском пансионе для внеклассного чтения.

В. С. Подшивалов, сформировавшийся под влиянием проф. И. Г. Шварца и Н. И. Новикова, а затем и Карамзина, был типичным сентименталистом, а журналы свои он также превратил в органы сентиментальной школы. В «Приятном и полезном препровождении времени» печатались такие характерные представители этого направления, как Ю. А. Нелединский-Мелецкий, В. В. Измайлов, П. Ю. Львов; здесь же встречались имена В. Л. Пушкина и В. А. Жуковского. Первая статья этого журнала, принадлежавшая Подшивалову, называлась «К сердцу» и носила программный характер: «Винювник дел великих, дел благородных, сердце! Для чего ученые, ищущие просвещения, с ущербом прав твоих обогащают разум? Для чего образуют, воспитывают более сей последний, нежели тебя?»⁹⁶ Обращаясь к «чувству», один из сотрудников журнала восхищался человеком, этим «чувством» воспитанным, «когда он в уединенные часы свои, в тихом кабинете, в объятиях сельской природы почерпает божественные твои вдохновения в тайных изгибах своего сердца, изливает их на бумагу или читает Геснера, Руссо, Стерна, Петгарка».⁹⁷

В соответствии с этим страницы журнала полны то идиллических картин, то мрачных классицистических образов, то кладбищенской меланхолии. Подшивалов осуждает разум и просвещение; в последнем году существования журнала и в заменившем его новом органе, «Иппокрене», осуждению и нареканиям подвергался уже сам Карамзин — его умеренный оптимизм, его спокойная апология страстей; Карамзина упрекают здесь даже в безбожии, безнравственности и либерализме.⁹⁸

⁹⁴ См.: *Тихонравова Н. С.* Соч. М., 1898, т. 3, кн. 1, с. 152; *Резанов В. И.* Из разысканий о сочинениях В. А. Жуковского. СПб., 1906, с. 16—18.

⁹⁵ В. И. [В. В. Измайлов]. О жизни и сочинениях Подшивалова. — Вестн. Европы, 1814, ч. 76, № 13, с. 25—40; *Смирнов А. В.* В. С. Подшивалов. — Труды Владимирской учен. архивной комиссии, 1900, кн. 2, отд. 2, с. 17—18; 1901, кн. 3, отд. 2, с. 6—7.

⁹⁶ Приятное и полезное препровождение времени, 1794, ч. 1, с. 3—8.

⁹⁷ Там же, ч. 6, с. 81.

⁹⁸ См.: *Тихонравова Н. С.* Соч. М., 1898, т. 3, кн. 2, с. 150—151.

На таком фоне становится вполне понятным отрывок из Данте, нашедший себе место в «Приятном и полезном препровождении времени». Характерно, что он избран не из «Ада», но из второй части «Божественной комедии» и представляет собою начало XXVIII песни «Чистилища» (стихи 1—75) в русском прозаическом переводе. Переводчик (возможно, что это был сам В. С. Подшивалов) озаглавил его «Мир покаяния (отрывок из Данта)» и указал в примечании: «Дант Алигиери, один из первых и славнейших итальянских стихотворцев 13 века. Самая лучшая его поэма: Ад, Чистилище и Рай»; самому тексту перевода предпослано следующее пояснение: «Дант, наконец, взойсел на неизмеримой высоты гору, которая, по его стихотворному вымыслу, возвышается средь южного океана. Скаты сей горы служат местопребыванием кающихся душ. На вершине ее стоит прежнее жилище первых человеков в состоянии их невинности — земной рай. Дант вступает туда, и здесь-то Вергилий, неразлучно сопровождавший его доселе, оставляет собственному шествию. Здесь отчасти исполняется недавно виденное им во сне явление деятельной и умозрительной добродетели. Она встречается ему в виде прекрасной женщины, изъясняет все подлежащие взорам его предметы и готовит к явлению во всей славе возлюбленной его Беатрисы».⁹⁹ Вслед за этой вводной заметкой следовал самый перевод избранного отрывка, довольно близко передающий всю тонкую красочную гамму живописуемого в оригинале пейзажа: цветы и травы на лугах и уступах нагорья, древний тенистый лес на рассвете и в час заката; наличие в переводе славянизмов и архаических речений придает этому отрывку своеобразную величавость: «Уже нетерпеливо возжелал я протекать прохладные, густозеленеющиеся чащи богопосвященных рощей, где едва токмо просиявал юный день в сумраке рассвета. Не медля от самого воскрайя вершины, тихо, тихо направил я стопы к лугам по стезе, преисполненной всюду благоуханием», и т. д.

Переводчик не сообщает, по какому источнику исполнен его перевод, однако очевидно, что язык, с которого он переводил, был французский. Об этом свидетельствует, например, наименование Беатриче Беатрисой; это подтверждает также то место, где Данте упоминает Пинету, знаменитую рощу пиний в местности, именуемой Кьясси («... La pineta in sul lito di Chiassi» — Purg. XXVIII, 20), к югу от Равенны; некогда эта роща расположена была на берегу Адриатического моря, у самого порта Кьясси; но впоследствии море отступило к востоку. В переводе это место передано так: «Так, в сосновой роще Шиасской шум завывает, перелетая от ветвей и ветвям, когда Эол даст свободу ветру Сирокко»; переводчик снабдил эту фразу следующим пояснением: «Шиаси, не существующий уже город поблизости Равенны, где была сосновая роща на берегу Адриатического моря». Ссылка на

⁹⁹ Мир покаяния (отрывок из Данта). — Приятное и полезное препровождение времени, 1798, ч. 17, № 12, с. 177—182.

«Lettres de Du Paty»¹⁰⁰ еще больше подкрепляет уверенность, что русский перевод фрагмента из «Чистилища» был сделан по какому-то французскому переводу, также, вероятно, прозаическому.

К этому времени, в первые годы нового столетия, о Данте можно было чаще читать в русских книгах и периодических изданиях, например в переводных романах — «Валерия» бар. В. Крюденер,¹⁰¹ «Коринна, или Италия» Ж. де Сталь,¹⁰² провозвестивших позднейший культ Италии у французских романтиков; теперь нередко можно было встретить имя Данте также в культурной и библиографической хронике русских журналов. Так, например, в московском журнале 1804 г. можно было прочесть заметку

¹⁰⁰ Речь идет о книге Шарля Дюпати (1746—1788), писателя и путешественника, «Lettres sur l'Italie en 1785» (Paris, 1788), в которой даны очерки современной ему Италии. Карамзин очень хвалил книгу Дюпати, дважды упомянув о ней в «Письмах русского путешественника», и, безусловно, испытал на себе ее влияние (*Сиповский В. В.* М. Карамзин, автор «Писем русского путешественника». СПб., 1899, с. 376—382). Перевод некоторых писем печатался в «Приятном и полезном препровождении времени» (1798, ч. 17 и 20). Отдельным изданием на русском языке книга вышла в 1801 г.: Путешествие г. Дю Папи в Италию в письмах / Пер. с франц. Иван Мартынов. СПб., 1801. 2 ч. (2-е изд. М., 1809; 3-е изд. СПб., 1818. См.: *Сопиков В. С.* Опыт российской библиографии. СПб., 1901, т. 4, № 9187, 9188). В книге Дюпати Данте упоминается неоднократно, что следует тоже учитывать при изучении восприятия русскими читателями творческого наследия великого флорентийца. Укажем в связи с этим также и на другие книги иностранных и русских путешественников по Италии, из которых можно было почерпнуть данные об итальянской литературе и искусстве: Путешествие в Италию аббата Бартемея / Пер. с франц. М., 1803, ч. 2; *Дибляновский Ф.* Путешествие по Саксонии, Австрии и Италии в 1800, 1801 и 1802 гг., СПб., 1805. 3 ч.; Путешествие немца по Италии с 1786 по 1788 г. в письмах, изд. г. Моричом / Пер. с нем. М., 1803—1805. 3 ч. и др.

¹⁰¹ Извлечение из нового французского романа: «Валерия», соч. г-жою Крюднер (sic). — Сев. вестн., 1804, ч. 2, № 5, с. 213—224. — Речь идет о жене русского дипломата, баронессе Варваре Крюденер (1764—1824), издавшей автобиографический сентиментальный роман в письмах «Valérie» (Paris, 1803); здесь, посреди размышлений путешественника о прошлом Италии, говорится о Данте как о католическом поэте, писавшем «величайшие и таинственные стихи». См. также: Патриот, 1804, т. 2, кн. 3, с. 351.

¹⁰² Знаменитый роман «Corinne, ou l'Italie» (1807) был переведен на русский язык вскоре после его первого издания (см.: Коринна, или Италия, новейший роман, соч. г-жи Сталь-Голстейн. 6 частей. Пер. с франц. М., 1809; *Сопиков В. С.* Опыт российской библиографии. СПб., 1904, ч. 3, № 5755) и читался у нас несколько десятилетий. Данте упоминается здесь многократно: цитаты из «Божественной комедии» (преимущественно из «Чистилища») даются здесь в итальянском подлиннике (кн. 4, гл. 4, кн. 10, гл. 1, и т. д.); об истории его жизни, изгнании и т. д. идет речь в кн. 18 (гл. 2—3) и кн. 19 (гл. 5). В прославленной «Импровизации Коринны на Капитолии» (кн. 2, гл. 3) несколько лирических страниц посвящено характеристике Данте, «этого Гомера новейшей эпохи», «героя и мыслителя», «гения и величайшего поэта Италии», в «магических стихах» которого «воскресла вся Италия времен ее могущества». Он «погрузился в подземные воды Стикса, и душа его стала глубокой как бездны, описанные им». «Пылая духом республиканских свобод, воин и вместе поэт, он возжег огонь борьбы в сердцах мертвых, и тени стали жить более полной жизнью, чем даже люди наших дней» (см.: *Сталь Жермена де.* Коринна, или Италия / Изд. подгот. М. Н. Черневич, М., 1969, с. 29—30). Известно, что импровизацию Коринны собрался перевести К. Н. Батюшков (Соч. / Ред. Л. Н. Майкова. СПб., 1886, т. 3, с. 423).

о пяти лекциях, посвященных Данте Пьером Женгене (P.-L. Ginguené, 1748—1816) в его публичном курсе по истории итальянской литературы в парижском «Атенеуме», где он говорил о «возрождении славы в Италии Gian Padre Alighieri и о новой силе звучания приглушенной почти на два века тосканской лиры». ¹⁰³ Характерно, что на страницах русских журналов той поры могли находить отражение успехи дантологии в самой Италии. В московском журнале «Патриот» 1804 г. в отделе «Известия библиографические» напечатана следующая заметка: «Теперь печатают в Ливорне новое издание Данта, и, как уверяют, с топографического [автографического] манускрипта 1310 года, который объясняет многие темные и трудные места сего поэта». ¹⁰⁴

8

В 1797 г. во второй книге альманаха «Аонида», издававшегося Карамзиным и содержавшего в себе стихи самого издателя, Г. Р. Державина, И. И. Дмитриева, В. В. Капниста и других поэтов, напечатано было стихотворение В. Л. Пушкина «Суйда», открывающееся следующими стихами:

Души чувствительной отрада, утешенье,
Прелестна тишина, покой, уединенье,
Желаний всех моих единственный предмет.
Недолго вами я, к несчастью, наслаждался;
Природы красотой недолго любовался;
Опять я в городе, опять среди сует,
И сердцу радостей, глазам приятства вст¹
И все вокруг мне кажется уныло. . .

«„Суйда“, — пояснил автор в примечании к своему стихотворению, — село, принадлежащее И. А. Ганибалову в 60 верстах от С.-Петербурга», и прибавлял: «Сии стихи были написаны в цветущей молодости моей. Я тогда еще мечтал о счастье». ¹⁰⁵ Так как В. Л. Пушкин родился в 1770 г., следует думать, что стихотворение написано им не позже 80-х гг. Для нас интерес этого стихотворения заключается прежде всего в его эпитафье, выбранном из Данте в итальянском подлиннике:

Io mi son, un che, quando
Amor mi spira, noto, ed in quel modo
Ch'ei detta dentro, vo significando. ¹⁰⁶

¹⁰³ Патриот, 1804, т. 4, кн. 3, с. 342—343. — Лекции Женгене в парижском «Атенеуме» происходили в 1802—1806 гг.; первые главы его «Histoire littéraire d'Italie» читаны были им публично лишь в 1806 г., а в виде книги весь этот труд вышел в свет лишь в 1811—1819 гг., в 9 томах. Известие о пяти лекциях Женгене о Данте заимствовано русским журналом из газеты самого Женгене «Décade philosophique», вскоре переименованной в «Revue philosophique» и закрытой за республиканский дух этого издания.

¹⁰⁴ Там же, т. 3, кн. 3, с. 402; см. также с. 129.

¹⁰⁵ Пушкин В. Л. Полн. собр. соч. СПб., 1855, с. 119; Пушкин В. Л. Соч. / Ред. В. И. Сантова. СПб., 1893, с. 50.

¹⁰⁶ В переводе М. Л. Лозинского (Божественная комедия. М.; Л., 1950, с. 245) этот эпитаф звучит так:

Это терцина XXIV песни «Чистилища» (v. 52—54), из которой опущено лишь начало 52-го стиха — «Ed io a lui» («А я ему»), поясняющее, что в этих словах Данте обращается к встреченной им в шестом круге «Чистилища» тени поэта Бонаджунта Орбиччани, родом из Лукки, который, как это рассказывается в предшествующих терцинах, не только узнал Данте, но даже заговорил с ним и процитировал начало первого сонета «Новой жизни» («Donne, ch'avete intelletto d'amore»). Хорошо известно, что в терцине, избранной В. Л. Пушкиным в качестве эпиграфа, Данте формулирует психологическую основу школы «сладостного нового стиля» (*dolce stil nuovo*), пришедшей на смену предшествовавшим ей течениям, и отвечает ее критикам, среди которых был и Орбиччани да Лукка, представитель «сицилианской» поэтической школы.

Таким образом, избирая эпиграфом для своего стихотворения известную терцину из «Божественной комедии», В. Л. Пушкин не должен был листать итальянский подлинник «Чистилища»: привлечение его внимание стихи в качестве готовой цитаты можно было найти в книгах об итальянской литературе или статьях о молодом Данте и его поэтике. Правда, В. Л. Пушкину выписанная им из какого-то источника терцина показалась интересной вовсе не как примечательное историческое свидетельство о сущности вдохновения поэтов «сладостного нового стиля» или спорах Данте с его современниками; В. Л. Пушкин надеялся, что эпиграф будет применен к нему самому; ему хотелось сказать, что любовь и его всегда делала поэтом. Хотя в «Аонидах» итальянский эпиграф сопровождался лишь именем Данте, но можно думать, что младшие современники В. Л. Пушкина знали, из какого произведения он взят и какое программное значение он имел; мы догадываемся об этом потому, что после напечатания стихотворения В. Л. Пушкина они воспользовались этим эпиграфом в пародических целях.

Когда в Петербурге образовалось дружеское литературное общество «Арзамас», состоявшее из литераторов-карамзинистов, ведущих нескончаемые споры с А. С. Шишковым и членами возглав-

... когда любовью я дышу,
То я внимателен, ей только надо
Мне подсказать слова, и я пишу.

Хотя у нас нет никаких данных об источнике, из которого В. Л. Пушкиным был извлечен указанный эпиграф, можно все же подчеркнуть, что, по семейным преданиям, засвидетельствованным даже в биографии племянника Василия Львовича, А. С. Пушкина, итальянский язык будто был с ранних лет известен братьям Пушкиным — отцу и дяде великого поэта. Кс. П(олево)й в своем отзыве о «Полтаве» Пушкина (Моск. телеграф, 1829, ч. 27, № 10, с. 222) упоминает о том, что в доме Пушкиных (родителей) «итальянский язык был в употреблении»; в достоверности этого известия, однако, усомнился Л. А. Булаховский в своих «Замечаниях о знакомстве писателей с итальянским языком», помещенных в его книге «Русский литературный язык первой половины XIX в.» (2-е изд. М., 1957, с. 222). О знакомстве В. Л. Пушкина с итальянским языком см. также в статье Н. Пиксанова «Дядя и племянник» (в кн.: Пушкин. СПб.: Брокгауз—Ефрон, 1911, т. 5, с. XVIII).

лявшейся им «Беседы любителей русского слова», решено было пригласить вступить в «Арзамас» В. Л. Пушкина; это должно было состояться в один из его приездов в столицу. Когда в марте 1816 г. В. Л. Пушкин приехал из Москвы в Петербург вместе с П. А. Вяземским, члены «Арзамаса» задумали устроить довольно длинную шутовскую церемонию его приема в общество, пародируя масонские обряды и подвергая нового «арзамасца», отнюдь не подозревавшего мистификации, самым утомительным и нелепым испытаниям. «Тут воображение Жуковского разыгралось, — вспоминал П. А. Вяземский. — Он был не только гробовых дел мастер, как мы прозвали его по балладам, но и шуточных и шутовских дел мастер <...> Прием Пушкина вдохновил его. Он придумал и устроил разные мытарства, чрез которые новобранец должен был пройти».¹⁰⁷ Весь обряд был полон прямых намеков на поэтическое творчество В. Л. Пушкина и на его литературных противников в шишковской «Беседе» и московском «Обществе любителей российской словесности», имена которых были забавно искажены. Все это происходило в доме С. С. Уварова.

В. Л. Пушкина нарядили в смешной хитон, надели на голову широкополую шляпу, дали в руки посох и с завязанными глазами долго водили с лестницы на лестницу; потом он должен был пустить стрелу в безобразное чучело, означавшее «Дурной вкус» и в то же время председателя «Беседы»; наконец его ввели в комнату с занавескою огненного цвета и говорили приветственные речи — В. А. Жуковский, Д. П. Северин, Д. В. Дашков, Д. Н. Блудов; заключала церемонию благодарственная речь самого посвящаемого. Речи эти сохранились в нескольких списках и печатались неоднократно.¹⁰⁸

По-видимому, все речи были написаны одним лицом — В. А. Жуковским, но говорились они, если судить по арзамасским протоколам, разными членами общества. Речь Д. П. Северина, носившего в «Арзамасе» прозвище «Резвого кота», открывала приветствие В. Л. Пушкину (получившему имя «Вот») после всех испытаний и стреляния в чудище. В этой речи говорилось: «Так, любезный странствователь и будущий согражданин! Я нахожу на лице твоём все признаки тишины, всегда украшающей величавую осанку живого арзамасского знака. Какое сходство в судьбине любимых сынов Аполлона! Ты напоминаешь нам о путешествии

¹⁰⁷ Рус. архив, 1876, ч. 1, № 1, с. 63.

¹⁰⁸ Речь, читанная при приеме в Арзамасское общество В. Л. Пушкина. — Рус. архив, 1876, кн. 1, № 1, с. 63—70. — При переиздании этого документа в «Шолном собрании сочинений» П. А. Вяземского (СПб., 1883, т. 8, с. 416—420) и в отдельном издании его «Старой записной книжки» (ред. и примеч. Л. Гинзбург, Л., 1929, с. 240—251) заголовки отдельных речей опущены, что создает впечатление, что это одна речь, читанная одним лицом; между тем в арзамасских протоколах сам Жуковский отметил говоривших и приписал, в каком месте церемонии они выступали: сам Жуковский (Светлана) «члену „Вот,“ лежащему под шубам», «Резвый кот» (Д. П. Северин) «после стреляния в чудище», «член Чу» (Д. В. Дашков) «при целовании совы», и т. д. См.: Арзамас и арзамасские протоколы / Ред. М. С. Боровковой-Майковой. Л., 1933, с. 113—144 и 275—276.

предка твоего Данта: ведомый божественным Вергилием в подаемых подвалах царства Плутона и Прозерпины, он преаирал возрождающиеся препятствия на пути его, грозным воем убивал порок и глупость, с умилением смотрел на несчастных жертв страстей необузданных и, наконец, по трудном испытании, достиг земли обетованной, где ждал его венец и Беата. Гряди подобно Данту: повинойся спутнику твоему, рази без милосердия тени Мешковых и Шутовских и помни, что „Прямой талант везде защитников найдет“. Уже звезда восточная на высоте играет: стремись к лучезарному светилу; там, при его сиянии, ты вместо Беаты услышишь пение Соловья и Малиновки, и чувства твои наполнятся приятнейшими воспоминаниями».¹⁰⁹

Только внимательно вчитавшись в текст этой речи и помня о ее назначении, можно понять, каким она является тонким хитросплетением полемических выпадов и намеков на всю историю поэтической деятельности В. Л. Пушкина. Упоминание в начале речи «признаков типичны» явно ориентирует на первые строки приведенного выше стихотворения В. Л. Пушкина «Суйда» («Прелестна тишина, покой, удивенье...»), которому, как мы видели, автор предпослал эпиграф из «Чистилища» Данте; и, может быть, именно эта дантовская терцина-эпиграф и послужила для Жуковского тем зерном, из которого выросла в его воображении вся гротескная пародическая параллель между Данте и В. Пушкиным. Под «путешествием предка» (по Аполлону) — Данте — речь имеет в виду «Божественную комедию»; под Беатой — Беатриче; слова «Рази без милосердия тени Мешковых и Шутовских» подразумевают Шипкова и Шаховского; фраза о стремлении к лучезарному светилу, в сиянии которого новый член «Арзамаса» «вместо Беаты» должен будет услышать «пение Соловья и Малиновки», также точно бьет в цель: «Соловей и Малиновка» — довольно фривольная басня В. Л. Пушкина, вся мораль которой сосредоточена в следующих ее заключительных стихах:

О, нежные сердца! Любовь из ничего родится, умирает,
И басни сей творец нередко повторяет:
В любви разлука нам опаснее всего.

Но еще более разительным примером поистине необузданной веселости Жуковского и образчиком его «вздорноречия», от которого в восторге захлебывался П. А. Вяземский,¹¹⁰ может служить уподобление дантовскому «Аду» одного из знаменитых произведений В. Л. Пушкина — его эротической героико-комической поэмы «Опасный сосед», в которой описана поездка автора с разгульным

¹⁰⁹ Арзамас и арзамасские протоколы, с. 143—144. — Под «арзамасским знаком» в данном случае устроители церемонии имели в виду эмблему «Арзамаса» — мерзлого гуся, которого В. Л. Пушкин должен был держать во все время, пока ему говорили приветственные речи.

¹¹⁰ Ср. письмо П. А. Вяземского к П. А. Плетневу, написанное после смерти Жуковского, в котором идет речь об издании его писем: «Печатайте без зазрения совести и неуместного целомудрия и шуговые письма его, буффонские, чисто арзамасские, где веселость его разыгрывалась во всю ивадовскую». См.: *Плетнев П. А. Соч. и переписка*. СПб., 1885, т. 3, с. 407.

Буяновым в московский притон; именно поэтому В. Л. Пушкин назван в посвященной ему речи «любезным странствователем», а самое его путешествие в публичный дом уподоблено нисхождению в преисподнюю. Как известно, «Опасный сосед» за свое весьма вольное содержание и откровенный язык не мог увидеть свет в России до XX в., но он получил широкое распространение в рукописных копиях и пользовался известностью: в поэме был дан необыкновенно яркий очерк «низовой» Москвы, пьяной компании, удалой тройки, на которой «любезного странствателя» увлек новый Вергилий — ротмистр Буянов. Все «арзамасцы», вероятно, знали текст «Опасного соседа» и не нуждались в пояснении, что стих, цитированный в конце приветственной речи В. Л. Пушкину («Прямой талант везде защитников найдет»),¹¹¹ был намеренно заимствован именно из этой забавной поэмы. «Опасный сосед» кончается бегством автора после потасовки, возникшей в заведении с появившимся здесь «брюхастым» полицейским; в заключительных строках читателю дается адская сцена: автор бежит, «и сам куда не зная», —

Косматых церберов ужаснейшая стая,
Исчадь адово, вдруг стала предо мной,
И всюду раздался псов алчных лай и вой. . .

Можно, разумеется, удивляться этой рискованной гротескной параллели между Данте и русским стихотворцем, придуманной Жуковским для забавной церемонии посвящения в «арзамасцы»; иным эта речь могла показаться неуместной и даже оскорбительной.

Мне не смешно, когда фигляр презренный
Пародией бесчестит Алигьери, —

говорил впоследствии пушкинский Сальери. Но все «арзамасцы» веселились от души. Сам В. Л. Пушкин не догадался о сыгранной над ним шутке, о чем свидетельствует мемуарист Ф. Ф. Вигель, подробно описавший «странный, смешной и торжественный» обряд принятия В. Л. Пушкина в «Арзамас»; «по старшинству лет (а он был на пятнадцать старше прочих арзамасцев) он был избран старостой, получил кличку „Вот“ и ряд комических преимуществ. Всем этим он остался весьма доволен».¹¹²

Во всей буффонаде была, однако, и серьезная сторона: арзамасцы не забывали об основной полемической цели своего литературного содружества. Когда в церемонии приема В. Л. Пушкина его призывали: «Гряди, подобно Данту, повинуйся спутнику твоему, рази без милосердия тени Мешковых и Шутовских», — сочинитель и слушатели прекрасно знали, что великий флорентиец был не только поэтом, но мужественным, негибаемым борцом.

¹¹¹ Иронико-комическая поэма / Под ред. Б. В. Томашевского. Л., 1933, с. 850.

¹¹² Вигель Ф. Ф. Записки. М., 1892, ч. 5, с. 41—43.

Биография Данте с ее трагической стороны, на фоне бурных военных и политических распрей его времени, становилась все лучше известна русским литераторам начала XIX в., и ей все чаще уделялось место в русской печати. Укажем в связи с этим на забытую статью о Данте, помещенную в московском еженедельнике 1807 г. «Минерва».¹¹³ Статья озаглавлена «Жалкая судьба стихотворцев. 1. Дант» и представляет собою довольно подробную биографию поэта и характеристику написанных им творений, в том числе его ранней лирики и поздней прозы. Вот что говорится здесь, например, о первой части «Божественной комедии»: «Трудно изобразить впечатление, которое произвела в Италии сия поэма, наполненная смелыми выражениями против пап, приносившими к смутным тогдашним обстоятельствам и объяснением некоторых недоразумений, колебавших умы, — поэма, писанная, впрочем, языком, не доведенным еще до зрелости, но принявшим под пером Дантовым благородство и величие, к которым казался несродным. Хотя оригинальный слог сего сочинения не всякому был понятен, хотя Дант имел многих *завистников*, но слава его — подобная тем сильным потрясениям, которых действие простирается на бесконечные расстояния, — не умолкла в продолжение пяти сот лет. Правда, что в поэме его виден мрачный и глубокий гений, сопряженный с пылким воображением, — примечательны даже разительные картины, которым нет подобных ни на одном языке» и т. д.

Эта статья о Данте в «Минерве» — переводная. Редактор или переводчик не скрыли от русских читателей французский источник, на котором основана была эта статья, помещенная в московском журнале. Самой статье предпосланы следующие вступительные строки: «Нельзя лучше изобразить ум и несчастья, постигнувшие Данта, как представив жизнь его, славным Риваролом помещенную в начале переведенной им поэмы: *Ад*. Выпишем от слова до слова любопытнейшие места, а другие сократим, чтоб излишними подробностями не навести скуки читателям».¹¹⁴

Это указание стоит особого внимания, поскольку перевод «Ада» с предисловием Ривароля был несомненно тем важнейшим источником, из которого и «арзамасцы», и последующие поколения почерпали и тексты для переводов, и свое понимание «Божественной комедии», и, наконец, свое представление об авторе.

Антуан Ривароль (1753—1801) был известен в России с конца XVIII в.; у нас хорошо знали его «Рассуждение о все-

¹¹³ «Минерва. Журнал российской и иностранной словесности» издавался в Москве в 1806—1807 гг. (являясь продолжением «Новостей русской литературы», 1802—1805); редактором его был писатель и профессор русской словесности в Московском университете А. В. Победоносцев (1771—1843), выступавший также в качестве переводчика, главным образом с немецкого языка.

¹¹⁴ «Минерва. Журнал российской и иностранной словесности, 1807, ч. 6, с. 81—90 (цитаты см. на с. 81 и 88—89).

общем употреблении французского языка», сатирический лексикон современников, стихи и «максимы», оставившие следы в творчестве А. С. Пушкина;¹¹⁵ цепился также и его перевод «Ада». В статье «Нечто о Ривароле» П. А. Вяземского говорится, что этот автор «известен в республике словесности по прекрасному переводу Данта».¹¹⁶ Другая статья о Ривароле, принадлежавшая перу К. Н. Батюшкова, была напечатана в «Вестнике Европы» за тот же 1810 г.¹¹⁷ Обе статьи внушены появившейся в 1808 г. книгой «*Esprit de Rivarol*», весьма заинтересовавшей русских читателей. «По мнению французов, — писал Вяземский, — в уме Ривароля была и сила Монтескье, и пылкость Дидерота, и тонкость Фонтенеля, и острая живость Пирона». В том же 1808 г. в Париже вышло «*Полное собрание сочинений*» Ривароля, «почти весь третий том которого (с. II—XXXII, 1—295) занят биографией Данте и полным прозаическим переводом „Ада“, снабженным комментариями».¹¹⁸

Во Франции заслуга Ривароля по истолкованию Данте была несомненно преувеличена. «Хвала Риваролю! — писал Сент-Бев в „*Causeries de lundi*“ 1854 г., — о его переводе Данте можно говорить плохое, сколько кому захочется, но никто не отнимет у него той заслуги, что он был у нас первым, кто с воодушевлением оценил существо и особенности гения Данте»; биограф Ривароля в конце XIX в. утверждал еще более категорически, что будто бы именно «он дал Франции Данте и что хорошо было бы об этом не забывать».¹¹⁹ Едва ли это справедливо. При всем блеске своего литературного стиля и умения владеть всеми ресурсами французского языка, Ривароль был капризным переводчиком, с полной непринужденностью руководствовавшимся собственными вкусами: переводя Данте, он всячески изменял подлинник, сокра-

¹¹⁵ Козмин Н. Пушкин-прозаик и французские остроловы XVIII в. — Изв. по русскому языку и словесности, 1928, т. 1, кн. 2, с. 542—548; Лотман Ю. М. Историко-литературные заметки. Пушкин и Ривароль. — Учен. зап. Тартуск. гос. ун-та, 1960, вып. 98, с. 313—314.

¹¹⁶ Вестн. Европы, 1810, ч. 3, № 13, с. 35.

¹¹⁷ Там же, ч. 4, № 23, с. 232—235.

¹¹⁸ *Oeuvres compl. de Rivarol, précédées d'une notice sur sa vie.* Paris, 1808. — Именно это издание находилось в библиотеке А. С. Пушкина. Фрагменты перевода «Ада», сделанного Риваролем, начиная с 1780 г. появлялись в различных французских изданиях; первое полное издание этого перевода вышло в свет в 1783 г., второе, без изменений, — в серии «*Bibliothèque des romans*» с предисловием, озаглавленным: «*De la vie et des poèmes du Dante*». Это и был источник русской статьи в московской «*Минерве*» 1807 г. (Уже после опубликования данной статьи в 1970 г. было установлено, что цикл очерков о «жалкой судьбе стихотворцев» (в том числе и компилятивный очерк о Данте на основе труда Ривароля) явился переводом глав из популярной в Европе начала XIX в. книжки Ж.-М.-Б. Бен де Сен-Виктора «*Великие поэты-несчастливцы*» (*B. de St-V. Les grands poètes malheureux.* Paris, 1802). См.: Горюхова Р. М. Образ Тассо в русской романтической литературе. — В кн.: От романтизма к реализму. Л., 1978. с. 122. — Прим. ред.).

¹¹⁹ *Lebreton A. Rivarol, sa vie, ses idées, son talent.* Paris, 1895, p. 114; *Cousson A. Dante en France,* p. 95.

шая или увеличивая его, перефразируя и пересказывая там, где это казалось ему необходимым. При передаче Данте, писал сам Ривароль в редакцию «Journal de Paris» в 1785 г., «чрезмерная точность была бы чрезмерной неточностью» («L'extrême fidélité serait une infidélité extrême»). Тем не менее его перевод пользовался популярностью как во Франции, так и в других странах, затмив перевод Мутоине де Клерфона. Именно «Ад» в переводе Ривароля был важнейшим источником знакомства с Данте ряда русских писателей от Карамзина до Пушкина включительно.¹²⁰

К самому концу XVIII в. относится еще один забытый русский перевод фрагмента из первой части «Божественной комедии» — П. С. Железникова; до сих пор он еще не упоминался. И автор этого перевода, и книга, в которой он помещен, настолько примечательны, что о них стоит сказать несколько слов.

Петр Семенович Железников был преподавателем русской словесности в старших классах первого кадетского корпуса в Петербурге. Он был известен как переводчик с французского «Приключений Телемака» Фенелона,¹²¹ а также, по словам С. Н. Глинка,

¹²⁰ Отметим, впрочем, проявившую себя, например, у «арзамасцев», склонность к изучению итальянской литературы в подлинниках, без посредства французского языка. Когда в год принятия в общество В. Л. Пушкина (1816) у «арзамасцев» возник замысел издать нечто вроде литературного альманаха, то его составители отразили в проспектах и планах этого издания интерес предполагаемых составителей к итальянской культуре. Так, например, Д. Н. Блудов обязался представить в альманах «капитальные», по отзыву Жуковского, «Отрывки из записок об итальянской литературе», К. Н. Батюшков готовился поместить здесь две статьи — «О Данте» и «О Боккаччо» (см.: Отчет имп. Публичной библиотеки за 1824 г. СПб., 1887, Прил., с. 158, 160; *Сидорова Е. А.* Литературное общество «Арзамас» — ЖМНП, 1901, № 7, с. 73). Личностью и творчеством Данте интересовался также Д. В. Дашков (1788—1839), вместе с Блудовым и Жуковским бывший основателем и одним из деятельных членов общества «арзамасцев». Он не только присутствовал на описанной выше церемонии принятия в общество В. Л. Пушкина, но даже был одним из говоривших ему приветственную речь. Литературная деятельность Дашкова не получила широкого развития из-за его дипломатической службы и последующей административной карьеры, но и за границей, и в России он продолжал интересоваться иностранными языками и литературами, античным миром, древними рукописями, писал прозаические статьи и делал стихотворные переводы из греческой антологии. Есть все основания полагать, что именно его перу принадлежат «Надписи к изображениям некоторых итальянских поэтов», без имени автора напечатанные в «Северных цветах на 1828 г.» (СПб., 1827, с. 74). Первая из этих «надписей» в антологическом роде посвящена Данте (за ней следуют еще три: «Петрарка», «Гроб Арноста» и «Тассо»):

Данте

Мраморный лик сей пред небом винит сограждан жестоких:
Данте, Гесперии честь, в скорби, в изгнании стенал.
Тщетно стремил он взоры к отчизне! . . . и в месть за страдальца,
Именем славным его будет отчизна сиять.
Спла! Флоренция, пышность, где вы? Но тень Уголина,
Образы Ада, Небес в лоне бессмертья живут!

¹²¹ Приключения Телемака, сына Улисса / Соч. Фенелона; Пер. с франц. Петр Железников. СПб., 1788. 2 ч.; 2-е изд. СПб., 1804—1805.

«некоторых произведений итальянской словесности».¹²² Между 1800 и 1804 г. П. С. Железников составил литературную хрестоматию, предназначавшуюся для внеклассного чтения его воспитанников, под заглавием «Сокращенная библиотека в пользу господа воспитанника первого кадетского корпуса».¹²³ В предисловии к этой хрестоматии составитель отметил: «Многие избранные места в сей книге из лучших авторов могут служить воспитанникам и образцом штиля, и материею для размышлений. Другие же в ней пиесы, более будучи относительно к их званию, тем более следственно могут быть полезны для них». И кадеты, действительно, оценили этот труд их любимого наставника.

«Из учителей моих я привязался более всех к Петру Семеновичу Железникову, преподававшему русскую словесность, — вспоминал А. Х. Востоков. — Он познакомил нас с сочинениями Карамзина, вступившими тогда только на сцену в московском журнале».¹²⁴ По словам Ф. Булгарина, «Сокращенная библиотека» П. С. Железникова произвела «самый важный нравственный переворот в корпусе, т. е. между кадетами, которые хотели что-либо знать»; для своего пособия «Железников извлек, так сказать, эссенцию из древней и новой философии, с применениями к обязанностям гражданина и воина, выбрал самые плодотворные зерна для посева в уме и сердце юношества. Различные отрывки в этой книге заставляли нас размышлять, изоощрять собственный разум и искать в полных сочинениях продолжения и окончания *предложенный*, поправившихся нам в отрывках. Кроме того, в „Сокращенной библиотеке“ мы находили образцы слога и языка, примеры систематического изложения мыслей и примеры гражданского и военного красноречия. Книга эта была для нас путеводительною звездою на мрачном горизонте и сильно содействовала умственному нашему развитию и водворению любви к просвещению».¹²⁵ Задумавшись однажды над тем, откуда учившийся в корпусе К. Ф. Рылеев, будущий декабрист, получил свои «либеральные идеи», Н. И. Греч уверенно, хотя и несколько наивно, утверждал: «Из книги „Сокращенная библиотека“, составленной для чтения кадет учителям корпуса, даровитым, но пьяным Железниковым, который помещал в ней целиком разные республиканские рас-

¹²² Из записок С. Н. Глинка. — Рус. вестн., 1866, № 2, с. 657. — Здесь же Глинка свидетельствует, что Железников был «страстным любителем Расина и Фенелона, Тасса и Петрарки» и что он «умер в молодости».

¹²³ Сокращенная библиотека в пользу господа воспитанника первого кадетского корпуса. 4 ч. СПб., 1800—1804. — Имя составителя на титуле не обозначено; однако посвящение в первой части е. . великому князю Константину Павловичу) подписано: Петр Железников.

¹²⁴ Из воспоминаний А. Х. Востокова о его детстве и юности. — Рус. старина, 1899, № 3, с. 660—661. — Любопытно, что во втором томе «Сокращенной библиотеки» Железников впервые опубликовал два стихотворения девятнадцатилетнего Востокова («Осеннее утро» и «Парнасс, или Гора изящности») — будущего поэта-радищевца, ставшего впоследствии знаменитым филологом.

¹²⁵ Булгарин Ф. Воспоминания. СПб., 1846, ч. 2, с. 72—73.

сказы, описания, речи из тогдашних журналов». ¹²⁶ Конечно, было бы ошибочно придавать хрестоматии Железникова решающую роль в возникновении общественных взглядов Рылеева, но нельзя и отрицать ту положительную роль, какую она играла в формировании мировоззрения русского юношества в начале XIX в. ¹²⁷ Историк русской учебной литературы справедливо замечает, что «по общему составу, идейной направленности и внутренней логике это было одно из наиболее выдающихся пособий изучаемого периода». «Сокращенная библиотека, — писал он далее, — представляет собой своеобразную энциклопедию прогрессивной мысли. Мы находим здесь рассказы о народных трибунах, республиканских войнах, о Сократе, Катоне, Сенеке, Демосфене; о Вашингтоне и Франклине; о Петре и Ломоносове; о Марфе Посаднице и новгородской вольнице». ¹²⁸

В первой части этой хрестоматии и помещен «Отрывок из Данте» под заглавием «Уголлин» (sic) — первая попытка передачи на русском языке знаменитого эпизода о графе Уголино из начала XXXIII песни «Ада» (ст. 1—78). С. Н. Глинка, как мы указывали выше, называл П. С. Железникова переводчиком «некоторых произведений итальянской словесности», однако переводил он не с итальянского, но с французского. С того же языка, вероятно, переведен им в прозе отрывок об Уголино, хотя странным и неоправданным представляется принятое Железниковым написание собственных имен — «Уголлин» (с удвоением «л», вместо Ugolino) или «Рогер» (вместо дантовского Ruggiero). ¹²⁹ Переводу П. С. Железников предпослал следующую заметку.

«Рогер звергает графа Уголлина вместе с его детьми в мрачную темницу, где они все, по его повелению, осуждены умереть с голоду. Данте, сочинитель поэмы *La divina commedia*, описывает в оной ужасную их смерть. Поэт, как известно, нисходит в преисподнюю. Проходя областями ада, по одну сторону видит он огненную пучину, по другую льдистые, необозримые равнины, где между бесчисленными толпами несчастных замечает одного человека,

¹²⁶ Греч Н. И. Записки о моей жизни. М.; Л., 1930, с. 444. — Уже давно было замечено, что дума Рылеева «Борис Годунов» основана на той характеристике этого исторического лица, которая дана Железниковым в третьей части его хрестоматии (см.: Маслов В. И. Литературная деятельность К. Ф. Рылеева. Киев, 1912, с. 207).

¹²⁷ Д. Кропотков (Несколько сведений о Рылееве. По поводу записок Греча. — Рус. вестн., 1869, № 3, с. 235) указал, что «Сокращенная библиотека» находилась в употреблении до 1845 или 1846 г., не возбуждая никаких опасений».

¹²⁸ Роткович Я. А. Очерки по истории преподавания литературы в русской школе. — Изв. Акад. пед. наук РСФСР, 1953, вып. 50, с. 99—100.

¹²⁹ См. стихи 13—14 в итальянском подлиннике (Inf., XXXIII):

Tu dei saper ch'io fui 'l conte Ugolino,
E questi l'arcivescovo Ruggieri.

Хотя в переводе Ривароля мы также находим сходные переделки этих имен (le comte Ugolin, l'archeveque Roger), Железников пользовался не его прозаическим переводом «Ада», а каким-то другим.

в бешенстве грызущего череп у другого. Он вопрошает его о причине такого остервенения и слышит следующее [далее следует самый перевод, из которого мы приводим начало]: Уголлин, подняв голову, раскаленными от ярости глазами смотрит на меня и, утирая окровавленные уста свои дымящимися волосами до половины оглоданного им черепа, говорит мне: Ты хочешь, чтобы возобновилось мое мучение? Сердце мое стонет при едином воспоминании требуемой тобой от меня повести. Но я готов снова стонать, лишь бы только ужас и трепет при каждом слове моем возрождались, лишь бы только уста мои точили яд на поругание изверга, мною грыземого. Я не знаю тебя, не знаю и того, как ты зашел сюда, но по наречию твоему, кажется, ты флорентинец. Имя Графа Уголлино, я думаю, тебе небезызвестно; ты перед собою его видишь, — а вот кости Рогера. . .», и т. д. Перевод этого эпизода сделан полностью; кончается он воспроизведением стихов 76—78, несколько ослабляющих подлинник этой дантовской терцины допущенной переводчиком грамматической несураздцей: «Сказав сие, глаза его снова засверкали искрами ярости. С живостью бросился он на кровоточащий остаток черепа и, подобно голодному псу, глотающему кости, начал снова ломать его зубами».¹³⁰

Не нужно смешивать хрестоматию П. С. Железникова с другой русской «Сокращенной библиотекой», выходявшей в свет в Москве приблизительно в то же самое время. Это был многотомный словарь биографий исторических деятелей,¹³¹ он переведен был с французского,¹³² и в нем, между прочим, находилась биографическая справка о Данте и характеристика его важнейших произведений,¹³³ но перевод сделан малограмотным ремесленником, плохо знавшим французский и русский языки и не имевшим представ-

¹³⁰ Сокращенная библиотека. . . , СПб., 1800, ч. 1, с. 350—355.

¹³¹ Словарь исторический или Сокращенная библиотека, заключающая в себе жития и деяния патриархов, царей, императоров и королей, великих полководцев, министров и градоначальников. . . , соч. обществом ученых людей. 14 ч. М., 1790—1802. — Полное заглавие этого московского «Словаря», история его возникновения и подробное описание содержания всех его частей даны в кн.: *Неустроев А. Н.* Историческое разыскание о русских по-временных изданиях и сборниках за 1703—1802 гг., с. 558—623.

¹³² И. М. Кауфман (Русские биографические и библиографические словари. М., 1955, с. 9—11), характеризуя «Словарь исторический», указал, что он является переводом-компиляцией двух французских словарей — «Dictionnaire historique» Лявока и «Nouveau dictionnaire ou Histoire abrégée. . . par une Société des gens des lettres» (ряд изданий начиная с 1759 г.), так как к переводу прибавлены лишь оригинальные биографии русских деятелей.

¹³³ Словарь исторический. . . , М., 1791, ч. 5, с. 53—56. — «Дант Алигери (sic) — итальянский стихотворец, родился во Флоренции 1265 года. Живое и горячее свойство (l) устремили его в любовь, стихотворство и заговоры. Он принял сторону Гибелина (l), врага пап. Сие означило то же, чтоб желать себе гонения: он и действительно был гоним Вонифатием VIII и Карлом Валоа, братом Филиппа Красивого, которого сей папа послал во Флоренцию, где много было рааных партий, для усмирения оных (l). Данте изгнан был в числе первых; дом его срыт, и земли разграблены. Он со всею своею фамилиею уехал в Верону и был оттуда выгнан», и т. д.

ления об авторе «Божественной комедии»; эта биография Данте, изданная у нас на исходе XVIII в., значения не имела.

Подведем итоги. Материалы, собранные в этой статье, должны были показать, как рано и какими сложными путями шло усвоение творчества Данте в России в XVIII и начале XIX в., до того времени, когда у нас появились в печати первые стихотворные переводы отрывков из его поэмы. Процесс раннего постепенного ознакомления с личностью и творчеством Данте растянулся у нас более чем на полвека. Во второй половине XVIII столетия, казалось, все благоприятствовало этому знакомству: в эту пору в русской «низовой» литературе была еще достаточно сильна рукописная апокрифическая традиция древнерусской письменности, и это создавало весьма удобную ситуацию для восприятия «Божественной комедии» по существу, как бы «изнутри», с точки зрения тех народно-апокрифических источников средневековья, из которых она выросла («Видение апостола Павла»). Однако именно на тот же период пришлось пора не только упадка славы Данте, но и полного развенчания его поэмы с точки зрения поэтики классицизма. «Спор о Данте», возникший во французской и итальянской литературах, односторонне отразился в русской критике, и у нас долго господствовали отрицательные суждения о Данте многих французских писателей, от Вольтера и до Лагарпа. Однако замечены были также сначала робкие, но затем все более уверенные попытки переоценки Данте во французской и немецкой литературах, знаменовавшие возникновение предромантических веяний.

Первые цитаты и опыты переводов фрагментов из «Божественной комедии» делались у нас в прозе, с французских прозаических переводов XVIII в. Положение изменилось лишь в конце 10-х и в 20-е гг. XIX столетия, но к этому времени более распространенными сделались у нас также итальянский язык и литература. Писатель и государственный деятель И. М. Муравьев-Апостол (1765—1851), отец декабристов, долго живший за границей, в своих «Письмах из Москвы в Нижний Новгород» произнес суждение, которое можно было бы сделать эпиграфом для последующего периода истории знакомства в России не только с Данте, но и с западноевропейскими литературами вообще: «Прочитай Данте на итальянском, Сервантеса на испанском, Шекспира на английском, Шиллера на немецком; тогда ты приобретешь некоторое право произносить над ними приговор».¹³⁴

Это написано в 1813 г. В следующем, 1814 г. в печати появилось первое стихотворение Пушкина.

¹³⁴ [Муравьев-Апостол И. М.]. Письма из Москвы в Нижний Новгород — Сыз отечества, 1813, ч. 9, № 44, с. 228—229. — Сам автор во всяком случае хорошо знал итальянский язык, «был коротко знаком» с итальянскими поэтами (например, с Дж. Кастри) и, разумеется, читал «Божественную комедию» в подлиннике. В предшествующем из своих «Писем», рассуждая об опасностях «умеренности», хотя бы она и добродетельно называлась, И. М. Муравьев-Апостол заметил: «... я скорее соглашусь с Дантом, который в аде своим выдумал особенный лимб для этих холодных философов, добрых, умеренных людей, которые могут не ненавидеть виновников гибели отечества своего» (там же ч. 9, № 39, с. 4).

ВОЛЬТЕР И РУССКАЯ КУЛЬТУРА XVIII ВЕКА

Широко известно, сколь многими сторонами своей личности, творческой биографии и литературной деятельности связан Вольтер с русской культурой его времени. Нельзя, однако, не заметить, что посвященная ему русская научная литература с давних пор охотнее разрабатывала вопросы о том воздействии, которое он оказал на русскую мысль или искусство, чем выясняла, в каких отношениях он сам им обязан. У нас всегда много писали о русском «вольтерьянстве», издавна уделяли особое внимание истории усвоения на русской почве идей «фернейского философа», распространению переводов его сочинений на русский язык или подражаниям им в русской литературе, но, например, даже внешняя история всех основных писаний Вольтера на русские темы не может считаться у нас изученной или даже просто изложенной в сколько-нибудь удовлетворительной степени. Некоторой популярностью у нас всегда пользовался исторический труд Вольтера о Петре I, но хранившиеся в России рукописные материалы, с ним связанные, стали известны читателям лишь в самое недавнее время. Многие из рукописей Вольтера, находившиеся в русских архивах и книгохранилищах, так и не увидели света (в их числе, например, сочинение Вольтера о русской крестьянской собственности, открытое В. И. Семевским и частично им использованное, но затем затерявшееся). Многие ли знают у нас о таких произведениях Вольтера, как, например, стихотворный памфлет его «Русский в Париже», в котором автор, скрывшись под «русским» псевдонимом, искусно высмеял французскую культуру с точки зрения русского наблюдателя? Кто пытался определить у нас объем познаний Вольтера в современной ему русской литературе, проанализировать отдельные отзывы его о произведениях русского искусства, о тех или иных особенностях русской исторической жизни? В результате мы и сейчас еще представляем себе недостаточно отчетливо всю историю восприятия Вольтером русской культурной эволюции, а отдельным его характеристикам, оценкам и суждениям в этой области придаем слишком мало цены.

1

Одной из основных идей Просвещения была идея прогресса европейской культуры, ее непрерывного эволюционного подъема. В поисках обоснований той мысли, что прогресс недостижим при политических либо культурных ограничениях, мыслители этой эпохи заметно раздвигали горизонты своих наблюдений: они обращались уже не только к античной древности, но, например, к древнему и современному Востоку. В круг новых историко-географических представлений французских философов быстро попала и Россия — и не случайно вскоре же заняла в их размышлениях

чрезвычайно важное место. Трудно найти такого французского писателя XVIII в., который не уделил бы ей той или иной степени своего внимания и любопытства. От Фонтенеля и Монтескье до Вольтера, Руссо и Даламбера, Мабли и Кондильяка, Реняля и Мирабо, Дора и Мармонталя тянется во французской литературе чрезвычайно длинный ряд сочинений о России во всех родах: здесь находятся оды и поэмы, драмы и романы, исторические сочинения и рассуждения на юридические, экономические и политические темы, памфлеты и похвальные слова. Представляется несомненным, что для многих из указанных писателей (а сделанное перечисление их и неполно и случайно) Россия, начиная примерно с 50—60-х гг. XVIII в., постепенно становилась одним из естественных центров их умственных интересов. Необыкновенное обилие суждений, высказанных о России во Франции XVIII в., а также специально выпущенных о ней сочинений создавало даже у некоторых новейших исследователей впечатление, что «русская тема» в круговороте идей французского Просвещения, в особенности в 60—90-х гг., звучала не менее, если даже не более отчетливо, чем тема английская: французская «руссомания» 80-х гг. становилась серьезной соперницей французской же «англomanии». Таково было, по крайней мере, еще наблюдение современника, барона М. Гримма, сделанное им около 1782 г. «В общем, — писал он, — русская нация в настоящий момент положительно находится в моде, и она заступила в этом отношении место английской нации».¹

Этот интерес к России, достигший такой силы и столь значительной распространенности, отличался характером сложным и противоречивым, и выработке его содействовали многоразличные причины. Было бы ошибочно думать, что во Франции он возник в результате одних лишь внешнеполитических обстоятельств и дипломатических отношений. Конечно, и те и другие могли здесь в различные годы содействовать укреплению и ослаблению любопытства к далекой северной державе, которую версальский двор то стремился удержать от сближения с Австрией, то прямо вовлекал в союз с нею для борьбы с Пруссией в период Семилетней войны; однако вовсе не политическим комбинациям или военным надеждам и опасениям принадлежала тогда главная роль в деле возбуждения обостренного внимания к России среди французских *lettrés*: корни его лежали все же прежде всего в философских исканиях этой поры. Молодое русское государство, перестроенное на европейский образец реформами царя Петра и быстро шедшее вперед по широкому пути укрепления своего международного авторитета, представляло собою обширнейшее и в то же время очень своеобразное поле для изучений и обобщений именно с точки зрения излюбленной идеи Просвещения — о возможностях и усло-

¹ *Mohrenchildt D. S. Russia in the Intellectual Life of Eighteenth Century France. New York. 1936. p. 48; Cp. также: Réau Louis. Les relations artistiques entre la France et la Russie, Paris, 1925, Introd.*

виях прогресса вообще. Что обеспечило России ее столь неожиданный рост и, казалось, внезапную культурную трансформацию? Как смогла она в столь короткий срок из «полуазиатской деспотии» превратиться в европейскую страну? Каковы перспективы ее дальнейшего процветания на поприще мирного труда, просвещения, искусства? Эти вопросы постепенно становились центральными в философских раздумьях о ней французских просветителей. Изучение процесса культурной эволюции и развития цивилизации в различных государствах Европы, Ближнего или даже Дальнего Востока, к которым во Франции в эти годы также намечался своеобразный интерес, в сравнении с Россией естественно отодвигалось на второй план, поскольку «Московское государство» представляло собою страну, с которой теснее соприкасались французские государственно-политические интересы, и притом гораздо более доступную для наблюдений и теоретических обобщений. Грандиозный эксперимент по приобщению к европейской культуре одного из «восточных» государств, каким допетровская Русь обычно представлялась западноевропейскому сознанию, становился тем интереснее для французов, чем ближе знакомились они с особенностями русской жизни. Не забудем при этом, что, приглядываясь к новой России, французские просветители могли открывать в ней и многие такие черты, которые напоминали им об их собственной родине, — следовательно, связанные с нею государственные и культурные проблемы могли представить для Франции острый, злободневный и вполне практический интерес. Этим и можно объяснить, что в обширнейшей литературе о России на западноевропейских языках, опубликованной в XVIII в., французским сочинениям принадлежит столь видное место.

Естественно, впрочем, что единодушия в суждениях о русском государстве, русском народе и созданной им культуре во Франции XVIII в. достигнуто не было. Иным из французских писателей казалось, что русское государство существует всего лишь несколько десятилетий, но заключает в себе все необходимые предпосылки для своего дальнейшего политического и культурного подъема, другие, напротив того, пытались вовсе отрицать прочность совершившейся в нем культурно-исторической перемены и объявили условным и внешним характер приданного ему «европейского колорита». Если часть французских писателей на все лады прославляла гениальное новаторство Петра и размах его деятельности, то другая часть, наоборот, выражала сомнения в том, смогут ли совершенные им реформы привиться в массе населения и пустить самостоятельные ростки. Несмотря на эту разногласию в суждениях и значительные расхождения в пристрастиях и предубеждениях, круг мыслей, возбужденных Россией, был в сущности ограничен и предопределен центральной проблемой прогресса, к различным решениям которой, применительно к России, в конечном счете и сводились во Франции все вызванные ею проблемы.

Обсуждение всех этих проблем началось во Франции в первые десятилетия XVIII в. Сильным толчком явилось уже пребывание

Петра I во Франции (1717). Одним из первых французских авторов, писавших о России в просветительском духе, был Фонтенель. В качестве секретаря Парижской Академии он написал царю Петру два письма: одно — с поздравлениями по поводу совершенных в России реформ и военных успехов Российской державы, другое — с благодарностью за избрание его членом Петербургской Академии. Он издал также «Похвальное слово царю Петру I» («Eloge du Czar Pierre I») с безоговорочными похвалами творческому гению преобразователя, равному которому он не видит в истории. Подобно многим другим своим современникам, Фонтенель полагал, что допетровская Русь была страной «варварской» и что лишь усилиями царя Петра она была приобщена к новой европейской жизни.² Сходные мысли высказывал маркиз д'Аржансон, друг энциклопедистов и автор известных мемуаров. В своих «Размышлениях о прежнем и современном правлении во Франции в сравнении с правлением в других государствах» («Considérations sur le gouvernement ancien et présent de la France, comparé avec celui des autres états»; напечатаны лишь после смерти автора в Амстердаме в 1764 г.) он замечает, что «Русская империя, или Московия, лет пятьдесят тому назад числилась только среди варварских наций»; «русских смешивали с татарами и казаками»; нынешний прогресс русского государства, по его мнению, обязан лишь одному царю Петру, которого он называет «законодателем и завоевателем, что образует в совокупности одного из самых великих людей, которых видел свет».³

И Фонтенель и маркиз д'Аржансон верили, что русский культурный прогресс имеет все основания продолжаться, что для него заложен прочный и оправданный исторически фундамент. Несколько иначе посмотрел на это Монтескье. В «Духе законов» (1749) он бросил Петру упрек в тирании, в коренном непонимании средств, с помощью которых следовало достигать намеченных целей, — а русское государство объявил царством произвола и беззакония. С точки зрения Монтескье, Россия представляет для Западной Европы интерес прежде всего благодаря скорости своей культурной эволюции; но на дальнейшем пути ее культурного развития, полагал он, могут встретиться значительные и трудно устрани-

² Fontenelle. Oeuvres. Paris, 1825, t. 2, p. 102, 409—412.

³ Признание России «варварским» государством в допетровскую пору, до реформ, сделалось общим слабым местом европейских о ней сочинений, что неоднократно впоследствии с огорчением констатировали и в Петербурге. Когда еще в 1790 г. Г. Сенак де Мельян обратился к Екатерине II с предложением написать книгу по истории России в XVIII в., она захотела узнать, достоин ли он такой работы, и писала А. С. Морданнову, что, прежде чем поручить ему этот труд, она должна получить уверенность, что он отрешается от предубеждений, свойственных большинству иностранцев, писавших о России, вроде, например, желания видеть в черном свете все, относящееся на ее счет, вне сопоставления с тем, что в то же время происходило в других странах, или утверждения, что русское государство «не имело ни законов, ни администрации до Петра I, тогда как, напротив, существовало и то и другое» (Оболенский М. А. Сенак де Мельян, французский эмigrant XVIII в. и его отношения к России. — Рус. архив, 1866, стб. 426).

мыё преграды — «дикость» и «варварство» народа, рабство, отсутствие политической свободы. Реформы были произведены крутыми мерами, и потому они едва ли привьются, тем более что они не отвечают и характеру самого государства, и климатическим условиям, в зависимости от которых находятся политический режим и весь народный быт. «Переменить нравы и обычаи — возможно только нравами же, самой жизнью, а отнюдь не законами и распоряжениями <...> легкость и быстрота, с какою Россия пошла по пути прогресса, лучше всего доказывают, что государь составил слишком дурное о ней представление <...> Если Петр и добился желаемых результатов, то совершенно независимо от своих варварских приемов...»⁴ Скептические взгляды Монтескье все же не были полным осуждением русской культуры и не заключали в себе слишком пессимистических прогнозов; там, где не препятствовали этому его предвзятые принципы и теории, Монтескье сочувственно относился и к русскому народу, к его прошлой истории и к его будущему.⁵

Значительно более суровый взгляд на Россию высказал Руссо. Всегда больше интересовавшийся Польшей, чем Россией, категорически отвергавший все попытки русского правительства войти с ним в какие-либо отношения и мало общавшийся со своими русскими современниками, Руссо несколько раз писал о России, но всегда в самых мрачных тонах. Отзыв его о русских людях был беспощаден. В своих «*Considérations sur la Pologne*» Руссо, например, пишет, что «русские относятся к свободным людям так, как следует относиться к ним самим, т. е. как к ничтожествам (*des hommes nuls*), над которыми только два орудия и имеют власть, — именно деньги и кнут (*le knout*)». С наибольшей законченностью пессимистические взгляды на русских и русскую культуру высказаны Руссо в знаменитом месте «Общественного договора» («*Du contrat social*», livre 2, ch. 8): «Русские никогда не будут слишком цивилизованы, потому что они были цивилизованы слишком рано (*ne seront jamais policés parce qu'ils l'ont été trop tôt*). У Петра был гений подражательный; он не имел истинного гения, который творит и создает все из ничего. Кое-что из того, что он сделал, было хорошо, но большинство его деяний было неуместно. Он видел, что его народ был варварским, но не видел, что народ еще не созрел для цивилизации, и захотел цивилизовать его, тогда как следовало только воспитать его для войн...».

Одним из тех французских читателей этого знаменитого трактата, которые резко возразили против цитированных слов Руссо, был, как известно, Вольтер. Указанное место «Общественного до-

⁴ Любопытно, что это подчеркнула и Екатерина II в своих замечаниях «В защиту Монтескье», написанных по поводу «*Lettres russiennes*» Струбе де Пирмонта, в которых он нападал на Монтескье за неверное и слишком суровое изображение русского государственного строя. См. Сочинения Екатерины II (СПб., 1907, т. 12) и статью А. Н. Пылина «Екатерина II и Монтескье» (Вестн. Европы, 1903, № 5).

⁵ *Montesquieu*. De l'esprit des lois, liv. 9, chap. 9.

говора» о царе Петре и русских вызвало реплику Вольтера в его «Философском словаре». «Следует признать, — писал он здесь, — что тот русский, который в 1700 г. угадал влияние просвещения на политическое состояние империи и смог понять, что самое большое благо, которое можно дать людям, — это заменить предубеждения справедливыми идеями, имел больше гения, чем тот жеженец, который в 1750 г. захотел нас уверить в больших преимуществах невежества». ⁶ С точки зрения Вольтера, тот прогресс, который характеризует современную ему Россию, всецело обязан творческой инициативе и просвещенной энергии царя Петра: «За те 85 лет, в течение которых воззрения Петра продолжали развиваться, русские совершили больше культурных успехов (*plus de progrès*), чем мы смогли сделать это за четыре столетия; разве это не свидетельствует о том, что эти воззрения не были воззрениями рядового человека?». На слова Руссо о том, что «русские никогда не будут цивилизованы», Вольтер откликнулся замечанием: «Я, по крайней мере, видел очень цивилизованных, и они имели ум точный, тонкий, приятный, обработанный и даже последовательный, что Жан-Жак, вероятно, найдет уже и вовсе необычайным». Коснувшись далее утверждения Руссо, что русским не удалось раскрыть свой национальный характер благодаря обилию иностранных влияний на русскую жизнь при Петре I, Вольтер, в свою очередь, возразил: «Тем не менее, эти же самые русские сделались победителями турок и татар, завоевателями и законодателями Крыма и двадцати различных народов; их государственная дала законы народам, даже имена которых неизвестны в Европе...». «В общем, я бы хотел, — заключает Вольтер, — чтобы те, кто судят о нациях с высоты своего чердака, были бы более честными и более осмотрительными...» ⁷

Приведенная полемика, составляя один из эпизодов в знаменитой «философской ссоре» двух крупнейших представителей французского Просвещения, не являлась ни случайной, ни побочной в общем столкновении их взглядов: она с замечательной ясностью наметила сущность их расхождений и различия данных ими формул прогресса. Больше того, по справедливому наблюдению Д. Мореншильда, эта полемика стала центральной в спорах о России французских публицистов XVIII в. и кристаллизовала два противоположных лагеря: около 1760 г. большинство французских мыслителей примыкало то к одному, то к другому. ⁸ В дальнейшем развитии этого спора «энциклопедисты» и тяготеющая к ним группа писателей в основном шли в своих суждениях о России за Вольтером. Шевалье де Жокур свою статью о России

⁶ *Voltaire. Oeuvres compl. / Éd. L. Moland. Paris, 1877—1885, t. 20, p. 218—220.* См. также: *Havens G. R.* 1) *Voltaire's marginalia on the pages of Rousseau: A comparative study of ideas.* Columbus (Ohio), 1933; 2) *Les notes marginales de Voltaire sur Rousseau.* — *Rev. d'histoire littéraire de la France*, 1933, vol. 40, № 3, p. 434—440.

⁷ *Voltaire. Oeuvres compl., t. 20, p. 218—220.*

⁸ *Mohrenshildt D. S. Russia in the Intellectual Life. . . , p. 242.*

в «Энциклопедии» в значительной степени построил на материалах, заимствованных у Вольтера.⁹ Дидро в общем разделял оптимистические взгляды Вольтера на русскую культуру и разошелся с ним лишь в частности, и то после своего пребывания в Петербурге. Даламбер придерживался сходных с Вольтером воззрений на русское просвещение и будущее русского государства, Лагарп шел еще дальше в своих похвалах, Мармонтель глазами Вольтера смотрел на дара Петра и сущность русского прогресса.¹⁰ Напротив того, Мабли,¹¹ Кондильяк,¹² Реналь,¹³ Мирабо¹⁴ в своих суждениях о России следовали главным образом за Руссо.¹⁵

Но эта полемика вышла и за пределы Франции; за нею, между прочим, внимательно следили и в России и в Англии; она периодически возобновлялась еще и в XIX в., определяла новые надежды и опасения европейских публицистов, десятилетиями будила общественно-политическую мысль, содействовала дальнейшим историко-софским спорам в различные фазы европейского и русского развития;¹⁶ вот почему воззрения Вольтера на русскую культуру доныне сохраняют для нас столь принципиальный интерес.

2

Возникновение интереса Вольтера к современной ему России с полным основанием связывают обычно с циклом его работ, посвященных Петру I и русской истории его времени. Хотя творческая история этих сочинений Вольтера и может считаться в настоящее время довольно хорошо изученной,¹⁷ однако как общая их оценка, так и некоторые связанные с ними вопросы требуют еще дополнительного освещения. Пора прежде всего разрушить старинную легенду о том, что история Петра I была заказана Вольтеру

⁹ Grande encyclopédie, vol. 14, p. 442—445.

¹⁰ Сведения об отношении к России Дидро собраны в статье: *Tronchon Henri. Un préromantique français en mission chez les Russes: Diderot (Tronchon Henri. Romantisme et préromantisme. Paris, 1930, p. 245—281). См. также «Поэму о женщинах» («Poème sur les femmes») Лагарпа со строфами, посвященными Екатерине II, и «Régence du Duc d'Orléans» (1784) Мармонтеля, восьмая глава которого посвящена «Путешествию царя Петра в Париж». О взглядах Даламбера см. его письма к Вольтеру 1762—1763 гг.*

¹¹ *Mably. Collection compl. des oeuvres. Paris, 1794—1795, vol. 12, chap. 1—3.*

¹² *Condillac. Cours d'études pour l'instruction du prince de Parme.*

¹³ *Raynal. Histoire philosophique des établissements et de la commerce des Européens dans les deux Indes (liv. 5, chap. 2; liv. 19, chap. 2).*

¹⁴ «Doutes sur la liberté de l'escaut».

¹⁵ Довольно подробный анализ всех трех суждений см. также в названной книге Д. С. Мореншильда (с. 242—248).

¹⁶ См., например: *Praal Louis. Les prédictions de Diderot, J. J. Rousseau et Condillac sur la Russie. — Mercure de France, 1918, août.*

¹⁷ *Шмурло Е.* 1) Петр Великий в оценке современников и потомства. СПб., 1912, вып. 1, с. 53; 2) Вольтер и его книга о Петре Великом. Прага, 1929; *Платонова Н.* Вольтер в работе над «Историей России при Петре Великом». — Литературное наследство. М., 1939, т. 33—34, с. 1—24.

по инициативе русского правительства и что при работе над ней Вольтером будто бы руководили корыстные мотивы, искательство перед русским двором, славодолюбие и расчеты на хорошую оплату его труда. Столетие тому назад, в пору борьбы с французским просветительством, у нас принято было именно так смотреть на эти сочинения Вольтера. Характерен, например, в этом смысле отзыв Н. А. Полевого: «Вольтеру заказали историю, и он написал несколько сот страниц остроумного и безобразного вздора, недостойного названия истории, до того, что сам Вольтер смеялся над своим трудом».¹⁸ Отзыв П. А. Вяземского был не менее уничтожающим: он находил, что вольтеровская «История Петра» — «подвиг, совершенный в силу дипломатико-литературных сделок», который «не отвечает достоинству ни героя, ни писателя».¹⁹ Подобные же суждения, высказывавшиеся, впрочем, иногда и в менее резкой форме, попадаются в нашей литературе и в более позднее время, а общий для них отрицательный смысл не окончательно изжит и доныне. Между тем история того, как писались эти труды, относящаяся к ним переписка и прочие материалы известны нам в настоящее время в гораздо большем объеме, чем столетие тому назад; не мог не измениться и самый критерий их оценки с точки зрения историографической и историко-литературной.

Что касается того, как у Вольтера возник замысел его труда, то следует подчеркнуть, что идея его вовсе не была внушена ему из России, но выросла вполне органически из его собственных историко-философских исканий и литературных интересов. Еще в 1717 г., молодым человеком 23 лет, Вольтер имел случай встретить царя Петра гуляющим по улицам Парижа. «Когда я его видел ходящим по парижским лавкам, — писал впоследствии Вольтер к Тьерно, — ни он, ни я еще не подозревали, что я однажды сделаюсь его историком».²⁰ Во весь рост образ Петра встал перед Вольтером лишь тогда, когда он работал над книгой о другом «герое Севера» — шведском короле Карле XII (1731), побежденном Петром под Полтавой. Вольтер поражен был контрастом между двумя этими историческими личностями и должен был отдать предпочтенье русскому царю: Карл XII был для него не более как герой безумной отваги, Петр I — государственным создателем, преобразователем Российской державы. В 1737 г., затеяв новое издание своих сочинений, Вольтер пересмотрел свою «Историю Карла XII» и принужден был признать, что в этом труде он уделит слишком много места битвам и слишком мало углубился в подробности «благодеяний, оказанных царем Петром I человечеству». Но этими подробностями еще не располагала в достаточной мере западноевропейская литература о России; однако любопытство Вольтера было так велико, что он счел нужным обратиться

¹⁸ Полевой Н. А. Обзорение русской истории до единодержавия Петра Великого. СПб., 1846, с. XIII.

¹⁹ Вяземский П. А. Фонвизин. СПб., 1848, с. 13; ср.: Полн. собр. соч. СПб., 1880, т. 5, с. 8—9.

²⁰ Письмо от 12 июня 1759 г.: *Voltaire. Oeuvres compl.*, vol. 23, p. 290.

за материалами к прусскому королю. Результат этого обращения известен: «Хлопоча у Фридриха, Вольтер наметил даже вопросы, своего рода программу, заранее определявшую характер тех данных, какие требовались для него. Вопросы эти любопытны уже сами по себе. Вольтеру хотелось знать, в чем собственно заключалась реформа Петра в области церкви, управления, промышленности; что полезного ввел русский царь в своем войске; каковы успехи, достигнутые в деле просвещения; действительно ли русский народ такой необразованный и дикий, как обыкновенно о нем говорят, и прочее тому подобное. Очевидно, — замечает Е. Шмурло, — в ходе внешних событий Вольтер ориентировался уже раньше; но ему недоставало знакомства с самим строем страны, с теми основными и далеко не всегда доступными непосредственному наблюдению факторами, что собственно и обусловили могущество новой России».²¹ В ответ на поставленные вопросы Вольтер от Фридриха II получил (в январе 1738 г.) известную записку Фокеродта, секретаря прусского посольства при Петербургском дворе, впоследствии изданную (в 1789 и 1791 гг.), оригинал которой сохранился в библиотеке Вольтера, находящейся ныне в Ленинграде.²² Но и записка Фокеродта мало удовлетворила Вольтера: краски, положенные Фокеродтом на изображенную им картину, казались слишком мрачными, общая характеристика страны — несправедливой и пристрастной, а главное — материалы, им доставленные, были в сущности скудными и совсем незначительными в сравнении с теми, которых Вольтер ожидал и которых он добивался. Чтобы получить недостававшие данные, Вольтер оставалось последнее средство — апеллировать непосредственно к русскому правительству, что он в конце концов и осуществил, но не без значительного труда и разочарований. Об этих настойчивых попытках Вольтера, первоначально лишенных каких бы то ни было расчетов и корыстных побуждений, у нас нередко забывают; между тем уже давно известно, что ему потребовалось свыше пятнадцати лет, чтобы удовлетворить свое любопытство в вопросах русской истории, и что, прежде чем получить от русского правительства официальный заказ на составление истории Петра I, Вольтер испробовал все способы получить для своих исторических занятий столь необходимые ему материалы. Вот что пишет по этому поводу Е. Шмурло: «В 1745 г. Вольтер послал императрице Елизавете экземпляр своей „Henriade“, а также „Sur la philosophie de Newton“ для Петербургской Академии Наук и стал хлопотать через французского посланника д'Альона о чести быть принятым в число членов последней», — в надежде, что принадлежность к петербургской корпорации ученых облегчит ему пользование русскими историческими материалами для задуманной книги о России. «Почетным членом Академии Вольтера выбрали (1746), но историком Петра делать не спешили. Канцлер Бесту-

²¹ Шмурло Е. Петр Великий. . . , с. 53.

²² Там же, Прил., с. 69; Фурсенко В. Рец. на кн.: Correspondance de Frédéric le Grand avec Voltaire, t. 1. — ЖМНП, 1909, № 6, с. 420—428.

жев-Рюмин энергически противился такому поручению, находя его непатриотичным, и полагал более достойным возложить труд составления книги не на иностранца, а на свою русскую Академию Наук. Напрасно в 1747 г. Вольтер вторично напомнил о своем желании; год спустя, в 1748 г., он дополнил новое издание своих сочинений собранными им „Anecdotes sur le czar Pierre le Grand“, но дела своего этим не подвинул нисколько. В 1751 г., вероятно, в надежде на непосредственное личное воздействие, он даже выражал намерение приехать в Петербург, но и тут граф Разумовский, президент Академии, очень недвусмысленно отклонил эту поездку».²³ Лишь тогда только, когда при дворе выросло влияние И. И. Шувалова, отношение к Вольтеру и к задуманным им предприятиям резко изменилось. «Давний поклонник Вольтера, в частности, французских манер и образованности вообще, Шувалов полагал, в противность Бестужеву, лестным и желательным участие знаменитого писателя в деле прославления великого государя, и уже в начале 1757 г. Вольтер мог самодовольно извещать своих друзей о том, что русская императрица зовет его к себе в Петербург, поручая написать биографию ее отца. В Петербург Вольтер не поехал, но за самую работу принялся не медля».²⁴

Как все это мало похоже на традиционные утверждения, будто Вольтер выполнял заказ русского правительства в надежде на щедрый гонорар и ценные подарки, которыми должна была быть оплачена эта его услуга! В каком фальшивом свете представлялась обычно тревожная настойчивость французского писателя в его обращениях в Петербург и его неослабавшие усилия в поисках необходимых ему материалов, в желании во что бы то ни стало удовлетворить свое ученое любопытство! Как неправильно в этом отношении толковались и его письма, в которых идет речь об этих его занятиях!

Собственные заявления Вольтера по поводу уже написанной или изданной им «Истории» Петра не всегда нужно понимать буквально, памятуя о том, что одним из характерных свойств вольтеровской эпистолярной манеры была не только скептическая усмешка, но и тонкое искусство всецело применяться к своим собеседникам. Вольтер посвящал их в существо вопроса только до той степени, какую он считал доступной для их понимания, и порою сознательно утверждал то, что следовало понимать как раз в обратном смысле. Цитаты из вольтеровских писем не имеют значения исторических свидетельств без учета того, к кому эти письма обращены; пресловутая «легкость» его суждений представляет собою зачастую лишь тонкий психологический эксперимент, который он производил над своими корреспондентами. Характерно, например, что, когда в начале 1760 г. вышел в свет первый том «Истории Петра I», Вольтер разослал экземпляры этого издания множеству лиц, среди которых было немало светских

²³ Шмурло Е. Петр Великий. . . , с. 53—54.

²⁴ Там же, с. 54.

дам.²⁵ То, что писал Вольтер в своих сопроводительных письмах, естественно, следует всегда понимать применительно к тому лицу, которое Вольтер имел в виду в каждом отдельном случае. «Что может быть скучнее для парижанки, чем подробности о России?» — иронически вопрошал он одну из светских красавиц, m-me de Fontaine (29 сентября 1760 г.), очевидно, прямо рассчитывая на то, что ее самолюбие будет затронуто и что она тотчас же постарается опровергнуть такое предположение в своей гостиной. «Что будете вы делать с Великой Пермью и самоедами?» — по этому же поводу и столь же иронически спрашивал он графиню д'Аржанталь (13 октября 1760 г.), легкомыслие и светский блеск которой были ему столь же хорошо известны. Однако письмо к маркизе Дюдеффан при посылке ей той же книги заключало в себе уже более интимное автопризнание, поскольку Вольтер обращался на этот раз не просто к одной из представительниц великосветского Парижа, но к хозяйке знаменитого литературного салона, в котором бывали Монтескье, Уолполь и Даламбер и в котором он мог найти настоящих ценителей своего сочинения. Вольтер писал Дюдеффан (10 октября 1760 г.), что его «История» написана не для развлечения, что это прежде всего «ученый труд», и мы предпочтем ему верить именно в данном случае.

По свидетельству принца де Ляня, Вольтер будто бы в его присутствии однажды сказал Констану по поводу своих исторических сочинений о России: «Вы с ума сопли; если вы хотите знать что-либо, возьмите Лакомба: он-то не получил ни медалей, ни мехов». Это часто цитируемое место воспоминаний о Вольтере принца де Ляня (*Mon séjour à Voltaire*), — которое, конечно, имеет в виду и Н. А. Полевой в приведенном выше отзыве о вольтеровской «Истории» Петра I,²⁶ — едва ли следует принимать всерьез. Речь здесь может идти о книге Лакомба «*Histoire des Révolutions de l'empire de Russie*» (Paris, 1760) или о другом сочинении того же автора — «*Abrégé chronologique de l'Histoire du Nord. . .*» (Amsterdam, 1763), в которой России уделено значительное место наряду с Данией и Швецией. Вольтер не мог не знать, что обе эти книги, первоначально заслужившие в общем одобрительные отзывы французских журналов (например, «*Journal Encyclopédique*», 1760, Juin), похваливших легкость их стиля и отсутствие в них авторских претензий, в конце концов были осуждены именно со стороны точности сообщаемых ими данных и доброкачественности положенных в их основу источников; оказалось, что эти книги, в общем достаточно враждебные русской культуре в целом,²⁷ были не весьма искусной вульгаризацией нескольких немецких печат-

²⁵ *Mohrenshildt D. S. Russia in the Intellectual Life. . .*, p. 222—223.

²⁶ Рассказ принца де Ляня см. уже в «Вестнике Европы» (1809, ч. 46, № 15, с. 188), где он заимствован из «*Lettres et pensées du maréchal Prince de Ligne*» (Paris, 1809); ср. также: *Бильбасов В. Исторические монографии*. СПб., 1901, т. 4, с. 471; *Шмурло Е. Петр Великий. . .*, вып. 1, Прил., с. 83.

²⁷ См., например: *Abrégé chronologique. . .*, 1, p. 580—617: «*Remarques particulières sur la Russie*».

ных сочинений о России, поэтому вскоре после своего появления книги Лакomba расценивались во Франции не выше, чем поверхностно написанные компиляции для широкого читателя.²⁸ Следовательно, отсылая к ним Константа, Вольтер, вероятно, противопоставлял их своей «Истории», появившейся одновременно с ними, как раз в обратном смысле, чем принято думать: Константу рекомендовался популярный компилятивный труд, написанный не только без всякой тенденции, но даже без всякой точки зрения; легкая занимательная книга противопоставлялась серьезному собственному труду, только сделано это было в обычной для Вольтера пролической манере; слова его могли скорее задеть его собеседника, чем удовлетворить его любопытство, если бы он в состоянии был разобраться в существе того совета, который ему был преподнесен.

Мы знаем теперь вполне отчетливо, что два тома «Истории Российской империи при Петре Великом» (1759—1763), как назывался этот труд Вольтера, были действительно не только *ученым трудом*, каким хотел считать его сам автор, но и таким сочинением, которое поставило себе по тому времени совершенно *новую задачу исторического исследования*. По замыслу Вольтера, личная история царя Петра должна была предстать перед читателями обрамленной картинами тех перемен во внутреннем состоянии России, которые произведены были его преобразованиями. Поэтому-то Вольтер и требовал неотступно присылки ему архивных материалов по истории русского войска, торговли, промышленности, финансов, общественных прав, что книга его старалась наметить новый тип исторического исследования — культурную историю народа — вместо занимательного биографического повествования, которое требовалось историографией предшествующего периода. Это был не только значительный шаг вперед, это был новый этап исторической науки.

3

Книга Вольтера с большим интересом встречена была во всей Европе, но, как известно, вызвала разнообразные упреки как русских, так и западноевропейских критиков; иные из этих упреков были заслужены и справедливы, другие могли быть следствием личной неприязни к автору или простого недопонимания;²⁹ тем не менее все же остается несомненным, что в XVIII в. в Европе мало было написано таких сочинений о России, которые получили бы столь длительную славу и столь универсальное распространение. Чтобы убедиться в этом, достаточно взглянуть в общеизвестные библиографические пособия вроде «Bibliographie Voltairienne» Керара (оттиск из «La France littéraire»), в соответствующие раз-

²⁸ Mohrenskildt D. S. Russia in the Intellectual Life. . . , p. 211.

²⁹ Ibid., p. 222.

дела труда G. Bengesco «Bibliographie des œuvres de Voltaire» (1882—1890), в «Catalogue de la section des Russica» (St. Petersburg, 1873, t. 2, p. 496—497), в книгу Р. Минцова «Pierre le Grand dans la littérature étrangère» (St. Petersburg, 1872) и т. д.; однако и совокупность представляемых ими сведений не дает нам исчерпывающей картины; специальный сводный библиографический труд, в котором перечислены были бы все оригинальные и «пиратские» издания «Истории Российской империи при Петре Великом», все переводы книги на различные европейские и восточные языки, все подражания ей в исторической и художественной литературе, все, наконец, вызванные ею произведения искусства, мог бы единственно дать настоящее представление о ее действительной славе и продолжительности ее влияния.

Л. Пенго справедливо считает, что Вольтер этой своей книгой увлек воображение своих соотечественников на далекий север;³⁰ он дал не только исторический труд, основанный на документальных данных, какими еще не могли располагать его современники, но вызвал в Европе первое восхищение культурой народа, призванного к новой государственной жизни гением ее преобразователя, возбудил огромный интерес и к личности самого царя. Книгу Вольтера трудно переоценить в этом смысле, но остается пожалеть, что еще не было предпринято такого исследования, которое выяснило бы значительность тех идейных и художественных воздействий, какие оказала она во всей мировой литературе.

Во Франции XVIII в. Вольтер сильно популяризировал образ царя Петра, и книга его являлась непосредственной, то косвенной причиной целой серии художественных произведений о русском царе — эпических поэм, а затем и драм и романов. Характерно, что большинство французских «Петреид» приходится на начало 60-х гг., т. е. как раз на то время, когда появились оба тома «Истории Российской империи при Петре Великом». Укажем, например, на эпические поэмы о царе Петре Антуана-Леонара Тома (1732—1785) и Бакюлара д'Арно (1718—1805), трудившихся над своими произведениями одновременно и независимо друг от друга: их поэтическое соревнование вызвало даже немалый интерес в литературных кругах Парижа.³¹ Бакюлар д'Арно,

³⁰ *Pingaud Léonce. Les précurseurs des études russes au XVIII s. — Rev. des études russes, 1899, vol. 1, p. 48—53.*

³¹ В 1760 г. Тома в первый раз услышал, через третьих лиц, от Фрерона, что существует французский поэт, «лет пять работающий уже над тем же сюжетом» о царе Петре. Вскоре Фрерон даже напечатал об этом известие, желая «испугать Тома», но последний сохранял спокойствие, утешаемый друзьями. «Как, неужели же д'Арно хочет поместить свою тачку рядом с вашей колесницей?» — одобрительно восклицал, обращаясь к Тома, Мармонтель (*Henriet Maurice. Correspondance inédite entre Thomas et Barthe. — Rev. d'histoire littéraire de la France, 1917, vol. 17, p. 131, 493*). Башомон, упомянув поэму о Петре Бакюлара д'Арно, также говорит, что он находится в «раздраженной конкуренции с Тома», но что ему «не совладать с таким противником» (*Bachaumont. Mémoires secrets pour servir à l'histoire de la République des Lettres en France. London, 1777, vol. 1, p. 283*). Вольтер к этому времени находился в ссоре с Бакюларом д'Арно, которому некогда сильно протежи-

по-видимому, свою поэму не окончил, по крайней мере она в печати не появилась; Тома свою поэму писал всю жизнь, но она опубликована была — также в неоконченном виде — лишь в 1802 г. Однако и та и другая несомненно испытали на себе влияние книги Вольтера, а Тома, помимо этого, побуждаем был и личным вмешательством Вольтера в его творческий замысел и получал от него письменные одобрения и советы всякого рода.

Большую эпическую поэму «Czar Pierre I» в двенадцати песнях А.-Л. Тома, по всем данным, задумал еще до выхода в свет первого тома вольтеровской «Истории» (замысел его относится к концу 1759 г.), но составление первоначального плана поэмы и первые поэтические фрагменты ее возникли под впечатлением чтения вольтеровского труда. Еще при получении первого известия о том, что книга Вольтера печатается и вскоре выйдет в свет, Тома писал своему другу Барту (10 декабря 1759 г.): «Смею сказать, что не найдется ни одного русского, который будет читать ее с большим интересом, чем я».³² Ознакомившись с книгой, Тома почерпнул из нее и общую концепцию образа царя-реформатора, и многие детали его человеческого облика, и представление о ходе русской культурной эволюции.³³ Через несколько лет в письме к Тома (от 22 сентября 1765 г.) Вольтер в самых поощрительных выражениях отозвался об его эпическом замысле; если снять с отзыва несомненный налет светской льстивой учтивости, который неизменно сопровождал письма Вольтера к этому его собрату, специально культивировавшему жанр «похвальных слов», то в словах Вольтера останется все же действительная заинтересованность этим произведением Тома и желание видеть его законченным. «Мне сказали, — пишет Вольтер, — что вы сочиняете эпическую поэму о царе Петре. Вы созданы для того, чтобы прославлять великих людей; вам и надлежит живописать своих собратьев. Я представляю себе, что в нашей поэме будет высокая философия. Наш век возвысился до подобного тона, и вы не мало этому способствовали».³⁴

Чрезвычайно любопытно, что Вольтер, с одной стороны, и «ученик Вольтера» Андрей Петрович Шувалов, с которым Тома были в переписке,³⁵ — с другой, привели автора этой французской «Пет-

рвал (*Inkjaar D. François-Thomas de Baculard d'Arnaud, ses imitateurs en Hollande.* 'sGravenhage, 1925, p. 1—8, 17—18), и последний был в близкой дружбе со злейшим врагом Вольтера — Э. Фрероном.

³² Rev. d'histoire littéraire de la France, 1917, vol. 17, p. 123.

³³ *Micard Etienne.* Un écrivain académique au XVIII s. Antoine-Léonard Thomas. Paris, 1924, p. 94 e. suiv.

³⁴ Ср.: *Faguet Emile.* Histoire de la poésie française. Paris, s. a., vol. 8, p. 332. (Les poètes secondaires du XVIII s.).

³⁵ *Henriet Maurice.* L'académicien Thomas d'après des correspondances inédites. — Bull. du bibliophile, 1917, mars—oct., p. 304—306. — И сожалению, этот любопытный печаток мне не удалось разыскать в библиотеках Ленинграда и Москвы. Любопытно, что Тома был в переписке также и с И. И. Шуваловым, — Н. Голицын напечатал письмо Тома к И. И. Шувалову от 24 сентября 1765 г., следовательно, написанное в то же самое время, когда автор «Czar Pierre I» обменялся письмами с Вольтером по поводу этой

реиды» к Ломоносову и к русской литературе вообще. О Ломоносове Тома должен был получить представление от Шуваловых; мы не знаем, располагал ли он французской «Ode sur la mort de M. Lomonosof» А. П. Шувалова, изданной в Петербурге в 1765 г., но несомненно, что он имел под руками французский перевод «Похвального слова Петру» Ломоносова, напечатанный в Петербурге по постановлению Академии наук в 1759 г.³⁶ Тома приводит из него выдержки и дает его цельную характеристику в своем «Опыте о похвальных словах» 1773 г. Не подлежит также сомнению, что о других произведениях русской литературы в том же жанре Тома знал непосредственно от Вольтера и что он упомянул о них в своем «Опыте» по его указаниям.

В письмах к Тома Вольтер неоднократно возвращался к эпической поэме о царе Петре, над которой Тома медленно, но настойчиво работал из года в год и которая в конце концов сделалась главным поэтическим трудом его жизни, — Вольтер это знал и поэтому не раз заговаривал с ним об этом произведении. В письме от 14 июня 1771 г. Вольтер писал Тома: «Вы хорошо сделали, избрав (для своей поэмы) героя, прибывшего с Ледовитого моря; мы почти не имеем своих на Сене и Луаре. Правда, что герой ваш имел две натуры: он был наполовину хищным зверем (*loup-cervier*) и наполовину человеком, но это человек, которого вы воспеваете. А знаете ли вы, что произошло около года назад на его могиле? Императрица Российская велела петь над этой могилой православную молитву: „Тебе бога, хвалим“ (*un Te Deum en grec*)

своей поэмы (Литературное наследство. М., 1937, т. 29—30, с. 274—276); однако это письмо Тома к И. И. Шувалову осталось вовсе не разъясненным и заключающиеся в нем намеки не раскрыты комментатором. Тома пишет: «Прекрасный подарок, которым вы меня удостили, явился для меня неожиданностью, и я буду хранить его с вечной к вам признательностью. Говорят, что у каждого верующего есть своя любимая реликвия, которую он особенно бережно хранит, часто к ней обращается; теперь и у меня есть реликвия. Я благоговейно буду лобзать ее и время от времени воспевать в гимнах. Великие люди заслуживают такого же поклонения, как и святые, а тот, о ком идет речь, имеет на него безусловное право». Речь несомненно идет о каком-либо портрете царя Петра, который Тома получил в подарок от И. И. Шувалова. Такое предположение вполне подтверждается и дальнейшим содержанием данного письма Тома, в котором идет речь именно о русском царе; характерна при этом его типично вольтеровская концепция значения Петра для русской культуры: «...начавши прославлять его, я с радостью отмечаю все, в чем сказывается огромный произведенный им переворот, а одного личного знакомства с вами, милостивый государь, уже достаточно, чтобы признать этот переворот изумительным. Вы в Петербурге лучше владеете нашим языком, чем многие из французов — в Париже. Подобно Петру Великому вы совершаете путешествия, но с одним различием: он был в поисках знаний, которые намеревался перенести на Север, а вы с далекого Севера переносите к нам такие знания, которые мы были бы рады обрести в собственной среде» и т. д.

³⁶ Panégyrique de Pierre le Grand, prononcé dans la séance publique de l'Académie Impériale des Sciences le 26 avril 1755, par M. Lomonosow, Conseiller et Professeur de cette Académie et traduit sur l'original Rus sien par M. le Baron de Tschoudy. St. Petersbourg, 1759. См. также: *Модвалесский А. Б. Рукопись Ломоносова*. Л. 1937, с. 267.

по случаю морской победы, уничтожившей весь турецкий флот. Архимандрит по имени Платон, столь же красноречивый, как и афинянин, возблагодарил Петра Великого за эту победу и напомнил России, что до него в языке этого обширного государства неизвестно было самое слово для обозначения флота. Это, сударь, стоит наших проповедей в Сен-Роке и Сент-Эстапе...».³⁷

Факт, о котором сообщает Вольтер, действительно имел место. В 1771 г. архимандрит тверской Платон произнес над гробом Петра I слово по случаю Чесменской победы, нарисовав здесь Россию, Петром «перерожденную и, так сказать, из повсеместного ничтожества возведенную, и в самом младенчестве на сухом пути и на море врагов своих устраившую». Это слово было тогда же задано и вскоре переведено на французский язык.³⁸ Вольтер знал его именно по этому изданию, так как оно имелось в его библиотеке.³⁹ Что касается Тома, то он не замедлил воспользоваться указанием Вольтера и сообщить о нем в том же своем «Опыте о похвальных словах», в котором он цитирует Ломоносова.

Приведа несколько отрывков из «Похвального слова Петру Великому» Ломоносова и удостоверив, что в большинстве своих частей это слово отличается «подлинным и благородным красноречием» (*le ton d'un vtaie et noble éloquent*), Тома продолжает: «Когда, лет сто назад, Россия была едва известна, и потомки древних скифов были еще наполовину дикарями, и место, где в настоящее время расположена их столица, представляло собою лишь пустыню, тогда еще нельзя было ожидать, что еще до конца века здесь будет культивироваться красноречие и что скиф на берегу Финского залива, на пятнадцать градусов удаленный от Понта Евксинского, произнесет панегирик в Петербургской Академии». «И еще менее можно было ожидать, — пишет Тома далее, — что в 1771 г. оратор на самой могиле царя Петра произнесет благодарственное слово душе этого великого человека по случаю победы, одержанной русским флотом в Средиземном море, посреди островов архипелага. Эта идея, достойная древних греков, веривших, что гений великих людей всегда находится среди них и что душа их присутствует среди их сограждан, чтобы воодушевлять и поддерживать их труды, является, быть может, лучшим воздаянием законодателю России. По странной случайности этот оратор назывался Платоном, и говорят, что его красноречие делало его достойным носить это знаменитое имя. Так искусства совершают свой путь по всему миру. Это более не скиф Анахарсис, путешествующий в Афины, теперь это самые искусства Греции, как бы путешествующие к скифам».

³⁷ *Faguet Emile*. Histoire de la poésie française, vol. 8, p. 333—334.

³⁸ Sermon prêché par ordre de S. M. Imperiale sur la tombe de Pierre le Grand le lendemin du jour que l'on recut à St. Petersbourg la nouvelle de la victoire navale remportée sur la flotte turque dans l'église cathédrale de St. Petersbourg, Archevêque de Twer. Trad. du russe. A Londres. MDCCLXXI [1771]. См.: Catalogue de la Section des Russica, t. 2, p. 105, № 766.

³⁹ Pot-pourri, t. 82, № 2 (шнфр: II.6.148).

В заключение Тома дает своего рода обобщение о будущности русского искусства, приведя при этом несколько любопытных признаний и оценок, весьма, казалось бы, необычных в устах француза XVIII в. «Русские — пишет он, — имеют ум гибкий и легкий; язык их, после итальянского, — самый нежный язык в Европе (*La langue la plus douce de l'Europe*); и если новое законодательство, возвышая умы, заставит, наконец, исчезнуть здесь долгие следы деспотизма и рабства; если оно сообщит всему телу народа ту деятельность, которая до сих пор отличала властителей и дворянство; если великие успехи будут продолжать изумлять и пробуждать воображение, а идея национальной славы заставит родиться и у отдельных лиц идею личной славы, то гений, который не один раз видели здесь на троне, распространится понемногу и во всем государстве (*sur l'empire*), и даже изящные искусства, пересаженные в этот климат, вероятно, смогут здесь укорениться и будут некогда культивироваться здесь с успехом».⁴⁰

Мы узнаем в этой тираде не только характерную аргументацию Вольтера и не раз высказывавшееся им убеждение, что Россия станет некогда обиталищем муз, но и прямые следы его письменных сообщений Тома. Фраза Тома о русском проповеднике — «говорят, что его красноречие делало его достойным носить это знаменитое имя» — может служить прямым свидетельством того, что в его руках не было французского перевода «Слова» Платона и что он, скорее всего, основывался на вышеприведенном письме к нему Вольтера. Рассказанный случай представляется типичным: Вольтер не только возбудил у французского поэта огромное любопытство к царю Петру, превратившееся в преклонение и обожание, не только поддерживал в нем в течение ряда лет интерес к творческому замыслу — изобразить любимого героя во весь рост в большой эпической поэме, но и всячески содействовал возбуждению его внимания к русской культуре и к русскому искусству. Другие французские писатели XVIII в., писавшие о Петре и русской государственности, о русском просвещении или поэзии, в большинстве случаев также обязаны были Вольтеру как своему вдохновителю и источнику, хотя далеко не всегда в столь сильной степени, как Тома.⁴¹

⁴⁰ «Опыт о похвальных словах» относится к 1773 г.: цитирую его по отдельному изданию: *Essai sur les éloges / Par Thomas, de l'Académie Française. Paris, 1804, t. 2, p. 281—282.* — Интересно отметить, что этот «Essai» был переведен и на русский язык: *Опыт о похвальных словах, или история их словесности и красноречия / Соч. Томаса; пер. с франц. Дмитрий Воронов. СПб., 1824, 2 ч.* — «Plan du poëme sur le czar Pierre I-er», а также сохранившиеся песни с вариантами к ним напечатаны в «Oeuvres posthumes de Thomas» (Paris, An X [1802], t. 1).

⁴¹ Любопытно, что помимо Тома и Бакюлара д'Арио одновременно с ними над своими эпическими поэмами о Петре трудились еще два малоизвестных французских поэта — Robert Lesuire (см.: *Michaud. Biographie universelle, vol. 24, p. 333—335*) и G. S. de Mainvilliers (? — 1776). Вторая из этих поэм, с характерным заглавием «*La Poëtréade, ou Pierre le Créateur*», была издана в Амстердаме в 1762 г. и переиздана в следующем, 1763 г. См. «Catalogue. . . des Russica» (t. 1, p. 760, № 117—118). Д. С. Морепшильд

Немалое распространение книги Вольтера о Петре I и России получили также и за пределами Франции, например в Англии. Достаточно напомнить здесь хотя бы о Смоллете и Голдсмите. Когда в Лондоне вышла в свет многотомная «Всемирная история», где и новейшей истории России уделено было некоторое внимание, Т. Смоллет тотчас же откликнулся на это издание рецензией в своем «Критическом обозрении» (1762, май), в которой обвинял составителей соответствующих «русских» разделов в беззастенчивых плагиатах из Вольтера и Бюшинга;⁴² он мог сделать это с тем большим правом, что сам издавал в это время в сотрудничестве с Томасом Франклином собрание сочинений Вольтера в новом английском переводе с комментариями (1761—1765).⁴³ Смоллет обнаружил при этом особый интерес к сочинениям Вольтера по русской истории, снабдил их своими замечаниями и попутно упрекнул его даже в некоторых исторических и географических неточностях; так, например, он подсадовал на Вольтера за то, что тот подверг своего Задига «русскому наказанию кнутом», хотя действие этой повести происходит в Вавилоне⁴⁴ и хотя, — прибавим мы от себя, — об этом наказании Смоллет, вероятно, знал из других сочинений того же Вольтера.

Не менее усердным читателем тех же сочинений Вольтера был и другой знаменитый английский писатель — Оливер Голдсмит. Возможно, что именно к Вольтеру восходят биография Екатерины I и сведения о Меншикове, включенные Голдсмитом в 62-е письмо его «Гражданина мира» («Citizen of the World», 1762),⁴⁵ и, быть может, не без его же влияния один из «очерков» Голдсмита посвящен переводу знаменитого петровского «Объявления, каким образом ассамблеи отправлять надлежит», изданного в Петербурге в 1718 г.⁴⁶

(Russia in the Intellectual Life. . . , p. 281) называет Менвиля «авантюристом и полутемным поэтом», известным своим собранием сатир под заглавием «Le petit maitre philosophe». Решаемся отождествить его с тем Chevalier de Mainvilliers, которому барон Чуди поручал издание Петербургского журнала «La Caméléon littéraire» в 1755 г. по случаю своего отъезда за границу и в котором Вольтеру уделялось немалое внимание (см.: Попова М. Н. Теодор-Герих Чуди и основанный им в 1755 г. журнал «Le Caméléon littéraire». — Изв. АН СССР. Отд-ние обществ. наук, 1929, № 1, с. 29—30).

⁴² Martz Louis P. Tobias Smollett and the Universal History. — Modern Language Notes, 1941, Jan., vol. 56, p. 4.

⁴³ Joliat Eugène. Smollett, editor of Voltaire. — Modern Language Notes, 1939, vol. 54, p. 429—437; Crane Ronald S. The Diffusion of Voltaire's Writings in England. — Modern Philology, 1923, Febr., p. 266.

⁴⁴ Joliat Eugène. Smollett et la France. Paris, 1935, p. 152—153.

⁴⁵ Об этом, впрочем, ничего не говорят ни Hamilton J. Smith (Oliver Goldsmith's «The Citizen of the World». — Yale Studies in English, 1926, vol. 71), дающий наиболее полный источниковедческий анализ этого произведения Голдсмита, ни A. L. Sells (Les sources françaises de Goldsmith. Paris, 1924), подробно останавливающийся на вопросе о влиянии Вольтера на Голдсмита.

⁴⁶ Goldsmith O. Rules enjoined to be observed at a Russian assembly (Essays, VII).

Быть может, все приведенные примеры покажутся несколько случайными, но они все же дают некоторое представление о действительном *размахе* популярности важнейших книг Вольтера о России. О *продолжительности* их влияния говорит хотя бы тот факт, что в восточных литературах эти книги переводили еще в середине и в конце XIX в. На арабский язык, как это мы знаем теперь после детального исследования акад. И. Ю. Крачковского, «История Российской империи при Петре Великом» переведена была в 1850 г., а на турецкий, по указанию В. А. Гордлевского, даже в конце этого столетия — в шестом томе журнала «Малюмат» «учителем французского языка в Трапезунде — Сабихом». ⁴⁷ Историк турецкой литературы этот факт справедливо представил иллюстрацией того, «как плохо знали Россию в Турции в конце XIX века»; нас может поразить в нем и другое — неистребимая популярность этой исторической книги и разнообразие тех воздействий, какие она оказала в различных уголках земного шара.

Книга Вольтера о России при Петре Великом и связанные с нею «Anecdotes sur le czar Pierre le Grand» (1748) были не единственными его работами, в которых он писал о русской культуре. К обсуждению «русских дел», состоянию русского просвещения, законодательства, искусств и поэзии, к характеристике общего культурного уровня русских людей он возвращался много раз и в целом ряде своих сочинений, и в своих многочисленных частных письмах. Любопытно при этом, что их общая оценка мало менялась в течение ряда десятилетий: Вольтер безусловно был восхищенным ценителем русской культуры и имел полное право считать себя одним из ее действительных знатоков. В 60—70-х гг. его, как и прежде, интересовали самые разнообразные вопросы, касающиеся России. История церкви и проблема веротерпимости в западных областях русского государства, ⁴⁸ учреждение законодательной комиссии и турецкая война ⁴⁹ несколько не меньше возбуждали его любопытство, чем уставы петербургских Академии наук или Академии художеств, новые книги, вышедшие в России, или репертуар русских театров. Мы находим об этом ряд свидетельств в его сочинениях; с другой стороны, весьма любопытным подтверждением широты его русских интересов и изучений может служить состав его библиотеки, заключавшей в себе прекрасный по полноте подбор изданий, относящихся к различным отделам «россияки».

В современной ему русской культуре Вольтера поражала прежде всего быстрота ее развития и многообразие ее проявлений. Он многократно восхищался необыкновенной талантливостью русского народа и как бы «внезапностью» достигнутых им успе-

⁴⁷ Восток, 1925, кн. 5, с. 209.

⁴⁸ См.: Взгляд Вольтера на восточную церковь в сравнении ее с римскою. — Вестн. Юго-западной и Западной России, 1864, июнь, № 12, с. 77—95.

⁴⁹ *Voltaire. Oeuvres compl.*, t. 10, p. 435.

хов на культурном поприще. Среди второстепенных произведений Вольтера, отсутствующих в русских переводах и не пользующихся у нас особой популярностью, есть небольшой стихотворный памфлет, весьма любопытный в том отношении, что он косвенным образом обобщает суждения Вольтера о русской культуре и дает сравнение ее с французской. Этот памфлет носит название «Русский в Париже» (1760) и напечатан Вольтером под одним из тех условно-русских псевдонимов, которыми он так любил пользоваться (Ivan Alethoff).⁵⁰ Эта сатирическая поэма представляет собою диалог между парижанином и русским путешественником, приехавшим в Париж, чтобы «поучиться» — «повидать знаменитый народ, понаблюдать, послушать...». Парижанин встречает заезжего русского гостя с высокомерным самодовольством: как? в России ничего не слышали о таких изданиях, как «Journal de Trévoix» или «Journal du Chrétien»? О, варвары! — В Париже считали северян более образованными. Между тем ославленный русский путешественник, который, к стыду своему, действительно ничего не слышал об ученом иезуитском периодическом издании и мало интересовался журналами воинствующих католиков, постепенно начинает знакомиться с другими сторонами французской культуры, изучать которую он приехал из далеких стран, и разочарование его наступает чрезвычайно быстро: по его мнению, — резюмирующему мнение самого Вольтера, скрывшегося за именем «Ивана Алетова», — учиться во Франции более нечему; она утратила свой былой культурный блеск; остались лишь одни претензии; старые писатели позабыты, и их место заняли новые посредственности; так, например, о Мольере никто не вспоминает более, но зато воцарился Руссо. И огорченный русский путешественник уезжает обратно на родину, восклицая, что он «вернется тогда, когда французы изменятся». Эта сатира, направленная, по-видимому, против Лэфран де Помпьяна и его сторонников⁵¹ и, конечно, имевшая в виду прежде всего осмеяние соотечественников, не случайно, однако, выводит в качестве основного судьи и alter ego самого автора воображаемого русского путешественника. Вольтер искренне считал русских людей своего времени наиболее объективными ценителями европейской культуры. Он не раз говорил об этом своим русским гостям и совершенно отчетливо сформулировал это наблюдение в том чрезвычайно интересном посвящении

⁵⁰ Ibid., p. 119—131. — Этимологически вольтеровский псевдоним «Ivan Alethoff», конечно, восходит к греческому ἀληθής (истинный, прямой), но эвфонически он рассчитывал и на сходство его с русскими фамилиями на -ов, как было и в другом случае с выбором Вольтером псевдонима «Alexis Plokhoff» (Алексей Плохов), быть может, восходившего на этот раз непосредственно к русскому прилагательному. Вопрос о Вольтере и русском языке на общем фоне его лингвистических изысканий заслуживал бы особого внимания. Впрочем, русские псевдонимы были тогда в моде во Франции: напомним хотя бы затею французского драматурга Кармонтеля называть себя в печати «русским князем Иднерцовым».

⁵¹ Rev. d'histoire littéraire de la France, 1917, vol. 17, p. 497.

трагедии «Олимпия» своему русскому приятелю И. И. Шувалову, которое разыскано было среди ленинградских рукописей Вольтера, находящихся в его библиотеке. Говоря здесь, что у всех народов вместе с духовным развитием являлась потребность и в искусствах, Вольтер замечал: «... ныне это в удивительной степени проявлено вашим народом. Не было другой нации, которая так скоро научилась бы совмещать просвещение с суровым и тяжким ремеслом войны. Не прошло и шестидесяти лет с той поры, как положено было начало столице вашей империи — Петербургу, а у вас уже давно существуют там научные учреждения и великолепные театры, а наряду с этим воины ваши снискивают себе славу на берегах Одера и Эльбы...». И Вольтер прибавлял: «Упомянуть ли в числе этих неожиданностей и чудес о вашем умении говорить на нашем языке так же правильно, как говорим мы в Париже, и судить о написанном нами не с меньшим, чем мы, вкусом, но с большим беспристрастием».⁵²

Именно эта исторически сложившаяся объективность критерия русских ценителей европейской культуры и давала Вольтеру право вложить в уста воображаемому русскому путешественнику такие суждения о современной французской культуре, которые он считал истинными и справедливыми. Памфлет «Русский в Париже» не принадлежит к тому излюбленному в XVIII в. жанру сатирических писем, где какой-либо иностранец сатирически изображал страну, по которой он путешествовал, потому что в отличие от «персов» Монтескье, «китайцев» маркиза д'Аржанса или «перуанцев» мадам де Графиньи «Иван Алетов» изображен как беспристрастный представитель более *высокой* культуры, с точки зрения которой он и судит Францию; в его приговорах нет никакой наивности и ни малейшего лукавства; наконец, он вовсе не сопоставляет иноземную культуру со своей отечественной: он попросту огорчен, что не нашел в Париже того, что ожидал там встретить; в образе разочарованного русского путешественника нет ничего смешного, но, напротив, все должно возбудить к нему сочувствие, а все насмешки приходится на счет осудившего его парижанина. Любопытно, что в библиотеке Вольтера сохранился рукописный итальянский перевод этой его сатиры.⁵³

Об объективности суждения как признаке русской культуры, равно внимательной ко всем явлениям западного и восточного мира, Вольтер говорит и в том эпизоде своей повести «Вавилонская принцесса», в котором Россия выведена им под именем «страны киммерийцев». Этот эпизод имеет существенное значение для понимания того, что в современной ему русской культуре Вольтер ценил всего более: не стесненный формой исторического изложения, он свободно обобщал свои наблюдения для тех, кто в состоянии был понять его иноязычный язык и напол-

⁵² Люблинский В. С. Наследие Вольтера в СССР. — Литературное наследство, т. 29—30, с. 28.

⁵³ «Il Russo a Parigi» в «Pot-Pourri» (шифр Н.7.208.3).

нить реальным содержанием сказочные и символические образы его действующих лиц. Напомним, что в этой повести принцесса, совершая длительное путешествие по различным странам вместе с бессмертным Фениксом, попадает и в государство киммерийцев, «некогда мало отличавшееся от Скифии, но с некоторого времени процветавшее не менее других королевств, считавших себя распространителями просвещения». Феникс сознался, что он был в этой стране давно и не узнавал ее теперь: «Удивительно, — сказал он, — как в такое время возможно было произвести столь необыкновенную перемену? Всего триста лет тому назад я видел дикую природу со всеми ее ужасами, теперь я нахожу здесь искусства, блеск, славу и любезность». «Один человек [Петр I] положил начало этому великому делу, — ответил Фениксу киммериец, — и одна женщина [Екатерина II] довершила его творение; эта женщина была лучшей законодательницей, чем египетская Изиды и греческая Церера; большинство законодателей обладали узкими и деспотическими взглядами и обособляли свою страну; каждый из них смотрел на свой народ, как если бы он один был на земле или должен был быть непременно враждебным другим народам. . .». Здесь не так: в государстве все направлено на то, чтобы оно «отвечало потребностям всех населяющих его народов»; у киммерийцев господствует «свобода всех исповеданий и сострадание ко всяким заблуждениям»; правительница поняла, что «правственность одна, хотя религии различаются между собой, — таким образом, она ввела народ в общение со всеми прочими народами земли, и *киммерийцы смотрят как на брата на скандинава и также на китайца*. Она сделала больше, она желала, чтобы драгоценная терпимость, эта первейшая связь между людьми, была принята также у соседей. . .». Придя в восторг от всего, что ему рассказал этот киммерийский вельможа, Феникс восклицает тогда: «Сударь, двадцать семь тысяч девятьсот лет и семь месяцев я живу на свете и никогда не слышал ничего подобного тому, что я узнал от вас. . .». В этих обобщениях присутствует несомненно утопический элемент; «страна киммерийцев» — это, конечно, не столько подлинная Россия, сколько та, какую он хотел ее видеть, притом отвлекаясь в этот идеальный мир от некоторых отрицательных признаков своего собственного отечества; тем не менее многое в этой характеристике основано и на реальных наблюдениях, и задача комментатора этой повести, между прочим, заключается и в том, чтобы к указанной беседе Феникса с киммерийским вельможей привести параллельные места из других высказываний Вольтера о России; подобных мыслей найдется немало в сочинениях и письмах автора «Вавилонской принцессы».

Существенно, что для того чтобы иметь право делать заключения, подобные вышеприведенным, Вольтер не упустил ни одной из открывавшихся перед ним возможностей информации о столь интересовавшем его русском государстве. Если работа над книгой о Петре познакомила его, единственного из иностранцев, с мно-

жеством архивных данных для русской истории, с такой полнотой не известных еще и русским историкам, если переписка с деятелями Петербургской Академии наук и Екатериной II раскрыла для него многие другие стороны русской культурной жизни, а частое личное общение с русскими людьми позволило ему дополнить все эти данные многими новыми наблюдениями, то Вольтер не пренебрег также и разнообразными книжными и журнальными данными о России на всех европейских языках. В этом убеждает нас прежде всего его библиотека, в которой оказался прекрасный подбор всевозможных иноязычных сочинений о России. Любопытно, что эти книги приобретались им до конца его жизни; следовательно, интерес его к русской культуре никогда не ослабевал.

Мы найдем в его библиотеке книги о России на французском, английском, итальянском и немецком языках; здесь встречаются и основные труды в этой области и многие библиографические редкости. Из знаменитых книг XVII в. мы находим здесь прежде всего французское издание путешествий Адама Олеария,⁵⁴ затем французский перевод книги голландца Стрейса,⁵⁵ книги Невилля⁵⁶ и Ги Мьежа⁵⁷ в подлинниках. Для начала XVIII в. он располагал также известным сочинением о Петре I капитана Перри,⁵⁸ амстердамским французским изданием труда шведа Филиппа Страленберга «Северная и восточная часть Европы и Азии» (Амстердам, 1757; оригинал — Стокгольм, 1730),⁵⁹ известие о России при Петре I на основании личных воспоминаний лорда Чарльза Витворта, отсутствовавшее во французском переводе, имелось в библиотеке Вольтера в английском подлиннике,⁶⁰ «Жизнь Петра I» Ант. Катиφόро — в итальянском ориги-

⁵⁴ Шпфры приводим по рукописному каталогу библиотеки Вольтера, составленному в 1838 г. (7.9.267). Труд Олеария во французском переводе Jean Wickefort (1656, 1659, 1666 г. и дальнейших изданиях вплоть до Амстердамского изд. 1732 г.) был хорошо известен во Франции, как это видно, например, из «Персидских писем» Монтескье (письмо LI) и замечаний самого Вольтера (ср.: *Nisard. Mémoires et correspondances. Paris, 1858, p. 31—32.*)

⁵⁵ *Les voyages de Jean Struys en Moscovie, en Tartarie, en Perse. Amsterdam, 1681* (голландский оригинал: Amsterdam, 1676). — у Вольтера было два издания этой книги (8.6.191).

⁵⁶ *La Neuville. Relation curieuse et nouvelle de Moscovie. Paris, 1699* (4.6.207).

⁵⁷ [Miège Guy]. *Les trois ambassades du comte Carlisle. Amsterdam, 1700* (предшествующие издания — 1669, 1670, 1672 г.) (4.5.103).

⁵⁸ У Вольтера находилось издание: *Etat présent de la Grande-Russie. Bruxelles, 1717* (английский оригинал: Лондон, 1716) (4.6.206). Вольтер широко воспользовался этой книгой для первого наброска своей книги о Петре (см. его письмо к И. И. Пувалову от 7 августа 1757 г.: *Oeuvres compl., t. 39*); много материала извлекли из нее Монтескье («De l'esprit des lois») и Chevalier de Jaucourt в статье о России в «Энциклопедии».

⁵⁹ Во французском переводе Барбо де ля Брюйера, находившемся в библиотеке Вольтера, книга называлась «Description historique de l'empire russe» (№ 2423).

⁶⁰ «Account of Russia in the year 1710» (автор Ch. Whitworth) был напечатан в сборнике Rich. Dodsley «Fugitive Pieces on various Subject» (1758).

нале,⁶¹ как и письма Альгаротти.⁶² Труд Жана Руссе, писавшего под псевдонимом Baron Iwan Nestesuranoi, «Mémoires du règne de Pierre le Grand» находился здесь как во французском оригинале, так и в английском переводе.⁶³ Были здесь и «Anecdotes du règne du Pierre Premier, dit le Grand, Czar de Moscovie» (1745) Soulas d'Allainval'я⁶⁴ и «Histoire des révolutions de l'empire de Russie» Ж. Лакомба в первом парижском издании 1760 г.⁶⁵ Книга Шаппа д'Отроша «Путешествие в Сибирь» (1768) стояла здесь рядом с направленным против нее «Антидотом» — в амстердамском издании 1771 г. Были здесь и некоторые произведения Г. Ф. Миллера. Девятитомное «Sammlung russischer Geschichte» (St. Petersburg, 1732—1764) было известно Вольтеру и цитируется им, хотя и отсутствует среди его книг, но в библиотеке его оказался все же один из трудов Миллера о Сибири: «Voyages et découvertes faites par les Russes le long des côtes de la mer glaciale...» (Amsterdam, 1766).⁶⁶ Не упоминаем уже о целой серии брошюр и изданий малого объема на русские темы, объединенных Вольтером, для удобства пользования, в переплетенных сборниках, так называемых «pots-pourris»; здесь находятся и листовки, и различные печатные, а иногда и рукописные материалы; любопытно находящееся в одном из переплетов французское издание уставов Петербургской Академии художеств (Privilèges et Règlements de l'Academie Impériale des Beaux Arts, peinture, sculpture et architecture, établie à St. Petersburg avec le Collège d'Education qui en dépend. Nouv. éd. rev. et corr. à St. Petersburg, 1765).⁶⁷ Вольтер собирал также все иноязычные книги, выходившие в Петербурге,⁶⁸ и произведения художественной ли-

⁶¹ *Catiforo Ant. Vita di Pietro il Grande Imperador della Russia. Venezia, 1739* (первое издание — 1736): 9.3.37.

⁶² *Algarotti Franc. c. te. Saggio di lettere sopra la Russia. Parigi, 1760.*

⁶³ В «Pot-pourri», Angleterre, № 3 (11.7.198) имеется издание: *The Northern Worthies, or the Lives of Peter the Great, Father of his Country and Emperor of Russia. . . transl. from the French Originals, just publ. . . by Monsieur Fontenelle. London, 1728.* — Это перевод «Eloge du czar Pierre» Фонтенеля, вслед за которым следует перевод из Руссе—Нестесуранои: *Cr.: Catalogue de la sect. des Russica, t. 2, p. 119.* Французский оригинал: 3.6.202.

⁶⁴ 4.6.204.

⁶⁵ 4.6.217.

⁶⁶ 8.6.192. — Во французском переводе существовал еще другой труд Г. Ф. Миллера — «Essai abrégé de l'histoire de Novgorod» (Copenhague, 1771), но Вольтер, кажется, его не знал.

⁶⁷ «Pot-pourri» (9.9.329), № 19. — В этом же переплете (№ 18) имеется также «Supplément à la Gazette de St. Petersburg» (№ 49). В «Pot-pourri» 59 (9.9.335) отмечен под № 7 «Lettre de Monsieur de Panin au Prince Repnin» (St. Petersburg, 1767, 3 fevr.), в «Pot-pourri» 78 (9.9.336) под № 11 — французский текст трактата, заключенного Екатериной II со Станиславом-Августом, королем польским (1769), и т. д.

⁶⁸ Среди них отметим, например, итальянскую драму Джузеппе Бонечи (*Bonichi G. Mitridate, dramma. S. Pietroburgo, 1747; 7.8.254*), придворного петербургского пошты (см. о нем: *Бренков Е.* Итальянский поэт Бонечи и его служба при театре в царствование Елизаветы Петровны. — *Русск. вестн.*, 1888, № 8, с. 354—361).

тературы вообще, посвященные России.⁶⁹ Для своего времени это было действительно прекрасное по полноте подборка собрание. Многие книги носят на себе следы чтения их Вольтером, имеют его закладки, отчеркивания, приписки на полях, замечания всякого рода и т. д. Очевидно, оно подобралось не случайно и изучалось весьма внимательно. Вольтер, действительно, хотел знать все, что мог, о русском государстве и русской культуре.⁷⁰ Естественно, что вопросы о русском искусстве и литературе поднимались у него неоднократно, когда он перелистывал страницы всех этих зданий, тем более что среди них были книги, брошюры и журнальные статьи, им специально посвященные, о которых мы не упомянули в сделанном выше их беглом обзоре. Некоторые из них настолько интересны, что на них стоит остановиться подробнее.

5

Нам уже пришлось указать, что о некоторых произведениях русской литературы Антуан-Леонар Тома знал от Вольтера. Можно пожалеть о том, что до сих пор еще не подвергался особому рассмотрению вопрос о том, что именно знал Вольтер о современной ему русской литературе и каков был объем его познаний в этой области; это в свою очередь подтвердило бы высказанные выше предположения о том, что он имел основания считать себя в некотором смысле «знатоком» русской культуры. Не побывав в России подобно Дидро или Бернарден де Сен-Пьеру и не зная русского языка, Вольтер, однако же, с многими наиболее выдающимися памятниками русской поэзии был несомненно знаком ближе и лучше, чем большинство его соотечественников. Попробуем несколько подробнее разобраться в этом вопросе.

О русских писателях и их произведениях Вольтер, естественно, в состоянии был знать лишь то, что он мог прочесть о них по-французски, или то, о чем он мог услышать из устных сообщений своих русских собеседников. Хотя в одном из своих писем (аббату д'Оливе 25 марта 1754 г.) Вольтер и заявлял, что он «понемногу знает все новые языки Европы»,⁷¹ но русский в их число не включался. Правда, в работах над русскими историческими материалами (поступавшими к нему в обработанном виде

⁶⁹ См., например, «Pot-pourri» 2, № 2 (9.9.339); Demetrio, Tragedia. In Padova, 1749 (вероятно, G. A. Bianchi).

⁷⁰ «Rossica» в библиотеке Вольтера нуждается в особом систематическом изучении; в частности, любопытно было бы составить подробный перечень журнальных статей о России, которыми располагал Вольтер в составе имеющихся у него довольно полных комплектов таких журналов, как «Journal Encyclopedique», «Mémoires de Trévoux» и др. Известную помощь в этом может оказать составленный Мореншильдом в приложении к его книге «Russia in the Intellectual Life of Eighteenth Century France» специальный указатель: «Articles on Russia in the Eighteenth-Century Periodicals» (p. 311—315).

⁷¹ Voltaire. Oeuvres compl., t. 33, № 2725.

и в переводах) Вольтеру приходилось сталкиваться и с отдельными русскими словами, именами и географическими названиями, но известно то легкомыслие, с которым он относился к их транскрибированию; поэтому он воспроизводил их в своих сочинениях зачастую в искаженной форме, заслужив этим упреки со стороны русских и даже иностранных критиков.⁷² В своем известном письме Сумарокову Вольтер писал: «Вы в сравнении со мною имеете чрезвычайное преимущество, я не знаю ни одного слова вашего языка, вы же превосходно владеете моим собственным»; та же мысль многократно высказывалась им в письмах И. И. и А. П. Шуваловым, С. П. Румянцову и многим другим русским корреспондентам.

Однако космополитическим тенденциям своего времени Вольтер, как известно, весьма сочувствовал и приветствовал рост и развитие разноязычных литератур, являясь в известной степени предшественником той идеи единства мировой литературы, которую в дальнейшем предстояло декларировать Герлеру, а поднять на щит — лишь поколению европейских романтиков.⁷³ Вольтер внимательно следил за теми французскими журналами своего времени, которые стремились расширить литературные горизонты своих читателей по крайней мере до всевропейского масштаба; характерно, например, что в 1764 г., получив первые номера вновь предпринятого издания «Gazette Littéraire de l'Europe», — с его универсальными тенденциями и корреспонденциями из разных стран (в котором он и сам собирался сотрудничать по итальянскому и испанскому отделам), — Вольтер остался доволен в особенности тем, что авторы «Gazette», как ему казалось, понимают все языки.⁷⁴

Нормативная эстетика французского классицизма сопоставляла произведения различных народов не для установления различий между ними или ради выяснения их специфических особенностей, но для понимания связующей их общности; господствующий эстетический принцип еще лишен был сознательного критерия историзма, и прекрасное или «прогрессивное» в литературе обычно рассматривалось как *вневременное и наднациональное*; преимущества же разноязычных произведений поэзии сливались в некоем идеальном гармоническом единстве. Так, еще и Вольтер в своем «Опыте об эпической поэзии» говорит об

⁷² Получила известность та шутка, с помощью которой (в письме от 11 июня 1761 г.) Вольтер пытался парировать обвинения подобного рода. Обвиняя своего критика за то, что тот в транскрипциях русских слов «расточает немецкие s, c, k, h», Вольтер советовал ему «побольше ума и меньше согласных».

⁷³ Развитие этого положения см. в большой работе: Merian-Genast E. Voltaire und die Entwicklung der Idee der Weltliteratur. — Romanische Forschungen, Erlangen, 1926. Bd 40, H. 1. — и в диссертации: Luschka W. H. Die Rolle des Fortschrittsgedankens in der Poetik und literarischen Kritik der Franzosen im Zeitalter der Aufklärung. München, 1926.

⁷⁴ Письмо к д'Аржанталю от 14 марта 1764 г. (Voltaire. Oeuvres compl., t. 43, № 5596).

«общем вкусе» (*goût général*), возникающем из сравнительных изучений литературных произведений различных народов. И тем не менее именно у Вольтера мы находим уже и нечто иное. Мнение об исторической обусловленности искусства, подготовленное «спором древних и новых писателей» и в особенности аббатом Дюбосом в его «Критических размышлениях о поэзии и живописи» («*Réflexions critiques sur la poésie et la peinture*»), более всего благодаря последнему, формулировано было Вольтером с достаточной определенностью. Дюбос настаивал на необходимости изучать художественные произведения в связи с условиями времени их возникновения и поставил вопрос об исторических причинах процветания и упадка искусств; Вольтер с его интересом к культурной истории может быть назван в этом отношении прямым продолжателем Дюбоса. Хотя Вольтер и не отрицает еще критерия абсолютной красоты, но этот критерий уже перенесен им из области чисто логических построений в область чувств; автор «Опыта об эпической поэзии» признает уже исторически обусловленное различие «вкусов», их, так сказать, «эмпирическую относительность» по отношению к «идеальной абсолютности» эстетической нормы. Правда, в системе эстетических воззрений Вольтера эти утверждения были несколько ограничены тем, что, например, идея «общего вкуса» сопровождалась побочными мыслями о конечной ассимиляции этого «общего вкуса» с «вкусом французским», который благодаря традиции и своему европейскому распространению в XVIII в. действительно представлял собою весьма могущественный фактор мирового литературного развития.

Эти общие позиции Вольтера не следует забывать и при изучении его взглядов на русскую литературу и искусство. С одной стороны, он уже в состоянии был признать и оправдать некоторые «отклонения» или, лучше сказать, особенности «русского вкуса» в отличие от французского; наличие национальных признаков в произведениях поэзии не должно было служить препятствием к их положительной оценке с точки зрения общих эстетических принципов, поскольку эти признаки могли быть обусловлены особенностями культурно-исторического процесса в данной стране. С другой стороны, проблема национального языка не являлась для Вольтера решающей для того, чтобы он не признал себя компетентным высказывать свободные критические суждения обо всяком ином, в том числе и русском произведении литературы; при наличии переводов этих произведений на знакомые Вольтеру языки, в первую очередь на французский, он не очень нуждался в оригиналах, хотя, впрочем, и доискусал в таких случаях некоторую возможную неполноту своего восприятия. Зато тогда, когда эти переводы делались самими же русскими писателями или, более того, когда их произведения прямо писались по-французски, это принималось Вольтером за свидетельство соответствия русской поэзии «французскому вкусу» или расценивалось как показатель высоты *общего*

уровня русской литературной или вообще эстетической культуры. «Подражательность» в современном нам понимании этого слова для Вольтера не была в подобных случаях отрицательным признаком ипостражных произведений поэзии, но скорее ручательством за то, что они войдут в «международный» общепризнанный поэтический фонд.

Что же знал Вольтер об отдельных русских писателях своего века? Обмен письмами с Вольтером в конце 30-х гг. Антиоха Кантемира по поводу некоторых неточностей, допущенных в «Histoire de Charles XII», не свидетельствует о том, что ее автор уже в это время знал о поэтических занятиях Кантемира, бывшего тогда русским послом в Париже. Мы не располагаем также данными о том, были ли впоследствии известны Вольтеру двукратно изданные в Лондоне, в 1749 и 1750 гг., «Сатиры» Кантемира во французском переводе аббата Гуаско; по крайней мере ни одно из этих изданий не сохранилось в его библиотеке, и Вольтер, сколько знаем, нигде о них не упоминает, между тем естественно было бы предположить, что при его интересе к России именно с конца 40-х гг. он не должен был пройти мимо этих «Сатир», тем более что они давали картины общественной и частной жизни в том самом государстве, историю и нравы которого он набрасывал в своем труде о Петре I. Возможно, впрочем, что незнакомство Вольтера с Кантемиром-поэтом объясняется теми же самыми причинами, которые вызвали полное молчание о лондонском издании его «Сатир» французских журналов (несмотря на то, что, по-видимому, самому Монтескье, и во всяком случае его дружескому кругу, принадлежит некоторая роль в деле их опубликования): приходится вспомнить о месте издания (Лондон) и недостаточной распространенности книги среди французских литераторов. Тем не менее о Кантемире как писателе Вольтер все же мог узнать из различных источников в середине 60-х гг., однако в такой связи и в таких контекстах, которые не могли возбудить его любопытство к русскому сатирику. Одним из таких источников было предисловие к французской «Оде на смерть Ломоносова» (1765) А. П. Шувалова, речь о которой пойдет ниже. Характеризуя здесь состояние русской литературы до Ломоносова и изображая его родоначальником новой русской поэзии, Шувалов упоминает, что до Ломоносова «было у нас несколько рифмачей (rimeurs), вроде князя Кантемира, Тредиаковского и др.», но что они «находятся к Ломоносову в таком же отношении, как трубадуры к Малербу». Этот несколько странно звучащий для нас в настоящее время отзыв был, однако, вполне понятен Вольтеру, поскольку он продиктован был характерным для эстетики классицизма огульным осуждением средневековой поэзии и возвеличением ренессансной: с точки зрения А. П. Шувалова, уравнение Ломоносова с Малербом было похвалой, а сопоставление Кантемира и Тредиаковского с провансальскими певцами любви «варварских» времен должно было означать полное эстетическое отрицание. Но если

имя Малерба могло помочь Вольтеру представить себе кое-что в Ломоносове и на самом деле в какой-то степени связано с ним генетически (к традиции Малерба восходил жанр торжественной оды, культивировавшийся и Ломоносовым; недаром еще Сумароков в «Эпистоле о стихотворстве» говорил о Ломоносове: «Он наших стран Мальгерб...»), то уравнение Кантемира, Тредиаковского и «трубадуров» лишено уже всяческого исторического смысла и не давало ни малейшего представления об особенностях их музыки. С некоторой долей вероятности можно предположить, что Вольтер видел несколько французских стихотворений Кантемира, напечатанных в трехтомной антологии Блен де Сенмора «Elite de poésies fugitives» (Londres [Paris], 1764).⁷⁵ Во втором томе этого издания помещен французский мадригал Кантемира герцогине д'Эгийон и его же «Послание к императрице Елизавете», в третьем — четверостишие о критике. Все эти дилетантские опыты Кантемира во французском стихосложении едва ли могли бы удовлетворить Вольтера и со стороны своего языка и в метрическом отношении, а последнее четверостишие, кроме того, и по существу — серьезностью своего тона и своим разочарованием в пользу критики, которая, как с горечью констатирует Кантемир, нередко становится самоцелью и навлекает на себя ненависть, как и насмешка — презрение:

Vers sur la critique
 Cet art de dépriser, toujours si condamnable,
 Par ses propres succès est bien souvent trahi;
 Critique, on est bientôt haï,
 Moqueur, on devient méprisable.

Эта не раз высказывавшаяся Кантемиром мысль, в особенности к концу его деятельности, была, конечно, глубоко чужда Вольтеру и лишней раз могла показать ему, как, в сущности, мало общего может быть у него с русским сатириком начала века, как противоположны не только их объекты, но даже цели их смеха и сатирических нападок.

С гораздо большей определенностью можем мы говорить о знакомстве Вольтера с Ломоносовым как писателем и ученым, однако и в этом вопросе существует еще очень много темных мест. Произведения Ломоносова во французских переводах, современных Вольтеру, были не очень многочисленны.⁷⁶ Отдельным изда-

⁷⁵ Lozinski G. Cantemir — poète français. — Rev. des études slaves, 1925, № 3—4. p. 238—243. — Адриен Блен де Сенмор (1733—1807), поэт и драматург, был в приятельских отношениях с Вольтером, а также его литературным корреспондентом. До нас дошло два письма к нему Вольтера того же 1764 г., когда Блен де Сенмор издал свою антологию; это заставляет нас думать, что Вольтеру она была известна.

⁷⁶ Нельзя не отметить, что французская литература о Ломоносове известна нам совершенно недостаточно. Характерно, что составленный Андре Мартином библиографический указатель «Ломоносов во французской литературе» (Выставка «Ломоносов и Елизаветинское время». Петроград, 1915, т. 7, с. 199 и след.) не называет никаких печатных известий о Ломоносове, опубликованных во Франции при жизни Вольтера, и начинается (если

нием во Франции в 1769 г. вышла в свет лишь «Русская история» Ломоносова в переводе Эйду — одного из сотрудников «Энциклопедии», — сделанном, однако, не с русского оригинала, но с немецкого перевода Гольдбаха (или, по другим данным, П. Штелина). Эта книга имела успех, несмотря на недостатки своего стиля и очевидные искажения, получившиеся в результате двукратного перевода, с похвалой отмечена была в журналах, например в «Mémoires de Trévoux» (Décembre, 1769), в «Journal Encyclopédique» (vol. CXII, Décembre, 1769) и выдержала три издания.⁷⁷ Мимо этой книги Вольтер, разумеется, пройти не мог, хотя экземпляр ее в настоящее время отсутствует в его библиотеке и мы не знаем его отзыва об этом труде. Могли быть известны Вольтеру и другие журнальные статьи о Ломоносове на французском языке, например большая статья в «Journal Encyclopédique» за 1765 г. (vol. 75) по поводу лейпцигских «Gelehrte Abhandlungen» (1764) А. Бюшинга, в которых приведено было много данных о состоянии поэзии и красноречия в России и даны были выдержки из различных русских сочинений, в том числе и Ломоносовских. Не можем сказать с полной уверенностью, была ли Вольтеру знакома статья Ломоносова «О должности журналистов» (1754), во французском переводе появившаяся в журнале, выходившем в Амстердаме под редакцией С. Формея, «Nouvelle Bibliothèque Germanique» и заключающая в себе мысли о том, какую должна быть настоящая ученая критика (аргументированная, правда, примерами из области полемики по очень специальным вопросам физико-математического характера); достоверно, однако, то, что Вольтер за этим журналом следил и что тот его том, в котором помещена была статья Ломоносова, был в его библиотеке.⁷⁸

С Ломоносовым как с историком Вольтер столкнулся еще во время своих работ над книгой о Петре I, следовательно, еще

не упоминает глухой ссылки на ливорнский «Discours sur la poésie russe», 1771 г.) с книги Левека 1782 г., уже обильно цитирующей Ломоносова.

⁷⁷ *Lomonosoff M. Histoire de la Russie, depuis l'origine de la nation russe jusqu'à la mort du Grand-Duc Jaroslaws [sic]. Trad. de l'allemand, par M. E. *** [Eidous]. Paris; Digon, 1769; 2-е изд. Paris, 1733; 3-е изд. 1776* (ср.: Catalogue de la section des Russica. St. Pétersbourg, 1873, t. 1, № 1128—1130). Интересно напомнить, что Дидро знал эту книгу еще до своего путешествия в Петербург; в бумагах его нашлась заметка о ней, где он пишет: «Я ничего не могу сказать о русском подлиннике и о немецком переводе, который мне не известен, но французский перевод очень зауряден (très-ordinaire): мало силы и никакого изящества». Вторая часть показалась ему интереснее первой, посвященной древнейшим временам, но Ломоносова он все же счел «несколько педантичным».

⁷⁸ *Nouvelle bibliothèque germanique, ou Histoire littéraire de l'Allemagne, de la Suisse et des Pays du Nord, 1755, 6, p. 343—346.* См. об этой статье и перепечатку ее у А. А. Куника: Сборник материалов для истории имп. Академии наук в XVIII ст. СПб., 1865, т. 2, с. 501—510. — Любопытно было бы, кстати, выяснить, был ли Вольтеру известен первый французский журнал, издававшийся в 1755 г. в Петербурге бароном Чуди, — «Le Saméleon littéraire»; здесь он мог найти сведения и о Ломоносове, и о других русских писателях, и в особенности о себе самом.

до выхода в свет французского перевода его «Русской истории». Известно, что первые наброски «Histoire de l'empire de Russie», а затем и первый том этого труда, послывавшиеся Вольтером на просмотр в Петербург, рассматривались здесь Ломоносовым, а также Миллером и Тайбертом в рукописях и что со стороны Ломоносова они вызвали ряд возражений,⁷⁹ принятых Вольтером лишь частично и с оговорками, и то главным образом в тех случаях, когда ему указаны были его действительные ошибки,⁸⁰ но их разногласия носили не столько принципиальный, сколько фактический характер, и на основании представленных поправок к его труду Вольтер все же мог составить себе ясное представление о качествах Ломоносова как историка — об объеме его познаний, о взглядах его на новейшую историю, об отношении его к личности Петра I и т. д. Многие в связи с этим о Ломоносове Вольтер должен был знать и от обоих Шуваловых. От них же Вольтер получил и более подробные данные о Ломоносове как о поэте.

В особенности существенную роль сыграла в этом отношении французская «Ode sur la mort de M. Lomonosof», анонимно изданная А. П. Шуваловым в Петербурге в 1765 г. Вольтер хорошо знал и автора этой «Оды» и ее текст с сопровождавшими ее предисловием и пояснениями: первый и единственный экземпляр этого редчайшего издания найден был А. А. Куником именно в библиотеке Вольтера в Петербурге.⁸¹ В предисловии к этой своей брошюре А. П. Шувалов дает краткую биографическую справку о Ломоносове и характеризует его главные произведения. Многие в этой характеристике должно было остановить на себе внимание Вольтера; Шувалов, его верный «ученик», как будто намеренно приспособил ее к вкусам своего «учителя» и постарался своего любимого русского поэта сделать достойным столь ценного им французского писателя. Шувалов упоминает здесь ранние оды Ломоносова «к императрице Анне» и «на взятие Хотина», уже заслужившие ему «славу превосходного поэта», так как они и на самом деле полны «силы новых идей и возвышенных картин» (d'images sublimes). Что касается зрелого по-

⁷⁹ Московский телеграф, 1828, ч. 20, № 6, с. 151—159.

⁸⁰ Шмурло Е. Петр Великий... с. 58 и примеч. с. 72, 75. — А. И. Андреев в статье «Ломоносов и Крашенинников» (Ломоносов / Сб. статей и материалов. М.; Л., 1940, с. 295—296) указывает, что Вольтеру послан был «экстракт» из «Описания земли Камчатки», сделанный Ломоносовым, но что Вольтер им не воспользовался. О других работах Ломоносова, посланных Вольтеру, см. в статье А. И. Андреева «Неизвестные труды Ломоносова» в том же сборнике (с. 298—301); среди них были «Сокращенные описания самозванцев и стрелецких бунтов» и «Географическое описание России».

⁸¹ Полный французский текст этой брошюры перепечатан в книге А. А. Куника «Сборник материалов для истории имп. Академии наук в XVIII ст.» (СПб., 1865, ч. 1, с. 203—205); русский перевод — в кн. П. Н. Беркова «Ломоносов и литературная полемика его времени» (Л., 1936, с. 277—279).

Этического творчества Ломоносова, то оно, по общему мнению, состоит «почти из одних шедевров»: томик его од «может быть сравнен с одами Жан-Батиста Руссо»;⁸² не менее высокую оценку получают и другие произведения Ломоносова: послания, два «панегирика» — один Петру Великому, другой императрице Елизавете; с похвалой упомянуты также исторические труды Ломоносова, его «Риторика» и «Русская грамматика». «Словом, — прибавляет Шувалов, — он обнял все и преуспел во всем». Однако, «мало удовлетворенный тем, что он прославил себя в столь разнообразных жанрах, Ломоносов под конец своей жизни предпринял эпическую поэму в честь Петра Великого. Эта поэма должна была состоять из 24 песен; три первых, вышедшие в свет, исполнены всяческих красот и заставляют бесконечно сожалеть о последующих». «Здесь не место, — заключает Шувалов, — далее распространяться об его сочинениях и разбирать их; тот, кто взялся бы за это, совершил бы очень полезное дело. Достаточно сказать, что остальные поэтические произведения Ломоносова достойны его од. Среди них следует отметить «Письмо о пользе стекла», пронаведение столь же своеобразное, сколь и философское. Это Галллей, говорящий стихами,⁸³ и Свифт, тонко насмехающийся. Благочестивые невежды, оспаривавшие некогда систему устройства Вселенной, ловко осмеяны в этом письме, и представляемая автором картина разграбления Америки из-за алчности испанцев выше всяких похвал».

Из этой характеристики любой французский читатель мог составить себе довольно ясное представление о Ломоносове-поэте и об отношении к нему в России. Прославление его как «дидактического стихотворца» и сопоставление с Галилеем и Свифтом, однако, в особенности много должно было говорить Вольтеру — автору поэмы о философии Ньютона и повестей в тонкой свифтовской манере; но одно из самых любопытных для нас указаний Шувалов делает в примечании, которое не могло не привлечь к себе специального внимания Вольтера. «В первой песне Петриады, — говорится здесь, — *Ломоносов подражал Вольтеру, но как достойный ученик столь великого учителя*. Джерсийский отшельник (le solitaire de Jersey) доставил ему интересный эпизод и красоты восхитительных подробностей. Это был, вероятно, единственный случай, когда наш поэт подражал кому-либо; во всем остальном он всегда был творцом. Я рад возможности сообщить эту неизвестную подробность (cette anecdote): она сви-

⁸² Ломоносову, как известно, принадлежит перевод «Ode à la fortune» Ж.-Б. Руссо, и вообще сопоставление его собственных од с произведениями этого французского поэта имеет основания. Об отношениях к нему Вольтера см.: *Bonnefon Paul. Une inimitié littéraire au XVIII s., d'après des documents inédits. Voltaire et J. B. Rousseau.* — Rev. d'histoire littéraire de la France, 1902, vol. 9, p. 555 c. suiv.

⁸³ В переводе, приведенном у П. Н. Беркова (Ломоносов и литературная полемика. . . , с. 278), допущена досадная опечатка: вместо «Галллей» стоит «Гамлет».

детельствует, насколько бессмертная поэма о Генрихе IV почитается у северного полюса». ⁸⁴ Шувалов упоминает также о французском переводе (1759) «Похвального слова Петру» Ломоносова, которое «справедливо рассматривается как достойная параллель (pendant) Панегирику Траяна» (Плиния), но резко отзывается о качествах самого перевода: «Жаль, что это произведение обезображено иностранцем, не знавшим ни слова по-русски и плохо писавшим на своем родном языке». Самая «Ода на смерть Ломоносова», следовавшая за этим предисловием, несмотря на свою традиционную риторичность, все же содержала в себе ряд любопытных для Вольтера указаний. Характерно, что Ломоносов прославлен здесь как *первый* русский писатель, не имевший предшественников, как зачинатель русской поэзии, воспринявший и развивавший великое античное наследие:

Dans nos déserts glacés, dans nos antres humides,
Privé de tout secours, sans modèle et sans guides,
Il osa le premier cultiver les Beaux Arts
Et du fond de la Grèce
Fit couler le Permesse
En nos heureux remparts. . .

Объявляя литературный «приоритет» Ломоносова как создателя поэзии в «дикий» стране, среди морозных пустынь далекого севера и говоря о всеобъемлющем характере его творческого гения, Шувалов, в сущности, находился в плену той «просветительской» концепции русского исторического процесса, которая, как мы видели, так последовательно защищалась Вольтером в его сочинениях о России. Своей справкой о развитии в России словесного искусства и науки Шувалов, верный ученик своего учителя, подкреплял эту концепцию новыми данными, которых Вольтер, не владея русским языком, не мог знать; ему оставалось лишь принять их, поверить Шувалову на слово в той высокой оценке Ломоносова, которая дана была в указанной брошюре, и почувствовать себя достаточно осведомленным в истории развития русской литературы. К сожалению, мы не имеем никакого отзыва Вольтера об этой брошюре, который мог бы подтвердить

⁸⁴ А. П. Шувалов имеет здесь в виду стихи 309—632 первой песни поэмы Ломоносова, а именно пространный вставной рассказ Петра, после сильной бури на море достигшего Соловецкого монастыря и повествующего игумену о стрелецком бунте. По своему построению этот эпизод напоминает те стихи «Генриады» Вольтера, где рассказано о прибытии Генриха к острову Джерси и встрече его с таинственным старцем, который открывает ему будущее. Впрочем, и у Вольтера этот эпизод восходит к «Энеиде» Вергилия, где Эней, претерпевший бурю, рассказывает Дидоне о своих бедствиях и разорении Трои (Соч. Ломоносова с объяснит. примеч. акад. М. И. Сухомлинова. СПб., 1893, т. 2, с. 291). Леклерк в своей «Истории России нового времени» («Histoire de la Russie moderne») (1, p. 130—143), поместив более трети первой песни поэмы Ломоносова в своем прозаическом переводе и указав на «Генриаду» как на один из ее образцов, замечает, между прочим: «Нам кажется, что Ломоносов плохо выбрал предмет бесед своего героя с игуменом [Соловецкого] монастыря. Идею об этом он почерпнул из «Генриады», в которой характер объяснений Генриха IV со старцем с острова Джерси способен был возбудить гений русского поэта».

указанные соображения; экземпляр ее, сохранившийся в его библиотеке, не содержит в себе никаких его рукописных помет. Отметим, однако, одну небезынтeресную деталь. Уже А. А. Куник обратил внимание на то, что в известном «*Nachricht von einigen russischen Schriftstellern*» (1768), составленном неким «русским путешественником», имя которого раскрывается лишь предположительно, а также во французском переводе-переделке этого известия — «*Essai sur la littérature russe, contenant une liste des gens de lettres russes qui se sont distingués depuis le règne de Pierre le Grand*» — сделана ссылка на шуваловскую «*Ode sur la mort de M. Lomonosof*» как на возможный для иностранцев источник их знакомства с биографией и творческой деятельностью Ломоносова: «Желающие иметь более полное представление об этом великом человеке, — говорится здесь, — могут обратиться к весьма хорошему сочинению на французском языке, которое заключает в себе жизнеописание Ломоносова, оду в честь его и перевод двух его пьес: Утреннего и Вечернего размышления о Божьем величии, а также письмо к Вольтеру с ответом на него». Так как ссылка «русского путешественника» на указанный источник не соответствует известному нам печатному экземпляру шуваловской оды 1765 г., то А. А. Куник предположил существование второго ее издания, в котором должны были находиться отсутствующие в первом перевод «Вечернего размышления» и письма Шувалова и Вольтера; однако такое издание нам не известно; П. Н. Берков, в свою очередь, замечает, что нам не известно также и «письмо Вольтера, по-видимому, относящееся к оде Шувалова».⁸⁵ Если бы такое письмо Вольтера существовало в действительности, безразлично — в печатном или рукописном виде, мы имели бы в нем интереснейший документ, который был бы в состоянии раскрыть нам отношения Вольтера не только к Ломоносову, но и к современной ему русской литературе вообще; но печатного издания такого письма безусловно не существовало, и неточная ссылка «русского путешественника» скорее всего основана на недоразумении.⁸⁶

Прозаический французский перевод «Утреннего размышления» Ломоносова был действительно приложен к шуваловской «Оде» и тем более должен был обратить на себя внимание Вольтера, что он оставил некоторый след во французской поэзии и вызвал даже полемику его литературных друзей. Дело в том, что в 1766 г. в «*Almanach des Muses*» (издании хорошо известном Вольтеру, в котором в эти годы печатались и его стихи) поэт и драматург Лемьер (Antoine Le Mierre, 1723—1793), автор «Гипермнестры», поместил свое стихотворение под заглавием «Восход солнца», начинавшееся так:

⁸⁵ Куник А. А. Сборник материалов. . . , с. 216; Берков П. Н. Ломоносов и литературная полемика. . . , с. 280.

⁸⁶ Об отношениях Вольтера и А. П. Шувалова см. мою работу: «*Voltaire et Schouvaloff: Fragments inédits d'une correspondance franco-russe au XVIII^e s.*» (Odessa, 1928).

Déjà l'astre du jour s'est emparé du ciel;
il lance par faisceaux ses rayons sur la terre,
et je découvre à sa lumière
les prodiges sortis des mains de l'Eternel, etc.

Редактор альманаха похвалил это стихотворение, однако не указал — вместе с его автором, — что это близкое подражание Ломоносову или, точнее, переложение в стихи французского перевода «Утреннего размышления», сделанного Шуваловым. Повидимому, «Ode sur la mort de M. Lomonosof» была довольно широко распространена автором среди французских писателей середины 60-х гг.; один экземпляр мог быть вручен и Лемьере; другим, во всяком случае, располагал Лагарп, так как, прочтя стихотворение Лемьера, он решился вступить за русского поэта. Сохранился его протест по этому поводу, написанный в форме письма к Лакомбу: «Я взял на себя поручение, милостивый государь, ради чести русской поэзии, протестовать против того, что в „Альманахе муз“ на 1766 г. напечатано подражание одному стихотворению покойного Ломоносова под именем Лемьера, но без малейшего указания на автора оригинала. Приведа для сличения текст «Утреннего размышления» в двух французских прозаических переводах (Шувалова и новом, дословном) и стихотворение Лемьера, а также сообщив ряд новых данных о Ломоносове, Лагарп замечает: «Его считали лучшим поэтом, лучшим историком и лучшим критиком его страны. Он начал поэму о Петре Великом, из которой закончил лишь две песни. По общему мнению, в ней находятся возвышенные красоты»; что же касается «Утреннего размышления», то оно «заставляет признать, что Ломоносов имел возвышенный и богатый стиль, одушевленный поэтическим духом». Инициатором этого «протеста» Лагарпа и автором нового дословного перевода стихотворения Ломоносова был, конечно, тот же А. П. Шувалов, от которого Лагарп получил и дополнительные сведения о русском поэте, в частности, например, о мраморном памятнике-урне, который Воронцов воздвиг на его могиле.⁶⁷

Свою «Оду» Шувалов кончал указанием на завистников славы Ломоносова в русской литературе. Для нас не лишен интереса тот факт, что на первое место среди них поставлен Сумароков,

⁶⁷ Нам не известно, был ли этот «протест» Лагарпа напечатан в 1766 г. в каком-либо из журналов, для которого он предназначался (скорее всего для «Mesure de France», сотрудником которого в это время являлся Лакомб), но он вошел в «Oeuvres de M. de la Harpe» (Paris, 1776, t. 6, p. 108) и возымел действие; по крайней мере когда «Восход солнца» Лемьера в 1782 г. был переиздан в его сборнике «Pièces fugitives», то стихотворение было уже здесь названо «вольным подражанием русскому поэту». Блен де Сенмор в одном из своих писем (Париж, 9 марта 1782), сообщая о выходе в свет этой книги и выписав первую половину этого стихотворения, прибавляет: «Мне кажется, эту картину можно отнести к редким по своему великолепию образам поэтического творчества» (Литературное наследство, т. 29—30, с. 210). См. также: Письмо де ла Гарпа к Лакомбу о Ломоносове / Пер. с франц. С. А. Порошин. — Утренняя заря, 1800, кн. 1, с. 72—81.

с которым Вольтеру через несколько лет пришлось обменяться письмами. «О, кто сможет когда-либо сравниться дарованием с Ломоносовым!» — восклицает Шувалов и продолжает в ювеналовском стиле: «Напрасно мерзкие соперники, воспламененные ненавистью, оскорбляют его таланты, ищут в нем недостатков. Их презренное занятие покрывает их позором и усугубляет нашу горечь. Один — безрассудный копиист недостатков Расина, ненавидит божественную музу северного Гомера; другие извергают желчь на его имя и образ жизни. Презренные насекомые, их преступные козни вызывают отвращение! Бегите прочь, неблагодарные чудовища, сердца, исполненные ненависти!» и т. д. К стиху «un copiste insensé des défauts de Racine» сделано примечание: «Г. Сумароков (Mr. Somorokof), автор нескольких трагедий, в которых замечается рабское подражание Расину и мания копировать этого великого человека вплоть до тех слабостей, за которые его порицают. Этот Сумароков всегда ненавидел прославляемого поэта единственно по причине, что тот [Ломоносов] превосходил его своими талантами». Другие же завистники Ломоносова остались непоименованными: «... да будет мне позволено вовсе не называть их», — сказано в примечании к стиху «... d'autres versent le fiel sur son nom». Известно, что этот резкий полемический выпад против Сумарокова долго помнили в России и не раз ставили его в упрек А. П. Шувалову; так поступил, например, «русский путешественник» в своем «Известии».⁸⁸ Сумароков ответил Шувалову эпиграммой, до нас не дошедшей, а впоследствии упоминал об этом оскорблении, нанесенном ему как бы на глазах у всех европейских читателей, в одном из своих писем к Екатерине II.⁸⁹ Нас, однако, интересовало бы другое: обратил ли внимание Вольтер, читая шуваловскую «Оду», на указанное ее место и на имя русского драматурга, этого «безрассудного копииста» Расина; к сожалению, по этому поводу могут быть высказаны лишь догадки. Есть основания ответить утвердительно на поставленный вопрос. Дело в том, что еще в 1760 г. в десятом томе издававшегося известным антагонистом Вольтера Фрероном журнала «L'Année littéraire», за которым Вольтер пристально следил и комплекты которого сохранились в его библиотеке, помещено было «Письмо молодого русского вельможи», автором которого, как это мы знаем сейчас, был тот же А. П. Шувалов.⁹⁰ С Вольтером А. П. Шувалову впервые пришлось встретиться лишь пять лет спустя, при посещении Фернея в сентябре 1765 г., но что в год появления в печати «Письма молодого вельможи» Вольтер уже знал о нем, видно из того, что он упоминает Андрея Петровича в письме к его дяде, И. И. Шувалову, от

⁸⁸ Куник А. А. Сборник материалов... с. 208.

⁸⁹ Берков П. Н. Ломоносов и литературная полемика... с. 279; Гукковский Г. А. Русская поэзия XVIII в. Л., 1927, с. 35, 204.

⁹⁰ Берков П. Н. Ломоносов и литературная полемика... с. 262—265. — См. также особую статью П. Н. Беркова «О письме молодого русского вельможи» в кн.: XVIII век. Л., 1936, т. 1.

25 октября 1760 г.;⁹¹ возможно поэтому, что для Вольтера не было тайной и то, кто скрывался под именем «молодого русского вельможи» в журнале Фрерона. Во всяком случае, А. П. Шувалов в этой своей статье, написанной в форме письма, высказал свое мнение о двух знаменитых русских поэтах, «украшавших его родину», — Ломоносове и Сумарокове, — и дал их сравнительную характеристику, ради прославления первого из них и к невыгоде второго. Правда, оценка Сумарокова еще не отличается той резкостью инвективы, которую она благодаря контексту получила в «Оде на смерть Ломоносова»; Шувалов говорит, например, о том, что Сумароков «первый открыл нам» красоты драматического искусства, что он в своих драмах с «несравненной тонкостью» анализирует чувство любви, что он «умеет трогать нашу чувствительность и увлекать наше сердце» и т. д., но эти похвалы сильно ограничены попутными указаниями совершенно противоположного характера — о том, например, что он «совершенно лишен творческого дарования» и умеет лишь искусно подражать, что «живость его мысли дополняется сухостью его воображения» и т. д. Характерно, что Сумароков уже назван здесь подражателем Расина («неспособный подняться до Корнеля, он избрал образом Расина...») и что эта оценка дополнена здесь указанием, текстуально совпадающим с вышеуказанным стихом в «Оде на смерть Ломоносова», на несколько более пространном: «...его [Сумарокова] можно упрекнуть в копировке недостатков своего образца, в подражании ему даже в слабостях, в том, что любовь он делает центром своих трагедий и портит их мелкими интригами, перегружая излишними эпизодами». Впрочем, Шувалов отмечал в заключение, что оба разобранных им русских писателя «наделены природой редкими дарованиями» и «делают честь своему отечеству»; «произведения их показывают, что эта почва вовсе не враждебна трудам муз и способна производить цветы и плоды поэзии». Если, как мы предполагаем, Вольтер действительно читал «Письмо молодого русского вельможи», то имя Сумарокова, встретившееся ему затем в «Оде» Шувалова, уже не должно было быть для него неожиданным; тем более знакомым должно было оно стать для него несколько лет спустя, когда он вступил в переписку с русским драматургом.

В свое время П. А. Вяземский, высказывая свою досаду по поводу того, что переписка Вольтера с русскими людьми посвящена была совсем не литературным вопросам, упрекнул «действенного» Сумарокова за то, что тот «успел как-то выманить письма Вольтера и заставить его заочно и на слово похвалить его трагедии».⁹² Однако справедлив ли был этот упрек? Ж. Патуйе, составивший по русским источникам весьма пространный комментарий к ответному письму Вольтера к Сумарокову (22 февраля 1769 г.), скользнул мимо вопроса о том, что Вольтер мог

⁹¹ *Voltaire. Oeuvres compl.*, t. 41, № 4307.

⁹² *Вяземский П. А.* Фонвизин, с. 15; ср.: Полн. собр. соч., т. 5, с. 10.

знать о русском драматурге, и высказал лишь случайное и ничем не подтвержденное предположение, что, получив письмо Сумарокова из рук юного князя Ф. А. Козловского, доставившего его в Ферней, Вольтер мог спросить его, какой репутацией пользуется в России этот драматург, которого впоследствии рекомендовала ему Екатерина II.⁹³ Не отрицая возможности такого вопроса Вольтера к Ф. А. Козловскому, мы, однако, должны обратить внимание и на то, что, пожалуй, в нем не было и особой нужды, если Вольтер помимо «Оды» Шувалова читал также «Письмо молодого русского вельможи». Но и тот и другой источник давали в общем неприязненную оценку творчеству Сумарокова. Ничто не препятствует нам предположить, что Вольтеру мог быть известен также и третий источник сведений о Сумарокове, на этот раз, однако, очень ему сочувственный. Деятельный читатель современных ему журналов, Вольтер едва ли мог пропустить напечатанный в хорошо известном ему «*Journal étranger*» 1755 г. подробный разбор трагедии Сумарокова «Синав и Трувор» по поводу вышедшего в Петербурге французского перевода этой трагедии (1751), сделанного кн. А. Долгоруким,⁹⁴ а может быть, видел и этот перевод, хотя экземпляра его в настоящее время в библиотеке Вольтера не имеется. Дело в том, что эта пьеса Сумарокова должна была привлечь к себе внимание Вольтера не только как «*tragédie russe en vers*», но и своим историческим сюжетом, так как уже в эти годы он деятельно знакомился с русской историей. Сумарокову статья в «*Journal étranger*» была не только весьма хорошо известна, — может быть, и написана она была с его ведома и одобрения; во всяком случае он ею очень гордился и нередко на нее ссылаясь. Так, в одном из своих жалобных писем Екатерине II (28 января 1770 г.) он говорит, что со слезами вспоминает две вещи — письмо к нему Вольтера и то внимание, с которым во Франции отнеслись к этой его трагедии: «Парижская критика, — писал он, — превознесла меня до небес. Там сказано, что это — памятник славы царствования императрицы Елизаветы».⁹⁵ О том же Сумароков писал, обращаясь и к русским читателям: «Лейпциг и Париж, вы тому свидетели, сколько единой моей трагедии скорый перевод чести мне сделал <...> В Париже вознесли мое имя в чужестранном журнале сколько возможно».⁹⁶

⁹³ Patouillet J. Un épisode de l'histoire littéraire de la Russie: La lettre de Voltaire à Sumarocov. — Rev. de littérature comparée, 1927, p. 438—458.

⁹⁴ Sinave et Trouvore, tragédie / Trad. du russe par le prince Alex. Dolgorouky. St. Pétersbourg, 1751 (Catalogue de la sect. des Russica, 1, p. 328, № 1768). — *Journal étranger*, 1755, avr., p. 114—156. — Перевод этой статьи см. в собрании сочинений А. П. Сумарокова (СПб., 1787, т. 10, с. 162—190).

⁹⁵ Библиографические записки, 1858, № 14, с. 433.

⁹⁶ Сумароков. Соч. СПб., 1787, т. 10, с. 371—373. — Н. Н. Булич (Сумароков и современная ему критика. СПб., 1854, с. 85—87), впервые указавший на статью в «*Journal étranger*», разыскал также и немецкую статью о той же трагедии Сумарокова в лейпцигском журнале «*Das Neueste aus der Anmüthigen Gelehrsamkeit*» (1755), — она оказалась переводом французской; однако Н. Н. Буличу осталось неизвестно, что существует и другая французская ре-

Но это был не единственный в то время французский перевод пьесы Сумарокова. Существовал также и напечатанный позднее анонимный перевод его «Семиры».⁹⁷ Любопытно, что именно эту трагедию Екатерина II считала лучшей из всех сумароковских и что в одном из своих писем к Вольтеру она высказывала предположение, что он о ней уже слышал.⁹⁸ В библиотеке Вольтера нет также и этой пьесы, но зато имеется третья — либретто трехактной оперы «Альцеста» (впервые представленной в Петербурге в 1759 г. и тогда же изданной) во французском переводе Геннигера.⁹⁹ Трудно сказать, когда и при каких обстоятельствах это петербургское французское издание 1764 г. попало в руки Вольтера и что могло заинтересовать его в нем; однако Вольтер хорошо знал, что задолго до Сумарокова существовала знаменитая французская опера на тот же сюжет: «Альцеста» Кипо (1674) с музыкой Люлли.

Таким образом, Вольтер, вне всякого сомнения, располагал о Сумарокове не только теми данными, какие могли доставить ему французские сочинения А. П. Шувалова, но и имел достаточное представление о его репутации и популярности его произведений в России. В одном из писем к Вольтеру, говоря с огорчением о присутствии французских офицеров в рядах турецких войск, Екатерина II прибавляет с оттенком проники: «Если мои войска возьмут их в плен, то они смогут присутствовать при исполнении драм Сумарокова в Тобольске».¹⁰⁰ Вольтеру в конце концов должно было стать совершенно ясно, что Сумароков — один из популярнейших в России писателей, который хорошо известен и самой императрице.

Всем этим в значительной степени объясняется и тот весьма дружеский тон, в котором написано его письмо к Сумарокову. Вольтер обращался к нему как к собрату по перу и охотно ответил на все вопросы. К сожалению, до нас не дошел текст письма Сумарокова к Вольтеру (ответом на которое служило письмо Вольтера от 22 февраля 1769 г.), но о содержании его мы отчасти можем догадаться как по ответу, так и с помощью предисловия к «Димитрию Самозванцу». Ж. Патуйе полагает, что в своем

цензия на петербургское издание перевода «Синава и Тривора» — в «Mercure de France» (1755, авг.), которая также могла быть известна Вольтеру.

⁹⁷ *Sémira: tragédie en cinq actes / Par M. Soumarokoff; trad. du russe (1764). — Ср. Catalogue... des Russica (1, p. 328, № 1769).* Французский рукописный перевод «Семиры» барона Мабдис (Mabdis) 1769 г. (писано Ал. Тормасовым 25 мая 1770 г.) хранится в Государственной Публичной библиотеке в Ленинграде (франц. Q.XIV.71). (См.: Краткий отчет рукописного отдела за 1914—1938 гг. Л., 1940, с. 249). «Семира» появилась также в немецком переводе Остервальда (Breslau, 1762). Ср.: *Вильбасов В.* История Екатерины II. Берлин, [1897], т. 12, ч. 1, с. 17—19.

⁹⁸ Сборник Рус. вст. о-ва, т. 13, с. 225 (1772 г.); ср.: *Voltaire. Oeuvres compl.*, vol. 48, p. 61; vol. 46, p. 264.

⁹⁹ *Alceste: opéra. Le poème est de Mr. Soumarocoff. La musique est de M. Raupach. Les décorations sont de Mr. François Gradisz. St. Pétersbourg: Impr. à l'Acad. des sciences, 1764.*

¹⁰⁰ Сборник Рус. вст. о-ва, т. 13, с. 161.

письме Сумароков скорее спрашивал у Вольтера одобрения своему «чувству», чем разъяснений своим «сомнениям», и что здесь вероятнее всего шла речь о Расине, о Киню, о Мольере и в особенности о «слезной комедии», так как именно против нее Сумароков ополчился и, следовательно, всего более нуждался в авторитетном подкреплении своих взглядов. Интересно было бы знать, не давал ли Сумароков в этом письме также и своей автохарактеристики? Мы склонны думать, что не только давал, но что в ней опровергалось пристрастное мнение о нем А. П. Шувалова, высказанное «предо всею Европою»,¹⁰¹ и, может быть, делались ссылки на «Journal étranger» 1755 г. и на существующие французские переводы его сочинений. Так или иначе, Вольтер имел, конечно, достаточно поводов для того, чтобы составить себе о Сумарокове более или менее ясное представление и даже заинтересоваться им: с его точки зрения, похвалы, расточавшиеся Ломоносову, вовсе не должны были помешать воздавать должное его литературному сопернику, так как существо и механику всякой литературной полемики он прекрасно постиг на практике у себя на родине.

Ломоносов и Сумароков были теми важнейшими русскими писателями, которых Вольтер знал по французским переводам и критическим пособиям. Всех остальных он знал меньше и хуже, за исключением, вероятно, небольшой группы поэтов, писавших по-французски, которую возглавлял А. П. Шувалов. Ко всем им Вольтер отнесся с интересом, поскольку, как мы уже упоминали, вопрос о национальном языке поэтического творчества еще не имел для него решающего значения. Ему было достаточно и того, что в переводе произведения русских писателей могли уже представлять общий интерес и служить предметом обсуждения во французских журналах; естественно, что тех русских, которые в состоянии были писать гладкие французские стихи, Вольтер должен был ценить несколько не менее, чем русских поэтов вообще; в его глазах они служили живым свидетельством того высокого уровня, которого достигла русская культура в необычайно быстрый срок.

О похвалах Вольтера А. П. Шувалову и его французскому стилю мы уже упоминали. Существенно то, что и для Вольтера он не составлял исключения, а служил как бы подтверждением общему правилу. Известно, что соперником Шувалова во французском стихотворстве обещал сделаться Сергей Петрович Румянцев (1755—1838), сын канцлера. Когда он в юности посетил Вольтера, то последний писал Даламберу (29 октября 1774 г.): «...сын графа Румянцева сочинил французские стихи, из которых некоторые еще более удивительны, чем стихи Андрея Шувалова. Это диалог между богом и достопочтенным отцом Эйе (Naueg), издаваемом „Христианского журнала“. Бог советует ему терпимость, на что Эйе ему отвечает:

¹⁰¹ Библиографические записки, 1858, № 15, с. 453.

Ciel, que viens je d'entendre! Ah! ah! je le vois bien,
Que vous même, Seigneur, vous ne valez plus rien».

«Впрочем, — прибавляет Вольтер, — все остальное не отличается подобной же силой».¹⁰² Речь здесь идет, таким образом, не о метрике, не о легко усвоенном образованным русским человеком искусстве слагать французские стихи, но о самом существе мысли, которая кажется Вольтеру и сильной и увлекательной.¹⁰³ В следующем, 1775 г. Вольтеру пришлось отвечать в стихах еще одному представителю русской аристократии, ставшему французским поэтом, — А. М. Белосельскому, который прислал ему письмо и посвящение в стихах. Вольтеру оставалось и на этот раз расхвалить его превосходное знание французского языка и, в свою очередь, переслать ему несколько поэтических строк, сохранившихся в автографе в замечательном альбоме Белосельского¹⁰⁴ среди записей множества других французских писателей. Это было уже незадолго до смерти Вольтера.

Пора подвести итоги. Мы только что пришли к заключению, что русскую литературу, по крайней мере в лице ее важнейших современных ему представителей, Вольтер знал, вероятно, не хуже любого французского писателя своего времени, а может быть, даже и лучше большинства из них. Русские исторические источники были известны Вольтеру, несомненно, в таком объеме, в каком их не знал, пожалуй, ни один из историков его века. Долголетние связи Вольтера с русскими людьми, встречи, беседы, переписка, книги и рукописи, которые он получал из России или подбирал самостоятельно в своей библиотеке, — все это открыло ему такие стороны русской жизни, быта, нравов, состояния просвещения в русском государстве или развития в нем учреждений, законодательства и искусства, какие видны были еще немногим западноевропейским наблюдателям его века. Вольтер был знатоком русской культуры XVIII в. в тех пределах, какие вообще доступны были европейцам, и создал ей международную славу.

¹⁰² *Voltaire. Oeuvres compl.*, t. 49. Ср.: Рус. архив, 1881, т. 3, с. 261—262. — С. П. Румянцев, получивший совершенно французское воспитание, вместе с братом путешествовал по Европе в сопровождении барона Мельхиора Гримма и свел много литературных знакомств. Еще после смерти Вольтера в полном восхищении от Румянцева был целый ряд французских писателей, среди них, например, Жанлис, познакомившаяся с ним в 1787 г. Она пишет о нем в своих воспоминаниях, что не знала никого, с кем разговор для нее был бы столь же приятен, и весьма лестно отзывалась об его уме и образовании. Именно ему Жанлис посвятила свою повесть «Chevalier du Sude» (*Mémoires inédites de Madame la Comtesse de Genlis. Paris, 1825, vol. 3, p. 201, 303*).

¹⁰³ Отметим попутно, что в нашей критике известны многократные попытки вывести «Легенду о великом князизиторе» Достоевского из сочинений Вольтера; ее, в частности, сопоставляли со «сказкой» Вольтера «Le Mule du Pape» (ср. *Гроссман Л. Русский Кандид.* — *Вестн. Европы*, 1914, № 5). Любопытно, что в указанных стихах С. П. Румянцева, посланных им Вольтеру, уже содержится основная идея этой «легенды».

¹⁰⁴ *Верецагин В. А. Московский Аполлон. Альбом кн. А. М. Белосельского.* — Рус. библиофил, 1916, № 1, с. 17—59.

Не забудем, однако, также и о другом: сколь ни значительной представляется нам роль Вольтера как своеобразного «пропагандиста» русской культуры его времени на Западе, но самые отзывы его об этой культуре, взятые порознь или во всей их полноте, мы должны воспринимать исторически и со всеми необходимыми к тому оговорками: в них есть и противоречия, и заблуждения, и даже элементы ничем не оправданной снисходительности, в особенности очевидные для нас, отделенных от Вольтера двумя веками нашего непрерывного самобытного и поистине гигантского культурного развития. Отдадим Вольтеру должное за то, что он до известной степени предугадал этот процесс, но будем судить об его отзывах о России с той мерой здоровой и необходимой критики, какую они заслужили и к какой нас обязывает и наше историческое чутье, и вся сумма данных, добытых нашей наукой о Вольтере и французском Просвещении XVIII в.

К ИСТОРИИ РУССКОГО ВОЛЬТЕРИАНИЗМА В XIX ВЕКЕ

В истории знакомства в России с произведениями Вольтера факты, относящиеся в XIX столетие, изучены недостаточно. Давно уже созддалось и долгое время внушалось разнообразными историческими трудами представление, что культ мысли и творчества Вольтера, с особой силой проявившийся у нас в 60—80-е гг. XVIII в. в довольно широких слоях русской интеллигенции, уже к концу этого столетия находился на ущербе, исчерпал себя, а в начале следующего столетия будто бы отзывался уже явным анахронизмом. Такое представление основывалось на том, что в начале 90-х гг. под воздействием опасений, внушенных революционными событиями во Франции, в России начались репрессии против печатных и устных распространителей «вольтеровых заблуждений», а сам «фернейский мудрец» был объявлен одним из вдохновителей этой революции, человеком, открывшим «бездну кипящей крови»; о нем писали в Петербурге осенью 1793 г.: «Все злодеи вкупе не могли произвесть столько зла, сколько произвел один Вольтер».¹

Указанная схема отличалась искусственностью и была основана лишь на недостаточной разработанности интересующего нас вопроса в русской историографии; в действительности происходило нечто иное. Творчество Вольтера было в России живым и действенным в течение всего XIX в., но восприятие его читателями прошло несколько этапов от своего возрождения в начальные годы царствования Александра I, когда с имени Вольтера и вообще французской просветительской философии в России был полуофициально на некоторое время снят запрет;² затем наступила пора нового сурового осуждения наследия Вольтера и всевозможных цензурных ограничений, связанных с упоминанием его имени в русской печати, — эта пора продолжалась с половины 20-х до середины 50-х гг., в течение которых эти запреты обновлялись и усиливались периодически (например, после 1825 г. и 1848 г.). Наконец, в 70-е гг. вспыхнул снова инте-

¹ Обе цитаты приведены в кн.: *Штраусс М. М.* Русское общество и французская революция 1789—1794. М., 1956, с. 161. Ср.: *Брусилов Н.* Бедный Леандр, или Автор без риторики. СПб., 1803, с. 30 («Вольтер был самый едкий человек, он много сделал вреда Франции < . . > Переворот < . . > я приписываю большею частью его и других философов Франции сочинениям»).

² «Увлеченный Вольтером в начале XIX в., по-видимому, несколько не слабеет, — наоборот, свидетельства мемуаров делаются все обильнее, показания ярче, и самые облики русских вольнодумцев обрисовываются яснее», — отмечал В. В. Сиповский в статье «Из истории русской мысли XVIII—XIX вв. (Русское вольтерьянство)» (Голос минувшего, 1914, № 1, с. 114). В этой ценной статье собрано много данных о популярности Вольтера в начале XIX в.; для более позднего времени, однако, указания автора носят случайный, эпизодический характер. Ср.: *Нечкина М. В.* Вольтер и русское общество. — В кн.: Вольтер. Статьи и материалы / Под ред. акад. В. П. Волгина. М.—Л., 1948, с. 86—90.

рес к личности и писаниям Вольтера, вызвавший новые работы русских переводчиков, критиков, историков и отразившийся также в художественной литературе тех лет. Во все указанные периоды русское «вольтерьянство» принимало своеобразные, порою весьма причудливые формы как в литературе, так и в быту; оно было не только традиционным увлечением, шедшим по инерции от прошлого столетия, но все время приспособлялось к новым, меняющимся формам интеллектуальной и общественной жизни в России этого века.

В 1870 г., руководствуясь той же схемой и не располагая еще сведениями для ее опровержения, журнал «Отечественные записки» пытался вовсе отрицать сколько-нибудь серьезное значение Вольтера для русских читателей в XIX столетии: «Произведения Вольтера почти совершенно неизвестны в России. Почти все, что говорилось и писалось о Вольтере даже в русской журналистике, писалось по наслышке или с чужого голоса, по иностранным источникам <...> Произведения Вольтера в настоящем столетии были совершенно неизвестны для русских читателей, не знающих иностранных языков. Читался ли он, по крайней мере, теми, кто имел возможность прочесть его в подлиннике? Едва ли...»³ Эта типичная точка зрения была явпо ошибочной. На самом деле в России в XIX в., как и в предшествующем столетии, вокруг наследия Вольтера шла длительная и сложная идейная борьба, то разгоравшаяся с новой силой, то затухая на время; имя же великого французского просветителя нередко звучало у нас не только как эхо некогда громкой славы, но и как лозунг, начертанный на знаменах молодых поколений русских вольнодумцев. Все это стоило бы рассказать подробно, основываясь на печатных и рукописных первоисточниках. Мы можем коснуться здесь лишь одного аспекта этой сложной и едва раскрытой в нашем литературоведении темы. Добавим, однако, что простой перечень переводов произведений Вольтера на русский язык, сделанных в XIX в., или подражаний им не может дать полного представления о том, чем было русское «вольтерьянство» той поры — сложный и все время видоизменявшийся комплекс умственных тенденций, литературных вкусов и бытовых навыков, безусловно заслуживающих дифференцированного анализа.

Традиционным в XIX в., восходящим к своим истокам в предшествующем столетии был в России интерес к личности Вольтера, проявлявшийся не менее ярко, чем интерес к его писаниям. Интерес этот был обусловлен различными причинами. С одной стороны, Вольтер не был кабинетным писателем, но ярким публицистом, публичными выступлениями которого интересовались не в меньшей степени, чем его писаниями; жизнь Вольтера продолжалась долго, и количество людей, его знавших или с ним враждовавших, было очень велико; к тому же в самой полемике

³ Отеч. зап., 1870, № 6, отд. 2, с. 235 (в реп. на кн.: Романы и повести Фр. М. Вольтера / Пер. Н. П. Дмитриева. СПб., 1870).

аргументы *ad hominem* в XVIII в. считались наиболее убедительными, и поэтому еще при жизни Вольтера о его человеческих качествах, особенностях или привычках опубликовано было множество самых противоречивых данных. С другой стороны, Вольтер несколько десятилетий находился в личных отношениях и переписке с русскими людьми, и в русских государственных и домашних архивах накопились первоклассные материалы для его биографии. Наконец, именно в первой половине XIX в. в России возникло специфическое обостренное любопытство читателей к частной жизни всякого деятеля на поприще литературы или искусства прошлого или настоящего времени, а также к выяснению его взаимоотношений с обществом, его окружавшим. В 20-х гг. достаточно ясно высказывался по этому поводу П. А. Вяземский, — в частности, в письме, помещенном в «Сыне отечества» 1823 г. Утверждая, что хотя, «конечно, главное в жизни сочинителя есть сочинения его» и что «потомство по ним судит о человеке», Вяземский отмечал все же, что «любопытство наше не ограничивается одним познанием гласных деяний того, который имеет право на внимание наше. Мы хотим проникнуть в тайны его частной и сокровенной домашней жизни; не довольствуемся тем, что читаем его, но желаем некоторым образом подсматривать и подслушивать и, так сказать, делаться из потомков современниками мужей знаменитых».⁴ Следует сказать, что западноевропейская и русская литературы шли навстречу подобным запросам. Деятельность Вольтера как писателя подвергалась переоценке и осуждению, его сочинения могли вызывать негодование и даже «ужас», но интерес к его личности этим только повышался: каков он был на самом деле, в своей человеческой сфере, этот «фернейский злой крикун»? Опасения и запреты всякого рода не могли, разумеется, истребить память о том, что Вольтер как-никак был советником и корреспондентом многих видных государственных деятелей и даже царствующих особ своего времени. Это в какой-то мере оправдывало тогда — по крайней мере для цензурных инстанций и официальных лиц — интерес к личности Вольтера: если его некогда не чуждались «сильные мира сего», следовательно, общение с ним было не вовсе законопреступным.⁵ Стоит иметь в виду, что еще в 20-х гг. в России доживали свой век вельможи екатерининских времен, лично знавшие и помнившие Вольтера, а публикация его переписки лишь начиналась не только у нас, но и за рубежом. Как известно, именно по поводу изданной в 1836 г. переписки Вольтера с Де Броссом Пушкин сказал свои известные слова: «Всякая строчка великого писателя становится драгоценной для потомства. Мы с любопытством рассматриваем автографы, хотя бы они были не что иное, как отрывок из расходной тетради или записка к порт-

⁴ *Сын отечества*, 1823, ч. 87, № 37, с. 164.

⁵ «Переписка Вольтера с императрицей Екатериной II» почти одновременно вышла в Москве и Петербурге в пяти изданиях (1802—1803).

ному об отсрочке платежа». ⁶ Количество различных статей и заметок о Вольтере, анекдотов и документальных материалов, появившихся в русской печати середины XIX в., — среди которых, в частности, были даже как раз его собственноручные приходо-расходные записи, дававшие основание судить о том, «какими средствами он основал и увеличил свое состояние», ⁷ — было чрезвычайно велико. Их изобилие даже внушает подозрение, что у нас в периоды его осуждения публикацией статей этого рода о личности Вольтера стремились либо подменить интерес к его литературному наследию, либо, напротив, искусно маскировать и легализовать этот интерес.

В начале века в московском университетском журнале напечатана была статья «Слабости Вольтера»; в ней помещено несколько анекдотов, подтверждающих якобы ту истину, что «и просвещеннейшие умы подвержены слабостям, которые ставят их наряду с обыкновенными людьми. Вольтер платил сию дань, награемую Природою на великих людях для того, чтобы они не гордились преимуществами своими». ⁸ Самые анекдоты о Вольтере, следующие за этим общим наблюдением, подтверждают его только отчасти: гнев Вольтера на садовника или фернейскую служанку Мадлену не заключает в себе ничто острого или достопримечательного; зато вся статья заканчивается рассказом о том, как в Париже простой народ приветствовал идущего Вольтера, «узнав в нем защитника несчастного семейства Калласов». ⁹

Интерес к личности Вольтера находил у нас выражение также в популярности его гравированных и в особенности его скульптурных изображений. Из объявления в петербургской газете 1794 г. видно, что в одном из магазинов на Невском проспекте

⁶ Пушкин А. С. Полн. собр. соч. [М.], 1949, т. 12, с. 75.

⁷ Записная книга Вольтера. — Современник, 1847, ноябрь, № 11, отд. 4, с. 48—52.

⁸ Минерва. Журнал российской и иностранной словесности. М., 1806, ч. 3, с. 42—52.

⁹ Несмотря на то, что дело Калласа было известно у нас по большой книге Вольтера (История сокращенная о смерти Жана Каласа и о Каласах вообще, с приобщением к тому разных писем, представлений и прочего. СПб., 1788), помнилась не она, а роль, которую сыграл Вольтер в реабилитации невинно осужденного человека. Любопытно, что в 1801 г. в «Оде Александру I» С. А. Москотильяников, обращаясь к молодому царю с напоминанием, писал:

Злосчастный некогда Калас —
Слепого жертва суеверства! —
Подвинул Муз Фернейских глас
Противу лжи, противу зверства... и т. д.

См.: Бобрин Е. Л. Литература и просвещение в России в XIX в. Казань, 1902, т. 4, с. 142; Поэты-радищевцы / Под ред. В. Орлова. Л., 1935, с. 611—612. — В одном из прошений на имя Александра I, поданных 20 декабря 1913 г. с просьбой о пересмотре дела, находим следующий аргумент просителя: «Долго Каллас был преступником в глазах белого света, но Вольтер свернул ковы вероломства, и истина, появившись в полном ее блеске, представила Калласа невинным, а обвинителя его злодеем» (Дубровин Н. Письма главнейших деятелей в царствование имп. Александра I. СПб., 1883, с. 144).

в ту пору можно было приобрести сделанные «под мрамор» бюсты Вольтера и Руссо;¹⁰ «алебастровые статуйки» тех же писателей, «представленных сидящими в креслах», упомянуты С. П. Жихаревым в его мемуарах.¹¹ Еще в 1839 г. В. П. Горчаков, — некогда бывший приятелем Пушкина по Кишиневу, — в ответ на подаренную ему Е. Н. Орловой скульптуру, изображающую Вольтера, написал ей довольно длинное стихотворение «Размышление над головкой Вольтера», в котором благодарил за подарок «Фернейской чудной головы».¹² Скульптурное изображение Вольтера «вершков в 10» стояло и в кабинете Белинского на последней его квартире.¹³

Возможно, что некоторые из этих скульптур воспроизводили знаменитую статую Гудона, оригинал которой находился в Эрмитаже. В январе 1824 г. в Петербурге впервые представлена была комедия в двух действиях А. А. Шаховского «Ты и вы, Вольтерово послание или шестьдесят лет антракта». Интерес этого спектакля, — насколько можно судить по современным отзывам о нем, — заключался не в тексте самой пьесы, вялой и бессодержательной, по главным образом в роли Вольтера, которую мастерски играл И. И. Сосницкий, вызывая неизменные восторги зрителей. В первом акте этой пьесы Вольтер изображен двадцатилетним юношей, во втором — восьмидесятилетним стариком. «Как естественен и великолепен был Сосницкий и как походил он на бюст этого знаменитого писателя!» — восклицал историк русского театра.¹⁴ О. М. Сомов писал под свежим впечатлением от виденного им спектакля: «Г. Сосницкий совершенно вошел в характер лица, им представленного. Он так умел подделать свое лицо, что без всякого обмана воображения в нем можно было узнать сходство со всеми известными бюстами и портретами Вольтера. Можно почти решительно сказать, что никто из зрителей не слышал голоса и смеха Вольтерова, но голос и смех г. Сосницкого показывали в нем осьмидесятилетнего старика, бодрого духом, по дряхлого телом...».¹⁵ А. Грибоедов также считал, что Сосницкий был в роли Вольтера необыкновенно хорош. «Вся портретная истина сохранена в точности, — писал он П. А. Вяземскому 11 июня 1824 г. — Это одушевленная бронза того бюста, что в Эрмитаже. Я бы желал <...> чтобы картина неизбежной дряхлости и потухшего гения местами прояснилась памятью о протекшей жизни, громкой, деятельной, разнообразной. Кто век прожил с ббльшим блеском?».¹⁶

¹⁰ С.-Петербургские ведомости, 1794, № 67, стб. 1559.

¹¹ Жихарев С. Записки современника / Ред. и коммент. Б. М. Эйхенбаума. М.; Л., 1955. с. 437.

¹² Новые пропавшие / Под ред. М. О. Гершензона. М., 1923, т. 1, с. 15—16.

¹³ Былое, 1917, № 4, с. 182.

¹⁴ Арапов П. Летопись русского театра. СПб., 1861, с. 353—354.

¹⁵ Сып отечества, 1824, ч. 91, № 5, с. 228—229.

¹⁶ Грибоедов А. С. Полн. собр. соч. / Ред. Н. К. Пяксалова. Пг., 1917, т. 3, с. 158—159; Бертенсон С. Дед русской сцены. О жизни и деятельности И. И. Сосницкого. Пг., 1916, с. 43—44.

Таким образом, даже внешний облик фернейского мудреца был у нас широко известен и популярен в XIX в. В качестве курьеза можно здесь также упомянуть, что эта популяризация шла дальше сценических подмостков. В первой четверти XIX в. в Петербурге неподалеку от Охтенского перевоза расположен был знаменитый в то время сад богача и чудака Е. Ф. Ганипа, в котором устраивались публичные гулянья и праздники; в этом саду, где бывали толпы народа, находилась хитроумно сделанная деревянная скульптура Вольтера, кланявшаяся всем гуляющим.¹⁷ Все это подтверждает, что интерес к Вольтеру-человеку продолжал у нас существовать и что Н. А. Полевой безусловно ошибался, утверждая, что «Вольтер уже совершенно умер для нас», хотя «со времени его смерти до нас далеко не прошло и ста лет».¹⁸

Продолжались в XIX в. также и путешествия русских в Ферней. В предшествующем столетии это знаменитое поместье Вольтера на франко-швейцарской границе видело множество русских путешественников, ездивших сюда с поручениями и по собственному почину. Их было так много при жизни владельца, что старик Вольтер, смеясь, называл себя «le vieux Russe de Ferney».¹⁹ Здесь появлялись и посланцы императрицы, курьеры с письмами и подарками, и просто любопытные, когда, по выражению Н. Иваницина-Писарева, рассказывавшего о двух таких посещениях со слов самих путешественников, «самолюбие стремилло всех к тогдашнему центру ученой знаменитости <...> всё спешило в Ферней».²⁰ К сожалению, полного перечня русских посетителей Вольтера в XVIII в. мы не имеем; о более поздних паломничествах и вовсе не приходится говорить: сведения о них отрывочны и затеряны.

После смерти Вольтера (1778) на исходе XVIII в., незадолго до начала открытой кампании в России против «вольтерианцев», Ферней посетил и кратко запечатлел в своих «Письмах русского путешественника» Н. М. Карамзин (см. записи под датой 2 ок-

¹⁷ Пылев М. И. Старый Петербург. СПб., 1887, с. 409—410, 416. — Описание этого сада А. Е. Измайлов (постоянно высмеивавший Ганипа и все его затеи в «Благонамеренном») читал в «Вольном обществе любителей российской словесности» 24 октября 1821 г. О «деревянном Вольтере» в саду Ганипа вспоминал М. Н. Загоскин (Москва и москвичи. 2-е изд. М., 1851, выход 1, с. 238).

¹⁸ Новый живописец общества и литературы / Сост. Н. Полевым. М., 1832, ч. 5, с. 234—235.

¹⁹ Lortholary Albert. Le mirage russe en France au XVIII siècle. Paris, 1951, p. 129.

²⁰ Иваницин-Писарев Ник. Отечественная галерея с прибавлением некоторых других сочинений. М., 1832, ч. 1, с. 161—163, 178—179. — Автор рассказывает о встречах с Вольтером гр. В. Г. Орлова и кн. Ф. Н. Голицына с их слов. Здесь можно вспомнить и о кн. Н. Б. Юсупове (портрет которого увековечен Пушкиным в стихотворении «Вельможе», 1829 г.) — также по собственным Юсупова рассказам о пребывании его в Фернесе; о гр. Н. П. Румянцева, в юности посетившем Ферней вместе со своим братом, — они видели Вольтера «весьма уже старого и лежащего в постели», и т. д. Было бы весьма желательно составить перечень русских посетителей Ферней в XVIII в.

тября 1789 г.). Он видел уже разоренное вольтеровское гнездо. Карамзин пришел в Ферней пешком ненадолго из Женева вместе с случайным попутчиком («Кто, будучи в Женевской республике, не почтет за приятную должность быть в Фернее, где жил славнейший из писателей нашего века?»), быстро осматрел «спальню Вольтерову», — она «служила ему и кабинетом, из которого он поучал, трогал и смешил Европу», — побродил по аллеям парка, описал открывающийся отсюда пейзаж на «Белую Савойскую гору» (Монблан) и ушел, унося смутное впечатление от знаменитой усадьбы и чувствуя больше сердечной приязни к антагонисту фернейского мудреца — Ж.-Ж. Руссо.

Когда тот же Карамзин оказался в Веймаре и дважды повидался здесь с Виландом, русский путешественник показался здесь неожиданным и непривычным гостем. Виланд сказал Карамзину, указывая на бюст Вольтера, что некогда ему пришлось видеть Андрея Шувалова, «острого человека, паптанного духом этого старика», но что он не знал еще о русских любителях немецкой поэзии. С. Н. Дурылин счел эту встречу и беседу Карамзина с Виландом симптоматичной во всех отношениях: до тех пор, писал он, «русская культурная тропа в Европу была известна одна: в Ферней, к Вольтеру», но она становилась все глуше, и ее постепенно начала заменять менее опасная и более открытая дорога — русские паломники теперь ездили в Веймар, на поклон к Гете.²¹

Между тем путешествия русских туристов в Ферней продолжались, и впечатления от этих поездок иногда появлялись в русской печати. Так, например, в апреле 1809 г. в Фернее побывал адъютант Александра I и будущий военный историк А. И. Михайловский-Данилевский. Краткий его рассказ об этом посещении был опубликован в 1817 г. в «Русском вестнике» С. Н. Глинки. Показателем резко изменившегося отношения к Вольтеру в русских правительственных кругах за десятилетие может служить то, что этот нехитрый и не заключавший в себе каких-либо особо интересных данных рассказ подвергся в 1817 г. если не полному запрещению на страницах указанного журнала, то, во всяком случае, изъятию из него нескольких «соблазнительных» мест. Впоследствии сам Михайловский-Данилевский вспоминал об этих изъятиях, свидетельствовавших о «непомерной боязливости цензоров». Однажды к нему явился один из чиновников цензуры «и сказал, что начальники ее просят меня переменить одно место в моей рукописи». Это было при описании «Фернейского замка, где, упоминая о той площадке, любимой Вольтером, с которой открывается соединение гор Юры с Альпийским хребтом, я говорю, что, вероятно, на этом месте он сочинил то прекрасное послание, в котором помещен сей стих:

Liberté, ton trône est en ces lieux.

²¹ Дурылин С. Н. Русские писатели у Гете в Веймаре. — Литературное наследство, М., 1932, т. 4-6, с. 98—99, 122.

Цензоры желали, чтобы я слово *liberté* заменил другим. Я без смеха не мог выслушать сего предложения и отвечал, что, во-первых, стих сей не заключает в себе ничего предосудительного и что послание, в котором он находится, известно всему просвещенному свету, а во-вторых, я не беру на себя, да и никто не осмелится исправлять сочинения Вольтера. Убеждения мои были тщетны, и стих сей на этот раз сделался жертвою невежества цензоров». ²² Приводим для сопоставления это место в допущенном для печати виде: «Ферней принадлежит г-ну Бюдо. Позади дома находится сад, в котором открытое место или площадка, где прогуливался Вольтер и с которого видно соединение Альпийских гор с хребтом Юры; отсюда раздавался во все части света и глас великого певца, а ныне глубокое безмолвие изредка прерывается путешественниками, которые переносятся воображением в то время, когда жил Вольтер». ²³ Издатель «Русского вестника» был, очевидно, настолько напуган цензурным вмешательством в публикацию указанной страницы, что добавил несколько своих примечаний к тексту для «нейтрализации» наиболее «опасных» мест. Так, в первой фразе автора — «Я сегодня ходил на поклонение в Ферней, где Вольтер провел лучшую часть своей жизни, откуда хотел он просвещать вселенную!» — С. Н. Глинка прибавил в сноске: «Замыслы тщеславия — мечты!». Другая фраза автора — «Если бы Вольтер ничего не сочинил, а известен был только основанием Фернея, то и за сие заслужил бы он благодарность друзей человечества» — сопровождается следующим замечанием: «Друзья человечества жалеют, что перо его излило множество отрав».

Очевидно, С. Н. Глинка имел достаточные поводы для осторожности. В журнале «Улей» помещены следующие стихи:

Бронехранилище ужасное — Ферней —
Волшебным маяком был для Европы всей.
Что тридцать лет горел, все жег, не угасая. . .

К слову «бронехранилище» дано следующее пояснение: «Арсенал мысленный Вольтера в деревне его Ферней, где он ковал острые свои стрелы и судил мир». ²⁴ Поэтому далеко не все русские «патронники» в Ферней могли рассказывать в печати о своих впечатлениях; тем не менее записи их оставались в их дневниках и мемуарах.

Осенью 1811 г. в Фернее побывал будущий декабрист Н. И. Тургенев; до того, в 1808 г., он посетил «комнату Вольтера» в Потсдаме ²⁵ (различные места, связанные с Вольтером, тогда

²² Шильдер К. Из воспоминаний Михайловского-Данилевского (1817). — Рус. старина, 1897, № 6, с. 459.

²³ Данилевский А. И. Письма из Италии, писанные в 1809 году. — Рус. вестн., 1817, № 7-8, с. 16.

²⁴ Улей, 1811, ч. 1, № 4, с. 256—260. — Это стихотворение является переводом фрагмента из поэмы Лагарпа и имеет заглавие «Сравнение Ж.-Ж. Руссо и Вольтера». Приведенное примечание принадлежит редактору В. Г. Анастасевичу, являвшемуся, кстати, поклонником Вольтера.

²⁵ Дневник и письма Н. И. Тургенева. СПб., 1911, т. 1, с. 164.

вызывали к себе особое внимание русских путешественников: вспомним о статье К. Н. Батюшкова «Путешествие в замок Сирей», описывающей реальную поездку поэта, совершенную в 1814 г.). Посетив Ферней, Н. И. Тургенев сделал такую запись в своем дневнике от 11 октября 1811 г.: «С удивительным любопытством (которого я не помню в других случаях) вступил я на крыльцо того дома, где жил (вряд ли не) остроумнейший из всех писателей (а их так много!)». Осмотрев спальню Вольтера и все, что имелось там достопримечательного, Н. И. Тургенев долго с особенным вниманием вглядывался в портрет автора «Кандида» и «Орлеанской девственницы», висевший на стене, а также в астамп, «представляющий гробницу Вольтера, на которой четыре части света <...> хотят положить ветви миртовые и лавровые; но Гений невежества, вырвавшийся из своего берлога, или пещеры, воспрещает им воздать достойное праху Вольтера». «Богатая мысль!!» — восклицает Н. И. Тургенев по этому поводу.²⁶

Из косвенных свидетельств мы узнаем, что еще через несколько лет в Ферней ездил известный по событиям 1812 г. адмирал П. В. Чичагов. В дневнике друга Байрона, Джона Хобхауза, под 11 сентября 1816 г. отмечено: «Сегодня адмирал Чичагов посетил лорда Байрона, чтобы представиться ему <...> Он говорит, что приехал из Лозанны в Женеву, чтобы видеть Ферней. Совершил прогулку по берегу озера с лордом Байроном».²⁷ При всей своей краткости запись эта очень интересна и неожиданна: оказывается, что Чичагов приехал в Женеву именно для того, чтобы совершить паломничество в Ферней; узнав, что неподалеку живет другой вольнодумец пынешнего столетия, он напес визит и ему.

На следующий год (в сентябре 1817 г.) в Фернее побывал Н. И. Грец; характерно, что его рассказ об этом помещен в альманахе Бестужева и Рылеева «Полярная звезда на 1823 г.». Посвященная Фернею страница в этих путевых письмах, впрочем, не включает в себе ничего достопримечательного; самое интересное в ней — это начало, впечатление заброшенности этого старого гнезда и той печати забвения, которая легла на все писания его первого владельца: «После обеда ездили мы в Ферней [из Женевы]. Надобно иметь самое пылкое и творческое воображение, чтоб представить себе в этом небольшом, обветшалом доме бывшую столицу европейского философа, из которой он переписывался с государями, трогал, смешил, дурачил и обманывал Европу».²⁸

²⁶ Дневники и письма Н. И. Тургенева за 1811—1816 гг. СПб., 1913, т. 2, с. 98—99.

²⁷ *Broughton, lord (John Cam Hobhouse). Recollections, of a long life. London, 1909, vol. 2, p. 13—14.*

²⁸ Полярная звезда, изд. А. Бестужевым и К. Рылевым. М.; Л., 1960, с. 97—98. (Литературные памятники).

В середине 20-х гг. Ферней подробно описал А. Глаголев в своих «Записках русского путешественника». Этот бесталан-ный московский писатель, сумевший, однако, приобрести степени магистра и доктора словесных наук за свои пухлые и бессодер-жательные труды вроде «Умозрительных и опытных оснований словесности» (1834—1845), в наследии Вольтера разбирался еще меньше, чем Н. Греч. А. Глаголев тщательно рассмотрел фернейский сад и дом, занес в свою записную книжку все, что казалось ему достойным внимания, отметив, например, неудач-ное, по его мнению, местоположение «замка», который «обращен фасадом не к озеру и горам альпийским, как следовало бы по направлению холмов», а «к церкви и аллее, упирающейся в Жес-скую дорогу», — он приписал это «недоразумению архитектора или прихотливому вкусу хозяина», — а затем представил свою характеристику Вольтера, удивительную по своей беспомощности и наивности.²⁹ Впрочем, таким же представляется автор и во всех трех частях своих записок, тем не менее выдержавших два издания.

Не очень далеко от А. Глаголева ушел также М. П. Погодин, уделивший Фернею страницу в описании своего заграничного пу-тешествия 1839 г. Он также ездил в Ферней из Швейцарии, уди-вился «небольшому двухэтажному дому» Вольтера, «который при-надлежит теперь какому-то маркизу», прогулялся по комнатам и по саду и задумался о его старом хозяине. «Что сказать о Воль-тере? Об нем все сказано и пересказано. Никак не могу я понять его образа действий, со всеми его прихожанами, так называемыми философами осмнадцатого столетия!» и т. д. Больше внимания Погодин уделил не Вольтеру, а его служителю — «высокому ста-рику, седому, в плисовой куртке», исполнявшему в Фернее обя-занности гида. «Уж не бессмертен ли он?» — сказал о нем Пого-дину его спутник. «В самом деле, такая длинная жизнь кажется несколько подозрительною, — подумал про себя путешествен-ник. — Вот человек, который мог видеть все фазы человеческой славы, Вольтеровой славы, по числу путешественников, приез-жавших со всех сторон поклоняться Вольтеру. Чуть ли не по-следняя четверть наступила теперь, и даже давно! Если старик вздумает прожить еще лет десяток, то может быть умрет пустын-ником. *Sic transit gloria mundi*».³⁰

Вероятно, к помощи того же самого «служителя» через не-сколько лет обращался в Фернее Александр Бехтеев, видный пе-тербургский чиновник, описавший свою заграничную поездку и издавший свою книгу «для руководства предпринимающих это путешествие». «Я, — рассказывает простодушный Бехтеев, — ал-рессовался по данному совету к Г. Даль Дуз, 75-летнему савов-

²⁹ Глаголев А. Записки русского путешественника. 2-е изд. СПб., 1845, ч. 3, с. 17—33 («Фернейский замок»).

³⁰ Погодин М. Год в чужих краях. 1839: Дорожный дневник. М., 1844, ч. 4, с. 161—163.

нику, знавшему Вольтера, у коего он был в услужении, и рассказывающему о нем без шарлатанства, свойственного этого рода современникам. Он показал мне спальню и приемную, оставшуюся в том виде, как были при Вольтере».³¹ Самое описание Ферней Бехтеевым бесхитростно, но довольно обстоятельно; он упоминает и о большом виае, посаженном в саду самим Вольтером, «на который 1834 года пала молния, причинив ему менее вреда, пещели ножи и ногти путешественников», и о хранящихся у садовника вещах: «кусок Вольтерова халата, его белый шелковый колпак с золотыми цветами, большую буковую палку, чернильницу, печать с гербом его, с коего он дал мне слепок» и т. д. В заключение он высказывает мысль, что «без памяти Вольтера замок Ферней ни по положению, ни по размещению не заслуживал бы никакого внимания», и сообщает: «Говорят, теперь все имение Ферней куплено какими-то промышленниками или фабрикантами».³² Действительно, вскоре осмотр исторического здания стал труднее, но зато к услугам туристов по Швейцарии появился специальный омнибус, ездивший в Ферней каждый день от Большого моста в Женеве, и поток путешественников желавших видеть старое Вольтерово жилище, не прекращался.

В 1857 г. в очерке «По обе стороны Альпов» о Фернее по личным впечатлениям подробно рассказал А. П. Милюков, видный литератор, близкий к «петрашевцам», критик и мемуарист. Из этого очерка неопровержимо явствует, какая новая эпоха для восприятия Вольтера открывалась в это время в России. Осматривая спальню Вольтера в Фернее, А. П. Милюков вступил в спор с каким-то находившимся здесь же толстяком из Лиона, который запальчиво утверждал, что он не знает ни одной строки Вольтера и «никогда не позволит детям и жене взять в руки книгу этого страшного человека <...> — Да, но я знаю... он вызвал революцию... подкапывал основы общества...». «Мне стало смешно и досадно, — утверждает рассказчик. — ... Сколько людей, знакомых с сочинениями фернейского мыслителя даже не по наслышке, видят в нем писателя безнравственного, почти злодея. Нелепые мнения живучи». И чтобы содействовать преодолению этих застарелых предрассудков, вдохновленный всем, что он видел в Фернее, А. П. Милюков заканчивал свой рассказ настоящим панегириком во славу его первого владельца: «В наш век значение Вольтера начинает проясняться. Какое удивительное разнообразие гения и какое непостижимое постоянство в идее и цели! Философ, историк, поэт, драматург, публицист, великий протей всех талантов, как называет его Байрон, он посвятил

³¹ Об этом же садовнике рассказывается в небольшой переведенной с немецкого статье «Посещение Ферней в 1829 году» в журнале «Галатея» (1829, т. 10, № 51, с. 235—242): «Садовник, и теперь еще здесь живущий, находился в услужении в последние годы Вольтеровой жизни. Он рассказал нам с удивительной ловкостью много неизвестных анекдотов о великом человеке».

³² Бехтеев Александр. Рассказ об Италии. М., 1846, с. 224—227.

жизнь на то, чтобы разбить кору невежества и предрассудков, которая в продолжение веков наслоилась на общественном теле, и разбить ее одним орудием смеха. Но так мог смеяться только тот, кто глубоко любил, страдал людскими страданиями, возмущался всякой несправедливостью и краснел при виде предрассудков». Следующая далее пространная характеристика французского писателя превращается в настоящее «стихотворение в прозе»: «Много надо было накопиться в обществе желчи и слез, чтоб явился человек, подобный Вольтеру, который проникся бы сочувствием к людским страданиям и во имя любви засмеялся против всего, что оскорбляло человечество. В ней почерпнул этот человек и неистощимую пылкость ума, и нежность симпатии, и энергию ненависти»³³ и т. д.

Через год в Ферней ездил П. А. Вяземский; в его «Старой записной книжке» отмечено под 2 июня 1858 г.: «Ездили в Ферней. Великолепная радуга»; на следующий день: «Утром писал статью о Фернее».³⁴ Этот старый «вольтерьянец», знакомый с сочинениями Вольтера с детских лет, много писавший о Вольтере и переводивший его прозой и стихами в первой трети века, с тех пор во многом изменился; из вольнодумца Вяземский стал законченным консервативом; но с воспоминаниями и увлечениями юности было не так-то легко расстаться. Статья Вяземского «Ферней» начинается цитатой о Вольтере из «Писем» Карамзина, затем описан Ферней; повествование прерывается размышлениями о Вольтере, скорее сочувственными, чем отрицательными. Напомнив о Карамзине, Вяземский сообщил, что и он, со своей стороны, «почел за приятную обязанность или должность побывать еще раз в Фернее. Посетил я его за несколько лет тому в первый мой проезд через Женеву. Вчера опять отправился я на поклонение». «Я не вольтерьянец, но и не бешеный антивольтерьянец», — пишет Вяземский далее, полагая, что «все-таки в Вольтере найдется много, за что можно помянуть его не лихом, а добрым словом (<...> Может быть, даже ударились в противоположную крайность. Вольтера, может быть, вовсе не читают. Это жаль и несправедливо»,³⁵ и т. д. Тогда же возникло большое стихотворение Вяземского «Ферней» («На ум мне приходит владелец Фернея...»), отмеченное той же двойственностью восприятия личности и наследия фернейского мудреца, заканчивающееся следующей строфой:

И бросить ли камень в твой пепел остывший,
Боец, в битвах века растративший силы?
О, нет, не укором, а скорбью глубокой,
О немощах наших и в доле высокой,
Я, грешника славы, тебя помяну...³⁶

³³ Миллюков А. П. Путевые впечатления на севере и юге. СПб., 1865, с. 208—210.

³⁴ Вяземский П. А. Полн. собр. соч. СПб., 1886, т. 10, с. 227.

³⁵ Там же, 1882, т. 7, с. 52—53.

³⁶ Там же, 1887, т. 11, с. 324—326.

В июне 1859 г. в Ферней явился еще один обломок пушкинской поры — П. А. Плетнев;³⁷ еще позже (1876) — А. В. Никитенко, которому «смотритель Вольтерова дома» сообщил, что «русских посетителей Фернея бывает очень много». Никитенко был весьма доволен своим посещением этого места, «куда, — пишет он в своем дневнике, — давно влекло меня желание поклониться тени человека, у которого было хорошее сердце, скверный характер и возвышенный ум с гением писателя», и прибавляет: «Что бы о нем ни думали и ни говорили, — а Европа обязана ему значительной частью своих успехов умственных и гражданских».³⁸

Это было не последнее путешествие в Ферней в XIX в. Их совершали и позже: «Хоть на несколько мгновений побывать там, где долгие годы провел в напряженном труде такой человек, взглянуть на его обстановку, перенестись на месте в его ощущения и думы, — сколько в этом привлекательного! . . .» — восклицал Алексей Веселовский, побывавший в Фернее в 1892 г.³⁹ Дело было не только в том, что реабилитация фернейского патриарха к этому времени совершилась полностью, но и в том, что до конца столетия интерес к последнему Вольтера перебивался любопытством к его личности.

Характерно, что известная статья Н. К. Михайловского в «Отечественных записках» 1870 г., в которой он пытался утверждать, что у Вольтера «практические и теоретические требования отрицали друг друга», называлась «Вольтер-человек и Вольтер-мыслитель».⁴⁰ Гудоновская статуя Вольтера, изгнанная в свое время из Зимнего дворца, нашла пристанище в Публичной библиотеке, открытая для всеобщего обозрения,⁴¹ а рано погибший поэт-народник Н. В. Симборский (1851—1881) в своей поэме «Статуя» (1877) пытался оживить память о ней, рассказав дворцовые предания; стихотворное описание этой статуи было в то же время обновлением и напоминанием житейского облика Вольтера, столь некогда популярного:

Глядит голова мудреца,
И ползает смех ядовитый
По мраморным складкам лица.
Недвижны сомкнутые губы,
Но чуется смутно душой,
Что скоро, как ангелов губы,
Они прогремят над землей

п т. д.⁴²

³⁷ Переписка Я. К. Грота с П. А. Плетневым. СПб., 1896, т. 3, с. 659.

³⁸ Никитенко А. В. Дневник. М.: Л., 1956, т. 3, с. 373.

³⁹ Веселовский Алексей. У Вольтера. — В кн.: Помощь голодающим: Научно-литературный сб. М., 1892, с. 453—461. — Эта статья перепечатывалась четыре раза в составе сборника статей А. Веселовского «Этюды и характеристики» (4-е изд. М., 1912, т. 1, с. 202—210).

⁴⁰ Михайловский Н. К. Соч. СПб., 1897, т. 6, с. 1—71.

⁴¹ Библиотека Вольтера: Каталог книг. М.: Л., 1961, с. 57—58.

⁴² Поэты-демократы 1870—1880-х годов / Ред. А. М. Вихтера. М.: Л., 1962, с. 362—376.

В свете приведенных справок получает особое значение известная сцена повести Достоевского «Село Степанчиково» (ч. 2, гл. 3), в которой Бахчев и Ежевики спорят с Фомой о «вольтерьянцах»: «Меня самого вольтерьянцем обозвали — ей-богу-с, — жалуется Ежевики, — а ведь я, всем известно, так еще мало написал-с. . . то есть крынка молока у бабы скиснет — все господин Вольтер виноват. Всё у нас так-с.

— Ну, нет! — заметил дядя с важностью, — это ведь заблуждение! Вольтер был только острый писатель; смеялся над предубеждениями; а вольтерьянцем никогда не бывал! Это всё про него враги распустили. За что ж, в самом деле, всё на него, бедняка? . . .»⁴³

Любопытство к личности писателя и ее популярность заслуживали порой интерес к его творческому наследию.

⁴³ Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч. Л., 1972, т. 3, с. 135.

ГЕРМАНИЯ И РАННЕЕ ВОСПРИЯТИЕ ШЕКСПИРА В РОССИИ

Открытие Шекспира и признание его одним из величайших драматургов всех веков было результатом общеевропейского культурного процесса, шедшего почти одновременно во всех странах Европы. Этот процесс был длительным, но не везде непрерывным, развиваясь иногда как бы скачками, со случайными и вынужденными остановками. В каждой стране восприятие Шекспира имело свои отличительные признаки, развиваясь в соответствии с национальными литературными или театральными традициями, порождая споры, несогласия и столкновение мнений. Однако утверждение славы Шекспира как поэта-новатора могло возникнуть только на основе международных споров, как результат обмена мнений и эстетического опыта. Несогласие в оценках тех или иных его произведений или всего его творчества в целом возникало в одной стране и перебрасывалось оттуда в другую, обнаруживалось в другой и усваивалось в третьей. Противоречия сглаживались, но, в сущности, никогда не исчезали бесследно, потому что различия в восприятии творчества любого мирового писателя, будь то Данте, Шекспир или Гете, бесконечны, а эстетический опыт их восприятия поистине неисчерпаем. Процесс утверждения любого писателя мирового значения, о котором мы говорим, отличался в данном случае особой сложностью, потому что обсуждению подвергалась не какая-либо отвлеченная теоретическая проблема, а произведения искусства, действительность и сила которых проверялись на практике, а в число спорящих вовлекались не только критики и читатели, но и переводчики, актеры и театральная публика. Вот почему изучение судьбы того или иного мирового писателя (в особенности драматурга) не может рассматриваться изолированно, в пределах одной национальной литературы, но предполагает необходимость учитывать различные формы воздействия одной литературы на другую.

Немецкие исследователи не один раз — в том числе и на страницах «*Jahrbücher der deutschen Shakespeare-Gesellschaft*» — подчеркивали, что, помимо Англии, ни в одной стране — за исключением Германии — Шекспир не оказал столь сильного влияния, не переводился столь часто, не ставился столь усердно на сцене, как именно в России.¹ И это мнение, безусловно, вполне справедливо. Еще в 1864 г. И. Тургенев говорил с полным убеждением, что для русских «Шекспир не одно только громкое, яркое имя, которому поклоняются лишь изредка и издали; он сделался нашим достоянием; он вошел в нашу плоть и кровь». Эти извест-

¹ Luther A. Shakespeare in Russland. — Shakespeare-Jahrbuch, 1950, Bd 84-86, S. 214—218; Friederichs E. Shakespeare in Russland. — Englische Studien, Leipzig, 1916, H. 1, S. 106—136.

ные слова сказаны были не в результате специальных исторических разысканий, но на основе личных воспоминаний писателя. Тургенев, однако, едва ли предполагал, насколько глубоко будут они оправданы всем последующим ходом развития русской культуры и научного шекспироведения. Между тем, несмотря на очевидный параллелизм в процессе прославления Шекспира в Германии и в России и напрашивающиеся между ними аналогии, сопоставлений этого общего для них движения почти не делалось, а явное сходство некоторых немецких и русских оценок английского драматурга не обращало на себя должного внимания, которого оно весьма заслуживает. Многочисленные исследования о Шекспире в России, накопившиеся более чем за столетие (от статьи А. Д. Галахова «Шекспир в России», 1864), всегда охотнее обращались к сопоставлениям французских и русских оценок Шекспира и к поискам аналогий во Франции к истории его русской сценической судьбы, придавая, в частности, неправомерно большое значение воздействию на русских критиков XVIII в. взглядов на Шекспира представителей эстетики французского классицизма от Вольтера и до Лагарпа. Эта традиционная точка зрения только сейчас начинает уступать место новым воззрениям, прежде всего потому, что в недавнее время были значительно лучше прояснены исследователями как история англо-русских, так и в особенности история немецко-русских взаимоотношений того века.

Мы знаем, что в немецкой литературе в эпоху Готтшеда французское влияние было столь же сильно, как и в русской литературе, и что под воздействием передовых литературных течений в 60—70-е гг. в России, как и в Германии, поэтика классицизма дала трещины и начинала распадаться. В истории немецкого восприятия Шекспира в период «*Vergleichung Shakespeares und Andreas Gryphius*» (1741) И. Э. Шлегеля и до появления в «Орах» Шиллера первых переводов А. В. Шлегеля из «Ромео и Джульетты» и «Буря» и русского — от «Гамлета» Сумарокова (1748) до «Юлия Цезаря» Карамзина (1787) было много общего. Могут быть указаны также и случаи совпадения в немецкой и русской точках зрения на Шекспира и прямое воздействие его оценок немецкими источниками на русские.

Ознакомление русских читателей с Шекспиром обычно вменяется в заслугу А. П. Сумарокову, действительно называвшему его имя в русской печатной книге 1748 г. Более ранних упоминаний имени Шекспира в русской печати обнаружено не было. Из этого, конечно, не следует, что до конца 40-х гг. имя его вовсе не было известно русским читателям, причастным к литературе. Те из них, которые читали на иностранных языках, безусловно, встречали его (как например Кантевер, встречавший упоминание английского драматурга в сочинениях Риккони (L. Ricconì), которые он пропагандировал в С.-Петербурге). Следует также иметь в виду, что Шекспир мог оказывать воздействие на русский театр еще до того времени, как в России

стало известным его имя. Здесь мы находим не столько полную аналогию проникновению в Германию шекспировских сюжетов через посредство «английских комедиантов», сколько прямое их заимствование через посредство этих самых комедиантов, являвшихся к нам из немецких земель. Хотя непосредственные связи между английскими и русскими театрами стали налаживаться в последние годы XVII в.,² после того как царь Петр I провел несколько месяцев в Англии (1698), а затем и сам завел постоянно действующий общедоступный театр в Москве (1702), но о Шекспире в то время еще речи не было: немного знали тогда о великом драматурге и во всей континентальной Европе.

Правда, представленная труппой немецких актеров в московском театре 1702 г. «Комедия о Юлие Кесаре» была, вероятно, как это давно уже отмечено, «отдаленным отголоском драмы Шекспира или другой английской обработки этого сюжета»,³ но все подобные, довольно многочисленные аналогии, включая недавно обнаруженное сходство между русской повестью, написанной в 1725—1726 гг., «Гистория о некоем шляхетском сыне» и пьесой репертуара немецких бродячих театральных трупп «Наказанное братоубийство» (*Der bestrafte Brudermord*, 1710), восходящей к «Гамлету»,⁴ в историю распространения Шекспира в России не входят; это лишь ее предыстория.

Как мы уже указывали, в первый раз имя Шекспира произнесено было в русской печати А. Сумароковым в 1748 г. в небольшой книге «Две эпистолы». Во второй из этих эпистол («О стихотворстве») среди многих прославленных писателей древнего и нового мира назван между Мильтоном и Попом также «Шекспир, хотя не просвещенный». В сопровождающих стихотворный текст эпистолы примечаниях Сумароков разъяснил:

² *Алексеев М. И.* О связях русского театра с английским в конце XVII—начале XVIII в. — Учен. зап. КГУ, [Саратов, 1943], № 87, с. 123—140.

³ *Vesselotsky A.* Deutsche Einflüsse auf das alte russische Theater. Prag, 1876, S. 54; *Морозов П. О.* Очерки из истории русской драмы XVII—XVIII столетий. СПб., 1888, с. 266.

⁴ *Моисеева Г.* Русские повести первой трети XVIII в. М.; Л., 1965, с. 145—147; *Evans M. B.* Der bestrafte Brudermord, sein Verhältnis zu Shakespeares Hamlet. Hamburg; Leipzig, 1902.— Свыше ста лет тому назад анонимный русский историк (Взгляд на историю Санктпетербургских театров. — В кн.: Театральная карманная книжка для любителей театра. СПб., 1853, с. 2) пытался отыскать следы воздействия Шекспира на пьесы, шедшие в том театре, который заведен был в Петербурге в 1714 г. царевной Натальей Алексеевной, младшей и любимой сестрой царя Петра: «Представления этого театра открылись в особом, построенном для того деревянном доме трагедною, в которой нельзя не заметить влияния Шекспирова: содержание ее заимствовано было из недавних мятежей, потуги государственных правительством, и трагическое действие не обошлось без шута. Жаль, что все эти опыты драматической поэзии исчезли совершенно. . . ». Но это предположение не оправдалось. Автор несомненно основывался на известной книге Вебера (*Weber*) «Das Veränderte Russland» (Frankfurt, 1721, S. 227—228), но истолковал известие о спектаклях этого театра совершенно произвольно. Когда найдены были отрывки из игравшихся пьес, ни одна из них не подтвердила свое предполагаемое родство с шекспировским наследием. См.: *Шляпки И. А.* Царевна Наталья Алексеевна и театр ее времени, СПб., 1898, с. XV—XVII, LVI,

«Шекеспир, аглинский трагик и комик, в котором и очень хорова и чрезвычайно хорошева (sic) очень много. Умер 23 дня апреля, в 1616 году, на 53 году века своего».⁵

Источник этих сведений не определен. Большинство критиков и исследователей Сумарокова возводило это первое печатное известие о Шекспире в России к суждениям о нем Вольтера. Такое утверждение стало обычным и устойчивым. Лишь Х.-Б. Хардер в своих «*Studien zur Geschichte der russischen klassischen Tragödie*» отметил: «Источник его до сих пор не установлен <...> По-видимому, это мнение самого Сумарокова».⁶ Между тем нетрудно заметить, что «примечание» Сумарокова более походит на цитату, заимствованную из какого-нибудь справочного издания, тем более что здесь дана в первый раз на русском языке точная дата смерти Шекспира, еще не часто встречавшаяся в континентальной европейской печати: Вольтер, в частности, говоря о Шекспире в XVIII «Философском письме», мог сообщить лишь, что Шекспир творил приблизительно в то же время, что и Лопе де Вега.

Решаюсь высказать предположение, что источником кратких сведений о Шекспире, сообщенных Сумароковым, была не французская, а немецкая книга. Это был, вероятно, «*Jöcher's Compendiöses Gelehrten-Lexicon*» в первом издании 1733 г., где имеются следующие строки: «*Shakespear (Wilh.), ein englischer Dramaticus, geboren zu Stratford 1564, war sehr schlecht auferzogen, und verstand kein Latein, brachte es aber in der Poesie sehr hoch. Er hatte ein scherzhaftes Gemüthe, konnte aber doch auch sehr ernsthaft seyn <...> Er starb zu Stratford 1616, 23 April, im 53 Jahre*»⁷ («Шекспир Вильг., английский драматург, родился в Стратфорде в 1564 г., получил весьма недостаточное воспитание и по-латыни не знал, но в поэзии достиг высокого совершенства. Он имел веселый нрав, однако мог быть также и весьма серьезным <...> Умер в Стратфорде в 1616 г., апреля 23-го, на 53-м году жизни»). Даты рождения и смерти Шекспира заимствованы Христианом Готлибом Йохером из надгробной надписи в Стратфорде; во французских биографических и энциклопедических словарях эти даты начали помещаться лишь несколько десятилетий спустя. Если наша догадка об источнике Сумарокова правильна, мы можем получить благодаря этому лишний довод в пользу того, что примененный к Шекспиру Сумароковым эпитет «непросвещенный» следует понимать буквально, как отзыв о писателе, не понимавшем по-латыни, не получившем настоящего классического образования и достигшем творческих вершин вопреки отсутствию «хорошего воспитания». Словарь Йохера в данном случае основывался на первой английской биографии Шекспира, написанной Nicol. Rowe (1673—1718) и пред-

⁵ Сумароков А. И. Две эпистолы. СПб., 1748, с. 9.

⁶ Harder Hans-Bernd. Studien zur Geschichte der russischen klassizistischen Tragödie (1747—1769). Wiesbaden, 1962, S. 7.

⁷ Wolffhelm Hans. Die Entdeckung Shakespeares. Deutsche Zeugnisse des 18. Jahrhunderts. Hamburg, 1959, S. 91.

посланной выпущенному им в Лондоне в 1709 г. семитомному изданию сочинений Шекспира. Эта биография полна анекдотических и фантастических сведений о Шекспире и имеет тенденции подчеркнуть стихийность его творческого дарования при бедном и недостаточном образовании, которое будущий драматург мог получить в скромной провинциальной грамматической школе. Вероятно, именно эта биография и послужила поводом для начала длительного спора об «учености» и «неучености» (т. е. об «образованности» и «необразованности») Шекспира; спор этот продолжался в течение всего XVIII в., в особенности после 1767 г., когда появилась книга Р. Farmer'a («On the learning of Shakespeare»), специально направленная против распространенного мнения относительно «необразованности» Шекспира и неосведомленности его в различных науках и областях знания.⁸ Называя Шекспира «непросвещенным», автор повторял лишь общее суждение о нем европейской критики и вовсе не хотел подчеркнуть, что английский драматург не придерживался принятых повсеместно драматургических правил. В связи с этим стоит отметить, что Готтшед в 1741 г. упоминал о шекспировских «Unwissenheit und Übertragung der theatralischen Regeln»,⁹ т. е. различал вопросы о его «непросвещенности» и о применении им театральных канонов.

В том же году, что и «Две эпислолы» Сумарокова, появился его «Гамлет» (1748), но имя Шекспира здесь не было названо по той причине, что сам автор считал свою пьесу совершенно самостоятельным произведением. Отвечая своим критикам, обвинявшим его в подражании, Сумароков не без основания указывал: «Гамлет мой, кроме монолога в окончании третьего действия и клавдиева на колени падения, на Шекспирову трагедию едва ли походит». Сумароков и на самом деле имел основания для такого утверждения: заимствовав для своей трагедии шекспировский сюжет, и то не непосредственно, а через вольный французский перевод Лапласа (*P. A. de la Place. Théâtre anglois. Londres, 1745, t. 1*), но заключив его в строгие рамки классической теории, Сумароков дал совершенно новую пьесу.

Несмотря на энергичные заявления А. Сумарокова относительно оригинальности его пьесы, «Гамлета» его долгое время возводили к французским источникам, и прежде всего к тому же Вольтеру, что было совершенно несправедливо. Лишь недавно сделаны были разнообразные попытки реабилитации этой старой русской пьесы, значение которой в свое время было недооценено. Так, например, Д. М. Лэнг отметил, что «в выявлении драмати-

⁸ О биографии Шекспира, написанной Poy, как и об источниках этого спора см.: *Smith D. Nichol. Eighteenth Century. Essays on Shakespeare. Glasgow, 1903, Introd., p. XXII*; *Evans H. A. A Shakesperian Controversion of the eighteenth century. — Anglia, 1905, Bd 28, S. 457—476*; *Badlock R. W. The Genesis of Shakespeare Idoltry, 1766—1799. Chapel Hill (N. C.), 1931, p. 57—69.*

⁹ *Wolfjheim Hans. Die Entdeckung Shakespeares, S. 94.*

ческих возможностей шекспировской темы Сумароков был пионером» и что его «Гамлет» был игран на сцене «на девятнадцать лет ранее, чем первая французская обработка „Гамлета“ Шекспира, сделанная Дюсисом (Ducis) и являющаяся столь же антишекспировской, как и сумароковская»; тому же исследователю представилось знаменательным то обстоятельство, что, превращая шекспировского «Гамлета» в неоклассическую трагедию, Дюсис сосредоточил свое внимание на конфликте между долгом и любовью, что задолго до него осуществил Сумароков в своей обработке той же темы.¹⁰

В вопросе о происхождении сумароковского «Гамлета» высказывались и другие догадки, не получившие, впрочем, достаточного обоснования. Так, французский ученый А. Лирондель (Lirondelle) в своей книге «Shakespeare en Russie», опираясь на старинное русское свидетельство, обращал внимание на то, что в то время, когда Сумароков писал свою пьесу, «Гамлет» еще на немецкий язык переведен не был, но актер Копрад Аккерман будто бы играл в Петербурге на немецком театре не только «Гамлета», но и «Ричарда III», — может быть, по переделкам шекспировских пьес, сохранившимся в XVIII в. от репертуара странствовавших по Германии «английских комедиантов», — и что именно этим и можно объяснить интерес Сумарокова к «Гамлету».¹¹ Подтверждение догадки о возможности немецкого влияния на выбор темы этой его трагедии, в частности, видели в том, что в произношении Сумарокова (не знавшего английского языка) он был Гамлетом — с ударением на первом слоге, — а не Гамлétом, каким он стал после популярной у нас переделки Дюсиса.¹² Подозревали даже связь сумароковского «Гамлета» с дошекспировским (может быть, «Гамлетом» Т. Куд'а), игравшимся немецкими комедиантами в XVII и XVIII вв. в Германии. В пользу этого предположения ссылались и на то, что у Сумарокова, в противоположность Шекспиру и по аналогии с Saxo Grammaticus и Belleforest, Гамлет не умирает, а остается жить и вступает на престол. Возможность непосредственных воздействий на Сумарокова немецкой эстетики и теории драматического искусства (в свою очередь ориентировавшихся на французский классицизм) в последнее время не только не отрицается, но даже подчеркивается особенно настойчиво. Сумарокову несомненно хорошо было известно литературное окружение Готтшеда, его журнал «Beiträge zur Critischen Historia der deutschen Sprache, Poesie und Beredsamkeit», статьи и трагедии начала

¹⁰ Lang D. M. Sumarokov's Hamlet. A misjudged Russian tragedy of the eighteenth century. — Modern Language Rev., 1948, vol. 43, № 1, p. 67—72.

¹¹ Lirondelle A. Shakespeare en Russie. Paris, 1914, p. 18. — Приведенное здесь свидетельство Ф. Кони (Русская сцена, 1864, № 5) маловероятно и документально не подтверждено.

¹² Алексея М. П. К истории написания имени Шекспира в России. — В кн.: Проблемы современной филологии. Сб. статей к семидесятилетию акад. В. В. Виноградова. М., 1965, с. 304—313.

40-х гг. Иоганна-Элиаса Шлегеля, в которых воздействие Шекспира уже явственно различимо. Отмечены связи ранних трагедий Сумарокова с Готтшедом и готтшедовской школой, его знакомство с издававшейся Готтшедом «Die deutsche Schaubühne» (1740—1745), в частности с трагедией И.-Э. Шлегеля «Hermann» (1743), о которой сохранился отзыв Сумарокова. Едва ли подлежит сомнению также знакомство Сумарокова с «Versuch einer kritischen Dichtkunst für die Deutschen» Готтшета.¹³ Не забудем при этом также, что похвальный отзыв о трагедии Сумарокова «Синав и Трувор» появился в журнале Готтшета и что русский писатель ставился здесь даже в образец немецким драматургам.¹⁴ Все это наводит на мысль, что импульс к ознакомлению с произведениями Шекспира Сумароков мог получить именно из немецкого источника.

После первого упоминания Шекспира в «епистоле» Сумарокова имя английского драматурга почти не встречается в русской печати до 60-х гг. XVIII в., когда о нем в России начали писать сравнительно часто. При этом отзывы и упоминания о нем все реже основываются на одних лишь французских оценках его творчества; для этой цели привлекаются также немецкие и, наконец, английские источники.

В 70—80-е гг. в России несомненно были распространены немецкие переводы Шекспира, изданные И. И. Эшенбургом: немецкий язык был у нас в то время более известен, чем английский. Екатерина II извещала Ф. Гримма (в письме от 24 сентября 1786 г.), что она «читала Шекспира в немецком переводе Эшенбурга» и что «девять томов уже проглочены».¹⁵

Заслугой Эшенбурга являлось, как известно, то, что, будучи в своем переводе Шекспира продолжателем предшествующей попытки Виланда, он дал более близкий к оригиналу текст (в прозе, как и у Виланда), приспособленный для сценического воспроизведения и очень распространенный среди театральных деятелей. Значение переводов Шекспира Эшенбургом для подражаний Екатерины II (ею написаны и поставлены на сцене четыре пьесы — переделки из Шекспира), не владевшей свободно английским языком, было уже подчеркнуто.¹⁶ Несомненно, что в России и в то время и позже были известны также критические работы Эшенбурга о Шекспире («Versuche über Shakespeares Genie und Schriften») и другие его издания и трактаты, в которых он последовательно популяризировал английскую ли-

¹³ Harder Hans-Bernd. Studien zur Geschichte der russischen klassizistischen Tragödie, S. 47—48.

¹⁴ Гукковский Г. А. Русская литература в немецком журнале XVIII в. — В кн.: XVIII век. М.; Л. 1958, сб. 3, с. 387—388; Lehmann U. Deutsch-russische Wechselseitigkeit in deutschen und russischen Zeitschriften des 18. Jahrhunderts. — In: Deutsch-slavische Wechselseitigkeit in sieben Jahrhunderten. Berlin, 1956, S. 241—255.

¹⁵ Сборник имп. Русского ист. о-ва. СПб., 1878, т. 23, с. 383.

¹⁶ Simmons E. Catharina the Great and Shakespeare. — PMLA, 1932, vol. 47, p. 790—806.

тературы (Britisches Museum. Leipzig, 1777—1780; Annalen der britischen Literatur, 1780, и др.). Замыслы переводов из Эшенбурга вынашивал в молодые годы В. А. Жуковский, и кое-что из них ему удалось осуществить.¹⁷

О Шекспире в те годы нередко заходила речь также на страницах изданий, выходивших в России на немецком языке. Роль этих изданий для популяризации Шекспира в России не должна быть приуменьшена. В начале 80-х гг. в С.-Петербурге издавался немецкий журнал, в котором наряду с оригинальными статьями и переводами перепечатывались также материалы из других изданий, выпускавшихся в России, Германии, Англии, Франции и Швеции.¹⁸ История этого журнала библиографически запутана и не подвергалась еще специальному исследованию; сотрудники его также известны плохо, но мы знаем, что выпускал его живший в Петербурге молодой Коцебу, сумевший сделать его интересным и разнообразным: Коцебу являлся в это время секретарем генерала В. Баура в Петербурге и поддерживал близкие отношения с немецким театром. В Обращении к читателю, которым открывался этот журнал, Коцебу, между прочим, писал: «Имею удовольствие уверить моих читателей, что в дополнение к еще не печатавшимся сочинениям, которые я обещал в уведомлении о сем журнале, я ожидаю приношений от авторов, коих труды ценятся по всей Германии. Имена их я назову, впрочем, позднее, когда получу на то позволение. Если же, кроме того, тот или иной из моих читателей пожелает оказать мне честь небольшими сочинениями в прозе или в стихах, то я приму оные с благодарностью».¹⁹

Всего вышло шесть томов этого журнала; все материалы печатались здесь чаще всего без подписи, большую часть без указания на источник, из которого они были заимствованы, но иногда свою подпись в виде прозрачного криптонима ставил сам Коцебу (K-z-b). В первый же год существования этого журнала в нем был напечатан «Versuch einer Übersetzung des Monologs to be or not to be! etc. aus Shakespeers (sic!) Hamlet, Akt 3, Sc. 2» с особым указанием: «Ранее не печаталось» («Bis jetzt ungedruckt»). Приводим начало этого перевода:

Seyn oder Nichtseyn. . . Das, das ist die Frage.
Obs edler ist, des harten Schicksals Pfeile
Und Schleudern muthlos auszulden, oder
Die Waffen gegen dieses Heer von Quaaalen
Zu fassen, kämpfen, widerstrebend sie
Zu enden — Sterben — Schlafen — Mehr
Ist sterben nicht — und durch den Schlummer nun

¹⁷ Резанов В. И. Из разысканий о сочинениях В. А. Жуковского. Пг., 1916, вып. 2, с. 273.

¹⁸ Первоначально журнал имел заглавие «Bibliothek der Journale» (St. Petersburg, 1783, Bd 1—2); в следующем году, с третьего тома, заглавие было изменено: «St. Petersburgische Bibliothek der Journale, welche in Russland, Deutschland, England, Frankreich und Schweden herauskommen».

¹⁹ Bibliothek der Journale, St. Petersburg, 1783, Bd 1, S. 3—4.

Die Herzensangst, die Striche der Natur
Die tausendfach des Fleisches Erbteil sind
Zu enden. . .²⁰

Этот стихотворный перевод, заключающий в себе весь монолог Гамлета и, как видим, довольно близкий к подлиннику, подписан: G---n; кто скрывался под этими литерами, нам не известно.²¹ Насколько знаем, в немецкой шекспировской библиографии этот перевод еще не был отмечен, между тем он должен стоять в непосредственном соседстве с другими к тому времени существовавшими отдельными переводами того же монолога Гамлета — Лессинга и Мозеса Мендельсона.²² В петербургском «Bibliothek der Journale» Коцебу встречаются и другие упоминания Шекспира.²³

Через немецкое посредничество появились в России и другие отрывки из произведений Шекспира, но уже на русском языке. Можно указать в подтверждение этого на следующий интересный случай. В Лейпциге в трех изданиях между 60-ми и 80-ми гг. XVII в. вышла книга «Der Lehrmeister oder Ein allgemeines System der Erziehung» (1762—1765, 1782—1788). Это было своего рода энциклопедическое пособие учебного характера, содержавшее в своих трех частях популярные сведения из самых различных областей знания: астрономии, математики, физики, вплоть до логики и этики. Уделено было место в этой книге также ораторскому искусству и театральной декламации. В качестве текстов, пригодных для последней цели, составитель привел ряд отрывков из произведений Шекспира.

Эта книга обратила на себя внимание русских переводчиков и появилась почти одновременно в русских изданиях — в Москве (1789—1791) и С.-Петербурге (1789—1792). Мы хорошо знаем сейчас и оригинал немецкого перевода этой книги,²⁴ автором которого был Robert Dodsley (Preceptor, containing a general course of education in 12 parts. London, 1748), и обоих русских переводчиков, переведших книгу с немецкого. Московское издание («Учитель, или всеобщая система воспитания») было выпущено в свет в переводе А. А. Петрова — любимого друга молодости Карамзина. Петров подавал большие надежды, но рано умер (1793). Карамзин оплакал его в стихотворении «Цветок на гроб моего Агатоны» (1793) и дал его литературный портрет в одном из своих очерков. Петербургский переводчик той же книги «Der Lehrmeister» (она вышла под заглавием «На-

²⁰ Ibid.

²¹ Тот же криптоним G---n встречается также под стихотворением «Nothgedrungene Vorstellung an das Altertum» и отрывком «Nacherinnerung» в «Bibliothek der Journale» (1, S. 488—490).

²² Moses Mendelssohn's Sämmtliche Werke. Wien, 1838, S. 1008. Ср.: Shakespeare-Jahrbuch, 1903, 39. Jhrg., S. 245 u. folg.

²³ Например, в статье «Garrick's Leben» по поводу книги о Гаррике Th. Daviers (Bibliothek der Journale, Bd 2, S. 446—465), в статье J. Möser «Schreiben an einen Freund» (Bd 1, S. 1—36) и др.

²⁴ Price M.-B., Price L.-M. The Publication of English Literature in Germany in the Eighteenth Century. Berkeley (Calif.), 1934, p. 82 (№ 280).

ставник, или Всеобщая система воспитания») не менее интересен в истории русского просвещения. Это был М. И. Веревкин (1732—1795), являвшийся довольно популярным в России драматургом: в его пьесах наметились сдвиги от трагедии позднего классицизма в сторону мещанской драмы; Веревкин пытался правдиво изобразить современные ему нравы, осуждая порок и награждая добродетель чувствительными слезами. В первом томе обоих русских переводов «Der Lehrmeister» помещено довольно много отрывков из Шекспира: здесь и рассуждения о семи возрастах из «As you like it» (II, 6), и «Гамлетово рассуждение о смерти», т. е. тот же монолог «To be or not...», сцена из IV акта «Юлия Цезаря» и ряд отрывков из исторических хроник («Король Генрих IV», части I и II; «Жизнь короля Генриха VIII» и т. д.). Хотя оба русских переводчика пользовались одним и тем же немецким текстом, но, вероятно, в разных изданиях (в руках у А. Петрова был текст, исправленный Шреком и Эбергом), так как они несколько отличаются друг от друга по составу и выполнению; тем не менее оба эти издания безусловно содействовали распространению популярности Шекспира среди русских читателей.²⁵

Хотя к этому времени источники знакомства с его произведениями очень расширились и было выполнено уже немало русских переводов из Шекспира, сделанных непосредственно с английского подлинника, по немецкие источники все еще продолжали играть немалую роль. Так, например, хорошо известна роль Н. Карамзина в деле популяризации Шекспира в России. Он издал ставший знаменитым сделанный с английского перевод «Юлия Цезаря» (М., 1787), но одним из его литературных советников был Я. Ленц, с которым Карамзин некоторое время жил даже на одной квартире и который, может быть, предопределил интерес русского писателя именно к этой трагедии Шекспира: как известно, сам Я. Ленц высоко ценил именно «Юлия Цезаря»; живя в Петербурге, Ленц работал над каким-то переводом из Шекспира.²⁶ Напомним также, что даровитый поэт и переводчик Андрей Тургенев, один из основателей и глава «Дружеского литературного общества», бывший большим поклонником немецкой и английской литератур, в самом начале XIX в. (1802) перевел «Макбета» с английского, но лишь после того как тщательно изучил перевод «Макбета», сделанный Ф. Шиллером.²⁷

²⁵ Шекспир. Библиография русских переводов и критической литературы на русском языке. 1748—1962. [Сост. И. М. Левидова]. М., 1964, с. 12—13. — Укажем также на книгу Стюккотта «Garrick, ou les acteurs anglais», вышедшую в Париже в 1769 г. Русский же перевод «Гаррик, или Аглинский актер» (М., 1781) сделан был не с французского издания, а с немецкого перевода («Garrick, oder die englische Schauspieler», 1771); здесь также много отрывков из Шекспира и советов актерам, играющим его пьесы.

²⁶ Розанов М. Н. Поэт периода «бурных стремлений». Якоб Ленц. Его жизнь и произведения. М., 1901, с. 463, 487—491.

²⁷ См. главу II, написанную Н. Р. Заборовым, в кн. «Шекспир и русская культура» (М.; Л., 1965, с. 82—83).

Мы не будем следить дальше за немецко-русскими взаимоотношениями на почве общих увлечений Шекспиром, так как мы ограничили нашу задачу XVIII веком. Тем не менее и весь XIX век в этом отношении мог бы дать нам ряд интересных примеров; вспомним лишь о значении трудов Шлегеля о Шекспире для Пушкина²⁸ или «Shakespeare Studien» (1865) G. Rummelin'a для Л. Н. Толстого.²⁹

²⁸ См.: Шекспир и русская культура, с. 120—171.

²⁹ Там же, с. 741—743.

ДЕРЖАВИН И СОНЕТЫ ШЕКСПИРА

В «Анакреонтических песнях» (1804) Г. Р. Державина впервые появилось его стихотворение «Горячий ключ», написанное за несколько лет перед тем — в 1797 г.; затем оно воспроизводилось во всех собраниях его сочинений начиная с издания 1808 г. в составе его анакреонтического цикла и хорошо было известно русским читателям. Напомним текст этого небольшого стихотворения об Амуре (Купидоне), заснувшем в тенистой роще, и о нимфах, окунувших его факел в соседний источник:

Горячий ключ

Под свесом шумных тополовых
Кустов, в тени, Кипридия сын
Поконился у вод перловых,
Блюющих с гор, и факел с ним
Лежал в траве, чуть-чуть курясь.
Пришли тут нимфы и, двияся,
«Что нам! — сказали, — как с ним быть?
Дай в воду, в воду потопить!
А с ним и огонь, чем все сторают!»
И вот! — кипит ключ пеной весь;
С купающихся нимф стекают
Горящие струи поднесь.

Среди многих параллелей, которые это стихотворение имеет в различных литературах Западной Европы, наибольшей известностью пользуются два сонета Шекспира (153 и 154), написанные на ту же тему. Сходство «Горячего ключа» Державина с указанными английскими сонетами настолько велико, что безусловно требует особого объяснения. Стоит воспроизвести здесь также оба сонета Шекспира, чтобы удостовериться в тематической близости к ним «Горячего ключа» Державина. Мы цитируем их ниже в русских переводах С. Маршака, поскольку английских подлинников этих сонетов Державин знать не мог и даже едва ли знал что-либо об их авторе.

Первый из указанных сонетов Шекспира (153) начинается следующими стихами:

Cupid laid by his brand, and fell asleep;
A maid of Dian's this advantage found,
And his love-kindling fire did quickly steep
In a cold-valley fountain of that ground. . .

В близком к оригиналу стихотворном переводе С. Маршака он звучит так:

Бог Купидон дремал в тиши лесной,
А нимфа юная у Купидона
Взяла горящий факел смоляной
И опустила в ручеек студеной.

Огонь погас, а в ручейке вода
Нагрелась, забурлила, закипела.
И вот большие сходятся туда
Лечить купаньем немощное тело.

А между тем любви лукавый бог
Добыл огонь из глаз моей подруги
И сердце мис для оштыта поджег.
О, как с тех пор томят меня недуги!

Но исцелить их может не ручей,
А тот же яд — огонь ее очей.

Тема о холодном источнике, закипевшем от опущенного в него факела бога любви, очевидно, настолько увлекла Шекспира, что он обработал ее еще раз для своего лирического сборника в следующем по порядку сонете (154). «Горячий ключ» Державина еще ближе к тексту этого сонета, чем к предшествующему ему. В подлиннике он начинается следующими известными стихами.

The little Love-god lying once asleep;
Laid by his side his heart-inflaming brand. . .

Воспроизводим ниже точно следующий оригиналу перевод С. Маршака:

Божок любви под дерево прилег,
Швырнув на землю факел свой горящий.
Увидев, что уснул коварный бог,
Решились нимфы выбежать из чащи.

Одна из них приблизилась к огню,
Который девам бед наделал много,
И в воду окунула голову,
Обезоружив дремлющего бога.

Вода потока стала горячей.
Она лечила многие недуги.
И я ходил купаться в тот ручей,
Чтоб излечиться от любви к подруге.

Любовь нагрела воду, — но вода
Любви не охлаждала никогда.¹

Чем объясняется сразу же бросающаяся в глаза неожиданная, но тем более интригующая близость стихотворения Державина к указанным сонетам Шекспира? Говорить о «случайном» сходстве этих произведений — при наличии в каждом из них всех основных определяющих тему признаков и реалий — не приходится: сходство между литературными произведениями, вообще говоря, лишь в редких случаях может быть обусловлено случайными совпадениями. О прямом или опосредствованном знакомстве русского поэта в конце XVIII в. с сонетами Шекспира, естественно, также речи быть не может: к тому времени эти сонеты ни на своей родине, ни в других западноевропейских литературах широкой известностью еще не пользовались. Отсюда явствует, что для указанных двух английских и русского стихотворений следует найти общий источник.

Поиски этого источника как для Шекспира, так и для Державина шли медленно, своими особыми, ни разу не пересекав-

¹ Сонеты Шекспира в переводах С. Маршака. М., 1948, с. 173—174.

шимися путями; между тем они скорее привели бы к ощутительному результату, если бы исследователи происхождения сонетов Шекспира могли заглянуть в разыскания о стихотворениях Державина; в последних источник его «Горячего ключа» был точно определен почти на полстолетия раньше, чем тот же источник для сонетов 153 и 154.

В начале 1830-х гг. молодой петербургский филолог-классик В. С. Печерин, увлеченный занятиями греческой Антологией, поместил в петербургском альманахе «Комета Белы», изданном В. Н. Семеновым, несколько эпиграмм, заимствованных им из этой Антологии, в своем стихотворном переводе. Среди них напечатана также и следующая эпиграмма:

Горячий ключ

Здесь, под яворов тенью, Эрот почивал утомленный,
В сладком сне, к ключевым Нимфам свой факел склонив,
Нимфы шепнули друг дружке: «Что медлим? погасим светильник!
С ним погаснет огонь, сердце палящий людей!»
Но светильник и воды зажег: с той поры и поныне
Нимфы, любовью горя, воды кипящие льют.²

Никаких пояснений к настоящему тексту в «Комете Белы» не имеется. Публикуя этот свой перевод, В. С. Печерин не назвал автора эпиграммы, с именем которого она запесена в «Палатинскую Антологию», тогда как при переводах других эпиграмм, напечатанных в том же альманахе, авторы их обозначены. Обращает на себя внимание также и то обстоятельство, что в переводе Печерина данная эпиграмма имеет заглавие, совпадающее с заглавием стихотворения Державина, тогда как в греческом подлиннике оно отсутствует. Не значит ли это, что для своего перевода В. С. Печерин пользовался, помимо греческого оригинала эпиграммы, каким-либо переводом ее на один из новых западноевропейских языков, тем самым, какой был в руках у Державина?

Несколько лет спустя, с еще большим рвением и увлеченностью занимаясь той же греческой Антологией, В. С. Печерин напечатал (на этот раз анонимно) в журнале П. А. Плетнева «Современник» свою статью «О греческой эпиграмме», представлявшую собой отрывок из той диссертации, которую он предполагал представить Московскому университету.³ В этой статье В. С. Печерина мы вновь находим ту же переведенную им эпиграмму о роднике, в который нимфы окунули факел Эрота; здесь она напечатана с некоторыми поправками, но без заглавия, зато с именем ее греческого автора — Мариана Схоластика (писателя V—VI в. н. э.), столь изящно и пластически объяснившего

² Печерин В. Из греческой Антологии. — В кн.: Комета Белы. Альманах на 1833 год. СПб., 1833, с. 255—256. — Об этом альманахе см.: Смирнов-Сокольский Ник. Русские литературные альманахи и сборники XVIII—XIX вв. М., 1965, с. 181 (№ 402).

³ О греческой эпиграмме. — Современник, 1838, т. 12, с. 72—88.

в своем стихотворении «происхождение горячего ключа».⁴ Далее в той же статье Печерин говорит о переводах греческой антологии и в этой связи называет прежде всего Державина: «Что скажем о переводах из греческой Антологии на русский язык? Изредка только мелькают у наших поэтов переводы греческих эпиграмм, и те не с подлинника. У Державина, который так удачно умел передать нам на отечественном языке всю прелесть од Анакреона, находим только две пьесы, заимствованные из Антологии. Первая — „Горячий ключ“ есть перевод эпиграммы Мариана Схоластика».⁵ Вопрос о том, откуда, через посредство каких промежуточных звеньев Державину могла стать известной эпиграмма Мариана Схоластика, В. С. Печерин себе не ставил.

Указанием В. С. Печерина воспользовался Я. К. Грот в комментарии к «Горячему ключу»; он привел греческий подлинник этой эпиграммы из «Палатинской Антологии» и русский прозаический ее перевод.⁶ Однако и Я. К. Грот в комментарии

⁴ В тексте «Современника» (с. 76) в переводе эпиграммы Мариана Схоластика изменен 2-й стих: вместо «В сладком сне, к ключевым нимфам свой факел склонив» мы читаем здесь «К нимфам струящихся вод факел горящий склонив»; в следующем стихе вопрос «Что медлим?» изменен на «Что медлить?». С учетом этих вариантов данный перевод перепечатан полностью Е. Бобровым в приложении к статье «Литературная деятельность В. С. Печерина» («Переводы Печерина из греческой антологии») в его книге «Литература и просвещение в России XIX века» (Казань, 1902, т. 4, с. 12), а затем еще раз, в соответствии с автографической рукописью переводчика, в кн.: *Гершензон М. Жизнь В. С. Печерина*. М., 1910, с. 23. — В недавнее время в русской печати появился еще один перевод той же эпиграммы, сделанный с греческого оригинала и принадлежащий перу Л. Блуменуа:

Здесь под навесом платанов однажды Эрот утомленный
Сладким покоился сном, нимфам свой факел отдав.
Нимфы сказали друг дружке: «Что медлим? Погасим скорее
Факел, а с ним и огонь, смертным палящий сердца!»
Пламя, однако, и воды загло. И купальщицам нимфы
Эротнады с тех пор воду горячую льют.

(Греческая эпиграмма. М., 1960, с. 285)

⁵ Печерин В. С. О греческой эпиграмме, с. 87. — О другом переводе Державина из греческой Антологии Печерин замечает здесь же: «Вторая, составляющая первую половину стихотворения „Спящий Эрот“, заимствована из отрывка, приписываемого Платону Философу (210-я энигр. 4 книги Anthol. Planud.), так что все главные черты прекрасной картины, изображающей спящего Эрота, принадлежат древнему поэту; последняя половина этого стихотворения есть 30-я ода Анакреона с некоторыми только изменениями. Соединение двух греческих стихотворений в одно прекрасное целое заставляет удивляться искусству нашего поэта» (там же). Известно, что мотив о «спящем Эроте» (Амуре) заимствован западноевропейской анакреонтической поэзией XVIII в. именно из греческой антологии. Например, Аусфельд (*Ausfeld F. Die deutsche Anacreontische Dichtung des 18. Jahrhunderts*. Strassbourg, 1907, S. 44 (Quellen und Forschungen, N. 101)) ссылается на стихотворение Глейма «Amor schlafend» и его французские образцы у Удара де ла Мотта (*Houdard de la Motte — «L'Amour réveillé»*) и Верня (*Bernis — «L'Amour et les nymphes. Ode anacréontique»*).

⁶ Соч. Державина с объяснит. примеч. Я. К. Грота. СПб., 1865, т. 2, с. 129. — Приводим этот прозаический перевод для удобства сопоставлений его со всеми прочими: «Здесь, под яворамп, уснул сладким сном изнуренный Эрот, положив возле нимф факел, Нимфы же друг другу сказали: Что медлим?

к «Горячему ключу» не высказал никаких соображений по поводу того, как текст греческой эпиграммы стал известен Державину: вопрос о переводах эпиграммы Мариана Схоластика на новые западноевропейские языки до перевода Державина в литературе о русском поэте оставался неосвещенным.

Происхождение двух указанных выше сонетов Шекспира, как и других образцов его лирического творчества, вызвало долгие обсуждения и споры, не приводившие, однако, к ощутительным результатам. На более реальную почву эти споры перенесены были в 1878 г., когда появилась статья немецкого исследователя В. Хертцберга «Греческий источник сонетов Шекспира». Он указал здесь на ту самую эпиграмму Мариана Схоластика, которую, как мы видели, В. Печерин считал первоисточником «Горячего ключа» Державина.⁷ Неясным, впрочем, осталось, откуда эта эпиграмма могла стать известной Шекспиру, тем более что издания греческой Антологии и ее переводы довольно многочисленны и текстологически очень запутаны. Надо при этом также иметь в виду, что хотя отдельное издание «Сонетов» Шекспира впервые выпущено было в 1609 г. (по-видимому, без участия автора), но создание их обычно относится условно к десятилетию между 1590 и 1600 гг.⁸ В подлинном греческом тексте эпиграмма Мариана Схоластика была впервые напечатана в IV книге греческой Антологии (гл. XIX, эпигр. 35), изданной Иоанном Ласкарисом во Флоренции в 1494 г.; до 1600 г. это издание перепечатывалось десять раз (полный перевод не появлялся до 1603 г.); более исправный ее список, составленный в X в. (Константином Кефалю), был обнаружен лишь в 1606 г. в Гейдельбергской «Палатинской библиотеке» (откуда происходит и ее название «Anthologia Palatina»; интересующая нас эпиграмма находится здесь в кн. IX, 627).

Так как ничто не свидетельствует о знакомстве Шекспира с древнегреческим языком, а с другой стороны — представляется маловероятным, чтобы он, даже имея о нем представление, был бы в состоянии выбрать себе для перевода или пересказа эпиграмму на этом языке в середине большой книги, заключающей в себе около трех тысяч эпиграмм, — осталось предположить, что эпиграмма Мариана Схоластика стала известна Шекспиру не в оригинале, а в каком-либо переводе, например латинском или итальянском.

Потушить бы нам вместе с этим огонь человеческого сердца! Но когда от факела зажглась и вода, то Эротовы нимфы стали черпать отсюда для кушанья горячую воду».

⁷ Hertzberg W. Eine griechische Quelle zu Shakespeare's Sonetten. — Jb. der Deutschen Shakespeare-Ges., Weimar, 1878, Jg. 13, S. 158—162.

⁸ См.: Halliday Frank Ernest. A Shakespeare Companion. London, 1952, p. 607 (сонеты Шекспира датируются временем между 1592 и 1597—1598 гг.); Pearson Lu Emily. Elisabethan Love Conventions. Berkeley (Calif.), 1933, p. 260; Schaar Claes. Elisabethan Sonnet: Themes and the Dating of Shakespeare «Sonnets». Lund, 1962, p. 12, etc.

Попытки обнаружить такой перевод предпринимались неоднократно.⁹ Полный и тщательный пересмотр этого вопроса произвел Джеймс Хаттон, известный своими исследованиями о судьбе греческой Антологии в новоевропейских литературах — итальянской, французской, нидерландской — до конца XVIII в.¹⁰ Собранные Хаттоном параллели к двум шекспировским сонетам (153 и 154) довольно многочисленны; он привел в своей статье около двух десятков стихотворений в различных жанрах, созданных на многих языках, и сопоставил их друг с другом:¹¹ среди них оказались и переводы греческой эпиграммы, и подражания ей, и всевозможные стихотворные вариации на тему об источнике, ставшем горячим от погруженного в него факела бога любви. По наблюдениям Хаттона, популярность этой темы становится очевидной в конце XVI в. К этому времени она получила и географическую локализацию, приуроченную к курортной местности Байи неподалеку от Неаполя; еще в древности Байи славилась своими термами и лечебными минеральными источниками; их воспел еще Гораций.

Все рассмотренные Хаттоном произведения на указанную тему в той или иной степени восходят к Мариану Схоластику, но большую часть значительно отклоняются от своего образца. Уже первое латинское четверостишие, приписанное некоему Регианусу (Regianus или Regianius), сопоставлявшееся с обоими сонетами Шекспира, в действительности не является переводом греческой эпиграммы, хотя оно и возникло одновременно с ней (ок. V в. н. э.); здесь уже названы Байи (litora Baiæ) как место действия. Родственна четверостишию Региануса латинская эпиграмма французца Пьера Питу (Pithou), помещенная в его «*Épigrammata et poemata vetera*» (Paris, 1589—1590), латинская поэма Никколо д'Аркó, обнаруженная в флорентийской рукописи XV в. Свободной вариацией на ту же тему являются латинское стихотворение Джироламо Анджерано о купальне возлюбленной «*De Caelia Balneo*» в его «*Еготораегнион*» (Firenze, 1512) и небольшое французское, приписанное (вероятно, ошибочно) Меллену де Сен-Желе (Mellin de Saint Gelais). Хаттон приходит к заключению, что единственным латинским переводом интересующей нас греческой эпиграммы в это время может быть назван тот, который выполнен Фаусто Сабео из Брешии в его «*Épigrammata*» (Roma, 1556); этот поэт-гуманист, бывший библиотекарем Ватикана и другом Микеланджело, озаглавил этот перевод «*In*

⁹ Dowden E. *The Sonnets of William Shakespeare*. London, 1881, p. 305; Wolff M. J. *Zu den Sonnetten*. — *Jb. der Deutschen Shakespeare-Ges.*, Berlin, 1911, Bd 47, S. 191—192, etc.

¹⁰ Hutton James. 1) *The Greek Anthology in Italy to the year 1800*. Ithaca (N. Y.), 1935. (Cornell Studies in English, vol. 23); 2) *The Greek Anthology in France and in the Latin Writers of the Netherlands to the Year 1800*. Ithaca (N. Y.), 1946. (Cornell Studies in Classical Philology, vol. 28).

¹¹ Hutton James. *Analogues of Shakespeare's Sonnets 153—154: Contributions of the History of a Theme*. — *Modern Philology*, 1941, vol. 38, p. 385—403.

Balneum Dictum Erotæ», добавив: «È greco». Все остальные стихотворения являются подражаниями или вольными пересказами темы, ставшей традиционной и устойчивой: таковы, например, итальянское стихотворение «Tradotto da M. Statio Romano de l'Acque di Baia», помещенное в книге «Versi e regole de la nuova poesia toscana», изданной Клаудио Толомеи (Рим, 1539); произведение немецкого новолатинского поэта Иоганна Штигеля, друга Меланхтона, о Купидоне, задремавшем в Байях («De Cupidine ad Baias Dormiente»); отзвуки этой традиционной темы есть и у Ронсара (в его «Stances de la fontaine d'Hélène»), и в итальянских «Rime» (Венеция, 1577) Луджи Грото, и в 27-м сонете Дж. Флетчера (в его «Licia», 1593), и у французского поэта Жана Гризеля (в его «Premières oeuvres poétiques», 1599), и т. д.

Все эти разнородные и разноязычные произведения составляют тот густой литературный фон, на котором выделяются блистающие свежими красками два сонета Шекспира. Однако эти сонеты, может быть, именно вследствие своей тематической традиционности не причисляются к его лучшим созданиям в стихотворной форме: сонеты 153—154 называются «традиционными упражнениями» (conventional exercises)¹² или «традиционными изощренными сравнениями с факелом Купидона» (conventional Cupid's brand conceit).¹³

Возвратимся теперь к вопросу, который уже был затронут выше: из какой книги и в каком обличи эпиграмма Мариана Схолостика стала известной Державину? Изучая переводы Г. Р. Державина из Пиндара, Б. И. Коплан справедливо заметил: «Державин не знал греческого языка. Это обстоятельство препятствовало его непосредственному общению с любимыми греческими поэтами. В письме к А. Ф. Негри от 26 августа 1815 г. Державин высказал свое страстное желание, к его великому сожалению не осуществившееся, „уметь по-гречески, дабы собирать сладость с греческих писателей“ (Соч. Державина, т. 6, с. 323). Но довольно хорошее знание немецкого языка, полученное им в детстве, дало ему возможность пользоваться немецким переводом с греческого оригинала. Кроме того, на помощь ему являлись подстрочные переводы с греческого на русский язык некоторых его друзей, знавших классические языки».¹⁴ Приведенные соображения заставили Б. И. Коплана согласиться с мнением Я. К. Грота, что при передаче од Пиндара Державин пользовался переложениями их на немецкий язык, выполненными Ф. Гедике.

Очевидно, что эпиграмма Мариана Схолостика дошла до Державина аналогичным путем. Все перечисленные выше (на осно-

¹² Sampson G. The Concise Cambridge History of English Literature. Cambridge, 1953, p. 272.

¹³ Schaar Claes. Elisabethan Sonnet: Themes and the Dating of Shakespeare's «Sonnets», p. 188.

¹⁴ Коплан Б. И. Переводы Г. Р. Державина на Пиндара. — В кн.: Sertum Bibliologicum в честь. . . проф. А. И. Маленна. М., 1922, с. 155—156.

вании подборки в статье Хаттона) переводы и подражания этой эпиграмме Державину не могли быть известны: до второстепенных писателей Западной Европы второй половины XVI в. (в том числе и немецких) эрудиция Державина не доходила; равным образом в данном случае его ученые друзья едва ли могли быть его помощниками или интерпретаторами греческой антологии в оригинале; ею заинтересовались в России на два десятилетия позже. Посредником оказались для Державина переводы греческих эпиграмм, сделанные Гердером. Стоит попутно отметить, что именно из сочинений Гердера В. Хертцберг получил первый импульс для поисков греческого источника двух сонетов Шекспира и что в результате это привело исследователя к отысканию эпиграммы Мариана Схоластика в «Палатинской Антологии».¹⁵

В известной брошюре «О греческой антологии» (СПб., 1820), написанной К. Н. Батюшковым совместно с С. С. Уваровым, с которой началась у нас популярность античной «эпиграмматической» поэзии, между прочим сказано: «Не мы одни, русские, мало занимались Антологиею. В Германии, в сей колыбели филологии, прежде Гердера никто не помышлял о красотах и достоинстве оной».¹⁶ Позднее В. С. Печерин, говоря о «важнейших переводах греческих эпиграмм на другие языки», вспомнил прежде всего именно о Гердере и писал: «В германской литературе почетное место занимают Гердеровы прекрасные переводы, изданные вместе с подлинником. Впрочем, переводами в собственном смысле их назвать нельзя: в них часто бывает изменен настоящий смысл подлинника для того, чтобы удовлетворить требованию современного вкуса, без чего, конечно, некоторые эпиграммы не могли бы для нас быть совершенно понятными».¹⁷

¹⁵ В. Хертцберг (*Hertzberg W. Eine griechische Quelle zu Shakespeare's Sonetten*, S. 158) указал на сочинение Гердера «Ideen zur Geschichte und Kritik der bildenen Künste», в котором его внимание обратило на себя место, где Гердер восклицает: «Что может быть прелестнее спящего ребенка? Искусство и эпиграмма также очень восхищались дремлющим Амуром». В последующих строках Гердер, основываясь на античной эпиграмматической традиции, говорит, что, по мнению древних, не стоило доверяться Амуру, даже находящемуся во сне: «Его факел погрузит в источник, чтобы он погас, а факел разгорится и в воде и превратит источник в купальню любви». Прочтя это место у Гердера, Хертцберг тотчас же вспомнил сонеты Шекспира, стал листать греческую антологию и в конце концов нашел здесь эпиграмму Мариана Схоластика, которую Гердер сам перевел в своих «Цветях из греческой антологии». Отметим, однако, что при этом на сонеты Шекспира Гердер не ссылается.

¹⁶ *Батюшков К.* Соч. / Под ред. Л. Н. Майкова. СПб., 1887, т. 1, кн. 2, с. 423. — См. также статью Н. А. Чистяковой «Из истории изучения древнегреческой эпиграммы в России» (в кн.: *Античность и современность. К 80-летию Ф. А. Петровского*. М., 1972, с. 472—476). Ко всему сказанному здесь о возникновении популярности греческой Антологии в России добавим еще указания на статью С. И. Соболевского «Стихотворение А. С. Пушкина „Глухой глухого звал“» (Докл. АН СССР. Сер. В, 1930, № 1, с. 1—3), в которой речь идет об эпиграмме Никарха в «Палатинской Антологии» (XI, 251) и подражаниях ей во французской и немецкой литературах.

¹⁷ *Печерин В. С.* О греческой эпиграмме, с. 86.

Я. К. Грот, в свою очередь, говорил о немецких переводах Гердера как о возможных источниках подражаний древним Державина и упомянул в этой связи даже «Горячий ключ»; правда, это указание Я. К. Грота носило попутный характер и сделано было не в комментарии к «Горячему ключу», а в другом месте издания; к тому же Грот высказал его лишь в виде предположения. В примечании к стихотворению Державина «Геркулес» (1798) Грот писал, что первоначальной мыслью о нем русский поэт «обязан переводу или подражанию из греческой Антологии». «Вероятно, в руках его (Державина) была изданная Гердером (во второй раз в 1791 г.) книжка таких подражаний под заглавием „*Blumen aus der griechischen Anthologie*“. Кажется, он пользовался ею, потому что в ней встречаются многие из тех стихотворений Антологии, которые перелагал Державин, хотя в частности и не заметно, чтобы он следовал именно Гердеру». Далее Грот назвал ряд таких переводов Гердера с греческого, которыми мог воспользоваться Державин; среди них упомянут и «Горячий ключ».¹⁸ Эта догадка Грота долгое время не обращала на себя внимания и не подвергалась проверке. Лишь в 1957 г. специальную работу о той роли, которую сыграло наследие Гердера в творчестве Державина как лирика и переводчика, опубликовал К. Биттнер;¹⁹ здесь, в частности, приведен подробный аннотированный перечень всех переводов Гердера, которые Державин положил в основу собственных стихотворных переложений; упомянут также и перевод эпиграммы Мариана Схоластика в пятой книге гердеровских «*Blumen aus der griechischen Anthologie*», где назван «*Der warme Quell*».²⁰ Сопоставление русского текста Державина с немецким не оставляет никаких сомнений в том, что именно этим источником Державин воспользовался при создании своего «Горячего ключа». К такому заключению пришел и К. Биттнер, писавший: «Державин весьма близок к Гердеру и следует ему во всем своем изображении; он перенимает у Гердера также заключительные стихотворные строки, которые действуют живее, чем греческий оригинал».²¹ Приводим перевод Гердера, чтобы это наблюдение сделалось более наглядным:

Der warme Quell

Unter dem Ahorn lag einst in lieblichem Schlummer

Amor: die Fackel lag neben die Quelle gesenkt.

Siehe, da sprachen die Nymphen: «Was sollen wir thum mit der Fackel?
Löschen wollen wir sie! kühlen der sterblichen Herz!»

Und sie tauchten sie nieder; da mischten sich Wellen und Liebe;

Liebende Nymphen, ihr strömt selber nun wallende Glut.²²

¹⁸ Соч. Державина с объяснит. примеч. Я. К. Грота, т. 2, с. 179—180.
¹⁹ *Bittner K. J. C. Herder und G. R. Derzavin.* — In: *Beiträge zur Einheit von Bildung und Sprache im geistigen Sinn: Festschrift für 80. Geburtstag von Ernst Otto.* Berlin, 1957, S. 188—215.

²⁰ *Ibid.*, S. 200.

²¹ J. G. v. Herders *Sämmtliche Werke.* Stuttgart; Tübingen, 1853, Bd 20, S. 60.

²² Herders *Sämmtliche Werke/Hrsg.* von Bernhard Suphan. Berlin, 1882, Bd 26, S. 50.

Разумеется, между текстами Державина и Гердера есть и некоторые расхождения, но они малосущественны (так, например, вместо «платанов» в греческом подлиннике и «яворов» в переводе В. С. Печерина у Гердера стоят «клены», а у Державина — «тополи»); известно также, что, подобно Гердеру, Державин защищал право переводчика отклоняться от подлинника: «Поэзию на другой язык с такою же красотой перелить не можно <...> всего лучше, держась издали плана и мыслей, подражать только духу творца, приравливая чувства свои к нему».²³ И все же отрицать близкое знакомство Державина при создании «Горячего ключа» с «Der warme Quell» Гердера невозможно.

Таким образом, Державин написал «Горячий ключ», ничего не зная о соютах Шекспира. Тем не менее у них оказался общий источник. Как ни трудно бывает порою установить причину сходства между отдельными литературными произведениями разноязычных литератур, следует в каждом случае в первую очередь предполагать прямое или опосредованное воздействие одного из этих произведений на другое: случайность самозарождения почти исключена, о какой бы эпохе литературной жизни ни шла речь.

²³ Соч. Державина с объяснит. примеч. Я. К. Грота, т. 6, с. 326.

ОБРАЗ ДЕМОГОРГОНА В ДРАМЕ ШЕЛЛИ И ЕГО ИСТОЧНИКИ

В общем замысле лирико-философской драмы П. Б. Шелли «Освобожденный Прометей» («Prometheus Unbound», 1819) образ Демогоргона играет заметную и важную роль: это освободитель Прометея, победивший Юпитера и его несправедливую власть. Пророчеством Демогоргона о светлом будущем человечества, которое уничтожило порабощение и провозгласило победоносную силу любви, кончается драма Шелли. Между тем образ Демогоргона, каким он выступает в «Освобожденном Прометее» — в его собственных речах, в словах прочих действующих лиц, в ремарках самого поэта, — один из самых условных, абстрактных и расплывчатых в произведении Шелли. Поэтому этот образ породил множество неясностей и противоречивых объяснений, распространившихся и на явно ошибочное истолкование всей драмы в целом.

Ранние попытки истолкования образа Демогоргона шли первоначально по ложному пути. Так, французский философ и критик Эдуард Шюре не мог понять основную идею «Освобожденного Прометея» прежде всего потому, что не в состоянии был объяснить, кто такой Демогоргон и зачем он освобождает титана. По ошибочному предположению Э. Шюре, имя Демогоргона было вымышленным. Шюре считал, что Шелли составил его из двух древнегреческих слов: «демос» — народ и «горгон» — страшилище. Образ Демогоргона, изображенный Шелли, представлялся ему в виде некоего существа, наводящего страх на людей.¹ Со ссылкой на Э. Шюре эту наивную этимологию привел также Э. Литтре² в своем капитальном словаре французского языка. Он сообщает, что Демогоргон — это придуманное Шелли «символическое существо», — создатель Неба и Земли, живущий в центре Вселенной вместе с Вечностью и Хаосом, и что, несомненно, сам Шелли изобрел его имя. Это пояснение представляется тем более странным, что здесь же Э. Литтре приводит цитату из «Автобиографии» Ж. Санд, в которой писательница утверждает, что она знала имя Демогоргона из какого-то старого руководства по мифологии, но — прибавим мы от себя — не имела ни малейшего представления о драме Шелли. «Этот мифологический персонаж, — писала Ж. Санд, — произвел на меня сильное впечатление в ранней юности; это был древний Демогоргон (l'antique Démogorgon), дух пещер земли, маленький грязный старичок, покрытый мхом, бледный и безобразный, живший в недрах земного шара; так описывало его мое старое руководство по мифологии».³ Какой учебник мифологии Ж. Санд имела в виду в данном случае, неизвестно,

¹ Schuré Edouard. L'oeuvre de Shelly. — Rev. des deux mondes, 1859, t. 19, p. 773.

² Littré E. Dictionnaire de la langue française, Suppl. Paris, 1886, p. 109.

³ Sand G. Histoire de ma vie. Paris, 1856, t. 6, p. 32—33.

но подобные описания Демогоргона можно было встретить в XIX в. в энциклопедических словарях и справочниках. Так, например, в словаре знаменитого американского лексикографа Н. Уэбстера (первое издание которого появилось через восемь лет после выхода из печати «Освобожденного Прометей» Шелли) пояснялось, что имя Демогоргон образовано из сочетания двух древнегреческих слов — «демон» (*δαίμων*) и «горгос» (*γόργος*) т. е. «страшный, свирепый» — и может быть истолковано как имя наводящего страх божества.⁴ Эту странную этимологию можно встретить и поныне в новейших изданиях словаря Уэбстера. В издании 1964 г. именно такое словопроизводство сопровождается следующим обобщением: Демогоргон — «устрашающее и таинственное божество, или демон подземного мира, которому было приписано злое могущество. В некоторых средневековых сочинениях он описывается как первосоздатель (*primeval creator*)».⁵ Имя Шелли при этом, правда, не упоминается. Но подобные искажающие истолкования в конце концов проникли и в литературу о Шелли.⁶

Отавуки подобных произвольных и плохо обоснованных истолкований Демогоргона как персонажа «древней» мифологии можно найти даже в русской справочной литературе. Так, например, в «Энциклопедическом словаре» И. Березина мы читаем: «Демогоргон по греческому преданию — бог или гений земли, грязный старик, покрытый мхом, бледный и безобразный, живший в недрах земли вместе с вечностью и хаосом. Соскучившись затворничеством, поднялся он на воздух, облетел землю и своим полетом образовал небо, потом извлек из земли огненную грязь и сделал из нее солнце, с которым сочетал браком землю; от них произошли уже Тартар, Ночь».⁷ Нетто аналогичное, но с еще большими подробностями (в частности, относительно якобы существовавшего в греческой Аркадии особого культа Демогоргона) мы находим в «Большом всемирном словаре» П. Ларусса, где дается еще одна этимология имени этого божества, — впрочем, столь же неправдоподобная, как и все вышеуказанные: по статье этого словаря, имя Демогоргон будто бы образовано из греческих слов «даймон» (гений, божество), «ге» (земля) и «эргон» (творение) для обозначения «божества земли, которое древние пред-

⁴ Webster N. American Dictionary of English Language (первое изд. — 1828; цит. по изд. 1864 г.); Ackermann R. Studien über Shelley's «Prometheus Unbound». — Englische Studien, 1892, Bd 16, S. 35.

⁵ Webster's New Twentieth Century Dictionary of the English Language unabridged. 2^d ed. New York, 1964, p. 483.

⁶ Todhunter John. A Study of Shelley. London, 1880, p. 137.

⁷ Русский Энциклопедический словарь / Изд. И. П. Березина. СПб., 1874, т. 1, с. 226. — Напомним, что Демогоргону была и ранее посвящена небольшая статья в русском «Энциклопедическом лексиконе» А. Плюшара (СПб., 1839, т. 16, с. 139): «Комментатор Стация объясняет это слово высшим существом тройственного мира. Его представляют стариком, который обитает во внутренности земли, где вместе с ним хаос и вечность, и который сотворил небо и землю».

ставляли себе в виде грязного старика, покрытого мхом», и т. д. От созданных Демогоргом Солнца и Земли произошли не только Тартар и Ночь, но и «Раздор, Парки, Эреб». Впрочем, замечает автор статьи, «эти предания не были распространены в первобытной Греции, данное божество являлось предметом поклонения у жителей Аркадии, которые настолько его почитали, что даже не решались произносить его имя».⁸ Источники этой французской энциклопедической статьи в словаре не указаны, но очевидно, что они ведут нас к другим представлениям о Демогорге, нежели те, которыми вдохновлялся Шелли, создавая своего «Освобожденного Прометея», или к особой их интерпретации.

Такие представления действительно существовали. Имя Демогоргона было хорошо известно в эпоху Возрождения в литературах Западной Европы и употреблялось в бытовой, обиходной речи как в Англии, так и в Италии и Франции. Приведем несколько примеров.

Кристофер Марло упоминает имя Демогоргона в «Трагической истории доктора Фауста» (написанной ок. 1588—1589 гг.). В начале пьесы, в сцене заклятия, Фауст, очертив жезлом магический круг, называет Демогоргона среди властителей подземного мира: «Да будут боги Ахерона ко мне благосклонны! <...> Духи огня, воздуха, земли и воды, привет вам! Князь Востока, Вельзевул, пылающего ада властелин, и ты, Демогоргон, заклинаю вас: пусть явится и встанет предо мною Мефистофель!» (д. I, сц. 3). С тем же значением упоминается Демогоргон также в пьесах другого английского предшественника Шекспира, Роберта Грина, например в «Истории неистового Роланда» («The Historie of Orlando Furioso») и в «Почтенной истории монаха Бэкона и монаха Бенгея» (обе пьесы увидели свет в 1594 г., после смерти Р. Грина). В поэме Эдмунда Спенсера «Королева фей» («The Faerie Queene», 1590) идет речь о «великом Горгоне», повелителе тьмы и рек Плача и Скорби — Коцита и Стикса — и «мертвой ночи»:

Great Gorgon, prince of darkness and dead night
At which Cocytus quakes, and Styx is put to. . .

(I, 1, 37)

Что под «великим Горгоном» имеется в виду именно Демогоргон, видно из другого места той же поэмы, где Спенсер упоминает колдунью, рожденную в «чертоге Демогоргона», —

Which was begot in Daemogorgon's hall. . .

(I, 5, 27)

т. е., очевидно, в «подземной пещере».⁹

⁸ Grand dictionnaire universel du XIX-e siècle / Éd. P. Larousse. Paris, s. a., vol. 6, p. 411.

⁹ Ackermann R. Studien über Shelley's «Prometheus Unbound», S. 35. — У Мильтона в «Потерянном рае» (II, 965) также идет речь о подземном мире, об Орке и Гадесе — Orcus and Hades and the dreaded Name of Demogorgon. . .

Все эти упоминания, относящиеся к концу XVI столетия, очевидно, восходят к итальянским источникам, прежде всего к поэзии Боярдо, Ариосто и их комментаторам. Маттео Боярдо, вероятно, был первым итальянским поэтом, который ввел имя Демогоргона в поэтический текст. В поэме Боярдо «Влюбленный Роланд» («Orlando Innamorato»), две книги которой были опубликованы в 1484 г., мы находим Демогоргона во второй книге (песнь 13, строфа 27), где фея Моргана клянется его именем в беседе с Роландом. Но у Боярдо Демогоргон всего лишь повелитель фей, а его имя лишено того устрашающего величия и зловещего отблеска огня преисподней, какие имеет он в приведенных выше цитатах из произведений английских поэтов. Вслед за Боярдо Демогоргона упоминает также Лодовико Ариосто в «Неистовом Роланде» («Orlando furioso», 1516; в своем окончательном виде поэма была издана в 1532 г.). В первой из дополнительных «Canti» (строфа 4) Ариосто описывает пышный дворец в горах Гималайского хребта, которым правит Демогоргон.

Quivi Demogorgon che frena e regge
La fateedà lor forza e le ne priva,
Per osservata usonza e antica legge. . .

(Там Демогоргон сдерживает и направляет
Фей и дает им силу и лишает их ее,
Соблюдая обычай и древний закон. . .)

Встречается имя Демогоргона и ниже в той же поэме (строфа 30) — в рассказах и жалобах феи Морганы.¹⁰

Напомним также, что в автобиографии французского поэта Агриппы д'Обинье есть сообщение о составившемся около 1580 г. из молодых дворян кружке «демогоргонистов» (une société des Démogorgonistes) при Наваррском дворе, которые называли себя так потому, что председатель этого светского кружка именовал себя Демогоргоном.¹¹ Это свидетельствует о том, что в то время имя Демогоргона было известно не одним эрудитам.

Из приведенных примеров нетрудно заметить, какое обширное поле для всевозможных догадок о происхождении и значении образа Демогоргона в «Освобожденном Прометее» Шелли открывалось исследователям и критикам этого знаменитого произведения, когда они наталкивались на сбивчивые и противоречивые данные об интересующем нас персонаже, столько раз — до

¹⁰ Knack Georg. Demogorgon. Ein Beitrag zur Ariosterklärung. — Z. für vergleichende Litteraturgeschichte / Hrsg. v. Max Koch. N. F., Weimar, 1898, Bd 12, H. 1-2, S. 22—26.

¹¹ Choix de chroniques et mémoires sur l'histoire de France avec des notes biographiques par J. A. C. Buchon. Paris, 1736, p. 489 (Mémoires de Théodore Agrippa d'Aubigné). — Указанное место в русском переводе этой автобиографии (см. «Мемуары А. д'Обинье, или Его жизнь, рассказанная им самим его детям» в кн.: *д'Обинье Агриппа*. Трагические поэмы. Мемуары. М., 1949, с. 143) сопровождается следующим комментарием о Демогоргоне: «Собственно — имя духа земля, обожаемого в Аркадии. В суверениях XV—XVII вв. считалось одним из имен дьявола».

Шелли — выведенном или названном в различных литературах Западной Европы в течение нескольких столетий. Долгое время оставалось совершенно неясным, как возник этот образ, чем вызваны значительные расхождения в его изображениях или истолкованиях, откуда заимствовал его Шелли.

Едва ли не первые уверенные шаги для решения всех этих вопросов сделаны были академиком А. Н. Веселовским во втором томе капитального исследования «Боккаччо, его среда и сверстники» (1894). В X главе этого труда А. Н. Веселовский дал подробный анализ латинского трактата Боккаччо «Генеалогия богов» («De Genealogia Deorum»), установил его вероятные источники и кратко очертил воздействие, которое этот трактат оказал на литературы Западной Европы в XV—XIX вв. А. Н. Веселовский установил, что именно Боккаччо следует считать одним из создателей образа Демогоргона и что в конечном счете именно к этому сочинению Боккаччо следует возводить как к первоисточнику образ Демогоргона в драме Шелли.¹²

Над трактатом о генеалогии богов Боккаччо работал более двадцати лет (1350?—1372), но так и не завершил его окончательную отделку. Во всех вариантах трактата родословие богов начинается именно с Демогоргона.

Во введении к своему трактату Боккаччо задавался вопросом, «кого первого чтит язычники богом», и перечислял мнения об этом древних мудрецов (Фалеса, Анаксимена, Хризиппа, Алкмеона, Макробия и т. д.). Иные считали началом всего сущего воду, другие — воздух, третьи — огонь или солнце. Но у некоего Теодонция, писателя для нас загадочного, о котором не сохранилось никаких сведений, по писаниям которого Боккаччо очень дорожил (А. Н. Веселовский считает его уроженцем Южной Италии или «каким-нибудь обитавшимся лонгобардом, знавшим по-гречески»), он нашел сведение о том, что, по мнению древних аркадцев, причиной всего сущего была земля и прирожденный ей божественный дух. Это, по словам Боккаччо, подтверждается также свидетельством Лактанция, которое он и приводит.¹³ По этому поводу А. Н. Веселовский замечает в своем

¹² Веселовский А. Н. Собр. соч. Пг., 1919, т. 6, с. 323—426.

¹³ Оба сообщения, которые комбинирует Боккаччо, и Теодонция и Лактанция, не отличаются ясностью. Лактанций Плацид (Lutatius или Lactantius Placidus, живший, вероятно, в VI в. н. э.) в схолии к «Фиваиде» («Thebais») римского поэта Стация (IV, 516) говорит, что Тирезий называет Демогоргона высочайшим богом, имя которого не разрешается знать (dicit deum Demogorgona summum, ejus nomen scire non licet). Некоторые же философы и персидские маги тоже утверждают, что, кроме этих известных богов, которые почитаются в храмах, есть и другой, главный, величайший правитель над прочими богами. На самом деле у Стация Демогоргон не назван: «Тирезий, вызывая тень Лая, говорит, обращаясь к богам подземного мира: „ведь мы знаем и высочайшего над тройственным миром, хотя его и недозволено знать“». У него, по словам Теодонция, две супруги — Вечность (Aeternitas) и Хаос; его дети — Раздор (Litigium), Пан, Парки, Полус, Фитон (Phyton, т. е., вероятно, испорченное Фаефон), Земля, Эреб. Теодонций ссылается на поэта Прованпиды и его «Протокосм», наполненный, по словам А. Н. Весе-

исследовании: «Боккаччо разбирает мнения философов и, приравнивая стихии к их мифологическому выражению — воду к Океану, Юпитера — к Огню и т. д., находит в своих генеалогиях, что все они рождены от кого-нибудь и им нет места в начале родословной; оно остается за Демогоргоном, ибо Боккаччо ничего не отыскал у поэтов об отце, но читал о нем как о родоначальнике других богов. Логический вывод ясен, не принято лишь в соображение, что у Демогоргона потому только нет восходящей генеалогии, что сам он — продукт поздней, философской абстракции, воспринятой Боккаччо и по его следам Боярдо и Шелли».¹⁴

Пользуясь своими не всегда ясными для нас источниками, обобщая их и дорисовывая с помощью своей фантазии те черты богов и мифологических персонажей, которые в них отсутствуют, но могли бы существовать, Боккаччо изображает Демогоргона, находящегося в недрах земли, в туманах и мраке, страшного самым именем своим; он окутан белесоватой, сырой плесенью (*pallere muscoso et neglecta humiditate amictus*), и от него идет острый запах земли (*terrestrem, tetrum factidumque evaporem odorem*). «Сознаюсь, я улыбнулся при виде того, кого древние, по своему неразумию, считали творцом всего сущего», — замечает Боккаччо и попутно следующим образом объясняет происхождение имени Демогоргона: «по-латыни это обозначает бога земли, ибо, по Лактанцию, демон — бог, горгон — земля или, скорее, мудрость земли, так как демон часто означает знающего или мудрость; иные толкуют *страшный бог*».¹⁵

Так создалось представление о Демогоргоне, которому суждена была долгая литературная жизнь.

А. Н. Веселовский установил, что античных свидетельств о Демогоргоне, собственно, не существует, что предания о нем возникли только после того, как Боккаччо в «Генеалогии богов» соединил в одно целое разрозненные черты нескольких поздних представлений о предполагаемом культе божества земли.

Однако уже в XVIII в. сомнения вызвало самое имя Демогоргона. Геттингенский профессор-классик Хр. Готтлиб Гейне (Chr. G. Heyne, 1729—1812) в 80-х гг. написал весьма ученую статью на латинском языке, в которой утверждал, что имя «Демогоргон» есть лишь испорченное слово «демиург», известное из космогонических теорий гностиков начала нашей эры и современных им философских рассуждений Ближнего Востока.¹⁶ Эта

ловского, не традиционными мифами, а «не то метафизическими, не то отреченными баснями». (Ср.: *Веселовский А. Н. Собр. соч.*, т. 6, с. 380—381. — Ср. здесь же в дополнениях с. 729—730, в связи с новым изданием Лактанция Плацида: *Placidus* / Ed. Jahnke. Leipzig, 1895, S. 228).

¹⁴ *Веселовский А. Н. Собр. соч.*, т. 6, с. 379.

¹⁵ Цит. по: *Веселовский А. Н. Собр. соч.*, т. 6, с. 380.

¹⁶ Heynii Chr. G. *Opuscula academica collecta et animadversionibus locupletata*. Gottingae, 1788, vol. 3, p. 219—314 («Demogorgon daemon, e disciplina Magica repetitus»).

статья при своем появлении вызвала несогласия и споры с автором, но в настоящее время гипотеза, выдвинутая Хр. Гейне, может считаться общепризнанной: так, отождествление Демогоргона с Демиургом мы находим, например, в энциклопедическом справочнике по классической филологии Паули—Виссоны.¹⁷ Напомним в связи с этим, что, по учению некоторых гностиков, например Макробия, зиждитель Демиург, в противоположность «богу света», являлся «богом мрака» (*deus tenebrarum*) и что, создав злой мир и человека, он господствовал над ним известное время.¹⁸ Этим, по-видимому, можно объяснить, что западноевропейские писатели эпохи Возрождения отождествляли Демогоргона с властителем подземного мира, он выступает демонической силой преисподней, его имя долгое время встречалось в магических заклинаниях алхимиков.¹⁹

Отметим, кстати, что рассуждение Хр. Гейне о Демогоргоне легло в основу справки об этом персонаже, опубликованной в 1833 г. в немецком энциклопедическом словаре Эрша и Грубера;²⁰ отсюда эта справка с сокращениями и незначительными изменениями была воспроизведена во многих энциклопедиях XIX в., в том числе в цитированных выше словарях — русском И. Березина и французском П. Ларусса.

Откуда же Демогоргон стал известен Шелли? Коснувшись воздействий «Генеалогии богов» Боккаччо на последующую литературу Италии и других стран, А. Н. Веселовский лишь упомянул Боярдо и Шелли как тех писателей, которые, изображая Демогоргона, следовали трактату Боккаччо, но оставил непроясненным вопрос, был ли Шелли непосредственно знаком с текстом «Генеалогии богов» или представление о Демогоргоне было взято им из какого-либо другого источника, в конечном счете восходящего к тому же Боккаччо. В новейших работах речь об этом шла не раз.

Известно, что Шелли восторженно отзывался о Боккаччо, называя его «самым божественным из писателей» (письмо к Ли Хенту от 29 сентября 1819 г.), но этот интересный отзыв основан преимущественно на знакомстве Шелли с итальянскими произведениями Боккаччо, как прозаическими, так и в особенности поэтическими. «Он поэт в высоком смысле слова, и его язык обладает ритмом и гармонией стиха», — говорил Шелли о Боккаччо далее в этом же письме. — «Особенно близко мне его понимание любви. Он очень часто высказывает мысли, полные серьезного значения

¹⁷ *Pauly—Wissowa. Real Encyclopädie der classischen Altertumswissenschaft.* Stuttgart, 1905, Bd 5, S. 2. — Здесь, в частности, указано, что в некоторых ранних кодексах Лактанция Пластида в соответственном пассаже вместо «Demogorgon» стоит «deum demiurgon» или «deum demoirgon», как на это указывает в своем издании этого автора Jahne (1898, S. 228).

¹⁸ *Поснов М. Э.* Гностицизм II века и победа христианской церкви над ним. Киев, 1917, с. 407—408, 541, 599. — Любопытно, что гностики приписывали Демиургу борьбу против верховного божества.

¹⁹ Джеймс Хауэлл (*Howell J. Instructions and Directions for Travels.* London, 1650, p. 126) называет алхимиков «учениками Демогоргона».

²⁰ *Allgemeine Encyclopädie der Wissenschaften und Kunst / Hrsg. v. J. S. Ersch und J. G. Gruber.* Leipzig, 1833, 1. Sect., Th. 24, S. 33.

и поистине прекрасные. Он моральный казуист, полная противоположность христианской, стоической, шаблонной, светской системе морали» и т. д.).²¹ Возможность знакомства Шелли с латинским текстом «Генеалогии богов» не исключается, хотя точных свидетельств об этом мы не имеем: ученый латинский трактат едва ли пользовался большой популярностью у литераторов в начале XIX в.²² Тем не менее некоторые новейшие исследователи уверенно говорят о знакомстве Шелли с этим трактатом Боккаччо, исходя при этом из анализа текста «Освобожденного Прометея». «Начальные страницы [«Генеалогии»] Боккаччо, — утверждает, например, Генри Лотспейч, — были важным источником мифологии Шелли в Прометее»;²³ для доказательства этого он сопоставляет описание Демогоргона у Шелли и Боккаччо и проводит текстовые параллели между обоими произведениями — латинским и английским: и у Боккаччо, рассуждающего о Демогоргоне, имя его обозначает «божество земли» или «мудрость земли»; и у Боккаччо и у Шелли он обитает в некоей подземной «пещере», откуда доносятся его туманные пророчества (у Шелли обозначение «Cave» или «Cave of Demogorgon» встречается в тексте драмы шесть раз); в обоих случаях образ таинственного божества дается как бы намеренно расплывчатый; в 4-й сцене II действия Пантея у Шелли называет его «формой, скрытой покровом» (*veiled form*), «мощным мраком» (*a mighty darkness*). Когда Юпитер вопрошает его, кто он, Демогоргон отвечает: «Вечность. Не спрашивай имени страшнее» (д. III, ст. 1). Не забудем, что у Боккаччо Вечность является супругой Демогоргона.

По мнению других исследователей, напротив, Шелли знал о Демогоргоне не из Боккаччо, а из цитат у Спенсера или Миль-

²¹ Дьяконова Н. Я. Новеллы Боккаччо в стихотворной обработке английских романтиков. — В кн.: Проблемы международных связей. Л., 1962, с. 71—72. — В этой статье (с. 69—90) собрано много данных о популярности Боккаччо в Англии в первые десятилетия XIX в.

²² Библиография изданий «Генеалогии» приложена к исследованию: *Horis Attilio. Studi sulle opere latine del Boccaccio*. Triest, 1879. Поправки и дополнения к ней см.: *Tounbee Paget. The Bibliography of Boccaccio's Genealogiae Deorum* (The Athenaeum, London, 1900, 17 Febr., № 3773, p. 208). — Из этих источников явствует, что издания «Генеалогии» как в латинском подлиннике, так и в итальянском переводе приходится главным образом на конец XV и начало XVI в. (9 латинских изданий между 1472 и 1532 гг. и около 20 итальянских переводов между 1547 и 1644 гг.), но уже в XVIII в. все эти издания были очень редкими и малораспространенными.

²³ *Lotspeich Henry G. Shelley's «Eternity» and Demogorgon*. — *Philological Quarterly*, 1934, vol. 13, 3, p. 309—311. — Отметим здесь попутно, что из трактата Боккаччо Демогоргон попал в издание «Fabulae» Псевдо-Гигина (Basel, 1535; Heidelberg, 1599). Указывают также на книгу Наталиса Комеса (Natalis Comes — латинизация имени итальянского эрудита XVI в. Noël Conti) «Mythologia sive explicationes fabularum» (Venetia, 1551; Padua, 1616 и другие издания), в которой также содержались сведения о Демогоргоне, заимствованные у Боккаччо, и на трактат Бэкона «О мудрости древних» («De sapientia veterum»), где он, говоря о Демогоргоне, следует за «Мифологией» Комеса. Знакомство с этими сочинениями Шелли очень сомнительно и ничем не может быть подтверждено.

тона.²⁴ В особенности же существенными для Шелли, как видно из новейших публикаций, оказались те сведения, которые он нашел о Демогоргоне в поэме своего друга Т. Пиккока «Рододафна, или Фессалийские чары» (1818). Об этом полузабытом, но заслуживающем внимания литераторе романтической поры, поэте и драматурге, в последнее время говорят в печати все чаще, между прочим в связи с тем, что со все возрастающей отчетливостью раскрывается несомненное идейное воздействие, оказанное им на молодого Шелли.

Знакомство Шелли с Т. Пиккоком (Thomas Love Peacock, 1785—1866) состоялось осенью 1812 г. в Лондоне и возобновилось летом следующего года; окончательно дружба их окрепла в октябре 1813 г., во время их совместной поездки в Эдинбург. Т. Пиккок был тогда страстным и увлеченным эллинистом и много способствовал пробуждению у Шелли интереса к античному миру. Шелли и Пиккок вместе читали в подлинниках Тацита, Цицерона, гомеровскую «Одиссею». В ближайшие за этим годы под влиянием Пиккока список античных авторов, прочтенных Шелли, сильно возрос: среди них оказались Еврипид и Гесиод, Феокрит, Геродот, Фукидид и другие древние писатели, философы и историки. Не так давно опубликованная переписка Т. Пиккока, Т. Хогга и Шелли, полная греческих и латинских фраз, цитат и припоминаний, свидетельствует, что в дружеском кружке этих писателей господствовал подлинный культ античности, отразившийся не только в их литературных произведениях, но даже в формах их житейского общения друг с другом. Известно, например, что они наделили себя прозвищами, заимствованными из читанных ими в то время книг по классической древности. Как явствует из письма Т. Хогга к Пиккоку (от 8 сентября 1817 г.), среди прозвищ, ими изобретенных и бывших в ходу, находилось, в частности, прозвище «Демогоргон»: по-видимому, друзья именовали так Вильяма Годвина.²⁵ Нас не может поэтому удивить, что о Демогоргоне идет также речь в поэме Т. Пиккока «Рододафна, или Фессалийские чары» («*Rododaphne, or the Thessalian Spell*». A Poem, 1818), появившейся в печати одновременно с «Восстанием Ислама» Шелли. В большой поэме Пиккока в семи песнях, овеянной духом поздней античности, рассказана история девушки Каллирои, любившей юношу Антемнона, которого отнимает у нее приворожившая его волшеб-

²⁴ *Bush Douglas*. *Mythology and the romantic tradition in the English poetry*. Cambridge (Mass.), 1937, p. 147. — К этому предположению автор прибавляет еще указание на книгу: *Boyse Samuel*. *A New Pantheon* (1753), где читаем: «Лактанций сообщает нам, что отцом всей природы был великий Demigorgon, или бог земли. . .» и спутницей его считает Вечность».

²⁵ *Barrell Joseph*. *Shelley and the Thought of his Time: A study in the History of Ideas*. New Haven, 1947, p. 110. — Популярность имени Демогоргона и позже среди английских литераторов подтверждается также тем, что как прозвище одного из действующих лиц Демогоргон упомянут в романе Дж. Мередита «Ивен Гаррингтон» («*Evan Harrington*», 1860), в гл. 3. В 1795 г. в Дрездене ставилась опера «Demogorgon e il Filosofo confuso». См.: Сборник имп. Рус. ист. о-ва. СПб., 1885, т. 44, с. 614.

ница Рододафна. Шелли хорошо знал эту поэму и назвал ее «экстрактом из произведения Луккиана, Петрония и Апулея», «перелатым» в английские стихи,²⁶ в которых действительно из каждой строки бьет в глаза незаурядная классическая эрудиция автора. По справедливому замечанию одного из исследователей Пиккока, герои его поэмы «знают своих богов от Юпитера до Демогоргона так же хорошо, как знал их любитель древности Пиккок».²⁷

Упоминание Демогоргона в «Рододафне» (с пояснениями и ссылками автора на Боккаччо, Наталиса Комеса и Мильтона) устраняет необходимость дальнейших поисков непосредственного знакомства Шелли с «Генеалогией богов» Боккаччо: мы с уверенностью можем сказать, что Шелли знал о Демогоргоне то, что об этом персонаже знал и написал в своей поэме Пиккок. Тем не менее этот вывод не исключает желательности особого выяснения вопроса о степени творческой самостоятельности Шелли при создании этого образа в связи с системой других образов действующих лиц в «Освобожденном Прометее». Следует иметь в виду, что когда истолкование этих образов производилось без учета тех данных о персонажах драмы, которыми Шелли мог располагать до или во время создания этого произведения, произвольность их понимания и объяснения были поистине безграничными. Многочисленные примеры подобных некритических и недостаточно аргументированных объяснений персонажей драмы можно найти хотя бы в работах А. Кранендонка²⁸ или Н. Уайта.²⁹ Если некоторые критики и исследователи «Освобожденного Прометея» считали, что в образе Демогоргона Шелли хотел изобразить «божественную Справедливость, вечную Немезиду» (R. Ackermann, J. Todhunter), «Необходимость» или «Судьбу» (Alexander), «Первоначальное могущество» (Ch. Collins), то другие отождествляли его с «древним принципом Разума» или прямо с «Революцией», — такое толкование дала Демогоргону Vida D. Scudder во введении к изданию «Prometheus Unbound» (London, 1892).

Амплитуда разноречивых толкований Демогоргона из произведения Шелли, представленных русскими и советскими критиками «Освобожденного Прометея», также очень широка. Если М. Цебрикова, исходя непосредственно из текста драмы, называла Демогоргона «олицетворением вечности»,³⁰ то Алексею Веселовскому казалось, что этот образ представляет собою «олицетворение спра-

²⁶ *Bush Douglas*. Mythology and the romantic tradition in the English poetry, p. 184—185.

²⁷ *Dannenberf F.* Peacock in seinem Verhältnis zu Shelley. — *Germanisch-Romanische Monatschrift*, 1939, Bd 20, H. 9-10, S. 360.

²⁸ *Van Kranendonk A. G.* Demogorgon in Shelley's «Prometheus Unbound». — *Neophilologus*, 1924, t. 9, p. 59—62. — См. дальнейшие разыскания J. Kooistra и J. F. C. Gutteling в том же голландском журнале (p. 213—222, 283—285); см. также: *Ellsworth Barnard*. Shelley's Religion. Minneapolis (Minn.), 1937, p. 92—93.

²⁹ *White N. I.* Shelley's «Prometheus Unbound» or Every Man is own Allegorist. — *PMLA*, 1925, vol. 40, p. 172—184.

³⁰ *Цебрикова М.* Шелли. — *Отеч. зап.*, 1873, № 5, с. 172—173.

ведливости и истины». ³¹ Ф. П. Шиллер почему-то полагал, что Демогоргон — это «дух вечных сомнений и колебаний» (?), ³² Е. Демешкан утверждала, что «этот неясный, туманный образ олицетворяет смутно, хотя и безошибочно предугаданный поэтом закон исторической необходимости, которому подчиняется природа и общество. Это дух судьбы, дух перемен». ³³ И. Г. Неупокоева считала, что Демогоргон — «дух перемен и преобразования» и что, создавая этот образ, Шелли воспользовался «представлением греческой мифологии о смене исторических эпох». ³⁴ По мнению же авторов учебного курса «Истории зарубежной литературы XIX в.», Демогоргон — это «дух великого будущего человечества» (?). ³⁵ Для А. А. Елистратовой образ Демогоргона и Духов Часов у Шелли — «фантастические образы, воплощающие в себе представление о необратимых закономерностях движения Бытия», ³⁶ и с этим толкованием Демогоргона соглашается и И. Г. Гусманов. ³⁷

Приведенные примеры не исчерпывают накопившихся в нашей литературной науке противоречий и несовпадений в истолковании указанного образа в драме Шелли. Этих колебаний было бы меньше или они отпали бы вовсе, если бы им предшествовало в качестве начального этапа исследования этого вопроса изучение источников представления Шелли о Демогоргоне и сопоставление данного им образа с многочисленными Демогоргонами его предшественников.

³¹ Веселовский А. И. Этюды и характеристики. 4-е изд. М., 1912, с. 125.

³² Шиллер Ф. П. История западноевропейских литератур. М., 1935, т. 1, с. 320.

³³ История английской литературы. М., 1953, т. 2, вып. 1, с. 350.

³⁴ Неупокоева И. Революционный романтизм Шелли. М., 1959, с. 221. — «В силу неясности представления поэта о тех общественных переменах, которые предвещает Демогоргон, образ этот является как бы образом-понятием, одной из тех поэтических абстракций, которые вырастают из реального мира и выражают, говоря словами Шелли, вполне реальные эмоции и мысли», — говорится ранее (с. 219) в этой же книге. См. также предисловие И. Г. Неупокоевой к кн.: *Shelley P. B. Poetry and Prose*. Moscow, 1959, с. 15.

³⁵ Елизарова М. Е. и др. История зарубежной литературы XIX в. М., 1957, с. 135. — К сожалению, это имя напечатано здесь с ошибкой: Демогоргон! В. И. Колесников в примечании к «Освобожденному Прометею» (в кн.: *Шелли*. Избранное. М., 1962, с. 451) отметил: «Демогоргон — порождение поэтической фантазии Шелли (<...> Самое слово Демогоргон Шелли заимствовал из „Генеалогии богов“ Боккаччо».

³⁶ Елистратова А. А. Наследие английского романтизма и современность. М., 1960, с. 31. — Ниже Демогоргон назван «великий и незримый Дух революционных перемен» (с. 362, 486).

³⁷ Гусманов И. Г. Некоторые особенности образа Прометея в лирической драме П. Б. Шелли «Раскованный Прометей». — Учен. зап. Моск. гос. Пед. ин-та им. В. И. Ленина. Зарубежная литература, 1963, № 203, с. 17.

ВАЛЬТЕР СКОТТ И „СЛОВО О ПОЛКУ ИГОРЕВЕ“

В «Предисловии» к своей известной монографии «„Слово о полку Игореве“ как художественный памятник Киевской дружинной Руси» (М., 1887, т. 1) Е. В. Барсов, напоминая о судьбе первого издания этого произведения и ранних работах по его истолкованию, сделал между прочим следующее указание: «Вальтер Скотт, прочитав этот памятник, в одном из писем к графу Орлову выражал удивление, что русские так мало умеют понимать и ценить свои лучшие произведения» (с. VII—VIII).

Приводя этот отзыв знаменитого шотландского романиста, Е. В. Барсов не сопровождал его никакими пояснениями. Действительно ли «Слово о полку Игореве» было известно В. Скотту? В каком издании и переводе познакомился он с его текстом? По какому поводу высказался он о его литературных достоинствах? Ни на один из этих вопросов еще не было дано ответа, несмотря на то что со времени выхода в свет монографии Е. В. Барсова прошло уже более семидесяти лет, а литература о «Слове», в частности о тех оценках, которые даны были ему выдающимися писателями разных стран, выросла необычайно. Очевидно, что либо свидетельство это забылось вовсе, либо ответить на все указанные недоуменные вопросы представлялось затруднительным. Вернее всего — и то и другое одновременно: отзыв В. Скотта, сообщенный Е. В. Барсовым, никогда более не упоминался в литературе о «Слове», так как он не был подтвержден какими-либо документальными данными; в конце концов он перестал обращать на себя внимание, затерявшись на вступительных страницах к некогда широко известному, но затем отодвинутому в прошлое исследовательскому труду. Между тем у Е. В. Барсова были действительные основания утверждать, что В. Скотту было известно «Слово» и что он несомненно читал «Слово», притом в английском рукописном переводе.

«Граф Орлов», на которого ссылается Е. В. Барсов, — это граф Владимир Петрович Орлов-Давыдов (1809—1882), сын Петра Львовича Давыдова и дочери вельможи екатерининских времен и директора Петербургской Академии наук графа В. Г. Орлова, Натальи Владимировны; принять фамильное имя, графский титул деда и «потомственно именоваться графом Орловым-Давыдовым» Владимиру Петровичу разрешено было Государственным советом лишь в 1856 г.,¹ до тех же пор он именовался просто Давыдовым и под этим именем известен несколько из биографии В. Скотта.

Детство В. П. Давыдова прошло в Италии, а юность — в Шотландии, куда он отправлен был в шестнадцатилетнем возрасте в сопровождении гувернера-шотландца для поступления в Эдин-

¹ Долгоруков П. Российская родословная книга. СПб., 1857, 4, с. 428, 435; Старина и новизна. СПб., 1898, кн. 2, с. 262—263.

бургский университет. В Эдинбурге В. П. Давыдов учился с 1825 по 1828 г. Здесь он представлен был В. Скотту, посещал его в его прославленном поместье — Абботсфорде, состоял с ним в переписке и несколько раз в весьма сочувственных тонах упоминается в дневнике В. Скотта за эти годы.² В. П. Давыдов окончил курс в Эдинбургском университете в 1828 г., а его последнее, прощальное свидание с В. Скоттом состоялось 25 марта этого года.

Знакомство и дружба со знаменитым писателем всегда были предметом особой гордости В. П. Давыдова, и он любил вспоминать об этом по различным поводам. Довольно подробный рассказ о встречах и беседах своих с В. Скоттом он включил, например, в составленную и изданную им в конце жизни биографию своего деда.³ Впоследствии стали известны и другие подробности о посещениях им Абботсфорда, о той роли, какую сыграл он в обмене письмами его родного дяди — поэта Дениса Давыдова и некоторых других русских писателей 20-х гг. с В. Скоттом. Недавно опубликовано было, наконец, и несколько писем В. П. Давыдова к В. Скотту (1826—1828 гг.), подлинники которых хранятся в настоящее время в Национальной библиотеке Шотландии в Эдинбурге.⁴

Интерес В. Скотта к этому юному «москвиту», или «молодому графу», как он иногда называл Давыдова в своих дневниковых записях, отзываясь о нем, впрочем, как о юноше смышленном, способном, подающем надежды (и, кстати сказать, владевшим английским языком как своим родным), был, однако, не вполне бескорыстным. В. Скотт усиленно работал тогда над тем томом своей «Истории Наполеона», в котором речь шла о русском походе французской армии и о войне 1812 г. Поэтому знакомство с молодым русским аристократом пришлось В. Скотту весьма кстати; он очень нуждался в пополнении своего труда русскими историческими материалами. В. П. Давыдов сам рассказал в биографии своего деда, что по просьбе В. Скотта он выписал тогда из России в Эдинбург различные исторические источники и документальные данные, например об истинных виновниках сожжения Москвы в 1812 г., чем особенно интересовался В. Скотт, и что некоторые из этих материалов (в переводе В. П. Давыдова) были в значительной своей части включены затем в текст «Истории Наполеона». Дневники В. Скотта свидетельствуют о том, что его встречи с В. П. Давыдовым были особенно частыми в 1826—1827 гг. В это время Давыдов в осо-

² The Journal of Sir Walter Scott from the Original Manuscript at Abbotsford. Edinburgh, 1890, vol. 1, p. 15, 63, 220—224; vol. 2, p. 23, 29, 68, 76, 85, 298.

³ Биографический очерк графа Владимира Григорьевича Орлова: 2 т./Сост. внуком его гр. Орловым-Давыдовым. СПб., 1878; переизд.: Рус. архив, 1908, № 7—12. (Давыдов рассказывает о себе в третьем лице).

⁴ Struve G. Russian Friends and Correspondents of Sir Walter Scott. — Comparative Literature, 1950, 2, p. 307—326. — Последнее из сохранившихся среди бумаг В. Скотта писем к нему В. П. Давыдова написано из Лондона и датировано 20 мая 1828 г.

бенности старался быть полезным писателю, перед которым благоговел; он наводил для него различные исторические справки, разрешал недоумения относительно произношения и транскрипции русских слов, имен и фамилий, всячески занимал его своими рассказами о России, одаривал сувенирами, вроде, например, стальной табакерки тульской работы с искусно изображенными на ней видами Петербурга и его окрестностей. Но В. Скотт все же, по-видимому, чаще всего возвращался тогда к особенно занимавшей его теме — к пожару Москвы и событиям 1812 г., о чем юноша Давыдов, к сожалению, мог рассказать только с чужих слов. Тогда-то, очевидно, и возникла в их беседах особая тема — о «Слове о полку Игореве», о национальной героической эпопее, единственная рукопись которой погибла в московском пожаре 1812 г.

Мы догадываемся об этом, листая письма В. П. Давыдова к отцу, писанные из Эдинбурга в эти годы. После 1917 г. эти письма хранились некоторое время в архиве Серпуховского краевого музея; отсюда они поступили в Государственный литературный музей в Москве (ныне хранятся в Центральном государственном архиве литературы и искусства). В одном из этих писем, относящемся к 1827 г. (точная дата, к сожалению, отсутствует), В. П. Давыдов сообщил отцу: «Я только что окончил перевод на английский язык „Слова о полку Игореве“, которое сир Вальтер Скотт выразил желание видеть».⁵ К сожалению, письмо это не сообщает более никаких подробностей об этом выполненном и несомненно переданном В. Скотту переводе, однако свидетельство это все же представляет безусловный интерес. Трудно сказать, насколько удачно могла быть выполнена Давыдовым эта пелегкая работа: она требовала не только переводческого опыта, но и филологической сноровки и специальных исторических знаний, какими он, естественно, не мог обладать, особенно в молодые годы. К тому же в 20-е гг. на Западе «Слово» не было еще достаточно известно; английского перевода «Слова» не существовало, как, впрочем, и каких-либо упоминаний о нем в английской печати; переводы немецкие и французские были малочисленны, крайне неудовлетворительны и труднонаходимы. Пользоваться какими-либо иноязычными переводами «Слова» для воспроизведения его текста на английском языке В. П. Давыдов, вероятно, не мог. Не только В. Скотт, по-видимому впервые услышавший о «Слове» от своего юного собеседника,⁶ но и сам Давыдов едва ли могли знать, что к этому времени существовало уже несколько немецких переводов

⁵ Литературное наследство, т. 91. Русско-английские литературные связи (XVIII век — первая половина XIX века): Исследование академика М. П. Алексеева. М., 1982, с. 233.

⁶ Не исключена, впрочем, возможность, что В. Скотт мог узнать о «Слове» и из сочинений Н. М. Карамзина, которыми он интересовался. Как известно, Н. М. Карамзин не только первым сообщил Западной Европе о «Слове» еще до его издания, но впоследствии уделил ему внимание и в «Истории государства Российского» (1816, т. 1, гл. 7), вскоре вышедшей в просмотренном самим ав-

«Слова» (Рихтера, 1803; Мюллера, 1811; В. Ганки, 1821; Зеде-хольма, 1825), а также французских, впрочем еще более низких по своему качеству (вольный перевод Бланшара, сделанный с русского стихотворного пересказа Левитского; анонимный прозаиче-ский перевод, включенный в статью «О древней русской нацио-нальной поэзии» в журнале бар. д'Экштейна «Le Catholique», 1827), и т. д. Следует также помнить, что В. П. Давыдов жил в это время и трудился над своим переводом за границей и едва ли поэтому мог пользоваться изысканиями первых русских ком-ментаторов «Слова», накопившимися в литературе к концу 20-х гг. (К. Ф. Калайдовича, Пожарского, А. С. Шишкова, Цер-телева, Н. Ф. Грамматина и др.). Таким образом, английский перевод «Слова», сделанный В. П. Давыдовым в 1827 г., был, вероятно, достаточно вольным переложением подлинника, несо-вершенной, дилетантской, хотя и непритязательной попыткой, имевшей, однако, вполне конкретную цель — заинтересовать этим памятником любимого им шотландского писателя. Эта цель не-сомненно была достигнута. Даже в такой приблизительной и ослабленной передаче «Слово» не могло не увлечь В. Скотта, питавшего, как известно, особое пристрастие не только к родной шотландской старине, но и к древним памятникам словесности других народов. Превосходный знаток шотландских и английских баллад, В. Скотт всегда интересовался также старофранцузскими *chansons de geste* и романсами старой Испании; в древних эпи-ческих песнях Западной Европы он любил следить за разверты-вавшейся здесь героикой национальной борьбы и умел угадывать подлинно человеческие черты в застывших словесных формулах песенного предания. В более молодые годы В. Скотт увлечен был также и югославянской поэзией, раскрывшейся ему в немецкой ро-мантической передаче; он и сам, как известно, сделал стихотворный перевод знаменитой сербской эпической песни о жене Асан-Аги, следуя, по всей вероятности, немецкому переводу В. Гете.⁷ По-этому В. Скотт лучше многих других современных ему западных писателей мог оценить по достоинству поэтические красоты и дей-ствительное историческое значение «Слова о полку Игореве».

К сожалению, в бумагах, оставшихся после смерти В. Скотта (1832 г.), рукопись перевода «Слова», присланная ему В. П. Да-выдовым, не была обнаружена; не отыскалось пока и следов ра-боты над этим переводом в доступных нам бумагах В. П. Давы-дова. Не найдено было также каких-либо отзвуков внимания и любопытства к «Слову» в писаниях В. Скотта последних лет его жизни; впрочем, после 1827 г. он писал мало, а предсмертные годы жил большей частью за границей, во Франции и Италии.

Нас может более удивить то обстоятельство, что В. П. Давы-

тором французском переводе (Thomas et Jauffret, 1819). Н. М. Карамзин на-зывает здесь «Слово» «особенно древней повестью, украшенной цветами вооб-ражения и языком стихотворства».

⁷ Подробнее об этом см. в моей статье «Байрон и фольклор» (Советский фольклор, 1941, № 7, с. 193).

дов, рассказывая о своем знакомстве с В. Скоттом в 1878 г. в биографии своего деда, ни словом не умянул об этом переводе, хотя и уделил достаточное внимание второстепенным подробностям и малозначительным анекдотам из трехлетней истории их личных сношений и переписки. В состоянии ли был сам Давыдов оценить значение этого маленького, но, с нашей точки зрения, весьма примечательного эпизода в истории его дружбы с «шотландским чародеем», или отсутствие упоминания «Слова» в его рассказах объясняется простой забывчивостью? Частичный ответ на этот вопрос дает, как нам кажется, приведенное выше свидетельство Е. В. Барсова: он несомненно писал со слов Давыдова, в то время уже графа Орлова-Давыдова.

Свидетельство Е. В. Барсова существенно потому, что оно дает недостающее звено к той цепи, началом которой служит признание самого В. П. Давыдова в его письме к отцу 1827 г.: узнав о том, что английский перевод «Слова» был выполнен и вручен В. Скотту, мы узнаем также, что он сказал по этому поводу. Но, по свидетельству Е. В. Барсова, приведенное им суждение В. Скотта высказано было в письме его к В. П. Давыдову; следовательно, либо это письмо не дошло до нас (хотя другие письма к нему В. Скотта сохранились), либо то, что Е. В. Барсов узнал непосредственно от корреспондента В. Скотта, было воспроизведено им неточно, в свободной передаче.

Для того чтобы устранить все эти затруднения, нам необходимо представить себе в общих чертах, когда и при каких обстоятельствах Е. В. Барсов мог узнать мнение В. Скотта о «Слове» и почему В. П. Орлов-Давыдов пожелал сообщить ему об этом. Думается, что мы в состоянии ответить на это со значительной степенью вероятности.

В. П. Давыдов еще до приобретения им графского титула получил в наследство родовое дедовское поместье неподалеку от Москвы с его известными драгоценными архивами, собранием древностей и замечательной библиотекой. Здесь, в Отраде, хранились, в частности, и все реликвии, связанные со знакомством В. П. Давыдова с В. Скоттом, рукописи, письма, альбомы; в Отраде в 70-х гг. подолгу жил и сам хозяин, занятый разборкой архива и составлением большой двухтомной биографии своего деда. Уже эта работа заставила его обращаться неоднократно к помощи ученых-историков Москвы. Будучи и сам большим любителем старины, В. П. Орлов-Давыдов делал крупные пожертвования разным библиотекам и музеям и между прочим обогатил отрадинскую библиотеку известным собранием старопечатных книг, приобретенных им у наследников И. Н. Царского.⁸ Эта покупка вовлекла его в еще более частые сношения и переписку с московскими учеными и исследователями старой русской культуры. В это самое время Елпидифор Васильевич Барсов (1836—

⁸ Характеристику этой библиотеки см. в кн.: *Иконников В. С. Опыты русской историографии*. Киев, 1892, т. 1, кн. 2, с. 1099—1100.

1917) развернул в Москве широкую литературную и научно-организационную деятельность. С 1870 г. Е. В. Барсов состоял за службе в Московском Румянцевском музее (в Отделении древних рукописей и старопечатных книг) и сделался ревностным деятелем ученых обществ;⁹ всего теснее он связан был с Обществом истории и древностей российских, которое в 1881 г. избрало его своим секретарем и редактором издававшихся от имени Общества «Чтений».¹⁰ Очень вероятно, что в конце 70-х гг. по делам этого Общества или по другим поводам Е. В. Барсов встречался с В. П. Орловым-Давыдовым или находился с ним в переписке.

В это же время начались и усиленные работы Е. В. Барсова над «Словом о полку Игореве». В 1876 г. он напечатал «Критический очерк литературы о „Слове о полку Игореве“» (ЖМНП, № 9 и 10), а через два года и другую статью — «Критические заметки об историческом и художественном значении „Слова о полку Игореве“» (Вестн. Европы, 1878, № 9 и 10), которая, как писал впоследствии И. Анненский, была «по достоинству оценена, как плод тщательного и любовного изучения предмета». Эти работы Е. В. Барсова, по словам того же И. Анненского, обратили на себя внимание читателей: «... оригинальные приемы исследования, большой подбор новых данных, ясность основного положения, — все приятно выделяло их из массы работ о „Слове“».¹¹ Отметим, что имя В. Скотта в этих статьях еще не упоминается; однако в первой из них, исчисляя «те иностранные издания и переводы, при посредстве которых этот памятник имеет за собою европейскую известность», Е. В. Барсов, между прочим, указал: «Из великих европейских держав одна Англия не имеет его в переводе на родном языке».¹² Нам представляется, что именно эти слова обратили на себя внимание В. П. Орлова-Давыдова и оказались поводом для устного или письменного сообщения Е. В. Барсову, что такой именно перевод сделан был уже пятьдесят лет тому назад и что рукопись его направлена была В. Скотту. Чтение статьи Е. В. Барсова напомнило переводчику этот забытый им эпизод его юности, забытый, может быть, потому, что письма В. Скотта с отзывом о «Слове» в отрадинском архиве уже не было. Не исключена, впрочем, возможность, что оно и вовсе не существовало и что мнение о замечательном памятнике русской старины было высказано В. Скот-

⁹ Имп. Московское археологическое общество в первое пятидесятилетие его существования (1864—1914). М., 1915, т. 2, с. 27.

¹⁰ Цветаев Д. М. Записка об ученых трудах Е. В. Барсова. М., 1887; Венгеров С. А. Критико-биографический словарь русских писателей и ученых. СПб., 1891, т. 2, с. 163—174; Из записной книжки А. П. Бахрушина/Примеч. М. Цявловского, изд. Л. Э. Бухгейма. М., 1916, с. 20, 103—104; Ист. вестн., 1917, июль—авг., с. 287—288 (некролог); ср.: Моск. ведомости, 1917, № 91.

¹¹ ЖМНП, 1888, № 4, с. 501.

¹² Там же, 1876, № 10, с. 128.

том его первому английскому переводчику устно: ведь встречи их именно в 1827 г. были довольно частыми.

В. П. Орлов-Давыдов умер 24 апреля 1882 г. в Петербурге,¹³ а в первой книге «Чтений Общества истории и древностей российских» за следующий, 1883 г. Е. В. Барсов начал печатать свою монографию о «Слове»,¹⁴ в начальные части которой вошли в переработанном виде указанные выше его обзорные статьи. В первой книге «Чтений» за 1883 г. свидетельство о В. Скотте приведено на с. VII—VIII «Предисловия», вся же рукопись монографии была сдана в печать уже в конце 1882 г., как это явствует из «Посвящения» книги, датированного 2 ноября этого года. Следовательно, Е. В. Барсов вписал это свидетельство в свой труд уже после смерти В. П. Орлова-Давыдова, получил же от него это сообщение, по-видимому, не ранее 1878 г. Отсюда становится понятным, почему это сообщение осталось в тексте труда Е. В. Барсова лишенным подробностей, пояснений и более точных данных, которых оно заслуживало: к началу печатания своей монографии Е. В. Барсов ими не располагал, и ему уже не от кого было их получить.

Таким образом, хотя свидетельство Е. В. Барсова не подтверждено пока каким-либо документом и может еще вызвать сомнение в полной текстуральной точности воспроизведенных здесь слов В. Скотта, но они представляются правдоподобными по существу и едва ли могли быть искажены даже при двойной их передаче. В. Скотт отнес «Слово» к «лучшим произведениям» национальной русской литературы и выразил лишь удивление по поводу того, что оно так мало изучается и ценится читателями. Для конца 20-х гг. такое суждение, к тому же подсказанное В. Скотту его русским собеседником, было и вполне естественным, и достаточно справедливым. Важнее то, что угадывается за этой нехитрой словесной формулой: виднейший шотландский писатель не только первым на своей родине прочел «Слово о полку Игореве», но и ранее многих других в состоянии был оценить художественную силу одного из драгоценнейших памятников древнерусской эстетической культуры.

¹³ Русский биографический словарь. СПб., 1905, т. «Обезьявинов» — «Очкин», с. 366; *Лавков Д.* Русские писатели и писательницы, умершие в 1882 году. — Рус. архив, 1915, № 5, с. 62.

¹⁴ ЧОИДР, 1883, кн. 1 (январь—март), отд. 4, с. 1—212. — По непонятным для нас причинам эта публикация систематически выпадала из библиографий «Слова о полку Игореве».

СЛАВЯНО-РОМАНО-ГЕРМАНСКИЕ ПАРАЛЛЕЛИ

1. Чешский фольклорный мотив в английской повести XVI века

В начальной истории английской повествовательной прозы видное и очень своеобразное место занимают произведения Томаса Делонея, живописующие быт ремесленных корпораций елизаветинской эпохи: суконщиков, ткачей шелка, башмачников. Жизнь Делонея (Deloney) плохо известна; скудные известия о нем, извлекаемые из документов и современной ему печати, недостаточны для того, чтобы мы могли более или менее явственно представить себе его облик и воссоздать историю его жизни. Несомненно, однако, что он родился около 1543 г., происходил из ремесленной среды, сам был некоторое время ткачом, затем сделался странствующим певцом-балладником и в 80—90-е гг. XVI в. пользовался известностью в Англии и как исполнитель баллад и как издатель их лубочных публикаций. Около 1586 г. Т. Делоней жил уже в Лондоне; здесь он и умер в бедности в первые месяцы 1600 г.¹

Литературное наследие Делонея состоит из нескольких десятков баллад, написанных большей частью на злободневные темы и обративших на себя подозрительное внимание лондонских властей (против одной из его баллад — «О неурожае» возбуждено было даже судебное преследование, так как она, по словам официального документа, была «полна возмутительных выражений, грубо преувеличивающих недовольство толпы в целях вызвать смуту»). Особую группу его произведений составляют три повести, написанные в последнее десятилетие XVI в.; все они интересны не менее, если не более, чем его баллады, для понимания его личности, времени, своеобразия его творческой деятельности. «Джек из Ньюбери» (Jack of Newbury) и «Томас из Рэдинга» (Thomas of Reading) посвящены возвышению ремесла суконщиков и ткачей, «Благородное ремесло» (The Gentle Craft) — башмачников.

Повести Т. Делонея отличаются таким же воинствующим демократизмом, как и предшествующие им баллады. Они представляют собой своеобразный сплав очень разнородных элементов,

¹ *Stievers Richard*. Thomas Deloney. Berlin, 1904 (Palaestra, H. 36); *Chevalley Abel*. Thomas Deloney. Paris, 1926 (ср.: Rev. de littérature comparée, 1926, № 3, p. 694); *Гроссман Л.* Производственный роман в эпоху Шекспира. Томас Делона и его забытая эпопея. — Печать и революция, 1927, № 1, с. 29—41 (эта статья перепечатана в единственном русском издании «Джека из Ньюбери» и «Томаса из Рэдинга»: М.; Л., 1928, с. 10—30). — Краткая справка о Делонее, написанная М. М. Морозовым, помещена также в «Истории английской литературы» (М.; Л., 1945, т. 1, вып. 2, с. 108—110); ср. также: *Уринов Д. М.* Формирование английского романа эпохи Возрождения. — В кн.: Литература эпохи Возрождения и проблемы всемирной литературы. М., 1967, с. 431—435.

приведенных автором к некоему повествовательному единству. В основу своих повестей Делоней положил факты и легенды из истории ремесленных цехов, соответственным образом приукрашенные и целенаправленные, но к основному сюжетному стержню он прибавил много побочных эпизодов, заимствованных из лубочных книг, из итальянских повелл, из международного фонда анекдотической литературы, из фольклорных источников, с которыми Делоней был близко знаком в качестве профессионального «балладника — ткача шелка» (the ballading silk-weaver), как его аттестовал современник Делоней — Томас Нэш (Nash).²

Интересно отметить, что все указанные повести Делоней не только имели своих читателей — прежде всего, конечно, из среды тех ремесленников, быт которых он описывал, — но и пользовались чрезвычайной популярностью в течение долгого времени. Ранние издания этих повестей до нас не дошли, зато сохранились последующие многочисленные их переиздания, вышедшие в XVII в. По подсчетам Чарльза Миша, повесть «Джек из Ньюбери», например, перепечатывалась в XVII в. четырнадцать раз, а «Славное ремесло» — шестнадцать, поэтому библиограф с полным основанием отнес их к числу типичнейших «бест-селлеров», т. е. самых распространенных и читаемых произведений этого столетия в Англии,³ несмотря на то что «большая» литература этого времени презрительно отворачивалась от них как от произведений «низких» жанров, грубых и «неизящных» по своему языку и стилю.

Все три повести Делоней, хотя они и изображают различную профессиональную среду, имеют между собой много общего, прежде всего по своей основной тенденции. Главные их действующие лица, независимо от того, чем они заняты в жизни и что считают своей основной профессией, — это выходцы из «низов», бедняки или отщепенцы, которые благодаря своей природной смекалке, трезвому отношению к жизни, любви к труду, настойчивости и энергии в конце концов достигают прочного общественного положения, преуспеяния и благоденствия. Джек из Ньюбери — простой ткач, но он становится владельцем большой мастерской, известным самому королю Генриху VIII, и в нужную минуту оказывает существенную поддержку всей Англии; в повести «Славное ремесло» рядовой бабшмачник Саймон Эйр превращается в лорд-мэра Лондона, а другой, Пичи, становится таким влиятельным, что по своему усмотрению распоряжается назначениями капитанов британского торгового флота. Рассказывая подобные жизненные истории, Делоней, вопреки исторической правде, пытается объявить их типическими и назидательными — прежде всего для того, чтобы подчеркнуть значение ремесленников в ан-

² Miller Edwin Haviland. *The Professional Writer in Elisabethan England: A Study of Nondramatic Literature*. Cambridge (Mass.), 1959, p. 56—57.

³ Fish Charles C. *Best-sellers in Seventeenth Century Fiction*. — *The Papers of the Bibliographical Soc. of America*, 1953, vol. 47, № 4, p. 362—363.

глийской общественной и экономической жизни и содействовать представлению о действительной роли, какую они играют в государстве. Это одновременно и социальная проповедь и воображаемая идиллия.

Первая повесть Делонея имела следующее заглавие: «Забавная история Джона Уинчкомба, прозванного в его молодые годы Джеком из Ньюбери, достойного и славного суконщика Англии, повествующая о его жизни, а также о его добрых деяниях и великом дружелюбии, и каким образом он постоянно доставлял работу пятистам беднякам для наибольшей выгоды государства» (*The Pleasant Historie of John Winchcomb, in his younger yeares called Jack of Newbury. . . etc.*). Повесть эта была внесена в издательские списки 7 марта 1597 г., но так как в письме лорда-мэра Лондона к лорду Берлею от 25 июля 1596 г. с резкой характеристикой Делонея есть намек на эту его «книгу, написанную для ткачей шелка, в которой находятся и глупости и подстрекательства» («a book for the silk weavers, wherein was found like foolish and disordered matter»),⁴ то очевидно, что она создана до этого времени. Первые издания «Джека из Ньюбери» 1596—1597 гг. до нас не дошли, но сохранился ряд последующих, не отличающихся друг от друга по своему тексту; можно предположить, что все они довольно точно воспроизводили предшествующие.⁵

Повесть о Джеке из Ньюбери посвящена «всем славным работникам английского сукна», которым автор желает «благосостояния и братского содружества». Рассказывая о своем герое, Делоней основывался на действительной истории одного богатого суконщика Джона Уинчкомба, жившего в конце XV и начале XVI в.; его ткацкая мастерская в Ньюбери пользовалась известностью во всей Англии. Однако Делоней безусловно преувеличил размеры этого предприятия и, кроме того, сильно идеализировал его владельца, разбогатевшего английского суконщика. В повести рассказывается о том, как Джек, работник этой мастерской, всеми любимый за свой веселый и добрый нрав, после смерти своего хозяина женится на его вдове, затем сам становится владельцем ткацкой мастерской и достигает полного материального благополучия. Он строит себе роскошный дом, достигает почета и уважения, но не забывает и своих работников, все время заботясь об их судьбе и благосостоянии. Один из эпизодов этого

⁴ Это письмо опубликовано в кн.: *Wright Th. Queen Elisabeth and her Times*. London, 1838, vol. 2, p. 462.

⁵ Сохранились издания 1630 г. «Джека из Ньюбери» с пометой, что оно является одиннадцатым по счету; 1631 г. — 12-е изд.; 1672 — 13-е; 1775 — 14-е; но, по-видимому, существовали и другие их перепечатки. В 1859 г. новое издание в крайне ограниченном количестве экземпляров выпустил в Лондоне Холливел (J. O. Halliwell); по этому изданию повесть воспроизведена в кн.: *Sterers Richard, Thomas Deloney: Eine Studie über Balladen-Literatur des Shakespeare-Zeit*. Berlin, 1904, S. 149—244 (Palaestra. H. 36). Впоследствии она была переиздана в единственном существующем доньше критическом издании «Сочинений» Делонея Ф. О. Манном (*The Works of Th. Deloney* / Ed. Francis O. Mann, Oxford, 1912).

романа повествует «О картинах, которые Джек из Ньюбери имел в своем доме, и как при посредстве их он поощрял своих служащих в достижении почестей и званий». Здесь рассказывается, что в большой и красивой гостиной своего поместительного дома Джек развесил по стенам пятнадцать картин; все они были задержаны зеленой шелковой занавеской с золотой бахромой, которая, впрочем, часто раскрывалась, потому что Джек имел обыкновение показывать эти картины своим друзьям и подмастерьям и объяснять им, что было на этих картинах изображено.

Все пятнадцать картин представляли собой портреты знаменитых мужей древности и прошлых времен, достигших известности и почета, несмотря на свое «низкое» происхождение. Здесь были изображены пастухи и ремесленники, ставшие царями, императорами, полководцами или выдающимися государственными деятелями. Так, один из портретов изображал, например, легендарного португальского короля Вириафа, отец которого был пастухом; на другом портрете представлен был сын бедного горшечника Агафокл, сделавшийся «королем Сицилии». «Когда этот король устраивал пиршество, — замечает Делоней, — он обыкновенно повелевал ставить на стол вместе с золотой посудой глиняные горшки, дабы это напоминало ему не только скромность его происхождения, но также дом и семью его предков». Следующие портреты изображали афинского уроженца Исократ, сделавшегося победителем спартанцев, который был сыном простого сапожника; Аэция Пертинакса, ставшего римским императором, «хотя отец его был всего только ткач»; императора Валентиниана, сына бедного канатчика; Марка Аврелия, «сына бедного ткача»; императора Габриана, бывшего раньше пастухом, и т. д.

«Четырнадцатая картина, — продолжает Делоней, — изображала Премислава, короля Богемии (Primislas, king of Bohemia). Перед ним стоял конь без узды и седла; там же, на полях, за плугом трудились земледельцы. Вот почему, по словам Джека, этот король изображен таким образом. В это время король Богемии умер, не оставив потомства, и сильная борьба за нового короля разгорелась между вельможами. Наконец они согласились на том, что выпустят в поле коня без узды и седла, и порешили, что признают королем того, перед кем конь остановится. Конь и остановился перед Премиславом, простым человеком, работавшим тогда с плугом (before this Primislas, being a simple creature, who was then busie driving the plough); тогда они и выбрали его своим королем (they <...> made him their sovereigne...), и он управлял с большой мудростью. Он установил многие справедливые законы, окружил город Прагу крепкими стенами и заслужил вечные похвалы и прославления еще многими другими своими действиями».⁶

⁶ Делоней Томас. Джек из Ньюбери. Томас из Рэдингта / Предисл. П. С. Коганя. Ред. и вступит. статья Л. П. Гроссмана. М., 1928, с. 94—95. — Значительные неточности этого перевода исправлены мной при сверке его с оригинальным текстом по изданию Машва (р. 40—43).

Нетрудно заметить, что Делоней изложил здесь в общих чертах знаменитую чешскую историческую легенду из цикла сказаний о Любуше, чрезвычайно популярную, как и весь указанный цикл, не только в чешской, но и во многих других литературах Западной Европы. Гораздо труднее определить источник, из которого она заимствована Делонеем в конце XVI в., т. е. еще до того времени, когда популярность этого цикла на дальнем Западе стала очевидной; поэтому этот вопрос представляет известный интерес, тем более что, насколько нам известно, в многочисленных исследованиях, посвященных данному циклу и его отражениям в художественной литературе, вышеприведенный эпизод из повести Делоней «Джек из Ньюбери» еще не приводился ни разу.

Уоррен Робертс в своей недавней работе о фольклоре в повествовательных произведениях Томаса Делоней⁷ привел много данных, свидетельствующих о том, как тесно связаны они с фольклорной традицией. Во всех трех повестях Делоней, столь близко стоявшего к народной массе, фольклор нашел разнообразные отражения и применения. Мы находим здесь отчетливые следы сказочных мотивов и сюжетов, легенд, баллад, пословиц, записи народных обычаев, обрядов и суеверий. Как и следовало ожидать, повести эти оказались весьма ценным и еще мало исследованным источником для изучения не только английского, но и европейского фольклора вообще. Однако не всегда легко определить, откуда Делоней почерпнул все эти разнообразные материалы — из письменных (печатных) или устных источников. Так, например, один из эпизодов в той же повести о «Джеке из Ньюбери» находит себе близкое соответствие в новелле «Декамерона» Боккаччо, но Делоней не мог читать эту книгу, так как первый полный английский перевод «Декамерона» вышел в Англии лишь в 1620 г., т. е. через двадцать лет после смерти Делоней. Остается предположить, что эту новеллу он мог знать только в устном пересказе. Возможно, что кое-какие мотивы Делоней почерпнул у английских драматургов, присутствуя на представлениях их пьес в лондонских театрах, из ходячих анекдотов, слышанных им в тавернах, на рынках и других местах общественных сборищ или читанных им в печатных сборниках подобных анекдотических рассказов (так называемых *jest-books*). У. Робертс отметил в своем исследовании целый ряд эпизодов в повестях Делоней, представляющих очевидные аналогии фольклорным повествовательным мотивам по известному указателю Ст. Томпсона; среди них он называет также мотив, зарегистрированный в этом указателе в следующей формулировке: «Конь указывает человека, который будет избран королем» (*Thompson S. The types of the folktales*, Н. 171. 3).⁸ В фольклорном происхождении чешской ле-

⁷ *Roberts Warren E. Folklore in the Novels of Thomas Deloney. — In: Studies in Folklore. . . in honour of. . . S. Thompson. Indiana Univ. press, 1957, p. 119—127.*

⁸ *Ibid.*, p. 122.

генды о пахаре Пжемысле, основателе княжеской династии, на которого указал белый конь Любуши, никто никогда не сомневался с тех пор, как методы изучения устных народных преданий были применены к исследованию старых письменных источников. Рассказ о Пжемысле в различных редакциях с разнообразными легендарными прибавками и амплификациями находится уже у древних чешских хронистов: Козьмы Пражского, Далимила и их продолжателей. В особенностях и отличиях этих рассказов пытался разобраться уже Ф. Палацкий;⁹ однако и еще ранее появилось много обработок этих легенд по чешским источникам, в частности в немецкой художественной литературе (баллада Гердера «Die Fürstentafel», 1779; сказка Музеуса в его «Volksmärchen der Deutschen», 1782; произведения Брентано, Грильпарцера и т. д.),¹⁰ подчеркнувших их родство с европейским фольклором. Обработке подверглась и легенда о трапезе Пжемысла на «железном столе», о его легендарных, но превратившихся в историческую реликвию лаптях, о таинственном исчезновении в расщелине скалы быков, на которых пахал Пжемысл, когда к нему явились послы от Любуши, и т. д. Еще до того, как известный чешский фольклорист Вацлав Тилле собрал все народные легенды о Пжемысле,¹¹ на их народнопоэтические истоки указал Ф. И. Буслаев, связавший их с некоторыми мотивами русского былевого эпоса,¹² а вслед за ним ту же связь пытался раскрыть О. Миллер.¹³

Последующие работы, в особенности А. Краппе о «Короле-пахаре» и о «Легенде о Любуше и Пжемысле»,¹⁴ позволили поставить вопрос о происхождении этих легенд на широком сравнительном материале. А. Краппе указал на чрезвычайную распространенность мотива «призвания на престол от плуга» во всей Европе. Древнейшие случаи исторических применений этого мотива — притом именно в редакции, чрезвычайно близкой к той, какая встречается у чешских хронистов (в особенности в «Кроника Маринолова»), — мы находим у Юстина (XI, 71) и у Арриана (De expeditionibus Alexandri, II, 3). Подобные предания

⁹ Palacky F. 1) Geschichte von Böhmen. Prag, 1914, Bd 1; 2) Würdigung der alten Böhmisches Geschichtsschreiber. Prag, 1830, S. 169.

¹⁰ Grigorovitz E. Libussa in der deutschen Literatur. Berlin, 1901, S. 11—14.

¹¹ Tille V. Lidove povídky o panovníkovi, povolánem od železného stolu. — Česky lid, 1891, 1, s. 118—125, 233—237, 402—468.

¹² Буслаев Ф. И. 1) Русский богатырский эпос. — Рус. вестн., 1862, № 9, с. 10; 2) Исторические очерки русской народной словесности и искусства. СПб., 1861, т. 1, с. 372.

¹³ Миллер О. Илья Муромец и богатырство киевское. СПб., 1869, с. 207, 226—233 (с большими извлечениями из чешских хроник). К легенде о Пжемысле см. еще: Кузеля Зечон. Угорьский король Матвей Корвин в славянских устных словесности. Львов, 1906, с. 49 и след.

¹⁴ Krappé A. N. 1) The Ploughman King. — Rev. hispanique, 1919, t. 46; 1922, t. 56; 2) La légende de Libuše et de Premysl. — Rev. des études slaves, 1923, t. 3, fasc. 1-2, p. 86—89.

были вообще широко распространены в античной литературе: папомним, например, рассказ о Цинциннате, много раз повторенный (Тит Ливий III, 26; Дион Кассий V, 23, и др.): та редакция аналогичного рассказа, которую мы находим у Плутарха (*De Alexandri Magni fortuna* II, 8), по мнению А. Краппе, близко соответствует преданию о Пжеммысле, как оно изложено у Козьмы Пражского, и т. д. То обстоятельство, что тот же рассказ мы находим у готов Испании, у славян, в большинстве стран Южной Европы, в Италии, на Кипре и в Малой Азии, позволяет, по его мнению, искать общие истоки этого рассказа в древнейшем сельскохозяйственном обряде, который он и пытается реконструировать. Таким образом, если фольклорные корни этого предания представляются несомненными и доказанными, то, с другой стороны, чрезвычайная популярность его в устной словесности и письменности на самой широкой территории и в течение весьма длительного периода затрудняет установление путей, по которым в позднее время он странствовал из страны в страну.

Устным или письменным источником пользовался Делоней? Случайная находка, сделанная Хайдером Роллинсом, ответила на этот вопрос.¹⁵ Если бы речь шла только о Пжеммысле-пахаре, трудно было бы с уверенностью сказать, откуда узнал о нем Делоней, хотя то обстоятельство, что он называет его имя в той форме, в какой оно встречается в латинских хрониках или исторических компиляциях (например, у Элея Спльвия Пшкколомини, в «*Historica Bohemica*», 1532), и прямо относит это предание к истории Богемии, позволило бы утверждать, что дело идет о чешской исторической легенде, а не просто о мотиве о «пахарекороле». Х. Роллинс, однако, нашел книгу, в которой находится весь эпизод о замечательных исторических лицах из «низов», достигших высоких должностей, почета и преуспевания; Делоней взял из нее весь этот перечень и обработал его в эпизоде о картинной галерее Джека из Ньюбери.

Книга эта издана была Томасом Фортеस्कью (личность которого донныне остается для нас загадочной) и в обоих лондонских изданиях — 1571 и 1596 гг. — имела следующее заглавие: «Лес, или Собрание историй, столь же полезных, сколь приятных и необходимых, переведенное с французского языка на английский» («*The Forest, or Collection of Histories no lesse profitable, then pleasant and necessary, doone out of French into English*»). В предисловии Фортеस्कью указал и автора переведенной им книги: по его словам, она «сочинена была на испанском языке Петром Месслем (by Petrus Messia), севильским джентльменом, затем переведена на итальянский, а потом и на французский Клаудием Грюже, парижским гражданином». Книга такая, действительно,

¹⁵ *Rollins Hyder E. Thomas Deloncy's Euphuistic Learning and «The Forest»*. — PMLA, 1935, vol. 50, № 3, p. 679—686. — На эту работу кратко сослался также У. Робертс.

существует; она издана была в Севилье в 1542 г. под заглавием «*Silva de varias lecciones*» Педро Мессия (Messia, или Mexia, 1496—1552) и представляла собой тяжеловесную компиляцию (напоминавшую «Аттические ночи» Авла Геллия), которая, несмотря на свою неудобоваримость, очень ценилась людьми эпохи Возрождения. Клод Грюже (Gruget) издал ее в Париже в 1572 г. под заглавием «*Diverses leçons de Pierre Messia*». Педро Мессия в своих «Лесах» выступает прежде всего как эрудит-начетчик; здесь приведено им множество исторических и псевдоисторических фактов, из которых автор пытается извлечь нравственные уроки и общепользные наставления. В этой книге мы и находим перечисление замечательных исторических лиц, бывших первоначально пастухами, ремесленниками и т. д., среди них и Пжемысла. Делоней буквально следовал за переводом Фортескью, но он усилил тенденцию оригинала в своем пересказе. Он и Марка Аврелия сделал «суконщиком», согласно нелепому свидетельству его источника, а в легенде о Пжемысле для него важнее всего было известие, что будущий «богемский король» был «сыном пахаря» и сам пахарь¹⁶ и что он оказался мудрым и знаменитым правителем государства.

2. К сказаниям о пане Твардовском в русской литературе

*Посвящено
академику Ю. Кшижановскому
к его 70-летию*

Судьба цикла сказаний о пане Твардовском в литературах и народной словесности восточных славян не была предметом специального исследования; в суждениях, которые высказывались по этому поводу, издавна существует много путаницы и очевидных, хотя и доньше не раскрытых еще заблуждений. В качестве примера сошлемся на книгу А. Чубриновского о происхождении сказаний о Твардовском, в которой делая страница уделена отзвукам их в России;¹ к сожалению, большая часть сообщенных

¹⁶ Соответственно этому роль Любуши в данном пересказе легенды затемнилась вовсе. Любуша не только не упомянута у Делоней, но он утверждает даже, что выбор Пжемысла состоялся только после того, как умер, не оставив потомства, предшествующий «король Богемии»; тем самым разрушилась и народно-песенная основа легенды, восходящая в свою очередь, по-видимому, к древнему сельскохозяйственному обряду. Легенда о Пжемысле у Делоней более подходит на исторический анекдот. Тем не менее и в этой форме она представляет для нас интерес: Делоней верно угадал ее патриархально-демократический колорит и потому именно выделил ее особо в своем рассказе об исторических портретах Джека из Ньюберн.

¹ *Czubyński Antoni. Mistrz Twardowski: Studjum mitogenetyczne. Warszawa, 1930, s. 13.*

ним по этому поводу сведений основана на явных ошибках. «Русские, — пишет Чубринский, — по-своему переработали сказания о Твардовском, приписав ему народные предания о битвах с чернокнижниками своих древних героев. В повести о битве Алеши Поповича с чернокнижником Тугариным последний именуется Твардовским». Следует сослаться на «Песни русского народа» И. Сахарова (V, 24). Далее, ссылаясь на «Русские сказки» (3-е изд. 1820, с. 169), Чубринский излагает «сказку» об Алеше Поповиче, и в частности последнее приключение киевского богатыря, когда тот является в замок Твардовского, выдерживает побоище с бесами, его стерегущими, и в конце концов побеждает их: «И тем освободил душу Твардовского от силы бесовской, и смогла она теперь обрести в могиле вечный покой. А за дело то доброе одарил чернокнижник Алешу Поповича волшебным перстнем. Воротился в Киев русский богатырь, поведал князю Великому Владимиру о приключившемся с ним. А так как русские народные предания все важные события, когда-либо и где-либо случившиеся, относят ко времени Владимира Великого, то и Твардовского из XV века они переносят в IX и X век». Против последнего утверждения следует решительно возразить: все это построение основано на целом ряде недоразумений.

В настоящее время все источники допущенных здесь ошибок могут быть раскрыты; одним из них была, по-видимому, статья В. Мацейковского,² который, однако, в свою очередь был введен в заблуждение некоторыми своими русскими предшественниками. Попробуем разобраться в этом более внимательно.

И. П. Сахаров в 1839 г. в своих «Песнях русского народа» действительно напечатал текст былины об Алеше Поповиче, снабдив его примечанием, которое А. Чубринский и имел в виду: «Замечательнее всего, что сказка (былина) эта имеет сходство с известною малорусской (?) повестью „Пан Твардовский“»;³ любопытно, что два года спустя, перепечатывая тот же текст былины об Алеше и Тугарине в третьем издании своих «Сказаний русского народа»,⁴ И. Сахаров все это примечание опустил; не было им больше повторено и сюжетное сопоставление между былиной (сказкой) об Алеше и повестью о Твардовском. Что же он имел в виду? Былина об Алеше Поповиче и Тугарине была заимствована Сахаровым из известного сборника Кирши Данилова по изданию 1818 г. Эта былина входит в центральное ядро древнейшего русского героического эпоса, и дающийся в ней образ иноземного чудовища Тугарина Змеевича, с которым бьется богатырь Алеша, не представляет с Твардовским ни малейшего

² *Maciejowski W.* Sowizdrzał i Twardowski. — Biblioteka Warszawska, 1841, 3, s. 8—9.

³ [Сахаров И.]. Песни русского народа. СПб., 1839, ч. 5, с. 456—457 (текст: с. 94—114).

⁴ Сахаров И. Сказания русского народа. СПб., 1841, т. 1, кн. 1, с. 22—26.

сходства; по мнению ряда исследователей, имя Тугарина восходит к имени половецкого хана Тугоркана, убитого под Переяславом в 1096 г.⁵

Тем не менее известное основание для сопоставления Тугарина с Твардовским у Сахарова все же существовало, только он не сумел его объяснить и не смог им воспользоваться. Хорошо известно, что И. П. Сахаров, хотя и приобрел в 30—40-е гг. XIX в. известную популярность как этнограф и собиратель памятников народного творчества, отличался наивностью как ученый-историк и к тому же проявлял склонность к фальсификации публиковавшихся им текстов, в чем его как издателя русских народных песен и сказок упрекали уже его современники — А. Григорьев, П. А. Бессонов и др.⁶ В 1841 г. Сахаров издал первый выпуск «Русских народных сказок», текст которых, по его словам, заимствован из рукописи тульского купца Бельского, будто бы писанной в XVIII в.; кроме «былин», в этой рукописи якобы находилось 14 сказок, которые Сахаров и перечислил, — на девятом месте этого списка стоит «Алеша Попович»; но второй выпуск этого издания в свет не вышел, а в первом выпуске напечатано только пять сказок.⁷ Таким образом, мы не знаем, что должна была представлять собой данная сказка об Алеше, поскольку никакой рукописи Бельского, как догадываются историки русской фольклористики, не существовало, а печатавшиеся Сахаровым сказки он сам компилировал из различных изданий, в частности лубочных. Очень вероятно, что ему была известна также одна книжная сказка об Алеше Поповиче XVIII в., в которой упомянут и Твардовский; этим, скорее всего, и следует объяснить вышеприведенное замечание в «Русских народных песнях» 1839 г. о Тугарине—Твардовском. Сахаров был введен в заблуждение, с одной стороны, М. А. Максимовичем, а с другой — старым сказочным сборником В. А. Левшина.

В 1827 г. М. Каченовский напечатал в своем журнале «Вестник Европы» «малороссийскую балладу» под заглавием «Твардовский»⁸ и отметил в редакционном примечании к ней: «Польская словесность с некоторого времени хвалится балладою такого же содержания — произведением таланта г-на Мицкевича — отличного поэта. Герой баллады и его союз с бесом известны

⁵ Древние российские стихотворения, собранные Киршею Даниловым. М.; Л., 1958, с. 533; Былины Северя / Подгот. текста и коммент. А. М. Астаховой. М.; Л., 1951, т. 2, с. 697—700.

⁶ А. Григорьев (в рецензии на «Русские народные песни») отметил, что искажения текста попадают «на каждом шагу»; П. А. Бессонов, издавая «Песни, собранные П. В. Киреевским» (вып. 5, с. СХХІІ—СХLІІІ; вып. 7, с. 146—147), весьма сурово отозвался о редакторских приемах Сахарова, при публикации записей допускавшего в них свои переделки и вставки. Ср. также: *Былин А. И.* История русской этнографии. СПб., 1890, т. 1, с. 305—310, 313; *Виноградов Н. И.* П. Сахаров и его «Русские народные загадки и притчи». — ЖМНП. 1906, кн. 6, с. 230—231.

⁷ *Савченко С. В.* Русская народная сказка (история собирания и изучения). Киев, 1914, с. 124—125, 128.

⁸ Вестн. Европы, 1827, ч. 152, № 6, апр., с. 116—129.

не менее в Польше и за Днестром, как в Малороссии и Украине: рассказы об удалстве Твардовского, об его приключениях слушаются с неослабным любопытством, и простодушные поселiane в досужие часы весьма охотно возобновляют чувство страха в своем сердце воспоминаниями о судьбе Твардовского. Баллада малороссийская есть подражание польской.⁹ Украинский текст подписан инициалом Г. Вскоре с небольшими изменениями (и без имени автора) та же баллада напечатана в журнале «Славянин» (1827, № 27), а затем и выпущена отдельным оттиском, на обложке которого было полностью раскрыто имя автора: «Твердовский. Малороссийская баллада. Соч. Петра Гулак-Артемовского» (СПб., 1827). В том же году эта баллада напечатана была еще раз М. А. Максимовичем в первом издании его книги «Малороссийские песни» (М., 1827, в приложении с отдельной пагинацией: с. 1—9). Это издание было хорошо известно И. Сахарову, и на него он неоднократно ссылается; возможно, что он счел эту балладу записью из народных уст (в издании Максимовича автор баллады обозначен инициалом А., т. е., по-видимому, Артемовский)¹⁰ и во всяком случае мог принять во внимание цитированные замечания М. Каченовского о популярности сказаний о Твардовском среди украинских «поселян»; все это и приготовило И. Сахарова к возможности считать подлинными некоторые мотивы этих повестей в русских сказках или даже «былинах». На самом деле П. П. Гулак-Артемовский (1790—1865) — один из основоположников новой украинской литературы — создал свою балладу, как это давно известно, в подражание прославленной балладе А. Мицкевича «Pani Twardowska»,¹¹ постаравшись лишь придать своему произведению насыщенный национально-украинский колорит. Эта украинская баллада была очень популярна как на Украине, так и в Белоруссии (где возник и ее белорусский вариант, перевод-переработка «Пани Твардоуская»),¹² но в основе ее все же лежит польский литературный источник, и, следовательно, ни о какой фольклорной традиции — украинской или белорусской, к которой якобы мог восходить сюжет этой баллады, — говорить не приходится.¹³

⁹ Там же, с. 120.

¹⁰ Редактор новейшего фототипического издания этой книги М. Максимовича П. Н. Попов утверждает, что в числе песен, присланных Максимовичу из Вильны проф. И. И. Лобойкой (и частично напечатанных в сборнике в «Прибавлении»), была песня (№ 2), которая «згадує про бешкетника-чарівника, пана-кріпосника Твардовського» (см.: Українські пісні вид. М. Максимовичем. Фотокопія з вид. 1827 г. Київ, 1962, с. 317).

¹¹ На это, как мы видели, обратил внимание первый издатель баллады П. Гулак — М. Каченовский со слов автора; о том, что эта баллада является лишь переработкой произведения Мицкевича, писал также Иван Франко (Нарис історії українсько-руської літератури. Львів, 1910, с. 87).

¹² Охрименко П. П. Творческие переработки баллады «Пани Твардовская» Адама Мицкевича в украинской и белорусской литературах первой половины XIX века. — Учен. зап. Гомельск. пед. ли-та, 1956, выш. 3, с. 89—97.

¹³ Некоторые исследователи настаивали на том, что П. П. Гулак в своей обработке учел украинские народнопоэтические произведения о продаже

Возвратимся к утверждениям А. Чубриньского. Сказку об Алеше Поповиче, в одном из приключений которого появляется и Твардовский, он излагает по книге «Русские сказки» (3-е изд., 1820); именно ее мог иметь в виду и И. Сахаров. Это известный сборник В. А. Левшина (1748—1826), без имени автора первый раз вышедший в Москве в 1780—1783 гг.: «Русские сказки, содержащие древнейшие повествования о славных богатырях, сказки народные и прочие, оставшиеся через пересказывание в памяти, приключения» (10 частей). Второе, сокращенное издание этого сборника вышло в свет в 1807 г., третье, на которое и сделана ссылка, — в 6 частях в 1820 г., четвертое — в 1829 г.¹⁴ Во всех изданиях этого сборника помещена интересующая нас «Повесть об Алиоше Поповиче, богатыре, служившем князю Владимиру».

Сборник этот пользовался большой известностью; долгое время его приписывали перу Н. П. Чулкова, хотя на В. А. Левшина как на автора его указывал еще К. Калайдович;¹⁵ ныне подлинное авторство В. А. Левшина восстановлено окончательно.¹⁶ Историки русской фольклористики определили, что Левшин был довольно хорошо знаком с русской устной поэзией, в том числе былевой, однако он не ограничивался воспроизведением записей ее, но всячески украшал их, обильно снабжая всевозможными кривавками, заимствованными из разнообразных книг, в том числе западноевропейских. С этими весьма разнокачественными материалами Левшин обращался весьма свободно: он «соединяет разные сюжеты, соединяет сказку с былиной, подчиняет все в целом стилю западного рыцарского авантюрного романа. В его сказках встречаются и Василий Богуславич, и Добрыня Никитич, и Алеша Попович, и Чурила, и другие богатыри; однако, кроме

дущи черту (см., например: *Драгоманов М.* Малорусские предания и рассказы. Киев, 1876, с. 56—57; *Охрименко П. П.* Творческие переработки. . ., с. 92), но сходство их с сюжетом о Твардовском сильно преувеличено, да и имя Твардовского в фольклорных записях Украины встречается редко; ср.: *Этнографичний збірник*. Львов, 1902, с. 203; рец. К. Копержашского на «Твори» П. Гулака-Артемовского под ред. И. Я. Айзенштока (Харьков, 1927) в журнале «Україна» (1927, кн. 4, с. 198—199). П. П. Охрименко (там же, с. 92), утверждая, что «на Украине, по свидетельству некоторых польских ученых — современников Мицкевича, имели распространение легенды о Твардовском», ссылается на С. Бандтке (*Bandtke S.* Dzieje narodu Polskiego. Warszawa, 1853, t. 2, s. 75—76) и на А. Мацейовского, утверждающего, что одну такую легенду он сам слышал в корчме около г. Лубен на Полтавщине под названием «Рим», где бесами, по преданию, и был растерзан Твардовский (*Maciejowski Wacław Aleksander.* Polska aż do pierwszej połowy XVII wieku pod względem obyczajów i zwyczajów. Warszawa; Petersburg, 1842, t. 4). Однако вероятнее всего, что подобные рассказы восходили к тем же произведениям Мицкевича или П. Гулака. Баллада Мицкевича была популярна и в России; ее много раз переводили на русский язык. См.: Адам Мицкевич в русской печати, 1825—1955. Библиографические материалы. М.; Л., 1955, указатель, с. 545.

¹⁴ *Сопиков В. С.* Опыт российской библиографии / Ред. В. Н. Рогожина. СПб., 1905, ч. 4, с. 241 (№ 10316).

¹⁵ *Древние российские стихотворения*, собр. К. Давыловым. М., 1818, с. XXI и след.

¹⁶ *Шкловский В.* Чулков и Левшин. Л., 1933, с. 97.

имен, в них нет ничего от русского эпоса: их поступки, образ действий, речи — все ведет к стихии западноевропейского рыцарского романа, но только в славянской, вернее псевдославянской оболочке. Рядом с Владимиром и Добрыней действуют герои, заимствованные от западных и восточных повестей: волшебница Добрада, польский волшебник Твардовский.¹⁷ Критический разбор «Русских сказок» Левшина произвел В. В. Сиповский и пришел к заключению, что в числе их источников были произведения Ариосто, Тассо, Виланда, Мармонтеля.¹⁸ Такой результат его изысканий еще больше скомпрометировал значение их русской фольклорной основы. Подробно пересказал В. В. Сиповский также и «Повесть об Алиоше Поповиче, богатыре, служившем князю Владимиру», заметив в другом месте своей работы, что «из сложной легенды о Твардовском» Левшин «удержал лишь самый конец»: ¹⁹ «Твардовский наказан, но, по-видимому, в полную власть ада он не попал: в польской легенде молитва спасает его, и он остается висеть в воздухе между небом и землею, у Чулкова (у Левшина, — М. А.) он тоже в ад не попадает: гроб его находится на земле, хотя и во власти демонов. Герой Чулкова (Левшина, — М. А.) отгоняет от гроба бесов и этим „избавляет“ покаявшегося чародея — теперь он может умереть спокойно».²⁰ Добавим, что «избавление» Твардовского составляет у Левшина последний подвиг Алеши Поповича: перед этим он побеждает девять исполинов у царя Аланского, а затем возвращается в родной Киев кратчайшей дорогой через Польшу, которая оставалась непроезжей в течение тридцати лет вследствие того, что на пути находилась могила Твардовского, «который умерщвлял всех проезжих». Сначала Алеша встречает зятя Твардовского, который горюет, что привидения стерегут богатства тестя и не дают ими пользоваться; затем Алеша прибывает в замок Твардовского, располагается здесь на ночлег, а в полночь вступает в бой с бесами, являющимися к нему с гробом Твардовского; Алеша отрывает от тела голову пана, бросает ее в печь, но она в огне превращается в змея, на котором восседает сам Твардовский, и т. д.

¹⁷ *Азадовский М. К.* История русской фольклористики. М., 1958, с. 67—68. — *И. Колесницкая*, говоря о «Русских сказках» В. Левшина в статье «Русские сказочные сборники последней четверти восемнадцатого века» (Учен. зап. ЛГУ, 1939, № 33, с. 190—191), в свою очередь, заметила, что «Левшин < . . . » не выполнил поставленной перед собой задачи, дав вместо русских сказок сборник романов западного образца < . . . ». От русской былины < . . . » в романе остались лишь имена героев-богатырей. Из русской народной сказки вошли отдельные ситуации и образы».

¹⁸ *Сиповский В. В.* Очерки из истории русского романа. СПб., 1910, т. 1, кн. 2, с. 174—175. — В недавнее время эти выводы пыталась ограничить, — с моей точки зрения, совершенно напрасно — *И. П. Лупанова* в книге «Русская народная сказка в творчестве писателей первой половины XIX в.» (Петрозаводск, 1959, с. 12—26). См. также: Памятники русского фольклора. Былины в записях и пересказах XVII—XVIII вв. / Изд. подгот. А. М. Астахова, В. В. Митрофанова, М. О. Скрипиль. М.; Л., 1960, с. 303—304.

¹⁹ *Сиповский В. В.* Очерки. . . , с. 228.

²⁰ Там же.

Перебив всех демонов, Алеша выслушивает благодарно́сть пана: «Вы уничтожили клятвы мои, — сказал он избавителю, — доставили покой дому моему, дочери и самому мне! Земля, не принимавшая меня досель, присоединяет меня к себе!». В благодарно́сть Твардовский дарит Алеше перстень, благодаря которому можно делаться невидимым, предсказывает, что Алеша победит царь-девицу, и окопательно умирает, спокойно улегшись в гроб.²¹

Указанная «Повесть» об Алеше Половиче явилась ближайшим и основным источником сказочно-богатырской поэмы Николая Радищева (сына А. Н. Радищева); все приключение с Твардовским (здесь он, как у Левшина, именуется Твердовский) изложено пространно во второй и особенно в третьей песнях этой поэмы.²² Сначала Алеша встречает некоего нищего, которого, как выясняется из дальнейшего, пустил по миру Твардовский.

Он мертв назад тому три года.
Но тень его еще живет;
Его страшится вся природа,
Дрожит, робеет целый свет.
Я милу дочь его люблю,
Для ней несчастие терплю. . .

Тогда Алеша, как и у Левшина, решает сразиться с Твардовским и со сторожащими его бесами; на другое утро он

Едва проснулся и стремится
В чертог Твардовского вступить,
В почи желает с ним сразиться,
Бесов всех в доме поразить.
Он входит смелою ногой
В чертог богатой и пустой. . .

Последующие строфы во всех подробностях излагают рассказ Левшина о появлении гроба с Твардовским, несомого «толпой уродов», и страшной битве с ним, когда он превратился в огнедышащего змея. Алеша проявляет чудеса храбрости и побеждает всех:

Твардовский также тут пропал,
Мгновенно прахом мелким стал. . .²³

Сказочно-богатырская поэма Н. Радищева была одним из наиболее законченных образцов стихотворного волшебного-рыцарского романа в русской литературе начала XIX в. и пользовалась не-

²¹ [Левшин В.]. Русские сказки. . . М., 1780, ч. 1, с. 187—248. — Отметим, что у Левшина имя чародея — Твердовский и что такая транскрипция удерживалась во многих последующих произведениях русской литературы, восходящих к левшинскому сборнику.

²² [Радищев Николай]. Альоша Попович, богатырское песнопевение М., 1801, ч. 1, песнь 2, с. 72—73; песнь 3, с. 88—102.

²³ Указывая на «Русские сказки» В. Левшина как на главный источник поэмы Н. Радищева, А. Н. Соколов в книге «Очерки по истории русской поэмы XVIII и первой половины XIX в.» (М., 1955, с. 327) отметил также, что, несмотря на это, Н. Радищев «самостоятельно развивает основную сюжетную линию, используя многочисленные традиционные мотивы волшебного-рыцарской поэмы и романа».

которой известностью. Интересно, что ее несомненно хорошо знал юноша Пушкин и что некоторые ее подробности — как раз из эпизода с Твардовским — отразились в его собственной ранней поэме «Руслан и Людмила».²⁴

Эпизоды о Твардовском, рассказанные В. Левшиным и повторенные в стихах Н. Радищевым, не были забыты в русской литературе и позже. В 1837 г. М. Н. Загоскин издал обррамленный цикл «страшных рассказов», из которых первый назван «Пан Твардовский».²⁵ Дело происходит в 1772 г. неподалеку от Кракова. Русский офицер с денщиком останавливается на почу у польского помещика, и тот устраивает с помощью слуг целое маскарадно-театральное представление о Твардовском, чтобы привести в ужас офицера и заставить его удалиться. Все, что видит офицер ночью, — это пересказ приключения Алеши, по Левшину, и на этот источник сделана прямая ссылка: «„Слыхали ли вы когда-нибудь о пане Твардовском“, — спрашивает офицера польский хозяин уединенного дома. „О пане Твардовском?“, — повторил я, — и только что хотел было сказать, что нет, как вспомнил, что читал однажды русскую сказку о храбром витязе, Алеше Поповиче, где, между прочим, говорится и о польском колдуне пане Твардовском, с которым русский богатырь провозился целую ночь. „А, знаю, знаю! — сказал я. — Этого пана Твардовского, или Твардовского, утащили черти?“. „Не только утащили, — прервал хозяин, — а даже протащили сквозь каменную стену, на которой, как рассказывают старики, долго еще после этого видны были кровавые пятна“».²⁶ В конце концов весь этот рассказ обертывается шуткой, когда становится известным ловко подстроенный маскарад, но и в этом последнем автор рассказа не вышел за пределы фантазии своего русского предшественника; не чувствуется никаких следов знакомства с подлинными польскими сказаниями о Твардовском.

За десять лет перед тем тот же М. Н. Загоскин написал либретто оперы для композитора А. Н. Верстовского «Пан Твардовский», которая и была поставлена в Москве в 1828 г. С. Т. Аксаков, скрывшись под псевдонимом «Любитель русского театра», поместил в журнале «Атеней»²⁷ подробное изложение содержа-

²⁴ На это сходство впервые обратил внимание П. В. Владимиров, указавший, что у Н. Радищева «Алеша встречает главу говорящую» и что «все эти подробности, повторяющиеся у Пушкина, вставлены у Радищева в рамки повести о Твардовском». См.: *Владимиров П. В.* 1) Происхождение «Руслана и Людмилы» Пушкина. — Унив. пав., Киев, 1899, № 6, с. 5; 2) А. С. Пушкин и его предшественники в русской литературе. Киев, 1899, с. 16—17; *Сиповский В. В.* «Руслан и Людмила». — Пушкин и его современники. СПб., 1908, вып. 4, с. 59—84; *Елеонский С. Ф.* Литература и народное творчество. М., 1956, с. 118.

²⁵ *Загоскин М.* Повести: В 2-х т. М., 1837, ч. 1, с. 43—79. — Первоначально этот рассказ опубликован в журнале «Библиотека для чтения» (1834, т. 3, отд. 1, с. 63—128).

²⁶ *Загоскин М.* Повести. . . , с. 61—62.

²⁷ Атеней, М., 1828, ч. 3, № 10, с. 225—234; *Аксаков С. Т.* Собр. соч.: В 4-х т. М., 1956, р. 3, с. 406—413.

ния и постановки этой оперы. Если в музыкальном отношении «Пан Твардовский» Верстовского «был интересным явлением русского оперного театра»,²⁸ то либретто М. Н. Загоскина было довольно жалкой и беспомощной вариацией на все те же мотивы левшинской сказки об Алеше Поповиче.

Таким образом, как мы видели, приведенные материалы не свидетельствуют о ранней популярности на русской почве сказки о Твардовском, как это представляется А. Чубриньскому и некоторым другим исследователям; долгое время источником для их распространения оставалась псевдорусская сказка-былина, скомбинированная искусственным компилятором В. Левшиным из разнообразных западноевропейских источников.

Все попытки исследователей установить возможность родства ранних русских повестей с легендами о Твардовском оказались бесплодными.²⁹ Сказания эти стали известны сначала из баллады Мицкевича и ее переработки на Украине. В 40-х гг. их пересказал по польским источникам И. Боричевский.³⁰ Но и эти пересказы не повредили популярности лишенной всякой философской содержательности компиляции В. Левшина 1780 г. Лишь появившийся в русском переводе в конце 1840-х гг. роман Ю. Крашевского «Твардовский. Повесть, взятая из польских народных преданий» (1847)³¹ познакомил русских читателей со всем циклом этих сказаний и вызвал, между прочим, весьма интересный отзыв В. Белинского.³²

²⁸ *Гозеплуд А.* Музыкальный театр в России от истоков до Глинки. Л., 1959, с. 664—671; *Доброхотов Б. А.* Н. Верстовский. М.; Л., 1949, с. 30—34. — Либретто М. Н. Загоскина («Пан Твардовский. Романтическая опера в четырех действиях, с хорами и танцами») впервые по рукописи начатчано в кн.: *Загоскин М. Н.* Полн. собр. соч. СПб., 1898, т. 10, с. 129—167.

²⁹ *Розов В. А.* Повесть о Савве Грудцыне. — Унив. изв., Киев, 1905, № 3, с. 1; *Еганос.* Сб. статей в честь Н. П. Дашкевича. Киев, 1906, с. 236; *Bittner K.* Die Faustsage im russischen Schrifttum. Prag, 1930, S. 63—81 (составления сказаний о Фаусте, Твардовском и Савве Грудцыне). Едва ли прав был также А. Стендер-Петерсен (*Der Ursprung des Gogolischen Teufels. Göteborg, 1920*), возводивший демонологию Гоголи к польским образцам в украинской народной передаче и, в частности, сопоставлявший с легендой о Твардовском мотивы «Ночи перед рождеством» (ср.: *Виноградов В. В.* Гоголь и натуральная школа. — Избранные труды. Поэтика русской литературы. М., 1976, с. 207—208).

³⁰ *Боричевский И.* «Пан Твардовский». Повесть польская. — В кн.: Повести и предания народов славянского племени. СПб., 1840, с. 19—25. — Одним из его источников были «Klechdy» Войццкого (1836), которые вскоре пересказаны были С. Победоносцевым в статье «Казимир Владимир Войццкий» (Рус. вестн., 1842, № 5-6, с. 112—136).

³¹ Первый перевод этой повести Ю. Крашевского принадлежал С. П. Победоносцеву (Репертуар и пантеон, 1847, т. 1, с. 1—102; т. 2, с. 1—74; отд. изд. в 3-х ч. СПб., 1847). Впоследствии роман Крашевского переиздавался многократно.

³² *Белинский В. Г.* Полн. собр. соч. М.; Л., 1959, т. 13, с. 244—246. Ср.: *Прокофьева Л. С.* Отклики русской общественности на творчество Юзефа Игнация Крашевского. — Изв. АН СССР. Сер. лит. и яз., 1963, т. 12, вып. 6, с. 532—535.

ЗАМЫСЛЫ „ИСТОРИИ БУДУЩЕГО“ МИЦКЕВИЧА И РУССКАЯ УТОПИЧЕСКАЯ МЫСЛЬ 20—30-х ГОДОВ XIX ВЕКА

*Посвящается профессору
д-ру Франку Вольману*

Исследователи славянских литератур отмечали органически присущий этим литературам ярко выраженный и всецело проникающий их этический характер. Профессор Франк Вольман, так много и плодотворно потрудившийся на поприще сравнительно-исторического сопоставления этих литератур, с достаточным основанием предлагал даже считать «этицизм» одним из важнейших устойчивых отличительных признаков этих литератур на всем протяжении их многовекового исторического развития; этой общей особенностью разноязычных славянских литератур объяснял он сравнительное обилие «исправителей нравов» и «социальных реформаторов» среди славянских писателей разных стран и эпох, а также специфические, в известной мере однородные, хотя и принимавшие на протяжении столетий очень различные формы, этико-философские тенденции, проявлявшиеся в их прозаических произведениях вопреки жанровым отличиям этих произведений и даже независимо от времени их возникновения.¹

Высказанное в общей форме итога, это наблюдение подлежит еще дальнейшему углубленному исследованию в многообразных отношениях, в том числе и в границах отдельных литературных жанров (например, сатирических) и в соотносительности эволюции этих жанров с историческим развитием той или иной славянской литературы и создавшего ее народа. Тем не менее некоторые относящиеся сюда факты уже и сейчас напрашиваются на известного рода обобщения. Существенным представляется мне, например, еще недостаточно подчеркнутое обилие в славянских литературах произведений типа философских и социальных утопий, что в конечном счете объясняется тем же характерным «этицизмом» этих литератур и постоянно одушевлявшей их мечтой о лучшем будущем. Однако «утопии» славянских литератур исследованы еще очень недостаточно — как порознь, так и в соотношениях друг с другом. Настоящая статья поэтому ставит себе очень скромную задачу — в ожидании будущих определений отличительных особенностей славянского «утопизма» попытаться вскрыть те еще не замеченные связи, какие несомненно существуют между неосуществленной «утопией» Адама Мицкевича и русскими «утопиями» времени его жизни в России.

¹ *Wollman Frank. Vom Geiste des literarischen Schaffens bei den Slaven. — Slavische Rundschau, 4 (1932), № 2, S. 115—122.*

Среди литературных замыслов Мицкевича, не получивших своего окончательного воплощения, одним из особенно примечательных и в то же время наиболее загадочных является его «История будущего» («Historia Przyszłości»). До нас дошло лишь несколько фрагментов этой повести в двух редакциях,² которые предположительно датируются обычно первой половиной 30-х гг. Однако фрагменты эти настолько невелики по объему, что датировка их и донныне представляется весьма условной;³ в то же время они не дают достаточных оснований для того, чтобы восстановить целое, как оно рисовалось воображению работавшего над ними поэта; в сущности, неясным остается даже, относятся ли уцелевшие рукописные листки обеих редакций к одному и тому же замыслу, условно объединяемому под единым заглавием, настолько различны они по своему идейному характеру: в первом варианте идет речь о войне объединенных революционных армий Европы с войсками монархов различных стран, во втором повествуется об утверждении республики во Франции.

Сколь ни интересны эти фрагменты, но они едва ли оправдывают даваемое им заглавие «История будущего», рисуя отдельные эпизоды из жизни Европы в правдоподобном реально-историческом плане без всякой фантастики или утопического вымысла. Сохранились, однако, свидетельства друзей Мицкевича, дающие нам возможность представить несколько полнее если не развитие всего этого замысла, то по крайней мере его начальную стадию; именно о ней и пойдет речь далее. Важнейшее из этих свидетельств принадлежит А. Одынцу, другу Мицкевича, приехавшему в Петербург перед самым отъездом его из России; находится оно в письме Одынца к Юлиану Корсаку из Петербурга, датированном 9 (21) мая 1829 г.⁴

В этом письме Одынец рассказывает, что Мицкевич в последнее время занят был работой над «оригинальнейшим произведением под заглавием История будущего», что Мицкевич писал его по-французски и что к этому времени у него уже готово было около тридцати страниц; Одынец «бегло просмотрел их все», а сам Мицкевич прочел ему некоторые «патетические отрывки» из рукописи, именно те места, которые написаны были «в духе Тита

² *Mickiewicz Adam. Dzieła*. Warszawa: Spółdz. wyd-wo «Czytelnik», 1955, t. 6, cz. 2, s. 193—205 (Red. 1); s. 206—209 (Red. 2).

³ По мнению Ст. Пягоня, фрагмент «первой редакции» может относиться к концу 1832 или началу 1833 г., «вторая редакция» отнесена им к 1835 г.; напротив, Евг. Кухарский отнес оба сохранившихся отрывка к 1835 г., и Ю. Клейнер согласился с его аргументами (*Kleiner J. Mickiewicz*, t. 2, cz. 2, s. 124); *Mickiewicz Adam. Dzieła*, t. 6, sz. 2, s. 272—273.

⁴ *Listy z podróży Antoniego Edwarda Odyńca. (Z Warszawy do Rzymu)*. Wyd. 2. Warszawa, 1884, t. 1, s. 59—61. — Полный французский перевод этого письма см. в кн.: *Mélanges posthumes d'Adam Mickiewicz / Publ. par Ladislas Mickiewicz*. Paris, 1872, s. 182. — Недавно письмо появилось (с сокращениями) также и в русском переводе: *Мицкевич А. Собр. соч.*, М., 1954, т. 5, с. 632.

Ливия». «Должен тебе сказать, — прибавляет Одынец, — что это удивительное произведение, и если он (Мицкевич) кончит его так же, как начал, то оно, может быть, когда-нибудь станет „Дон Кихотом“ своего времени».⁵ Далее Одынец рассказывает и содержание читанной им рукописи. «Повествование начинается с 2000 года и должно охватить два столетия. После общего взгляда на положение мира, и главным образом Европы, описываются ее приготовления и парламентские собрания в связи с угрозой нападения китайцев, которая в конце концов и осуществляется. В битве принимают участие только женщины и несколько двадцатилетних юношей под руководством героини с Вислы. Этим оканчивается уже записанная часть. Вся же история, как мне говорил Адам, закончится установлением связи между землей и планетами с помощью воздушных шаров, которые в те времена будут летать по воздуху так же, как ныне плавают корабли по морю; вся земля покроется сетью железных дорог, которые, как тебе известно, строятся уже в Америке и начинают прокладываться и в Англии. Адам предсказывает их огромное будущее, утверждая, что они изменят лицо мира. А что говорить о чудесах промышленной техники, изобретениях и открытиях, которые уже описаны в его произведении! Это — мир из „Тысячи и одной ночи“, и все так поэтично и так чудесно и притом так правдоподобно, что хочешь, чтобы так было, и веришь, что так может быть в действительности <...> Боюсь останавливаться на подробностях, так как чувствую, что тогда и в один день не закончил бы письма. Но как не упомянуть хотя бы одним словом о целых флотилиях крылатых воздушных шаров, летающих по небу, словно журавли или гуси? О целых городах домов и магазинов, построенных из железа на колесах и мчащихся по рельсам со всех концов материка на мировую ярмарку под Лиссабоном, куда по океану, в свою очередь, привозят на огромных кораблях плоды со всех частей света? Как не упомянуть об архимедовых зеркалах, установленных на огромном расстоянии друг от друга таким образом, что огненные буквы, отраженные в первом, во мгновение ока отражаются в последнем? О телескопах, благодаря которым можно с воздушного шара обозреть всю землю, а с земли увидеть, что происходит на ее спутниках? Об акустических приборах, с помощью которых, спокойно сидя у камина в гостинице, можно слушать концерты или публичные лекции, происходящие в городе, и т. д.? И все это написано так просто, так естественно, как будто в этом нет ничего необычайного. Адам серьезно утверждает, что когда-нибудь все это может и должно осуществиться».

Достоверность этого рассказа А. Одынца долгое время не подвергалась никаким сомнениям. Его «Listy z podróży» считались важным источником сведений о жизни и творчестве Мицкевича, и в многочисленных исследованиях о великом поэте без всякой

⁵ Listy z podróży. . . , s. 59.

критической проверки неоднократно цитировались и пересказывались многие из писем, составляющих эту книгу (например, в известной монографии П. Хмельевского). Хотя уже В. Мицкевич в биографии своего отца указал на целый ряд ошибок и неточностей, содержащихся в этих «Путевых письмах», но и он не поколебал традиционного положительного отношения к книге Одынца, так как отдельным мелким ее погрешностям не придавалось существенного значения.⁶ Лишь в 1934 г. Генрик Жичиньский в особой работе подверг строгой экспертизе достоверность «Писем» Одынца как документально-исторического источника и решительно занял позицию полного и безоговорочного отрицания их исторической ценности. По его мнению, «Письма» не заслуживают никакого доверия: готовы свои письма к печати в конце 60-х гг., Одынец якобы не только допустил в их тексте сознательные искажения, переделки и прибавки, но прибег даже к настоящей их фальсификации. Г. Жичиньский указал на различные имеющиеся в «Письмах» хронологические несоответствия, установил, что многие приведенные здесь «подлинные слова» Мицкевича не подтверждаются другими данными или имеют литературные источники⁷ и т. д.

Среди аргументов, которыми исследователь подкреплял свои выводы, мы находим у него также ссылки на недостоверность Одынца относительно петербургской рукописи «Истории будущего» Мицкевича; Г. Жичиньский полагает, что весь рассказ о ней сочинен самим Одынцом в поздние годы: так, например, приписанная им утопической повести Мицкевича подробность об «акустических приборах» будущего, с помощью которых можно на расстоянии воспроизводить музыку и человеческий голос, будто бы внесена Одынцом в текст вымышленного им письма 1829 г. под непосредственным воздействием романа Жюль Верна «Замок в Карпатах», в котором до изобретения граммофона и радио предсказывалась возможность изобретения подобных приборов.⁸

По поводу этого аргумента Г. Жичиньского уже Ю. Клейнер совершенно справедливо заметил, что из того, что такие установки описаны Жюлем Верном, вовсе не следует, что мысль о них не могла прийти в голову Мицкевичу;⁹ укажем, со своей стороны, что наблюдение Г. Жичиньского основано на явном недоразумении: роман Ж. Верна «Le Château des Carpathes», — кстати ска-

⁶ В. Д. Спасович также отмечал, что хотя А. Одынец «оказал большую услугу заданием своих „Путевых писем“ <...> передающих мельчайшие подробности его общения с Мицкевичем в Вильне, Петербурге и за границею до ноябрьского восстания 1830 г.», но «к сожалению, в этих письмах не различить писанного во время путешествия от позднейших вставок и прибавок» (Пилиш А. Н., Спасович В. Д. История славянских литератур. 2-е изд., СПб., 1881, с. 741).

⁷ *Zyczyński Henryk. Mickiewicz w oświeceniu Odyńca. Lublin, 1934.*

⁸ *Ibid.*, s. 13.

⁹ *Kleiner J. Mickiewicz.*, t. 2, cz. 1 (Lublin, 1948), с. 52, примеч. 2.

зять, не принадлежащий к числу лучших и популярных его произведений, — впервые напечатан был в 1892 г. в журнале «Magazin d'éducation et de récréation» и в том же году издан отдельной книгой; иначе говоря, он появился через семь лет после смерти Одынца (ум. 1885), а вовсе не в то время, когда Одынец обрабатывал к печати свои «Письма».

На подобных же недоразумениях основаны и некоторые другие разоблачения Одынца, сделанные Г. Жичиньским.¹⁰

2

Как ни сурова была представленная Г. Жичиньским критика ценности «Писем» Одынца как документального источника, но она мало коснулась его свидетельств относительно «Истории будущего» Мицкевича; единственный аргумент Г. Жичиньского против достоверности этих свидетельств (предполагаемое заимствование Одынцем мотива из романа Жюль Верна), как мы уже видели, основан на простом и очевидном недоразумении. Следует

¹⁰ Так, Г. Жичиньский (Mickiewicz. . . , s. 12) ссылается, например, на Одынца, приписавшего Мицкевичу следующие слова: «Некий физиолог утверждает, что мозг ребенка, прежде чем превратиться в мозг человека, по очереди похож на мозг рыбы, птицы и зверя», и утверждавшего, что в дальнейшем поэт хотел «доказать, что ощущал себя по очереди в состоянии рыбы, животного и т. д.»; по мнению Г. Жичиньского, это свидетельство также относится к числу тех «выдумок» (nierozsuttalne brednie), которыми столь изобилуют «Письма» Одынца, он даже упрекает проф. Калленбаха за то, что тот доверчиво отнесся к этому показанию, утверждая, что «wuzpanie te są nieosensownej wartości dla psychografa poety»; на самом деле будто бы Одынец не случайно не назвал имени этого «некоего физиолога», а потому, что он имел в виду. . . Эрнеста Геккеля и его книгу «Natürliche Schöpfungsgeschichte», появившуюся в 1868 г., т. е. как раз в то время, когда Одынец «начал компоновать» свои «Listy z podróży!» Это обвинение безусловно несправедливо. Как известно, и до Э. Геккеля и до Ч. Дарвина эволюционная теория имела многочисленных предшественников в Западной Европе (Жамарк, Жоффруа де Сент-Илер и др.) и в России. Укажем, в частности, что в годы жизни Мицкевича в Петербурге здесь жил и работал, имея большую медицинскую практику, Я. К. Кайдаков (1779—1855), младший брат историка, автор вышедшей в Петербурге еще в 1813 г. замечательной для своего времени работы «Четвертичность жизни» («Tetractys vitae»); в этой книге он отчетливо формулировал мысль, близкую к той, которую со слов Мицкевича приводит Одынец. Я. К. Кайдаков писал об историческом развитии организмов и о генетической связи высших организмов с низшими; он утверждал, в частности, что психика человека есть продукт развития, что элементарные формы психики, отмечаемые им у животных и даже у растений, связаны с высшими проявлениями человеческого сознания; эти проявления психики на разных ступенях развития образуют как бы непрерывный повышающийся ряд, причем высшие ступени происходят от низших (Райков Б. Е. Очерки из истории эволюционной идеи в России до Ч. Дарвина. М., 1947, т. 1, с. 164—167). В идеях Я. К. Кайдакова усматривают аналогию к мысли «о закономерных отношениях между онтогенезисом и филогенезисом, которая вылилась в форму биогенетического закона, сформулированного в 1866 году Геккелем» и заключающегося в том, что «ряд форм, через которые проходит организм в своем индивидуальном развитии, является как бы кратким повторением форм, через которые прошел данный организм в своем историческом, видовом развитии, начиная с древнейших времен» (там же, с. 169).

в связи с этим подчеркнуть, что и доводы С. Жичиньского в целом не были безоговорочно приняты исследователями Мицкевича. Так, например, Ю. Клейнер и после работы Г. Жичиньского продолжал считать, что «Письма» Одынца, несмотря на вольное обращение их автора с фактами, все же сохраняют свое значение, что биографы великого польского поэта не должны вовсе пренебрегать ими и что Одынец, в частности, никогда не приписывал Мицкевичу таких произведений, которых тот не писал.¹¹ Ю. Клейнер считал также довольно правдоподобным все то, что Одынец рассказал о не дошедшей до нас «петербургской рукописи „Истории будущего“ Мицкевича», и пытался даже установить кое-какие вероятные литературные источники этого неосуществленного произведения. Если Ю. Калленбах и Ст. Пигонь предполагали возможность воздействий на «Историю будущего» Мицкевича мрачных «байроновских» фантазий Олешкевича,¹² то Ю. Клейнер, со своей стороны, обращал внимание на воспоминания А. И. Дельвига, утверждавшего, что Мицкевич, живя в Петербурге, неоднократно избирал в своих импровизациях сюжеты «в роде фантастических повестей Гофмана».¹³

С нашей точки зрения, однако, все эти сопоставления мало что объясняют в замысле Мицкевича. Как видно из пересказа его Одынцем, Мицкевич едва ли мог вдохновиться пессимистическими прогнозами Олешкевича о гибели цивилизации на земле, да и «фантастика» Э. Т. А. Гофмана была ему достаточно чужда. То, что особенно поразило Одынца в рассказе Мицкевича, связано было прежде всего с грезившейся поэту перспективой грядущего технического прогресса и с той поэтической формой, в которую Мицкевич собирался облечь свое произведение. С нашей точки зрения, это основное впечатление Одынца от читанной им рукописи Мицкевича придает особую правдоподобность всему рассказу, так как мы в настоящее время достаточно ясно можем представить себе атмосферу, в которой могла зародиться эта поэтическая фантазия.

¹¹ *Kleiner Juliusz. Mickiewicz, t. 2, cz. 1, s. 51—52.* — Характерно, что в том же интересующем нас петербургском письме Одынца есть и такие данные, достоверность которых никогда не вызвала никаких сомнений и которые обычно приводятся всеми исследователями русских отношений Мицкевича; таков, например, приводимый Одынцем отзыв Мицкевича о поэте И. И. Козлове, подтверждаемый и другими источниками (ср.: *Данилов Н. М. Иван Иванович Козлов. Опыт пересмотра материалов для его биографии.* — ИОРЯС, 1914, т. 19, кн. 2, с. 201—202). Русские биографы А. Э. Одынца вообще энергично подчеркивали близость его к Мицкевичу и пирокую осведомленность его во всех делах и творческих замыслах его великого друга (*Городецкий М. И. А. Э. Одынец.* — *Ист. вестн.*, 1885, т. 19, март, с. 655—658; *Корвин-Кучинский И. И.* *Из моего прошлого.* — Там же, 1903, окт., с. 131—132, 138, 145 и др.).

¹² *Pigoń Stanisław. O Mickiewiczowej Historji.* — *Przegląd współczesny*, 1931, Nr. 114, s. 31. — Он вслед за Калленбахом говорит о произведении Олешкевича *L'Automne du monde et de l'humanité*, которое могло быть известно Мицкевичу.

¹³ *Kleiner Juliusz. Mickiewicz, t. 2, cz. 1, s. 52; Дельвиг А. И.* *Моя воспоминания.* М., 1912. т. 2, с. 74.

В работе «Пушкин и наука его времени» я уже попытался представить картину широкого развития в России в 20—30-е гг. XIX в. экспериментальных и технических наук, не оставшихся без воздействия и на русскую художественную литературу того времени. Это была пора, когда выдающиеся научные открытия и технические изобретения в России, подлинное значение которых определилось лишь значительно позже, следовали одно за другим, привлекая к себе внимание и любопытство широких общественных кругов. Для того чтобы развернуть в своей «Истории будущего» поэтические картины грядущих технических усовершенствований, Мицкевичу нужно было лишь внимательно приглядеться к тому, что увлеченно обсуждалось тогда и в русской печати, например в хорошо известном ему «Московском телеграфе».

«Усовершенствование механических производств в наше время приводит в изумление, и если бы теория не доказывалась опытом, можно было даже не верить, что пишут о новейших изобретениях механиков», — писали, например, в этом журнале еще в 1825 г.¹⁴ и подтверждали это известиями о «подземной дороге, которая будет прокопана под Темзою», об учреждении железнодорожного сообщения («первых карет») между Лондоном и Эдинбургом и т. д. В 1828 или 1829 г., т. е. как раз в то время, когда, по свидетельству Одышца, у Мицкевича складывался замысел его «Истории будущего», он должен был услышать об открытии знакомцем своим в Петербурге П. Л. Шиллингом электромагнитного телеграфа, о чем много говорили тогда в столице,¹⁵ об успешных работах по изобретению электрического света и электродвигателей и т. д. Рассказы обо всех этих усовершенствованиях были тогда у всех на устах. Мне уже приходилось отмечать прямую аналогию между «чудесами техники», описанными Мицкевичем в его произведении, и XXXIII строфой седьмой главы «Евгения Онегина» Пушкина, в такой же мере проникнутой верой в дерзновенные искания и неисчерпаемые возможности изобретательской мысли, в действительность человеческого труда по овладению силами природы и победе над ними, в благодетельность технического прогресса вообще.¹⁶ Рисую картину будущего, Пушкин писал здесь:

Мосты чугуиные чрез воды
Шагнут широкою дугой,
Раздвинем горы, под водой
Пророем дерзостные своды. . .

¹⁴ Моск. телеграф, 1825, № 1, с. 100.

¹⁵ Алексеев М. П. Пушкин. Сравнительно-исторические исследования. Л., 1972, с. 74. — По свидетельству П. А. Вяземского, он вместе с Мицкевичем, Пушкиным и П. Л. Шиллингом в конце мая 1828 г. ездил из Петербурга в Кронштадт (Сборник старинных бумаг, хранящихся в музее П. И. Щукина. М., 1902, ч. 10, с. 411; Рус. архив, 1905, кн. 1, с. 330). К сожалению, мы не располагаем подробными данными о других встречах Мицкевича с Шиллингом, но последний мог быть одним из вдохновителей технической утопии Мицкевича, как выдающийся изобретатель, находившийся в близких отношениях со всеми петербургскими литераторами.

¹⁶ Алексеев М. П. Пушкин, с. 127—128.

— и, как известно, интересовался злободневным в то время вопросом об устройстве в России железных дорог. Если Мицкевич, по свидетельству Одынца, писал, что «вся земля покроется сетью железных дорог», и «предсказывал их огромное будущее, утверждая, что они изменят лицо мира», то он исходил из тех же предпосылок, что и Пушкин, вдохновляясь теми же рассуждениями и перспективами, какие широко обсуждала русская печать тех лет.¹⁷ Грядущие воздухоплавания в такой же мере занимали тогда русскую журналистику.¹⁸

У нас есть и еще одна возможность подтвердить достоверность сообщенных Одынцом сведений об этом замысле Мицкевича. Одна из особенностей русской утопической мысли 20—30-х гг. заключалась, между прочим, в ее тяготении к картинам грядущего технического прогресса;¹⁹ кроме того, существенно, что Мицкевич лично знал едва ли не всех тех русских писателей, которые являлись авторами подобных утопических произведений.

В 1824 г. Ф. Булгарин напечатал в «Литературных листках» свою утопическую повесть «Правдоподобные небылицы или странствование по свету в двадцать девятом веке»,²⁰ несомненно известную Мицкевичу,²¹ в которой он, по собственным словам, вознамерился «перешагнуть на 1000 лет вперед и посмотреть, что делают наши потомки». Действие повести происходит в Сибири в 2824 г.; для нас интерес этого в высшей степени заурядного произведения заключается только в том значении, какое автор придал в нем проблеме будущего технического прогресса; в представлении Булгарина, социальное лицо мира не изменится и через тысячелетие, но техника разовьется необычайно. Он полагает, что «древние превосходили нас в нравственном отношении», но

¹⁷ *Виргинский В. С.* Железнодорожный вопрос в России до 1835 г. — Ист. записки, М., 1948, т. 25, с. 140—141.

¹⁸ «Воздушные путешествия входят у нас в моду», — писал С. П. Жихарев в своем Дневнике студента еще в 1805 г. (*Жихарев С. П.* Записки современника/Ред., статья и коммент. В. М. Эйхенбаума. М.; Л., 1955, с. 96), и эта мода еще больше укоренилась у нас к 20-м гг., что подтверждает, в частности, статья И. Киреевского «Опыт критической теории воздухоплавания» (Москвалянич, 1855, т. 4, № 15 и 16, авг., кн. 1 и 2). Рассказ о полете на воздушном шаре в лунные пределы см. в фантастическо-сатирической повести В. К. Кюхельбекера «Земля безглавцев», напечатанной в альманахе «Мнемона» (1824, ч. 11).

¹⁹ *Светловский В. А.* Русский утопический роман. Пб., 1922; *Cyżewskij D.* Die ältesten russischen technischen Utopien. — Z. für slavische Philologie, 1956, т. 25, S. 322—325.

²⁰ Литературные листки, 1824, № 18—20, 23—24.

²¹ На обеде в честь Мицкевича, устроенном Булгариним в Петербурге в 1827 г., Мицкевич по просьбе гостей импровизировал на тему о путешествии на северный полюс капитана Парри (*Gomolicki Leon.* Dziennik pobytu Adama Mickiewicza w Rosji, 1824—1829. Warszawa, 1949, s. 215—217); едва ли тема эта не была избрана в связи с «Правдоподобными небылицами» хозяина, где не только идет речь об этом самом полярном путешественнике, но даже изображается город, названный его именем. О сношениях Мицкевича с Булгариним и Грецем в 1828 г. см. также в заметке Д(убровина) в «Русской старине» (1913, кн. 2, с. 338—351).

зато «как далеко мы шагнули вперед в науках физических! В последнее столетие сделано больше открытий, нежели в первую тысячу лет. В наше время созданы химия, физиология, физика, механика, медицина, открыто электричество, магнетизм, исследованы газы и проч. Все это со временем завлечет нас далеко на поприще открытий и усовершенствований. Теперь каждый номер газеты объявляет что-нибудь новое по части наук». Поэтому он противопоставляет свои вымыслы фантазиям более ранних утопистов — Мерсье, Фосса, «которые поместили в своих сочинениях много невероятностей, вопреки законам природы»; «я, напротив того, основываясь на начальных открытиях в науках, предполагаю в будущем одно правдоподобное, хотя в наше время несбыточное». У Фосса, например, «воздушные шары управляются запряженными в них орлами. Мне показалось это совершенно невозможным, и я выдумал крылья и паровую машину». В повести Булгарина описаны «воздушные дилижансы», чугунные дома, снабженные особыми рычагами для подъема тяжестей, «купеческие магазины», повозки, двигающиеся по рельсам без лошадей, «светородный газ», освещающий и согревающий дома и улицы, и т. д.

Мысль о создании утопической повести тогда же увлекала и В. Ф. Одоевского, также близко знакомого с Мицкевичем.²² Еще в 1828 г. под псевдонимом «Каллидор» В. Ф. Одоевский поместил в «Московском вестнике» свою повесть «Два дня в жизни земного шара», в которой можно увидеть ранний вариант замысла более развитого утопического произведения, к написанию которого Одоевский приступил десятилетие спустя и отрывок которого увидел свет в «Утренней заре на 1840 год» И. В. Владиславлева под заглавием «4338 год. Петербургское письмо».²³ Это последнее произведение, оставшееся неоконченным, в некоторых отношениях также родственно «Истории будущего» Мицкевича, так как оно одушевлено той же мыслью о поразительных достижениях техники, полностью преобразующей быт. Одоевский рассказывает в своей повести, что об езде на лошадях в 44 в. останутся лишь смутные воспоминания, потому что люди будут пользоваться другими, более совершенными способами передвижения: электроходами и летающими приборами — «гальваностатами» («воздушными шарами, приводимыми в движение гальванизмом»). Жиллица будут верхом роскоши и комфорта: с хрустальными крышами, с внутренними садами, засаженными редкими растениями

²² *Gomolicki L. Dziennik pobytu Adama Mickiewicza w Rosji, s. 229, 231.*

²³ *Сакулин П. Н. Из истории русского идеализма. Кн. В. Ф. Одоевский. М., 1913, т. 1, ч. 2, с. 181—183.* — Хотя отрывок из этой повести был напечатан также в «Московском наблюдателе» (1835), а ее более полный вариант написан в конце 30-х гг., но в бумагах Одоевского сохранились ранние редакции начальных глав, а замысел ее относится к еще более раннему времени. См. о повести Одоевского также: *Сакулин П. Русская Икарія. — Современник, 1912, № 12, с. 193—206; 4338 год. Петербургские письма / Ред. и вступит. статья О. Цеховниера. М., 1926.* . . . в его же издании «Романтические повести» В. Ф. Одоевского (Л., 1928).

и освещенными «прекрасно сделанным электрическим снарядом в виде солнца», который химически действует на деревья и кустарники; к услугам людей будут «магнетические телеграфы, посредством которых живущие на далеком расстоянии разговаривают друг с другом», цветная фотография, одежды из «эластического стекла» и т. д. Интересно, что в этой утопии Одоевского идет речь о двух странах, которые станут центрами «всемирного просвещения», — России и Китае и что он выступает здесь апологетом культурного просветительства и самой широкой популяризации науки среди народа.

Таким образом, Одынцу в конце его жизни вовсе не требовалось обращаться к романам Жюль Верна, чтобы с их помощью «сочинить» от имени Мицкевича фантастическую повесть, полную описаний завлекательных технических новинок будущего. В Петербурге в конце 20-х гг. о подобных предметах говорили часто и рассказывали о них в произведениях, по своему типу приближающихся именно к научно-фантастическим романам. Замысел Мицкевича мог опираться на них, созревая в атмосфере всеобщего внимания к этой проблеме будущего.

«История будущего» Мицкевича, как она изложена Одынцом и как она нам известна по дошедшим до нас фрагментам, однако, гораздо шире проблемы технического прогресса и только частично может относиться к разряду «технических утопий». Ее идейный смысл остается еще в значительной степени загадочным и нуждается в дальнейшем изучении. Мы вовсе не хотим возвести ее замысел всецело к русским источникам, тем более что и русская утопическая мысль в эти годы еще не развернулась.²⁴ Характерно, однако, что именно в русских источниках мы можем найти косвенное подтверждение интереса Мицкевича к утопическому жанру, к проблемам будущего, проявлявшегося у него в последние годы его жизни в России. В своих известных стихах о Мицкевиче Пушкин писал в 1834 г.:

. нередко
Он говорил о временах грядущих,
Когда народы, распри позабыв,
В великую семью соединятся.
Мы жадно слушали поэта.

Нельзя ли эти строки истолковать как конкретное указание на беседы Мицкевича в кругу его русских друзей на темы о социально-утопических доктринах? Л. П. Гроссман именно в этих стихах Пушкина усмотрел его сочувствие к идеям Сен-Симона и его последователей.²⁵ Не следует ли, однако, пойти еще дальше и

²⁴ Отметим, что Мицкевич был знаком с автором ранней декабристской утопии «Сон» (1819) А. Д. Улыбышевым, членом Союза благоденствия и приятелем Пушкина (*Podhorski Okolbiv Leonard. Realia Mickiewiczowskie. Warszawa, 1955, s. 218—221*). Ср.: *Невнина М. В. Декабристская утопия. — В кн.: Из истории социально-политических идей. М., 1955, с. 376—384.*

²⁵ *Гроссман Л. П. Пушкин и сен-симонизм. — Красная повесть, 1936, № 6, с. 167.*

предположить, что Пушкину был известен и замысел «Истории будущего» Мицкевича? Чрезвычайно знаменательно в связи с этим, что и Мицкевич в своем некрологе Пушкина, как известно, задавался вопросом, куда направлены были его сокровенные помыслы в последние годы его жизни — и не размышлял ли он над идеями Сен-Симона или Фурье.²⁶

Из приведенных сопоставлений с несомненностью явствует, что замысел утопии Мицкевича многими корнями связан с его пребыванием в России и что свидетельство Одынца о существовании петербургской рукописи «Истории будущего» Мицкевича имеет все признаки достоверности.

²⁶ Ср.: *Сакулин П.* Русская литература и социализм. М., 1924, т. 1, с. 435—436.

НЕМЕЦКАЯ ПОЭМА О ДЕКАБРИСТАХ

Восстание декабристов глухо отозвалось в западноевропейской печати. Фактическая история процесса, которой постарались не придавать слишком широкой огласки, не вызвала к себе почти никакого интереса, еще менее сочувствия. Оно обнаружилось много позднее, под влиянием тех недостоверных поэтических преданий, вымыслов и легенд, которые сложились вокруг разговоров о судьбе некоторых его героев. Несколько таких рассказов дали сюжет поэтам и романистам. Среди них лучше других известна поэма А. де Виньи «Wanda. Histoire russe», переведенная и на русский язык, содержанием которой служит история кн. Е. П. Трубецкой, навеянная, вероятно, рассказом маркиза Кюстина и книгой Н. Тургенева,¹ да роман Дюма «Le maître d'armes», где изложена история П. Анненковой.² Если в первом случае внимание поэта сосредоточилось на личности женщины, героический образ которой подсказан был уже традиционными изображениями романтизма, то интерес Дюма к истории его соотечественницы, Полины Гёбль, в замужестве Анненковой, объяснен был не столько ее косвенной причастности к громкому политическому делу, сколько той удивительной канве ее жизни, рассказ о которой он сам услышал от нее в Нижнем Новгороде и события которой сами складывались в главы авантюрного романа: не вполне удовлетворенный Дюма прибавил к ним от себя несколько новых. Но ни в том, ни в другом случае его не интересовала политическая, общественная сторона дела: этому препятствовали слабая осведомленность в вопросах русской общественной и политической жизни и недостаточное знакомство с историей декабрьского восстания, подробности которого были скоро забыты, а историческое значение которого было понято много позднее. В этом смысле гораздо интереснее более ранняя поэма Шамиссо о Рылееве и Бестужеве («Die Verbannten», 1831), написанная в рылеевских тонах, в подражание поэме «Войнаровский», воль-

¹ «Ванда» / Пер. Е. Волчанецкой, с предисл. С. С. Розанова. — Голос минувшего, 1913, № 12, с. 214—224. — Еще не поставлен вопрос о возможном влиянии на А. де Виньи поэмы Ю. Словацкого «Ангелли» (1839), где также есть рассказ о Трубецкой в ссылке.

² Д. К. Петров (Россия и Николай I в стихотворениях Эспронседы и Россетти. СПб., 1909, с. 83—84) ошибочно предполагает, что роман Дюма передает историю В. П. Ивашева и его жены, урожденной К. П. Ле-Даянто: сам Дюма указал, что в его романе изображена история Анненковой. В своей книге «Путевые впечатления. Кавказ» он пишет: «Я много говорил <...> в Нижнем Новгороде с Анненковым и его женой, героями моего романа „Учитель фехтования“» (Dumas A. Impressions de voyage. Le Caucase. Paris, 1889, t. 1, p. 288). Сама Анненкова была недовольна воспроизведением своей автобиографии у Дюма: «...если я вхожу в такие подробности моего детства и первой молодости», — пишет она в своих «Записках», — «это для того, чтобы разъяснить разные недоразумения насчет моего происхождения и тем прекратить толки людей, не знавших правды, которую по отношению ко мне в моей жизни часто искажали, как напр. Александр Дюма в своей книге „Mémoires d'un maître d'armes“, в которой он говорит обо мне и в которой не больше истины, чем вымысла» (Записки П. Е. Анненковой. СПб., б. г., с. 29—31).

ный пересказ которой и составляет ее первую часть. Поэма эта написана с обычной для Шамиссо общественной страстностью и возбуждением, которые и характеризуют его как лирика, позволяя считать его в числе предшественников поэтов кружка «молодой Германии». Гражданская настроенность его музы определила и выбор сюжета, и сочувствие к изгнаннику-декабристу, о котором рассказывает поэма; на долю этого же настроения нужно отнести и те смелые политические предсказания и призывы, которые Шамиссо вкладывает в уста своему герою; в конечном счете вся поэма является прославлением мятежа и революционной страсти, которая не гаснет в сердце изгнанника и не остывает в ледяных просторах сибирской пустыни. История происхождения поэмы очень своеобразна, но мало известна; в русской литературе о ней кратко упоминает лишь В. Маслов в книге о Рылееве.³

Адалберт Шамиссо де Бонкур принадлежит к числу крупных деятелей немецкого романтизма. В нем интересно сочетание склонностей ученого и поэта: и на том и на другом поприще он создал себе крупное имя. Как естествоиспытатель он достиг большой известности рядом работ по ботанике и минералогии, в качестве натуралиста совершил кругосветное путешествие в русской экспедиции под начальством капитана Коцебу. Отсюда и интерес его к России, которую он позднее посетил (1834). Его ученые труды не отвлекали его от поэтических занятий; быть может, однако, своей исключительной осведомленностью в мировой литературе он был обязан своим навыкам ученого; большинство его лирических произведений написано на заимствованный сюжет и поэтически перерабатывает греческий роман и римскую легенду, французское фавль и народную песню. Замечательная эрудиция Шамиссо, которая доставляла ему материал для самостоятельных переработок и пересозданий, не ослабила его личного поэтического своеобразия; это роднит его с Жуковским, который охотно переводил Шамиссо, тонко передавая сложную ритмическую структуру и звуковую изобразительность его стиха. Мировую известность Шамиссо создал себе романом «Петер Шлемль», полным автобиографических признаний и загадочного символизма; переведенный на все европейские языки, в том числе и на русский (1841), роман вызвал целую литературу комментариев и толкований. «Изгнанники» не являются единственным произведением Шамиссо на русский сюжет: к тому же 1832 г., в котором поэма увидела свет в «Альманахе муз», относится еще стихотворный перевод сказки о «Шемакином суде» («Das Urteil des Schemjaka», Volksmärchen), источник которого следует искать в одном из немецких переводов этого сказания, сделанных в первой четверти XIX в.;⁴ к 1838 г. относится его перевод пушкинской баллады «Два ворона», вызвавший продолжительную жур-

³ Маслов В. И. Литературная деятельность К. Ф. Рылеева. Киев, 1912, с. 320—321.

⁴ Представляется возможным и более точно определить источник переработки Шамиссо. Академик М. И. Сухомлинов («Повесть о суде Шемаки». —

нальную полемику, историю которой следовало бы внести в биографию пушкинского стихотворения.⁵

Поэма Шамиссо «Die Verbannten» была напечатана впервые в редактировавшемся Шамиссо «Альманахе муз» на 1832 г.; отсюда она перепечатывалась много раз и входит во все полные собрания его сочинений. Источником поэмы был рассказ доктора Эрмана о встрече с Бестужевым в Якутске.

В конце 20-х гг. был предпринят ряд ученых экспедиций в Сибирь. В 1828 г. в Сибирь ездил для магнитных наблюдений шведский астроном Ганстен; к нему присоединился норвежский лейтенант Дуэ, а также и другой, впоследствии очень известный ученый — Георг-Адольф Эрман (1806—1877), который вместе с ним проехал до Иркутска, а затем сделал отдельное путешествие по северу Сибири от Нижней Оби до Охотска, Камчатки и русско-американских владений, законченное кругосветным плаванием. Целью Эрмана было также изучение земного магнетизма под различными долготами и широтами; сделанные наблюдения представляли высокий научный интерес: на основании его данных Гаусс составил свою теорию земного магнетизма. Кроме специального труда, он оставил описание своего путеше-

Прил. к 22 тому Записок имп. Акад. наук, 1872, № 2, с. 3—5) указывает несколько немецких переводов «Суда Шемьяки», не упоминая, впрочем, о стихотворении Шамиссо. Уже в альманахе на 1808 г., изданном Гейдеке в Риге (*Lappus oder Russische Papiere/Hrsg. von Probst Heidecke. Riga, 1808, N. 1, S. 147—151*), появилось описание лубочной картинки «*Etto Schemjakin Sud*» (*Ein russisches Sprichwort*), которое дало возможность иностранным любителям народной словесности ознакомиться с замечательной русской сказкой; описание это было замечено, и ученые пользовались им вплоть до Бенфея; однако к тексту Шамиссо гораздо ближе немецкий перевод «Шемьякина суда», изданный Дитрихом, получившим оригинал от И. М. Снегирева: *Russische Volksmärchen in den urschriften gesamm. und ins Deutsche übers. von Anton Dietrich. Leipzig, 1831, S. 187—191* («*Das Urteil des Schemjaka*»). Этим изданием, вероятно, пользовался и Шамиссо; за это говорит и хронологическая близость издания Дитриха к переработки Шамиссо, одинаковая транскрипция заглавия и подзаголовка, называющего «Шемьякин суд» сказкой, а не *Sprichwort*, как у Гейдеке, и, наконец, сходство перевода и переработки. Прозаическую передачу перевода Шамиссо заменил стихотворной, а повествование оживил рядом диалогов. Ср. отзыв о форме переделки Шамиссо в письме М. А. Дмитриева к Ф. Б. Миллеру (Рус. старина, 1889, т. 10, с. 210).

⁵ Ю. Г. Оксман в своей работе о пушкинской балладе (Сюжеты Пушкина. Сб. памяти С. А. Венгерова. СПб., 1923, с. 27—34) указывает, что ее источником был французский перевод баллады Вальтера Скотта «*The tva corbies*» в сборнике «*Minstrelsy of the Scottish Border*» (1803, 3, p. 239). В книге Н. Tardel «*Studien zur Lirik Schamisso's*» (Bremen, 1902, S. 21) для пушкинской баллады назван английский первоисточник, однако сделана ссылка на издание 1802 г. (2, 205). Любопытно, что баллада Вальтера Скотта пользовалась замечательной популярностью и в немецкой литературе; Н. Tardel указывает на 7 ее немецких переводов, из которых 5 были сделаны до 1826 г.; еще в 1832 г. для оперы I. Bredal'я «*Bruden fra Lamermoor*» Андерсен сделал ее стихотворное переложение («*Scotsk Ballade*»); но характерно, что Шамиссо обратился к пушкинской балладе, прозаический перевод которой доставил ему Фарнгаген фон Энзе. Перевод Шамиссо вызвал продолжительную полемику между ним и Гоффманом фон Фаллерслебеном, в которой немало места уделено было и Пушкину. Подробности ее изложены у Tardel'я (S. 22).

ствия.⁶ С 1832 г. он был приват-доцентом, с 1834 г. — профессором по кафедре физики в Берлинском университете.

В начале 1829 г. Эрман посетил Якутск, где в это время находился в ссылке А. А. Бестужев-Марлинский. Бестужев скучал, занимался «плотно германизмом», изучал гетевского «Фауста» в подлиннике, писал стихи, интересовался преданиями и нравами якутов; неожиданная встреча с Эрманом была большим событием его якутской жизни, и он также занялся магнитными исследованиями. В письме к братьям из Якутска от 10 апреля 1829 г. Бестужев набрасывал целую теорию об этом явлении и, между прочим, писал: «... один молодой пруссак посещал с этой целью несколько северных стран и находится теперь на Камчатке. Он доктор философии и человек с большими способностями и образованием. Якуты приняли его за чародея и уверяют, что он пришел сюда ловить звезду, скрывающуюся с небосклона Европы. Они не в состоянии постичь того, как можно добровольно и без умысла просиживать ночи напролет в созерцании звезд. Глушцы!».⁷ Как правильно уже предположил М. И. Семевский, это место письма относится именно к Адольфу Эрману. Уже с Кавказа Бестужев послал Эрману французское письмо, спустя два года напечатанное в «Московском телеграфе»,⁸ потом вошедшее в собрание его сочинений, с таким пояснением: «Доктор Эрман, прусский подданный, молодой человек, известный своею ученостью в мире точных наук, путешествовал по Сибири для наблюдения над силою (*intensité*) магнетизма земли, что входило в общий план путешествий знаменитого Гумбольдта, норвежского профессора Ганстена и лейтенанта Дуэ». «Красавицы богоспасаемого города Якутска, — писал Бестужев в этом письме, — очень на вас сердились, что вы уехали отсюда перед самым Светлым Воскресением, в которое могли бы их облобызать на обе щеки, без всякого зазрения совести. Хороши вы, г-да путешественники! Все ваши связи сотканы из паутины. Между тем, как новые друзья обоего пола, с слезами на глазах, провожают вас в дорогу, вы молодецки прыгаете на коня, посылаете им поцелуй рукой, закуриваете трубку, может быть, розовой бумажкой, и кричите: пошел! Поминки о встречах бывают только

⁶ Пыпин А. Н. История русской этнографии. СПб., 1892, т. 4, с. 285; Николаев В. И. Якутский край и его исследователи. Якутск, 1913, выш. 1; *Etmann A. dörph. Reise um die Erde durch Nord-Asien und die beiden Ozeane in den Jahren 1828, 1829 und 1830.* Berlin, 1833—1848. — Книга эта была переведена на английский язык.

⁷ Семевский М. И. А. А. Бестужев в Якутске 1827—1829 гг. — Рус. вестн., 1870, т. 87, с. 255—256. См. также: Кубалов В. Декабристы в Якутской области (Сб. трудов профессоров и преподавателей Гос. Иркут. ун-та. Иркутск, 1921, вып. 2).

⁸ Письмо к доктору Эрману. — Моск. телеграф, 1831, окт., № 17, с. 37 след. — Цитирую по перепечатке во «Втором полном собрании сочинений А. Марлинского» (СПб., 1847, т. 1, ч. 3, с. 139—162). Это письмо — не первое, посланное Бестужевым Эрману. Бестужев упоминает (с. 144) о письме ему метеорологической таблицы. Однако письма Бестужева к Эрману не дошли по назначению, и о существовании их Эрман узнал много позже.

тогда, когда придется переписывать на́-бело напутный журнал. Но вы уехали: вам же хуже. Вместо того, чтоб влачиться по дурному зимнику на быках, на оленях, на собаках, бог знает на чем, весной вы бы в десять дней промчались до Охотска на конях, и все еще успели бы туда ранее прихода камчатских судов. Вслед за вами уехал лейтенант Дуэ в Оленск, для психологического исследования о прихотях магнитной стрелки, и я остался один одинехонек: скучать по утрам, созерцая на стеклах якутскую морозную флору, зевать по вечерам, переципывая Гете, да набожно поглядывать на барометр, по вашему завету три раза в день». Судя по этому письму, между Бестужевым и Эрманом установилась довольно тесная дружба; они понимали друг друга и нашли материал для бесед; Бестужев сделал ему метеорологическую таблицу для сравнения высоты мест и сам увлекся магнетическими исследованиями, которые заняли его досуг; они вместе проводили время в прогулках, за книгами, в рассказах и спорах. Бестужев оставил у Эрмана самые приятные воспоминания; о встрече с ним в Якутске он сам рассказал в своем «путешествии». «Однажды вечером, — рассказывает Эрман, — когда в присутствии многих якутов я производил мои астрономические наблюдения, меня в темноте поразили французские слова и вопрос одного человека, который спросил меня, пожелаю ли я повидать его, хотя он и зовется Бестужевым? Я рассеял его сомнение, ответив ему казацкой поговоркой «гора с горой не сходится, а человек с человеком», и затем в моем одиноком жилище я имел возможность насладиться очень занимательным разговором. В человеке, который звуками цепей и в тюрьме был пробужден ото сна свободы, который затем, ожидая позорной смерти, как благоденствие принял изгнание, — в таком человеке я мог бы встретить известную черствость или стоическое равнодушие. Здесь же был предо мной человек, который в чертах лица, словах и фигуре сохранил всю свежесть юности и блеск благородного таланта. Он признался мне, что веселость настроения в нем всегда против его воли зарождается заново; что тяжесть прошлого и безнадежность будущего должна была бы естественно давить его, но что в нем все-таки достаточно любви к настоящему и смелости, чтобы им пользоваться».⁹ Далее Эрман рассказывает историю декабрьского восстания: она изложена, конечно, со слов Бестужева, потому что особенно касается участия в восстании его самого; здесь, между прочим, описано и несколько эпизодов, которые могли быть известны Эрману только из устного рассказа. Но, передавая Эрману личные воспоминания о памятном дне 14 декабря, Бестужев невольно или нарочно изобразил свою роль и значение в деле подготовки и осуществления восстания в преувеличенном свете;

⁹ *Ermann Adolph. Reise um die Erde, S. 275.* — Не имея под руками этого издания, я цитирую русский перевод по книге Н. Котляревского «Декабристы. . .» (СПб., 1907, с 158—161).

получилась определенная картина, которую Эрман передает так: «Александр Бестужев вступил в круг заговорщиков задолго до взрыва революции. Убежденный в даровитости русского народа, он принадлежал к числу тех, которые хотели сразу пробудить его из крепостного рабства к жизни законной и свободной (. . .) бурными речами, какие подсказало ему мгновение, Бестужев воспламенил сердца солдат. Никто из офицеров полка не изменил своей присяге, и все-таки 5 рот солдат захватили в арсенале полка ружья и патроны. Они двинулись в строю, с развевающимися знаменами к площади Исаакия, и во главе их шел только один их оратор Бестужев, который нашел для них чисто русские слова. А между тем почти все видели его в первый раз, и на нем был мундир для них чуждый». Такое чрезмерно личное освещение могло быть вызвано свойством памяти, которая всегда склонна гиперболизировать личные впечатления от напряженного возбуждения и волнений за счет объективных наблюдений над фактами и явлениями; но если такое освещение было преднамеренным, то оно имело в виду, конечно, более сильное участие, которое рассказ мог вызвать у иностранца, случайно встретившего его в сибирской глуши. В таком участии Бестужев особенно нуждался, остро и болезненно переживая изгнание, которое обречало его на бездеятельную и одинокую жизнь. Первые беседы после встречи, которые открывали ему возможность общения и сочувствия, определили интимный характер его признаний, которые никогда в другое время и при другой обстановке не были бы столь искренни и задушевные. Психологически такой момент понятен: автобиографический рассказ дал не только исход личным воспоминаниям, но и смешал их с мечтаниями, чаяниями и вымыслами, правдивость которых не возбудила подозрений; в них верил сам рассказчик. Во всяком случае очень любопытно, что Бестужев в этот раз откровенно говорил о своих политических увлечениях; позднее из понятных соображений он любил умалчивать о них, если долгие годы испытаний не заменили его воззрений и взглядов. Конечно, разговор несколько раз касался и Рылеева, и Бестужев подробно рассказал Эрману трагическую историю своего друга. Воспоминания были еще очень свежи; тесная дружба, связавшая его с Рылеевым, навсегда осталась для него памятной, и здесь, в Якутске, он часто думал о нем. След этого есть в его письмах. Забывая о необходимости осторожности, Бестужев писал братьям 16 июня 1828 г.: «J'ai reçu beaucoup de chausures de Ryleev. En avez vous de même?»¹⁰ Эта фраза неясна; быть может, здесь имеются в виду какие-нибудь рукописи или книги, присланные ему из России. Еще 25 апреля 1829 г., т. е. как раз в эпоху встречи с Эрманом, Бестужев писал матери из Якутска: «Н. М-е (т. е. Наталье Михайловне Рылеевой, вдове поэта) скажите, что я до последней искры памяти не забуду ее ко мне приязни, равно как и дружбы

¹⁰ Рус. востн., 1870, т. 87, с. 234.

ее супруга. Да сохранит бог здоровье ее малютки». ¹¹ Особенно же часто вспоминал Бестужев о поэме Рылеева «Войнаровский», вышедшей в свет в 1825 г. и ему посвященной. ¹² «Войнаровский» писался на его глазах, быть может, с его помощью; строгий к своей поэме, Рылеев воспользовался всем доступным ему этнографическим и историческим материалом. Для первого издания Бестужев написал «Жизнеописание Войнаровского», в котором воспользовался не только печатными источниками, но, может быть, и архивным материалом. ¹³ Когда же судьба забросила его в тот самый Якутск, который когда-то описал Рылеев со всею доступною для него точностью «местного колорита», Бестужев мог своими глазами поверить ту обстановку, которая создавалась в воображении: у него сохранился интерес и к герою поэмы; он не раз спрашивал о нем местных старожилов и искал его могилу. Он писал братьям 16 августа 1828 г.: «... о Войнаровском нашел предания, но не открыл могилы»; ¹⁴ у него мог быть, наконец, и список поэмы Рылеева либо ее первое издание 1825 г.

Встреча Бестужева с Эрманом в Якутске невольно могла ему напомнить один из эпизодов поэмы Рылеева; как известно, в поэме Рылеева описана встреча историка Миллера с Войнаровским, сподвижником Мазепы, сосланным в Якутск на поселение.

В стране той кладной и дубравкой,
В то время жил наш Миллер славной;
В укромном домике, в тиши,
Работал для веков в глуши.
С судьбой боролся своенравной
И жажду утолял души.
Из родины своей далекой
В сей край пустынный завлечен
К познаниям страстию высокой,
Здесь наблюдал природу он.

Случайно встретив ссыльного Войнаровского на охоте, Миллер, приглашенный в его лесную хижину, слушает рассказ того,

Кто брошен в дальние снега
За дело чести и отчизны.

Повествование о своей трагической судьбе Войнаровский не поверял никому, но он охотно рассказывает ученому иноземцу свою жизнь с полной уверенностью в сочувствии:

Ты знать желаешь, добрый странник,
Кто я и как сюда попал?
Так незнакомец продолжал, —
Того до сей поры изгнанник

¹¹ Там же, с. 258—259.

¹² Описание этого издания и перепечатку его текста см.: *Ефремов П. А.* Заметка об издании «Войнаровского». — Рус. старина, 1871, 3, с. 519—524.

¹³ *Маслов В. И.* Литературная деятельность К. Ф. Рылеева, с. 297.

¹⁴ Рус. вестн., 1870, т. 87, с. 240.

Здесь никому не поверял:
 Иных здесь чувств и мнений люди:
 Они не поняли б меня,
 И повесть мрачная моя
 Не взволновала бы их груди.
 Тебе же тайну верю я
 И чувства сердца обнаружу:
 Ты в родине, как должно мужу,
 Наукой просветил себя.
 Ты все поймешь, ты все оценишь.
 И несчастливцу не изменишь. . .

Так и Бестужев поверил ученому иноземцу все свои воспоминания о днях декабрьского мятежа; как Войнаровский поведал Миллеру историю своей дружбы с Мазепой, так и Бестужев рассказал Эрману историю своей дружбы с Рылеевым.

Встреча Бестужева с Эрманом открывала действительно такой параллелизм с рылеевской поэмой, что это не могло остаться незамеченным. Понятно желание Бестужева сохранить историю этой встречи, оставить о ней память; не потому ли в 1831 г. Бестужев напечатал в «Московском телеграфе» свое письмо к Эрману, очень остроумное и живое, но, в сущности, не более интересное, чем все другие его письма из Якутска? В поэме Шамиссо есть, по крайней мере, такие слова, которые ссыльный Бестужев говорит ученому чужестранцу, посетившему Якутск, — конечно Эрману, хотя он и не назван по имени:

Dein Woinarowski sah dich unterliegen,
 O mein Mazepa, und bewahrt dein Wort.
 In seines Herzens Schreine goldgediegen.
 Du andrer Müller stehst am selben Ort
 Um wieder gleiche Bilder zu betrachten
 Die nimm du im Gedächtniss mit dir fort!
 Und wenn die guten Götter heim dich brachten,
 So gieb den Stiff dem Dichter zum Gedicht:
 Er leb' im Lied, den sie zu töten dachten!¹⁵

Не существенно, представляет ли это место поэмы воспроизведение подлинных слов Бестужева, или оно является лишь поэтическим вымыслом Шамиссо. Бестужев мог желать, чтобы история его встречи с Эрманом была прославлена в поэме, но он не рассчитывал, конечно, на то, что его интимный разговор с ученым чужестранцем так скоро вдохновит немецкого поэта. Едва ли он узнал и о самой поэме, которая увидела свет в «Альманахе муз» на 1832 г. Переведенный на Кавказ для выслуги, что открывало для него некоторые надежды на полное прощение, Бестужев должен был забыть о своих политических увлечениях.

Впечатления кавказской жизни, обстановка военных тревог, надежд и опасений скоро отодвинули на второй план воспоминания о якутской жизни, и встреча с Эрманом, которая живо напомнила Бестужеву эпизод рылеевской поэмы, его собственные политические мечты и день восстания, скоро забылась среди по-

¹⁵ Цитирую по изданию: Max Koch'a: Chamisso's gesamm. Werke. Stuttgart, [1883], Bd 2, S. 69—71,

вых встреч и знакомств. В своей кавказской глуши, оторванный от книг и текущей литературы и от живого литературного общения, Бестужев едва ли мог узнать о немецкой поэме, сложенной в его честь; едва ли, впрочем, она была замечена и в столицах; я не нашел упоминания о ней ни в русской периодической печати, что естественно объясняется цензурными условиями, ни в частных письмах.

По возвращении на родину Эрман принялся за обработку материала своих изысканий и за описание своего ученого путешествия. Первый том этого описания вышел в свет в Берлине только в 1833 г. — следовательно, через год после того, как была опубликована поэма Шамиссо. Несомненно, что Шамиссо пользовался рукописью Эрмана, с которым у него была давняя ученая дружба, или, наконец, его устным рассказом.¹⁶

Поэма Шамиссо слагается из двух частей: 1. Woinarowski—1740; 2. Bestoujeff—1829; первая представляет собой сокращенный перевод рылеевской поэмы, что отмечено и в подзаголовке (*Nach dem russischen des Rileieff*), вторая — пересказ воспоминаний Эрмана; обе части носят общее заглавие: «Die Verbannten».

Замысел поэта был определен параллелизмом двух встреч, поэтому-то из поэмы Рылеева, переведенной сильным и звучным стихом, Шамиссо взял лишь описание встречи Войнаровского с Миллером, опустив некоторые подробности и добавив от себя новые; перевод поэмы Рылеева предопределил форму и содержание второй части поэмы, оттого встреча Эрмана с Бестужевым происходит на охоте, в звездную морозную якутскую ночь. Но обе части поэмы Шамиссо настолько тесно связавы между собой, что не могут существовать раздельно; спайкой служат уже первые четыре стиха второго отрывка, которые взяты из первого отрывка и, следовательно, приписаны Шамиссо Рылееву:

Его все-таки унытожит гнев неба,
Ибо бог требует возмездия
И не даст заглухнуть семени греха...

Этих фраз нет в поэме Рылеева, но они есть в переводе Шамиссо, и весь смысл композиции поэмы в том, что этот воображаемый отрывок Рылеева поет Бестужев на охоте в темную якутскую ночь в момент встречи с Эрманом.

Чужестранец поражен словами этой песни и хочет узнать имя певца: «Кто ты, кто наполняет звуками глухую ночь?» — спрашивает он Бестужева. «Кто ты, что меня об этом спрашиваешь? Песнь принадлежит мне, и ты не отучишь меня петь ее», — отвечает Бестужев. «Тебя спрашивал чужестранец, потому что его обрадовали мощные звуки твоей песни. Он не хотел обидеть тебя», — отвечает Эрман. Тогда Бестужев приглашает

¹⁶ К изданию поэмы «Die Verbannten» («Deutsche National-Litteratur» von A. E. Kürschner, Bd 148: Chamisso's Werke, Stuttgart, S. 311—319) приложен и рассказ Эрмана (с. 459—464). Это издание, к сожалению, мне не было доступно в момент написания этой заметки.

его в свою хижину и рассказывает повесть своей жизни. Шамиссо не воспользовался всеми подробностями рассказа Эрмана; опущены все исторические и бытовые указания; перед нами почти отвлеченный образ. Здесь, в помещении своей могилы, рассказывает Бестужев, я, как соловей, каждую ночь пою о своих мечтах. Мне остался только полный звук моего свободного голоса, но я пользуюсь всею радостью моего еще не надломленного мужества, меня не оставляет надежда. Меня учат земля и круговращение звезд; они говорят мне: мы никогда не останавливаемся, посмотри — над нами колесница, она еще летит ввысь, чтобы упасть в глубину на другом краю неба. На пути своем я дошел до обрыва, который преграждает мне дорогу; но я или другие, мы должны взбираться на горные высоты, мечты мои — не пустой обман; близится день народа:

Das wird am Tag der Völker bald sich zeigen;
Denn hält die Wage schwankend sich noch gleich,
So muss die volle Schale doch sich neigen.
Gewürfelt hab ich um ein Kaiserreich;
Noch einmal ist der Kühne Wurf misslungen, —
Er bot die Brust entblösst dem Todesstreich!

И он называет свое имя: я — Бестужев, которого все называли сообщником Рылеева, тот, которому он спел свою предсмертную песнь о Войнаровском, полную призывов и пророческих предсказаний. Он погиб на эшафоте, мне же суждено пережить его в изгнании. Подобно Войнаровскому, я видел смерть моего Мазепы. Ты, как другой Миллер, стоишь на том же месте, чтобы видеть сходные картины; унеси их с собою в памяти и дай поэту сюжет для поэмы. И Бестужев говорит о суде и возмездии, о грядущих днях мятежа и расплаты, а на темном небе якутской ночи взмываются снопы лучей; гаснут звезды, и небо объемлет кровавое сияние, подобное отсветам грехов:

Und aus dem Bogen blut'gen Lichtes schossen
Den Süden wundersame Funkengarben,
Die neigend sich zum Horizont verflossen;
Mit Zitterscheine wechselten die Farben!
Die Sterne wie der Lohe Säulen stiegen,
Verloren ihre Strahlen und erstarben.
Nach Norden starrten beide hin und schwiegen.

Так заканчивается поэма Шамиссо. Интерес ее именно в определенной гражданской настроенности и в тех политических предсказаниях, которые вложены в уста Бестужева. Они не принадлежат ему, как не принадлежит и поэтическая оценка декабрьского восстания, которую следует отнести на счет немецкого поэта, его личных симпатий и взглядов. Шамиссо не изменил своей поэтической манере; рассказ Эрмана дал лишь остов поэме и сообщил не все для той гражданской и поэтической идеализации, в результате которой создан красивый, но исторически неверный образ. Во всяком случае поэма Шамиссо интересна уже тем, что она представляет собой едва ли не первую попытку поэтически осветить образ русского революционера.

АНГЛИЙСКИЕ МЕМУАРЫ О ДЕКАБРИСТАХ

В многочисленных библиографических пособиях по истории движения декабристов материалы на иностранных языках доныне еще не учтены с достаточной тщательностью. Несмотря на то, что ряд подобных источников назван был уже в «Сибирской библиографии» В. И. Межова (СПб., 1891, т. 2, с. 95 и след.), широко привлечен в указателе Н. М. Ченцова (Восстание декабристов. Библиография. М.; Л., 1929), пополнен в книге Р. Г. Эймонтовой (Движение декабристов. Указатель литературы 1928—1959. М., 1960) и других справочных изданиях, существует еще немало иностранных книг и статей о декабристах, не известных исследователям и еще не отмечавшихся в библиографических сводках. Таковы, в частности, довольно многочисленные английские печатные издания.

Еще в 1909 г. Д. К. Петров, напоминая слова Н. И. Тургенева,¹ обратившего внимание на сдержанный тон английской и французской печати в сообщениях о 14 декабря, писал: «Слова Н. И. Тургенева о французских и английских журналах нуждаются в некоторой проверке. Ее можно было бы соединить с работой, в которую вошел бы свод английских, французских и т. п., по преимуществу современных отзывов о декабристах в прозе и в стихах. Стоит заняться вопросом, как в передовых странах Запада оценили кровное русское дело, в чем выразились симпатии к нему или осуждение».² Эта задача, в сущности, до сих пор не решена до конца. На значение английских известий о декабристах указал И. Звавич в статье «Декабристы и английское общественное мнение»³ и в публикации «Дело о выдаче декабриста Н. И. Тургенева английским правительством».⁴ Основным материалом для этих работ послужили газеты и журналы 1826—1827 гг.; частично использована также дипломатическая переписка и бумаги из английского министерства иностранных дел, кстати сказать, и ранее уже обследованные В. Н. Александренко.⁵ И. Звавич воспользовался лишь несколькими печатными источниками: перепиской княгини Ливен с графом Греем, Веллингтона с Каннингом, воспоминаниями Гревилля и дневником Роберта Ли.

В 1824—1826 гг. Р. Ли состоял домашним врачом графа М. С. Воронцова, был знаком с некоторыми членами Южного

¹ La Russie et les Russes. Paris, 1847, t. 1, p. 192.

² Петров Д. К. Россия и Николай I в стихотворениях Эспронседы и Россети. СПб., 1909, с. 81—82, примеч.

³ Печать и революция, 1925, кн. 8, с. 31—52.

⁴ Тайные общества в России в начале XIX ст. М., 1926, с. 88—102.

⁵ Александренко В. Россия и Англия в начале царствования императора Николая I. (По донесениям английского посла лорда Странфорда). — Рус. старина, 1907, № 9, с. 529—536. — В этой статье дается перечень документов о восстании декабристов, хранящихся в Лондонском государственном архиве (с. 530).

общества и приехал в Белую Церковь через несколько недель после выступления С. И. Муравьева-Апостола. Дневник Р. Ли, опубликованный в 1854 г., между прочим рассказывает о восстании Черниговского полка (вероятнее всего, со слов А. Н. Раевского) и содержит в себе хотя и небольшой, но довольно ценный исторический материал.⁶ Из этого примера явствует, что историку декабристов иностранная книга может иногда доставить неожиданные фактические сведения. Следует поэтому подчеркнуть, что даже самое событие 14 декабря на Сенатской площади, не говоря уже об его отзвуках и следствиях, рассказано было английскими очевидцами полнее и подробнее, чем это обычно представляется. Недаром осведомленность английских газет 1826—1827 гг. обо всем, что касалось декабристов, приводила в недоумение и даже несколько тревожила русское правительство. В письме к Каннингу (от 6 марта 1826 г.) Веллингтон сообщал из Петербурга о явном неудовольствии, какое встречало здесь поведение английской печати: «Русское правительство недоумевает, откуда черпают свои сведения английские газеты (в частности, „Morning Post“), и полагает, что дело не обходится без участия какого-либо заграничного агента декабристов, объединяющего их с английскими и французскими тайными обществами».⁷

Несомненно, что англичане, жившие в России, — а в 1825 и последующих годах их находилось немало в Петербурге и Москве⁸ — со вниманием следили за ходом восстания и последующей расправы с декабристами. Все это отражено в довольно многочисленных книгах о России, записках путешественников, документальных публикациях и т. д. Среди них есть также и воспоминания очевидцев.

Заслуживают внимания, например, письма леди Дисбрау, жены британского дипломата сэра Эдуарда Кромуэлла Дисбрау (замещавшего некоторое время английского посла в Петербурге — лорда Странгфорда). Письма леди Дисбрау напечатаны ее дочерью в чрезвычайно редкой книге, изданной в Лондоне в марте 1878 г. не для продажи (*few copies for private*

⁶ Lee R. The last days of Alexander and the first days of Nicholas, Emperors of Russia. London, 1854. — Подробную характеристику и оценку этого источника дал Ю. Г. Оксман в книге «Восстание декабристов. Материалы» (М., 1929, т. 6, с. XXIII—XXIV).

⁷ К этому письму см.: Чернов С. М. Поиски сношений декабристов с Западом. — В кн.: Из эпохи борьбы с царизмом. Киев, 1926. — Дополнительно отметим любопытный документ, опубликованный в заметке «Английский министр Каннинг под надзором русской полиции» (Мицзувшие годы, 1908, окт., с. 198). Речь идет о рапорте великого князя Константина Павловича из Варшавы, в котором отрицается достоверность «показания подполковника Черниговского пехотного полка Муравьева-Апостола», что будто бы «лорд Стратфорд-Каннинг, будучи в Варшаве, имел сношение с членами тайного общества и обещал оным содействие Англии».

⁸ Johnston C. L. The British Colony in Russia. Westminster, s. a., ch. 4.

circulation), под заглавием «Подлинные письма из России 1825—1828 годов».⁹ Лишь некоторые из них в кратких извлечениях были воспроизведены двадцать лет спустя в журнале Англо-русского литературного общества, но без всякого указания на книгу 1878 г.¹⁰

Леди Дисбрау имела широкие связи и знакомства в Петербургском высшем свете середины 20-х гг. Ближе всего, по-видимому, она находилась к семье князя П. М. Волконского; в письмах ее постоянно упоминается его жена, Софья Григорьевна (сестра декабриста С. Г. Волконского, умершего в 1868 г.), дочь Алина (Александра Петровна), с которой Дисбрау состояла в особой, интимной дружбе. Но в письмах упоминаются также и многие другие лица,¹¹ приводятся записи рассказов и слухов, распространявшихся в Петербурге. В одном из документов дается, например, подробное описание 14 декабря по собственным впечатлениям и со слов британского консула в Петербурге — Бейли (Daniel Bayley), который первым принес в великобританское посольство известие о волнениях, начавшихся в городе.

Можно упомянуть также о книге английского пастора Джона Патерсона, совершавшего поездку по северу Европы и России и в декабре 1825 г. как раз находившегося в Петербурге. Мемуары Патерсона, изданные в Лондоне в 1858 г.,¹² заключают в себе довольно подробный рассказ о восстании 14 декабря, сделанный на основании собственных впечатлений. «Я хочу ограничиться только тем, что сам видел и что узнал от моего друга, графа Ливена, который в то время был хорошо осведомлен обо всех обстоятельствах, связанных с памятным событием в ноябре и декабре 1825 г.», — замечает автор. Он сам видел колонны восставших, наблюдал толпы людей на соседних улицах, уже из дома Ливена он слышал два артиллерийских выстрела. Любопытно, что общее число восставших исчислено им «в тысячу, примерно, человек».

Патерсон пытается встать в позу совершенно беспристрастного наблюдателя и уклоняется от оценки того события, свидетелем которого ему случилось быть. В длинном его повествовании, однако, проглядывает порою недоброжелательный холодок в отношении к декабристам, внушенный ему прежде всего пер-

⁹ *Lady Disbrowe*. Original letters from Russia, 1825—1828. London: Print. at the Ladies print. press, 1878. — Экаемшиар, которым я пользовался, хранится в ГПБ.

¹⁰ *Gausson Alice*. Lady Disbrowe's Russian Letters. — Proceedings of the Anglo-Russian Literary Society, [1897], № 17, p. 18—32. — Ср. заметку об этой публикации в «Историческом вестнике» (1897, № 7, с. 295).

¹¹ В письме Дисбрау от 1 (13) авг. 1826 г. дается, например, интересное описание вечера, проведенного ею в салоне княгини Зинаиды Волконской (*Lady Disbrowe*. Original letters from Russia. . . , p. 78—85).

¹² *The Book for every Land*. Reminiscences of Labour and Adventure in the Work of Bible Circulation in the North of Europe and in Russia by the late John Paterson. London, 1858, p. 395—405.

вым интерпретатором происшедшего, «другом» его графом Ливеном. Но в рассказе Патерсона есть живые и точные подробности (например, топографического характера), занесенные в дневник в тот же день, и они могут быть учтены для сопоставления с другими свидетельскими показаниями.

Рассказ Патерсона, впоследствии неоднократно цитировавшийся в английской литературе в качестве исторического документа,¹³ представляется, впрочем, мало типичным для англичанина его времени. В английской печати декабристов в то время чаще всего изображали как просвещенных офицеров из дворян, воодушевленных идеями западного конституционализма; в стране, достигшей более высокой ступени политической зрелости, полагали английские публицисты, выступление декабристов носило бы характер не вооруженного восстания, но скорее парламентской петиции или обращения к монарху. Необычный характер декабристского движения, в понимании английских буржуазных его наблюдателей, осложнялся тем обстоятельством, что во главе восстания находились представители высшего русского дворянства. Довольно долгое время интерес к участникам восстания связывался в Англии именно с этим обстоятельством. О судьбе изгнанников из известных дворянских семей, влачивших существование в тяжелых сибирских условиях, в Англии вспоминали и рассказывали очень охотно. Характерной в этом смысле является книга Эдуарда Мортонна, изданная в 1830 г.¹⁴ Э. Мортон был врачом по профессии и провел в России два года по приглашению графа М. С. Воронцова. В указанной книге его (с. 339—341) мы находим рассказ о С. Г. и М. Н. Волконских с особым заглавием — «Замечательный пример супружеской преданности», являющийся самой ранней записью в зарубежной печати истории «подвига жены декабриста», последовавшей за мужем в Сибирь. Э. Мортон едва ли ошибался, утверждая, что его рассказ будет интересен английским читателям: культ семейных добродетелей, насаждавшийся в Англии в эту эпоху, должен был обеспечить ему популярность и сделать назидательным независимо от его достоверности.

Интереснее весьма точные известия о восстании 14 декабря, опубликованные в английском журнале 1832 г., в статье «Пушкин и Рылеев».¹⁵ Эта анонимная статья давно уже привлекает к себе внимание как советских, так и зарубежных исследовате-

¹³ См., например: *Grahame F. K. The Progress of Science, Art and Literature in Russia*. London, 1865, p. 242—261 (подробный рассказ о декабристах); *Milner Thomas. Russia, its Rise and Progress, Tragedies and Revolutions*. London, 1856, p. 406—500.

¹⁴ *Morton E. Travels in Russia and a Residence at St.-Petersbourg and Odessa in the 1827—1829*. London, 1830.

¹⁵ *Foreign Quarterly Rev.*, 1832, vol. 9, p. 398—418. — Характерно, что, говоря о Рылееве, который «лишился жизни за участие в петербургском заговоре», автор высказывает предположение, что это «известно некоторым из наших читателей».

лей. К гипотезам об ее авторе, высказывавшимся ранее,¹⁶ в последнее время прибавились новые: ныне автором ее считается У. Г. Лидс (William-Henry Leeds, 1786—1866), архитектор—англичанин, живший в Петербурге в пушкинское время, а впоследствии издававший в Англии специальные архитектурные журналы;¹⁷ как бы мы ни отнесли к этому отождествлению, несомненно то, что статья о Пушкине и Рылееве основана на хорошем знакомстве и с историей декабризма, и с русской литературой тех лет.

В 30—40-е гг. имена декабристов реже встречаются в английской печати; однако стоит отметить, в частности, чрезвычайно высокую оценку декабристов среди чартистов; чартисты-литераторы упоминали их неоднократно в своих изданиях, распространявшихся среди английских рабочих.¹⁸

Ряд любопытных и плохо учтенных рассказов о декабристах встречается в английских книгах о Сибири. Чиновник генерал-губернатора Восточной Сибири Б. В. Струве в своих воспоминаниях рассказывает о целом ряде англичан-туристов, посетивших этот край в конце 40-х гг., и упоминает, в частности, «англичанина Гиль», который жил в Иркутске несколько месяцев, «был вхож во все дома, встречался постоянно с ссыльным польским элементом, составлявшим довольно значительный контингент,

¹⁶ См.: *Алексеев М. П.* Пушкин на Западе. — В кн.: *Времьник Пушкинской комиссии*. М.; Л., 1937, т. 3, с. 114; *Казанский В.* Западно-европейская критика о Пушкине. — *Литературный критик*, 1937, № 4, с. 118—122; *Cross S.* Pouchkine en Angleterre. — *Rev. de littérature comparée*, 1937, № 1, p. 166.

¹⁷ Эту догадку высказал впервые Г. Струве (*Struve G.* Pushkin in early English criticism. — *The American Slavic and East-European Rev.*, 1949, vol. 8, N 4, p. 309) на основании записи, сделанной в экземпляре журнала, хранящемся в Британском музее. В недавнее время эта идентификация получила новое обоснование в статье: *Curran Eileen M.* The Foreign Quarterly Review on Russian and Polish Literature (*The Slavonic and East-European Rev.*, 1961, vol. 40, № 94, p. 206—214).

¹⁸ Чартист Т. Фрост в 1851 г. в журнале «Chambers Papers for People», по собственному свидетельству, напечатал статью о декабристах под заглавием «United Slavonians» (*Frost Th.* Reminiscences of a Country Journalist. London, 1888, p. 81); он же ссылается на мнение Д. Эркарта (D. Urquhart), цитированное в «Northern Star», о культе декабристов у чартистов, признававших будто бы воздействие на них русских дворянских революционеров (*Frost Th.* Reminiscences..., p. 32) и допуславших даже неслучайное совпадение названий чартистской газеты и декабристского альманаха («Полярная звезда»). Известный чартистский деятель и поэт Э. Джонс восторженно отзывался о декабристах в своем историческом романе «Роман о народе» (*Jones E.* The Romance of the People), печатавшемся в журнале «Рабочий» (*The Labourer*, 1847, vol. 1, p. 110—111), а в своей статье о Пушкине (1848) рассказывает о тайном обществе, председателем которого был «доблестный Пестель» (см.: *Дозель Е.* Незвестная статья о Пушкине в чартистском журнале «Рабочий». — Докл. и сообщения филологического института ЛГУ, 1951, вып. 3, с. 192, 196). Позднейшая статья о декабристах В. Ляйтона «Пестель и русские республиканцы» (In: *Linton W.* The European Republicans. London, 1892) была основана уже на тех данных, которые он получил от своего друга А. И. Герцена.

целые вечера проводил в домах Волконских и Трубецких». ¹⁹ Речь, несомненно, идет об англичанине С. Хилле, выпустившем в 1854 г. в Лондоне свое «Путешествие по Сибири» в двух томах. ²⁰ В этой книге мы, действительно, находим ряд записей о встречах с декабристами, жившими на поселении; так, Хилл провел целый вечер «в убогом домике», заваленном сугробами снега, «на расстоянии около двух верст от Красноярска» у декабриста, имя которого хотя и не названо, но несомненно, что имелся в виду В. Л. Давыдов (1792—1855), к которому его привел живший в Красноярске архитектор Дантю. Хилл рассказал, со слов Давыдова, историю его жизни в изгнании начиная от 1812 г. Весь эпизод о встрече с Давыдовым заслуживает внимания как живая бытовая картинка, тем более что о жизни его под Красноярском сохранилось сравнительно мало данных. Более подробно Хилл рассказывает о домах Волконских и Трубецких (также не называя их), которых он посещал весьма часто.

Во втором томе своего «Путешествия» Хилл, между прочим, кратко рассказывает о своей поездке в Забайкалье (р. 91—95) и посещении К. П. Торсона.

Рассказы Хилла о сыльных декабристах должны быть учтены как в биографиях встреченных им людей, так и в общей характеристике сибирского периода жизни декабристов.

Значительно интереснее сведения, которые можно почерпнуть в другом английском путешествии по Сибири, совершенном почти в те же годы (1848—1853).

В 1848 г. в Петербург приехал английский архитектор и художник Томас Уитлем Аткинсон (1799—1861). По совету А. Гумбольдта он решил отправиться на русский Восток в качестве странствующего художника-натуралиста. Ему удалось сравнительно быстрохлопотать необходимое разрешение на поездку, и в феврале 1848 г. он отправился в Сибирь вместе со своей второй женой, свадьбу с которой он только что отпраздновал в Петербурге. Семь лет спустя Аткинсон вернулся в Англию, привезя с собой путевые записи и несколько сот акварелей (некоторые из них были большого размера, достигая 5—6 кв. футов). Эти картины были с большим интересом приняты в художественных и научных кругах Лондона. Аткинсон выпустил о своем путешествии также две книги. ²¹

Впрочем, путешествие Аткинсона по Сибири изложено еще в одном сочинении, во многих отношениях более интересном,

¹⁹ Струве Е. В. Воспоминания о Сибири 1848—1849. СПб., 1899, с. 33—34, 42—46.

²⁰ Hill S. S. Travels in Siberia. London, 1854.

²¹ Atkinson Thomas Wittlam. Oriental and Western Siberia. A Narrative of Seven Years Explorations and Adventures in Siberia, Mongolia, the Kirghis Steppes, Chinese Tartary and Part of Central Asia/With a Map and numerous ill. London, 1858; Atkinson T.-W. Travels in Regions of the Upper and Lower Amoor. London, 1860.

чем его собственные. Оно написано его женой, сопровождавшей его в путешествии, и называется «Воспоминания о татарских степях и их обитателях».²² Книга вышла через два года после смерти Т. Аткинсона. Вместо суховатого и несколько тяжелого повествования Аткинсона здесь дан подробный, хорошо изложенный рассказ о проделанном пути; вся интимная, житейская сторона их странствований; естественно-исторические или этнографические наблюдения, цифровые выкладки или исторические справки, чему так много места отвел сам Аткинсон, тут отсутствуют полностью; вместо них даны описания дорожных встреч, столкновений с администрацией, ряда затруднений, которые путешественникам пришлось встретить на пути. Кроме того, Аткинсон, несомненно, связан был посвящением своей книги Александру II, на что разрешение не без труда испрошено было им через посредство английского посла в Петербурге; поэтому он воздерживался от какой бы то ни было критики русской власти и ее распоряжений, от замечаний о русских порядках, условиях быта и т. д. Все это вместо него сделала его жена. Живая и словоохотливая, она весело болтала обо всем в своей книге, не опуская ничего из тех подробностей, какие показались ей достойными упоминания или оценки; предоставляя мужа его научным изысканиям и живописным занятиям, она первая заводила знакомства, разузнавала все необходимое для дальнейшего пути, устраивала их быт и рассказывала обо всем этом живо, интересно, с тонкой наблюдательностью. Известную роль в этом отношении сыграло то обстоятельство, что миссис Аткинсон раньше приехала в Россию и, конечно, много лучше своего мужа освоилась с русским языком. В книге миссис Аткинсон собраны подлинные ее письма к друзьям из России, лишь слегка подновленные и обработанные на основании дорожных заметок и впечатлений, сохранившихся в памяти.

Одно обстоятельство придает рассказам миссис Аткинсон особый интерес. «Во время моего короткого пребывания в Москве, — пишет она, — я познакомилась с семьями многих изгнанников и узнала, что мне придется посетить те местности, где их мужья, отцы и братья провели более двадцати лет своей жизни». Речь идет о ссыльных декабристах. Из дальнейших рассказов выясняется, что Аткинсон взялась выполнить ряд поручений в Сибири и устанавливала дорожный маршрут таким образом, чтобы не пропустить ни одной более или менее значительной колонии декабристов. Так, находясь в Западной Сибири, она с мужем едет в Ялуторовск — хотя этот городок лежал в стороне от их маршрута — для того, чтобы посетить М. И. Муравьева-Апостола и других живших здесь же декабристов; из Минусинска она специально едет в глухое селение этого округа Шушь, чтобы повидать П. И. Фаленберга. В Иркутске она видится

²² *Mrs. Atkinson. Recollections of Tartar Steppes and their Inhabitants. London, 1863.*

с Волконскими и Трубецкими, в Селенгинске — с семьей Бестужевых. Все ее рассказы о посещениях декабристов, записи веденных с ними бесед не только обстоятельны, но и чрезвычайно точны; имена не названных ею лиц раскрываются без труда; все ее даты могут иметь документальные подтверждения. В итоге «Воспоминания о татарских степях» превращаются для нас в целую портретную галерею декабристов на поселении с множеством интересных фактических сведений, попутных характеристик их лиц, условий их существования и т. д.

Приведем лишь несколько примеров. В начале книги помещен рассказ о приезде путешественников в Ялutorовск 23 марта 1848 г. для свидания с М. И. Муравьевым-Апостолом и другими ссыльными. «Мы прямо подъехали к дому одного из ссыльных, которому привезли ружье <...> Он сейчас же послал за одним из своих товарищей, с семьей которого я также была знакома (вероятно, И. Д. Якушкин, — М. А.), и за женой одного из ссыльных, простой крестьянкой, мужа которой уже не было в живых <...> Ей я должна была передать просьбу родных расстаться с детьми, чтобы они могли получить надлежащее образование». Едва ли подлежит сомнению, что речь идет здесь о вдове В. К. Кюхельбекера Дросиде Ивановне (1847—1886), баргузинской мещанке, дочери почтмейстера И. И. Артенова.²³ Кюхельбекер имел от нее двух детей, упоминаемых и далее в рассказе Аткинсон, — сына Михаила (р. 1840) и дочь Юстину (р. 1843). Знакомство ялutorовских декабристов с семьей Кюхельбекера состоялось в начале 1845 г. при проезде его через Ялutorовск, на новое место поселения, в Смоленскую слободу близ города Кургана той же Тобольской губернии.²⁴ После смерти Кюхельбекера (11 марта 1846 г.) сестра его Ю. К. Глинка, всегда принимавшая близкое участие в делах брата, начала хлопоты о его детях; в конце концов ей было разрешено (8 апреля 1847 г.) взять их к себе на воспитание с тем, чтобы они именовались Васильевыми.²⁵ Таким образом, «Воспоминания» Аткинсон устанавливают, что 25 марта 1848 г. Дросида Ивановна с детьми находилась в Ялutorовске и что именно Аткинсон привезла ей первую весть о разрешении, полученном Ю. К. Глинкой, взять их к себе на воспитание.

«В Ялutorовске проживают некоторые из политических ссыльных 1825 года, — продолжает Аткинсон. — Они составляют нечто

²³ Рус. старина, 1873, июль, с. 353.

²⁴ Штрайх С. Я. И. И. Пущин. М., 1925; Пущин И. И. Записки о Пущине. М., 1937, с. 167 (письмо Пущина к Е. А. Энгельгардту из Ялutorовска от 21 марта 1845 г.).

²⁵ Об их дальнейшей судьбе см.: *Модалевский В. Л.* 3 листування декабристів. — В кн.: Юбилейний Збірник на пошану акад. Д. І. Багалія. Київ, 1927, с. 888; *Летопись Гос. Литературного музея. Декабристы*/Ред. Н. П. Чулкова. М., 1938, кн. 3, с. 526. — Здесь же на с. 186 напечатано письмо Дросиды Ивановны к Ю. К. Глинке о детях и переезде с ними из Тобольска в Ялutorовск.

вроде маленькой колонии и живут в полном согласии, так что радости и горести одного становятся радостями и горестями всех остальных; они составляют как бы одну семью».²⁶ Аткинсон характеризует почти каждого из них, сопровождая свой рассказ записью всего того, что она здесь слышала. Так, М. И. Муравьев-Апостол подробно рассказал ей о своем брате Сергее, который был повешен (судьба была к нему безжалостна: веревка оборвалась, когда жизнь еще не совсем угасла в нем, — и пришлось доставать другую; в это время сознание вернулось к нему, и, поняв, в чем дело, он произнес кротким голосом: «Как тяжело, когда человеку приходится умирать дважды»), историю собственного водворения в Сибири, различные истории из его долготелней жизни в этой стране. «В Ялutorовске еще ничего не знали о революции во Франции, — замечает Аткинсон, — слух о ней достиг Москвы в самый день нашего отъезда, и мы первые привезли им эту весть. Это чрезвычайно взволновало их; было много толков о том, чем все это кончится. По-видимому, наше сообщение напомнило им о тех событиях и сценах, в которых много лет тому назад они сами играли такую видную роль» (с. 22—27).

Не лишен интереса рассказ о посещении Аткинсонами П. И. Фаленберга (который, однако, не назван по имени); ему они также привезли письма и с бытом и семьей его хорошо познакомились. Фаленберг рассказал им, что до переезда своего в Шушь он жил некоторое время в Минусинске и устроил там школу, чтобы зарабатывать себе средства к жизни, но местные власти закрыли ее; тогда он принужден был удалиться в деревню и зарабатывать себе на пропитание разведением табака (с. 224—225, 229).²⁷ Краткий рассказ о горестной жизни декабристов в Минусинске имеет в виду братьев А. А. и Н. А. Крюковых, также не названных, членов Южного общества, приговоренных к каторжным работам в Нерчинских рудниках, а с 1836 г. переведенных на поселение в Минусинск (с. 224).²⁸

В главе о пребывании в Иркутске Аткинсон, цитируя собственное письмо, замечает: «Чаще всего мы бываем у Трубецких и Волконских, и у них-то главным образом и встречаем их товарищей по несчастью». Записи бесед с С. Г. Волконским и его женой Марией Николаевной заключают в себе немало таких ин-

²⁶ В Ялutorовске, кроме М. И. Муравьева-Апостола, жили И. Д. Якушкин, В. К. Тивенгаузен, Е. П. Оболенский, И. И. Пуцин, Н. В. Басаргин (с 1847г.). Аткинсон рассказывает также о жене Муравьева-Апостола Марии Константиновне и воспитаннице их А. П. Созонович (ср.: Декабрист М. И. Муравьев-Апостол. Воспоминания и письма/Ред. и примеч. С. Я. Штрайха. Пг., 1922, с. 93; *Голодников К.* Декабристы в Тобольской губернии. Тюмень, 1899, с. 3).

²⁷ Ср.: *Кузьмин А. К.* Минусинские ссылки. — В кн.: *Декабристы. Сб. материалов.* М., 1926, с. 42, 54.

²⁸ Ср.: *Косованов А.* Новые страницы из жизни минусинских декабристов. — В кн.: *Декабристы в Минусинском округе.* Минусинск, 1925, с. 74—76. (Ежегодник Гос. музея им. Н. М. Мартянова, т. 3, вып. 2).

тересных подробностей, как характеристика их житейского быта. «Князь часто заходит к нам и однажды попросил разрешения привести с собой своего товарища по ссылке, который очень недурно рисует и своим рисованием добывает средства к жизни: для себя и для своего брата (брат этот, к несчастью, страдает расстройством умственных способностей, так как горе помутило его рассудок). Он рисует цветы и птиц, и делает это превосходно, но, к сожалению, у него очень плохие краски: по прошествии нескольких лет они совершенно выцветают. Мой муж подарил ему коробку английских красок...». Речь идет, конечно, о декабристах братьях А. И. и П. И. Борисовых, членах Общества соединенных славян, живших в деревне Малой Разводной, в пяти верстах от Иркутска, где они и умерли в 1854 г.²⁹ (с. 240—244).

Дважды и подробно в книге говорится о Трубецких (с. 310—311, 339—340). Полон колоритных подробностей рассказ о посещении Бестужевых в Селенгинске (с. 302—305). Аткинсоны уже застали здесь сестер Бестужевых, получивших разрешение на поездку в Сибирь к братьям в 1847 г.; все хозяйство сосредоточивалось в руках старшей, Елены Александровны, от которой миссис Аткинсон была в полном восхищении: она сравнивает ее с Бетси Тротвуд, героиней незадолго перед тем выпущенного романа «Давид Копперфильд» (1850), подчеркивая исключительную прямоту Е. А. Бестужевой, некоторую ее эксцентричность и внешнюю резкость при замечательной доброте, и это, действительно, напоминает известную героиню Диккенса, тетку Копперфильда, которая приютила его у себя и вывела в люди после горестей и неудач. Характеризован Николай Бестужев (при вторичном заезде в Селенгинск Аткинсоны уже его не застали в живых и рассказывают об обстоятельствах его смерти), М. А. Бестужев и его жена (М. А. Селиванова), «природная сибирячка», «отличавшаяся природным умом и сметливостью». Существенны подробности о школе в Ялуторовске, устроенной декабристами, которую Аткинсоны посетили на обратном пути (с. 341—342),³⁰ о В. К. Тизенгаузене, об И. Д. Якушкине и др. Разумеется, «Воспоминания о татарских степях» дают в основном бытовые впечатления: англичанка-путешественница не могла рассказать многое об интеллектуальной жизни декабристов, вдуматься в их суждения об общественно-политической жизни тех лет; но она и не ставила себе такой задачи; в ее бесхитроном повествовании, однако, рассыпано много метких наблюдений, схваченных на лету, которые дополняют картину жизни декабристов в изгнании, известную нам по русским источникам.

«Воспоминания» Аткинсон не прошли незамеченными в английской литературе; вскоре ими стали пользоваться для харак-

²⁹ Воспоминания бр. Бестужевых. М., 1931, с. 361—362. — Письмо С. Г. Волковского к М. М. Мешалкиной см. в кн.: Декабристы (сб. Гос. Литературного музея). М., 1938, с. 101—102.

³⁰ Ср.: Воспоминания о декабристах в Сибири, записанные со слов их ученицы В. Н. Балакшиной. — Сибирские огни, 1924, июль—авг., с. 179.

теристики деятелей декабристского движения. Так, например, в книге Ф. Грэма «Успехи науки, искусства и литературы в России», в которой много говорится о декабристах, из книги Аткинсон приведены большие извлечения: мы находим здесь ее рассказы о знакомстве с семьями Волконских и Трубецких в Иркутске, о посещении Н. Бестужева в Селенгинске, И. Д. Якушкина в Ялуторовске.³¹ А. Е. Розен, рассказывая в письме к Н. А. Некрасову историю опубликования первых написанных им «декабристских» мемуаров, выпедших в свет первоначально в Германии, упомянул, что и «в Лондоне Evelyn St. John Mildmay перевел ее отлично и роскошно ее издал».³² Эта книга встречена была похвалами в английских журналах,³³ но характерно, что она не потребовала наведения особых исторических справок: о том, кто такие «декабристы», в Англии хорошо знали уже в течение почти полувека.

³¹ *Grahame F. R. The Progress of Science. . .*, ch. 4, p. 242—261. — Еще ранее вышла книга С. Эдвардса «Русские у себя дома» (*Edwards Sutherland. The Russians at Home: Unpolitical sketches. London, 1862*), вся четвертая глава которой посвящена русской «потайной литературе» (p. 66—71); здесь также приводится много данных о декабристах, собранных при помощи упомянутого в тексте А. И. Герцена.

³² Архив села Карабихи. М., 1916, с. 162—167. — Речь идет о книге: *Russian conspirators in Siberia. A personal narrative by Baron R., a Russian Decabrist. (Transl. from the German by Evelyn St. John Mildmay). London, 1872.*

³³ *The Athenaeum*, 1873, Jan. 18, № 2360, p. 77—78. — Предшествовавшее ей немецкое издание тех же мемуаров вызвало большую и очень сочувственную статью в журнале «*Edinburgh Review*» (1870, vol. 122, № 270, p. 363—381).

ГОГОЛЬ И Т. МУР

Первое крупное произведение, изданное Н. В. Гоголем под псевдонимом «В. Алов» вскоре после приезда его в Петербург («Ганц Кюхельгартен. Идиллия в картинах». СПб., 1829), неоднократно привлекало к себе внимание исследователей с тех пор, как раскрыта была тайна его авторства. Обостренный и длительный интерес к этому «произведению восемнадцатилетней юности», — как Гоголь сам назвал этот свой литературный опыт в предисловии к его изданию, — вполне естествен и закономерен. Явно незрелое, неотстоявшееся, полное очевидных промахов в грамматике, стилистике и версификации, хотя и пронизанное блестящими незаурядного дарования, это большое стихотворное произведение, подобно большинству литературных первенцев выдающихся писателей, представляет историкам и биографам обильный и во многих отношениях незаменимый материал для наблюдений всякого рода.

В «Ганце Кюхельгартене» искали перекрестные следы разнообразных чтений Гоголя-юноши, проступающие здесь сквозь текст ярче и нагляднее, чем где-либо в более поздних произведениях писателя, старались выявить направленность его литературных исканий и связь их с выработкой его мировоззрения. В этой ранней стихотворной идиллии Гоголя с полным правом пытались также увидеть начатки и первые образцы тех литературных приемов и стилистических особенностей, которые утвердились вполне и нашли более широкое развитие и применение в его прозе зрелых лет. Как заметил еще Н. А. Котляревский, среди дошедших до нас отрывков и набросков юного Гоголя его «Ганц Кюхельгартен» представляет «наибольший интерес для биографа. По выполнению эта идиллия слабее прозаических отрывков из недописанных романов Гоголя, но она имеет совсем особое значение: она — документ, определяющий настроение, в каком находился наш мечтатель в последние годы своей лицейской жизни <...> Гоголь вложил много души в эту сентиментальную повесть, которая причинила ему затем столько огорчений. В ней, бесспорно, были самые свежие воспоминания и намеки на собственные думы и впечатления, что, между прочим, подтверждается сходством некоторых строф этой идиллии с письмами Гоголя из последних лет его лицейской жизни...».¹ К сходным выводам приходили и позднейшие исследователи Гоголя, уделявшие много внимания раскрытию литературных источников и образцов, под воздействием которых это произведение создавалось.

Хотя сюжет «Ганца Кюхельгартена» несложен, но количество литературных произведений — в разных жанрах, русских и иностранных, — с которыми идиллия находится в несомненной и

¹ *Котляревский Истор.* Николай Васильевич Гоголь (1903). 3-е изд. СПб., 1911, с. 14.

непосредственной генетической связи, довольно велико. Некоторые источники «Ганца Кюхельгартена» уже определены точно и безошибочно, другие сближения проблематичны, приблизительны или спорны, о некоторых источниках не говорилось вовсе. Об одном из очевидных, но еще не замеченных источников идиллии и пойдет речь ниже.

Напомним, что действие идиллии происходит в Германии, в маленьком немецком местечке. Герой произведения — юноша Ганц Кюхельгартен, прекраснодушный мечтатель, которого ждет тихое семейное счастье вместе с любимой им внучкой пастора Луизой; но Ганц, как истый романтик, «волнуем думой непонятной», «к чему-то тайному прикован», и мечты о дальних странах и подвигах на неведомых поприщах посещают его чаще, чем мысли о близком безоблачном домашнем уюте.

Они прекрасны, те мгновенья,
Когда прозрачною толпой
Далеко милые виденья
Уносят юношу с собой.²

— говорит Гоголь о своем герое, несомненно разделяя его постоянные и мучительные противопоставления действительности мечтаниям, которые

Его воздушно поднимают
Из океана суеты.³

Затем Гоголь пытается реализовать эти «видения» в ряде живописных картин, последовательно перенося читателя то в классическую Элладу (картина III), то на экзотический Восток (картина IV). Далее Гоголь, вероятно, намеревался дать особое описание Италии, но в первопечатном издании идиллии «Картина V» отсутствует, хотя это и не оговорено. Следует считать вполне правдоподобным давно уже высказывавшееся предположение, что место этой картины в рукописи занимали те стихотворные строки, которые Гоголь напечатал отдельно под заглавием «Италия» в том же 1829 г.⁴

² Гоголь Н. В. Полн. собр. соч., Л., 1940, т. 4, с. 68.

³ Там же, с. 70.

⁴ Стихотворение «Италия» опубликовано без имени автора в журнале «Сын отчества и Северный архив» (1829, т. 2, № 12, с. 301—302). Этот номер вышел в свет 23 марта («Как означено на обертке оно», — по указанию Н. С. Тихоноврова. — См.: Соч. Н. В. Гоголя. 10-е изд. М., 1889, с. 545). Издание «Ганца Кюхельгартена» вышло в свет несколькими месяцами позже — в середине июня того же года (цензурное разрешение этого издания датировано 7 мая 1829 г.). Предположение о том, что «Италия» являлась составной частью «Ганца Кюхельгартена», впервые высказано было еще в 1896 г. И. Н. Ждановым и поддержано рядом последующих исследователей (см.: Гиллис В. В. Творческий путь Гоголя. — В его кн.: От Пушкина до Блока. Л., 1966, с. 59). Неясно, почему стихотворение «Италия» напечатано в девятом томе академического «Полного собрания сочинений» Н. В. Гоголя (Л., 1952; текст — с. 9—10, комментарий — с. 614—615) в отделе «Приписываемое Гоголю», поскольку здесь же подчеркнута полная вероятность принадлежности его перу Гоголя: «Несмотря на отсутствие рукописей, большая автори-

Источники всех этих картин с характерными приметамй их ландшафтов назывались не один раз. Так, для строф об Элладе Гоголю, по-видимому, пригодились стихотворения Жуковского и В. К. Кюхельбекера (в IV книге альманаха «Мнемозина»), кроме того, — произведения Шиллера (ср. перечень писателей, упомянутых в тексте идилии при характеристике чтений Ганца: Тик, Петрарка, Аристофан, «позабутый Винкельман»⁵ и т. д.). Источниками строф об Италии (в одноименном стихотворении) предложено было считать стихотворение об Италии Гете, в частности его «Песнь Миньоны».⁶ Менее удачны и спорны были, однако, догадки о возможных источниках четвертой картины.

Напомним прежде всего начальные стихи картины (сопровождающая их порядковой нумерацией для удобства последующих сопоставлений):

Картина IV

- ¹ В стране, где сверкают живые ключи;
Где, чудно сияя, блистают лучи;
Дыханье амры и розы ночной
Роскошно объемлет эфир голубой;
- ⁵ И в воздухе тучи куреный висят;
Плоды магустана золотые горят;
Лугов Камдагарских сверкает ковер;
И смело накинута небесный шатер;
Роскошно валится дождь яркий цветов, —
- ¹⁰ То блещут, трепещут рои мотыльков;
Я вижу там Перу; в забвенье она
Не видит, не вземлет, мечтаний полна.
Как солнца два, очи небесно горят;
Как Гемасагара, так кудри блестят;

тетность свидетельств Кулиша и Данилевского делает почти несомненной принадлежность стихотворения Гоголю» (с. 615). Для нас авторство Гоголя не подлежит спору; об этом неопровержимо свидетельствует, в частности, поэтический язык стихотворения — довольно беспомощный, но чрезвычайно характерный для Гоголя конца 20-х гг., в том числе и для его ранней прозы:

Италия — роскошная страна!
По ней душа и стонет и тоскует;
Она вся рай, вся радости полна,
И в ней любовь роскошная волнует. . .

.
В ней небеса прекрасные блестят,
Лимон горит, и веет аромат.

.
А ночь вся вдохновешьем дышет,
Как спят земля, красой упоена!
И страстно мирт над ней главой колышет

и т. д. Обратим внимание хотя бы на эпитет «роскошный», которым Гоголь злоупотреблял в эти годы, и типичные лексико-фразеологические для него шаблоны. — См.: *Виноградов В. В.* О языке ранней прозы Гоголя. — В кн.: *Материалы и исследования по истории русского литературного языка.* М., 1950, т. 2 с. 94—138.

⁵ *Гуннуус В. В.* Гоголь. Л., 1924, с. 39.

⁶ *Stender-Petersen A.* Gogol und die deutsche Romantik. — *Euphoriion*, 1922, Bd 24, S. 620; *Нипко Erica.* Beiträge zur Geschichte des russischen Italienerlebnisses: Diss. Bonn, 1960, S. 103—104.

- 15 Дыханье — лилий серебряных чад,
 Когда засыпает истомленный сад,
 А ветер их вздохи развеет порой;
 А голос — как звуки сиринды ночной
 Или трепетанье серебряных крыл,
 20 Когда ими звукнет, рываясь, Израил,
 Иль плески Хивдары таинственных струй,
 А что же улыбка? А что ж поцелуй?
 Но вижу, как воздух, она уж летит,
 В края поднебесны, к родным спешит.
 25 Постой, оглянися! Не внемлет она.
 И в радуге товет, и вот не видна.
 Но воспоминанье мир долго хранит,
 И благоуханьем лесь воздух обвит.

Какой пейзаж Гоголь живописует в этих ярких и экспрессивных по своим краскам, хотя и хромающих стихах? Из какого книжного источника Гоголь дочерпнул описание прекрасного южного края, с каталогическим перечислением признаков его «роскошной» природы, полным экзотических подробностей, явно нуждающихся в пояснениях географических, этнографических или ботанических названий? На эти вопросы исследователи Гоголя давали различные противоречивые и большей частью неточные ответы. Так, И. Шаровольский, рассуждая о воздействиях произведений иностранной и русской литературы на идиллию Гоголя, с полной уверенностью утверждал, что обрисовка восточных стран, как она представлена в IV картине «Ганца Кюхельгартена», была навеяна начальной строфой поэмы Байрона «Абидосская невеста», — в переводе И. И. Козлова (1826):

Кто знает край, где небо голубое
 Безоблачно, как счастье молодое,
 Где кедр шумит и вьется виноград,
 Где ветерок,носящий аромат,
 Под ношею в эфире утопает,
 Во всей красе где роза расцветает и т. д.‡

Это решительное утверждение, с нашей точки зрения, лишено всяческого правдоподобия. Лирическая увертюра, какой является вступление Байрона к его «турецкой повести» «Абидосская невеста», действительно дает густой, обобщающий пейзаж некоего прекрасного южного края, но эта страна — не та, какую имел в виду Гоголь. Сходство между началом IV картины «Ганца Кюхельгартена» и вступлением к «Абидосской невесте» заключается лишь в способе изображения этой страны с помощью своеобразно лирически окрашенного перечисления признаков ее пейзажа. Сопоставляя вступление к «Абидосской невесте» Байрона с известным стихотворением Гете «Ты знаешь край?» (т. е. с «Песней Миньоны»), В. М. Жирмунский справедливо отметил, что и Гете и Байрон дают свои описания южной страны «не в виде картины природы, ограниченной в пространстве и времени, а в форме вневременного каталога, обобщенно перечисляющего ее красоты: это страна, где цветут лимоны, где золотые апельсины рдеют в темной листве, где мягкий ветер веет с голу-

бого неба, где растут скромный мирт и гордый лавр».⁷ Подобные описательные каталоги идеальных ландшафтов (восходящие к аналогичным природоописательным «каталогам» античной поэзии) в европейских литературах первой четверти XIX в. встречались нередко, в особенности в применении к странам европейского юга — к Италии или Испании. Общим образом для большинства подобных стихотворений служила указанная песня Миньоны — «Ты знаешь край?». По примеру Гете, но в полном соответствии с собственным индивидуальным поэтическим стилем создал и Байрон свое вступление к «Абидосской невесте»; много подражаний гетевскому «Ты знаешь край?» появилось и в русской поэзии 20—30-х гг. К этому роду стихотворений относится и упомянутое выше стихотворение Гоголя «Италия», которое, как мы увидели, должно было являться пятой картиной «Ганца Кюхельгартена». Именно это обстоятельство подчеркивает, с нашей точки зрения, несостоятельность гипотезы И. Шаровольского: было бы невозможно допустить один и тот же источник для двух соседних картин (четвертой и пятой) гоголевской идиллии; весьма вероятно, что Гоголь исключил пятую картину из печатного текста «Ганца Кюхельгартена» по той причине, что ему показалось однообразно и монотонно ставить рядом два «каталогических» описания, сходных по методу изображения, хотя и представляющих различные южные страны. Топографические и ботанические приметы пейзажа IV картины, действительно, очень отличны от тех, которые находятся в пятой картине — «итальянской». Но что именно, какую страну земного шара стремится изобразить Гоголь? Исследователи Гоголя по-разному отвечали и на этот вопрос.⁸

В. Адамс в своих работах о «Ганце Кюхельгартене» связал возникновение IV картины с увлечением Гоголя в конце 20-х гг. сочинениями по географии и книгами путешествий, о чем свидетельствуют его письма этого времени. Наломанная письмо Гоголя к Павлу Косяровскому (от 3 октября 1827 г.), в котором идет речь о многотомной французской «Bibliothèque des Dames», где он читает «путешествие во все страны»,⁹ В. Адамс делает вывод: «Этим объясняются и „плоды мангустана“, и „Гемасагара“, и „пляски Хиндары“, и „лугов Кандагарских ковер“, встре-

⁷ *Жирмунский В. М.* Стихотворения Гете и Байрона «Ты знаешь край?» («Kennst du das Land? . . .», «Know ye the land? . . .»). Опыт сравнительно-стилистического исследования. — В кн.: *Жирмунский В. М.* Сравнительное литературоведение. Восток и Запад. Л., 1979, с. 415.

⁸ Вот несколько примеров. Для В. В. Гиппиуса IV картина является то «мечтой» Гоголя о «романтической Индии» (*Гиппиус В.* Гоголь, с. 18), то изображением «экзотического Востока» (*Гиппиус В.* От Пушкина до Блока, с. 59); М. Б. Храпченко писал, что «Ганцу Кюхельгартену грезится Индия, с ее роскошной природой, ее экзотикой, столь отличной от повседневной обыденности немецкой деревни» (*Храпченко М. Б.* Творчество Гоголя. 2-е изд. М., 1956, с. 87). Для Э. Хьенко (Е. Ньерко, см. выше, с. 343, примеч. 6) IV картина дает изображение «Ближнего Востока», и т. д.

⁹ *Гоголь И. В.* Полн. собр. соч. Л., 1940, т. 10, с. 115.

чающиеся в IV картине „Ганца Кюхельгартена“». ¹⁰ Эта догадка более правдоподобна, чем предположения И. Шаровольского, но она недостаточно конкретна: мы могли бы ее принять лишь в том случае, если бы было указано точно, что именно за статью о «путешествии во все страны» Гоголь имел в виду в указанной «Библиотеке для дам» и действительно ли в ней встречаются те экзотические наименования, которыми он украсил IV картину своей идиллии. Ближе к истине был Н. П. Дашкевич, который еще в статье 1906 г. «Романтический мир Гоголя» отметил, что изображенные в «Ганце Кюхельгартене» «райские места» Востока «разрисованы красками поэмы Мура». ¹¹ Однако и это попутное наблюдение Н. П. Дашкевича лишь наводит на мысль, но не завершает ее: остается совершенно неясным, имел ли исследователь в виду какое-нибудь определенное место «восточной повести» Томаса Мура «Лалла Рук» или воспроизведенные Муром в этом его произведении «краски» экзотической природы вообще.

В настоящее время мы можем вполне точно назвать тот книжный источник, который был под руками Гоголя, когда он создавал IV картину своего «Ганца Кюхельгартена». Это был появившийся в журнале «Сын отечества» прозаический перевод последней (четвертой) вставкой поэмы в «восточную повесть» Т. Мура «Лалла Рук» (1817) под заглавием «Свет гарема» («The Light of the Haram»). ¹² В этой небольшой поэме рассказывается о короткой размолвке и примирении красавицы Нурмагалы (у Т. Мура — Nourmahal; имя это означает «Свет гарема») с мужем ее Селимом, как до своего вступления на престол прозывался будущий властитель Индии, могущественный Джихангир (перс. «Повелитель мира», у Мура — Jehanguir), сын «великого Акбара», превратившего Индию в империю династии «моголов». Поэма Т. Мура нравилась современникам не столько своим несложным сюжетом, сколько экзотическим колоритом, представлявшимся даже некоторым критикам Т. Мура своего рода «излишеством» художника-арудита. Поэма открывается поэтическим описанием Кашмирской долины и ее цветников при закате, ночью и на рассвете. Вот ее начало в указанном русском прозаическом переводе:

Кто не слышал о долине Кашемирской, о ее розах, прелестнейших в мире, ее храмах, прохладных пещерах, источниках, столь же светлых, как очи милых красавиц, которые любят смотреть на их воды прозрачные?

Приятно видеть сию долину при закате солнца, когда прекрасный, весенний вечер льет на озеро последний свой свет; так юная супруга закраснеется, бросив последний взгляд на зеркало, и пойдет тихими шагами к ложу брачному.

¹⁰ *Адамс В.* Идиллия Гоголя «Ганц Кюхельгартен» в свете его природоописаний. Тарту, 1946, с. 12. — То же предположение сделано ранее в статье: *Adams V.* Gogol's Erstlingswerk «Hans Küchelgarten» im Lichte seines Natur und Welterlebnis. — *Z. für slavische Philologie*, 1931, Bd 8, H. 3—4, S. 333, Anm. 2.

¹¹ *Дашкевич Н. П.* Статьи по новой русской литературе. Пг., 1914, с. 555.

¹² Свет Гарема (из Томаса Мура). — *Сын отечества*, 1827, ч. 112, № 5, с. 27—60.

Сквозь зелень дерев видны разные храмы, и всякая вера освящает сей час особым своим служением. Здесь слышится набожный крик муецина, раздающийся с вершины минарета; там — маг колеблет свою кадильницу, наполненную благовониями; далсе — прелестная баядерка потрясает у индийского жертвенника свой пояс, связанный из колокольчиков, издающих сладостные звуки.

Прекрасна сия долина и в часы ночи, когда бледный свет луны томно освещивается на ее дворцах, садах и храмах, когда водопады блещут, как падающие звезды, и умильная песнь соловья прерывается шумным веселием и резвою пляскою молодых любовников, кои собираются под сводами дерев, дышащих прохладою.

Люблю долину Кашмирскую и в час рассвета. . . и т. д. (ср. известное начало десятой главы «Страшной смерти» Гоголя: «Чуден Днепр при тихой погоде. . .»).

Вслед за этим вступлением, полным экспрессии и лиризма, в котором тот же обобщенный Кашмирский пейзаж изображается при различном освещении дня и ночи, Т. Мур рассказывает, что Нурмагала обратилась к местной чародейке Намуле, а та отправилась с нею за привораживающими травами и цветами в густые луга Кашмирской долины. В этом месте поэмы и далее, в описании праздника роз, Т. Мур дал полную волю и воображению и своей начитанности, уснащая стихотворные строки аллюзиями на произведения восточных поэтов и сопровождая их также учеными примечаниями и цитатами из путешествий по Индостану и разноязычных трактатов по ориенталистике. Отсюда и заимствовал Гоголь все понравившиеся ему по звучанию экзотические слова и наименования для IV картины «Ганца Кюхельгартена», снова обратив в стихи отдельные места русского прозаического перевода английского стихотворного подлинника. Правда, Гоголю — к невыгоде его читателя — пришлось отбросить примечания, сделанные Т. Муром ко многим из тех строк поэмы, которые обратили на себя внимание Гоголя; поэтому некоторые стихи IV картины остаются непонятными без пояснений: характеризуя «земли роскошные края», куда неслась мечта Ганца, Гоголь не объяснил, например, кто такой Исразил, что подразумевается под плесками «таинственных струй» Хиндары и какой цветок носит имя Гемасагары. Зато все это становится совершенно ясно при чтении русского перевода «Света гарема», напечатанного в «Сыне Отечества».

Приведем для наглядности сопоставления к стихам IV картины идилии параллельные места из этого перевода.¹³

Стиху (3) «Дыхание амры и розы ночной» в переводе соответствует то место, где говорится: «Здесь юные девы вдыхают, и вздохи их благовонны, как цвет Амры, раскрытый пчелою» (с. 56); к этому месту сделано и примечание: «Сладостны цветы Амры, вокруг коих жужжат пчелы (Песнь Яйадевы)». Под «ночной розой» Гоголь несомненно подразумевает туберозу, о которой

¹³ Мы приводим их, следуя порядку расположения их в тексте IV картины: каждой цитате предшествует заключенное в круглые скобки цифровое обозначение стихотворной строки Гоголя; цитаты из русского перевода «Света гарема» сопровождаются указаниями на страницы «Сына отечества» (1827, № 5), где Гоголь нашел их.

говорится у Т. Мура. В русском переводе: «...там красовалась тубероза сребровидная, которая в садах малайских слывет *красавицей ночи*, потому что является в благовониях и убранстве, как юная супруга, когда солнце скроется» (с. 42). В примечании объяснено: «*Polyanthes tuberosa*. Малайцы называют туберозу сандаль-малам, т. е. *красавицей ночи*».

Стих (6) «Плоды мангустана златые горят» находит себе соответствие в том месте перевода, где к словам «Взор любитесь золотыми гроздами, подобными тем, кои зреют на холмах Касбийских <...> банапами зелеными и банапами златоцветными, мангустами, нектаром малайцев» (с. 52—53) дано следующее пояснение: «Мангустан есть самый приятнейший в мире плод, коим гордятся островитяне Молукские (Марсден)».

Следующему стиху (7) «Лугов Кандагарских сверкает ковер» отвечает то место перевода, где упоминаются эти луга: «сии нимфы с легким, воздушным станом, которые топчут ногами своими золотистые луга Кандагарские» (с. 51); сюда же относится и пояснение: «В Кандагаре есть страна, называемая Перна или страна волшебств (Thévenot); в некоторых местах Индии, на севере, полагают, что находится золото в царстве растений».

Стих (14) «Как Гемасагара, так кудри блестят» взят из того места перевода, где к словам «В саду том расцветали анемоны и *море золота*» сделано примечание: «Гемасагара, или *море золота*. Цветы его самого яркого золотого цвета (Сир Вильям Джонс)» (с. 42).

Стих (18) «А голос, как звуки сиринды ночной» имеет полное соответствие в словах перевода о юной грузинке «Роскошно сгибает она руку свою вокруг сиринды» и примечания к ним: «Сиринда — индейская гитара» (с. 55).

Стихи (19—20) «Или трепетанье серебряных крыл, Когда ими звукнет, резвясь, Исразил» вполне объясняются из следующего пассажа перевода: «... те же звуки были повторены другою лютнею, которой восхитительные переливы вмиг очаровали внимательное удивление: все подняли глава кверху, думая, что слышат сладкозвучное трепетанье крыл Исразила»; к этому месту сделано примечание: «Ангел музыки, по мифологии Магометан» (с. 56—57).

Стих (24) «Иль плески Хиндары таинственных струй» также получает свое объяснение из указанного перевода, где идет речь о знаменитом «поющем источнике» (в оригинале: Chindara's warbling fount); в этом фонтане, по словам Ричардсона, помещен некий инструмент, который все время играет благодаря ударяющим в него струям воды (с. 46). Транскрипция названия Chindara — Хиндара (а не Чиндара) лишний раз свидетельствует, что перед глазами Гоголя была именно указанная страница перевода в «Сыне отечества», откуда он и выписал это название.

Излишним, вероятно, — после всех вышеприведенных параллелей — может показаться дополнительное указание, что из того же перевода заимствована Гоголем также Пери: с «игривой

Пери» сравнивается у Т. Мура «султанша» Нурмагала, и там же дается о Пери справка из «Рассуждения о языках, литературе и быте восточных народов» Джона Ричардсона;¹⁴ правда, Гоголь, конечно, знал и поэму о Пери из «Лалла Рук», переведенную В. А. Жуковским («Пери и Ангел», 1821), которая, кстати сказать, и ввела это слово в русский поэтический обиход 20-х гг. XIX в.

Таким образом, едва ли можно сомневаться, что «Свет гарема» в прозаическом переводе «Сына отечества» был единственным источником Гоголя для IV картины «Ганца Кюхельгартена». Разумеется, около десятка слов, заимствованных Гоголем из этой поэмы, — не слишком много, так как она на своих тридцати страницах перенасыщена экзотикой; тем не менее этих заимствований все же слишком много для двадцати стихотворных строк, на которых Гоголь разместил все потерпнутые им «краски»; для наибольшей картины они создают весьма густой экзотический фон.

Приведенные выше сопоставления позволяют также достаточно ясно представить себе всю технику совершенного Гоголем заимствования. Он выписывал со страниц «Сына отечества» экзотические наименования цветов, плодов, мифологических персонажей, явлений природы, но вставлял их в собственную стилистико-фразеологическую оправу, хотя стилистическая отделка IV картины автором явно не завершена.¹⁵ И «смело» накинутый «небесный шатер», и «дождь яркий цветов», который «роскошно валится», и сильное дыхание цветов, которое «роскошно объемлет эфир голубой», — все это типично гоголевские фразеологизмы, встречающиеся и в ранних его прозаических произведениях, но расцветенные здесь заимствованными блестками.

«Свет гарема» опубликован в «Сыне отечества» анонимно; между тем известно, что эта поэма пользовалась у нас популярностью и привлекла к себе внимание нескольких русских переводчиков 20-х гг., в частности О. М. Сомова¹⁶ и Д. П. Озноби-

¹⁴ *Сын отечества*, 1827, ч. 112, № 5, с. 35.

¹⁵ Гоголь не устранил, например, близкого соседства излюбленного им слова «роскошный» («роскошно объемлет» в стихе 4 и «роскошно валится» в стихе 9) или прилагательного «серебряный» («чад серебряных лилий» в стихе 15-м и «трепетанье серебряных крыл» в ст. 19; о пристрастии Гоголя к серебру см. наблюдения Андрея Белого в его книге «Мастерство Гоголя» (М.: Л., 1934, с. 128—129); укажем также на очевидное стилистическое сходство этих стихов с гоголевским стихотворением «Италия».

¹⁶ Сохранилось известно, что прозаический перевод «Света гарема» О. М. Сомов закончил в 1823 г.: это засвидетельствовано протоколом заседания Вольного общества любителей российской словесности от 19 сентября 1828 г. (см.: *Базанов В.* Ученая республика. М.: Л., 1964, с. 425); однако дальнейшая судьба этого перевода неизвестна. В своей работе «О романтической поэзии: Опыт в трех статьях» (СПб., 1823, с. 33) О. М. Сомов, говоря о Т. Муре и утверждая, что «читателям нашим знакомы некоторые эпизоды или вводные поэмы „Лалла Рук“», ни словом не обмолвился о том, что в это же время он сам занят был переводом одной из этих «вводных поэм» — «Свет гарема». Никаких сведений об этом переводе не находится также в большом библиографическом указателе печатных работ Сомова, приложенном в кн.:

пина; ¹⁷ мы, однако, не решаемся приписать перевод, напечатанный в «Сыне отечества», ни тому, ни другому литератору. Гоголь датировал «Ганца Кюхельгартена» 1827 годом. Как известно, эта авторская датировка вызвала сомнения у первых биографов писателя и стала предметом длительной полемики исследователей.¹⁸ Д. Иофанов в своей монографии о детстве и юности Гоголя посвятил «Ганцу Кюхельгартену» особую главу, приведя здесь ряд заслуживающих внимания соображений о том, что свою идиллию Гоголь писал в Нежине именно в 1827 г., в последний год обучения в нежинской Гимназии высших наук.¹⁹ Сделанные выше сопоставления IV картины с переводом «Света гарема» в «Сыне отечества» этому не противоречат; напротив, они могут служить известной хронологической опорой в пользу того же 1827 г.; четвертая картина не могла быть создана до выхода в свет 5-го номера 112-й части «Сына отечества» (цензурное разрешение на выпуск в свет этой части журнала выдано 15 февраля 1827 г.). Этот журнал песомненно получался в Нежине, и помещенный в нем перевод «Света гарема» должен был обратить на себя внимание, кто бы ни являлся его автором. Напомним еще раз уже отмеченный выше факт, что именно в этом журнале Булгарина и Греча Гоголь напечатал в 1829 г. предполагаемую V картину «Ганца Кюхельгартена» под заглавием «Италия».

«Свет гарема» заинтересовал многих русских литераторов: позднее его цитировали А. А. Бестужев-Марлинский (очерк «Путь до города Кубы») и В. К. Кюхельбекер, в поэме «Зоравель». В 1827 г. из «Света гарема» в «Сыне отечества» А. И. Подолинский взял эпитафию, заимствованную Муром из трактата Дж. Ричардсона, и поместил его перед текстом своей поэмы «Див и Пери» (СПб., 1827).

Кирилл З. В. О. Сомов — критик та беллетрист Пушкинської епохи. Київ, 1965, с. 145—166. — Добавим, что О. М. Сомову принадлежит один из трех печатных отзывов о «Ганце Кюхельгартене», помещенный в «Северных цветах» на 1830 г.; трудно предположить, что, читая эту идиллию безымянного автора, О. М. Сомов мог не заметить в ней явных заимствований из «Света гарема», если он сам был переводчиком поэмы, текст которой был опубликован в «Сыне отечества» за два года перед тем.

¹⁷ По свидетельству Н. А. Державина в статье «Забытые поэты. II. Д. П. Ознобишин» (Ист. вестн., 1910, № 9, с. 860), эта поэма переведена была Д. П. Ознобишиным, весьма интересовавшимся Т. Муром в 20-е гг., но она «до сих пор нигде не напечатана». Среди рукописных прозаических произведений молодого литератора М. А. Гамазова (бывшего в то время учеником Петербургского инженерного училища) сохранился еще один перевод той же поэмы Мура, сделанный в 1829 г., вместе с собственным подражанием юного поэта под заглавием «Кашемирова долина» (Григорьян К. Н. Литературные опыты М. А. Гамазова. — В кн.: Из истории русских литературных отношений XVIII—XX вв. М.: Л., 1959, с. 361).

¹⁸ Гоголь Н. В. Полн. собр. соч., т. 1, с. 494—495.

¹⁹ Иофанов Д. Н. В. Гоголь. Детские и юношеские годы. Киев, 1951, с. 181—183.

ПОЭМА В. К. КЮХЕЛЬБЕКЕРА „СЕМЬ СПЯЩИХ ОТРОКОВ“ И ЕЕ ИСТОЧНИКИ

Поэма «Семь спящих отроков» написана В. К. Кюхельбекером в начале 30-х гг. в заточении, в Свеаборгской крепости. Поэт трудился над нею с перерывами в течение нескольких лет, втайне надеясь, что она в конце концов будет напечатана: ссылки на нее неоднократно встречаются в его дневнике и письмах между 1831 и 1835 гг. Исследователи творчества Кюхельбекера мало интересовались этой его поэмой, долгое время зная ее лишь по заглавию и предполагая, что текст ее до нас не дошел (он опубликован только в 1939 г.); этим объясняется также, что возникновение поэмы произвольно относили к самым различным годам. Между тем, если расположить в хронологической последовательности все известные в настоящее время авторские свидетельства о «Семи спящих отроках», мы сможем составить себе довольно отчетливое представление о том, как шла работа Кюхельбекера над созданием этого произведения.

«Моя маленькая поэма „Семь спящих отроков“ составляет третью главу „Декамерона“ и была начата и закончена уже здесь; ее взяли у меня 18 декабря 1831 г.», — писал Кюхельбекер своей старшей сестре и неустанной заботливой попечительнице Юстине Карловне из Свеаборга 21 марта 1833 г.¹ Исходя из того, что в Свеаборгскую крепость Кюхельбекер был переведен из Ревельской цитадели в октябре 1831 г., можно заключить, что в своем первом варианте поэма написана между октябрем и декабрем 1831 г. Однако исправлениями и улучшениями первоначального текста Кюхельбекер занят был еще несколько лет в том же Свеаборге, от времени до времени возвращаясь к своей рукописи, начиная с середины 1833 г. «Завтра примусь <...> за выправку „Семи спящих отроков“», — гласит запись в дневнике Кюхельбе-

¹ Литературное наследство. М., 1954, т. 59, с. 415. — Под общим заглавием «Русский Декамерон» Кюхельбекер задумал объединить несколько своих произведений, связанных в одно целое общим прозаическим обрамлением. Если поэма «Семь спящих отроков» должна была составлять третью главу нового «Декамерона», создававшегося в подражание Боккаччо, то для главы второй, как видно из того же письма Кюхельбекера, предназначалась его комедия «Нашла коса на камень», переделка «Укрощения строптивой» Шекспира, законченная еще в 1831 г. в Ревеле; восемь лет спустя (1839) Кюхельбекеру удалось выпустить ее в Москве отдельным изданием (см.: Орлов Вл. Неизвестные книги Кюхельбекера. — Slavia, 1933—1934, год. 12, сеш. 3—4, с. 483—485). Что касается главы первой, то ее составила поэма «Зоравель», сюжет которой был заимствован из библейской книги «Эздры»; рукопись ее доставлена Пушкину⁷ и с его ведома при согласии была издана отдельной книгой без имени автора (Русский Декамерон, 1831 г./Изд. И. Ивановым. СПб., 1836). Описание ее см.: Смирнов-Сокольский Ник. Рассказы о прижизненных изданиях Пушкина. М., 1962, с. 427—430 (глава «Русский Декамерон» Кюхельбекера). Хотя И. Ф. Масанов в своем «Словаре псевдонимов русских писателей. . .» (М., 1956, т. 2, с. 427) безоговорочно считает, что И. Иванов⁷ (издатель «Русского Декамерона») — псевдоним Пушкина, но это лишь предположение, требующее особой, специальной аргументации.

кера от 4 мая 1833 г.² Новая запись о том же сделана через месяц, 7 июня 1833 г. «Принялся было за переправку „Семи спящих отроков“, но не повезло; увижу, что будет в субботу».³ Из последующих записей видно, что дело в конце концов наладилось, работа пошла быстрее, и поэт был доволен ее результатами: «Сегодня я несколько занимался переправкою „Семи спящих отроков“ (запись от 16 июня 1833 г.); «Сегодня кончили я переправку первой части своей легенды. Напрасно я писал к сестре, что это произведение едва ли будет лучше; оно теперь в первой части не только выиграло на счет слога и стихов, но и ход его стал яснее» (запись от 24 июня 1833 г.); «Переправка „Семи спящих отроков“ чуть ли не более потребует времени, чем нужно было, чтобы сочинить их. От удачной перемены места, на котором я остановился, зависит все достоинство этой легенды» (запись от 28 июня 1833 г.).⁴ Год спустя в письме к сестре от 27 августа 1834 г. Кюхельбекер мог уже сообщить ей о своей поэме: «Она у меня ныне выправлена».⁵

Опубликовать «Семь спящих отроков» Кюхельбекеру, однако, так и не удалось ни тогда, ни позже, хотя именно в последнее десятилетие своей жизни он предпринимал отчаянные усилия добиться печатания своих произведений вопреки существовавшему на это запрещению⁶ и действительно печатал кое-что в обеих столицах, конечно, без своего имени или под псевдонимами.⁷ Но поэма о спящих отроках в печать не попала: ее никуда не удавалось пристроить.

В 1836 г. в письме к Н. И. Гречу из Баргузина Кюхельбекер тщетно предлагал ему для издания эту «легенду в двух частях» в числе других своих готовых для печати поэтических «порождений».⁸ В отправленном в 1845 г. к В. А. Жуковскому из Сибири

² *Кюхельбекер В. К.* Путешествие. Дневник. Статьи / Изд. подгот. Н. В. Королева, В. Д. Рак. Л., 1979, с. 248. (Литературные памятники).

³ Там же, с. 251.

⁴ Там же, с. 252, 254, 255.

⁵ Литературное наследство, т. 59, с. 441.

⁶ К известным ранее ходатайствам Кюхельбекера по этому поводу. например к просьбе его, направленной А. Х. Бенкендорфу (Рус. старина. 1902, кн. 4. с. 96), прибавилось недавно опубликованное С. С. Конякиным прошение Кюхельбекера к генерал-губернатору Восточной Сибири С. Б. Броневскому от 9 октября 1836 г.: «... чтоб мне позволено было списывать хлеб насущный литературными трудами» (*Кюхельбекер В.* Неизданные письма. — Науч. докл. высшей школы. Филологические науки, 1965, № 4, с. 187). Еще в январе 1846 г. на просьбу Кюхельбекера печатать анонимно его произведение последовал грубый отказ шефа жандармов и начальника III Отделения А. Ф. Орлова.

⁷ Издание «Русского Декамерона» остановилось на публикации поэмы «Здравствуй»; тем не менее комедия «Нашла коса на камень» все же вышла в Москве три года спустя (1839). «Ижорский» опубликован в Петербурге (1835); несколько мелких стихотворений В. Кюхельбекера увидели свет в «Библиотеке для чтения» под псевдонимом В. Гарпенко. О том, как осуществлялись все эти публикации, обходившие правительственный запрет, мы знаем, к сожалению, слишком мало: специальные разыскания об этом были бы чрезвычайно желательны.

⁸ Литературное наследство, т. 59, с. 460.

списке произведений Кюхельбекера, предназначенных им для собрания его сочинений, в рубрике «Рассказы в стихах» значится «„Семь спящих отроков“, поэма в двух частях».⁹ Год спустя в написанном рукою И. И. Пущина 3 марта 1846 г. (и перебеленном 1 марта 1847 г.) литературном завещании Кюхельбекера «Семь спящих отроков» названы снова; при этом в данном документе сделано заслуживающее внимания указание: «Пересмотреть и добыть настоящей экземпляр, оставленный у купца Боткина в Кяхте»;¹⁰ отсюда, по-видимому, явствует, что эту поэму Кюхельбекер исправлял или во всяком случае переписывал еще в Сибири в конце своей жизни.

Впервые поэма о спящих отроках увидела свет лишь столетие спустя после своего создания, напечатанная Ю. Н. Тыняновым по автографу в первом томе стихотворений Кюхельбекера в «большой» серии «Библиотеки поэта».¹¹ С тех пор поэма больше не переиздавалась. Сам Ю. Н. Тынянов в предисловии к своему изданию дал следующую краткую характеристику «Семи спящих отроков»: «В основу сюжета взята легенда из истории гонений на христианство времен Диоклетиана. Так же как выбор сюжета о возвращении иудеев из плена в „Зоровавеле“ диктовался судьбою декабристов, так она отразилась и на выборе сюжета этой легенды — освобождение из заключения преследуемых христиан. Фантастический характер поэмы, основой которой является легенда, не всецело, однако, уничтожил историзм, присущий Кюхельбекеру: так, в строфах, рисующих распространение христианства, место уделено и Древней Руси, и ее борьбе с варварами Востока».¹² Позднее В. Базанов еще сильнее, чем Ю. Н. Тынянов, подчеркнул тесную связь замысла поэмы с воспоминаниями и построениями узника-декабриста: «Растянутая и слишком архаическая по стилю поэма о гонениях на христиан (начиная с Рима), — отзывается о ней Базанов, — в первой своей части исключительно близка тюремной лирике Кюхельбекера. Не случайно эта поэма не увидела света». В. Базанов пытается даже усмотреть в «Семи спящих отроках» явственно различимый подтекст: «Действие происходит во времена древнего Рима в городах Вифания (Никомедия и Никея), но никакие исторические покрывала не могут скрыть города на Неве и Петропавловскую крепость:

Здесь отроки когда-то возвращены:
Здесь были светом истины священной
Их души чистые озарены».

⁹ Дубровин Н. В. А. Жуковский и его отношения к декабристам. — Рус. старина, 1902, № 4, с. 109.

¹⁰ Кюхельбекер В. К. Лирика и поэмы / Вступит. статья, ред. и примеч. Ю. Тынянова. Л., 1939, т. 1, с. LXXVIII.

¹¹ Там же, с. 416—446. — В изданный в том же году однотомник стихотворений Кюхельбекера малой серии «Библиотеки поэта» (№ 15, Л., 1939) «Семь спящих отроков» не вошли.

¹² Кюхельбекер В. К. Лирика и поэмы, т. 1, с. LVIII.

И эти «отечества сыны» заключены в темницу. Над ними творит суд царь, «опираясь на посох самовластья». И хотя, по мнению того же исследователя, «не следует поэму „Семь спящих отроков“ понимать как сплошное иносказание», но первая часть поэмы написана не на основе религиозно-христианских легенд: «Основа более близкая: материалы следственной комиссии 1826 г.». Далее В. Базанов приводит ряд отрывков из первой части поэмы, в частности «сцены допроса», чтобы сблизить кюхельбекеровского Деокла с Николаем I и проиллюстрировать свою мысль, что в этих сценах вся обстановка напоминает Петропавловскую крепость и следствие над декабристами.¹³

Нельзя, конечно, отрицать известного параллелизма между сюжетом поэмы (или, вернее, ее завязкой) и настроениями автора; не только сцены в темнице, но и вся поэма написана им, как мы видели, в тюрьме и, следовательно, ввушена обстановкой каземата (метафора сна как призрачной реальной жизни легла в основу стихотворения Кюхельбекера 1832 г. «Море сна»); по поводу всех его поздних поэм отмечали, что их «монументальный жанр и заимствованные сюжеты» «не мешали Кюхельбекеру оставаться современником своей эпохи и служили ему удобным средством для аллегорического изображения своей судьбы, судьбы своих современников».¹⁴

Сходство между отдельными сценами в его поэмах и эпизодами его личной жизни все же не следует преувеличивать; к тому же в данном случае Кюхельбекер в известной мере связан был устойчивыми традиционными очертаниями знаменитой древней легенды о семи отроках. С другой стороны, столь же, думается, неправомерно в поэмах Кюхельбекера 30—40-х гг. вовсе отрицать «автобиографическое, субъективное начало (за исключением посвящений и эпил로그)», которого они будто бы лишены, как об этом пишет Н. В. Королева, определяя «Зоровавель» и «Семь спящих отроков» как «исторические повествования (...) основанные на библейских легендах».¹⁵

Как видно из приведенных справок, вопрос об источниках сюжета «Семи спящих отроков» Кюхельбекера имеет немаловажное значение; он весьма существен для понимания авторских намерений и основной идейной направленности поэмы.

Укажем прежде всего на те пояснения, какие счел нужным сделать к поэме сам Кюхельбекер, сообщая Н. Г. Глинке 27 августа 1834 г. отрывки из начала «Семи спящих отроков». «В пер-

¹³ Базанов В. Очерки декабристской литературы. Поэзия. М.; Л., 1961, с. 291—293.

¹⁴ Федоров А. Стихотворения Кюхельбекера. — Лит. обозрение, 1939, № 21, с. 45.

¹⁵ Кюхельбекер В. К. Избранные произведения: В 2-х т. Под ред. Н. В. Королевой. М.; Л., 1967, т. 1, с. 49. (Библиотека поэта. Большая сер.). Хотя, по справедливому замечанию исследовательницы (в редакционной аннотации), «это двухтомное собрание избранных произведений Кюхельбекера является наиболее полным из существующих», но «Семь спящих отроков» в нем все же не воспроизведены.

вой строфе, — пишет он, — говорится о междуусобиях, которые раздирали империю римскую, начиная со смерти Комода до Деоклетяна (sic!). Преторийская когорта, а потом и легионы буйствовали самым ужасным образом; так, например, по убийении Пертинакса первые продали с молотка багрянцу Августов. Наконец, незадолго до Септима Северия (sic!) пятьдесят полководцев в разных областях в одно и то же время вздумали домогаться престола; они известны в римской истории под названием пятидесяти тиранов. С ними, собственно, не должно бы смешивать честолюбцев, предшествовавших восстановлению единодержавия Деоклетяном, но как Деоклетян совершил то же, что в свое время Северий, и застал римский мир в тех же обстоятельствах, я полагал позволительным назвать хищников, от коих очистил Деоклетян империю, так, как назывались подобные им хищники во время Северия». ¹⁶ Этот авторский комментарий весьма интересен, ориентируя нас на то, что, с точки зрения Кюхельбекера, он в отношении исторической верности и точности поэмы не считал себя обязанным проявлять излишний педантизм. Да и память несомненно изменяла ему: он пишет Комод (с одним «м»), Септим Северий вместо Септимий Север, Деоклетян вместо Диоклетян. Последняя ошибка имела и реальное основание. «Деокл — то же, что Деоклитян, так назывался он, будучи еще простолюдином», — пишет Кюхельбекер в том же письме от 27 августа 1834 г. и продолжает: «Впрочем, справься об этом в Crevier, Histoire de l'Empire Romain, и напиши мне, не ошибся ли я? Когда пишешь только на память, легко ошибиться, особенно в именах собственных; знаю, что у него было еще третье имя, но его, кажется, носил он, начиная уже возвышаться, будучи уже предводителем войск. Справься об этом и уведомя меня. Если нет у вас Crevier, так есть же Goldsmith». ¹⁷

Хотя даже заглавие этой многотомной «Истории римских императоров» Ж. Кретье Кюхельбекер назвал с ошибкой, но в свое время он безусловно основательно штудировал этот труд, не блестящий, но изобильный фактами и весьма удобный для справок. Диоклетиану (начавшему царствовать в 284 г.) Кретье посвятил почти полтораста страниц одиннадцатого тома своей

¹⁶ Литературное наследство, т. 59, с. 441.

¹⁷ Там же. — Речь идет о книге Ж. Кретье (Jean-Baptiste-Louis Crevier, 1693—1765) «Histoire des empereurs romains, depuis Auguste jusqu'à Constantin» (Paris, 1749—1755, 12 vols.). Книга Гольдсмита «Roman History» была компактнее и служила учебным пособием, пмевшимся в многочисленных изданиях, английских и французских. Что касается текста первых пятнадцати строф «Семи слящих зтроков», которые Кюхельбекер сообщил в данном письме, то он отличается от той окончательной обработки, которая опубликована Ю. Н. Тыняковым. Строфы 20—31 первой части поэмы Кюхельбекер сообщил в другом письме к Ю. К. Глинке от 13 ноября 1834 г. (см. сб.: Декабристы и их время. М.; Л., 1951, с. 50—52). Сообщая об этом письме в статье «Материалы для истории русской литературы в фондах ГПБ» (Труды Гос. библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина. Л., 1964, т. XII (15), с. 173), Р. Б. Заборона ошибочно сочла их полным списком поэмы.

«Истории».¹⁸ Здесь он действительно сообщает, что «первое имя Диоклетиана (Dioclétien) было Dioclès. Это имя он получил от городка Диоклея (Diocléa) в Далмации, где он родился. Имя его матери было то же, что и название города; она прозывалась Диоклея (Diocléa). Когда он возвысился до главы империи, он пожелал придать своему имени римскую форму; он его удлинил и заставил произносить Диоклетиан (Diocletianus) вместо Диоклеса».¹⁹ Немало страниц Кретье посвятил также преследовавшим Диоклетианом христиан, хотя и считал, что эти гонения, начатые им лишь в конце царствования, были следствием зловещего искусственного наговора его приближенных, прежде всего Галерия.²⁰ О семи спящих отроках, однако, Кретье не упоминает вовсе — не только в связи с историей Диоклетиана, но и другого императора, Деция, или Декия (249—251), с царствованием которого традиционно связывалась легендарная история семи эфесских отроков. Таким образом, Кюхельбекер позволил себе вольность в хронологии и локализации этой легенды, когда заменил Деция Диоклетианом.²¹

Подобные вольности были в творческой практике Кюхельбекера: «...поэт не хронолог», — оправдывался он, например, в 1835 г. в примечании к своей балладе «Кудеяр» (напечатанной в «Библиотеке для чтения»), признаваясь в допущенном им сознательном нарушении исторической правды и хронологически несовместимых перемещениях действия.²² Конечно, в данном случае могла иметь место непреднамеренная ошибка из-за случайного созвучия имен: вместо Декия (Decius), в различных средневековых редакциях легенды об отроках именовавшегося Dakianus (Daqjânûs в арабских версиях), он сначала получил у Кюхельбекера имя Diokletianus, а затем переправлен на Деюкла. К этим соображениям следует добавить также, что легенду о семи спящих отроках Кюхельбекер, по всей вероятности, знал не из какой-либо истории римских императоров, а из источников другого рода.

В контекст событий поздней римской истории эта легенда попала поздно, лишь в конце XVIII в., заимствованная из церковных анналов: в оборот европейских историков Рима ее одним из первых ввел Эдвард Гиббон²³ в своем классическом труде «История упадка и гибели Римской империи» (1776—1788). В конце XXXIII главы своего труда Гиббон среди особо достопримечательных легенд церковной истории отметил «вымысел о семи спящих отроках, воображаемое существование которых совпадает

¹⁸ *Crevier*. Histoire des empereurs romains. Nouv. éd. Paris, 1774, t. 11, p. 239—445.

¹⁹ *Ibid.*, p. 276.

²⁰ *Ibid.*, p. 277 e. suiv. — Ср. у Кюхельбекера строфы 15—16.

²¹ «Зверского Деция» в поэме Кюхельбекера упоминает Диоклетиан (строфы 33 и 49).

²² *Кюхельбекер В. К.* Лырика и поэмы, т. 1, с. 463.³

²³ *Koch J.* Die Siebenschläferlegende, ihr Ursprung und ihre Verbreitung. Leipzig, 1883, S. 192.

с царствованием императора Феодосия (младшего) и завоеванием Африки вандалами». Гиббон кратко пересказал эту легенду, придерживаясь той ее редакции, которая в конце VI в. переведена была с сирийского языка на латинский по заказу Григория Турского («De gloria Martyrum», lib. I, cap. 95 в «Bibliotheca Patrum», t. 11), занесена была в «Летописи» патриарха Евтихия и в «Золотую легенду» (Legenda Aurea) Якоба де Ворaginiе. Во время жестоких гонений на христиан императора Декия, повествует Гиббон, семь знатных эфесских отроков укрылись в обширной пещере под соседней горой. Желая, чтобы они там погибли, тиран приказал завалить вход в пещеру громадными камнями. Отроки тотчас же впали в глубокий сон, чудодейственным образом не прерывавшийся без всякого вреда для их жизненных сил в течение ста восьмидесяти семи лет. К исходу этого времени рабы некоего Адолия, которому эта гора досталась по наследству, увезли камни, понадобившиеся для постройки; тогда солнечный свет проник и семь отроков проснулись. После сна, продолжавшегося, как им казалось, лишь несколько часов, отроки почувствовали голод и решили, что один из них, по имени Ямвлих, тайком проберется в город, чтобы купить хлеба для товарищей. Придя в Эфес, Ямвлих не узнал города, столь хорошо некогда ему известного: удивление его еще больше усилилось, когда он увидел большой крест, водруженный над главными воротами Эфеса. Странная одежда Ямвлиха и устарелый язык, на котором он пытался объяснить, очень смутили пекаря; когда же Ямвлих подал в качестве платы за хлеб древнюю монету времен Декия, пекарь заподозрил его в разграблении спрятанного сокровища и отвел к судье. На допросе и открылось, что прошло около двух столетий с тех пор, как семеро отроков спаслись в пещере от ярости тирана-язычника. «И епископ Эфесский, и духовенство, и должностные лица, и народ, и, как утверждают, сам Феодосий — все поспешили посетить пещеру семи отроков, которые всем дали свое благословение, рассказали свою историю и вслед за этим тихо скончались», — заключает свой пересказ Э. Гиббон. Далее он характеризует чрезвычайную распространенность легенды, в том числе за пределами христианского мира: она попала в Коран, была усвоена и расцветена народами, исповедующими магометанство, от Бенгалии до Африки; различные варианты легенды встречаются в календарях римском, абиссинском и русском; предание было известно лангобардам и англосаксам; следы его обнаружены были даже на самых отдаленных окраинах Скандинавии.²⁴

Впоследствии возникновение и распространение легенды были хорошо изучены в многочисленных специальных работах, с не-

²⁴ Gibbon Edward. History of the Decline and Fall of the Roman Empire. Leipzig, 1821, vol. 6, p. 27—31. — См. также русский перевод, сделанный с английского издания 1877 г. с дополнениями Гизо, Венке, Шрейтера и др.: История упадка и разрушения римской империи / Пер. В. Н. Неведомского. М., 1884, ч. 3. с. 556—558.

сомнением установивших сирийское происхождение легенды²⁵ и разнообразные перекрестные пути ее странствований по всему миру.²⁶

Откуда легенду о спящих отроках мог знать Кюхельбекер? У нас нет никаких данных о том, читал ли он труд Э. Гиббона, хотя, как известно, этот труд был хорошо известен Пушкину и его русским современникам и декабристам.²⁷ Не сохранилось также никаких данных о том, мог ли Кюхельбекер знать многочисленные другие, очень разнообразные источники конца XVIII—начала XIX в., из которых можно было извлечь общие очертания этой легенды, вроде, например, «Церковной истории» Иоганнеса Шрёка (*Schröckh, J.-M. Kirchengeschichte, Bd 4, S. 191—210*) и «Новых восточных сказок» графа Келюса или немецкого перевода персидских сказок «Тути-Намэ».²⁸ Легенда о спящих отроках была очень популярна в немецкой литературе XVIII в.; нарек на нее содержится, в частности, в словах Саладина у Лессинга в «Натане Мудром» (д. IV, сц. 4), в стихах Рюккерт,²⁹ она изложена в «Легендах» Козегартена (1816) и т. д. Едва ли мы, однако, ошибемся, если предположим, что Кюхельбекер знал эту легенду из небольшой поэмы Гете «*Sieben Schläfer*» (1814—1815), составляющей

²⁵ *Аттая М. О.* Легенда о семи спящих отроках и ее арабские версии. — Древности восточные. Труды восточной комиссии имп. Моск. археологического о-ва. М., 1913, т. 4, юбил. вып., посвящ. акад. Ф. Е. Коршу, с. 1—71. См. также: *Ryssel V.* Syrische Quellen abendländischer Erzählungstoffe, II. Die Siebenschläferlegende. — Archiv für das Studium der Neueren Sprachen und Literaturen, 1894, Bd 93, S. 241; 1895, Bd 94, S. 369.

²⁶ *Koch J.* Die Siebenschläferlegende. . . ; *Huber P. Michael.* Die Wanderlegende von den Siebenschläfern. Leipzig, 1910; *Baring-Gould S.* Curious Myths of the Middle Ages. London, 1881, p. 93—112; «Семь спящих отроков Эфесских»: *Крымский А.* Общий историко-литературный очерк сказания; *Аттая М., Крымский А.* Переводы арабских версий VII—XIII вв. — Труды по востоковедению, изд. Лазаревским Ин-том восточных языков. М., 1914, вып. 41; *Вагнер Г. К.* 1) Легенда о семи спящих эфесских отроках и ее отражение во Владимиро-Суздальском искусстве. — Византийский временник, М., 1963, т. 23, с. 85—88; 2) Скульптура Владимиро-Суздальской Руси. М., 1964, с. 66—70, и др.

²⁷ Пушкин имел в своей библиотеке труд Гиббона во французском переводе 1828 г. (первое франц. изд. — 1812); он упоминает Гиббона в «Евгении Онегине» (гл. 8, строфа XXXV), в прозаических статьях и др. См.: *Толмашевский Б.* Заметки о Пушкине. — В кн.: Пушкин. Временник Пушкинской комиссии. М.; Л., 1939, вып. 4—5, с. 484. — Во время пребывания декабристов в Сибири, по сообщению А. П. Беляева, несколько человек (Н. Киреев, П. Борцов и др.) предприняли перевод труда Э. Гиббона (см.: Литературное наследство, т. 59, с. 738 и 744); ср. также *Волк С. С.* Исторические взгляды декабристов. М.; Л., 1958, с. 204—205.

²⁸ *Koch J.* Die Siebenschläferlegende. . . , S. 186; *Comte Caylus.* Les nouveaux contes orientaux. Amsterdam, 1786, p. 12—63; *Histoire de Karkinos et des Sept Dormans.* — Перепеч. в кн.: *Schmidt F. W.* Sammlung französischer Schriftsteller aus dem XIX. Jahrhundert in das XIII. Jahrhundert zurück. Berlin; Stettin, 1813, S. 75—105; *Kosegarten G. L. Th.* Legenden. Berlin, 1816, II, S. 145—156 (источник: «*Legenda aurea*»); ср.: *Koch J.* Die Siebenschläferlegende. . . , S. 195); *Iken C. J. Ludwig.* Touti Nameh, eine Sammlung persischer Märchen. Stuttgart, 1822, S. 288—311.

²⁹ *Damentaschenbuch* von 1822, S. 139 (*Koch J.* Die Siebenschläferlegende. . . , S. 142—195.)

предпоследнее стихотворение из двенадцатой книги его «Западно-восточного Дивана», озаглавленной «Хульд-Намэ, или Книга рая».

Известно, что с юных лет Кюхельбекер был очень увлечен творчеством Гете, провозглашая немецкого писателя своим «идеалом» и образцом. Впоследствии, когда он охладел к нему («Царствование Гете кончилось над моею душою», — гласит запись его дневника от 27 марта 1840 г.), Кюхельбекер даже считал, что именно он сам явился причиной известности Гете в русской литературе как его деятельный популяризатор.³⁰ Хотя это было явное самообольщение, но Кюхельбекер все же действительно много писал о Гете в своих критических статьях, заметках и своим и чужим переводам его произведений и т. д. В 1820 г., находясь за границей, Кюхельбекер ездил в Веймар, виделся и сблизился с Гете, беседовал с ним о немецкой и русской литературе, получил от него в подарок книгу и обратился к нему с письмом, в котором именовал Гете «учителем, коему столь многим обязан в воспитании своей души»; тогда же Кюхельбекер посвятил Гете восторженное стихотворение «К Промефею»³¹ и послал ему еще из Франкфурта его русский текст, сопровождаемый подстрочным немецким переводом. Стихотворение кончалось так:

Песнолюбивое племя славян услышит с любовью
Арфу, которую ты в светло-святыи часы
Подал юности мне — и буду тобою бессмертен.
О, прими ж, Промефей, все мое лучшее в дар —
Не удивленью одно, но любовь и звуки прелестные
Робких еще, но тобой смело настроенных струн!

«Во всей литературе русского гетеанства, — справедливо замечает С. Н. Дурылин, — нет более страстного и пламенного изъяснения любви и приверженности к великому немецкому поэту, чем этот эллинизированный дифирамб Кюхельбекера в честь Промефея-Гете».³²

К середине 20-х гг. относится пристальный интерес Кюхельбекера к «Западно-восточному Дивану» Гете, появившемуся в 1819 г. В глубокой заинтересованности этим произведением Кюхельбекер не был одинок, имея немало единомышленников среди современных ему русских литераторов. В середине 20-х гг. эта литературная новинка привлекла у нас большое внимание. Успех «Дивана» у русских переводчиков, отметил В. М. Жирмунский, становится понятным на фоне увлечения романтическим ориентализмом, основу которого заложили у нас произведения Байрона, Т. Мура и переводы «с арабского» (из Корана), с персидского и др., появлявшиеся в журналах и альманахах этих годов.³³ В 1825 г.

³⁰ Кюхельбекер В. К. Путешествие. Дневник. Статьи, с. 377.

³¹ О Кюхельбекере и Гете см. шестую главу в исследовании С. Н. Дурылина «Русские писатели у Гете в Веймаре» (Литературное наследство. М., 1932, т. 4-6, с. 374—393).

³² Там же, с. 384.

³³ См.: Жирмунский В. М. Гете в русской литературе. Л., 1982, с. 100—102.

Кюхельбекер составил конспект к «Западно-восточному Дивану», занеся в свою рабочую тетрадь имена, хронологические даты и заметки, извлеченные из прозаического комментария Гете к стихотворениям «Дивана» («Noten und Abhandlungen zu besserem Verständnis des West-Östlichen Divans»).³⁴ Хотя в годы турьмы и ссылки творчество Гете постепенно утрачивало для Кюхельбекера былое значение, но этот процесс происходил очень медленно; с другой стороны, возбужденный в нем «Диваном» интерес к восточной поэзии получал постоянные подкрепления и достигал самостоятельного значения. «Россия, — писал Кюхельбекер, — по самому своему географическому положению могла бы присвоить себе все сокровища ума Европы и Азии. Фердоуси, Гафис, Саади, Джами ждут русских читателей».³⁵ Любопытно, что о «Западно-восточном Диване» Кюхельбекер вспоминал еще в декабре 1834 г., читая стихотворения Г. Р. Державина: в некоторых из них ему почудилось «что-то восточное, что-то напоминающее „Ost-westlicher Divan“ Гете»³⁶ (следовало сказать: «West-Östlicher»). Как видно из дневника Кюхельбекера, в Свеаборге у него находились какие-то сочинения Гете, пополнившиеся еще несколькими томами в мае 1834 г.³⁷ «Кто не знает наизусть волшебных сказок и баллад Гете?» — спрашивал Кюхельбекер в статье «Поэзия и проза», посланной Пушкину для «Современника» при письме от 3 августа 1836 г.³⁸

Таким образом, не может быть никакого сомнения в том, что Кюхельбекер знал стихотворение Гете «Sieben Schläfer», вошедшее в «Книгу рая» («Западно-восточного Дивана»). Это стихотворение написано Гете между декабрем 1814 и маем 1815 г. и опубликовано в «Диване» в 1819 г. Гете воспроизводит ту редакцию легенды о семи спящих отроках, которая занесена в «Коран» (18-я сура), но ему была известна также арабская версия, воспроизведенная в венских «Fundgruben».³⁹ Одна из особенностей

³⁴ Кюхельбекер составил краткий конспект лишь первой части гетевских «Noten», касающихся истории арабской и персидской поэзии (с начала до главы «Джами» включительно); конспект этот (с воспроизведением факсимиле рукописи) напечатан в указанном томе «Литературного наследства» (4-6, с. 663—666). В недавнем русском переводе извлечения из «Примечаний и заметок для лучшего понимания „Западно-восточного Дивана“ Гете» появились в журнале «Проблемы востоковедения» (1960, № 3, с. 185—197). См. о них новую работу: *Lenz W. Goethes „Noten und Abhandlungen zum West-östlichen Divan“*. Hamburg, 1958.

³⁵ Кюхельбекер В. К. Путешествие. Дневник. Статьи, с. 458.— Запись от 1 января 1832 г. свидетельствует о знакомстве поэта-декабриста с «Шах-Намэ» Фирдоуси (там же, с. 76). Стоит отметить, что в посланном Б. Г. Глинке 21 декабря 1833 г. «небольшом списке тех книг, которые бы мне хотелось прочесть», Кюхельбекер называет и «Шах-Намэ» (в переводе с персидского) и, сверх того, «перевод „Корана“ на каком-нибудь известном мне языке» (Литературное наследство, т. 59, с. 418—419).

³⁶ Кюхельбекер В. К. Путешествие. Дневник. Статьи, с. 343.

³⁷ Там же, с. 311 (запись от 27 мая 1834 г.).

³⁸ Литературное наследство, т. 59, с. 394.

³⁹ *Fundgruben des Orients* / Bearb. durch eine Ges. von Liebhabern. Wien, 1813, Bd 3, S. 347—381. — Об этой версии, представлявшей собою

этой версии и обработки Гете та, что количество уснувших в пещере эфесских отроков не семь, а шесть:

Sechs Begünstigte des Hofes
Fliehen von des Kaisers Grimme, —

говорится в начальных стихах гетевского стихотворения; седьмым же, уснувшим вместе с ними, является пастух:

... die zarten
Leicht beschuht-bepuzten Knaben
Nimmt ein Schäfer auf, verbirgt sie
Und sich selbst in Felsenhöhle.

(v. 19—22)

Хотя в изложении событий легенды о спящих отроках Гете близко придерживался ее арабских версий, но в своей интерпретации и поэтической обработке легенды он проявил также и самостоятельность. В особенности своеобразно проникающей ее тенденции чувствуется в контексте всей «Книги рая», где «Семь спящих» помещены в конце и как бы подчеркивают ее основную тему. Комментаторы Гете отмечают, что тема «рая» — одна из важнейших в «Западно-восточном Диване». Задумавшись над тем, кто достоин рая, Гете как бы отвечает: только боец; им должен быть и поэт, если он ищет бессмертия. Дальнейшее развитие темы рая мы находим в поэтической переработке легенды о спящих отроках. «Символика легенды в „Диване“ очевидна, — замечает новейший исследователь; избранный «отрок» — сам поэт. Он подобен Эпимениду, полстолетия прославшему в зачарованной пещере и вышедшему из нее с окрепшим даром прорицателя. Обновленный, «омоложенный» и «вновь рожденный», он приносит народу открытую им истинную «мудрость Востока».⁴⁰

Действительно, на стихотворение Гете «Семь спящих» оказала несомненное влияние античная легенда об Эпимениде, в которой с давних пор усматривают одно из ранних звеньев в общей цепи сказаний о чудесном долголетнем сне, восходящих к мифологической и культурной поэзии. Легенда о прорицателе Эпимениде из Крита пользовалась известностью в Европе; уже в XVII в. ученые-классики сопоставили ее (по изложению у Плиния, Аполлония и Диогена Лаэртского) с более поздним преданием об Эфесских отроках.⁴¹ Античную легенду обработал и Гете в «праздничном представлении» «Пробуждение Эпименида» (1814), полным намеком на современные ему политические события: взятие Парика союзными войсками, деятельность «Тугендбунда» и т. д. Пер-

контaminationю нескольких других редакций, и знакомстве с ними Гете см.: Koch J. Die Siebenschläferlegende, S. 143—151, 194. — Гонимелем отроков здесь является Dekianus, а действие происходит в Эфесе.

⁴⁰ Кессель Л. М. Западно-восточный синтез в гетевском «Диване». — Народы Азии и Африки, 1963, № 2, с. 125.

⁴¹ См.: Koch J. Die Siebenschläferlegende. . . , S. 186 etc., со ссылкой на книгу: Heinrich C. F. Epimenides aus Kreta. Leipzig, 1801.

вое представление этой пьесы состоялось 30 марта 1815 г. в Берлине, но сюжет ее Гете изложил годом раньше, в программе 1814 г., незадолго до того, как он начал работу над стихотворением «Семь спящих», — «Пробуждение Эпименида» («Des Epimenides Erwachen»), которая безусловно оказала воздействие на «Семь спящих». В указанной программе своей пьесы Гете так излагал ее сюжет: «Эпименид, сын одной нимфы, родившийся на острове Крит, пас отцовские стада. Однажды в поисках пропавшей овцы он заблудился и попал в какую-то пещеру, где он был объят внезапно сном. И этот сон продолжался сорок лет. Когда он снова проснулся, то нашел все изменившимся; однако он был снова узнан своими. Весть об этом чудесном сне распространилась по всей Греции, его стали считать любимцем богов и просить у него совета и помощи». В своей пьесе Гете изобразил, что Эпименид был погружен в сон вторично, чтобы не переживать несчастного времени, а также для того, чтобы получить дар прорицателя.⁴²

Стоит отметить, что в одном из писем племяннице из Свеаборга (от 27 апреля 1834 г.) Кюхельбекер уподобил себя Эпимениду, о котором знал несомненно из указанного выше произведения Гете.⁴³ Откликаясь на призыв произнести свое суждение о посылаемых изгнаннику литературных новинках, Кюхельбекер писал: «Я человек давно прошедшего времени; впрочем, разберя все-таки пришло и даже позволяю тебе показать его братцам. Пусть они позабавятся над Эпеминидом (sic!), который спросонья будет им обсуживать явление такого времени, коего рождение он, правда, подозревал, но при развитии коего он уже спал мертвым сном!».⁴⁴ Приведенные слова свидетельствуют о том, что Кюхельбекеру мог быть понятен и символизм гетевского стихотворения «Семь спящих». Невозможно, вероятно, отрицать также подразумеваемый смысл его собственной поэмы «Семь спящих отроков», однако его следует воспринимать без всякой связи с Гете, стихотворение которого «Sieben Schläfer» было для Кюхельбекера лишь поводом для самостоятельной обработки сюжета. В обоих произведениях — Кюхельбекера и Гете — нет и более частных совпадений, кроме общих очертаний древней легенды. В пору создания своей поэмы у Кюхельбекера не было под рукой ни исторических источников о гонениях на христиан при поздних римских императорах, ни, вероятно, текста стихотворения Гете; сюжет легенды, некогда вычитанный им из «Западно-восточного Дивана», Кюхельбекер расцветил заново подробностями, которые подсказывала ему память о его прошлых чтениях.

⁴² Гете И. В. Собр. соч.: В 13 т. М.; Л., 1933, т. 4, с. 500.

⁴³ О «Пробуждении Эпименида» как о типичной пьесе «на случай» Кюхельбекер довольно сурово отозвался в письме к матери 28 июня 1834 г., признавая, впрочем, что «к огромному таланту Гете» он всегда будет испытывать «величайшее уважение» (Литературное наследство, т. 59, с. 426—429).

⁴⁴ Декабристы / Под ред. Н. П. Чулкова, М., 1938, с. 171.

ФРАНЦУЗСКАЯ ПОЭМА 1836 г. О „КИРГИЗАХ“ И ЕЕ АВТОР

Наданная в 1836 г. в Париже под именем К. Клермонт поэма в четырех песнях «Владимир и Зара, или киргизы», сколько знаем, еще не привлекала к себе внимания филологов.¹ Названная у нас впервые более ста лет тому назад в каталоге известного собрания «Россики» Публичной библиотеки в Ленинграде,² эта поэма была упомянута затем в справочнике В. И. Межова,³ но без всяких пояснений. С тех пор о ней ничего не сообщалось в литературе о тюркоязычных народах. Между тем это произведение заслуживает изучения не только по своему реальному этнографическому колориту, но и по примечательной биографии автора, скрывавшегося под псевдонимом, разгаданным лишь недавно.

Остановимся на этом псевдониме, ибо только знакомство с действительным создателем «Владимира и Зары» дает возможность судить до известной степени о времени и месте ее написания.

В книгах о Дж. Г. Байроне и П.-Б. Шелли издавна можно было встретить имя Клер Клермонт (1798—1879), женщины необычной судьбы, многими узлами связанной с обоими поэтами и рядом других английских литераторов первой четверти XIX в. В течение всего этого столетия жизнь ее была плохо известна. Мы теперь знаем, что Клер Клермонт была падчерицей английского философа и писателя Вильяма Годвина (1756—1816), дочерью его второй жены, Мери Джейн Клермонт, на которой он женился в 1801 г. после смерти своей первой жены, Мери Уолстонкрафт. У Мери Джейн Клермонт было двое маленьких детей (Клер и Чарлз), когда она вышла замуж за Годвина. Клер и ее сводная сестра Мери Годвин были однолетками, воспитывались вместе и стали близкими подругами, живя вместе долгие годы и после того, как Мери Годвин вышла замуж за поэта П.-Б. Шелли. В 1815 г. К. Клермонт познакомилась с уже заслужившим известность поэтом — Байроном. В 1817 г. у Клермонт и Байрона родилась дочь Аллегра, в судьбе которой большое участие приняла чета Шелли. Когда Мери и Перси-Биши покинули Англию и уехали в Швейцарию, за ними туда же отправилась и Клер Клермонт. Вскоре к ним присоединился и Байрон, такой же недобровольный изгнанник, оклеветанный на родине, каким был и Шелли. Однако Байрон скоро уехал из Швейцарии в Италию к друзьям-карбонариям, Аллегра же, которую он отнял у Клер и поместил на воспитание в монастырь близ Равенны, вскоре (19 апреля 1822 г.) умерла, едва достигнув пяти лет. Несколько месяцев спустя (8 июля того же 1822 г.) Шелли утонул в Средиземном море, а еще два года

¹ *Clairmont C. Vladimir et Zara ou les Kirguises: Poème en quatre chants. Paris, 1836.*

² *Catalogue de la section de Russica ou écrits sur la Russie en langues étrangères. St. Petersburg, 1873, t. 1, p. 232, N 745.*

³ *Межов В. И. Сибирская библиография. СПб., 1892, т. 3, с. 241 (№ 2514).*

слуптя, в апреле 1824 г., Байрон умер в Греции. Вдова Шелли, Мери, и Клер Клермонт остались в Италии, живя вместе в вынужденной, а временами и искусственно создаваемой безвестности, в узком кругу друзей или близких родственников, знавших их прошлое и «карбонарские» взгляды.

В конце 1824 г. благодаря знакомству с русскими, жившими в Пизе и Флоренции, Клер Клермонт приняла приглашение стать гувернанткой в Москве в богатой семье. Здесь в нескольких аристократических домах она жила около трех лет (1825—1828), тщательно скрывая свое прошлое и свою близость к «опасным» писателям Англии, атеистам и носителям революционного духа — Годвину, Байрону, Шелли и другим. Даже переписку свою с семьей Шелли и его друзьями она вела не прямо, а через посредство музыкального магазина Ленгольда в Москве. Среди ее московских друзей был, вероятно, лишь один человек, который знал многое, если не все то, что связывало ее с видными английскими поэтами эпохи романтизма. Это был Германн Гамбс — французский поэт, живший с ней в Москве в одном доме, — автор поэмы «Владимир и Зара» и других произведений на французском языке, напечатанных во Франции под псевдонимом «К. Клермонт», присвоенным им, вероятно, без ведома посетительницы этого имени. Но в 1827 г. Гамбс уехал из Москвы, а в 1828 г. уехала сама Клер Клермонт вместе с семьей П. С. Кайсарова и в Россию более не вернулась. Дальнейшая ее жизнь известна нам мало. С годами К. Клермонт все более замыкалась в себе и порвала связи со многими старыми друзьями. Она поселилась во Флоренции, приняла католичество и жила уединенно вместе с племянницей, Полиной Клермонт (дочерью ее брата, поселившегося в Вене), существуя на деньги, завещанные ей еще Перси-Биши Шелли, но полученные ею только после смерти его отца.

Среди бумаг, оставшихся после смерти Клер Клермонт в руках ее племянницы, были автографические рукописи Шелли, переписка и ее собственные дневники (с 1814 по 1827 г.), представляющие собою очень ценный исторический источник. Дневники содержат много данных об английских писателях эпохи романтизма, в частности о Шелли и его кружке, об англо-итальянских связях в эпоху карбонаризма и греческого востания; для нас особое значение имеют два дневника за 1825—1827 гг., относящиеся ко времени пребывания К. Клермонт в Москве. Они очень подробны и воссоздают культурную жизнь Москвы 20-х гг. Кое-какие извлечения из этих дневников начали появляться еще в конце 80-х гг. XIX в., но в полном виде все шесть дневников (из которых от дневника 1827 г., погибшего безвозвратно, сохранились лишь копии нескольких отрывков) были изданы в 1968 г.⁴ В этом

⁴ The Journals of Clare Clairmont / Ed. by Marion Kingston Stocking. Cambridge (Mass.), 1968. Подробнее о Клер Клермонт см. в кн.: Литературное наследство, т. 91. Русско-английские литературные связи (XVIII век — первая половина XIX века): Исследование академика М. П. Алексеева. М., 1982, с. 469—573.

издании мы находим некоторые данные об авторе поэмы «Владимир и Зара».

Как видно из первого московского дневника 1823 г. и других документов, весной этого года Клер Клермонт поселилась в доме З. П. Посникова, видного московского чиновника, сенатора, жеманного на М. И. Архаровой. Богатый дом Посниковых отличался гостеприимством и хлебосольством.

У Посниковых было двое детей. Клер Клермонт была гувернанткой шестилетней Дуни, у которой был десятилетний брат Ваня (или Джонни, как его обычно называли). При Ване был особый гувернер — Германи Христиан Гамбс. Биография этого несомненно незаурядного человека воссоздается с трудом; она известна, к сожалению, лишь в отрывочных и случайных эпизодах, сохраненных в письмах и мемуарах той поры. Характеристику его Клер Клермонт дала в письме из Москвы от 22 октября к своей приятельнице по итальянскому кружку Шелли — Джейн Вильямс. «Недавно, — писала Клер, — я познакомилась с одним немецким джентльменом, который является настоящим сокровищем для меня (собственно «великим прибежищем» — *Great resource*). Его развитый ум напоминает мне людей нашего прежнего кружка: он имеет широкий кругозор и благородный образ мыслей. Ты можешь представить себе, с каким восторгом он обрел здесь меня, столь отличную от тех, кто его окружает, способную понять то, что так долго теснилось в его уме <...> Я рассказываю тебе о нем свободно, потому что уверена, что ты не подумашь, будто я в него влюблена или что я питаю к нему какое-либо другое чувство, кроме чувства искренней и непоколебленной дружбы». К этому Клер прибавила еще одну, но, может быть, самую ответственную фразу — «То, что я чувствовала к Шелли, я теперь чувствую к нему» — и продолжала: «Чувствую, что я должна также сообщить тебе, что у меня есть настоящий друг: в случае моей болезни или смерти, которые могут со мной приключиться, вы, для утешения, сможете по крайней мере узнать, что я скончалась не на руках иностранцев. Я часто говорю с ним о вас всех, и о Мери (Шелли), до того, что его желание увидеть вас превратилось в настоящую страсть. Он, как все немцы, очень сентиментален, имеет очень мягкий характер и отличается редким благородством. Привязанность его ко мне чрезвычайна, но я должна была употребить огромный труд для того, чтобы объяснить ему, что я сама не смогу возратить себе состояние своих чувств до такой же степени, что, кажется, не сделало его несчастливим, вследствие чего это имеет для нас обоих крайнюю важность».⁵ Это доверчивое признание представляет значительный интерес для понимания отношений, сложившихся между К. Клермонт и Гамбсом; не забудем, впрочем, что оно относится к первым месяцам их знакомства.

⁵ *Marshall J. The Life and Letters of Mary Wollstonecraft Shelley. London, 1889, vol. 2, p. 145—146.*

Лето 1825 г. семья Посниковых вместе со всей челядью, гувернером и гувернанткой жила на своей подмосковной даче в Иславском Звенигородского уезда. Клер Клермонт и Германи Гамбс много времени проводили вместе в далеких прогулках по берегам Москвы-реки, устраивали увеселительные поездки в соседние имения, развлекались домашним театром и концертами в присутствии многочисленных гостей. Инициаторами и непременными участниками всех дачных игр и развлечений были Гамбс и Клермонт — они пели оба, читали стихи. Это были для Клермонт месяцы, когда она могла считать себя почти счастливой; неудивительно, что Гамбс, под своим именем или под кличками «Ми-Джи» (M. G.), Ya-Yan и т. д. упоминается по несколько раз на каждой странице дневника К. Клермонт. Очевидно, Г. Гамбс немало рассказывал о себе; без этих многочисленных упоминаний издательнице дневников Клер трудно было бы изложить сообщенную ею биографию Гамбса (краткую и со многими значительными лакунами).⁶ Мы сообщим здесь только несколько собранных ею фактов, необходимых для последующего изложения.

Германн-Христиан Гамбс (Gambbs) был сыном страсбургского пастора Карла Христиана Гамбса (1759—1822). Старый Гамбс между 1784 и 1806 гг. жил в Париже, являясь капелланом шведского посольства в Париже, затем пастором в Бремене (между 1807 и 1814 гг.); после падения Наполеона он до конца жизни снова служил пастором в родном ему Страсбурге. О его старшем сыне Германне мы знаем значительно менее. Известно лишь, что родился он в Париже (до 1806 г.) и что в семье пастора, кроме него, были еще две сестры (Ида и Генриетта) и маленький брат, в год смерти их отца бывший еще школьником.⁷ Как Германи попал в Россию, остается неизвестным; единственный намек на то, как и когда Германи, уехав из Страсбурга, оказался в Москве, содержится в записи К. Клермонт от 24 мая (5 июня) 1825 г. В этот день на даче у Посниковых Клер долго беседовала с Гамбсом во время прогулки: «Гамбс, — рассказывает она, — описывал придворную жизнь в Веймаре и глушь (the savage life) в Саратове, где в течение четырех лет он был как бы заживо похоронен в сельской местности, когда он позволял себе лишь одно развлечение — изо дня в день охотиться в окрестных бескрайних степях».⁸ Из этого можно заключить, что приблизительно в год смерти отца или незадолго до этого Германи Гамбс принял предложение стать гувернером или преподавателем языков в какой-то помещичьей семье, жившей в имении Саратовской губернии. Несколько других столь же случайных сведений о Гамбсе до его поселения в семье Посниковых (в 1825 г.) можно извлечь из столь же случайных и разновременных записей дневника Клер: так, она од-

⁶ The Journals of Claire Clairmont, p. 299—300.

⁷ Ibid., p. 299.

⁸ Ibid., p. 316.

нажды слушала его рассказы о студенческих годах, проведенных им в Страсбургском университете.⁹

Еще меньше знаем мы об отъезде Гамбса из Москвы в 1827 г. Годы 1825—1826 были временем наибольшей и самой искренней дружбы Клер Клермонт с Г. Гамбсом. Никто из них не предполагал тогда, что не пройдет и года, как они должны будут расстаться навсегда. Почему это случилось, можно только догадываться: несчастье в семье Посниковых (смерть их маленькой дочери), изменения в московском обществе после многочисленных арестов в связи с судом над декабристами (с некоторыми из них Гамбс был близок) и т. д. приблизили его решение уехать из Москвы. Об этом отъезде мы также имели свидетельство К. Клермонт в письме к Джейн Вильямс (судя по почтовой марке и штемпелю, отосланному 23 января 1827 г.), в котором говорится, что Гамбс покинул Москву и уехал «в глубь страны» весной 1826 г. сроком на пять лет.¹⁰ Из этого очень неточного свидетельства можно вывести заключение, что Гамбс принял предложение уехать в качестве гувернера или домашнего учителя; выражение «в глубь страны» следует истолковать в том смысле, что местожительством Гамбса после Москвы стала какая-либо местность возле Омска в Западной Сибири: такое предположение напрашивается в связи с изданной Гамбсом в Париже поэмой «Владимир и Зара, или киргизы».

Переписка между Клер и Гамбсом не прервалась и после их разлуки, когда сама Клер покинула Россию. Мы узнаем об этом из очень интересного письма Клер к Мери Шелли из Ниццы от 11 декабря 1830 г. В этом письме К. Клермонт обращалась к сводной сестре с просьбой помочь Гамбсу найти в Париже издателя его поэмы «Моисей», рукопись которой он уже послал во Францию.¹¹ Хотя хлопоты эти затянулись на несколько лет, но в конце концов они увенчались успехом: «Моисей» был издан в Париже в 1836 г. тем же Госселеном, который незадолго до того издал поэму «Владимир и Зара».

Поэму в двенадцати песнях «Моисей» Г. Гамбса Клер знала сама, так как автор давал ей читать рукопись, а отрывки из произведения читал вслух на даче у Посниковых; об этих чтениях свидетельствует дневник Клер 1825 г. Поэму «Владимир и Зара» К. Клермонт, однако, не могла знать, так как она была написана Гамбсом уже после отъезда из Москвы в азиатскую Россию. Так как подлинный автор скрывался под ее именем — и, вероятно, без ее разрешения, — Гамбс в стихотворном предисловии

⁹ Ibid., p. 309.

¹⁰ Marshall J. The Life and Letters of Mary Wollstonecraft Shelley, vol. 2, p. 160.

¹¹ Moïse. Paris. 1836. — О последовательности издания трех поэм Гамбса (все изданы тем же издательством Госселена с именем автора: С. Clairmont) свидетельствует то, что на задней обложке «Владимира и Зары» объявлено о скором выходе в свет двух последующих «печатающихся» поэм того же автора: «Измаил» и «Моисей».

как бы испрашивал прощение у К. Клермонт за самовольное присвоение ее имени:

Я не решаюсь назвать вас на глубины моего далека
(собственно: отозвания).
Мое сердце полно вами, но мои уста молчат.
Вы сами от меня (моим голосом) не узнаете.
Что навсегда моя муза как бы приобрела ваши черты.¹²

Эти стихи — не единственные в произведениях Г. Гамбса, в которых содержатся более или менее зашифрованные автобиографические намеки на подлинного автора и на выбор им псевдонима.¹³ Дальнейшая жизнь Гамбса также известна нам мало. По-видимому, с конца 30-х гг. он снова жил в Страсбурге, потом, подобно своему отцу, занимал должность пастора в сельской местности и умер в 1886 г.

Обратимся теперь к интересующему нас произведению «Владимир и Зара». Знакомство с ним не оставляет сомнений, что перед нами — очень типичная романтическая поэма, по своему сюжету и стилю очень близкая русским поэмам первой четверти XIX в.; кроме того, она могла быть написана только на месте действия, так сильно и отчетливо проступает в ней сквозь условные традиционные черты местный колорит.

Поэма «Владимир и Зара» состоит из четырех песен. Им предшествует «Прелюдия» (Prélude, p. 6—88), род стихотворного предисловия философско-эстетического содержания, в котором излагаются и определяются основные положения о соотношении искусства и действительной жизни, на основе которых написано это произведение. Далее следует сама поэма; каждая песня ее имеет особое заглавие: I. Пленник (Le Captif, p. 29—53); II. Кочевники (Les Nomades, p. 57—100); III. Степь (La steppe, p. 100—139); IV. Бегство (La fuite, p. 140—169).

Как видно уже из этих заглавий, сюжет поэмы «Владимир и Зара» в своем основном очертании не отличается особой новизной; это один из вариантов, притом поздних, «Кавказского пленника» Пушкина. В 1828 г. в Москве вышла поэма Н. Муравьева «Киргизский пленник»¹⁴ — одна из самых ранних попыток романтической разработки темы русско-казахских связей, как ее характеризует М. И. Фетисов, отмечающий попутно, что «для 20-х гг.

¹² Vladimir et Zara ou les Kirguises. Paris, 1836, p. 2. — Я пользовался экземпляром, хранящимся в Государственной Публичной библиотеке им. Салтыкова-Щедрина в Ленинграде (шифр: 13.VIII.10.136), на обложке которого сделана дарственная надпись: «Offert à Monsieur Th. Thurncissen par l'Auteur». Других произведений Гамбса, изданных под тем же псевдонимом, в Ленинграде не имеется (впрочем, они очень редки; M. K. Stocking в своем издании «Дневников» К. Клермонт называет еще ряд его произведений, из которых не всеми располагает даже Национальная библиотека в Париже). Среди них «Oeuvres poétiques de C. Clairmont» (3 vols. Paris. Renouard); «Poésies fugitives, recueillies par ses amis de Strasbourg» (1838). Для нас все эти издания были недоступны.

¹³ The Journals of Claire Clairmont, p. 299—300.

¹⁴ Муравьев Н. Киргизский пленник. М., 1828.

XIX в. скромный опыт Н. Муравьева представлял известный интерес, поскольку в поэме затрагивалась тема малоизученной казахской жизни.¹⁵ Конечно, ситуации, на которых был построен сюжет «Киргизского пленника» (как и других «пленников»), нередко встречались и в тогдашней русской действительности (Н. Муравьев подчеркивал это в подзаголовке своей поэмы: «Повесть <...> взята с истинного происшествия Оренбургской линии»), но близость к поэме Пушкина подобных произведений этим отнюдь не отменялась, скорее напротив, что и подчеркивалось в русской печати тех лет. Рецензент «Сына отечества» утверждал, например, что Н. Муравьев «взял основу и содержание своей повести из „Кавказского пленника“ с тою разницей, что удалец молодой, ушед из плена, увез с собою молодую киргизку, Баяну, и женился на ней. За ними, правда, гнались киргизцы, но не догнали, и все кончилось по желанию уральца Федора, киргизки Баяны и, вероятно, самого сочинителя».¹⁶ Критик «Московского вестника», со своей стороны, настаивал на том, что поэма Н. Муравьева есть лишь подражание пушкинской: «Есть у нас „Кавказский пленник“: надо было явиться киргизскому <...> „Повесть Н. Муравьева“ также начинается описанием киргизов: есть и песня киргизская, есть битва с казаками, есть киргизка, есть любовь... все так, но конец не тот. Русский не любит черкешенку. Федор влюбился в Баяну; они убежали оба — и веселым пирком да за свадебку...».¹⁷ «Пушкин виноват в киргизских и других пленниках», — с полным основанием утверждал несколько лет спустя — в 1835 г. — Белинский.¹⁸ Против этого тезиса было бы трудно что-либо возразить, несмотря на то что подобных произведений в стихах и в прозе — даже только «киргизских» (условно)¹⁹ по своей тематике — у нас в тот период было очень много, от «Киргизского пленника (быль оренбургской линии)» Петра Кудряшева до польской поэмы Густава Зелинского «Kırgız», написанной во время ссылки автора в Ишиме.²⁰

Все произведения этого длинного литературного ряда, к которым несомненно примыкает также французская поэма Г. Гамбса «Владимир и Зара», при их сюжетной общности отличались друг от друга в одном отношении — своим локальным этногра-

¹⁵ Фетисов М. И. Литературные связи России и Казахстана 30—50-х гг. XIX в. М., 1956, с. 46.

¹⁶ Сын отечества. 1828, ч. 119, с. 402—404.

¹⁷ Моск. вестн., 1828, ч. 10, № 14, с. 170—171.

¹⁸ Белинский В. Г. Полн. собр. соч. М., 1953, т. 1, с. 133.

¹⁹ «Киргизами» (или «киргиз-кайсаками») в русской литературе XIX в. обычно называли казахов. См.: Шейман Л. А. Пушкин и киргизы. Фрунзе, 1963, с. 11—33.

²⁰ Кудряшев П. Киргизский пленник. — Отеч. зап., 1826, т. 28, с. 273—290; Одровонж-Пенёнжек Я. Пушкин и польский романтик Густав Зелинский. — В кн.: Пушкин. Исследования и материалы. М.: Л., 1958, т. 2, с. 362—368. — Подробнее о художественных произведениях, посвященных киргизам (казахам), см. в указанной выше работе М. И. Фетисова (с. 59 и след.). Ср. также: Постыков Ю. С. Русская литература Сибири первой половины XIX в. Новосибирск, 1970, с. 80—95 (Поэзия романтизма в Сибири).

фическим колоритом, то принимая его поневоле, в силу существовавшей традиции, то сознательно усиливая его до придания почти самостоятельного значения в произведении. Оценка этого колорита современниками, однако, нередко колебалась в зависимости от осведомленности их критиков: иных устраивали черты местности и экзотических нравов, хотя они и являлись только общими штампами, лишёнными своеобразия, другие, напротив, требовали более детальных описаний и характеристик в произведениях, претендующих на национальную окраску. Так, Н. Полевой в общем обзоре русской литературы за 1828 г., говоря о «Киргизском пленнике» Н. Муравьева, поднимал на смех эту поэму, в которой «козак Федор говорит киргизке: „О, дева гор“, забыв, что киргизцы живут в степях»;²¹ критику «Московского вестника», напротив, казались неуместными и неоправданными встреченные им в тексте той же поэмы экзотические слова, которые он почему-то называет «калмыцкими», к тому же придавая им произвольные значения, — такие слова как «язурен» (певольник), «калыма» (невеста) (Sic! на самом деле выкуп) и т. д.²²

Хотя подобно всем вышеназванным русским романтическим поэмам «Владимир и Зара» Гамбса, со своей стороны, также восходит к Пушкину,²³ но соотношение в ней традиционных мотивов, личного авторского вымысла и отражений реальной действительности иное, чем в предшествующих произведениях о «киргизских» пленниках; что касается «местного колорита», то в поэме он подчеркнут настолько, насколько это было возможно сделать во французских стихах, печатавшихся в Париже и рассчитанных на иностранного читателя: «экзотические» географические названия, личные имена и бытовые термины встречаются в тексте в изобилии, и некоторые из них объяснены в обстоятельных «примечаниях» (Notes, p. 171—173). Все это позволяет поставить вопрос о том, какую именно местность изо-

²¹ Моск. телеграф, 1828, ч. 20, с. 358—388.

²² Следует, впрочем, подчеркнуть, что ряд выписанных рецензентом «экзотических» слов в «Киргизском пленнике» можно продолжить. Например.:

... киргизы
О бражных сечах говорят. . .
.....
Другие в грезах роковых
Покрты чепком, спят в покое.
Иные пьют; их веселит
С кумысом тумка круговая. . .

(с. 15—16)

²³ Стоит отметить, что во второй части книги, содержащей поэму, напечатан также стихотворный перевод «Черной шали» Пушкина, сделанный Г. Гамбсом, никогда не отмечавшийся библиографами. Живя в России, Гамбс, как это видно из дневников К. Клермонт, лично знал многих русских литераторов, в частности Д. В. Веневитинова, М. П. Погодина, бывал в салоне Зин. Волконской, вероятно, имел знакомства в редакции «Московского вестника». По-видимому, он был знаком и с современной ему русской литературой.

бражает Гамбс и нельзя ли найти в его поэме какие-либо отголоски действительных событий.

Действие поэмы разворачивается на равнине между рекой Ишимом (Issim, с. 31) и цепью Алтайских гор и завершается на Иртыше, неподалеку от Омска (с. 167, 169). Каждую осень кочевники переселяются к берегу Аральского моря (Aral, с. 42, 57, 58); здесь они зимуют, а с наступлением весны снова отправляются в степь. Не только живописному, но порой даже «ботаническому» описанию цветущей степи уделено много стихов в третьей и в четвертой песнях. Во вводной части первой песни характеризуется необозримый степной простор: куда ни кинешь взор, нигде не заметно ни жнивы, ни рощи — лишь на горизонте виднеется «далекая тень, похожая на испарения Як-Нора». Это — Алтай; его горная цепь опоясывает степь с севера (с. 32). В примечании объясняется, что «Ног — означает озеро» и что «Yak Nog», собственно, означает «озеро мычащего яка». Не «Яконур» ли это, встречающийся и на современных географических картах?

Главное действующее лицо поэмы — Владимир, молодой русский офицер, случайно ставший пленником киргизов во время их набега. В неволе он стал пастухом и целые дни и ночи проводит вдали от места, где находятся юрты кочевников: вдали от Имака (à Imask — «поселок кочевников», как разъясняется в тексте, р. 172);²⁴ сторожа с двумя борзыми собаками, чужие стада. Однажды Владимир рассказывает свою жизнь подлюбившей его ханской дочери Заре. Он родился на берегу Оки (sur les rivages de l'Ossa), в ранней юности своей знал счастливые дни, почести, богатство. Отец его был заслуженный старый воинка: первые слова, заученные Владимиром в младенчестве, были — Очаков и Чесма. Но отец его был стар и скоро умер, оставив сына на руках молодой матери. Когда же сын подрос и наступила пора службы, мать отпустила его в армию. Из дальнейшего выясняется, что он принял участие в освободительной войне. Он был молод и увлечен идеей политической свободы; ему слышался призывный голос: «Дети славы! Станьте свободными, время пришло!» (с. 92—93).

Обольщенный этим небесным гласом
Я осмелюсь думать, осмелюсь говорить,
И (тогда) зловецким приказом
Я был сослан в гарнизон в Омск.

(с. 193)

Очевидно, речь идет здесь о сосланном в Сибирь декабристе после восстания на Сенатской площади.

²⁴ Очевидно, речь идет об «аймаке» в значении «общины однородцев», как это слово толкует В. И. Даль, отмечающий также: «у нас переводят волюсть; у калмыков, где народ в рабстве, аймак — вотчина дворянина» (Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка. М., 1955, т. 1, с. 7; ср.: *Ожегов С. И.* Словарь русского языка. М., 1952, с. 15).

Необычна в поэме также история Зары, дочери хана Ателя (Athel) и русской женщины по имени Ирина. Однажды в степи в густом тумане Атель встретил Ирину вместе с сопровождавшим ее мужчиной и дал им обоим приют в своих владениях. Но вскоре этот мужчина умер, и Атель взял ее в свой гарем. Подобная ситуация в настоящее время может показаться надуманной и малоправдоподобной, но в первой половине XIX в. подобные смешанные браки и возникавшие отсюда различные конфликты были нередкими и на оренбургской линии, и в Западной Сибири.²⁵

Далее события в поэме Гамбса разворачиваются весьма традиционно. В «аймаке» (т. е. «аймаке»), где живет Зара, ее хочет заполучить себе в жены охотник по имени Иргиз,²⁶ домогательства которого она резко отвергает. Но Иргиз настойчив и вошел в доверие к хану Ателю, рассказав ему о преступной любви его дочери к пленнику-иноверцу. Когда Иргиз грозит Заре мстью отца и расправой с соперником, Зара твердо заявляет, что она никогда не будет в его кибитке «расчесывать свои длинные, свисающие косы». К последнему стиху сделано примечание (с. 172), что незамужние киргизки оплетают свои косы вокруг головы, замужние же оставляют их свисающими с затылка на спину. Этот разговор предопределяет дальнейшие события. Вскоре Владимир спасает Зару от разъяренной волчицы, но сам изранен зверем. Зара ухаживает за ним и увозит его, когда весь аймак поспешно снимается с места из-за боязни надвигающейся эпидемии.²⁷

Поэма явно построена с расчетом сообщить как можно более данных о быте и нравах киргиз-кайсаков и о местностях, где они кочуют: этими соображениями предопределяется также введение в поэму ряда отдельных эпизодов. Так, после решения Владимира и Зары бежать вместе в русскую землю наперсница Зары Дехре (Dehre) поет ей песню о девушке-киргизке Эмбе, о ее неверном возлюбленном Азике — юноше из Бухары — и о трагической гибели Эмбы. Эта песня, вставленная в поэму, имеет особую строфическую форму и заглавие «Прозрачное яблоко» (La romme transparente). Задача исполнения этой песни — удержать Зару от задуманного бегства с пленником и внушить ей опасения тяжелых последствий, которые ожидают ее, если она решится покинуть родные степи. Эта песня не лишена

²⁵ М. И. Фетисов в своей книге «Литературные связи России и Казахстана» приводит ряд примеров подобных браков.

²⁶ Иргиз (Irghiz), как и встречающееся ниже женское имя Эмба (Emba), — названия рек.

²⁷ Когда Владимир спрашивает Зару, чем объясняется быстрый отъезд аймака, она отвечает, что причиной этого является «Issouah — смертоносная зараза, которая гонит нас к Аральскому морю» (с. 48). По поводу этого слова в комментарии приводится довольно длинная справка (с. 172), из которой явствует, что речь идет о маленьких мошках, «укусы их смертельны для животных и для человека, если не прижечь маленькие прыщички, возникающие на местах укусов».

изящества; однако к фольклору в собственном смысле она, по-видимому, отношения не имеет.

Гораздо интереснее у Гамбса те казахские песни-импровизации, которыми открывается вторая часть поэмы (с. 57—59). Здесь перед началом перекочевки киргиз-кайсацкие девушки и юноши перебрасываются только что сочиненными ими четверостишиями. По-видимому, Гамбс слышал о подобных играх казахской молодежи и о популярной стихотворной форме четверостиший («Кара улен»), о которой рассказывали многие русские писатели, бывавшие в Средней Азии, например В. И. Даль.²⁸ Приведем для примера первое из четырех четверостиший, включенных в поэму (два из них исполняют по очереди юноши, два — девушки):

Кайсаки пересекают равнину.
Аллах, храни своих детей.
С севера гонит их осень
Каждый год на берег Арала.

Словесная игра импровизированными четверостишиями, которыми перебрасываются юноши и девушки, как бы вводит читателя в описание быта народа (в III песне, озаглавленной «Кочевники»). Но в этой же и в следующих песнях — например, при описании флоры и фауны прииртышских степей — автор прибегает иногда даже к простым перечислениям, перегружая текст своего рода «каталогами» цветов весенней степи (с. 136 и след.) или перечнями обитающих здесь диких животных. На протяжении пятнадцати стихотворных строк здесь названы семь их видов (с. 109); при этом автор демонстрирует свое знакомство с их местными названиями. Например, говоря о диких осликах — *hemionos*, Гамбс поясняет, что он имеет в виду азиатских *dzigguetai* — «джигетаев»,²⁹ отличающихся быстротой бега, и сравнивает их с «сайгою»³⁰ и с «аргали»³¹ (с. 109); далее здесь названы также кулан и манул.³²

В этой же песне дано довольно живописное описание «бурана» (*Le Bourane*, с. 120—122), который овцы предчувствуют за сутки вперед.

²⁸ Фетисов М. И. Литературные связи России и Казахстана, с. 168.

²⁹ См. у В. Дали: «Джигитай. Сиб. кирг. ослик. *Equus hemionus*, между конем и ослом» (*Даль В. И. Толковый словарь . . .*, с. 434).

³⁰ *Даль В. Толковый словарь . . .*, т. 4, с. 129; *Радлов В. В. Опыт словаря тюркских наречий*. СПб., 1893—1911, т. 4, с. 222; ср.: *Железнов И. Сайгачники*. — *Отч. зап.*, 1857, т. 112, отд. 1, с. 165—218. — Н. К. Дмитриев считает это название казахским; *Дмитриев Н. К. О тюркских элементах русского словаря*. — В кн.: *Лексикографический сборник*. М., 1958, вып. 3, с. 59.

³¹ *Даль В. Толковый словарь . . .*, т. 1, с. 21: *аргали*, дикий, степной баран — название производят или из монг., маньчж. или из калмыцк. Ср.: *Фасмер М. Этимологический словарь русского языка*. М., 1964, т. 1, с. 84 (со ссылками на этимологии Рамштедта и Рясялена).

³² *Даль В. Толковый словарь . . .*, т. 2, с. 215.

Можно указать на ряд других стихов «Владимира и Зары», в которых чувствуется своего рода щегольство автора словами «киргизского» языка, стремление выставить напоказ свое знакомство с подробностями быта и общественного обихода «кайсаков». Так, решение бежать в русские владения Зара принимает только после того, как ее отец объявляет ей, что он обещал отдать ее в жены ненавистному для нее Иргизу; после этого она просит Владимира выбрать самых быстрых коней из табуна, которые могли бы домчать их до границы; она боится, что «зайсаны» (*Les Zaisans*, с. 130) догонят их. Когда бегство осуществляется и становится известным в аймаке, хан Атель действительно кричит: «На коней, зайсаны, спешите в погоню!» (с. 155, 158, 173). Из особого примечания мы узнаем, что под «зайсанами» автор разумел «старейшин племени» — собственно родовых, наследственных старейшин аймака; в таком значении этот термин употреблялся монголами, калмыками, алтайцами.³³ Готовясь к бегству, Зара хочет обеспечить себя едой; по этому поводу в поэме объясняется распространенный среди кайсаков способ приготовления сыра — из густого молока кобылиц, отжатого под седлом наездника (с. 173). В ночь перед бегством Зара говорит пленнику, что она вручит ему оружие —

... с этим предательским порохом,
Который убивает без вспышки.

(с. 150)

К последнему стиху также сделано особое примечание (с. 173), что речь идет о так называемом «белом порохе киргизов»: «Огнестрельное оружие среди них не распространено: у них имеется лишь несколько мушкетов с зажигательным трупом; тем не менее они знают, как делается белый порох. Секрет его приготовления они держат в тайне».

Рассказ о бегстве и погоне в заключительной песне поэмы полон драматического движения и весьма живописных подробностей: погоней руководит Иргиз, опытный наездник похотник; ему почти удается догнать беглецов, но Владимир убивает под ним коня; борьба продолжается еще, когда пленники находятся уже в волнах Иртыша. Но их уже заметили в Омской крепости, и навстречу им послана лодка; выстрел картечью по преследователям на противоположном берегу Иртыша рассеивает кайсацких наездников.

Как видим, встречающиеся в поэме Гамбса географические названия и собственные имена, детали быта и нравов казахов свидетельствуют, что ее автор, по-видимому, создавал поэму на основе собственных впечатлений,³⁴ в чем и заключается ее неко-

³³ *Радлов В. В.* Опыт словаря. . . , т. 3, с. 14. — Об этимологии термина «зайсан(г)» см. также: *Фасмер М.* Этимологический словарь. . . , т. 2, с. 75.

³⁴ Где именно жил Гамбс, находясь в азиатской части России, установить пока не удалось. Может быть, это удастся уточнить из архивных или мемуарных источников теперь, когда мы узнали имя действительного автора

торый исторический интерес. Любопытна она также и по своей судьбе, известной нам, к сожалению, не полностью; немаловажно то, что она связала в один узел традиции, шедшие с двух сторон — из русской и английской литератур: она создавалась с мыслью о Пушкине, а увидела свет во Франции благодаря посредству ближайших друзей Байрона и П.-Б. Шелли. Уже этим оправдывается возможный интерес к поэме казахских литературоведов.

«Владимира п Зары». Отметим, что вторую часть указанной книги издания 1836 г. составляют стихотворения, собранные под общим заголовком «До-сути» (Loizits), — здесь помещены различные стихотворения «на случай», альбомные записи, акростихи, послания и т. д.; хотя они густо зашифрованы, но представляют кое-какие данные для возможных последующих разысканий.

„ДНЕВНОЙ МЕСЯЦ“ У ТЮТЧЕВА И ЛОНГФЕЛЛО

В стихотворениях Ф. И. Тютчева уже давно обратил на себя особое внимание поэтизированный образ бледного дневного месяца (луны), своеобразно противопоставленный традиционному в поэзии всех времен и народов сияющему ночному светилу. Этот образ встречается в лирике Тютчева то там, то здесь на протяжении нескольких десятилетий, в различных лексических и стилистических вариантах, но чаще всего в указанном контрастном противопоставлении. Напомним, например, два недатированных отрывка, создание которых относят обычно к началу 30-х гг., в которых ярко запечатлен указанный образ. В стихотворении «Ты зрел его в кругу большого света. . .»:

. . . На месяц взглянь: весь день, как облак тощий,
Он в небесах едва не наемог,—
Настала ночь — и, световарный бог,
Сплет он над усыпленной рощей!¹

Или в другом стихотворении («В толпе людей, в нескромном шуме дня. . .»):

Смотри, как двум туманисто-бело
Чуть брезжит в небе месяц светозарный,—
Наступит ночь — и в чистое стекло
Вольет елей душистый и явтарный!²

«Замечательно, — утверждает Л. В. Пумпянский, — что и в гораздо более поздних стихах 60-х годов Тютчев продолжает говорить о луне не в тот час, к которому приучила нас литературная традиция, не о луне ночью, а о гораздо более интимном, конфликтном и трудно уловимом событии в истории дня, о встрече луны с уже родившимся днем:

В тот час, как с неба месяц сходит
В холодной, ранней полумгле.

Еще более интимный момент этого конфликта схвачен в „Декабрьском утре“ (1859):

Не движется ночная тень.
Высоко в небе месяц светит,
Царит себе и не заметит,
Что уж родился новый день».³

Устойчивость и повторяемость образа «дневного месяца» у Тютчева позволили Л. В. Пумпянскому, говоря о целом «цикле» или «гнезде» стихотворений, разросшемся в его поэзии вокруг этого излюбленного им противопоставления («луны ночью и той же луны, еле заметной на небесном своде днем»), утверждать, что этот об-

¹ Тютчев Ф. И. Лирика / Изд. подгот. К. В. Пигарев. М., 1965, т. 1, с. 27.

² Там же, с. 28.

³ Пумпянский Л. В. Поэзия Ф. И. Тютчева. — В кн.: Уралия: Тютчевский альманах. 1803—1928. М., 1928, с. 17.

раз отличается самобытностью и глубокой оригинальностью в творческом сознании Тютчева.⁴ Между тем другие исследователи ранее указывали на то едва ли, по их мнению, случайное сходство, которое этот «тютчевский» образ имеет с весьма близким к нему образом утренней луны в одном прозаическом отрывке у Генриха Гейне. В III части «Путевых картин» («Reisebilder»), в которой описано путешествие из Мюнхена до Генуи, начало 31-й главы читается так: «Я за русских, — сказал я на поле битвы при Маренго и вышел на несколько минут из кареты, чтобы предаться утреннему молитвенному созерцанию. Слово из-под триумфальной арки, образованной исполинскими грядями облаков, восходило солнце, — победоносно, радостно, уверенно, обещая прекрасный день. Но я чувствовал себя как бедный месяц, еще бледневший в небе. Он совершил свой одинокий путь в глухой ночи, когда счастье спало и бодрствовали только призраки, совы и грешники; а теперь, когда родился юный день, в ликующих лучах, среди мерцающей утренней заре, теперь он должен уйти — еще один скорбный взгляд в сторону великого мирового светила, и он исчез как благовонный туман. . .»⁵

Сходство центрального образа этой живописной картины — ночного светила, угасающего в ярких победных лучах восходящего солнца, — с образами «дневного месяца» в цитированных выше стихотворениях Тютчева не подлежат сомнению. На каком, однако, основании исследователи Тютчева уже уверенно говорят теперь, что во всех тех случаях, когда он в своих стихах пользовался образом «дневного месяца», он находился под непосредственным воздействием указанного отрывка из «Путевых картин»? Следует признать, что некоторые основания для такого утверждения, действительно, существуют.

Биографы Г. Гейне давно уже подчеркнули личное знакомство и частые встречи Тютчева и Гейне в конце 20-х гг. в Мюнхене, до отъезда немецкого поэта в Италию, где он писал свои «Путевые картины». Но и до этого времени Тютчев уже перевел ряд

⁴ Л. В. Пумпянский (там же, с. 18) с полным правом присоединял к этому «циклу» еще одно стихотворение Тютчева, в котором идет речь не о месяце, а о звезде, светящей днем, и где вопрос о нравственной оценке всего этого конфликта решается в обратную сторону:

Душа хотела б быть звездой,
Но не тогда, как с неба полумночи
Ски светила, как живые очи,
Глядят на сонный мир земной, —
Но днем, когда, сокрытые как дымом
Палящих солнечных лучей,
Они, как божества, горят светлой
В эфире чистом и незримом.

(см.: Тютчев Ф. И. Лирика, т. 1, с. 79). — Стоит отметить, что это стихотворение — единственное из его ранних произведений, упоминающихся выше, поддающееся относительно точной датировке. Оно напечатано в пушкинском «Современнике» (1836, т. 3) и написано не позже апреля этого года.

⁵ Гейне Г. Полн. собр. соч. М.; Л., 1935, т. 4, с. 342.

стихотворений Гейне и знал первую и вторую части «Путевых картин», вышедших в свет в мае 1826 г. и в апреле 1827 г.⁶ Дружеские отношения Тютчева и Гейне установились в начале 1828 г. и прервались лишь летом этого года после отъезда Гейне из Мюнхена. Своего «лучшего друга Тютчева» Гейне упомянул в письме из Мюнхена от 1 апреля 1828 г. и сам писал Тютчеву в Мюнхен из Флоренции 1 октября того же года; эта их близость, как известно, подкрепляется целым рядом других эпистолярных и мемуарных свидетельств.⁷ Г. Чулков привел интересное свидетельство И. С. Гагарина, утверждавшего даже, что будто бы в 1828 г. Тютчев и его жена именно в обществе Гейне совершили путешествие по Тиролю и северной Италии: «Я уверен, во всяком случае, — прибавлял Гагарин, — что они ехали вместе до Инсбрука. Рассказ об этом путешествии можно найти в „Путевых картинах“ (Гейне). Тютчевы здесь не названы, и воображение Гейне украсило его рассказ многими фантазиями, но в своей основе он достоверен».⁸ Хотя эта воображаемая поездка в действительности, вероятно, никогда не была совершена (допустить ее мешают хронологические соображения), но приятель Тютчева И. С. Гагарин был все же хорошо осведомлен относительно интеллектуальной близости, возникшей в 1828 г. между немецким и русским поэтами. Все это безусловно свидетельствует, что Тютчев не мог пройти мимо третьей части «Путевых картин» Гейне, вышедшей в свет в конце 1829 г.

Г. Чулков и Ю. Тынянов почти одновременно обратили внимание на тридцатую главу этой части «Путевых картин», заполненную весьма своеобразными и неожиданными в устах Гейне политическими рассуждениями о России и о ее будущем, давно казавшимися загадочными исследователям Гейне, и предположили, что эта глава написана под влиянием бесед с Тютчевым. Процитировав несколько отрывков из этой главы, Г. Чулков заметил, что в ней «слышится голос Тютчева. Здесь та же риторическая идеализация исторической России и ее международной миссии. Мнение, парадоксальное в устах Гейне, совершенно естественно в устах Тютчева. И странно было бы предположить обратное влияние».⁹ Ю. П. Тынянов, обращая внимание на те же рассуждения, писал со своей стороны: «В этом, приводящем в удивление Штротдмана, Гирта и др., построении Гейне, по-видимому, превторил тютчевскую схему России по закону своего творчества в поэтически оправданное слияние противоречий».¹⁰

Мнение о зависимости нескольких страниц тридцатой главы «Путевых картин» от тютчевских суждений о России встречено

⁶ *Пигарев К.* Жизнь и творчество Тютчева. М., 1962, с. 59.

⁷ Там же, с. 60—63; ср.; Рус. архив, 1875, кн. 1, с. 128; 1903, кн. 2, с. 491.

⁸ *Чулков Г.* Тютчев и Гейне. — Искусство, 1923, № 1, с. 362—364.

⁹ Там же, с. 364.

¹⁰ *Тынянов Ю.* Тютчев и Гейне. — Книга и революция, 1922, № 4 (16), с. 13—16; перепеч. в кн.: *Тынянов Ю.* Архаисты и новаторы. Л., 1929, с. 389.

было недоверчиво рядом исследователей и вызвало возражения, заслуживающие внимания.¹¹ Тем большей неожиданностью явилось открытие среди рукописей Тютчева и черновых отрывков, оказавшихся опытами стихотворных переложений начала тридцать первой главы «Путевых картин» Гейне, именно того самого места, которое уже было приведено нами выше в качестве параллели к тютчевским стихотворениям о «дневном месяце». Таким образом, создавалось действительно парадоксальное положение: если тридцатая глава «Путевых картин» приписывалась воздействию Тютчева на Гейне, то непосредственно следовавшая за нею тридцать первая глава тех же «Reisebilder», как оказывалось, привлекла к себе внимание Тютчева-переводчика!¹²

Хотя три новонайденных отрывка Тютчева¹³ представляют собою переложение белыми стихами прозаического текста Гейне, но они довольно близки к немецкому подлиннику, с тем лишь отличием, что в своих черновых набросках Тютчев нарушает последовательный ход мысли и развитие соответствующей ему кар-

¹¹ Д. Стрмоухов находил эти гипотезы Г. Чулкова и Ю. Тынянова «не лишеными вероятности» (см.: *Strémoukhoff D. La poésie et l'idéologie de Tjutchev.* — Publ. de la fac. de lettres de l'Univ. de Strasbourg, Paris, 1957, fasc. 70; p. 111—112); Д. Чпжевскому, напротив, они показались «сомнительными» (*Čiževskij D. Literarische Lesefrüchte.* 4. Tjutcevs «Из края в край». — *Z. für slavische Philologie*, 1931, Bd 8, H. 1—2, S. 51). Определенное отрицательное суждение высказал К. Пигарев (Жизнь и творчество Тютчева, с. 61), писавший: «В рассуждениях Гейне, действительно, можно обнаружить соответствие тютчевским мыслям, но мыслям, высказанным значительно позднее — в его политических статьях сороковых годов. Среди произведений Тютчева раннего времени нет ни одного, где были бы высказаны подобные мысли, да и вообще до сороковых годов Тютчев ни разу не излагал своих взглядов на Россию с такой полнотой, с какой это сделал Гейне в шпигровинной главе «Путевых картин». Служит ли это основанием к тому, чтобы допустить в данном случае обратное воздействие — не Тютчева на Гейне, а Гейне на Тютчева? Едва ли, хотя некоторые высказывания, близкие к тем, которые содержатся в «Путевых картинах», обнаруживаются и в других произведениях Гейне, в частности, предшествующих его знакомству с Тютчевым». — Со своей стороны заметим, что речь в данном случае не обязательно должна была бы идти о высказываниях Тютчева, закрепленных на бумаге в его прозаических или поэтических произведениях, но об устных беседах с Гейне (хотя Д. Стрмоухов не без оснований указал в качестве параллели к Гейне стихотворение Тютчева 1828—1829 гг. «Олегов щит», в котором в связи с русско-турецкой войной проглядывает идея славянского мессианизма). С другой стороны, Россия и ее будущее служили предметом бесед Гейне с другим русским дипломатом — кн. П. Б. Козловским, с которым он был близок еще до знакомства с Тютчевым (см.: *Струве Г. Русский европеец.* Материалы для биографии и характеристики кн. П. Б. Козловского. С.-Петербургско, 1950, с. 121—124).

¹² «Таким образом, — замечает по этому поводу А. Бем, — мы можем здесь говорить о взаимном влиянии» (Also können wir hier einer wechselseitigen Einfluß sprechen). См.: *Bem A. F. I. Tutčev und die deutsche Literatur.* — *Germanoslavica*, 1933, Jg. 3, № 3—4, S. 386.

¹³ Первоначально эти отрывки были опубликованы по рукописям семейного архива Тютчева в книге «Новые стихотворения Тютчева» (М., 1926), в отделе «Fragments et Dubia» (с. 90—92). Указание на их литературный источник и сопоставление с ним см. в статье К. В. Пигарева «Новооткрытые тексты Тютчева» (Звенья. М., 1933, т. 2, с. 273—275).

тины у Гейне.¹⁴ Приведем это переложение Тютчева в интересующей нас части (стихи 27—50 из общего количества 60 стихотворных строк) в том виде, в каком оно напечатано К. В. Пигаревым в его последнем издании стихотворений Тютчева:

- ²⁷ Младого солища свежее бессмертье
Не оживит сердце взнеможенных,
Лавит потухших снова не зажжет!
- ³⁰ Мы скроемся пред ним, как бледный месяц!
Так думал я и вышел из повозки
И с утрисней усердною молитвой
Ступил на прах, бессмертьем освященный! . . .
Как под высоким триумфальным сводом
- ³⁵ Громадных облаков выходило солнце,
Победоносно, смело и светло,
Прекрасный день природе возвещая,
Но мне при виде сем так грустно было,
Как месяцу, еще заметной тенью
- ³⁰ Бледневшему на небе. — Бедный месяц!
В глухую полночь, одиноко, сирот,
Он совершил свой горемычный путь,
Когда весь мир дремал, — и пировали
Одни лишь совы, призраки, разбой;
- ⁴⁵ И днесь пред юным днем грядущим в славе,
С звучащими веселием лучами
И пурпурной разлитюю зарей,
Он прочь бежит. . . еще одно возвращенье
На пыльное всемирное светило —
- ⁵⁰ И с легким паром с неба улетит,¹⁵

и т. д.

Было бы трудно и бесполезно отрицать текстовую близость приведенных черновиков набросков Тютчева и начала 31-й главы «Путевых картин» Гейне: сходство их бросается в глаза. Однако, с моей точки зрения, отсюда вовсе не следует, что сделанный Тютчевым опыт стихотворного переложения немецкого прозаического текста Г. Гейне может служить доказательством того, что текст

¹⁴ К. В. Пигарев утверждает, что, нарушая последовательность предлагаемого текста Гейне, Тютчев делает это сознательно, будто бы «желая придать большую цельность приведенному им отрывку» (см.: Тютчев Ф. И., Лирика, т. 2, с. 349—350). С этим можно спорить. «Цельность» оригинала в его стихотворной обработке пропадает, поскольку публикуемый отрывок представляет собою искусственную сводку трех черновых отрывков в одно целое, приспособленное к пониманию стихотворения как переложения текста Гейне. Немецкому тексту, как отмечает К. В. Пигарев, полностью соответствовал бы следующий порядок стихотворных строк: стихи 31—50, 1—30, 51—61, как оно и на самом деле печаталось в некоторых изданиях Тютчева (например, в издании «Academia» (М.; Л., 1934, т. 2, с. 257—259) и в большой серии «Библиотеки поэта» (Л., 1939, с. 197—198)). В предлагаемой им сводке цельность несколько нарушается потому, что интересующий нас образ — потухающего под солнечными лучами месяца — появляется дважды (стихи 27—30 и 45—50), чего Тютчев несомненно не допустил бы, если бы стихи были отделаны окончательно.

¹⁵ Тютчев Ф. И. 1) Стихотворения. Письма / Ред. К. Пигарев. М., 1957, с. 328—329 (в отделе «Переводы и переложения»); 2) Лирика, т. 2, с. 85—87 и 287.

Гейне — единственный источник образа «дневного месяца», где бы он потом ни появлялся в стихотворениях Тютчева. Между тем именно такое мнение прочно утвердилось в последнее время в исследованиях о русском поэте.

Сопшемся, например, на статью А. Крендля «Этюды о Гейне в России», в которой есть специальный раздел, озаглавленный «Символ луны» (*Das Mondsymbold*); автор утверждает здесь, что если у нас нет достаточных оснований возводить 30-ю главу «Путевых картин» к воздействию Тютчева на Гейне, то обратное влияние Гейне на Тютчева благодаря новонайденному тютчевскому переводу 31-й главы устанавливается прочно и неизбежно. «В двух собственных стихотворениях («В толпе людей...», «Ты зрел его в кругу большого света...») Тютчев обращается к сравнению с дневным месяцем, которое он нашел у Гейне, — пишет по этому поводу А. Крендль. — Так как оба стихотворения возникли в то же время, что и его перевод 31-й главы, то эта зависимость устанавливается безукоризненно». К тому же источнику, т. е. к 31-й главе «Путевых картин», возводит А. Крендль также стихотворение Тютчева «Душа хотела б быть звездой» — на том основании, что «его возникновение относится к тому же времени, когда Тютчев сделал свой перевод».¹⁶ Это же предположение мы находим и в книге о Тютчеве К. В. Пигарева, писавшего о 31-й главе «Путевых картин» Гейне: «В этой главе образ месяца, бледнеющего на небе при солнечном восходе, настолько поразил поэтическое воображение Тютчева, что дважды, в своеобразном творческом переосмыслении, возник под его пером в одновременно написанных стихотворениях: „В толпе людей, в нескромном шумя. . .“ и „Ты зрел его в кругу большого света. . .“».¹⁷

При подобном истолковании происхождения образа «дневного месяца» в поэзии Тютчева, однако, возникают, помимо хро-

¹⁶ *Krendl A. Studien über Heine in Russland. — Z. für slavische Philologie (Heidelberg), 1956, Bd 24, H. 2, S. 316.* — На самом деле датировка всех упомянутых стихотворений Тютчева основывалась главным образом на том, что 31-я глава «Reisebilder» появилась в декабре 1829 г.; даже упомянутое стихотворное переложение начала этой главы не датировано. В своем издании «Стихотворений» Тютчева (М., 1957) К. Пигарев заметил об этом переводе: «Внешний вид автографа (бумага с водяным знаком „1827“, почерк) дает основание отнести перевод к концу 1829—1830 гг.» (с. 549); о стихотворениях «В толпе людей», «Ты зрел его» в том же издании «Стихотворений» говорится: «Образ месяца днем в этом и следующем стихотворениях, по-видимому, подсказан «Путевыми картинками» Гейне, что дает основание относить оба стихотворения к концу 1829—1830 гг.» (с. 502). Что касается стихотворения «Душа хотела б быть звездой», — то оно единственное из упомянутых, увидевшее свет в третьем томе пушкинского «Современника» 1836 г., но датируется оно «предположительно концом двадцатых годов» (с. 503). Легко заметить, насколько шаткой и призрачной является аргументация А. Крендля: заимствование Тютчевым образа дневного месяца доказывается хронологическими совпадениями, в то время как сами эти «совпадения» доказываются. . . «заимствованием» Тютчева. «Позднее, — замечает тут же А. Крендль, — Тютчев никогда более не возвращался к сходному образу», что, как мы уже видели, также неверно.

¹⁷ *Пигарев К. Жизнь и творчество Тютчева.* с. 63.

нологических, также многие другие затруднения. Остается, например, неясным, с какой целью Тютчев перекладывал в стихи прозаический текст Гейне и что явилось непосредственным поводом для этой творческой работы. В поэтической практике 20—30-х гг. подобные превращения прозаических произведений в стихотворные встречались нередко, в частности у Жуковского. В качестве любопытной аналогии к стихотворной переработке Тютчевым отрывка из «Путевых картин» К. В. Пигарев привел другой случай подобной же операции Тютчева над прозаическим фрагментом того же Гейне. Читая вышедшую в 1832 г. книгу публицистических очерков Гейне о Франции («Französische Zustände»), Тютчев встретил здесь фразу о Наполеоне («в голове которого гнездились орлы вдохновения, между тем как в сердце вилась змея расчета»); двойная метафора этой краткой характеристики легла в основу, вероятно, тогда же написанного Тютчевым восьмистишия о Наполеоне («Два демона ему служили»).¹⁸ Это простейший случай непосредственного заимствования поэтом понравившейся ему метафоры для собственных творческих целей, притом случай, при котором не имеет значения, из какого произведения — прозаического или поэтического — оно сделано. Стихотворная переработка отрывка из «Путевых картин» являет случай более сложный — заимствования метафоры «месяц—поэт», словесно очень распространенной, передача которой средствами поэзии требовала значительных лексических и стилистических преобразований. Кроме того, — и это, пожалуй, еще существеннее, — остается совершенно неясным, был ли действительно решающим для выбора предназначенного к переработке прозаического текста встреченный в нем Тютчевым образ «бедного месяца», кончающего свой «горемычный путь» пред «юным днем». Ведь и этот образ получает — даже в переработке Тютчева — сугубо политическое применение и, с точки зрения некоторых исследователей, для общей направленности отрывка имеет лишь случайное, второстепенное значение. В. В. Гиппиус, например, считал, что отрывок из «Путевых картин», переложенный Тютчевым в русские стихи, представляет собою монолог ратника свободы, восторженный привет «прекрасному дню» грядущего, когда

...Свободы солнце
Живей и ярче будет греть, чем ныне
Аристократия светил ночных!
И расцветет счастливейшее племя.¹⁹

Все это стихотворное переложение в целом действительно подходит на образец русской гражданской лирики 20-х гг.; поэт, сравнивший себя с умирающим месяцем, говорит в заключение:

¹⁸ Там же.

¹⁹ Гиппиус В. В. От Пушкина до Блока, с. 204. — Б. Бухштаб в своей статье о Тютчеве, вошедшей в его книгу «Русские поэты» (Л., 1970, с. 22), называет это «стихотворное переложение» из Гейне «показательным» для «тютчевского вольномыслия 20-х годов», но не упоминает присутствующий в нем образ «утреннего месяца».

Поэзия душе моей была
Младенчески божественной игрушкой,
И суд чужой меня тревожил мало.
Но меч, друзья, на гроб мой положите!
Я воин был! Я ратник был свободы. . .

Как, в сущности, далек этот гейневский метафорический месяц от того ночного, «изнемогающего» утром светила,²⁰ которое мы встречаем в пейзажной и натурфилософской лирике Тютчева!

Догадка исследователей о заимствовании Тютчевым образа «дневной луны» у Гейне основывалась в первую очередь на необычайности и якобы особой оригинальности этого образа и его поэтических применений; при этом речь шла исключительно о творчестве Тютчева, усвоившего этот образ даже не из поэтического, а из прозаического источника. Между тем этот образ не один раз встречается как в современной Тютчеву русской, так и в мировой поэзии.

Приведем, например, стихотворные строки из поэмы В. К. Кюхельбекера «Зорававель» (1831), в особенности интересные для нас тем, что их никак нельзя объяснить воздействием на автора какого-либо известного и Тютчеву источника; поэма создана Кюхельбекером в сибирской ссылке и напечатана без его имени в 1836 г. Как и Тютчев, Кюхельбекер пользуется образом утренней луны, бледнеющей при солнечном восходе, для весьма изысканного сравнения: подобно тому как мы отвращаем усталый слух от яркого слова, некогда пленявшего и услаждавшего, но теперь ставшего бледным и непривлекательным, так и луна оставляет нас равнодушными и незаинтересованными в лучах восходящего дневного светила. Хотя в этом сравнении поэт прибегает к переводу слуховых ощущений в зрительные, на что ему дают право применяемые им здесь метафорические выражения синестетического характера, но даваемая им картина очень живописна и

²⁰ В поэтической лексике Тютчева метафорическое представление «изнеможения» было одним из любимых. См., например, в позднем стихотворении о радуге («Как неожиданно и ярко. . .», 1865):

Она полнеба обхватила
И в высоте изнемогла.

(Тютчев Ф. И. Лирика, т. 1, с. 204)

Или в раннем («Как сладко дремлет сад темнозеленый. . .», прежде называемся «Ночные голоса», 1836):

На мир дневной спустилася завеса,
Изнемогло движенье, труд уснул. . .

(Там же, с. 74)

Или в том же традиционном для Тютчева противопоставлении ночи младому дню («Как шичка раннею зарей. . .», 1836):

Ночь, ночь, о где твои покровы,
Твой тихий сумрак и роса. . .
Как грустно волусовной тенью,
С панеможением в кости
Навстречу солнцу и движенью
За новым племенем брести! . . .

(Там же, 65)

несомненно близка к сходным тютчевским по своему существу, уступая им лишь по своей стилистической выразительности:

... в серебряной одежде
Свяст ночью луна;
Но мир золотое дни светило
Спящим блеском озарило —
Лшшается красы она,
И вот как серый дым, бледна,
И носится в полях лазури,
Как туча, легкий мячик бурн.²¹

Мы можем здесь указать также на стихотворение современника Тютчева, американского поэта-романтика Лонгфелло (Longfellow, Henry Wadsworth, 1807—1882), построенное на том же, что и у Тютчева, противопоставлении «луны днем» и «луны ночью» («Дневной свет и лунный свет»):

Daylight and moonlight

In broad daylight, and at noon,
Yesterday I saw the moon
Sailing high, but faint and white
As a schoolboy's paper kite.

In broad daylight, yesterday,
I read a Poet's mystic lay,
And it seemed to me at most
As a phantom, or a ghost.

But at lenght the feverish day
Like a passion died away
And the night, serene and still,
Veil on village, vale and hill.

Then the moon in all her pride,
Like a spirit glorified,
Filled and overflowed the night
With revelations of her light.

And the poet's song again
Passed like music through my brain;
Night interpreted to me
All its grace and mystery.²²

²¹ Кюгельбекер В. Н. Избранные пронаведения: В 2-х т. / Под ред. Н. В. Королевой М.: Л., 1967, т. 1, с. 496.

²² Longfellow H. W. Poems and Ballads. S. 1., s. a., p. 438. — Стихотворение существует также и в русском стихотворном переводе (см.: Лонгфелло Г. Избранное. М., 1958, с. 272, «Дневной свет и свет лунный», перев. Л. В. Хвостенко), но так как этот перевод является очень вольным и даст лишь общее представление о подлиннике, приведем дословный перевод оригинала: «Вчера среди бела дня и в полдень я видел луну, плывущую высоко, но тусклую и белую, как бумажный змей школьника. // Вчера, среди бела дня, в полдень я читал мистическую балладу поэта, и она казалась мне не больше чем призраком или привидением. // Наконец лихорадочный день кончился, как вспышка страсти, и ночь ясная и безмолвная, опустилась на деревню, долину и холмы. // Тогда луна во всей своей гордыне, подобно прославленному духу, наполнила и затопила ночь таинствами своего света. // Так же и песня поэта прошла, подобно музыке, сквозь мой мозг; ночь истолковала мне все ее очарование и таинственность».

Приведенное стихотворение Лонгфелло — позднее. Оно входит в цикл «Перелетные птицы» (*Birds of passage*), написанный им в 1858 г. Однако по своему умонастроению и поэтическим интонациям это размышление о дневном и лунном свете напоминает ранние лирические циклы Лонгфелло, например «Ночные голоса» (1838) с центральным для этого цикла «Гимном ночи» (1835). И там и тут мы находим у Лонгфелло поэтизацию таинственных «ночных» чувств, вызывающих подъем творческих сил, прилив вдохновения, фантазии, в противовес суетливому, трезвому, «прозаическому» дню, когда истинная поэзия меркнет и теряет свое очарование. Этот круг мыслей и ощущений — сугубо романтический и был навеян поэту главным образом немецкой литературой во время его длительного пребывания в Европе в 20—30-х гг.

Как известно, всю вторую половину 20-х гг. (с весны 1826 г. по осень 1829 г.) Лонгфелло провел в Западной Европе. Перед возвращением на родину он особенно задержался в Германии, затем снова побывал в этой стране в 1836 и 1842 гг. В качестве преподавателя Боудойнского колледжа (близ Портленда), а затем и Гарвардского университета Лонгфелло стал одним из виднейших в Америке тех лет популяризатором немецкой литературы и отдал дань увлечению ею в своем собственном творчестве — поэтическом и прозаическом. Это увлечение широко отражено в его «Гиперione» (*Hyperion: A Romance. New York, 1839*), где дана серия картин из немецкой жизни и очерков о немецких писателях. С особым вниманием Лонгфелло изучал Гете, Шиллера, Жан-Поля Рихтера, немецких романтиков: он читал о них лекции, переводил их произведения, составлял их антологии и т. д.²³

Все это дает основания предположить, что стихотворение «Дневной и лунный свет» восходит к «ночной теме» в немецкой литературной традиции,²⁴ где в конце XVIII и в первые десятилетия XIX в. она прошла длинную и своеобразную эволюцию. От сентиментально-набожного созерцания звездного неба у Клоппштока путь шел к меланхолическим пейзажам развалин в призрачном лунном свете, развившимся в немецкой поэзии под воздействием «оссианизма» и «Ночных дум» Юнга, далее — к восхвалению волшебной ночи, облитой сиянием луны (*Mondbeglänzte Zaubernacht*), воскрешающей фантастику народной сказки, к натурфилософскому культу ночи в «Гимнах» («*Hymnen an die Nacht*»)

²³ *Perry Worden J.* Über Longfellow's Beziehungen zu deutschen Literatur. Halle, 1900. — «Любимым немецким писателем» Лонгфелло автор считает Ж.-П.Рихтера (ср.: *Magazin für die Literatur des Auslandes*, 1846, № 56, S. 245).

²⁴ *Diener G.* Die Nacht in der deutschen Dichtung von Herder bis zur Romantik. Bamberg, 1931; *Steinert W.* Ludwig Tieck und das Farbenempfinden romantischer Dichtung. Dortmund, 1910 («Der Mondschein» — S. 63; «Morgen- und Abendrot» — S. 72); автор отмечает, что для романтизма и его живописных ощущений типичны «культ утренней зари и заката, как и лунного света» (S. 57).

Новалиса, к тонкой колористической живописности в описаниях ночных пейзажей у Тика, Эйхендорфа, Гейне. Лонгфелло прекрасно знал все указанные фазы развития темы ночи в немецкой литературе в ту пору, когда «день и ночь» (*Licht und Nacht*) превратились в важнейшие своеобразные символы: «день» — в символ «труда, вседневной жизни, разума, трезвости», «ночь» — в символ «покоя, поэтической жизни, чувства, правды».²⁵ Характерно, что американский поэт остается во власти традиционных романтических представлений о великолепии и властной силе ночного светила, одиноко плывущего по темному небу; однако еще более характерно, что в ту же пейзажную раму Лонгфелло для противопоставления вставил образ «дневного месяца», — правда, не имеющего у него тех поэтизирующих его красок, какими он обладает в сознании Тютчева.

Очень правдоподобно, что и этот образ был внушен Лонгфелло немецкой литературой. Мы неоднократно можем встретить этот образ — задолго до Гейне — в творчестве Жан-Поля Рихтера, писателя, которым Лонгфелло был особенно увлечен и творческое влияние которого он на себе испытал.²⁶

Еще в конце XVII в. Жан-Поль Рихтер опубликовал небольшой прозаический отрывок, озаглавленный им «Луна днем».²⁷ Этот отрывок, как и аналогичный ему («Страпствующая Аврора») и напечатанный вместе с ним, сочинены были Жан-Полем в подражание созданному Гердером жанру «парамифий». Гердер называл так произведения, посвященные изложению какой-либо истины в форме повествования, прикрепленного к одному из античных мифов. Астрономическая картина, которую Жан-Поль положил в основу сочиненного им фрагмента о «луне днем», изложена в следующем примечании к его произведению: «Немного читательницам нужно сказать, что новый месяц восходит вместе с солнцем, что он затмевает нам солнце, когда становится перед ним; что иногда он совсем затмевает его и тогда соловьи поют ночные свои песни, цветы свертывают свои головки, Венера блескит посреди неба и т. д.». Эта истина заключена Жан-Полем в поэтический рассказ, сплетенный из античных мифов о богине Артемиде (Диане), сестре-близнеца Феба (Аполлона), и ее любви к прекрасному греческому юноше Эндимиону, погруженному Зевсом в вечный сон. В начале XIX в. очень немногие читатели нуждались в разъяснениях, что Артемиде-Диана была, по представ-

²⁵ *Schultze Siegm. Das Naturgefühl der Romantik. 2. Aufl. Leipzig, 1911, S. 41.*

²⁶ *Nieml Otto. Das Prosastil H. W. Longfellow's. Der Einfluß von Jean-Paul auf Longfellow's Prosastil: Diss. Erlangen, 1928.* — Составленная Лонгфелло хрестоматия отрывков из Ж.-П. Рихтера под заглавием «*Passages from Jean Paul. Transl. by H. W. Longfellow*» (1841) перепечатана была во многих американских изданиях как «*A Summer night*» (в других изданиях «*Summer time in Germany. From Jean Paul*») в переводе того же Лонгфелло.

²⁷ «*Luna am Tage*» входит в его «*Briefe und bevorstehender Lebenslauf*» (1799), см.: *Jean Pauls Sämtl. Werke: Hist.-Kritische Ausg. Weimar, 1931, 1. Abt. Bd 8, S. 368—370.*

лениям древних, богиней Луны и сестрой Феба (Аполлона) — божества солнца. (Ср. в «Евгении Онегине» Пушкина: «Озарена лучом Дианы, Татьяна бедная не спит»). В самом же повествовании Жан-Поля древний миф пересказан с живописными подробностями. Начало: «С потухшим ликом, цветом подобным земле (Mit erdenfarbiger erloschener Gestalt), и со вздохом катила по небу Луна колесницу свою подле огненных колес сияющего Аполлона, неотвратно смотрела она на светлый, радостный образ брата; чтобы любовью к нему утешить грусть души своей: день похитил у нее ее дорогого Эндимиона и он покоится в своей пещере, сковапный цепями бессмертного сна...». И Луна обращалась к брату, показывая на утомленную землю, полную умиравших теней: „О, взгляни туда, брат мой (говорила она Фебу, стараясь скрыть печную скорбь), все фиалки отказывают мне в своем аромате и изливают его, когда я скрываюсь. — ... Дозволь мне накинуть мантию почи на твоих дышащих огнем коней!“. Когда пенадолго исполняется это ее желание, она ищет на «мечтательно освещенной земле» пещеру Эндимиона, находит его, по, оглянувшись вокруг себя, видит улыбающуюся Венеру, которая «быстро сорвала покрывало почи с пламенных коней» — и день снова своим далеким блеском озаряет землю, «светлую, юную, ликующую», и т. д.

Весь этот архаический и утомительный для современного читателя отрывок несомненно нравился читателям Жан-Поля, в том числе русским, так как они хорошо знали античную мифологию и имели ключ к пониманию нехитрого замысла «Луны днем». Русский перевод этой краткой повести с подписью А. П. появился в «Московском вестнике» 1830 г.,²⁸ переводчицей была Авдотья Петровна Елагина (1789—1877), в первом браке Киреевская, — рукописный оригинал именно этого перевода до сих пор хранится в архиве Киреевских-Елагиных.²⁹ В другом переводе, И. Е. Бецкого, отрывок «Луна днем» дважды был издан в начале 40-х гг.³⁰

Образ утренней луны, покидающей небосклон, несомненно привлекал Жан-Поля, так как он неоднократно встречается в его произведениях без всяких мифологических применений, но с живописными подробностями.³¹

²⁸ Луна днем. (Из Ж.-П. Рихтера). — Моск. вестн., 1830, ч. 4, с. 116—120.

²⁹ Коншина Е. Н. Архив Елагиных и Киреевских. — В кн.: Записки Отдела рукописей (Гос. библиотека СССР им. Ленина). М., 1953, вып. 15, с. 36. — «Московский вестник», где этот перевод напечатан, в данном архивном образе не назван.

³⁰ Луна днем. — В кн.: Молодик: Украинский литературный сборник / Изд. И. Бецким, Харьков, 1843. [ч. 1], с. 245—248; Антология из Жан-Поля Рихтера. СПб., 1844, с. 34—37. — О переводчице и его увлечении Жан-Подем см.: Срезневский В. И. И. Е. Бецкий, издатель «Молодика». СПб., 1900, с. 7—8.

³¹ См. изображение луны, «достигшей двойного мгновения своего захождения и полноты» перед восходом солнца, в «Антологии из Жан-Поля» (с. 170); ср.: «В летнюю ночь блещет как жемчуг роса на каждом цветке, отражая спянье месяца, но приближается утро, тускнеют цветы, и жемчуг

Возможно, что к тому же античному мифу о встрече луны с утренней зарей в обработке Ж.-П. Рихтера восходит стихотворение А. И. Полежаева «Эндимион» (1835—1836), в котором, однако, антиквизированный пейзаж рассвета с заходящей луной еще ближе к образам утренней луны, как она представлялась Тютчеву. Напомним следующие стихи из указанного стихотворения А. И. Полежаева:

...Светло,
Редает ночь, алеет небо!
Смотри: предшественница Феба
Открыла розовым перстом
Врата на своде голубом.
Смотри! Но бледна Дяна
В прозрачном облаке тумана
Без лучезарного венца
Уже спешит в чертог отца
И снова ждет в тоске ревнивой
Покрова ночи молчаливой!³²

Лонгфелло не знал поэзии Тютчева.³³ Сходство его ранних стихотворений с некоторыми тютчевскими объясняется общностью их поэтических истоков. Ночную тематику в произведениях Тютчева неоднократно сближали с «культом» ночи в произведениях немецких романтиков.³⁴ Этим можно объяснить также родство образов «утренней» луны у Тютчева и Лонгфелло. Общими корнями поэтического творчества и реальным воздействием на поэзию этой поры романтической литературной традиции необходимо объяснять также сходные образы, проглядывающие в лирических стихотворениях других русских поэтов, названных выше, — В. К. Кюхельбекера или А. И. Полежаева.

Приведенные сопоставления хотя и не отменяют сделанных ранее сближений образов «дневной луны» у Тютчева и Г. Гейне, но все же ослабляют правдоподобие генетической связи между ними и во всяком случае их исключительность и неповторимость. Мы стремились показать, что весьма сходный образ Тютчев мог найти у немецких романтиков до Гейне, — в частности, например, у такого типичного «предромантика», как Жан-Поль Рихтер.

И все же Тютчев отличался поразительной художественной самобытностью: он претворял в своем поэтическом горниле все, даже им заимствованное. Уже было отмечено, что он преобразил по-своему и «ночные» и «лунные» мотивы романтиков. Б. Я. Бухштаб справедливо отметил, что одной из особенностей поэтики

теряет свой блеск; месяц бледнеет и покидает небо — в цветах остаются лишь холодные слезы...» (Молодик, с. 314 и др.).

³² Полежаев А. И. Соч. М., 1955, с. 156—157. — Стихотворение это впервые напечатано в книге Полежаева «Часы выздоровления» (М., 1842).

³³ О поздних интересах Лонгфелло к русской поэзии и языку мне уже приходилось писать в статье: Американо-русские заметки. 2. Стихотворная антология Лонгфелло о России. — Науч. бюлл. Ленингр. ун-та, 1946, № 8, с. 27—28.

³⁴ *Cylevskij D. Tutčev und die deutsche Romantik. — Z. für Slavische Philologie, 1927, Bd 4, S. 299—323.*

Тютчева является то, что он «любит показывать переходные состояния между светом и тьмою, теплом и холодом — состояния, как бы совмещающие противоположности уходящего света и надвигающейся тьмы <...> В стихах об утре Тютчев настойчиво возвращается ко времени, когда первые лучи света разгоняют ночной мрак (например, „Альпы“, „Декабрьское утро“, „Восход солнца“, „Вчера в мечтах обвороженных“ — последнее стихотворение начинается „с последним месяца лучом“ и кончается первым лучом утра)».³⁵

Вот почему образ «дневного месяца» отличается таким глубоким своеобразием в поэзии Тютчева, не встречающимся у других поэтов. Не подлежит сомнению, что Вл. Соловьев, бывший одним из ранних истолкователей Тютчева в русской критике, заимствовал именно у Тютчева образ этой луны. В одном из стихотворений Вл. Соловьева читаем:

Днем луна, словно облачко бледное,
Чуть мелькнет белизною своей,
А в ночи — перед ней, всепобедною,
Гаснут искры небесных огней.³⁶

³⁵ Бухштаб В. Я. Тютчев. — В кн.: История русской литературы. М.; Л., 1955, т. 7, с. 703—704. Ср. также: Бухштаб В. Я. Русские поэты. Л., 1970, с. 45.

³⁶ Соловьев Вл. Стихотворения. 3-е изд. СПб., 1900, с. 24.— О «дневном лике» месяца в поэзии Тютчева в сопоставлениях с образами луны у Пушкина и Баратынского интересные соображения см. в кн.: Белый Андрей. Поэзия слова. Пб., 1922, с. 10—11.

ОБ ОДНОМ ЭПИГРАФЕ У ДОСТОЕВСКОГО

К напечатанной в журнале «Эпоха» (1865, № 2) сатирической повести «Крокодил. Необыкновенное событие, или пассаж в Пассаже» — о чиновнике, которого проглотил крокодил, выставленный для всеобщего обозрения в петербургском «Пассаже», — Ф. М. Достоевский поставил следующий эпиграф:

Ohé, Lambert! Où est Lambert?
As tu vu Lambert?

Источник этой цитаты указан не был, а ее смысл также не получил надлежащего разъяснения. В комментарии к указанной повести в «Собрании сочинений» Достоевского было замечено по этому поводу: «Шутливым эпиграфом к своей повести о „необыкновенном событии“ Достоевский взял выражение, которое, вероятно, услышал в августе 1863 г. в Париже, где оно в то время было широко распространено. Происхождение этой фразы, как и смысл ее, нам неизвестно. Позднее, в романе „Подросток“, этими словами дразнят одного из персонажей — Ламберта».¹

Трудно сказать с уверенностью, в Париже ли во время своего кратковременного пребывания в этом городе во второй половине августа 1863 г.² Достоевский мог услышать это восклицание о Ламбере. В большом словаре П. Ларусса, действительно, указано, что этот «дикий возглас» (*cri bizarre*) слышался по всему Парижу около 15 августа 1863 г., но что происхождение его, объяснявшееся различным образом, на самом деле неизвестно.³ Тем не менее, по согласному свидетельству большинства источников, восклицание-вопросание о Ламбере стало популярно в Париже лишь год спустя. В «Дневнике» Э. Гонкура в записи от 20 августа 1864 г. мы читаем: «В настоящий момент, в Париже, наблюдается настоящая эпидемия идиотских возгласов, таких как „Эй! Ламбер!“», что вызывает даже необходимость полицейских постановлений.⁴ Широкая популярность возгласа-крика о Ламбере дала Гонкуру повод весьма пессимистически, без всякого снисхождения отозваться о своих современниках-соотечественниках: в дальнейших строках той же записи Гонкур говорит о «конвульсиях глупости», типичных для Франции в последние

¹ Достоевский Ф. М. Собр. соч. М.: ГИХЛ, 1956, т. 4, с. 601—602. — В последнем (академическом) издании Ф. М. Достоевского даны лишь краткие ссылки на настоящую статью (Л., 1973, т. 5, с. 387; Л., 1976, т. 17, с. 387) в комментариях к соответствующим произведениям.

² Гроссман Леонид. Жизнь и труды Достоевского. Биография в датах и документах. М.; Л., 1935, с. 125.

³ Larousse P. Grand dictionnaire universel du XIX s. s. a., t. 11, p. 1282 (s. v.: Ohé).

⁴ Goncourt Edmond de, Goncourt Jules de. Journal. Mémoires de la vie littéraire. Paris, 1956, t. 2. (1864—1878), p. 73. — Приведенная запись и все размышления, вызванные возгласом о Ламбере, отсутствуют во всех русских изданиях «Дневника» бр. Гонкуров, вплоть до новейшего, наиболее полного, вышедшего в двух томах в Москве в 1964 г.

годы; по его мнению, французский народ, склонный к крайностям, близок к тому, чтобы стать «вовсе слабоумным»; он отличается приверженностью к всякого рода «механическим рефремам», словесной эпилепсии и т. д. В примечании комментатора к приведенной цитате дневника разъяснено, что «Ламбер — мифический персонаж, в 1864—1865 годах созданный денди парижских бульваров; у них стало модным, обращаясь к кому-либо, спрашивать громким голосом: Видел ли ты Ламбера?».⁵

Роже Александр в своем известном «Музее разговора» поместил целое исследование об этом восклицании, усматривая в нем любопытный пример «таких слов, которые своей поражающей популярностью обязаны своей ничемностью».⁶ «Многие из нас, — пишет Александр далее, — вспоминают ту отвратительную песенку, которая внезапно громко прозвучала в летнюю жару 15 августа 1864 и широко распространилась по всей Франции от одного конца до другого. Эта песенка порхала из уст в уста во всех местах публичных сборищ, — на площадях, бульварах, в театрах и в особенности на вокзалах и в поездах дороги». Этот выкрик имел «редкую привилегию веселить все лица», но первоначально никто ничего не понимал в нем, ни те, кто его произносили, ни те, кто его слушали. В обращении среди публики находились «более или менее правдоподобные истории» о том, как возник этот популярный возглас. Р. Александру удалось собрать различные варианты анекдотических рассказов об исчезнувшем Ламбере, и он приводит выдержки из этих рассказов, изложенных в фельетонах различных парижских газет («Petit Journal», «Pays» и др.) 1864 г. Это позволяет ему, прежде всего, установить, что возглас возник не в 1863, а именно в 1864 г.; Р. Александру представляется даже, что он в состоянии установить точную дату его рождения — 15 августа — на том основании, что в это время появилась парижская песенка «He! Lambert» — слова Бомена (Beaumaine), — исполнявшаяся Александром Леграном на мелодию «Красавицы-польки» («La Bella Polonaise»). Песенка эта тотчас же зазвучала в различных кабаре и кафешантанах. Приводим в переводе начальные куплеты этой песни:

Он для меня больше, чем брат,
Вот уже пятнадцать лет, как я его знаю:
Он ночевал у моего отца,
Это я его кормила!

У него голубые глаза и открытый нрав,
Он всегда плохо одет!
Прошло уже третье воскресенье,
Как я его не впделала!
Эй! Ламбер!

⁵ Ibid.

⁶ *Alexandre Roger. Le Musée de la conversation, Répertoire de citations françaises, dictons modernes, curiosités littéraires, historiques et anecdotes.* 2-me éd. Paris, s. a., p. 194—197.

Не видели ли вы Ламбера
На вокзале железной дороги?
Нет, мы его не видели. . .
Ламбер? (5 раз).

Утонул ли он в море?
Потерялся ли он в пустыне?
Что видел Ламбер?
Ламбер! (4 раза) и т. д.

Третий куплет этой песенки намекает на происшествие, о котором писали тогда в газетах и по поводу которого она, вероятно, и была сложена. Ночью 9 июля 1864 г. некая женщина, присутствовавшая на эзерцициях пиротехнической школы в г. Венсенне, неподалеку от Парижа, вызвавших большое скопление публики, потеряла своего мужа, Ламбера. Она всюду громко звала его, протискиваясь сквозь толпу, а «любители глупых шуток, подражая ее безнадежным и отчаянным крикам, повторяли во всех тонах: *Hé! Lambert! As tu vu Lambert?*». «Рассказывали много других анекдотов», — свидетельствует Р. Александр, добавляя, однако, что он считает излишним воспроизводить их, поскольку все они восходят, по-видимому, к только что изложенному, и что сочинители песенок не преминули воспользоваться пеленым возгласом, применяя его ко всевозможным забавным ситуациям. «Мы насчитали, кроме цитированной выше песни, до восьми других произведений на ту же тему», — добавляет тот же Р. Александр. Цитируемые им газеты подтверждают почти мгновенно вспыхнувшую популярность этих песенок и ставшего благодаря им модным возгласа, который слышался всюду со всевозможными интонациями.

Специальные разыскания о происхождении и распространении этого возгласа произвел еще раз Роже Ланжерон.⁷ Он перелистал множество газетных листов, пересмотрел многочисленные мемуарные свидетельства и пришел к заключению, что первая вспышка необычайной известности странного выкрика припала на 15-е августа, праздничный день в честь французского императора (Наполеона III), широко отмечавшийся по всей Франции с особой пышностью. Газета «Petit Journal» в номере от 17 августа 1864 г., описывая эти празднества, упоминала, что в толпах гуляющих по парижским улицам не раз можно было слышать вопрошания о таинственном Ламбере, сопровождаемые всякими междометиями и веселым смехом. В тот же день газета «Маяк Луары» («Le Phare de la Loire»), со своей стороны, свидетельствовала, что крик «Эй, Ламбер!» слышался в одном из тех поездов, которые получили ироническое прозвание «поездов удовольствия» (*trains de plaisir*), — они шли очень медленно, но плата за проезд в них установлена была очень низкая; газета рассказывает, что в одном из таких поездов некоему человеку, окликавшему Ламбера, хором вторила вся поездная бригада на

⁷ *Langeron Roger. Hé, Lambert. — Le Figaro, 1957, 9 févr.*

всем протяжении пути; разумеется, прибавляла та же газета, о Ламбере осведомлялись у начальников вокзалов, «и они смеялись, если были остроумными людьми. Тем не менее, один из них рассердился, ответил резко, вызвав этим возмущение публики». «Маленькая газета» («Le Petit Journal») в номере от 18 августа 1864 г. свою первую страницу посвятила торжеству песенки о Ламбере Бомена, столь неожиданно получившей повсеместную популярность. В газете «Charivari» от 19 августа того же года помещено уже было целое рассуждение по этому поводу. Газета спрашивала: «Является ли Ламбер баснословным персонажем? Мифической личностью? Политическим символом? Абстракцией?» — и свидетельствовала, что «многие видят в нем намек то на Бисмарка, то на прусского короля, то на папу римского или, по меньшей мере, на кардинала Антонелли < . . . » Но все эти домыслы, — пишет далее газета, — чистейшее заблуждение! Достаточно спросить об этом тех, кто пользуется этим модным выкриком: за ним, очевидно, не скрывается никакой идеи и не стоит какой-либо образ».

К возгласу о Ламбере обратились и художники. Та же «Charivari» в номере от 23 августа, возвращаясь к спору, опубликовала посвященную ему карикатуру. На рисунке, названном «Hé! Lambert!» изображена женская фигура, символизирующая Францию, согбенную под станком туазы,⁸ который она несет на своей спине. Надпись, стоящая под рисунком, гласит: «Бедная Франция! Она стала еще ниже!». Отметим, кстати, что эта карикатура (худ. Cham) представляет полную аналогию той записи дневника Э. Гонкура, которая уже была приведена выше.

Не могли не коснуться возгласа о Ламбере, как своего рода «злобы дня», также толстые французские журналы. Действительно, ему уделил внимание Э. Форкад в «Двухнедельной хронике» («Revue de Deux Mondes»). Автор говорит здесь, в частности, о французском народе, который любит развлечения и забавы и кичится тем, что его называют остроумным; этому народу, по мнению журналиста, за последнее время предоставляют слишком мало поводов для веселья; и вот «толпа, влекомая безмерной шуткой (une immense facétie), в опьянении кричит в „поездах удовольствия“ (trains de plaisir) и на публичных празднествах: „Видел ли ты Ламбера?“ (As tu vu Lambert?)».⁹

Распространенность этого возгласа, по крайней мере в Париже, становилась своего рода общественным бедствием, поскольку он нарушал порядок в публичных местах и способствовал проявлению буйного коллективного веселья различных сборищ. На это обратила свое внимание даже полиция, а один из парижских префектов по имени Буателль издал даже «настоя-

⁸ Имеется в виду «антропометр», станок для измерения человеческого роста; туазы — старинная французская мера длины.

⁹ Forcade E. Chronique de la quinzaine. — Rev. de deux mondes, 1864, t. 53, livr. du 1 oct., p. 242 («Хроника» помечена 31 августа).

тельное предупреждение», поводом для которого явился возглас «Эй, Ламбер!». В этом предупреждении, между прочим, говорилось: «Префект полиции доводит до сведения публики, что в интересах безопасности движения на железных дорогах, как во внутренних помещениях вокзалов, так и в поездах, находящихся в пути, надлежит воздерживаться от каких-либо криков или возгласов (*ausons cris ou clameurs*), шум которых мог бы препятствовать службе и в особенности передаче сигналов. Лица, которые нарушат таким образом порядок, будут преследоваться за несоблюдение распоряжений по закону от 15 июля 1845 г. о полиции на железных дорогах». Приведя это характерное полицейское распоряжение, Р. Ланжерон в указанной статье отмечает, что по отношению к возгласу о Ламбере оно оказалось бессильным — возглас еще долгое время слышался в устах парижан; даже смена режимов не уничтожила во Франции популярного возгласа: он слышался и в императорском, и в республиканском Париже. «Еще в 1890 г., — все свидетельства об этом совпадают, — студенты Третьей республики приставали друг к другу с добросердечной и не имевшей никакой задней мысли фразой: „Как живешь? Видел ли ты Ламбера?“ (*Comment vas-tu? As-tu vu Lambert?*)».

Приведенные справки могут нам разъяснить, почему интересующая нас фраза превратилась в эпиграф повести Достоевского «Необыкновенное событие» 1865 г. Как видим, едва ли Достоевский слышал ее во время краткого пребывания в Париже в 1863 г., так как почти все существующие свидетельства о ней датируют ее появление в устах серединой августа следующего, 1864 года. С другой стороны, чтобы услышать или узнать эту фразу, Достоевскому вовсе не требовалось ездить в Париж: он мог прочесть этот возглас и разнообразные толки о его происхождении в любой французской газете того времени.

Длительная популярность разнообразных восклицаний о Ламбере объясняет нам, в свою очередь, почему они надолго запомнились также и Достоевскому. Французская фраза о Ламбере введена Достоевским в текст романа «Подросток», среди персонажей которого не случайно действует законченный подлец, окруженный «золотой молодежью», с именем Ламберт, навеянным Достоевскому героем парижских песенок. Имя Альбер или Lambert появляется в записных тетрадах Достоевского в 1869 г. в связи с замыслом «Жития великого грешника». Через несколько лет, в февральских записях 1874 г., Ламберт переносится из «Жития» в черновые наброски к «Подростку» — «с тою же ролью: кощунствующего и развратного мальчика».¹⁰ Над романом «Подросток» Достоевский работал с февраля 1874 по ноябрь

¹⁰ Доликин А. С. В творческой лаборатории Достоевского. (История создания романа «Подросток»). Л., 1947, с. 9, 12—13, 47; Литературное наследство. М., 1965, т. 77. Ф. М. Достоевский в работе над романом «Подросток», с. 60.

1875 г. В дошедших до нас многочисленных черновых вариантах Достоевский многократно засвидетельствовал, какое важное, почти символическое значение придавал он роли соблазнителя «подростка» — Ламберта с его шайкой шантажистов. Напомним, например, 5-ю главу III части в окончательном тексте романа. Здесь есть такая сцена:

«Ламберт вышел из-за ширм...

«Вот три желтых бумажки, три рубля, и больше ничего до самого вторника, и не сметь... не то...»

— *Le grand dadais* так и вырвал у него деньги <...> — Петя, ехать! крикнул он товарищу, и затем вдруг, подняв две бумажки вверх и махая ими и в упор смотря на Ламберта, завопил из всей силы: — *Ohé, Lambert, où est Lambert, as-tu vu Lambert?*

— Не сметь, не сметь! завопил и Ламберт в ужаснейшем гневе...».

И далее:

«— Я тебе говорю, это — все ужаснейшая шухешга, — не унимался Ламберт. — Веришь: этот высокий, мерзкий, мучил меня, три дня тому, в хорошем обществе. Стоит передо мной и кричит: „*Ohé, Lambert!*“ В хорошем обществе! Все смеются и знают, что это, чтоб я денег дал, — можешь представить».

И снова через несколько страниц:

«Вдруг, в это мгновение, с улицы раздался крик и сильные удары пальцами к нам в окно <...> Это был выведенный Андреев.

— *Ohé, Lambert, Où est Lambert? As-tu vu Lambert?* — раздался дикий крик с улицы» и т. д.¹¹

Восклицание о Ламбере играет роль не только у Достоевского. Однажды его воспроизвел и И. С. Тургенев в очерке «Казнь Тропмана» (1870). В главе IV, описывая парижскую толпу на площади перед Рокетской тюрьмой, Тургенев заметил: «Впереди, из-за грузно шевелившейся и напиравшей толпы, вырывались восклицания, вроде „*Ohé! Troppmann! Ohé, Lambert!*“».¹²

Современники Достоевского и Тургенева не нуждались в пояснениях, кто такой Ламбер и почему его имя произносится с прибавлением к нему различных восклицательных междометий. В наших изданиях их сочинений такие пояснения необходимы; для составления их могут оказаться пригодными также свидетельства, собранные в настоящей статье.

¹¹ Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч.: В 30-ти т. Л., 1975, т. 13, с. 347, 348, 354.

¹² Тургенев И. С. Полн. собр. соч. и писем. Соч. М.; Л., 1967, т. 14, с. 153.

МИКЕЛАНДЖЕЛО ПИНТО

НЕСКОЛЬКО ДАННЫХ К ЕГО ХАРАКТЕРИСТИКЕ
ПО РУССКИМ ИСТОЧНИКАМ

Имя Микеланджело Пинто не часто можно встретить в обзорах итальянской литературы середины XIX столетия. Тщетно будем мы его искать также в новейших биографических словарях и справочных изданиях; он не упомянут, например, ни в «Enciclopedia Italiana», ни даже в «Dizionario del Risorgimento Nazionale»; лишь в старом словаре А. Де Губернатиса, сохраняющем донные значение первоисточника, М. Пинто посвящена небольшая статья,¹ несомненно всецело основанная на автобиографической записке, доставленной ученому издателю словаря им самим. Между тем М. Пинто — этот забытый писатель, журналист, историк и публицист, бывший также лирическим поэтом и драматургом, заслуживает некоторого внимания: на рубеже 40-х и 50-х гг. прошлого века он сыграл короткую, но приметную роль в итальянской политической и литературной жизни; в последующие же десятилетия он был довольно видным деятелем на поприще итальянско-русского культурного сближения.

Несколько лет назад профессор Этторе Ло Гатто, так много сделавший для истории итальянско-русских культурных связей, обратил внимание историков русской общественной мысли на то, что в Museo Centrale del Risorgimento в Риме хранятся два неопубликованных письма А. И. Герцена к Пинто от 23 сентября и 4 октября 1850 г. Когда по фотокопиям, присланным в 1958 г. в Москву, эти интересные письма были опубликованы в «Литературном наследстве»,² они напомнили лишний раз о необходимости разобраться более внимательно в отношении двух этих корреспондентов, которых связывала долголетняя дружба, тем более что, как мы знаем сейчас, именно через посредство Герцена — вначале в Париже и Лондоне, а потом и в Петербурге — у Пинто установилось довольно близкое знакомство со многими видными деятелями русской литературы и просвещения: с И. С. Тургеневым, П. В. Анненковым, К. Д. Кавелиным, М. М. Стасюлевичем и многими другими. В старых русских архивах, ставших доступными для исторического изучения, обнаружено было недавно довольно много бумаг, проливающих свет на долголетнюю литературную деятельность Пинто в России; кое-что из них было опубликовано, однако с ошибками и неточностями, требующими исправления и сверки с еще не напечатанными рукописями. Так, например, в сопроводительной заметке к публикации двух указанных писем Герцена в «Литературном наследстве» о М. Пинто говорится: «Некоторые из его трудов были напечатаны на русском языке и пользовались известностью.

¹ *De Gubernatis Angelo*. Dizionario biografico degli scrittori contemporanei. Firenze, 1879, p. 822.

² Литературное наследство. М., 1958, т. 64, с. 441—445.

В 1870-х годах Пинто возвратился в Италию».³ Несколькими годами ранее в том же «Литературном наследстве» по другому поводу (в связи с частыми упоминаниями Пинто в переписке Герцена) о Пинто говорилось, что будто бы в Россию он отправился «в конце 1856 года» и «умер в 1871 году».⁴ Все это неверно. На самом деле в Петербург Пинто приехал в конце 1859 г. и прожил здесь до начала 1887 г., отлучаясь отсюда лишь на короткое время.⁵ Вновь найденные старые письма, а также официальные бумаги, мемуары, газетные и журнальные отзвывы 60—80-х гг. позволяют исправить и пополнить те краткие и неточные сведения о М. Пинто, которыми мы располагали до сих пор.

Жизнь М. Пинто отчетливо делится на две части — до и после приезда в Россию. Первый, итальянский же период известен нам главным образом из переписки А. И. Герцена и его друзей. Впрочем, фактическую и хронологическую основу для своей биографии этого периода дал сам Пинто в своей записке, представленной петербургскому университету в начале 1860 г. при зачислении его на должность лектора итальянского языка и литературы. Эта автобиографическая записка дала основной материал для жизнеописания Пинто, включенного В. В. Григорьевым в очерк истории университета.⁶ Сопоставление ее со справкой о Пинто, напечатанной десятилетие спустя Де Губертисом в его упомянутом выше «Словаре современных писателей», подтверждает, что и последняя восходит к тому же источнику — к рукописной записке Пинто: обе биографии Пинто — русская и итальянская — сообщают, что он родился в Риме в 1818 г. (15 января), кончил курс в Римском университете со степенью доктора прав, затем два года путешествовал по Франции, Германии и Англии, «изучая местные языки, нравы и быт», а «возвратившись в свое отечество, взялся за адвокатуру, не оставляя кроме того занятий изящной словесностью и политической экономией, особенно им любимую». Далее В. В. Григорьев сообщает о Пинто (со ссылкой на сведения, доставленные им самим): «Избранный скоро в члены учено-литературной Академии del Pantheon, он со вступлением на папский престол Пия IX принял деятельное участие в политике и основал один за другим три журнала: „l'italico“ (выходивший в 1846 и 1847 годах), „l'Erosa“ (выходивший в 1848 и 1849 гг.) и „Don Pirlone“ (юмористический с иллюстрациями, выходивший в те же годы), которых он был издателем и главным редактором».⁷

³ Там же, с. 442.

⁴ Там же. М., 1955, т. 62, с. 325.

⁵ Биографическая справка о М. Пинто, опубликованная мной в «Литературном архиве» (М.; Л., 1951, т. 3, с. 191—193), дает более точные сведения, но отличается краткостью и неполнотой.

⁶ Григорьев В. В. Императорский С.-Петербургский университет в первое пятидесятилетие его существования. СПб., 1870, с. 146—147.

⁷ Там же, с. 146. — В этой справке есть неточности, в частности относительно последнего издания. См.: Don Pirlone a Roma: memorie di un Italiano dal 1 Settembre 1848 al Dicembre 1850/Per Michelangelo Pinto, tip. di A. Fontana, 1850 (3 vol. in fol.).

Именно к этому времени весьма активной общественной и публицистической деятельности М. Пинто на родине относится первое сближение с ним А. И. Герцена. Они встречались в Риме, в Женеве, в Ницце. Спину и «другого редактора» — Пинто Герцен упоминает в одном из писем к жене, опубликованном еще П. В. Анненковым.⁸ О тесных связях своих с сотрудниками «Героса» Герцен писал московским друзьям: «В Риме я дружески сошелся с редакцией „Эпохи“ <...> Я способствовал, — да, не смейтесь! — придать „Эпохе“ республиканский колорит».⁹ Когда в августе 1849 г. П.-Ж. Прудон обратился к Герцену за поддержкой своей газете «La voix du peuple», Герцен, живший в то время в Швейцарии, вспомнил и о своих итальянских друзьях. «У нас есть возможность иметь великолепных корреспондентов, — писал он в ответном письме Прудону из Женевы 22 августа 1849 г. — Что касается Италии — Маццини, Спини и Пинто сказали мне, что с величайшим удовольствием принимают предложение регулярно присылать сообщения».¹⁰ Тем не менее уже в это время встречи Герцена с Пинто не могли быть частыми, о переписке же их мы можем только догадываться. Бурные события 1848 г. бросали их в разные стороны. Судьба самого Пинто, с его слов, весьма кратко, но все же достаточно выразительно рассказана в официальной русской его биографии, составленной В. В. Григорьевым. По его словам, М. Пинто «в звании депутата Выборной палаты, получившей существование по Конституции, данной Piem IX, был в 1848 г. послан от правительства к королю Карлу Альберту с поручением условиться на счет оснований для общей итальянской конференции; позже, избранный в члены учредительного собрания, он был назначен послом при Швейцарском Союзе, а после того — при Сардинском правительстве». Летом 1850 г. Герцен снова встретился с Пинто, на этот раз в Ницце. Политический горизонт и для того, и для другого был в это время затянут темными тучами; они обсуждали возможные перспективы своей жизни и деятельности на ближайшие годы. Возвращаясь в Турин, Пинто уславливался с Герценом о дальнейшей переписке и, в частности, просил его уведомить, не потребуется ли его помощь. Такой момент настал значительно быстрее, чем они предполагали. 20 сентября этого же года к Герцену явился русский консул в Ницце, чтобы объявить ему повеление Николая I — немедленно возвратиться в Россию, «не принимая от него никаких прищип, которые могли бы замедлить его отъезд, и не давая ему ни в каком случае отсрочки». Об этом визите и его последствиях Герцен подробно рассказал в XI главе своих мемуаров «Былое и думы». Герцен приводит здесь также свое смелое и полное достоинства письмо, врученное им через три дня в Ницце тому же

⁸ П. В. Анненков и его друзья. Литературные воспоминания и переписка 1835—1855 гг. СПб., 1892, с. 626.

⁹ А. И. Герцен. Новые материалы. М., 1927, с. 56.

¹⁰ Литературное наследство, т. 62, с. 494.

русскому консулу на имя начальника русской императорской канцелярии в Петербурге, — с категорическим отказом выполнить волю императора.¹¹ Но Герцен умолял, что одним из первых, кому он рассказал об этом двукратном свидании в Ницце с представителем русской власти, был именно Пинто. Письмо Герцена к Пинто от 23 сентября 1850 г. написано в тот же день, что и его официальный отказ от возвращения в Россию, и может служить точным и вместе с тем красноречивым комментарием к указанной главе «Былого и дум». «Еще совсем недавно, дорогой г. Пинто, уезжая из Ниццы, вы разрешили мне написать в случае нужды, — и вот я уже стучусь вам в дверь. Вы окажете мне истинную услугу, если наведете справки о моем положении в Пьемонте», — писал Герцен, рассказывая о свидании с консулом и предвидя, что его слушание будет сурово встречено в Петербурге. «Одним словом, что вы мне посоветуете, дорогой г. Пинто? Если мне гарантируют спокойствие, я переведу все свое состояние в Пьемонт. Если нет, мне придется переселиться в Лондон, который мне претит, или в Швейцарию, которую я терпеть не могу, или в Америку, которая наводит на меня скуку. . .»¹² Мы не знаем, что ответил Герцену Пинто; ни одно из писем последнего, по-видимому, не сохранилось; все они, нужно думать, были растеряны или уничтожены во время переводов его адресата. Как известно, Герцен вскоре оказался в Лондоне, а еще через несколько лет он в том же Лондоне старался оказать всяческую помощь М. Пинто, которого судьба привела в этот же город, и также в качестве политического изгнанника.

В Турине Пинто оставался еще до 1854 г.¹³ В обеих его биографиях — русской и итальянской — об этом говорится весьма глухо. А. Де Губертис подчеркивает, что Пинто находился «a Torino, quando i soldati francesi entrarono in Roma per restaurarvi la dominazione papale. Cadute colle sorti di Roma le speranze italiane, il Pinto rimase per parecchi anni in Torino, menando vita ritirata e studiosa. Ivi pubblicò alcune opere e presentò alla scena due drammi. . .»¹⁴ В. В. Григорьев еще более кратко говорит об этих годах Пинто («Переворот, происшедший между тем в Риме, сделал его изгнанником, а затем, потеряв и состоянье, должен он был прибегнуть к литературным трудам, составлявшим прежде для него отдых и развлечение, как к средству существования»), но зато приводит довольно полный перечень

¹¹ Герцен А. И. Собр. соч.: В 30-ти т. М., 1956, т. 10, с. 156—159.

¹² Литературное наследство, т. 62, с. 443 (подлинник по-французски).

¹³ В письме от 28 января 1854 г. к М. К. Рейхель Герцен отметил получение им в этот день письма от Пинто из Турина с просьбой прислать ему статью о России (Герцен А. И. Собр. соч.: В 30-ти т. М., 1961, т. 25, с. 147).

¹⁴ De Gubernatis A. Dizionario biografico degli scrittori contemporanei, p. 822; перевод: «в Турине, когда французские солдаты вступили в Рим для реставрации папского владычества. После падения Рима, а с ним и надежд, связанных с судьбой Италии, Пинто несколько лет оставался в Турине, где вел уединенную жизнь и много работал. Здесь он опубликовал некоторые произведения и поставил на сцене две пьесы. . .»

всех тех книг, которые были издапы М. Пинто в Италии до середины 50-х гг. Перечень этот не лишен интереса: он открывается книгой о женском воспитании и образовании (*Sull'influenza sociale della femminile educazione*. Bologna, 1846); далее идут издания, выпущенные им в Турине в 50-х гг., долгие отзвук пережитых им событий и характеризующие также его преимущественные интересы в период активной политической и публицистической деятельности: «*Memorie di un Italiano*» (Torino, 1850—1851, 3 vol. in 4°); «*Saggi di Economia politica*» (Torino, 1853); «*Discorso sulla storia della filosofia*» (Torino, 1853). Тут же названы и две драмы Пинто, — напечатаны они не были, но были играны на сцене незадолго до его отъезда из Италии: 1) *Carlotta di Rohsny*: *dramma in 5 atti* (представлена впервые в Турине в 1853) и 2) *Selvaggia*: *dramma in 4 atti* (представлена в первый раз в Генуе в 1854 г.); по-видимому, эта последняя после переделки и под измененным заглавием много лет спустя была напечатана в подлиннике и в русском переводе в Петербурге (1877). Кроме того, В. В. Григорьев приписывает Пинто «несколько сборников мелких стихотворений, переводный роман „La Casa di Savoia“ (изд. в Турине) и ряд критических и биографических статей под общим заглавием „Intorno all'Arte ed agli Artisti contemporanei d'Italia“, помещенных в „Atti dell'Accademia del Pantheon“ и разных специальных журналах римских за 1847—1849 годы, пока он жил и действовал на родине».¹⁵

На вторую половину 50-х гг. пришлось довольно длительные странствования Пинто по Европе. О маршрутах этих скитаний лишь некоторое, весьма неполное представление дают письма Герцена и его друзей. Весною 1856 г. Пинто был еще в Англии, все время общаясь здесь с Герценом. Осенью этого года он уехал в Париж; уже в это время был несомненно подробно обсужден план его переселения в Россию, о чем Герцен тотчас же оповестил многих своих русских друзей, живших за границей. «Октября 20 приедет к вам Пинто, — писал Герцен М. К. Рейхель, — что можете, посоветуйте ему, дайте писем — он едет в Россию» (письмо от 10 октября 1856 г.).¹⁶ Н. А. Мельгунов предупрежден был об этом еще ранее, он писал Герцену накануне (9 октября 1856 г.) из Парижа в Лондон: «Жду твоего Pinto и готов для него сделать все, что могу. Но зачем он едет? Не подымать Россию против папы? Смотри как бы он какой-нибудь неосторожностью не компрометировал меня и моих приятелей! Мне, право, не хочется дарить свои русские капиталы какому-нибудь капитулу. Отпиши мне об этом поскорее».¹⁷ И шутливый каламбур, и несколько преувеличенные опасения, высказанные в этом письме, вполне объяснимы: Мельгунов — литератор и публицист, в рав-

¹⁵ Григорьев В. В. Императорский С.-Петербургский университет. . ., с. 146—147.

¹⁶ Герцен А. И. Собр. соч.: В 30-ти т., т. 25, с. 338—339 (письма к М. К. Рейхель от 11 и 17 апреля 1856 г.); т. 26, с. 38.

¹⁷ Литературное наследство, т. 62, с. 324—325.

ной мере близкий и русским «западникам» и «славянофилам», жил за границей по собственному желанию и не являлся изгнанником, подобно своему тогдашнему другу Герцену, с которым вскоре резко разошелся. С другой стороны, Герцен хорошо знал, с кем он знакомил Пинто и какую пользу Пинто мог отсюда извлечь; у Мельгунова оставались в России влиятельные друзья, и его рекомендации могли оказать быстрое действие. Личное знакомство с Пинто быстро рассеяло опасения Мельгунова. 10 ноября 1856 г. он благодарил Герцена за знакомство с Пинто, состоявшееся в Париже, и писал отсюда по этому поводу: «Это человек очень интересный. Он едет недели через три отсюда; я ему советую дождаться санного пути. Между тем я знакомлю его с Россией и с русскими. Вчера он обедал у меня с Иваном Тургеневым, который тоже дает ему письма. Я, со своей стороны, даю ему писульки к Кавелину, к Титову и пр. В Москву пока неважно, потому что он туда не едет. Титов, между прочим, может быть ему полезен. Ты вероятно знаешь, что он назначен наставником моего тезки — Николая Александровича (наследника престола). Как знать, может быть Пинто попадет ко двору в качестве профессора итальянской литературы, консерватора музея и т. д. Он везет с собою большую коллекцию антиков, objets d'arts, и пр. Словом, мы об нем хлопочем...».¹⁸ В тот же день о своем знакомстве с Пинто Герцену сообщил И. С. Тургенев: «Я вчера обедал с Пинто у Мельгунова; мне он очень понравился — по что за борода в виде каскада! Шутки в сторону, он мне кажется тонкой, изящной и чистой натурой».¹⁹ Близкое общение Пинто с Мельгуновым в Париже продолжалось и в последующие месяцы, когда они стали друзьями. В письме от 8 января 1857 г. И. С. Тургенев сообщил Герцену весьма колоритное и полное веселости описание ужина у Мельгунова на его парижской квартире в новогоднюю ночь 1857 г., на котором он присутствовал вместе с Пинто и еще несколькими приятелями.²⁰

Предположенный зимою 1856—1857 гг. отъезд Пинто в Россию, однако, не состоялся по неизвестным для нас причинам; мы, к сожалению, не знаем также, как возник этот проект и какова была доля участия Герцена в его разработке. Во всяком случае Пинто ехал в Париж в 1856 г. с письмами Герцена для знакомства с Мельгуновым уже в то время, когда этот проект созрел окончательно, притом в близком общении Пинто с Герценом. Тем не менее именно Герцен в письме к И. С. Тургеневу выражал некоторое удивление по поводу обуявшего тогда Пинто влечения в ту страну, которую он сам принужден был покинуть навсегда. «Ты познакомился, кажется, с Пинто, — писал Герцен Тургеневу еще 8 ноября 1856 г. — Он очень хороший человек, но откуда

¹⁸ Там же, с. 328. — В. П. Титов (1807—1891) — давний друг Мельгунова, знакомец Пушкина и многих других русских писателей.

¹⁹ *Тургенев И. С.* Полн. собр. соч. и писем. Письма: В 13-ти т. М.; Л., 1961, т. 3, с. 26.

²⁰ Там же, с. 70.

у него геймве к России».²¹ Интерес к России возник у Пинто еще в Италии; в последующие годы знакомства с русскими людьми, и в частности с русскими литераторами, которых Пинто встречал в европейских столицах, должны были укрепить его решение — переехать в Петербург на постоянное жительство.

Весною 1857 г. Пинто был еще в Париже;²² в июле он на короткое время приехал в Гомбург близ Франкфурта, где жил в то время Н. А. Мельгунов, и вскоре уехал отсюда в Лондон.²³ В Англии Пинто находился еще осенью 1858 г., продолжая встречаться здесь и с Герценом — и через его посредство — с различными русскими путешественниками. Неизвестно, почему его собственный отъезд все время откладывался, но его заочные связи с Россией во все это время постепенно становились более прочными; особенно хлопотали по этому поводу Н. А. Мельгунов и И. С. Тургенев. Нужно думать, что именно Тургеневу принадлежала идея напечатать какую-то статью Пинто в петербургском журнале «Современник»; он писал об этом Некрасову, конечно, давая при этом и лучшую характеристику рекомендуемому автору. «Статью Пинто, разумеется, возьму с удовольствием», — отвечал Некрасов из Парижа 31 мая 1857 г. Тургеневу, ненадолго уехавшему в Лондон.²⁴ Правда, эта статья так и не появилась в «Современнике» либо была напечатана здесь, но без подписи, и пока не может быть определена.²⁵ Если Тургенев пытался находить связи Пинто с русскими литераторами, то Н. А. Мельгунов, в свою очередь, укреплял его отношения со своими влиятельными друзьями; так, например, он посылал Пинто в Лондон письмо В. П. Титова.²⁶ Очевидно, Пинто ждал в Петербурге.

Пинто прибыл в Петербург в середине декабря 1859 г. Хотя многое для устройства его здесь на постоянное жительство было уже подготовлено прежде, но особенно благоприятным для него оказалось то обстоятельство, — может быть, даже обусловленное заранее, — что он встретил в Петербурге И. С. Тургенева, приехавшего сюда незадолго перед тем. Тургенев несомненно сильно облегчил первые знакомства Пинто в северной столице, попытавшись ввести его в те дома, где он сам бывал желанным гостем. До нас, например, дошло лишь недавно напечатанное письмо

²¹ Герцен А. И. Собр. соч.: В 30-ти т. М., 1962, т. 26, с. 47.

²² Литературное наследство, т. 62, с. 349.

²³ Мельгунов писал Герцену 18 июля 1857 г. из Гомбурга: «Вчера же приехал сюда Пинто, который собирается отсюда в Лондон и поручает тебе кланяться. Ты ему писал, что переменишь квартиру; сделай милость, сообщи в таком случае новый адрес» (там же, с. 377).

²⁴ Некрасов Н. А. Полн. собр. соч. и писем. М., 1952, т. 10, с. 339.

²⁵ Боград В. Журнал «Современник» 1847—1866. Указатель содержания. Л., 1959. — В этой книге, дающей наиболее полный свод анонимных и псевдонимных статей, напечатанных в «Современнике», статья Пинто не упоминается.

²⁶ Мельгунов писал Герцену в Лондон 17 сентября 1858 г.: «Когда увидишь Пинто, скажи ему, пожалуйста, что я решил к нему на днях письмо Титова, которому я сказал, что Пинто желает его иметь для торговых предприятий» (Литературное наследство, т. 62, с. 380).

Тургенева к кн. О. С. Одоевской, жене кн. В. Ф. Одоевского, видного писателя, имевшего широкие связи в литературных кругах и артистическом мире; оно писано Тургеньевым в Петербурге и имеет дату 16—28 декабря 1859 г. «Позвольте мне просить Вас оказать покровительство г-ну Пинто, которого рекомендую Вам, как отличнейшего и честнейшего человека, который по встретившимся несчастьям — (он принадлежал к партии римских либералов и был даже некоторое время chargé d'affaires от Римского правления в Турине) — принужден искать себе здесь места или занятия. Он мог бы занимать место воспитателя или доверенного человека; на него можно положиться как на каменную гору: я говорю вам это по опыту. Все, что вы для него сделаете, я приму за личное благодеяние».²⁷ Очень вероятно также, что именно И. С. Тургеньеву принадлежала инициатива устроить Пинто на вакантную в то время должность преподавателя итальянского языка в Петербургском университете.²⁸ Очевидно, избрание это вызвало какие-то непредвиденные затруднения; об этом свидетельствует торопливая записка Тургеньева на имя ректора университета П. А. Илетьева, написанная 12 января 1860 г., в то время, когда кандидатура Пинто обсуждалась в университетских кругах: «Пожалуйста, не дайте, чтоб заклевали Пинто пустыми формальностями: я принимаю в нем живейшее участие — и притом я убежден, что университету не навредить такого другого лектора итальянского языка: он принесет ему и честь и пользу».²⁹ Возможно, что ходатайства Тургеньева сыграли свою роль, хотя у Пинто безусловно нашлись и другие защитники в ученых и литературных кругах. Об этом можно судить, в частности, и по тем отзывам о Пинто, которые историк университета В. В. Григорьев привел десятилетие спустя на основании официальных бумаг и протоколов университетского архива. «В лице Пинто, — пишет он, — университет приобрел одного из образованнейших людей Италии, литератора и политического деятеля с именем и большими заслугами».

Утверждение Пинто в должности лектора состоялось в феврале 1860 г., а уже в марте начались его занятия. Вступительная лекция, озаглавленная «О характере итальянской литературы», читанная им в университете в марте на французском языке, вскоре в русском переводе напечатана была в газете «С.-Петербургские ведомости» (1860, № 80); ее быстрое опубликование не является неожиданным, поскольку она представляла несомненный

²⁷ Сборник Гос. Публичной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина. Л., 1955, вып. 3, с. 72.

²⁸ В. В. Григорьев («Императорский С.-Петербургский университет. . .», с. 147) пишет о М. Пинто: «Звание лектора в университете получил он вскоре по прибытии своем в Россию, куда направил его из Парижа известный Н. И. Тургеньев». Не знаем, на чем основано это указание. В доступных нам неподанных бумагах Н. И. Тургеньева упоминаний о Пинто нам не встретилось. Не исключена возможность, что декабрист Н. И. Тургеньев спутан здесь с И. С. Тургеньевым.

²⁹ Литературный архив. М.; Л., 1951, т. 3, с. 191.

интерес не только для студенческой аудитории. М. Пинто выступал перед слушателями как ближайший свидетель и непосредственный участник недавних событий в Италии, как писатель и публицист, судивший о явлениях литературы своей страны и о своих собратьях по перу на основании близкого с ними знакомства. В своей лекции он, по собственным словам, стремился раскрыть «развитие наших идей о таинственной связи, соединяющей литературу с политикой, и о солидарности, существующей между нациями относительно литературы и науки». Лекция Пинто являлась, в сущности, сжатой характеристикой итальянской литературы его времени; несколько представленных им наблюдений и обобщений перемешаны были здесь с личными воспоминаниями и субъективными оценками. События в Италии привлекали тогда внимание самых широких кругов русского общества; известия ловились на лету и оживленно обсуждались. Поэтому все, что говорил Пинто, должно было быть встречено с живейшим любопытством. Не могли не обратить на себя внимание и те слова, в которых он стремился вскрыть особые свойства и специфическую направленность итальянской литературы; в известной степени это могло быть отнесено слушателями также к условиям развития литературы в России. «Литература в Италии, — говорил Пинто в этой лекции, — не была ни искусною игрою, ни игривым искусством; она не была также ни ареною славы, ни источником обогащения. Она была выше этого, — она была священным долгом, достойною миссиею. Вместо того чтобы доставить людям, посвятившим ей свое счастье и свою жизнь, — лавры, удовольствие, почесть, могущество и деньги, литература предлагала нам лишь преследование, клевету, ненависть, нищету и изгнание, если не тюрьму и не эшафот. И мы все приняли это предлодение и подверглись этим последствиям без сожаления и без высокомерия». «Писатель у нас, — говорил Пинто далее от имени Италии, — это воплощенная родина; он — слеза, которая истекает из ее глаза, он — вздох, исходящий из ее груди; раны его родины — его раны, враги родины — его враги. У нас писатель или плачет, или проклинает, но никогда не улыбается, и если вам удастся случайно заметить улыбку на устах поэта, как у Джустини, то сорвите покров, за которым скрывается причина ее появления, и вы поймете тогда, что это была улыбка иронии, стрела сарказма».³⁰

Чтобы подтвердить этот общий вывод примерами, Пинто называл ряд итальянских писателей и созданных ими произведений. Он с восторгом отзывался о Гвеваци и особенно о его шедевре «Осада Флоренция», этом «самом живом и самом могущественном протесте, который когда-либо исходил из-под пера писа-

³⁰ Цитирую по исправленному автором тексту, составившему впоследствии «Введение» к его книге «История национальной литературы в Италии: Лекции, читанные в имп. С.-Петербургском университете» (СПб., 1869, т. 1, с. XXIV—XXV).

теля», — романе, в котором Гверацци «бросил перчатку всем: и империи и папству, и иностранным угнетателям и домашним». Далее Пинто упомянул и Карло Ботта, который «с той же целью вносил в золотые страницы своей „Истории“ все торжества и все несчастья Италии», и Массимо Д'Адзельо, «отдававшего честь итальянскому знамени и любви к отечеству», который «возбуждал воспоминание о главном, но почти забытом „барлеттском поединке“ и оживлял в памяти великие дела Флорентийской республики рассказом о доблести Феруччио и патриотизме Никколо Де Лали». Пинто не хотел забыть в своей лекции никого из тех, кто своим словом, пером или делом способствовал великому делу национального возрождения и политического объединения его родины, еще в то время не завершившихся. Характерно, что он не забыл при этом упомянуть и о самом себе. Назвав Николо Томмазо, «который среди своих философских исследований и эстетических запытий постоянно мечтал о независимости Италии», Джустини, «создавшего из своих колких поэтических произведений нечто в роде нового позорного столба, к которому он беспощадно приковывал всех врагов своего отечества», Пинто продолжал: «Ту же цель преследовали и от той же точки исходили Амари и Ла Фарина в своих исторических трудах, Раналли и Эмилиано Джудичи в своих сочинениях об итальянской литературе и искусствах, Брофферо в его „Истории Пьемонта“ и в его пьемонтских песнях, Валерио — в его семейных чтениях, и Пинто в его речах, журналах, драматических опытах и в его Дон Пирлоне».³¹

Лекция Пинто, читанная с темпераментом и воодушевлением, обратила на себя внимание, в особенности после того как она была напечатана в распространенной петербургской газете. Имя Пинто становилось популярным. Однако его материальные дела были еще в полном расстройстве. Об этом мы знаем из нескольких писем И. С. Тургенева. В начале марта 1860 г., возвратившись из Москвы (куда он ездил для того, чтобы следить за печатанием своего романа «Накануне»), Тургенев возобновил свои энергичные хлопоты за Пинто. 2 марта, т. е. на другой день после вступительной лекции Пинто, Тургенев вручил ему рекомендательное письмо на имя видного общественного деятеля кн. В. А. Черкасского, в котором писал: «Это письмо Вам передаст мой друг, г-н М. А. Пинто, о котором я Вам так много говорил. Я надеюсь, скажу больше — я уверен, что вы его примете как друга. Он вам скажет, чем вы ему можете быть полезны; впрочем, я и сам скажу вам об этом. Я рассчитываю на княгиню и на вас; я знаю, насколько вы оба любезны, и к тому же на этот раз дело идет об одолжении другу (это я говорю о себе), а друзья требовательны».³² В те же дни по тому же поводу Тургенев направил записку графине Е. Е. Ламберт: «... и завтра около 12 ча-

³¹ Пинто М. История национальной литературы в Италии, т. 1, с. XXVI.

³² Тургенев И. С. Полн. собр. соч. и писем. Письма: В 13-ти т. М.; Л., 1962, т. 4, с. 45-46, 402.

сов привезу вам моего приятеля *Пинто*, здешнего лектора италянского языка при Университете. Это человек *отличнейший* в полном смысле слова — *loyal et sûr au suprême degré* — а между тем он здесь почти бедствует. Я удивляюсь, как я его не привез Вам в прошлом году. Он желал бы иметь хотя немного уроков — или какое-нибудь местечко в добавку к его университетскому месту, чтобы существовать. Повторяю, это превосходный, редкий человек». ³³ Существует, наконец, и третье рекомендательное письмо Тургенева о Пинто, датированное 9 (21) марта 1860 г., к баронессе Э. Ф. Раден. ³⁴ «Не знаю, говорила ли Вам М-ле Эйлер о некоем г. Пинто из Рима, моем большом друге, только что назначенном лектором итальянской литературы в университете, который желал бы давать уроки. Его положение пошатнулось после событий 1848 г., а занимаемая им должность лектора дает ему только 500 р. в год. Я намеревался поговорить с Вами о нем вчера вечером, но будучи эгоистом, говорил с Вами лишь о вещах, которые касались лишь меня. Этот г. Пинто очень любезный человек, ученый, в совершенстве владеющий родным языком и хорошо знающий французский: он был адвокатом, главным редактором, дипломатическим представителем и т. д. и т. д. Он играл довольно значительную роль в событиях последних лет, и это его совершенно разорило. Это человек безукоризненной репутации, вполне корректный, деликатный. Я его знаю с давних пор и могу смело его рекомендовать. Нельзя ли ему достать несколько уроков? (Кстати — не изучают ли наши великие князья итальянский язык?). Этим вы сделали бы доброе дело — а лица, которые согласились бы доверить своих детей г. Пинто, были бы вам благодарны. Что касается меня, — то я буду рассматривать все, что вы сообразовали сделать для него, как одолжение» и т. д. Все эти рекомендательные письма, направленные Тургеневым представителям петербургских великосветских кругов, били в одну цель, которой он, впрочем, по-видимому, не достиг: доставить Пинто дополнительные заработки; мы, по крайней мере, не имеем никаких данных о том, что Пинто получил уроки в частных домах Петербурга или дополнительную службу, которой столь добивался. Помощь, однако, пришла с другой стороны, где рекомендации Тургенева и его зарубежных друзей должны были иметь более действительное значение, — от петербургских литераторов.

С начала 1860 г. незадолго перед тем основанный в Петербурге «Литературный фонд» начал устраивать публичные лекции, чтения и спектакли, имевшие шумный успех. Устраивались они в зале «Пассажа», которая бывала всегда полна: «...объясняется

³³ Там же, с. 47. — Эта записка не датирована. Henri Granjard (Ivan Tourguénev, la comtesse Lambert et «Nid de seigneurs»). Paris, 1960, p. 229) воспроизвел ее полностью и отнес «к концу 1859 или началу 1860 г.», но так как Пинто был утвержден лектором только в феврале 1860 г., то она не могла быть написана ранее этого года.

³⁴ *Тургенев И. С.* Полн. собр. соч. и писем. Письма, т. 4, с. 49, 402—403.

это тем, — вспоминал впоследствии один из современников, — что публичные лекции были в то время новинкою, как вообще всякие общественные собрания. И нет ничего особенного в том, что они привлекали к себе публику».³⁵ Немало шума в ноябре того же 1860 г. вызвали, например, три лекции П. Л. Лаврова «О современном значении философии», читанные им в пользу Литературного фонда,³⁶ за ними следовали и другие циклы публичных лекций (в декабре 1860 г. — Н. Н. Булича о философии эпохи Возрождения); некоторые из них читались на английском и французском языках и также усердно посещались.³⁷ В конце ноября в «С.-Петербургских ведомостях» напечатана была заметка «Лекции г. Пинто о Данте»: «Г. Пинто, лектор итальянской словесности при Санктпетербургском университете, изъявил желание прочесть, в зале Пассажа, на французском языке, четыре лекции о „Данте, его веке и его сочинениях“, предоставляя половину сбора с означенных лекций обществу для пособия нуждающимся литераторам и ученым. Первая лекция Г. Пинто имеет быть во вторник 29 сего ноября, в 7½ часов вечера, а три остальные также по вторникам, в следующие числа, 6, 13 и 20 декабря».³⁸ Устроителем этих лекций был друг Тургенева и один из учредителей «Литературного фонда» — П. В. Анненков; среди бумаг последнего сохранилось письмо к нему Пинто, писанное накануне первой лекции в «Пассаже», т. е. 28 ноября 1860 г., полное тревоги и озабоченности.³⁹ Лекции эти состоялись в положенные дни и имели успех. Интересное подтверждение этому мы находим в письме Н. Г. Чернышевского к Н. Добролюбову, писанном полгода спустя. Рассказывая Добролюбову о хлопотах по устройству своих лекций по политической экономии в пользу «Литературного фонда», Чернышевский уведомлял его, что он скоро будет занимать «в пассажной зале то место, которое с та-

³⁵ Голос минувшего, 1915, № 9, с. 136; Юбилейный сб. Литературного фонда 1859—1909. СПб., 1910, с. 12, 85—88.

³⁶ П. В. Анненков писал И. С. Тургеневу: «Сейчас только с философских лекций Лаврова; зала Пассажа полна, много дам, офицеров бездна. . . Успех огромный» (Труды Публичной библиотеки СССР им. Ленина. М., 1934, вып. 3, с. 104).

³⁷ С.-Петербургские ведомости, 1860, № 7, с. 33; 1861, № 37, № 248 и др.

³⁸ Там же, 1860, № 258, с. 1371.

³⁹ Письмо Пинто на французском языке хранится в Институте русской литературы (Пушкинский Дом) АН СССР в Ленинграде. Пинто пишет здесь, что обеспокоен своей простудой и сильным насморком, что зала, где будут происходить лекции, ему нравится, но положение кафедры кажется неудобным: «Если бы я говорил, как г. Лавров, то это было бы еще ничего», между тем он «должен читать по листкам», и это доставит неудобство его слушателям. Пинто упоминает также К. Д. Кавелина, с которым он уже в это время находился в приятельских отношениях, и жалуется на волнение, которое обуревает его перед лекцией: «Если бы, по крайней мере, и у меня была Беатриче, которая бы молилась за меня! . . . Но, к сожалению, ее нет у меня ни на небе, ни (и это еще досаднее) на земле. До свидания, мой дорогой г. Анненков: я не приношу вам извинений и не благодарю вас, ибо хочу всегда оставаться вашим должником, подобно тому как являюсь вам преданным всем сердцем и благодарным другом».

кою славою занимали С. Соловьевич, Пинто и другие». ⁴⁰ Об этих лекциях Пинто мы также можем составить себе известное представление, потому что несколько лет спустя в дополненном и исправленном виде они изданы были петербургским университетом отдельной книгой.

Литературная деятельность Пинто в России довольно широко развернулась с середины 60-х гг., после возвращения его в Петербург из путешествия 1862 г., когда он (с марта по апрель этого года) по поручению университета ввиду предполагавшихся тогда реформ учебного дела в русских высших учебных заведениях «объезжал университеты и другие учебные заведения Италии». ⁴¹ Большинство напечатанных им в то время статей связано было с его лекциями в университете, однако он первоначально попытался было и в России продолжить свои публицистические выступления. На этом поприще он, однако, большого успеха не имел, — по-видимому, из-за цензурных затруднений. Так, например, еще в 1861 г. он начал публикацию в Петербурге широко задуманного историко-публицистического труда «Папство в Риме. Исторический очерк», из которого напечатано было только три статьи. ⁴² Обещанное продолжение в печати не появилось; он успел довести свое изложение только до конца IX столетия, остановившись на характеристиках Бонифация VI и Стефана VI. Едва ли подлежит сомнению, что эти очерки были прекращены после вмешательства петербургских цензурных инстанций, испугавшихся слишком зловонных намеков в этих очерках и тенденций их автора. Нечто подобное случилось и с другой большой статьей Пинто, в которой он выступал не только как историк, но и как мемуарист: «Пий IX и революция. Из записок очевидца: 1848 и 1849 гг.». Эта статья была напечатана в журнале «Вестник Европы», только что вступавшем во второй год своего существования, с таким примечанием редактора М. М. Стасюлевича: «Печатаемые нами „Записки“ о римских событиях 1848 и 1849 гг. составлены очевидцем на итальянском языке, по личным воспоминаниям и сохранившимся у него документам, и переведены по неизданной рукописи, под руководством автора». ⁴³ Эта статья должна была, конечно, представить животрепещущий интерес для читателей, в особенности потому, что Пинто не скупился здесь на личные воспоминания. Давая, например, характеристику периодических изданий, выходивших в Риме в конце 40-х гг., Пинто подробно останавливался и на той газете «Эпоха» («l'Ероса»), которую издавал сам в начале своего знакомства с А. И. Герценом; ⁴⁴ рассказы Пинто о свидании папы Пия IX

⁴⁰ Чернышевский Н. Г. Полн. собр. соч. М., 1949, т. 14. Письма, с. 426.

⁴¹ Григорьев В. В. Императорский С.-Петербургский университет. . . , с. 318.

⁴² Век: Журнал общественный, политический и литературный, 1861, № 27, с. 844—848; № 29, с. 901—904; № 37, с. 1097—1099.

⁴³ Вестн. Европы, 1867, июнь, т. 2, с. 257—299; дек., т. 4, с. 233—275.

⁴⁴ «Эта газета, — писал Пинто, — издавалась автором настоящих записок, в то время самым молодым из политических писателей. Его орган, не

с Мамиани в Квиринале 23 ноября 1848 г. и о последовавших за тем событиях отличаются такой подробностью и точностью, что несомненно основаны на дневниковых записях автора.⁴⁵ Когда в журнале появилась вторая часть этой статьи, Пинто увидал, к своему крайнему огорчению, что она подверглась сокращениям, по-видимому, в той именно мемуарной части, которой он особенно дорожил. Сохранилось письмо М. Пинто к М. М. Стасюлевичу от 19 декабря 1867 г., в котором высказаны эти авторские огорчения.⁴⁶ Но М. М. Стасюлевич не очень повинен был в этих сокращениях, связанный сам требованиями цензуры. Недоразумение автора с редактором «Вестника Европы» было исчерпано быстро, после обмена письмами и их личной встречи. Но Пинто понял, что его должность лектора в университете того времени едва ли допускала столь опасные публицистические выступления в печати, и предпочел далее печатать в русских журналах свои очерки по истории итальянской литературы.

Конечно, и в этих очерках постоянно чувствовался не столько историк — эрудит и ученый, сколько публицист, силою обстоятельств оторванный от активного вмешательства в водоворот современных событий и постоянно обращавшийся с мыслью не к прошлому, но к будущему своего отечества. Тем не менее его многочисленные труды по истории итальянской литературы принесли свою пользу русским читателям, так как основаны были на первоисточниках и сообщали много таких фактов и соображений, которые представляли интерес.

К 60-м гг. относится довольно тесное сближение Пинто с профессорами петербургского университета. Он помогал справками и выписками из старых итальянских поэтов Я. К. Гроту, работавшему тогда над комментариями к сочинениям Г. Р. Державина;⁴⁷ довольно часто общался он также с А. В. Никитенко, о чем можно судить по записям дневника Никитенко.⁴⁸ Младшая дочь Никитенко, Софья Александровна (1840—1901), приятельница и доверенное лицо И. Гончарова, которую писатель очень

заботясь о форме, стремится к прогрессу, указывая при этом на единство Италии, как на средство, с помощью которого она могла достигнуть своей независимости» и т. д. (там же, т. 2, с. 292).

⁴⁵ Там же, т. 4, с. 268.

⁴⁶ Письмо это хранится в Институте русской литературы (Пушкинский Дом) АН СССР в Ленинграде. Вместе с ним хранится также и черновик ответа М. М. Стасюлевича М. Пинто.

⁴⁷ Соч. Державина/С объяснит. примеч. Я. Грота. СПб., 1864, т. 1, с. 193.

⁴⁸ *Никитенко А. В.* Дневник: В 3-т./Ред. И. Я. Айзенштока. М.; Л., 1955, т. 2, с. 350, 354, 373, 431, 439 (записи 1858—1865 гг.); т. 3, с. 37, 218. — Из этих записей можно представить себе и круг ближайших знакомых Пинто в 60-х гг. В числе его друзей были литераторы В. М. Михайлов, переводчик Данте и Гейне на русский язык и Пушкина — на французский (Труды Отдела новой русской литературы Пушкинского дома. М.; Л., 1948, т. 1, с. 53—55), К. Д. Кавелин, Н. Н. Тютчев, А. П. Брюллов и др. В 1863 г. Пинто женился на Лидии Дмоховской, которая умерла в Италии в 1874 г.

ценил как своего добровольного секретаря и переписчика, была также постоянной долголетней переводчицей Пинто: почти все то, что напечатано им на русском языке, было переведено С. А. Никитенко с итальянских рукописей. Не может быть сомнений в том, что через ее посредство Пинто был знаком также с И. А. Гончаровым.⁴⁹

В середине 60-х гг. М. Пинто откликнулся в русской печати на широко отмеченный и в России 600-летний юбилей Данте. В двух книгах журнала «Отечественные записки» Пинто поместил большую статью «О Данте. По поводу шестисотлетнего юбилея».⁵⁰ Хотя эта статья и представляла собою извлечение из его более обширного труда, первые очертания которого намечены были им еще в упомянутых выше публичных лекциях о Данте и его времени 1860 г., но она полна была злободневности и всецело проникнута присущим ему публицистическим пафосом. Статью свою Пинто начинал следующими словами: «Наступивший 1865 год имеет особенное и торжественное значение для Италии. Он вызывает величавое воспоминание, довершает великое событие, упрочивает славную судьбу. Он вызывает воспоминание о Данте, шестисотлетний юбилей которого приготавливаются праздновать. Он довершает событие, заключающееся в выполнении желаний и пророчеств великого поэта. Он упрочивает судьбу итальянского народа» и т. д. В следующем году петербургский университет отдельным изданием выпустил небольшую книгу Пинто «Данте и его век», пополненную некоторыми данными о русских переводах и восприятиях «Божественной комедии», но столь же проникнутую мечтами об отечестве, о его прошлом и настоящем.⁵¹ Вскоре напечатаны были статьи «Петрарка и его политическое значение»⁵² и «Микель Анджеоло Буонаротти как поэт».⁵³ Почти одновременно вышел большой труд Пинто «История национальной литературы в Италии. Лекции, читанные в имп. С.-Петербургском университете» (СПб., 1869, т. 1. 317 с.), где в 17 главах рассмотрена история итальянской литературы от ее зарождения до Боккаччо включительно.

Эта книга вызвала отклики и в русской печати. Критики признавали ее полезным пособием, но в то же время сетовали и на ее отрывочность и неполноту. «Видно, что г. Пинто основательно знаком с литературою своего отечества, что ему известны требования настоящей критики, что он до некоторой степени проникнут горячею любовью, может быть, слишком горячею,

⁴⁹ В переписке Гончарова сохранилось лишь случайное упоминание о жене Пинто (М. М. Стасюлевич и его современники. СПб., 1912, т. 4, с. 101).

⁵⁰ Отеч. зап., 1865, № 9, с. 71—104; № 11, с. 391—421.

⁵¹ Пинто М. Исторические очерки итальянской литературы, извлеченные из лекций, читанных в имп. Санктпетербургском университете. Данте и его век. СПб., 1866. 182 с. — Ср. также: Годичный торжественный акт в С.-Петербургском университете, 26 сентября 1865 г., с. 1—184.

⁵² ИЖМНП, 1867, № 6, с. 794—838.

⁵³ Там же, 1870, № 6, с. 385—434.

к своему делу, но при всем том мы отказываемся признать за ним ту полноту, которую желали бы встретить в истории национальной литературы в Италии», — писал рецензент журнала «Библиограф». «Что касается оригинальности взглядов и выводов, то и в этом случае г. Пинто не может стать на ряду с весьма многими из своих собратьев по науке. Результаты, к которым приходит г. Пинто, давно уже известны и нашли себе место не только в иностранной литературе, но проникли и к нам». Рецензент приводит длинный список исследователей итальянской литературы, в частности Данте (среди русских ученых им названы П. Кудрявцев, С. Шевырев, А. Веселовский), которые, по его словам, уже ранее «высказали почти все то, что заключается в книге Пинто».⁵⁴ Эти упреки заслужены автором в значительной степени. Книга Пинто и на самом деле интересна вовсе не своими фактическими данными или учеными пысканиями, но той задачей, которую он ставил себе в условиях своего времени, — проследить развитие в веках идеи итальянского национального единства, насколько она отразилась в памятниках литературы. И, может быть, наиболее интересной и самостоятельной частью его книги является ее «Введение», в котором Пинто рассуждает о своих соотечественниках — прежних соратниках и современниках.

В 70-х гг. Пинто стал реже выступать в русской печати. Он по-прежнему вел занятия в университете,⁵⁵ но от литературных трудов его сильно отвлекали новые обязанности: в 1872 г. он был назначен итальянским консулом в Петербурге. Тем не менее в конце 70-х гг. Пинто предпринял попытку вспомнить о литературных и театральных увлечениях своей юности. В зимний сезон 1877 г. на сцене Петербургского Большого театра, в котором давала спектакли итальянская оперная труппа, представлена была опера «Николо де Лапи» с музыкой Е. Гаммери на либретто, составленное М. Пинто. Премьера состоялась 24 ноября⁵⁶ в бенефис Кампаньи. Петербургская музыкальная критика весьма сдержанно встретила это новое произведение, по-видимому, не блиставшее особыми достоинствами.⁵⁷ Однако итальянский текст либретто этой оперы с параллельным русским переводом был тогда же издан в Петербурге.⁵⁸ Книжке предпослано большое «Историческое предисловие» (с. 4—21), написанное М. Пинто,

⁵⁴ Библиограф, Критико-библиографический журнал, 1869, дек., № 3, с. 14—27.

⁵⁵ Всенаучный энциклопедический словарь/Сост. под ред. В. Ключникова. СПб., 1878, ч. 2, с. 430.

⁵⁶ Стасов В. Русские и иностранные оперы, исполнявшиеся на императорских театрах в России в XVIII и XIX столетиях. СПб., 1898, с. 26.

⁵⁷ С.-Петербургские ведомости, 1877, 26 ноября, № 327, с. 3.

⁵⁸ *Niccolò de' Lapi*. *Dramma lirico in cinque atti di M. Pinto. Posto in musica dal Maestro E. Gammieri*. S. Pietroburgo, 1877 (*Николо де Лапи*. Лирическая драма в пяти действиях. Текст М. Пинто, приспособленный для пения Г. А. Лишина. Музыка Е. Гаммери. С.-Петербург, 1877) (Собрание либретто тип. имп. театров, № 51).

в котором он рассказывает о происхождении своей «лирической драмы» и об исторических событиях, которые положены в основу ее сюжета. «Сюжет этой драмы, — говорит Пинто, — составляет эпизод, заимствованный из событий, ознаменовавших последние дни существования флорентийской республики. Происшествия, сопровождавшие достопамятную осаду Флоренции, окончившуюся в 1530 году вступлением в нее, с помощью измены, императорских войск и водворением в ней семейства Медичи, служат завязкой драмы...». «Два замечательных итальянских романиста избрали эти трагические события предметом двух прекрасных произведений. Ф. Д. Гвераци в своем романе „Осада Флоренции“ изобразил преимущественно политическую и военную сторону величайшей драмы, изложив их с философской точки зрения. Массимо Д'Адзелье в романе, которому дал название „Niscold de'Lari“, в трогательных чертах описал семейную жизнь флорентийских граждан того времени и проявление их чувствований, когда семейные привязанности приводили в столкновение с обязанностями, предписываемыми любовью к родине и к свободе. Из этого последнего романа заимствовали мы имена и положение большей части действующих лиц нашей драмы, предоставив себе полную свободу в развитии характеров и действия, в ведении интриги, в развязке и в создании личности Сельваджии».

Это автопризнание проливает свет на уже упомянутую нами выше драму Пинто «Selvaggia», которая играна была в Генуе в 1854 г. Несомненно, что ее текст и переложен был в либретто для пятиактной оперы, музыку к которой сочинил петербургский маэстро Е. Гаммиери — репетитор тогдашней итальянской группы.⁵⁹ Публика холодно приняла эту оперу, не блиставшую драматургическими и музыкальными достоинствами. Это было последнее известное нам выступление Пинто в петербургской печати.

Из хроники газеты «Молва» от 12 января 1880 г. мы узнаем, что М. Пинто «отпраздновал двадцатипятилетие своего пребывания в России»; по этому поводу газета сообщила краткую его биографию, впрочем, целиком заимствованную из труда по истории петербургского университета В. В. Григорьева.⁶⁰ М. Пинто жил в Петербурге до конца 1886 г.,⁶¹ по-прежнему занимая должности итальянского консула и лектора в университете. С начала 1887 г. следы его теряются: в это время он уже выбыл из числа университетских преподавателей⁶² и, по слухам, которые мы не

⁵⁹ С.-Петербургские ведомости (1877, 2 (14) дек., № 333) поместили в своем «музыкальном обозрении» довольно резкую рецензию на эту оперу Гаммиери, очевидно, принадлежавшую перу Н. Соловьева. Отметим, что это была не первая неудача Гаммиери. Более ранняя его опера «Чаттертон», либретто которой также написано было М. Пинто в сотрудничестве с Бардаре, шедшая в Петербурге в 1867 г., вызвала еще более резкий отрицательный отзыв в той же газете известного русского композитора и критика Цезаря Кюи (С.-Петербургские ведомости, 1867, № 54).

⁶⁰ Молва, 1880, № 12.

⁶¹ Адрес календарь... на 1886 год. СПб., 1886, ч. 1, с. 343.

⁶² Годичный акт имп. С.-Петербургского университета 8 февраля 1887 года. СПб., 1887, с. 8.

могли проверить, возвратился в Италию. Год его смерти нам не известен.

Такова своеобразная биография этого незаурядного человека, насколько она раскрывается по русским источникам. Было бы весьма интересно напасть на следы оставшихся после него бумаг, если они существуют. Друг Герцена и Тургенева, близко знавший многих деятелей итальянской и русской культуры и как бы осуществлявший в своем лице их долгие взаимные связи, Пинто мог оставить немало интересных рукописных свидетельств о своих итальянских и русских современниках.

Эмиль Золя, как известно, ни разу не был в России; однако он вел обширную переписку с многочисленными русскими корреспондентами. Это дало ему возможность долго и внимательно следить за русской литературой и общественной жизнью. Не зная русского языка, он постоянно знакомился со всеми важнейшими новинками русской литературы, выходящими во французском переводе. Личные, так сказать, «житейские» поводы этих интересов французского писателя уже давно известны: дружба с И. С. Тургеневым значительно расширила круг его русских знакомых и укрепила связи с русскими литераторами; шестилетнее сотрудничество в «Вестнике Европы» и деловая связь Золя с другими русскими редакциями возбуждали в нем естественный интерес к той стране, в которой он нашел и щедрых издателей, и обширный круг читателей, и настоящих ценителей. Ко всему этому надо прибавить чувство признательности за материальную и моральную поддержку, какую он получал в тяжелый для себя период непризнания и травли на родине. Вот почему он долгие годы с особой любовью и симпатией вспоминал «русские» эпизоды своей биографии. В конце 70-х гг. в одной из своих полемических статей, упоминая о том, что он является постоянным сотрудником русского журнала, Золя писал: «Пользуюсь случаем выразить здесь благодарность этой великой стране, принявшей и усыновившей меня в то время, когда во Франции передо мною закрылись все двери и меня забрасывали грязью...». Пятнадцать лет спустя (в 1893 г.) Золя утверждал то же самое в своей беседе с Жюлем Юре: «Все журналы были для меня закрыты, я умирал с голоду, в меня кидали грязью со всех сторон, и вот в это время он [И. С. Тургенев] доставил мне возможность выступить в великой России, в которой меня так полюбили...».

Такова была одна сторона дела. Но, предназначая свои фельетоны специально для русских читателей, Золя все же должен был считаться с их запросами и вкусами, о которых его лишь частично мог информировать Тургенев. К тому же, вступая в деловые связи с русскими издательствами, наперебой предлагавшими ему печатание его новых произведений или одновременно, или даже до выхода их во Франции, Золя не мог также не интересоваться литературной средой, в которую он вступил в качестве полноправного собрата. Русская литература его времени должна была заинтересовать его как явление международной литературной жизни, как факт европейской культуры. К сожалению, именно этот вопрос отношения Золя к русской литературе еще освещен мало. Не определен и круг познаний Золя в русской литературе, перечень читанных им произведений русского художественного слова, не отмечены с достаточной ясностью все те воздействия, какие эти произведения могли оказать на его соб-

ственное творчество. Правда, М. К. Клеман с большой убедительностью поставил вопрос о возможном влиянии «Нови» И. С. Тургенева и одного его неосуществленного замысла на «Жермипаль» Золя. С гораздо меньшей конкретностью французская критика пыталась уловить элементы «толстовства» в цикле его поздних романов. Но все это лишь первые шаги по пути исследований, которые должны быть в значительной степени углублены. Тургенев и Лев Толстой не единственные русские писатели, которых Золя читал во французских переводах и которые, вероятно, оставили значительные следы в его собственных произведениях. Здесь мы хотели бы обратить внимание еще на один из таких малоисследованных эпизодов из истории знакомства Золя с русской литературой. Есть все основания предполагать, что Золя читал роман Н. Г. Чернышевского «Что делать?», и вполне возможно, что это чтение не прошло бесследно для автора «Ругоп-Маккаров», отозвавшись в одном из романов этого знаменитого цикла.

2

Сочинения Н. Г. Чернышевского начали появляться в западноевропейских переводах с середины 70-х гг. Первые попытки в этом направлении сделаны были представителями русской революционной эмиграции. Они настойчиво стремились не только довести идеи Чернышевского до его западных современников, но и возбудить общественное мнение Европы в пользу писателя, вождя революционной молодежи, томившегося в ссылке. В деле первой популяризации произведений Чернышевского среди западных, в первую очередь французских, читателей немалую роль сыграла инициатива Алексея Николаевича Тверитинова (1846 — после 1907 г.). Он был горячим поклонником Чернышевского, причастен к петербургским революционным кружкам начала 70-х гг. А. Н. Тверитинов, эмигрировавший за границу, жил в течение 1872—1876 гг. попеременно в Швейцарии, Бельгии, Италии, Франции и Англии. Он принимал участие в делах русской революционной эмиграции и всячески пропагандировал сочинения Чернышевского.

«Почти десять лет, — рассказывает он сам в своих воспоминаниях, — меня преследовала смутная мысль, что бы сделать в защиту Чернышевского. . . В течение почти десяти лет при воспоминании или при разговоре о Чернышевском пред моим воображением представлялся всегда Николай Гаврилович, стоящий у позорного столба. . . Что бы сделать? . . . < . . . > Буду переводить Чернышевского на французский язык, пока хватит денег».¹

А. Тверитинов начал с перевода теоретических работ Чернышевского. С помощью своих бельгийских друзей он перевел и

¹ Тверитинов А. Об объявлении приговора Н. Г. Чернышевскому, о распространении его сочинений на французском языке в Западной Европе и о многом другом. СПб., 1906, с. 26—27.

напечатал отдельным изданием в Брюсселе перевод «Примечаний» к Миллю (1874), затем в льежских и брюссельских газетах поместил также свои переводы «Писем без адреса» Чернышевского и его же статьи о социализме и коммунизме. Тогда же Тверитиновым был задуман и вскоре осуществлен перевод романа «Что делать?». Он был выпущен отдельной книгой в 1875 г. («Que faire?» Roman de N. G. Tchernishevsky. En vente chez tous les Librairies, 1876).

В силу ряда обстоятельств, о которых Тверитинов рассказывает в «Воспоминаниях», перевод этот не мог быть издан во Франции; он печатался в маленьком городке северной Италии Лоди близ Милана, в типографии П. Витали, на скверной бумаге, с большим количеством опечаток и, по-видимому, в ограниченном количестве экземпляров. Желая привлечь к нему по возможности более широкое внимание критики и читателей и заботясь одновременно о его повторном, исправленном издании во Франции, Тверитинов рассылал свой перевод литературным знаменитостям, критикам, редакциям периодических изданий. Любопытно, что один из экземпляров издания был послан им в Ноан престарелой Жорж Санд. Она ответила переводчику любезным письмом и адресовала его в редакцию «Revue des deux mondes», одного из самых влиятельных парижских журналов. Другой экземпляр был отправлен Тверитиновым И. С. Тургеневу, который обещал было свое содействие в сношениях с французскими издательствами, но потом отстранился от этого дела.

Осуществить второе издание своего перевода во Франции Тверитинову не пришлось. Но все же ему удалось обратить внимание западной печати на роман Чернышевского. Лодийское французское издание «Что делать?», широко распространенное переводчиком в различных странах, оказалось одним из главных источников для последующих переводов этого романа на немецкий, итальянский, шведский, венгерский и голландский языки. Это издание вызвало также довольно значительное количество откликов в разных газетах и журналах. Во Франции его отметил публицист Луи Шассен в одном из своих фельетонов в газете «Le Rappel» — либерально-демократическом органе Виктора Гюго и его сыновей. Вскоре и журнал «Revue des deux mondes» поместил о романе Чернышевского большую статью Фердинанда Брюнетьера.² Последний отзыв интересует нас не сам по себе. Он был резко отрицательным. Ф. Брюнетьер, тогда молодой критик, только что начавший сотрудничество в этом «Revue», заинтересовался романом «Что делать?» как «выражением русского радикализма» и осудил его безоговорочно вместе с явлением русского «нигилизма», которое он не был в состоянии понять. Для нас, однако, чрезвычайно любопытно, что, желая дать французским читателям представление об этом типичном русском

² Brunetière F. Un roman nihiliste. Que faire? par N. G. Tchernishevsky. — Rev. des deux mondes, 1876, 15 oct., p. 949—958.

«нигилистическом» романе, Брюнетьер пояснил его литературную манеру ссылкой на романы Эмиля Золя. Это было одно из первых нападений Брюнетьера на Золя и «натуралистов», которым этот будущий вождь «идеалистической реакции» во Франции уделил впоследствии столько страстных и негодующих страниц. Заканчивая свою статью о Чернышевском, Брюнетьер бранит одновременно и русскую реалистическую литературу демократического лагеря и, кстати, тех французских авторов, которые заслужили большую популярность у русских читателей.

«Все недостатки, за которые мы упрекаем Бальзака, — пишет он, — там (в России) считаются его достоинствами. Еще и в настоящее время в России в моде французский писатель, являющийся наследником худшей манеры Бальзака, — Эмиль Золя: его переводят на русский язык. Если бы на французский переводили, например, Глеба Успенского, то сходство было бы поразительное. Однако удовлетворимся Чернышевским. Здесь то же притязание на анализ, та же точность деталей, столь отталкивающая, насколько она в состоянии быть таковою, — та же резкость штриха, тот же рельеф, тот же яркий свет». «Портрет Марии Алексеевны [в «Что делать?»], — прибавляет Брюнетьер, — не обезобразил бы галерею „Ругон-Маккаров“».

Трудно допустить, чтобы это ядовитое замечание не обратило на себя внимание Золя, — если он читал статью Брюнетьера, — и не вызвало бы охоты познакомиться с тем русским романом, одна из героинь которого признавалась достойной его собственной манеры письма. Не менее трудно допустить, что Золя не читал статьи Брюнетьера. Она напечатана в 1876 г., в разгар сотрудничества Золя в «Вестнике Европы», в момент, когда он всячески пополнял свои сведения о русской литературе, русской общественной мысли, нуждаясь в темах для своих очередных фельетонов и особенно дорожа своей популярностью в России. Мы вправе предположить, что Золя во второй половине 70-х гг. читал большинство из того, что писалось в это время во Франции о России, тем более в таком распространенном и влиятельном органе, каким являлось «Revue des deux mondes».

Но у нас есть и прямое свидетельство относительно знакомства Золя с романом «Что делать?». Оно принадлежит И. Я. Павловскому: В одной из своих корреспонденций из Парижа И. Я. Павловский сообщает: «Когда Золя писал „Au bonheur des dames“, я застал его однажды за чтением „Что делать?“ Чернышевского. С той милой откровенностью, которая свойственна ему, он сознался, что хочет переделать русскую героиню, устраивающую фаланстеры, на французский лад».³ Таким образом, мы имеем здесь свидетельство не только о знакомстве Золя с романом Чернышевского, но и о *воздействии* этого романа на французского писателя в момент его творческой работы над од-

³ Яковлев И. (И. Павловский). По поводу «Sous-off». Корреспонденция из Парижа. — Новое время, 1889, 31 дек., № 4791.

ним из произведений цикла «Руго́н-Маккаров». В свидетельстве этом интересно разобратъся внимательнее.

Может ли это свидетельство иметь за собою какие-либо признаки достоверности? Вправе ли им воспользоваться исследователь для своих дальнейших сближений? Все эти вопросы тем более уместны, что автор этого указания, Исаак Яковлевич Павловский (1853—1924), журналист и переводчик, заслужил себе, в общем, недобрую славу. Принимавший участие в революционном движении начала 70-х гг., он был привлечен к «процессу 193-х», сидел в Петропавловской крепости, был выслан в Архангельскую губернию, бежал оттуда за границу в 1873 г. и, очутившись в Париже, быстро нашел доступ в эмигрантские кружки. Это был тот самый Павловский, очерки которого «В каземате. Приключения нигилиста» печатались в газете «Temps» 1879 г., снабженные небольшим предисловием И. С. Тургенева в форме письма к редактору газеты — Эбару. Тургенев рекомендовал здесь Павловского в качестве одного из «слишком многочисленных в настоящее время русских, чьи убеждения правительство моей страны признало опасными и заслуживающими кары». В Париже Павловский вращался среди русских и французских писателей, был корреспондентом различных газет, затем ездил в Испанию; за границей он, однако, быстро эволюционировал вправо и заслужил даже от эмигранта-народовольца Е. П. Семенова прозвище «Подхалимова II, бессовестного, беспринципного торговца своим неизвестно чем вызванным бегством за границу».⁴ Во второй половине 80-х гг. Павловский уже сделался деятельным корреспондентом «Нового времени», где он писал под псевдонимом И. Яковлева, а в конце 1888 г. получил разрешение возвратиться на родину.⁵ Такая литературная биография, казалось бы, не должна была внушить особую уверенность в том, что все свидетельства И. Я. Павловского заслуживают полного внимания; действительно, не все его уверения (в частности, например, по отношению к Тургеневу) правдоподобны и достоверны. Однако именно в данном случае мы имеем ряд документальных данных, косвенно подтверждающих, что приведенное свидетельство о Золя несомненно имеет реальные основания.

Дело в том, что среди многих европейских писателей, с которыми И. Я. Павловскому пришлось познакомиться во время его жизни в Париже, был Эмиль Золя. Автору «Руго́н-Маккаров» Павловского рекомендовал тот же И. С. Тургенев. Осенью 1882 г. Тургенев передал Золя предложение редакции московского журнала «Будильник» приобрести у него право перевода с рукописи до его французского издания очередного романа серии «Руго́н-Маккаров» — «Дамское счастье» и вскоре в качестве доверенного лица

⁴ Семенов Е. П. В стране изгнания (из записной книжки корреспондента) 2-е изд. СПб., 1912, с. 95 и след.

⁵ Тургенев И. С. Соч. М.; Л., 1934, т. 12, с. 606—612 (заметка М. К. Клемана).

и одновременно переводчика направил к нему в Медан И. Я. Павловского.⁶ Недавно в архиве Э. Золя найдено было не известное ранее письмо к нему И. С. Тургенева от 27 октября 1882 г., написанное в ответ на просьбу Золя поскорее прислать к нему его русского переводчика, так как роман «*Au bonheur des dames*» заканчивался обработкой и печатанье его было намечено на декабрь того же года в газете «*Gil Blas*». Тургенев писал Золя: «Дорогой друг, письмо это передаст вам г. Павловский, тот самый, о котором я вчера говорил вам. Вы переговорите с ним о своем деле (издании вашего романа) и вступите в соответствующее соглашение. Этот Павловский — отличный малый, к тому же и литератор, — относиться к нему можно с полным доверием».⁷ По этому поводу И. Я. Павловский несколько раз посетил Золя и не раз упоминает его в своих «Воспоминаниях о Тургеневе».⁸ Все это позволяет нам с полным доверием отнестись к его рассказу о Золя и Чернышевском. И. Я. Павловский виделся с Золя именно во время его работы над романом «*Au bonheur des dames*»; он имел в своих руках рукописи этого романа еще до их опубликования и несомненно имел беседы с французским писателем по поводу этого его произведения. Сообщив о том, что Золя, читая «Что делать?», «сознался ему, что хочет переделать русскую героиню на французский лад», Павловский прибавляет: «И ведь переделал!».

Обратим внимание также и на то обстоятельство, что все это свидетельство носит совершенно попутный характер: корреспонденция посвящена одному из «анти-золаистских» романов Люсьена Декава. Павловский сообщает о приведенном факте только для того, чтобы опровергнуть выдвигавшееся тогда французской литературной молодежью обвинение, будто бы Золя дает исключительно отрицательные стороны изображаемой им действительности: «Со своим темпераментом он [Золя] с трудом может их разглядеть во французской жизни, но он чувствует, что эти типы существуют, и ищет их. Где — это другое дело». В доказательство и приведен Павловским факт изучения Золя романа Чернышевского. Случайный характер свидетельства не позволил Павловскому сказать об этом подробнее. С другой стороны, едва ли и удобно было ему говорить по этому поводу на страницах реакционного «Нового времени», хотя бы и вскоре после смерти Чернышевского. У нас есть все основания думать, что Павловский не ошибался и что, задумывая образ «положительной» героини своего романа, Золя действительно обратился к чтению того русского «нигилистического» романа, на который за несколько лет

⁶ *Halperine-Kaminsky E.* Ivan Tourguéneff d'après sa correspondance avec ses amis français. Paris, 1901, p. 262—264; *Zola Emile.* Correspondance (1872—1902)/Notes et comment. de Maurice de Blond. Paris, 1932, p. 588; *Клеман М. К.* Летопись жизни и творчества И. С. Тургенева. М.; Л., 1934, с. 318—319.

⁷ *Клеман М. К.* Из переписки Э. Золя с русскими корреспондентами. — Литературное наследство. М., 1937, т. 31—32, с. 952.

⁸ *Pavlovsky Isaac.* Souvenirs sur Tourguéneff. Paris, 1887, p. 151 etc.

перед тем со ссылкой на «Рюгон-Макаров» указывала ему статья Ф. Брюнетьера.

Мы не можем установить со всей точностью, когда и через чье посредство роман Чернышевского, — конечно, во французском переводе А. Н. Тверитинова, — стал известен Эмилю Золя. Для нас, однако, чрезвычайно существенно, что именно во второй половине 70-х гг. Золя тесно соприкоснулся с русской жизнью и литературой. С 1874 г., со времени учреждения артистических обедов «пяти», близкими стали его сношения с Тургеневым. С 1875 г. при посредничестве Тургенева Золя сделался постоянным сотрудником «Вестника Европы» и оставался им до 1881 г. Главным образом посредством того же Тургенева круг его знакомства с русскими писателями и журналистами непрерывно расширялся. Так, в 1876 г. он познакомился с М. Е. Салтыковым-Щедриным, М. М. Стасюлевичем, А. С. Сувориным. В том же году Золя выпустил обращение к русскому студенчеству по поводу демонстрации на Казанской площади в Петербурге и участвовал в литературно-музыкальном утре в пользу русской библиотеки в Париже. В эти же и ближайшие годы наладились знакомства Золя с представителями русской революционно-эмигрантской колонии, например с М. О. Апкинази (Michel Delines), автором романа «Жертвы царя» («Les victimes de tsar»), помещенного именно по рекомендации Золя⁹ в газете «Voltaire».

Роман «Au bonheur des dames», задуманный Золя в общей серии еще в начале 70-х гг., начат был осуществлением лишь в 1882 г.,¹⁰ т. е. вскоре после того, как событие 1 марта 1881 г. вызвало подъем общеевропейского интереса к русскому нигилизму. Не менее важно для нас и то, что весной 1882 г., в то самое время, когда Золя работал над своим «Au bonheur des dames», Тургенев уже в предсмертной болезни намеревался писать роман, в котором, по воспоминаниям П. Л. Лаврова, он «хотел противопоставить тип русского социалиста революционера типу французского его единомышленника». «Эта мысль — противоположение русской и западноевропейской передовой природы составляла часто предмет его разговоров и со мною и с другими лицами». Другой приятель Тургенева, Рольстон, в это же время слышавший от него самого план этого романа, сообщает, что в этом неосуществленном произведении должна быть выведена «русская девушка, примкнувшая к нигилистическим идеям», которая покидает родину, поселяется в Париже, встречает молодого

⁹ Литературное наследство, т. 31—32, с. 958.

¹⁰ В набросанном Э. Золя (в 1871 г.) для себя перечне всего задуманного им романического цикла роман «Au bonheur des dames» фигурирует лишь в самой общей и неопределенной форме: «Le roman sur le haut commerce (pouveautés)»; здесь же отмечен единственный его персонаж (Octav Mouret), который должен был связать этот роман со всеми романами этой серии (см.: *Mussis H. Comment Emile Zola composait ses romans*. Paris, 1906, p. 73). Работа над ним, однако, началась не ранее начала 1882 г.; в декабре того же года он стал печататься в «Gil Blas», а отдельное издание книги появилось в середине марта 1883 г.

французского социалиста и выходит за него замуж. Как убедительно доказал М. К. Клеман, Золя не только «был осведомлен об этом замысле Тургенева», но и перенес «основу его — противопоставление западного и русского революционера» в свой «Жерминаль», роман 1885 г.¹¹ В этой связи представляется очень правдоподобным, что, когда Тургенев развивал Золя свой замысел, у французского писателя явилась мысль «переделать» на французский лад героиню русского «нигилистического» романа.

3

Что же, однако, общего в темах и образах романа Чернышевского и того романа Золя, в котором он рассказывает историю парижской работницы большого универсального магазина? Как связать эти, казалось бы, столь чуждые друг другу произведения?

Сам Золя отметил двойственность интриги своего романа: «с одной стороны, коммерческий и финансовый мотивы», а с другой — «страсть, любовь, интрига с участием женщины».¹² Критика отмечала, что эта двойственность задания не повредила цельности общего замысла. Это отметил, например, убежденный поклонник Золя П. Д. Боборыкин: «Никогда еще в беллетристике жизнь целого предприятия, состоящая из цепи денежных расчетов, не была так слита с историей любви, как в этом романе».¹³ В этом первое и немаловажное сходство двух произведений. Центральное место в романе Золя занимает история большого магазина «*Au bonheur des dames. Magasin des nouveautés*», который монополизировал торговлю, поглощая и раздавливая мелких предпринимателей соседних улиц. Роман не скупится на финансовые подробности и коммерческие детали, потому что он не только роман, но в то же время целый социально-экономический трактат.

В романе Чернышевского одно из центральных мест занимает история организации швейной мастерской Веры Павловны. Сделав первый опыт, Вера Павловна приходит к Жюли и просит ее рекомендовать это предприятие знакомым. «Мое дитя, вы могли бы иметь хороший успех, у вас есть мастерство и вкус. Но для этого надобно иметь пышный магазин на Невском». — «Да, я его заведу со временем; это будет моя цель», — отвечает ей Вера Павловна. В конце романа мы действительно узнаем (гл. IV, XVII), что «выгода иметь на Невском свой магазин была очевидна» и что «после нескольких месяцев забот о слиянии двух

¹¹ Клеман М. К. Эмиль Золя. Л., 1934, с. 178.

¹² Золя Эмиль. Полн. собр. соч./Под общ. ред. М. Д. Эйхенгольца. 2-е изд. М.; Л., 1930, т. 11, с. 9. — В этом издании (с. 580—590) напечатаны использованные нами выдержки из рукописных, подготовительных этюдов к роману «*Au bonheur des dames*», хранящихся в Национальной библиотеке в Париже.

¹³ Наблюдатель, 1883, кн. 11.

счетоводств прихода в одно» Вере Павловне и Мерцаловой удалось достичь этого. На Невском явилась новая вывеска: «Au bon travail. Magasin des nouveautés». Чернышевского не в меньшей, если не в большей степени, чем Золя, интересует *деловая* сторона этого предприятия, потому что речь здесь о тех «фаланстерах» и принципах их трудовой жизни, какие он считает осуществимыми и действительно желательными в практической жизни. Вот почему и «Письмо Катерины Васильевны Полозовой» (XVIII раздел IV главы) сплошь заполнено цифровыми выкладками, исчисляющими «доходы коммерческого предприятия от продажи товаров», соображениями о том, что «у каждого коммерческого дела, у каждого магазина, каждой мастерской свои собственные пропорции между разными статьями дохода и расхода», списками цен на отдельные товары.

Дело, конечно, не в том, что большие коммерческие предприятия, описанные Чернышевским и Золя, имеют что-либо общее, кроме их специальности; напротив, эти «магазины новинок» и обслуживающие их трудовые коллективы совершенно различны и построены на прямо противоположных основаниях. Дело в том, что в романе Чернышевского Золя мог найти удачный опыт не только введения в беллетристическое произведение «финансового и коммерческого мотивов», но и тесной спайки этих мотивов с обычными элементами романа, в частности с любовной интригой. В романе Чернышевского «страсть, любовь, интрига с участием женщины» столь же тесно слиты с историей «коммерческого предприятия», как в «Au bonheur des dames» Золя. Организация швейной мастерской Веры Павловны есть результат ее брака с Лопуховым, а затем с Кирсановым, результат их увлечения Верой Павловной и морального воздействия на нее. В романе Золя Октав Муре, коммерческий гений авантюристической складки, талантливый предприниматель и хищник, побежден скромной работницей Денизой, которая втайне сочувствует изобретаемым им новым формам торговли. История их любви ни на минуту не заставляет забыть то коммерческое предприятие, с которым оба они тесно связаны и вне которого их образы потеряли бы всякий интерес.

«Я хочу в „Au bonheur des dames“, — писал Золя в черновых набросках к роману, — написать поэму современной деятельности. А потому — полное изменение философии; прежде всего никакого пессимизма; не делать выводов о бессмысленности и печальности жизни, наоборот, сделать вывод о ее постоянной трудовой силе, о могуществе и радости ее рождения». «Воплотить в романе весь материалистический и фаланстерский век», — замечает Золя в другом месте. Критика неоднократно отмечала то, что Золя в этом своем романе неожиданно «настраивается на неоправданно радостный лад».¹⁴ Действительно, по сравнению с предшествующими романами цикла, «Au bonheur

¹⁴ Гиммельфарб Б. Э. Золя, жизнь и творчество. М.; Л., 1930, с. 65.

des dames» выпадает из него не столько по своему несколько смягченному обличительному пафосу при обнажении пороков французской буржуазии, сколько по своим бодрым, оптимистическим призывам. Было бы, конечно, слишком смелым утверждать, что это «полное замещение философии» в нем есть результат чтения романа Чернышевского, пронизанного бодростью и верой в силы человеческого разума. Любопытно, впрочем, что одна из носительниц этих радостных ощущений постоянной трудовой и непрерывно обновляющейся силы жизни в романе Золя — Дениза — представляется тем же критикам изображенной «с необычной для автора неубедительностью», даже «одним из наименее удачных образов Золя».¹⁵ Почему, спрашивают они, Дениза, эта провинциальная молодая девушка, очутившись в Париже, сразу же оказывается на стороне «больших магазинов» и «новых широких идей» в области торговли, если сама она является дочерью разорившегося красильщика? Почему мы не узнаем ничего о том, как складываются взгляды этой девушки? «Я хочу, — писал Золя в набросках, — чтобы она вначале была худенькой, доброй, застенчивой, запуганной (или забитой), подавленной <...> Она складывается под влиянием роскоши магазина; тогда обнаруживается ее характер: положительная, добродетельная, практичная <...> не следует делать ее пройдохой, расчетливой; она не должна прилагать стараний, чтобы выйти замуж за Октава». Почему же в таком случае сложившаяся «под влиянием роскоши» магазина Дениза, как только она приобретает некоторую власть над чувствами Октава Муре, делает как раз обратное тому, что делают ее сверстницы, служащие в том же магазине? Вместо того чтобы выгодно выйти замуж, когда к этому подвернулся случай, и приобрести богатство, которое необходимо для ее семьи, она отказывается от брака, от увеличения своей прибыли и вместо устройства личного счастья принимается за облегчение участи своих сослуживцев по магазину. Ответа на это Золя нам не дает, но его дает, как мне кажется, «Что делать?» Чернышевского. Дениза делает именно то, что делала Вера Павловна, — правда, на свой лад.

Вера Павловна, рассказывает Чернышевский в III главе, обратила внимание девушек-швей своей мастерской «на то, что в их мастерской количество заказов распределяется по месяцам года очень неодинаково и что в месяцы особенно выгодные недурно было бы отлагать часть прибыли для уравнивания невыгодных месяцев. Счеты велись очень точные, девушки знали, что если кто из них покинет мастерскую, то без задержки получит свою долю, остающуюся в кассе <...> Образовался небольшой запасный капитал, он постепенно рос; начали приискивать разные употребления ему. С первого же раза все поняли, что из него можно делать ссуды тем участникам, которым встречается экстренная надобность в деньгах <...> За учреждением этого

¹⁵ Там же, с. 63—64.

банка последовало основание комиссионерства для закупок: девушки нашли выгодным покупать чай, кофе, сахар, обувь, многие другие вещи через посредство мастерской, которая брала товары не по мелочи, стало быть, дешевле <...> А года через полтора почти все девушки уже жили на одной большой квартире, имели общий стол, запасались провизией тем порядком, как делается в больших хозяйствах <...> Вера Павловна увидела возможность завести и правильное преподавание...»¹⁶ Одним из первых лекторов этой рабочей аудитории сделался Кирсанов.

У Золя Дениза поступает совершенно аналогичным образом. «В ее рассудительном и находчивом нормандском уме постепенно возникали разные проекты, идеи о новой торговле <...> Она никогда не могла заняться каким-нибудь делом или видеть какую-либо работу, чтобы не почувствовать желания все упорядочить и улучшить их механизм. С самого своего поступления в „Дамское счастье“ она была оскорблена жалким положением служащих; ее возмущали внезапные увольнения, она их считала неразумными и несправедливыми, приносящими вред как служащим, так и самому предприятию. Она с горечью вспоминала свои мучения в начале службы и была полна сострадания к каждой из вновь поступивших продавщиц <...> Истощенные работой к сорока годам, одни исчезали, уходя в неизвестность, или умирали от чахотки, малокровия и переутомления, вызванного работой в спертom воздухе магазина; другие попадали на улицу, а самыми счастливыми были те, кому удавалось выйти замуж и похоронить себя в какой-нибудь маленькой провинциальной лавочке (ср. у Чернышевского рассказ Крюковой, — М. А.). Неужели можно было считать гуманным или справедливым такое беспощадное истребление людей, ежегодный результат тяжелой работы в магазинах? И она выступила на защиту всех этих колес механизма не из сентиментальных соображений, а вооружившись доводами, важными для интересов самих хозяев <...> Порою она одушевлялась, представляя себе огромный идеальный базар, *фаланстер торговли, где каждый, смотря по заслугам, имел бы свою долю в прибыли* и ему по договору было бы обеспечено будущее. И Муре, несмотря на свое лихорадочное состояние, забавлялся тогда. Он обвинял ее в приверженности к социализму и противопоставлял ее мечтам трудность их выполнения; а она проповедовала в простоте душевной и с полной верой в будущее, не боясь никаких опасностей впереди и полагаясь на практичность своего ума и на свою врожденную доброту <...> Он слушал ее и подшучивал над нею, но судьба служащих понемногу улучшалась: вместо массовых увольнений были введены отпуска во время мертвых сезонов; наконец, предполагалось устроить кассу взаимопомощи, которая могла бы облегчить участь служащих при безработице и обеспе-

¹⁶ Чернышевский Н. Г. Полн собр. соч.; В 15-ти т. М., 1939, т. 11, с. 130—132.

чила бы их при отставке». «Это было, — прибавляет Золя, — зародышем крупных рабочих обществ двадцатого столетия».¹⁷

Дениза была неутомима; она организовала оркестр, составленный из служащих. Затем «была устроена специальная комната, где к услугам продавцов имелись два биллиарда и столы для шахмат и трик-трака. При магазине открылись вечерние курсы, велись занятия по английскому и немецкому языкам, грамматике, арифметике и географии; были даже введены уроки верховой езды и фехтования. Была создана библиотека в десять тысяч томов, предоставленная целиком в распоряжение служащих. Наконец, ко всему этому прибавился доктор, живший тут же при магазине и дававший бесплатные советы, и были устроены ванны, буфеты и парикмахерская. Все, что требовалось жизнью, находилось тут же, под руками; не выходя из магазина, каждый получал стол, ночлег, одежду и образование. „Дамское счастье“ само удовлетворяло все свои потребности и удовольствия, находясь среди громадного Парижа, заинтересованного этим шумом, этим городом труда, который вырос на навозе старых улиц, открывшихся, наконец, яркому солнцу...». «Все знали о тех льготах, которыми были ей обязаны, все восхищались силой ее воли <...> Наконец-то появилась женщина, которая заставила немного уважать этих бедняг! Когда она, кроткая и непобедимая, проходила по отделениям, продавцы, завидев ее изящную упрямую головку, улыбались ей, гордились ею и охотно показали бы ее окружающей толпе. Счастливая Дениза поддавалась этой возраставшей симпатии».¹⁸ Конечно, в романе Золя социальная утопия потеряла весь свой революционный характер: нововведения Денизы больше походят на затеи буржуазной филантропии, чем на «зародыши крупных рабочих обществ двадцатого столетия», а столы для игры в трик-трак и уроки фехтования параллельно с занятиями грамматикой и арифметикой прямо свидетельствуют о том, что дело происходило в Париже, а не в Петербурге 60-х гг. Однако этот локальный колорит не противоречит нашему предположению, что источник замыслов Денизы — все же роман Чернышевского. Дениза, конечно, не Вера Павловна, но они и не должны были и не могли быть вполне сходными. Замысел Золя был — *переделать* русскую героиню на «французский лад».

Не случайным представляется нам и излюбленное Золя употребление слова «фаланстерский» в применении к магазину «Au bonheur des dames», как это констатирует пользовавшийся рукописями романа М. Д. Эйхенгольд.¹⁹ По приведенному выше

¹⁷ Цит. по пер. Ю. И. Давылова: *Золя Эмиль*. Полн. собр. соч. / Под общ. ред. М. Д. Эйхенгольца. 2-е изд., т. 11, с. 473—474.

¹⁸ Там же, с. 476.

¹⁹ М. Д. Эйхенгольд указывает на известный Золя фельетон в газете «Фигаро» от 22 марта 1881 г. как на возможный источник его тезиса — воплотить в его романе «век материалистический и фаланстерский» — на том основании, что анонимный фельетонист говорит о больших базарах, являющихся «предвестниками беспредельного фаланстера, который готовится двад-

свидетельству И. Я. Павловского, Золя именно хотел переделать на французский лад «русскую героиню, устраивающую фаланстеры», т. е. именно так (по Фурье) понимая устроенные Верой Павловой производственные артели. Помимо этого, в обоих романах Золя и Чернышевского, есть немало общих для них второстепенных повествовательных мотивов, сходных житейских наблюдений, психологических деталей.²⁰

Исследователи Золя обычно указывают, что согласно своему методу документации он создал свой роман на основе внимательных наблюдений над современными ему двумя парижскими большими «магазинами новинок». Отрицать значение этих наблюдений, тщательно фиксировавшихся Золя в черновых подготовительных этюдах к роману, разумеется, не приходится, но для метода творческой работы Золя характерно сочетание внимательных наблюдений над действительностью с постоянным использованием книжными источниками: работа над некоторыми из них отражена и в рукописях романа. Думается, что в их число нужно будет отныне включить и «Что делать?» Чернышевского. Но не следует ли пойти еще дальше? Не следует ли поискать следов мыслей Чернышевского и в более поздних произведениях Золя, например в «Труде» (1901), с его повествованием о новых началах гражданственности, с его идеями солидарности и бодрого общественного труда?

цатый век». Нам это не представляется убедительным хотя бы потому, что автор фельетона говорит также о «пороке фаланстерской организации», «стирающей семейные связи», и прямо высказывает свое отрицательное отношение к коллективистическим формам жизни будущего: «Я из тех, — говорит он, — кто предпочитает индивидуальную собственность на горшок с цветами, неделимой и коллективной собственности на Тюильрийский сад». См.: *Золя Эмиль*. Полн. собр. соч. /Под. общ. ред. М. Д. Эйхенгольца. 2-е изд., т. 11, с. 591.

²⁰ Напомним, например, анализ отношения Веры Павловны к ее первому жениху Сторешникову и отношения Денизы к Октаву Муре в начале их встречи. Даже у окружающих их лиц эти отношения получают сходную искаженную оценку. Золя замечает о Денизе, упорно противившейся браку с Октавом, предложенному им после неудачной попытки ее соблазнить, что окружающим ее бесконечно более примитивным людям «некое достоинство этой девушки казалось ловким расчетом женщины, искушенной в тактике страсти». Совершенно так же определяет поведение дочери Марья Алексеевна в романе Чернышевского: «Дочь и говорила и как будто бы поступала решительно против ее намерений. Но выходило то, что дочь победила все трудности, что она „тонкая интриганка“». «Если судить по ходу дела, то оказывалось: Верочка хочет того, чего и она, Марья Алексеевна, только как ученая и тонкая птица обрабатывает свою материю другим манером» (гл. I, IX). Ср. также описание пикника продавщиц из «*Au bonheur des dames*», устроенного Аврелией, и загородную прогулку мастерской Веры Павловны (гл. III, VI), историю Женевьевы Бодю у Золя и физически умиравшую от неудовлетворенной любви Катю Полозову, которую упрямец отец не хотел обвенчать с ее женихом, — у Чернышевского (гл. III, VI), и т. д.

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

- ГПБ — Государственная Публичная библиотека им. М. Е. Салтыкова-Щедрина (Ленинград)
- ЖМНП — Журнал Министерства народного просвещения
- ИОРЯС — Известия отделения русского языка и словесности имп. Академии наук
- СОРЯС — Сборник Отделения русского языка и словесности имп. Академии наук
- ТОДРЛ — Труды Отдела древнерусской литературы Института русской литературы (Пушкинский Дом) АН СССР
- ЦГАДА — Центральный государственный архив древних актов (Москва)
- ЦГАЛИ — Центральный государственный архив литературы и искусства (Москва)
- ЧОИДР — Чтения в Обществе истории и древностей российских
- PMLA — Publications of the Modern Language Association of America

**БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА
О ПЕРВЫХ ПУБЛИКАЦИЯХ СТАТЕЙ, ВОПЕДШИХ
В НАСТОЯЩИЙ СБОРНИК**

«Препие Земли и Моря» в древнерусской письменности. — Проблемы общественно-политической истории России и славянских стран. Сборник статей к 70-летию академика М. И. Тихомирова. М., 1963, с. 31—43.

Эпизоды из русской истории в «Опытах» Монтеня. — Романо-германская филология. Сборник статей в честь академика В. Ф. Шипицына. Л., 1957, с. 16—33.

К анекдотам об Иване Грозном у С. Коллинза. — Советский фольклор. Сборник статей и материалов. 1935, М.; Л., 1936, № 2-3, с. 325—330.

Московский подьячий Я. Полушкин и итало-испанский гуманист Педро Мартир. — Культурное наследие Древней Руси. Истоки. Становление. Традиции. М., 1976, с. 127—136.

Юрий Крижанич и фольклор московской иноземной слободы. — Труды Отдела древнерусской литературы. Л., 1969, т. 24, с. 299—304.

Сибирь в романе Даниэля Дефо. — Сибирский литературно-краеведческий сборник/Под ред. М. К. Азадовского и Ис. Г. Гольдберга. Иркутск, 1928, 1, с. 51—68. Издано также отдельной брошюрой: *Алексеев М. П.* Сибирь в романе Дефо. Иркутск, 1928.

«Робинзон Крузо» в русских переводах. — Международные связи русской литературы. Сборник статей. М.; Л., 1963, с. 86—100.

«Пророче рогатый» Федоса Прокоповича. — Из истории русских литературных отношений XVIII—XX веков. М.; Л., 1959, с. 17—43.

Монтескье и Кантемир. — Вестник Ленинградского университета. Серия общественных наук, 1955, № 6, вып. 2, с. 55—78.

Первое знакомство с Данте в России. — От классицизма к романтизму. Из истории международных связей русской литературы. Л., 1970, с. 6—62.

Вольтер и русская культура XVIII века. — Вольтер. Статьи и материалы. Л., 1947, с. 13—56.

К истории русского вольтерпанства в XIX веке. — Роль и значение литературы XVIII века в истории русской культуры. К 70-летию со дня рождения чл.-корр. АН СССР П. Н. Беркова. (XVIII век, сб. 7). М.; Л., 1966, с. 302—311. Печатается в расширенной редакции.

Германия и раннее восприятие Шекспира в России. (*В переводе на немецкий язык: Deutschlands Vermittlerrolle für die frühe Shakespeare-Rezeption in Russland*). — Shakespeare Jahrbuch, Weimar, 1971, Bd 107, S. 44—56. На русском языке публикуется впервые.

Державин и сонеты Шекспира. — Русская литература XVIII века и ее международные связи. Памяти чл.-корр. АН СССР Павла Наумовича Беркова. (XVIII век, сб. 10). Л., 1975, с. 226—235.

Образ Демофогрона в драме Шелли и его источники. — Современные проблемы литературоведения и языкознания. Сборник статей к 70-летию академика М. Б. Храпченко. М., 1974, с. 127—138.

Вальтер Скотт и «Слово о полку Игореве». — Труды Отдела древнерусской литературы. М.; Л., 1958, т. 14, с. 83—88.

Славяно-романо-германские параллели. — Славянские литературные связи. Л., 1968, с. 178—194.

Замыслы «Истории будущего» Мицкевича и русская утопическая мысль 20—30-х годов XIX века. — Slavica, Praha, 1959, roč. 28, seš. 1, s. 58—68. В СССР публикуется впервые.

Немецкая поэма о декабристах. — Бунт декабристов. Юбилейный сборник 1825—1925. Л., 1926, с. 372—382.

Английские мемуары о декабристах. — Исследования по отечественному источниковедению. Сборник статей, посвященный 75-летию профессора С. Н. Валка. М.; Л., 1964, с. 243—253.

Гоголь и Т. Мур (под заглавием «К источникам пидиллии Гоголя «Ганц Кюхельгартен»). — Проблемы поэтики и истории литературы. (К 75-летию со дня рождения и 50-летию научно-педагогической деятельности М. М. Бахтина). Саранск, 1973, с. 173—182.

Поэма В. К. Кюхельбекера «Семь спящих отроков» и ее источники. — От «Слова о полку Игореве» до «Тихого Дона». Сборник статей к 90-летию Н. К. Пиксанова. Л., 1969, с. 99—111.

Французская поэма 1836 г. о «киргизах» и ее автор. — Turcologica. К семидесятилетию академика А. Н. Кононова. Л., 1976, с. 208—220.

«Дневной месяц» у Тютчева и Лонгфелло. — Поэтика и стилистика русской литературы. Памяти академика В. В. Виноградова. Л., 1971, с. 153—167.

Об одном эпиграфе у Достоевского. — Проблемы теории и истории литературы. Сборник статей, посвященный памяти профессора А. Н. Соколова. М., 1971, с. 367—372.

Микеланджело Пинто. Несколько данных к его характеристике по русским источникам. — Studi in onore di Ettore Lo Gatto e Giovanni Mayer. Roma, Sansoni, 1962, p. 23—41. В СССР печатается впервые.

Эмиль Золя и Н. Г. Чернышевский. — Известия АН СССР. Отделение литературы и языка, 1940, № 2, с. 93—102.

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН

- Абрамович Д. И. 15
 Аввакум, протопоп 61
 Авл Геллий 113, 300
 Авриль Ф. 78, 79
 Автократова М. И. 50
 Адамс В. 345, 346
 Адриан 298
 Адриан, император 44
 Адрианова-Перетц В. П. 18
 Азадовский М. К. 161, 305, 428
 Айзеншток И. Я. 304, 409
 Аккерман К. 259
 Аксаков С. Т. 307
 Александр I 179, 240, 243, 246
 Александр II 336
 Александр VI Борджиа, папа 46
 Александр Македонский 72, 99, 107
 Александр Р. 391, 392
 Александренко В. Н. 139, 140, 152, 330
 Алексей Михайлович, царь 43, 48, 58, 112
 Алкмеон 279
 Алкуин 10
 Аллегра, дочь Байрона и К. Клермонт 363
 Алпатов М. А. 58
 Альгаротти Ф. 156, 158, 221
 Альон д' 206
 Амари 405
 Анакреон 175, 268
 Анаксимен 279
 Анастасевич В. Г. 122, 247
 Андерсен Г. К. 322
 Анджериано Дж. 270
 Андреев А. И. 228
 Аничков Е. В. 10
 Анна Иоанновна, императрица 97, 108, 117, 118, 228
 Анненков И. А. 320
 Анненков П. В. 396, 398, 407
 Анненкова П. Е. 320
 Анненская А. Н. 92
 Анненский И. Ф. 291
 Антонелли, кардинал 393
 Аполлоний 361
 Апулей 284
 Араго 89
 Арайи 151
 Арапов П. 244
 Аржанс д', маркиз 218
 Аржансон д', маркиз 201
 Аржанталь д', 223
 Аржанталь д', графиня 208
 Аристо Л. 42, 153, 154, 161, 163, 177, 178, 193, 278, 305
 Аристотель 104, 112, 113
 Аристофан 343
 Аркудий Петр 39
 Армастьян д', граф 142
 Арсений Сатаповский 104
 Арсеньев Ю. В. 72
 Аренов И. И. 337
 Архангельский А. 104
 Архарова М. И. 365
 Астахова А. М. 302, 305
 Аткинсон, миссис 336—340
 Аткинсон Т. У. 335, 336, 338, 339
 Аттяй М. О. 358
 Ауфельд Ф. 268
 Ашкинази М. О. 420
 Ашукин Н. С. 85
 Ашуклина М. Г. 85
 Аэций Пертинакс 296
 Бабрий В. 14
 Базапов В. Г. 145, 349, 353, 354
 Базилевич К. В. 79
 Баиф Ж. А. де 33
 Байрон Дж. Г. Н. 248, 250, 289, 344, 345, 359, 363, 364, 375
 Вакюлар д'Арно Ф.-Г. 210, 211, 214
 Балакигина В. Н. 339
 Бальзак О. 417
 Бандтке С. 304
 Бантыш-Каменский Д. 139
 Бантыш-Каменский Н. Н. 27, 49, 51, 52, 79
 Баранович Л. 104
 Баратынский Е. А. 389
 Барбо де ля Брюйер 220
 Бардаре 412
 Барков И. С. 138
 Барсов Е. В. 286, 290—292
 Барг (Barthe) 211
 Бартелеми, аббат 185
 Бартенов П. И. 154
 Басаргин Н. В. 338
 Батлер С. 156
 Баттѣ III. 121
 Батюшков К. Н. 119—141, 144—146, 148, 176, 185, 192, 193, 248, 272
 Батюшков Ф. Д. 11
 Баур В. 261
 Бауэр В. В. 55
 Бахрушин А. И. 291

- Бахтин М. М. 429
 Башомон (Bachaumont) 210
 Байзет 39
 Бейли Д. 332
 Бейль П. 157
 Бейсов П. С. 145
 Бекетов 133
 Белинский В. Г. 87, 88, 91, 120, 124,
 125, 145—147, 244, 308, 369
 Белокуров С. А. 39, 50, 61
 Белосельский А. М. 238
 Белый Андрей 349, 389
 Бельский 302
 Бельфоре (Belforest) Ф. де 32
 Беляев А. П. 358
 Бем А. Л. 379
 Бенкендорф А. X. 352
 Бев де Сен-Виктор Ж.-М.-Б. 192
 Бенфей Т. 322
 Березин И. П. 276, 281
 Березина В. Г. 169
 Беринг В. 87
 Берков П. Н. 169, 176, 178, 228, 229,
 231, 233, 428
 Берлей, лорд 295
 Бернарден де Сен-Пьер Ж. А. 222
 Берни (Bernis) 268
 Бероальд де Вервилль 46—48
 Бертенсон С. 244
 Бертон Р. 400
 Бессонов П. А. 58—60, 302
 Бестужев М. А. 339
 Бестужев Н. А. 339, 340
 Бестужев-Марлинский А. А. 248,
 320, 322—329, 350
 Бестужев-Рюмин А. П. 207
 Бестужев-Рюмин К. Н. 37
 Бестужева Е. А. 339
 Бестужевы 337
 Беттинелли С. 157—160, 175, 176
 Бехтеев А. 249, 250
 Бецкий И. Е. 387
 Биаззо (Biasio) 56
 Бильбасов В. А. 27, 208, 236
 Бисмарк О. Э. Л. 393
 Биттнер (Bittner) К. 273
 Бихтер А. М. 252
 Бион 20, 175
 Благой Д. Д. 141
 Бланшар 289
 Блен де Сенмор А. 226, 232
 Бликов Н. 92
 Блок А. А. 342
 Блудов Д. Н. 188, 193
 Блуменау Л. 268
 Бобович А. С. 38
 Боборыкин П. Д. 421
 Бобров Е. Л. 243, 268
 Богданович И. Ф. 172, 173, 176
 Богданович П. 169
 Боград В. Э. 402
 Бодмер И. Я. 158
 Бодюэн Ф. 38
 Бокадоров Н. К. 166, 167
 Боккаччо Дж. 44, 100, 154, 161, 179
 (Бокас) — 181, 193, 279—282, 284,
 285, 297, 351, 410
 Болеслав III Кривоустый 35, 36
 Болгин 26
 Волковтинов. См.: Евгений, митро-
 полит
 Болье 86
 Бонекки Дж. 151, 152, 221
 Бонифаций VI, папа 408
 Бонифаций VIII, папа 154, 196
 (Вонифатий)
 Боннефон (Bonnefon) П. 22, 23, 35,
 38, 40, 229
 Борджиа Лукреция 46
 Борджиа Цезарь 46
 Борель П. 86
 Борисов А. И. 339
 Борисов П. И. 339, 358
 Борисов Семен 51, 56
 Боричевский И. 308
 Борн И. М. 129
 Боровкова-Майкова М. С. 188
 Боткин, купец 353
 Ботта К. 405
 Бох И. 48
 Бошар С. 410
 Боярдо М. 161, 278, 280, 281
 Брандис Е. П. 92
 Брант А. 79
 Брант С. 114
 Браун Т. 110
 Бренков Е. 152, 221
 Брентано К. 298
 Броневский С. В. 352
 Броун Хр. 82
 Брофферрио 405
 Брусилов Н. 240
 Брюллов А. П. 409
 Брюллова-Шаскольская И. В. 113
 Брюнетьер Ф. 416, 417, 420
 Буало Н. 156
 Бува 79
 Булаховский Л. А. 187
 Булгарин Ф. В. 194, 316, 317, 350
 Булич Н. Н. 235, 407
 Бурхард И. 46
 Буслаев Ф. И. 6, 7, 14, 15, 44, 45,
 48, 298
 Бутенев А. П. 168
 Бутервек 121
 Бутурлин Д. П. 172
 Бутурлин М. Д. 172
 Буур Д. 41
 Бухгейм Л. Э. 291
 Бухштаб Б. Я. 382, 388, 389
 Буцинский П. 73
 Бычков А. Ф. 105, 138

- Бэкон Ф. 282
 Бюдо 247
 Бюшинг А. 215, 227
 Вагнер Г. К. 358
 Вазари Дж. 182
 Валентиниан, император 296
 Валерио Л. 405
 Валк С. Н. 429
 Валленштейн А. 44
 Вартоломей (Варфоломей Любчанин) 50, 51
 Василий Иванович, великий князь 33, 50, 51, 53—57
 Васильевский В. Г. 29
 Вашингтон Дж. 195
 Введенский И. И. 90, 91
 Вебер (Weber) 80, 256
 Вейсс 88
 Веллингтон А. У. 330, 331
 Венгеров С. А. 96, 139, 146, 291, 322
 Веньяминофф Д. В. 370
 Венке 357
 Венути, аббат 133—135, 139
 Вергилий Марон П. 101, 156—158, 164, 165, 173, 174, 176, 182, 184, 189, 190, 230
 Веревкин М. И. 263
 Верещагин В. А. 238
 Верещагин В. В. 171
 Верн Ж. 312, 313, 318
 Верстовский А. Н. 307, 308
 Верховский П. В. 97
 Веселовский Александр Н. 8, 13, 42—45, 48, 279—281, 411
 Веселовский Алексей Н. 252, 284, 285
 Вигель Ф. Ф. 190
 Вид А. 32
 Виланд К. М. 246, 260, 305
 Вилле (Villey) П. 22, 32, 38, 40
 Вильямс Дж. 365, 367
 Винкельман И. И. 343
 Виноградов В. В. 259, 308, 343, 429
 Виноградов Н. 124, 169, 302
 Виньи А. де 320
 Виргинский В. С. 316
 Витали П. 416
 Витворт Ч. 220
 Витзен Н. 78, 79, 81
 Владимир Великий 301
 Владимирко, князь Галицкий 22, 36, 37, 40
 Владимиров П. В. 307
 Владиславов И. В. 317
 Владиславов М. 113
 Владыкин И. 169
 Воейкова А. 129
 Войццкий К. В. 308
 Волгин В. П. 240
 Волк С. С. 358
 Волков А. Г. 129
 Волконская А. П. 382
 Волконская Э. А. 332, 370
 Волконская М. Н. 333, 338
 Волконская С. Г. 332
 Волконские 335, 337, 340
 Волконский П. М. 332
 Волконский С. Г. 332, 333, 338, 339
 Володарь 22, 36, 37
 Волчанецкая Е. 320
 Вольман Ф. 809
 Вольпи Дж. А. 149, 152
 Вольтер 129, 141, 142, 152, 154—160, 175, 176, 180, 197—253, 255, 257, 258
 Ворагине Я. де 103, 357
 Воронов Д. 214
 Воронцов М. И. 232
 Воронцов М. С. 330, 333
 Востоков А. Х. 84, 194
 Вуазенон, аббат 135, 136
 Вяземский П. А. 188, 189, 192, 205, 234, 242, 244, 251, 315
 Габриан, император 296
 Гагарин И. С. 378
 Галахов А. Д. 255
 Галерий 356
 Галилей Г. 126, 229
 Гама Васко да 53
 Гамазов М. А. 350
 Гамбс Г. X. 364—374
 Гамбс К. X. 366
 Гамель Ю. 76
 Гаммперн Е. 411, 412
 Ганибалов И. А. 186
 Ганин Е. Ф. 245
 Ганка В. 289
 Ганс Сакс. См.: Сакс Г.
 Ганстен, проф. 323
 Гаррикс Д. 262, 263
 Гарсиласо де ла Вега 69
 Гаршин В. М. 92
 Гаспаров М. Л. 14
 Гаусс К. Ф. 322
 Гафиз 360
 Гварацци Ф. Д. 404, 405, 412
 Гвигтоне д'Ареццо 155
 Гедике Ф. 271
 Гейдеке 322
 Гейлер Кайзербергский И. 114
 Гейне Г. 377—383, 386, 388, 409
 Гейне Хр. Г. 280, 281
 Гейнзе В. 47
 Геккель Э. 313
 Гельвидий 115
 Геннади Г. Н. 138
 Геннигер 236
 Генрих II, король Польши 40
 Генрих III, король Франции 30
 Генрих IV, король Франции 230

- Генрих VIII, король Англии 294
 Георгий Амартол 8
 Герберштейн С. 32, 34, 39, 79
 Герд А. Я. 92
 Гердер И. Г. 223, 272—274, 298, 386
 Геродот 101, 283
 Герцен А. И. 88, 334, 340, 396—402, 408, 413
 Гершензон М. О. 244, 288
 Гесиод 283
 Геснер С. 183
 Гете И. В. 178, 181, 246, 254, 289, 323, 324, 343—345, 358—362, 385
 Гиббон Э. 356—358
 Гизель И. 37
 Гизо Ф. 357
 Гилров А. Н. 147
 Гиммельфарб Б. 422
 Гвязбург Л. Я. 188
 Гишпиус В. В. 342, 343, 345, 382
 Гиралдий. См.: Джиральди
 Гирт Ф. 378
 Глаголев А. 249
 Глаголева Т. 96, 97
 Глейм И. В. Л. 47, 268
 Глинка Б. Г. 360
 Глинка М. И. 152, 308
 Глинка Н. Г. 354
 Глинка С. Н. 84, 145, 193—195, 246, 247
 Глинка Ф. Н. 145
 Глинка Ю. К. 337, 351, 355
 ГлушакOVA Ю. П. 55
 Гнедич Н. И. 119, 122, 138, 174
 Гоголь Н. В. 4, 308, 341—350
 Годвин В. 283, 383, 364
 Годунов П. 61
 Голеншуд А. А. 152, 308
 Голдсмит О. 215
 Голенищев-Кутузов И. Н. 13, 148, 150
 Голицын А. 32
 Голицын Василий, князь 75
 Голицын Н. 211
 Голицын Ф. Н., князь 245
 Головкин М. Г., граф 75
 Головкина Е. И. 75
 Голодников К. 338
 Гольдбах 227
 Гольдберг А. Л. 58, 61
 Гольдберг И. Г. 428
 Гольдсмит 355
 Гомер 174, 185, 233, 283
 Гомперц Г. 112
 Гонкур Ж. де 390
 Гонкур Э. де 390, 393
 Гончаров И. А. 409, 410
 Гораций Флакк К. 122, 124, 126, 127, 270
 Гордлевский В. А. 216
 Городецкий М. И. 314
 Горохова Р. М. 182, 192
 Горчаков В. П. 244
 Госселен III. 367
 Готан Варфоломей 52
 Готтшед И. X. 255, 258—260
 Гофман Э. Т. А. 314
 Гоцци Г. 157, 176
 Грабарь-Пассек М. Е. 20
 Грамматин Н. Ф. 289
 Гранвилль Ж. 91
 Грасскофф X. 152
 Граф (Graf) В. 48
 Графиньи де, мадам 218
 Гревиль 330
 Грей, граф 330
 Грекур (Grécourt), аббат 47
 Греч Н. И. 194, 195, 248, 249, 316, 350, 352
 Грезм (Graham) Ф. 340
 Грибоедов А. С. 244
 Григорий XIII, папа 24, 25
 Григорий Назианзин 105
 Григорий Турский 357
 Григорьев А. А. 302
 Григорьев А. Д. 63
 Григорьев В. В. 397—400, 403, 408, 412
 Григорьян К. Н. 350
 Гризель Ж. 271
 Гримальпарцер Ф. 298
 Гримм, братья 59
 Гримм М. 199, 238
 Гримм Ф. 260
 Гриммельсгаузен Г. Я. К. 47, 48
 Грин Р. 277
 Грифиус (Gryphius) А. 255
 Гроссман Л. П. 238, 293, 296, 318, 390
 Грот Я. К. 118, 122, 181, 252, 268, 271, 273, 274, 409
 Грото Л. 271
 Грубер Й. Г. 281
 Грюже К. 299, 300
 Гуаско О., аббат 132—146, 152, 225
 Гудзий Н. К. 97
 Гудон Ж. 244, 252
 Гуковский Г. А. 141, 233, 260
 Гулак-Артемовский П. П. 303, 304
 Гумбольдт А. 323, 335
 Гусманов И. Г. 285
 Гуттен У. фон 114
 Гэд (Head) Р. 68
 Гюго В. 416
 Даарвилль 48
 Давыдов В. Л. 335
 Давыдов В. П. См.: Орлов-Давыдов В. П.
 Давыдов Д. В. 287
 Давыдов П. Л. 286
 Давыдова Н. В. 286

- Д'Адзельо М. 405, 412
 Даламбер Ж. Л. 129, 199, 204, 208, 237
 Далимил 298
 Даль В. И. 371, 373
 Даль Дуз 249
 Дамаскин Студит 104
 Дандини 25
 Дандоло Г. 151
 Данзэ Ш. 30
 Даниил Принц из Бухова 39
 Данилевский А. С. 343
 Данилин Ю. И. 425
 Данилов Кириша 301, 302, 304
 Данилов Н. М. 314
 Данте Алигьери 5, 147—197, 254, 407, 409—411
 Дантю 335
 Дарвин Ч. 313
 Даринель 32
 д Арко Н. 270
 Дасье 143
 Дашкевич Н. П. 308, 346
 Дашков Д. В. 188, 193
 Дашкова Е. Р. 178
 Де Бросс 242
 Де-Витт 82
 Де Губернатис А. 396, 397, 399
 Декав Л. 419
 Делаво (Delavaud) Л. 30
 Делиль Ж. 83
 Делоней Т. 293—297, 299, 300
 Дельвиг А. И. 314
 Демешкан Е. 285
 Демоле 144
 Демосфен 195
 Демшпр В. 85
 Державин Г. Р. 4, 180, 181, 186, 265—274, 360, 409
 Державин Н. А. 350
 Державина О. А. 106, 169
 Дефо Д. 4, 64—95
 Деций (Декий), император 356, 357
 Джами А. 360
 Дженкинсон А. 33
 Дженнари 158
 Дживелегов А. К. 148
 Джиральда Г. Г. (Гиральдус, Гираддий) 97, 100—102
 Джонс В. 348
 Джонс Э. 334
 Джудичи Э. 405
 Джусто Дж. 404, 405
 Дзагга А. 149, 150, 152
 Дидро Д. 124, 129, 141, 142, 192, 204, 222, 227
 Диоген Лаэртский 112, 361
 Диодор Сицилийский 101
 Диоклетиян, император 353, 355, 356
 Дион Кассий 299
 Дисбрау, леди 331, 332
 Дисбрау Э. К. 331
 Дитрих (Dieterich) А. 8, 10, 12, 322
 Длугош Я. 36—40
 Дмитриев И. П. 122
 Дмитриев М. А. 84, 322
 Дмитриев Я. К. 373
 Дмитриев Н. П. 241
 Дмоховская Л. 499
 Добролюбов Н. А. 407
 Доброхотов Б. 308
 Догель Е. 334
 Докусов А. М. 98
 Долгова С. Р. 50
 Долгорукий А., князь 235
 Долгоруков П. 286
 Долгин А. С. 394
 Домашнев С. Г. 153
 Дора (Dorat) Ж. 47, 199
 Достоевский Ф. М. 167, 238, 253, 390—395
 Доттен (Dottin) П. 64, 80—83
 Драгоманов М. 304
 Дрекселий 34
 Дритгельм 167
 Дубровин Н. 243, 316, 353
 Дурьиин С. Н. 178, 246, 359
 Дуэ, лейтенант 322—324
 Дьяконова Н. Я. 282
 Дю Белле Ж. 31, 33
 Дюбос, аббат 224
 Дюдеффан, маркиза 208
 Дрома А. 320
 Дюпата Ш. 185
 Дюсис 259
 Евбулид из Милета 112
 Евгений, митрополит (Болховитинов) 138, 139, 181
 Евреинов Н. Н. 44, 46
 Еврипид 283
 Евсвий 15
 Евтихий, патриарх 357
 Екатерина I, императрица 215
 Екатерина II, императрица 170, 177, 201, 202, 204, 219—221, 233, 235, 236, 242, 260
 Елагина А. П. 387
 Елеонский С. Ф. 307
 Елизавета Петровна, императрица 149—152, 206, 221, 226, 229, 235
 Елизарова М. Е. 285
 Елина Н. Г. 148
 Елистратова А. А. 285
 Епифаний Славянецкий 104
 Ефремов П. А. 96, 153, 171, 326
 Жайлис Ф. С. 238
 Жан-Поль Рихтер 385—388
 Жданов И. 12
 Жданов И. Н. 342
 Железняков П. С. 193—196

- Железнов И. 373
 Женгено П. 186
 Жендрон, доктор 144
 Жерард 129
 Жирмунская Н. А. 2
 Жирмунский В. М. 63, 344, 345, 359
 Жихарев С. П. 244, 316
 Жичиньский Г. 312—314
 Жоделья Э. 33
 Жокур (Jaucourt) де, шевалье 157, 203, 220
 Жофрень, мадам 143, 145
 Жоффруа де Сент-Илер 313
 Жуковский В. А. 122, 148, 176, 183, 188—190, 193, 261, 321, 343, 349, 352, 353, 382
 Журавская З. Н. 94
 Заборов П. Р. 156, 263
 Заборова Р. Б. 355
 Загоскин М. Н. 245, 307, 308
 Залшупин 69
 Западов А. В. 169
 Засекин И. 51, 56
 Звавич И. 330
 Зедерхольм 289
 Зейд Ф. фон 61, 62
 Зеленин В. В. 58
 Зеленин Д. К. 103
 Зелинский Г. 369
 Земонт Николай, дож Венеции 26, 27
 Зямин А. А. 63
 Зиннер Э. П. 92
 Золотницкий В. 169
 Золя Э. 4, 414—426
 Зотов В. Р. 89
 Иван Гроанный 4, 26—30, 43—48, 63, 106
 Иванов В. В. 63
 Иванов И. 351
 Иванчин-Писарев Н. 245
 Ивашев В. П. 320
 Игнатов И. Н. 86
 Иероним 114—116
 Измайлов А. Е. 245
 Измайлов В. В. 183
 Иконников В. С. 290
 Илличевский А. Д. 118, 122
 Иловайский Д. 39
 Ильинский Л. К. 84
 Иоанн Ексарх Болгарский 105
 Иоанн Секунд 175, 176
 Иоанникий Галатовский 103
 Иовий Павел 40
 Иофанов Д. 350
 Исабелла, королева Испании 53
 Исбрант Идес 78—82, 132
 Исикрат 296
 Истома, толмач 51
 Йохер (Jöcher) X. Г. 257
 Кавелин К. Д. 396, 401, 407, 409
 Кадлубок В. 37
 Казанский Б. В. 334
 Кайбель (Kaibel) Г. 8, 9
 Кайданов Я. К. 313
 Кайсаров П. С. 364
 Калайдович К. Ф. 105, 289, 304
 Каллас Ж. 243
 Калленбах Ю. 313, 314
 Кальвин Ж. 34
 Каминно Дж. 149, 152
 Камонс Л. 156
 Кампаннини 411
 Кампе И. Г. 84, 86, 88, 89
 Каннинг Дж. 330, 331
 Кантемир А. Д. 4, 96—98, 100, 102, 108, 116—146, 151, 152, 225, 226, 255
 Кантемир Д. 144
 Каппист В. В. 186
 Карамзин Н. М. 22, 36, 122, 133, 134, 140, 144, 169, 176, 183, 185, 186, 193, 194, 245, 246, 251, 255, 262, 263, 288
 Кардовский Д. Н. 92
 Карл V, император 50—53, 55—57
 Карл XII, король Швеции 77, 118, 205, 225
 Карл Альберт, король Сардинии 398
 Карл Валуа 154, 196
 Карл Великий 124
 Карлейль, граф 39
 Карль Л. де (Lancelot de Carle) 30, 31
 Карль Ф. де 30, 31, 33
 Кармонтель 217
 Карнеев А. 103, 104
 Карпов А. 105
 Кастаньо А. дель 172
 Кастри Дж. 197
 Катенин П. А. 148
 Катифоро (Catiforo) А. 220, 221
 Катон 195
 Кауфман И. М. 196
 Каченовский М. Т. 302, 303
 Кашкин Д. 168
 Квинтилиан 113
 Келюс, граф 358
 Керар Ж. М. 209
 Кессель Л. М. 361
 Кино Ф. 236, 237
 Киприан Дамский 104
 Киреев И. 358
 Киреев М. 101
 Киреевские 387
 Киреевский И. В. 346
 Киреевский П. В. 44, 45, 302
 Кирилл 13
 Кирплук З. В. 350

- Кирхгоф Г. В. 14, 60
 Кирхер А. 110
 Клейнберг И. Э. 18
 Клейнер Ю. 310, 312, 314
 Клеман М. К. 415, 418, 419, 421
 Клермонт К. 363—368, 370
 Клермонт М. Дж. 363
 Клермонт П. 364
 Клермонт Ч. 363
 Климент V, папа 143
 Климент VII, папа 26, 55
 Климент Александрийский 114
 Климент Смолятич, митрополит 105
 Клиnger В. 103
 Клошток Ф. Г. 385
 Клостерман 171
 Ключевский В. О. 34
 Ключников В. 411
 Кобеко Д. Ф. 26
 Ковалевский М. О. 147, 148
 Коган П. С. 296
 Коган-Бернштейн Ф. А. 31
 Козегартен Г. Л. Т. 358
 Козлов И. И. 314, 344
 Козловский П. Б. 379
 Козловский Ф. А. 235
 Козмин Н. К. 192
 Козодавлев О. П. 178—180
 Козьма Пражский 298, 299
 Колесников Б. И. 285
 Колесницкая И. М. 305
 Коллиз С. 4, 33, 43—48, 112
 Колло Ф. да 52
 Кологривова Е. В. См.: Фан-Дим
 Коломанович Борис 36
 Колонна М.-А. 29
 Колумб Х. 53
 Кольбер д'Эстувиль 153
 Кольтеллини М. 152
 Комарович В. Л. 7
 Комес Н. 282, 284
 Коммод 355
 Комо, кардинал 25
 Кондильяк Э.-Б. де 199, 204
 Кони Ф. А. 259
 Конкин С. С. 352
 Кононов А. Н. 429
 Констан Б. 208, 209
 Константин Кефала 289
 Константин Павлович, великий князь 194, 331
 Контг А. де (Онтон Откмит) 51, 52, 56
 Контини А. 172
 Кончаловский П. 66, 75, 93, 94
 Коншина Е. Н. 387
 Копержинский К. 304
 Кошлан Б. И. 271
 Корвин-Кучинский И. П. 314
 Кордг В. 43, 79, 82
 Корпель П. 234
 Королева Н. В. 352, 354, 384
 Корсак Ю. 310
 Корсаков П. А. 66, 73—75, 81, 88—91, 93
 Корсунский И. 109
 Корш Ф. Е. 358
 Костылев В. 28
 Косаровский П. 945
 Котляревский А. А. 36
 Котляревский И. А. 324, 341
 Коцебу, капитан 321
 Коцебу А. 261, 262
 Кошанский Н. Ф. 125, 174
 Краевский А. А. 91
 Крамаренков В. 128
 Крамер 155
 Кранендонк А. 284
 Крапп (Кгарре) А. Н. 63, 298, 299
 Красовский А. 66, 81
 Крачковский И. Ю. 216
 Крачковский Ю. А. 102
 Крашевский Ю. 308
 Крашенинников С. П. 228
 Кретье (Crevier) Ж. 355, 356
 Крендль А. 381
 Крижанич Ю. 4, 58—63
 Кромер М. 38, 39, 41
 Кропотов Д. 195
 Крымский А. Е. 32, 358
 Крюденер В. 185
 Крюков 145
 Крюковы А. А., Н. А. 338
 Кубалов Б. 323
 Кудряцев П. Н. 411
 Кудряшев П. 369
 Кузеля З. 298
 Кузьмин А. К. 338
 Кук Дж. 87
 Кулиш П. А. 343
 Куник А. А. 227, 228, 231, 233
 Кунсон (Counson) А. 153, 157, 158, 175, 192
 Кунцевич Г. З. 39
 Кутузов Н. И. 145
 Кухарский Е. 310
 Кшижановский Ю. 300
 Кюи Ц. А. 412
 Кюстин А. де, маркиз 320
 Кюхельбекер В. К. 316, 337, 343, 350—362, 383, 384, 388
 Кюхельбекер Д. И. 337
 Кюхельбекер М. В. 337
 Кюхельбекер Ю. В. 337
 Ла Босси Э. де 31
 Ла Будри, епископ 86
 Лавров П. Л. 407, 420
 Лавровский П. 13
 Лагарж Ж. Ф. 154, 159, 175, 176, 180, 197, 204, 232, 247, 255
 Лакомб Ж. 208, 209, 221

Лактанций Плагид 279—281, 283
Ламарк Ж. 313
Ламберт Е. Е. 405
Ланг Л. 80
Ланге Г. 34
Ланген Я. 83
Ланжерон Р. 392, 394
Лаперуз Ж. Ф. 87
Лани Н. де 405, 411, 412
Лашлас П. А. де 258
Лаппо-Данилевский А. С. 37
Лария Б. А. 33, 106
Ларусс (Larousse) П. 276, 277, 281, 390
Ласкарис И. 269
Ла Фарина 405
Лафонтен Ж. 14, 41
Леблан 84
Левек П.-Ш. 227
Левидова И. М. 263
Левин Ю. Д. 2
Левитский 289
Левченко М. 32
Левшин В. А. 161, 302, 304—308
Легран А. 391
Ле-Дантю К. П. 320
Лейбниц Г. Г. 79
Леклерк Н. 230
Лемьер (Le Mierge) А. 231, 232
Ленгольд 364
Ленц Я. 263
Лермонтов М. Ю. 91
Лесевич В. В. 69
Лессинг Г. Э. 262, 358
Лефран де Помпильян 217
Ледрус А. 98
Ли Р. 330, 331
Ливек, граф 332
Ливен, княгиня 330
Ливий Тит 299, 311
Лидс У. Г. 334
Линниченко И. 37
Линтон В. 334
Линь де, принц 208
Лирия де, герцог 132
Лирондель (Lirondelle) А. 259
Лисимах 101
Литтре Э. 275
Лихачев Д. С. 49
Лихачев Н. П. 25—28
Линши Г. А. 411
Лобода А. 102
Лобойка И. И. 303
Ло Гатто (Lo Gatto) Э. 396, 429
Лозинский (Lozinsky) Г. 142—144, 226
Лозинский М. Л. 186
Ломоносов М. В. 122, 126—128, 147, 151, 169, 212, 213, 225—234, 237
Лонгфелло Г. 376, 384—386, 388
Лоне де Вега 42, 257

Лопес де Менеас (Lopez de Menezes) А. 53, 56, 57
Лопиталь М. 31
Лортоларн (Lortholary) А. 132, 144, 245
Лотман Ю. М. 192
Лотспейч (Lotspreich) Г. 282
Лубяновский Ф. 185
Лукач М. А. 101, 156
Лукьян 113, 123, 124, 168, 169, 284
Лупанова И. П. 305
Львов Н. А. 171, 173
Львов П. Ю. 183
Лэнг (Lang) Д. М. 258, 259
Л'Эспин (L'Espine) Г. де 32
Любименко И. 76
Люблинский В. С. 218
Людовик XIV, король Франции 72, 124
Людовик XV, король Франции 125, 134
Люлли Ж.-Б. 236
Лютер М. 115
Лявок 196

Мабли Г. Бонно де 199, 204
Магеллан Ф. 53
Мазапа 326, 327
Майков Л. Н. 119, 125, 130, 135, 140—141, 144, 185, 272
Макробий А. Ф. 279, 281
Максимлиан, император 28, 50—52, 55, 56
Максимович М. А. 302, 303
Маласпина 172
Малеин А. И. 125, 271
Малерб Ф. 225, 226
Маммани 409
Манн Ф. О. 295, 296
Мансю (Mansuy) А. 22, 34—36, 39
Маньини Дж. 149
Мариан Схоластик 267—273
Мария Баварская 150
Марк Аврелий 296, 300
Маркевич Я. А. 108
Марков С. 61
Марло К. 277
Мармонтель Ж. Ф. 199, 204, 305
Мартин А. 226
Мартин Бельский 39, 104
Мартир д'Ангьера П. 4, 49, 53—56
Мартынов И. И. 180, 185
Марфа Посадница 195
Марциал Капелла 114
Марциан 101
Мартак С. Я. 265, 266
Масанов И. Ф. 351
Маслов В. И. 195, 321, 326
Матль (Matl) И. 62
Мацейковский В. 301, 304
Маццини Дж. 398
Медичи 412

Межевич В. 89
Межов В. И. 66, 330, 363
Мейендорф А. 76, 77
Мейлах В. С. 125
Меланхтон Ф. 271
Мельгунов Н. А. 400—402
Менвилье (Mainvilliers) Ж. С. де
214, 215
Мендельсон М. 262
Менцель Хр. 79
Меншиков А. Д. 215
Мередит Дж. 283
Мералыков А. Ф. 122, 159
Мерсье Ж. С. 317
Метастазио П. (Метастасий) 181
Мефрет 104
Мешалкина М. М. 339
Микеланджело Буонаротти 110, 177,
182, 270, 410
Миклошич Ф. 105
Миллень А. Л. 101
Миллер 228
Миллер Г. Ф. 221, 326, 327
Миллер О. Ф. 89, 298
Миллер Ф. Б. 322
Милль Дж. С. 416
Мильтон Дж. 76, 159, 256, 277, 282—
284
Милюков А. П. 250, 251
Милотин В. 51
Мин Д. Е. 182
Мицлов Р. 77, 210
Мивь 116
Мирабо О. Г. 199, 204
Мирославская А. Н. 52
Митрофанова В. В. 305
Михайлов В. М. 409
Михайловский В. 69
Михайловский И. П. 107
Михайловский Н. К. 252
Михайловский-Данилевский А. И.
246, 247
Михалон Литвин 39
Мицкевич А. 302—304, 308—319
Мицкевич В. 312
Мияш (Mish) Ч. 294
Модзалевский Б. Л. 86, 212, 337
Моисеева Г. Н. 256
Мольер 48, 217, 237
Монтень М. де 4, 21—42, 100
Монтескье Ш. Л. 4, 22, 34, 119—146,
152, 192, 199, 201, 202, 208, 218,
220, 225
Монтолье 86
Мопертюа 144
Мордвинов А. С. 201
Мореншильдт (Möhrenschildt) Д. С.
139, 142, 199, 203, 204, 208, 209,
214, 222
Морери 157
Мориц 185

Морозов А. А. 181
Морозов М. М. 293
Морозов П. О. 96, 104, 108, 256
Мортон Э. 333
Москотильников С. А. 243
Мосх 19, 20, 175
Мочульский В. Н. 107
Музеус И. К. А. 298
Мур Т. 4, 341, 346—350, 359
Муравьев М. Н. 123—127, 129, 136,
169, 172—176, 178
Муравьев Н. 368—370
Муравьев-Апостол И. М. 123, 197
Муравьев-Апостол М. П. 336—338
Муравьев-Апостол М. К. 338
Муравьев-Апостол С. П. 331, 338
Мутонне де Клерфон Ж. 174—176,
193
Мьез Г. 39, 220
Мюллер 289
Мюнстер С. 32

Назаревский А. А. 106
Наполеон Бонапарт 287, 366, 382
Наполеон III Бонапарт 392
Нартов А. А. 177
Нарышкин С. К. 140
Наталья Алексеевна, царевна 256
Неведомский В. Н. 357
Невилль де ла 79, 220
Негри А. Ф. 271
Некрасов Н. А. 340, 402
Нелединский-Мелецкий Ю. А. 183
Неупокоева И. Г. 285
Неустроев А. Н. 129, 169, 196
Нечкина М. В. 240, 318
Нивелль де ла Шоссе П.-К. 141
Никарх 272
Никитенко А. В. 252, 409
Никитенко С. А. 409, 410
Николаев В. И. 323
Николай I 320, 330, 354, 398
Никольский Н. 105, 106
Новиков Н. И. 84, 85, 97, 177, 183
Новицкий Г. 73—75
Норов А. С. 148
Ньютон И. 229
Нэш Т. 294

Обинье А. д' 34, 278
Обнинская Ю. 92
Оболенский Е. П. 338
Оболенский М. А. 201
Овидий Назон П. 101, 102, 163
Одерборн П. 45
Одоевская О. С. 403
Одоевский В. Ф. 317, 318, 403
Одровонж-Пенёнжек Я. 369
Одынец А. 310—316, 318, 319
Ожегов С. И. 371
Ознобичин Д. П. 349, 350

- Оксман Ю. Г. 130, 322, 331
 Олеарий А. 43, 220
 Оливе д', аббат 222
 Олешкевич 314
 Оппиан 103
 Орбиччани Б. 187
 Орлов А. Ф. 352
 Орлов В. Г., граф 245, 286, 287
 Орлов В. Н. 129, 243, 351
 Орлов П. А. 161
 Орлов-Давыдов В. П. 286—292
 Орлова Е. Н. 244
 Ортлиб Цвифальтенский 37
 Остервальд 236
 Откмит Онтон. См.: Контти А. де
 Оттон, герцог 44
 Охрименко П. П. 303, 304
- Павел, папа 24
 Павел I 182
 Павловский И. Я. 417—419, 426
 Палацкий Ф. 298
 Паллавичино Ф. 26, 27, 29
 Парадизи 158
 Патерсон 332, 333
 Патуйе (Patouillet) Ж. 234—236
 Паули И. 62, 63
 Паус И. В. 107
 Педро Мессия 299, 300
 Пекарский П. П. 117, 151
 Пенго (Pingaud) Л. 210
 Перевлесский И. 97, 98, 119
 Перетц В. Н. 7—9, 14, 15, 97, 107
 Переферкович И. 109, 110
 Перри Дж., каштан 75, 77, 79, 81, 82, 132, 220
 Пестель П. И. 145, 334
 Петр I 55, 73, 77, 96, 117, 142, 151, 195, 198—216, 219—221, 225, 227—232, 256
 Петр Власт 36, 37
 Петрарка Ф. 121, 150, 151, 153—156, 173, 176, 179 (Петрарх) — 181, 183, 193, 194, 343, 410
 Петрей Петр 39, 45, 46, 48
 Петров А. 36
 Петров А. А. 262
 Петров Д. К. 320, 330
 Петровский Ф. А. 272
 Петроний Арбитр Г. 284
 Печерин В. С. 267—269, 272, 274
 Печерин Ф. П. 84
 Пигарев К. В. 171, 376, 378—381
 Пигонь Ст. 310, 314
 Пий IX, папа 397, 398, 408
 Пикколомини Э. С. 299
 Пякок Т. 283, 284
 Пиксанов Н. К. 187, 244, 429
 Пиндар 271
 Пинто М. 396—413
 Пирлинг (Pierling) П. 27, 79
- Пирон 192
 Питу П. 270
 Пичета В. И. 58
 Платон, архимандрит тверской 213, 214
 Платон Философ 268
 Платонов И. 13
 Платонов С. Ф. 40
 Платонова Н. 204
 Плетнев П. А. 66, 87, 89, 91, 189, 252, 267, 403
 Плиний 62, 63, 103, 104, 230, 361
 Плутарх 63
 Плюшар А. 276
 Победоносцев А. В. 191
 Победоносцев С. 308
 Погодин М. П. 139, 249, 370
 Подолинский А. И. 350
 Подшивалов В. С. 148, 182—184
 Пожарский 289
 Покровская Д. К. 86
 Полевой К. А. 187
 Полевой Н. А. 31, 205, 245, 370
 Полежаев А. И. 388
 Поленов А. 128
 Поликарнов Ф. 105
 Полушкин Я. И. 4, 49—56
 Поляков В. 84
 Помо (Pomeau) Р. 154, 155
 Поп А. 256
 Пошлер 26
 Попов Н. А. 31
 Попов П. Н. 303
 Попова М. Н. 215
 Попугаев В. В. 129
 Порошин С. А. 232
 Посников З. Н. 365
 Посниковы 366, 367
 Поснов М. Э. 281
 Поссеви А. 25
 Постель Г. 32
 Постнов Ю. С. 369
 Потемкин П. И. 49
 Привалова Е. П. 83, 92
 Прокофьева Д. С. 308
 Пронашид 279
 Прудон П.-Ж. 398
 Псевдо-Гигин 282
 Пуассон Р. 41
 Пумпянский Л. В. 97, 141, 152, 376, 377
 Пушкин А. С. 20, 86, 117, 118, 122, 154, 160, 187, 190, 192, 193, 197, 242—244, 264, 272, 307, 315, 316, 318, 319, 322, 333, 334, 337, 342, 351, 358, 360, 368—370, 375, 387, 389, 401, 409
 Пушкин В. Л. 183, 186—190, 193
 Пушин И. И. 337, 338, 353
 Пыляев М. И. 245
 Пышин А. Н. 202, 302, 312, 323

- Рааб (Raab) Г. 52
 Рабле Ф. 34, 48
 Раден Э. Ф. 406
 Радивиловский А. 104
 Радищев А. Н. 130, 147, 178, 306
 Радищев Н. А. 306, 307
 Радлов В. В. 373, 374
 Раевский А. Н. 331
 Раевский В. Ф. 145
 Рауменовский К. Г., граф 207
 Райков Б. Е. 313
 Рак В. Д. 352
 Рамберг И. Г. 47
 Рамбо А. 22, 30, 31
 Раналли Ф. 405
 Расин Ж. 41, 194, 233, 234, 237
 Рафаэль Санти 177
 Регманус 270
 Резаков В. И. 183, 261
 Рейзов В. Г. 158
 Рейхель М. К. 399, 400
 Ремезов У. 61
 Реналь 199, 204
 Ривароль А. 176, 181, 192, 195
 Риккони Л. 151, 255
 Рихтер 289
 Ричардсон Дж. 349, 350
 Робертс (Roberts) У. 297, 299
 Рогожин В. Н. 83, 129, 304
 Розанов М. Н. 263
 Розанов С. С. 320
 Розен А. Е. 340
 Рознатовский Е. 128
 Розов В. А. 308
 Ролли П. 152
 Роллинс Х. 299
 Рольстон В. 420
 Романо Дж. 177
 Ронсар П. 31, 33, 271
 Росетти Д. Г. 320, 330
 Роткович Я. А. 195
 Рубруквис 72
 Рулиф П. И. 48
 Румянцев Н. П., граф 245
 Румянцев С. П., граф 223, 237, 238
 Русевъ Р. 83
 Руссо Ж. 221
 Руссо Ж.-Б. 229
 Руссо Ж.-Ж. 85, 175, 176, 183, 199,
 202—204, 217, 244, 246, 247
 Руфо Ж., архиепископ Козенский
 54
 Рыбникова М. А. 92
 Рылеев К. Ф. 145, 194, 195, 248, 320,
 321, 325—329, 333, 334
 Рыльева Н. М. 325
 Рюккерт Ф. 358
 Рюрик 124
 Рязановский Ф. А. 166

 Саади 360

 Сабео Ф. 270
 Сабих 216
 Савва В. 39
 Савченко С. В. 161, 302
 Сайтов В. И. 186
 Саккетти Ф. 44
 Сакс Г. 10, 60
 Саксон Грамматик (Saxo Grammaticus) 62, 259
 Сакулин П. Н. 317, 319
 Салтыков-Щедрин М. Е. 420
 Санд Жорж 88, 275, 416
 Сан-Джорджо, кардинал 39
 Санти Ф. 151
 Сапата де Сиснерос К. де, граф
 149—152
 Сафо 175
 Сахаров И. П. 105, 301—304
 Светлов Л. 169
 Светловский Вл. 316
 Свида 162
 Свифт Дж. 108, 111, 229
 Северин Д. П. 188
 Секст Эмпирик 113
 Селиванова М. А. 339
 Селькирк А. 69, 85, 86, 91
 Семейский В. И. 145, 198
 Семейский М. И. 323
 Семеновников В. П. 129, 177
 Семенов В. Н. 267
 Семенов Е. П. 418
 Семенов-Тянь-Шанский П. П. 86
 Сенак де Мельян Г. 201
 Сенека Лудвий Анней 113, 195
 Сен-Желе М. де 270
 Сенигова И. 43
 Сен-Симон К. А. де 318, 319
 Сент-Бёв Ш. О. 135, 192
 Септимий Север 355
 Сервантес Сааведра М. де 42, 197
 Сердобольский 91
 Середонин С. 76
 Серрано П. 69
 Сидоров Е. А. 193
 Сикст IV, папа 26
 Сильванский Н. П. 97
 Симборский Н. В. 252
 Симеон Полоцкий 104, 106, 107, 111
 Симоли П. К. 103, 106
 Сиповский В. В. 85, 161, 163—165,
 185, 240, 305, 307
 Сирано де Бержерак 41
 Скандербек Георгий Кастриот 33
 Скаррон П. 161
 Скартаццини И. 154
 Скотт Вальтер 4, 286—292, 322
 Скрипиль М. О. 305
 Словацкий Ю. 320
 Смирдин А. Ф. 86
 Смирнов А. В. 183
 Смирнов С. И. 7, 8

- Смирнов-Сокольский Н. Н. 267, 351
Смоллет Т. 215
Снегирев И. М. 322
Снорре Стурлусон 62
Собко Н. 33
Соболевский А. И. 52, 124, 160
Соболевский С. А. 154, 272
Соваж Ж. 31, 33
Созонович А. П. 338
Соколов А. Н. 306, 429
Соколов Б. М. 63
Сократ 195
Соловьев Вл. С. 389
Соловьев Д. Н. 93
Соловьев Н. 412
Соловьев С. М. 39
Соломон, царь 45
Сомов О. М. 244, 349, 350
Сопиков В. С. 83, 104, 129, 185, 304
Сорель Ш. 41
Сосницкий И. И. 244
Сотников А. Т. 132
Софрон 9, 18
Сохацкий П. А. 182
Спасович В. Д. 312
Спафарий Милеску 72, 79, 80
Спафарий Николай 107
Слексер Э. 277, 282
Сплин Л. 398
Срезневский В. И. 92, 387
Срезневский В. С. 84
Срезневский И. И. 17, 18, 106
Сталь Ж. де 185
Станислав-Август, король Польши 221
Старовольский Ш. 61
Старцев А. 178
Стасов В. В. 411
Стасюлович М. М. 396, 408—410, 420
Стаций Публий Паниний 276, 279
Стендер-Петерсен (Stender-Petersen) А. 308, 343
Степанов Г. В. 2, 5
Стерн Л. 183
Стефан VI, папа 408
Стефан Баторий 28, 29
Стефан Яворский 104
Стивен Л. 67
Стикотт 263
Стиль Р. 85
Стоюнин В. Я. 139
Страленберг Ф. 220
Странгфорд, лорд 330, 331
Стрейс Я. 220
Стремоухов Д. 379
Строев П. 123
Стропци Л. 33
Струбе де Пирмонт 202
Струве Б. В. 334, 335
Струве (Struve) Г. П. 287, 334, 379
Струве П. В. 76
Стрыйковский 37
Суворин А. С. 420
Суворов А. В. 169
Сумароков А. П. 118, 126, 141, 169, 223, 226, 232—237, 255—260
Сумцов Н. Ф. 62, 167
Сухомятинов М. И. 15, 129, 130, 178, 179, 230, 321
Сущкова (Хвостова) Е. А. 86
Сфорца А. 54
Саге 25
Тайберт 228
Тамерлан 44
Тассо Т. 121, 153, 154, 156, 172, 173, 176—178, 192—194, 305
Тацит К. 283
Тверитинов А. Н. 415, 416, 420
Теодонций 279
Теплов В. 161
Терещенко А. 99
Тертуллиан 103
Тизенгаузен В. К. 338, 339
Тик Л. 343, 385, 386
Тилле В. 298
Тимофеев И. 106
Титлинов Б. В. 97
Титов А. А. 124, 169
Титов В. П. 401, 402
Тиханов П. 122
Тихомиров М. Н. 58, 428
Тихонравов Н. С. 165—167, 183, 342
Толомея К. 271
Толстой Л. Н. 91, 92, 264, 415
Толстой Ю. В. 76
Тома А.-Л. 210—214, 222
Томашевский Б. В. 190, 358
Томмазо Н. 405
Томпсон Ст. 297
Торелли Дж. 159
Тормасов А. 236
Торсон К. П. 335
Траян 230
Третьяковский В. К. 225, 226
Тронская М. Л. 178
Тронский И. М. 9
Трошман Ж. Б. 395
Трубецкая Е. П. 320
Трубецкие 335, 337, 338, 340
Трусович Х. 78
Трусов Я. 83, 88
Тугоркан, хан 302
Тураева-Церетели Е. 40
Тургенев Андрей И. 263
Тургенев И. С. 91, 254, 255, 395, 396, 401—403, 405—407, 413—416, 418—421
Тургенев Н. И. 247, 248, 320, 330, 403
Турдеану Э. 166
Турн фон 52
Тынянов Ю. Н. 353, 355, 378, 379

Тьерсо 205
Тэве (Thevet) А. 32, 33
Тэйлор 64
Тэн (Taine) И. 69
Тюммель М. А. 178
Тютчев Н. Н. 409
Тютчев Ф. И. 376—389
Тюэ (Tuet), аббат 34

Уайт (White) Н. 284
Уваров С. С. 188, 272
Удар де ла Мотт А. 268
Уебстер (Webster) Н. 276
Улыбышев А. Д. 318
Уолполь 208
Уолстонкрафт М. 363
Урнов Д. М. 293
Успенский Г. И. 417
Успенский Ф. И. 27
Ушаков М. В. 178
Ушаков Ф. В. 178

Фаленберг П. И. 336, 338
Фалес 279
Фарнгаген фон Энзе К. А. 322
Фан-Дим Ф. (Кологривова Е. В.) 147
Фарнгаген фон Энзе К. А. 322
Фасмер (Vasmer) М. 106, 373, 374
Федор Алексеевич, царь 106
Федор Иоаннович, царь 30, 33, 106
Федоров А. В. 354
Федр 14
Фенелон 124, 193, 194
Феодосий, император 357
Феоктистов И. 88
Феокрит 20, 283
Феофан Прокопович 96—118
Феофил Кролик 96, 98, 117
Фердинанд, король Испании 53
Феруччио 405
Фест 101
Фетисов М. И. 368, 369, 372, 373
Филдинг Г. 169
Филипп Красивый 196
Филиппов А. М. 31
Фирдоуси 360
Фишарт И. 114
Флетчер Дж. 271
Флоринский Т. Д. 166
Флоровский А. В. 117
Фокеродт 206
Фонвизин Д. И. 171, 172, 205, 234
Фонтенель Б. 124, 192, 199, 201, 221
Фонтено Ж. 32
Форкад Э. 393
Формей С. 227
Форстен Г. В. 31
Фортескью Т. 299, 300
Фосс И. Г. 317
Франклин Б. 195
Франклин Т. 215

Франко И. 303
Франковский А. А. 94, 95
Франц (Franzii) В. 104, 110
Фрейзер Дж. 63
Фрерон Э. 157, 210, 211, 233, 234
Фридман Н. В. 119, 129
Фридрих II, король Пруссии 206
Фрост Т. 334
Фругони 158
Фукидид 283
Фуников И. 106
Фурсенко В. 206
Фурье Ш. 319, 426

Халльм 14
Хардер (Harder) X. Б. 257, 260
Харлампович К. В. 104
Хаттон (Hutton) Дж. 270, 272
Хауэрат 14
Хауэлл (Howell) Дж. 281
Хвостенко Л. В. 384
Хвостов И. М. 84
Хвостова Е. А. См.: Сушкова Е. А.
Хент Л. 281
Херасков М. М. 153, 176
Хертцберг (Hertzberg) В. 269, 272
Хилл (Гиль) С. 334, 335
Хмельянский П. 312
Хмельницкий Н. И. 85, 86
Хобхауз (Hobhouse) Дж. 248
Хогг Т. 283
Холливел Дж. О. 295
Храпченко М. Б. 345, 428
Хризипп 279
Христ В. 9
Хъепко (Hierko) Э. 153, 343, 345

Царский И. Н. 290
Цветаев Д. 291
Цебрикова М. К. 284
Цейтлин Р. М. 118
Цертелев 289
Цехновицер О. В. 317
Цинциннат 299
Цицерон Марк Туллий 55, 126, 283
Цявловский М. А. 291

Ченцов Н. М. 330
Черкасский В. А. 405
Черневич М. Н. 185
Чернов С. М. 331
Чернышевский Н. Г. 4, 407, 414—426
Чехов Н. В. 84, 86
Чижевский (Ciževskij) Д. 316, 379, 388
Чижиков Л. 147
Чингис-хан 99
Чистович И. 96, 97, 99, 108, 117
Чистякова Н. А. 272
Чичагов П. В. 248
Чубрицкий А. 300, 301, 304, 308

- Чуди (Tschoudy) Т.-Г., барон 212, 215, 227
 Чуковский К. И. 92
 Чулков Г. И. 378, 379
 Чулков М. Д. 160—165
 Чулков Н. П. 304, 337, 362

Шамиссо А. фон 320—322, 327—329
 Шапи д'Отрош 221
 Шараневич И. 36
 Шаровольский И. 344—346
 Шассен Л. 416
 Шатле дю, маркиза 156
 Шаховской А. А. 189, 244
 Шварц И. Г. 183
 Шевригны И. 22, 25—29, 41
 Шевырев С. П. 98, 99, 108, 116, 117, 148, 154, 411
 Шейман Л. А. 369
 Шекспир В. 4, 42, 156, 159, 197, 254—274, 277, 293, 351
 Шелли М. 363—365, 367
 Шелли П. Б. 275—285, 363—365, 375
 Шемякин А. Н. 46
 Шенелевич Л. 166
 Шиллегодский С. П. 88
 Шиллер Ф. 47, 181, 197, 255, 263, 343, 385
 Шиллер Ф. П. 285
 Шиллинг П. Л. 315
 Шильдер К. 247
 Шимко И. 139
 Ширяев А. 139
 Шишков А. С. 122, 188, 189, 289
 Шишмарев В. Ф. 10, 149—151, 428
 Шишмарева М. А. 94, 95
 Шкловский В. Б. 161, 304
 Шлегель А. В. 255, 264
 Шлегель И. Э. 255, 260
 Шлегель Ф. 181, 182
 Шляпкин И. А. 256
 Шмид Г. К. 48
 Шмидт С. О. 50
 Шмурло Е. Ф. 25, 27, 56, 204—208, 228
 Шоп Солер (Schop Soler) А. 53
 Шоу Т. 90, 91
 Шрейтер 357
 Шрек 263
 Шрёк И. 358
 Штейнгель В. И. 145
 Штелин П. 227
 Штвггель И. 271
 Штрайх С. Я. 337, 338
 Штранге М. М. 240
 Штродтман 378
 Шувалов А. П. 211, 212, 223, 225, 228—237, 246
 Шувалов И. И. 207, 211, 212, 218, 220, 223, 228, 233
 Шюре Э. 275

 Эберт 263
 Эбрат 418
 Эггйон д', герцогиня 143, 144, 226
 Эдвардс С. 340
 Эзон 14
 Эйду (Eidous) 227
 Эйлер, m-lle 406
 Эймонтова Р. Г. 330
 Эйхенбаум Б. М. 244, 316
 Эйхенгольц М. Д. 421, 425, 426
 Эйхендорф Й. 386
 Энк И. фон 115
 Экштейн д', барон 289
 Эльян 63, 103
 Эмин Ф. А. 169
 Энгельгардт Е. А. 337
 Эпихарм 8, 9, 18
 Эразм Роттердамский 105
 Эрап (Ehrard) М. 143, 145
 Эрдманн (Erdmann) Ф. 99
 Эркарт Д. 334
 Эрман Г.-А. 322—329
 Эрш И. С. 281
 Эспронседа Х. де 320, 330
 Этив Ф. 92
 Эшенбург И. И. 260, 261

Юберсбергер (Uebersberger) X. 53
 Ювенал Децим Юний 122
 Юлий II, папа 110
 Юнг Э. 385
 Юре Ж. 414
 Юстин 298
 Юсупов Н. Б., князь 245

 Языков Д. Д. 292
 Языков Д. И. 129, 130
 Якобсон Р. О. 63
 Яков V, король Шотландии 33
 Яковлев А. И. 52
 Якубович Д. П. 20
 Якушкин И. Д. 337—340
 Ян Гербург Фульштмьнский 38—41
 Ярмохович Я. 37
 Ярополк, князь 22, 35—38, 40, 41
 Яхонтов А. 92
 Яхонтов И. 18

 Ackermann R. 276, 277, 284
 Adelong 43
 Alexander 284
 Audiat G. 22

 Bade Th. 82
 Badlock R. W. 258
 Barell J. 283
 Barge H. 112—114, 116
 Baring-Gould S. 358

Belleforest 259
Bengesco G. 210
Bernays J. 54
Bianchi G. A. 222
Bielowsky A. 37
Blond M. de 419
Bolte J. 60
Böhm F. 101
Boisacq E. 103
Bouvy E. 156, 158
Bovet A. 142
Boyse S. 283
Bredal I. 322
Brockmeier P. 159
Buchon J. A. C. 278
Bulkeley 132
Buriot-Darsiles' H. 182
Bush D. 283

Cahen G. 72, 78—80, 82
Capelli L. M. 152
Carus V. J. 104, 110
Carvin (Carving) 80
Cham 393
Charavay E. 142
Chevalley A. 293
Clemow Frank G. 43
Collins Ch. 284
Crane R. S. 215
Cross S. 334
Curi F. 172
Curran E. M. 334

D'Ancona A. 25
Danielson 103
Dannenberg F. 284
Daviers Th. 262
Dieml O. 386
Diener G. 385
Dobson A. 82
Dodds M. 132
Dodsley R. 220, 262
Dôlois L. G. 34
Doncieux G. 41
Dowden E. 270

Egilsrud J. S. 124, 168
Ellsworth B. 284
Evans H. A. 258
Evans M. B. 256
Eyering 60

Faguet E. 211, 213
Farinelli A. 157
Farmer P. 258
Fauchet C. 159
Fick A. 103
Fontaine de, m-me 208
Fontana A. 397
Forster D. 15
Fournel V. 41

Franko I. 62
Friederichs E. 254

Gasperoni G. 172
Gausson A. 332
Gebelin F. 133
Gebing E. S. 47
Gerhardt D. 12
Gerson 76
Gomolicki L. 316, 317
Gradisz F. 236
Graf W. 43, 112
Grahame F. K. 333
Granjard H. 406
Grässe J. G. 14
Gruppe O. 100
Gurlt-Hirsch 43
Guthkelch A. C. 111
Gutteling J. F. C. 284

Hackel A. 153
Hakluyt 76
Halliday F. E. 269
Halperin-Kaminsky E. 419
Haumant E. 41
Havens G. R. 203
Heidensheimer H. 54
Heinrich C. F. 361
Henning G. 79
Henriet M. 210, 211
Herford Ch. H. 11
Hermann P. 62
Hirzel R. 11
Hoffmeister J. 112
Horn P. 112
Hortis A. 282
Huber P. M. 358
Hüttl-Worth G. 112

Iken C. J. L. 358
Inkiaar D. 211

Jahnke 280, 281
Jantzen H. 10, 11, 62
Jensen O. 63
Johnston C. L. 331
Joliat E. 215
Jouast D. 35, 38

Kade R. 47
Keller A. 60
Kluge F. 112
Knack G. 278
Koch J. 356, 358, 361
Koch M. 278, 327
Kooistra J. 284
Krieger B. 80
Kürschner A. E. 328
Kyd T. 259

Lacour L. 31
Lannert 82

La Roncière Ch. de 31, 33
Lautrey L. 25
Lebreton A. 192
Lefranc A. 34
Lehmann K. 63
Lehmann U. 260
Lelanne L. 34
Lenz W. 360
Lesuire R. 214
Lowndes M. 35
Luschka W. H. 223
Luther A. 254

Maffei G. 25
Maier H. 113
Mariejol J. H. 54
Marin Ocete A. 54
Marshall J. 365, 367
Martz L. P. 215
Mauri A. L. F. 103, 110
Maver G. 429
Merian-Genast E. 223
Merril E. 11
Micard E. 211
Michaud 43, 143, 214
Michow H. 32
Mickiewicz L. 310
Mildmay E. St. J. 340
Miller E. H. 294
Milner Th. 333
Minto W. 69
Moet E. 40
Moland L. 203
Mooser R. A. 152
Möser J. 262
Motheau H. 35, 38
Mussis H. 420

Nandriş G. 152
Neander Mich. 45
Nichols 64
Nisard 220
Nodier Ch. 34

Oesterley H. 62
Omont H. 31
Otto E. 273

Page 76
Paris L. 30, 31
Pearson L. E. 269
Perry W. J. 385
Platzhoff W. 29
Podhorski Okolów L. 318
Polivka J. 60
Prael L. 204
Price L.-M. 169, 262
Price M.-B. 169, 262
Purchas 76

Rammelmeyer A. 153
Raupach E. 236
Réau L. 199
Reiche F. 36
Reiche H. 46
Reinsberg-Düringsfeld O. 60
Rentsch J. 124, 168
Richter W. 43
Rowe N. 257
Ruge S. 48
Rumelin G. 264
Ryssel V. 358

Saint-Surin 143
Sampson R. 271
Schaar C. 269, 271
Schlieter H. 153
Schmidt F. W. 358
Schober J. 47
Schoell F. L. 100
Schüddekopf C. 47
Schultze S. 386
Schumacher H. A. 54
Scott 76
Scudder V. D. 284
Secord W. A. 70, 85
Sells A. L. 215
Sievers R. 293, 295
Simmons E. 260
Sinclair H. J. 54
Smith D. N. 111, 258
Smith H. J. 245
Soulas d'Allainval 221
Steinert W. 385
Stocking M. K. 364, 368
Sulgar-Gebing E. 180
Suphan B. 273
Szaraniewicz J. 37

Tardel H. 322
Thuasne L. 46
Todhunter J. 276, 284
Toynbee P. 282
Tronchon H. 204

Ursianus J. H. 62

Vogt F. 10

Waddington 34
Weinhold K. 10
Werner F. 157
Wickefort J. 220
Wolff M. J. 270
Wolffheim H. 257, 258
Wright Th. 295

Zamboni M. 172
Zeissberg H. 37

СОДЕРЖАНИЕ

О новой книге академика Михаила Павловича Алексеева (<i>Г. В. Степанов</i>)	3
«Претие Земли и Моря» в древнерусской письменности	6
Эпизоды из русской истории в «Опытах» Монтеня	21
1. Постановка вопроса	21
2. Монтень и Истоме Шверинги	22
3. Русское государство во французской литературе XVI века	30
4. Русская история в «Опытах»	35
К анекдотам об Иване Грозном у С. Коллинза	43
Московский подьячий Я. Полушкин и итало-испанский гуманист Педро Мартир	49
Юрий Крижанич и фольклор московской иноземной слободы	58
Сибирь в романе Даниэля Дефо	64
«Робинзон Крузо» в русских переводах	83
«Пророче рогатый» Феофана Прокоповича	96
Монтескье и Кантемир	119
Первое знакомство с Данте в России	147
Вольтер и русская культура XVIII века	198
К истории русского вольтерианства в XIX веке	240
Германия и раннее восприятие Шекспира в России	254
Державин и сонеты Шекспира	265
Образ Демогоргона в драме Шелли и его источники	275
Вальтер Скотт и «Слово о полку Игореве»	286
Славяно-романо-германские параллели	293
1. Чешский фольклорный мотив в английской повести XVI века	293
2. К сказаниям о пане Твардовском в русской литературе	300
Замыслы «Истории будущего» Мицкевича и русская утопическая мысль 20—30-х годов XIX века	309
Немецкая поэма о декабристах	320
Английские мемуары о декабристах	330
Гоголь и Т. Мур	341
Поэма В. К. Кюхельбекера «Семь спящих отроков» и ее источники	351
Французская поэма 1836 г. о «киргизах» и ее автор	363
«Дневной месяц» у Тютчева и Лонгфелло	376
Об одном эниграфе у Достоевского	390
Микеланджело Пинто. Несколько данных к его характеристике по русским источникам	396
Эмиль Золя и Н. Г. Чернышевский	414
Список сокращений	427
Библиографическая справка о первых публикациях статей, вошедших в настоящий сборник	428
Указатель имен	430

CONTENTS

On the new book by Mikhail Pavlovich Alexeyev, Ac. by G. V. Stepanov	3
The «Dispute between Earth and Sea» in Old Russian Letters	6
Episodes from Russian history in Montaigne's «Essais»	21
Concerning anecdotes about Ivan the Terrible as retold by S. Collins	43
Moscow scribe Ja. Polushkin and the Italian-Spanish humanist Pietro Martire (Pedro Martir)	49
Juraj Križanič and the folklore of the Moscow foreign settlement	58
Siberia in Daniel Defoe's novel	64
«Robinson Crusoe» in Russian translations	83
«Proroche rogary» («The horned prophets») by Theofan Prokopovich	96
Montesquieu and Kantemir	119
The first acquaintance with Dante in Russia	147
Voltaire and Russian culture of the 18th century	198
Notes on Russian Voltairianism in the 19th century	240
Germany and the early readings of Shakespeare in Russia	254
Derzhavin and Shakespearean sonnets	265
The character of Demogorgon in Shelley's drama and its sources	275
Sir Walter Scott and the «Slovo o polku Igoreve» («The Igor Tale»)	286
Slavonic-Roman-German parallels	293
Mickiewicz's designs for «History of the Future» and Russian Utopian thought of the 20ies—30ies of the 19th century	309
A German poem about the Decembrists	320
Records of the Decembrists in English memoirs	330
Gogol and T. Moore	341
W. K. Kyukhel'beker's poem «Seven sleeping youths» and its sources	351
A French poem about the «Kirghizes» (1836) and its author	363
«The daytime moon» in the poetry of Tyutchev and in that of Longfellow	376
On an epigraph used by Dostoevsky	390
Michelangelo Pinto. Some data to delineate his character derived from Russian sources	396
Émile Zola and N. G. Chernyshevsky	414
List of abbreviations	427
Bibliography of the first publications of the articles collected in this book	428
Index of names	430

